5

Константин Симонов

5

Константин Симонов



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

Живые и мертвые

Роман в трех книгах

Книга вторая

СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Оформление художника
Вл. МЕДВЕДЕВА

С $\frac{70304-107}{028(01)-81}$ подписное 4702010200

Книга вторая

СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Командиры полков разъезжались после встречи Нового года у командира дивизии. Последним уехал командир 332-го, майор Барабанов. Серпилин молча, со значением пожал ему руку: «Знаю, что еще добавишь, но много не добавляй. Понял меня, Барабанов?»

Хоть и подмывало сказать это вслух, удержался. Все же — командир полка. Если дать привыкнуть человеку к тому, что не надеешься на его совесть, может потерять и ту, что осталась.

Принимали гостей в землянке у начальника штаба, полковника Пикина,— самой просторной из всех и даже с присланным женою ковром над койкой. Провожая, оделись и вышли на воздух втроем — с Пикиным и замполитом, полковым комиссаром Бережным.

— Двадцать три ровно,— сказал Пикин, заворотив рукав полушубка и посветив фонариком на часы. — Первый этап встречи завершили по плану, не задержали. К бою курантов будут у себя на местах и поднимут — кто на что способен!

— Хотелось бы, чтобы некоторые были способны на меньшее,— сказал Серпилин. — Беспокоюсь за Барабанова...

— Ничего, Левашов его удержит,— сказал Бережной.

— Как же, удержит твой Левашов!

— А что, характер на характер...

Серпилин не ответил: не хотелось ни спорить, ни говорить. Хотелось молча постоять под высоким морозным небом, почувствовать его высоту и торжественность.

Стояла тишина, еле слышно шуршала поземка. Волга была невидима отсюда, она лежала во льдах, далеко-далеко, за левым флангом фронта, но Серпилин все равно незримо чувствовал ее сейчас — и ее холод, и ее ширину, за которой тянулись безбрежные снега Заволжья, и в них — переметенные, просвистанные ветрами снежные дороги и тонкая, как брошенный в снега чер-

ный волосок, одноколейная ветка от Красного Кута на Эльтон — глубокие тылы, госпитали, госпитали...

Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже шесть недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону по всему огромному кольцу в двести километров, сидели немцы — двадцать две дивизии,— сидели и ждали! Серпилин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении,— ждали и нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели — всего вместе.

А мы после ноябрьских и декабрьских боев уже третью неделю все не штурмовали и не штурмовали — готовились. И сегодня, этой новогодней ночью, здесь, северо-западней Сталинграда, война только чуть слышно шевелилась. На переднем крае разорвалась одиночная мина, стукнула пулеметная очередь, потом еле слышно, как далекий вздох, донесся отзвук сильного взрыва там, внутри кольца у немцев, и снова все затихло.

Всю войну, во всей ее огромности, нельзя было даже вообразить себе до конца. Но Серпилин, слушая тишину здесь, где в ожидании наступления стояла его дивизия, хорошо представлял себе, что такое эта сегодняшняя ночь там, где теперь идет главная война,— на юге, в голых степях на полдороге к Ростову, или на юго-западе, тоже в степях, под Тацинской, или на Воронежском фронте, режущем сейчас немецкие тылы за триста километров отсюда, у Черткова и Миллерова.

Там война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом; она скрежетала гусеницами, строчила из пулеметов и падала в снег, и снова поднималась под огнем на локтях и коленях, и с хриплым «ура», с матерщиной, с шепотом «мама», проваливаясь в снегу, шла и бежала вперед, оставляя позади себя пятна полушубков и шинелей на дымном, растоптанном снегу.

Там, где сегодня происходило самое главное, для людей вообще не существовало никакой новогодней ночи: они просто не помнили о ней.

Серпилин был военным человеком и знал, что на войне не бегают с места на место, ища, где пожарче: на войне ждут своего часа. Он не мог сейчас оказаться со своей дивизией там, в самом центре сотрясавшего равнины южной России землетрясения, но хотя его ум был неподатлив к таким мыслям, сердце чувствовало доносившиеся оттуда торжественные и страшные толчки. И это прозвучало в его голосе, когда он после долгого молчания сказал:

— Да, у нас пока тишина...

— В такую ночь и нам бы не молчать, а воевать! — сказал Бережной.

— Ну что ж, сходи на передний край, постреляй из пулемета! По крайней мере, будет что в политдонесении писать: активные боевые действия, воюем, не молчим, не теряем боевого духа... — насмешливо ответил Серпилин.

Слова Бережного задели его. Водится же еще за людьми эта глупая привычка прийти на передний край и, если там как раз в эту минуту тихо, непременно открыть огонь, вызвав ответный, как будто солдатам мало того, что и так достается на их долю. Бережной это «поднять активность» называет, а на самом деле — просто мальчишество. И вдобавок, не по возрасту: скоро сорок стукнет! До каких пор можно радоваться, что ты храбрый, и доказывать это с риском для своей и для чужой жизни!

— Да разве я об этом, Федор Федорович? — Бережной готов был вспылить, но сдержался.

— А о чем же, Матвей Ильич?

— Я вообще сказал...

— Что значит «вообще»? В наступление, что ли, предлагаешь перейти нынче ночью? Как, поставим армию в известность или сами начнем, пусть присоединяются?

— А чего ты ко мне прицепился, Федор Федорович, ради праздника, что ли? — огрызнулся Бережной.

— А того я к тебе прицепился, друг ты мой дорогой, что я вчера на совещании у командующего уже слышал эту блестящую мысль, чтобы сегодня ночью пошуметь, немцам Новый год испортить. А заодно — и себе. Слышал и возражал. Высказал точку зрения, что, если всерьез воспользоваться новогодней ночью для наступления,— это резон. А если просто пошуметь, так надо и себя и солдат пожалеть, не портить им такой ночи. Немцы, кстати, не столько Новый год, сколько рождество празднуют. В сочельник надо было шуметь. Спасибо, член Военного совета поддержал. Только сверху отбился, а ты уже снизу жмешь.

Серпилин с невидимой в темноте улыбкой обнял Бережного и дружески похлопал его по плечу.

— Не обижайся ради праздника, а то весь год ссориться будем! Еще поглядим, всюду ли тишину соблюдут. Командующий оставил это на усмотрение командиров дивизий.

— Соседи пока молчат,— сказал Пикин.

— Они и там, у Батюка, оба молчали,— сказал Серпилин. — Только потом, когда я возразил, а Захаров меня поддержал, по лицам понял, что и они за тишину.

— Батюка своими возражениями расстраивать не хотели,— съязвил Пикин.

— А я, думаешь, хотел? — сказал Серпилин. — Все люди — человеки, сидел да ждал, может, кто другой первым встанет.

— Уже двадцать три десять,— сказал Пикин, снова посветив фонариком на часы.

— Вижу, ты совсем бога не боишься, скоро с фарами ездить начнешь...

— А, не до этого им теперь! — Пикин махнул рукой в сторону немцев. — Вернемся? А то пробирает...

— Ко мне в землянку милости прошу,— сказал Серпилин. — Куранты послушаем, чайку попьем...

— Идите, я сейчас тоже приду,— сказал Пикин,— только захвачу одну вещь.

Он повернулся и пошел к своей землянке, а Серпилин и Бережной зашли в землянку Серпилина.

— Птицын, чайку нам сообразите,— сказал Серпилин своему ординарцу, проходя вместе с Бережным через переднее отделение землянки, которое он называл «предбанником».

В «предбаннике» стоял топчан Птицына, завешенный плащ-палаткой, и была сложена самодельная печка, зеркалом выходившая в другую, главную часть землянки.

— Что, в самом деле чай пить будем? — спросил Бережной, когда они сели за стол.

— В самом деле. Разве что Пикин мой план нарушит. Не обиделся, что покритиковал тебя при нем?

— При нем, не при нем, какая разница? Мы с Пикиным столько раз друг друга во всех видах видели, что какие уж секреты!

— Это, положим, верно,— сказал Серпилин.

А про себя подумал, что не задал бы такого вопроса — обиделся или не обиделся Бережной, если бы не та перемена в положении Бережного, что произошла недавно: был комиссаром дивизии, а стал, после приказа о единоначалии, замполитом. Приказ этот, по глубокому убеждению Серпилина, был совершенно правильный, он лишь ставил точки над «и», подтверждал то бытие, которое практически сложилось на войне. А если этот приказ где-то и менял отношения между командиром и политработником, то только там, где они по слабости командира или по взаимному непониманию складывались неверно, во вред войне, которая не новгородское вече! У них с Бережным, слава богу, этого не было. Однако Серпилин все же чувствовал, что Бережному в душе жаль с юности привычного и доброго слова «комиссар». Даже при наилучших отношениях в такой перемене служебного положения была своя боль.

То ли Бережной понял, о чем думает Серпилин, то ли сам думал об этом, но, с минуту просидев за столом, он сказал:

— Поменьше заботься, Федор Федорович, о том, чтобы меня в моем новом положении не задеть. Имей в виду, мы, политработники, о своих званиях в последнюю очередь заботимся!

— То есть это как понять? — спросил Серпилин. — Вы, политработники, борцы за идею, а мы, командный состав, только и мечтаем о чипах да званиях? Так, что ли?

— Вот это — другое дело, вот это я тебя узнаю! — рассмеялся Бережной. — Вот так и дальше не будем друг другу спуска давать! А то я за последнее время заметил: ты меня, как инкубаторного цыпленка, все в вату заворачиваешь.

— Ну уж и в вату! — смущенно усмехнулся Серпилин и вдруг спросил о том, о чем уже давно собирался спросить: — А как у тебя в полках замполиты свое новое положение переживают?

— Ничего. Раз партия приказала — переживут,— сказал Бережной. — Только один Левашов со мной разговор имел, просился, как новые звания присвоят, сразу же дать ему строевую должность, не хочет ходить в заместителях у Барабанова, живет с ним как кошка с собакой. А что, из него добрый комбат выйдет!

— Может, и больше комбата выйдет,— задумчиво сказал Серпилин,— да полк жаль лишать такого политработника. А если Барабанов на полку останется, тем более.

— А он останется?

— Не растравляй рану. Знаешь же, что изнасиловали меня! Вот так отступишь, не поставишь вопрос на попа, а потом ночей не спишь: во что обойдется твой грех? Начинать наступление с командиром полка, в которого слабо верю,— мозоль на душе!

— Брось расстраиваться, Федор Федорович,— сказал Бережной,— дивизия у нас хорошая, один Барабанов обедни не испортит.

— Это как сказать!

Ординарец принес чайник, заварку и стаканы.

— Такие дела, комиссар,— по привычке называя так Бережного, сказал Серпилин, переждав, пока не вышел ординарец. — Сержусь на себя, что взял Барабанова. В первые дни приглядывался, мечтал, что командующий прав, а я ошибаюсь. Теперь ко всему выяснилось, что еще и пьет! Какие уж тут мечты! Тебе как, покрепче?

— Покрепче. После таких разговоров действительно только чай пить,— рассмеялся Бережной.

— А вот и Пикин,— сказал сидевший лицом к дверям Серпилин. — Что это ты тащишь?

Пикин скинул полушубок и торжественно поставил на стол бутылку шампанского.

— Удивил! — сказал Серпилин.

— Сам удивляюсь,— подсел к столу Пикин. — Супруга еще ко дню рождения с оказией прислала, а я додержал. Откроем?

— Да уж потерпим до двадцати четырех,— сказал Серпилин. — Пока чаю выпей.

— Так подожду,— сказал Пикин. — Дай, Федор Федорович, итоги, что ты нам читал, хочу своими глазами...

Серпилин полез в карман гимнастерки и достал несколько листков, густо исписанных разборчивым писарским почерком. Это были «Итоги шестинедельного наступления наших войск», переданные из Москвы и записанные дивизионными радистами. С чтения вслух этих итогов и началась сегодня новогодняя встреча. Размножив под копирку, их дали перед отъездом командирам полков, чтобы в полках и батальонах за ночь сняли как можно больше копий и утром довели до каждого солдата, не дожидаясь армейской газеты.

О силе впечатления Серпилин судил по себе. Ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны. И вдруг, когда он сегодня в первый раз, еще не вслух, а про себя, прочел шестинедельные итоги боев, он ощутил весь тот истинный масштаб событий, который обычно скрадывался повседневными заботами, с утра до ночи забивающими голову командира дивизии. Его дивизия была всего-навсего малой частью того действительно огромного, что совершилось за последние шесть недель и продолжало совершаться. Но это чувство не имело ничего общего с самоуничижением; наоборот, это было возвышавшее душу чувство своей хотя бы малой, но бесспорной причастности к чему-то такому колоссальному, что сейчас еще не умещается в сознании, а потом будет называться историей этой великой и страшной войны.

А хотя почему — потом? Это уже и сейчас история.

— На, прочти еще раз вслух,— сказал Серпилин, отодвигая стакан с чаем и протягивая листки Пикину.

— «В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14, 16 и 24-я немецкие танковые дивизии... 71, 76, 79, 94, 100, 113, 297-я...»,— читал Пикин, а Серпилин, облокотясь на стол, слушал так, словно слушал все это в самый первый раз.

Пикин читал номера окруженных и разбитых немецких дивизий, цифры уничтоженных и взятых орудий, танков, самолетов, цифры километров, пройденных войсками Сталинградского, Донского, Юго-Западного и Воронежского фронтов, южнее, севернее

и западнее Сталинграда, на Верхнем и Среднем Дону, на Калитве и Чире, в донских и калмыцких зимних степях...

Монотонный голос Пикина звучал торжественно и грозно, а у Серпилина на душе творилось что-то странное. Он уже не облокачивался на стол, а сидел у стены, далеко и от читавшего сводку Пикина, и от Бережного. Отодвинулся так, словно хотел получше разглядеть их обоих. Да так оно и было.

То, что он слышал в чтении Пикина, было как гул, как что-то далекое, грозное и нарастающее, на фоне чего только и могли существовать мысли о собственной дивизии и этих двух людях, сидевших перед ним.

Для того чтобы теперь все вышло так, как читал Пикин, их дивизия должна была еще раньше, до этого, совершить все, что выпало на ее долю. А если бы она этого не сделала, то всего, что теперь было, не могло быть.

Да, она сейчас стояла и ждала своего часа, а они наступали там, в крови и дыму. Но для того чтобы они могли сейчас, зимой, наступать там, она все лето и осень подставляла себя под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов и мин, ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, оставляла, удерживала и снова оставляла рубежи, она истекала кровью и пополнялась и снова обливалась кровью.

О нем говорят, что он умеет беречь людей. Но что значит — «беречь людей»? Ведь их не построишь в колонну и не уведешь с фронта туда, где не стреляют и не бомбят и где их не могут убить. Беречь на войне людей — всего-навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой.

А мера этой необходимости — действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибся,— на твоих плечах и на твоей совести. Здесь, на войне, не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы — не так, а потом так, как надо. Здесь, на войне, нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью, все, от начала до конца, от аза и до последней точки...

И если превысить власть — это кровь, то и не использовать ее в минуту необходимости — тоже кровь. Где тут мера твоей власти? Ведь все же чаще не начальство или, на худой конец, трибунал определяют ее задним числом, а ты сам, в ту минуту, когда приказываешь! Начальство потом в первую голову считается с тем, чем кончилось дело,— успехом или неудачей, а не с тем, что ты думал и чувствовал, превышая свою власть или, наоборот, не используя ее.

Многие из тех решений и приказаний, в соответствии с которыми он обязан был действовать летом и осенью, казались ему сейчас не самыми лучшими, неверными, неоправданными. Но все же в конце концов в итоге все, вместе взятое, оказалось оправданным, потому что привело к той победе, о которой напоминал монотонный голос Пикина, уже подходившего к концу и читавшего теперь названия фронтов и фамилии командующих.

Да, оправдано. Но люди, люди!.. Если бы всех их оживить и посадить вокруг...

Он ощутил у себя за спиной молчаливую толпу мертвых, которые уже никогда не услышат того, что он слышит сейчас, и почувствовал, как слезы подступают к горлу.

А Пикин и Бережной, воевавшие вместе с ним с того первого июльского дня, когда дивизия вступила в бой, все-таки живые и здоровые, сидят сейчас здесь, рядом с ним, хотя нельзя сказать, чтоб щадили себя.

Вот сидит Пикин, сухой и прямой, как жердь. Начальник штаба дивизии — Геннадий Николаевич Пикин, который старше всех в штабе, потому что ему уже исполнилось пятьдесят. Сидит Пикин, который был штабс-капитаном еще в царской армии, а потом, в гражданскую, не воевал, а служил в запасном полку, потому что ему не доверяли, и, кто знает, может, тогда это было и справедливо.

Сидит Пикин, которого в двадцатые годы уволили из пехотного училища, потому что его жена была сестрой нэпмана, и ему пришлось жить заново, кончать заочный институт и по длинной канцелярской лестнице дослуживаться до главного бухгалтера наркомата.

Сидит Пикин, начавший войну бойцом ополчения и ставший начальником штаба дивизии, которому можно доверять как самому себе. В нем и сейчас, на войне, осталось что-то от главного бухгалтера и в смысле точности, и в смысле упрямства.

Сидит Пикин, бессонный и неутомимый, но никогда не забывающий вовремя поесть и выпить. Пикин со своей рыжей щеткой усов над губой, со своим сухопарым старорежимным лицом и тощей фигурой, за которую его дразнят в дивизии «Врангелем», со своими исправными письмами толстухе жене, о которой он говорит, что она в двадцатые годы была красивейшей женщиной Москвы, и со своей девчонкой из роты связи, которая неизвестно почему не чает души именно в нем, хотя могла бы влюбиться и в кого-нибудь помоложе.

И знающий о Пикине все, что можно и нужно о нем знать, Серпилин сейчас, глядя на него, испытывает благодарность к

нему за то, что он остался жив и сидит здесь и дочитывает эту сводку.

И Бережной жив, хотя от него этого уже и вовсе трудно было ожидать, и тоже сидит здесь и слушает Пикина, и на глаза у него накатываются слезы, потому что он из тех, что и смеются и плачут без раздумий.

Бережной, с его снятым уже во время войны строгим выговором за брата, бывшего секретаря горкома в Донбассе, о котором он на памяти Серпилина так ни разу и не заговорил; в то, что брат — враг народа, видимо, не верит, сказать это во весь голос не может, а вполголоса не умеет.

Бережной — наголо бритый, короткий, крепкий, с толстой шеей, толстыми, железными руками, шумливый и сентиментальный Бережной, с его шахтерскими словечками и шахтерскими песнями, с его донбасской юностью двадцатых годов и неумелыми стишками в газете «Кочегарка». Он зачем-то до сих пор возит их при себе вместе с юношеской карточкой; оказывается, у него была такая пышная чернокудрая шевелюра, какой теперь просто и не вообразишь, глядя на его лысую голову.

Бережной — дитя комсомола, а до этого беспризорник, милостью сыпного тифа в пятнадцать лет — круглый сирота и, между прочим, по документам еврей. Об этом мало кто знает в дивизии, да и навряд ли это имеет какое-нибудь значение для него самого.

Бережной, горячий и пристрастный к людям, но при этом всегда готовый, не раздумывая, положить свою жизнь за любого из них.

И ему Серпилин тоже благодарен за то, что он жив и сидит сейчас здесь, рядом с ним, ему было бы очень тяжело потерять вот этого Бережного.

Пикин — это июльский приказ Сталина, тот самый, страшный, после сдачи Ростова и Новочеркасска: «Ни шагу назад!» Его читали перед строем, когда дивизию прямо с эшелонов швырнули в бои, чтобы заткнуть дыру еще там, за Средним Доном, далеко от Сталинграда. Но затыкать дыру было уже поздно, и дивизия стала магнитом, с утра до ночи притягивавшим к себе удары с земли и с воздуха. Она приняла на себя часть того, что причиталось другим, кого-то спасла от гибели, но и сама начала гибнуть. Ей уже обрубили фланги и зашли в тыл, а приказа на отход все не было, и о двух везших этот приказ убитых по дороге офицерах связи Серпилин узнал только от третьего. Но еще перед тем, как к ним наконец добрался этот третий, вечером в окопе к Серпилину подошел высохший в щепку Пикин и сказал, тыча в руки бумажку:

— Вот мое заявление.

Серпилин сначала от неожиданности не понял, что это за заявление (даже мелькнула нелепая мысль: не отставки ли просит?), а потом понял и сказал:

— Это не мне — комиссару.

— Не видел его с утра,— сказал Пикин,— и не знаю, увижу ли. Возьмите!

И Серпилин взял и положил в карман гимнастерки и спросил только:

— Хорошо подумали?

— Уж как-нибудь, время было,— сказал Пикин, повернулся и пошел по окопу.

И Серпилин, хотя не спросил его об этом ни тогда, ни потом, понял. Пикин подумал в тот вечер о плене, и свое заявление в партию, которого от него давно ждали, подал, именно подумав о плене. Если они окажутся в плену и им крикнут: «Кто из вас коммунисты?» — начальник штаба дивизии, штабс-капитан царской армии, беспартийный Пикин не хотел поддаться соблазну и остаться в строю, когда его командир дивизии выйдет на шаг вперед. Наверное, в тот отчаянный вечер, когда казалось, что дивизия останется в окружении и погибнет, он хотел до самого конца выдавить из себя мысль о возможной там, в плену, поблажке.

Пикин — это переправа через Дон, после того как половина дивизии полегла там, за Доном. Серпилин в тот день оказался в окруженном полку на отшибе, и, когда на закате все же пробился и вывел остатки полка к переправе, оказалось, что на переправе нет бедлама, который он страшился увидеть, а порядок, и этот порядок навел подошедший сюда с ядром дивизии Пикин. Перетащенные за Дон батареи прикрывали переправу огнем, в степи полукольцом поднимались дымы подожженных немецких танков; две счетверенные пулеметные установки у понтонного моста, захлебываясь, бесстрашно, в упор били по пикировавшим на переправу самолетам.

На переправе творился кромешный ад и каждую минуту погибали люди, и все же на ней существовал порядок, и этот порядок обеспечивал Пикин, стоявший на берегу, не в окопе, который ему вырыли, а во весь рост, на самом виду у смерти, потому что сейчас это от него и требовалось.

А в пяти шагах от Пикина, на траве, раскинув руки, лежал мертвый помощник начальника штаба полка по разведке, старший лейтенант Брускин.

— Убили Брускина,— сказал Серпилин, глядя на мертвого.

— Разрешите доложить, товарищ комдив,— сказал Пикин, приложив к козырьку крепко сжатые, недрогнувшие пальцы,—

бывший комендант переправы Брускин, самовольно покинувший свой пост, возвращен и расстрелян в связи со сложившейся обстановкой. Лично мной.

И только теперь Серпилин заметил: Брускин лежит на земле в гимнастерке с сорванными петлицами.

Да, Пикин — это тот день на переправе и многие другие такие же дни, и вообще, когда думаешь о Пикине, невольно вспоминаешь самые тяжелые дни, наверное, потому, что там он и оказывался на высоте положения. А легких дней вообще было мало.

Бережной — это тоже нелегкие дни. Бережной — это зарево горящего Сталинграда в тот день, когда немцы прорвались к Волге и пришлось загибать фланг и отходить на север. На горизонте стояло зарево Сталинграда, и они сидели ночью вдвоем в одинокой хате, на перепутье уходивших в тыл дорог, и Бережной плакал от горя и оттого, что, оставшись вдвоем, впервые за много дней и ночей мог дать волю своим чувствам.

Он был ранен, но не вышел из строя. Щека и надбровье у него были рассечены осколком мины, бритая голова наискось забинтована: из одного, открытого глаза текли слезы, а на грязном бинте под вторым, закрытым глазом проступало мокрое пятно, потому что и этот второй, закрытый глаз Бережного там, под бинтами, тоже плакал.

— Да что ж мы творим с тобой? — яростно сквозь слезы спрашивал Бережной. — В июле приказ Сталина читали, клялись всем святым и все-таки до Волги дошли — живые! Какие же мы сволочи после этого!

И хотя в голосе Бережного звучало отчаяние, оно было только минутной оболочкой его решимости сражаться до своего смертного часа.

Бережной — это первый день наступления в сентябре, севернее Сталинграда, когда, получив приказ пробиться к сталинградцам, в первые же часы продвинулись на три километра. Всем казалось, что дело пошло, и Бережной в фуражке, обсыпанной землей, в шинели, изорванной осколками, ввалился к Серпилину на НП после того, как облазил два полка, и жадно пил воду из кружки, и, смеясь, рассказывал, как его два раза чуть не убили, и, узнав, что в третьем полку заминка и бомбежкой прервана связь, все так же весело махнул рукой, нахлобучил фуражку и, сказав: «Ничего, доберусь», попер в полк.

Но Бережной — это и следующий день того же самого наступления, когда стало ясно, что немцы остановили нас, задушили с воздуха, прижали к земле, и когда на НП дивизии среди бела дня под бомбежкой прорвался на своем «виллисе» командующий армией Батюк и с порога беспощадными площадными

словами стал крестить Серпилина за то, что дивизия с утра не прошла ни метра.

Серпилин молчал, потому что если б он открыл рот и сказал все, что думает о Батюке и его словах, то вышедший из себя Батюк мог дать волю рукам, и тогда оставалось бы пустить пулю в лоб ему или себе.

Но бритая голова Бережного налилась кровью, и он не своим, задавленным голосом спросил, перебивая Батюка посреди его ругани:

— Товарищ командующий, разрешите обратиться?

И голос его был таким, что Батюк остановился и взглянул на Бережного.

— Я не знаю, почему молчит командир дивизии,— сказал Бережной,— но как же вы смеете с нами так говорить, как будто мы ваша барская дворня, нерадивые холопы! Какой же вы коммунист после этого, товарищ командующий?..

Батюк с искаженным лицом надвинулся на Бережного, и Серпилин уже вскочил, чтобы встать между ними, но Бережной сам отступил на два шага в угол блиндажа, заложил руки за спину, из багрового стал белым и сказал:

— Не подходите, товарищ командующий, я этого и отцу не позволял!

И Батюк опомнился. При всей его грубости и даже хамстве жило в его душе непогасшее чувство солдатской справедливости.

В первый, удачно начатый день он уже поверил, что пробьется к Сталинграду, и свалившиеся потом несчастья довели его до отчаяния, до неудержимой, дикой потребности сорвать свой гнев на других. С тем и ехал сюда прямо под бомбами, гнал машину с прилипшим к рулю от ужаса шофером, готовый — черт с ним! — тоже погибнуть здесь, где зря погибло столько людей. Собственная смерть казалась ему не важной рядом с тем, что произошло,— с неудачным наступлением его армии...

С тем и ворвался сюда, в блиндаж, и вдруг после слов Бережного остановился, тяжело сел на табуретку и сказал Серпилину:

— Давай карту.

Подвинув к себе карту, но еще не глядя на нее, осмотрелся — в землянке, к счастью, не было никого, кроме них троих,— повернулся к Бережному, поднял на него усталые глаза и сказал:

— Дурак ты, комиссар. Думаешь, меня ласкают, думаешь, на моей душе хоть одно живое место осталось?.. Дай воды попить.

Да, разные минуты жизни были связаны в памяти с Бережным и с Пикиным, и все это был кровавый сорок второй, кончавшийся сегодня год...

— Федор Федорович, точка... Ты что задумался? — откуда-то издалека донесся до Серпилина голос Пикина.

— Слышу, что закончил,— сказал Серпилин. — Наливай. Всего две минуты осталось.

Пока Пикин разливал шампанское по кружкам, Бережной включил радио. Было самое время: музыка ворвалась в шорохи и гудочки Красной площади. Все трое поднялись и, стоя у стола навытяжку, слушали, как в Москве далеко и громко падают удары часов.

Когда заиграли «Интернационал», Бережной запел его сильным, высоким голосом и пел до самого конца, а Серпилин и Пикин стояли и слушали молча.

Едва успели выпить, как затрещал телефон. Серпилин взял трубку.

— Спасибо, товарищ командующий. Благодарим... И вас также. Поздравляем Военный совет армии. Спасибо, все в порядке, тишина... Ближе к утру думаю в полки съездить. Так точно, празднуем... Спасибо... Командующий просил передать вам поздравление Военного совета с Новым годом,— сказал Серпилин, положив трубку.

— Судя по времени,— сказал Пикин, взглянув на часы,— в нашу дивизию в первую позвонил.

Пикин был чувствителен к таким вещам, гордился, что дивизия на лучшем счету, и ревновал, когда хвалили соседей.

— Да,— сказал Бережной. — Что-то такое на душе творится, сам не разберу. Что же это за год за такой, сорок второй! Что было и что стало с нами!

— Да, если бы не товарищ Сталин с его железной выдержкой, не знаю, чем бы этот год кончился,— сказал Пикин. — В прошлом году под Москвой до последней минуты три армии держал в кулаке, не дал растащить по частям — и ударил! А теперь здесь, у нас, тоже сумел дождаться часа! Железные нервы на войне — великое дело. Половина всей стратегии.

Серпилин молчал. Спорить с этим не приходилось. Не только не было возможности, но сейчас, после все новых и новых успехов, не было желания спорить.

И только в глубине души, несмотря на все происшедшее за последнее время, как камень лежал старый вопрос: как же так? Откуда же все-таки она взялась, та принесшая необозримые последствия внезапность июня сорок первого? Как мог Сталин так слепо верить в невозможность войны тогда, в июне? Да, слепо. Об этом не скажешь вслух, но другого слова, как ни насилуй себя, не подберешь. А ведь, если глядеть правде в глаза, именно та прошлогодняя внезапность в конце-то концов и привела нас

сюда, к Волге. Да, Пикин прав: когда мы громим теперь немцев, за этим стоят и воля и выдержка — это Сталин.

Ну, а то, что было вначале? Это кто?..

— Ты что, в самом деле на рассвете в полки поедешь? — спросил Бережной Серпилина.

С этого вопроса начался разговор о разных дивизионных делах и мелочах, не имевших отношения к новогодней ночи.

Серпилин уже несколько дней собирался походить ночью по окопам переднего края, посмотреть, как идет служба.

— Посплю три часа и поеду. Начну с Цветкова. Могу взять тебя за компанию,— сказал он Бережному.

Но, оказывается, у Бережного были свои планы. Он еще до рассвета хотел выехать в тыл, в Зубовку, куда завтра к утру должны прибыть двести человек пополнения. Собирался встретить их там и поговорить еще до отправки в дивизию.

— Не терпится,— сказал Серпилин.

— Да, просто не верится такому счастью. Я бы, например, сейчас, когда на других фронтах такая война идет, нам бы ни одного человека не отвалил.

— Ну, это как сказать. И мы тут не до конца войны стоять будем,— заметил Серпилин и добавил, что раз Бережной едет в Зубовку, пусть днем на обратном пути заглянет в медсанбат — посмотрит, не создались ли там излишне мирные настроения в связи с затишьем. Есть много признаков, что ему скоро конец!

— Боюсь, как бы Бережной там в медсанбате не задержался,— сказал Пикин. — Туда, говорят, новый хирург прибыл — красивейшая женщина.

— Не беспокойся, не задержится, он не такой бабник, как ты,— сказал Серпилин. — Между прочим, ты хоть бы фигуру, что ли, сменил, а то мне тут зам по тылу на днях говорит: видел вас, товарищ генерал, издали в роте связи, но пока туда-сюда — не догнал: уже уехали. А в роте связи и ноги моей не было!

Пикин с его долговязой, жилистой фигурой в самом деле был издали похож на Серпилина, и это уже не впервые служило в их кругу предметом шуток.

— Вот ты о конце войны заговорил,— посмеявшись над Пикиным и снова став серьезным, обратился Бережной к Серпилину. — А когда он, по-твоему, будет, конец войны, не уточнишь?

— Где? У нас, в Сталинграде, или вообще?

— Вообще.

— Мне про Жукова прошлой зимой рассказывали, когда он еще Западным фронтом командовал. Его водителя другие все подбивали: «Спроси у Жукова, когда конец войны будет». Жукова не больно-то спросишь, но водитель как-то ехал с ним вдвоем и

все же решился... Только открыл рот, а Жуков потянулся, вздохнул и говорит: «Эх, и когда только эта война кончится!..»

— Ладно,— рассмеялся Бережной,— допустим, Жуков не знает. А ты?

— Если сегодняшний день считать за середину,— значит, еще год шесть месяцев и девять дней. Девятого июля тысяча девятьсот сорок четвертого.

— Точно,— наморщив лоб, видимо пересчитав в уме, сказал Пикин.

— А по-твоему, сегодняшний день можно считать за середину? — спросил Бережной, не уловив по интонации Серпилина, шутит он или говорит серьезно.

— Судя по событиям последнего времени, можно,— сказал Серпилин.

— Долговато,— мрачно сказал Бережной. — Боюсь, как бы бабам после войны не пришлось рожать от беспорочного зачатия!

— Союзники называется! — сказал Пикин. — Неужели и в этом году второго фронта не откроют?

— Ну, раз мы о втором фронте заговорили, значит, сотрясение воздуха началось. Не знаю, как вы, а я намерен на боковую! — Серпилин заложил руки за голову и сладко потянулся.

Когда Бережной и Пикин ушли, он, приказав Птицыну разбудить себя ровно через три часа, разобрал койку, разделся и лег. И, уже лежа, еще раз подумал: «Неужели и в самом деле только середина войны?»

Очень хотелось думать иначе. С тем и заснул...

ГЛАВА ВТОРАЯ

К половине пятого утра Серпилин, как и намеревался, уже был в полку Цветкова. В дороге чуть было не передумал и не поехал к Барабанову, но потом сердито решил: «Ничего, не маленький в конце концов». И начал с левого фланга, с Цветкова.

Подполковник Цветков, когда приехал Серпилин, спал. И Серпилин приказал оперативному дежурному не будить командира полка.

— Пусть спит, обойдусь без него, дайте провожатого.

Но Цветкова все же разбудили, и он нагнал Серпилина на переднем крае, в ходе сообщения.

— Интересно у тебя дело поставлено, Цветков,— притворился сердитым Серпилин. — Командир дивизии одно приказывает, а твои офицеры по-другому делают.

— Сам проснулся, товарищ генерал,— соврал Цветков.

Он раз и навсегда заранее отдал приказание: кто бы и когда бы ни приехал в полк, все равно немедля будить его, если спит, или извещать, если отсутствует. Это было предусмотрено и на тот случай, если прикажут: не будить и не искать! У Цветкова всегда все было предусмотрено.

— Как спишь, Цветков, одетый или раздевшись?

— Раздеваюсь, товарищ генерал. Я своим солдатам доверяю, в кальсонах в плен не попаду.

— Так до сих пор в шинели и ходишь?

— Ничего, товарищ генерал, не воробей, не замерзну,— сказал Цветков.

Он любил форму и в самые трескучие морозы ходил в шинели и сапогах, полушубок и валенки за форму не признавая. Во всяком случае, для себя.

«Цветков есть Цветков»,— идя вслед за попросившим разрешения обогнать его, чтобы показывать дорогу, Цветковым, подумал Серпилин, подумал теми самыми словами, которые часто можно было услышать в штабе дивизии, когда речь шла о Цветкове.

«Цветков есть Цветков»,— говорили с разными интонациями. Говорили и тогда, когда Цветков выполнил в точности задачу дня, но, не успев получить новую, начинал топтаться на месте, не развивал успеха на свой страх и риск; говорили и тогда, когда он в самом безвыходном положении мертвой хваткой удерживал позиции, не помышляя ни отойти без приказа, ни запросить разрешения на отход. «Цветков есть Цветков»,— говорили и тогда, когда он, не раскрывая рта, сидел на совещаниях, и тогда, когда он гораздо скупей соседей представлял к наградам, считая, что в его полку не сделано ничего сверх должного, и тогда, когда из политдонесений выяснялось, что именно у Цветкова нет ни одного случая самострела, ни одного ЧП, ни одного перебоя с подачей горячей пищи на передовую.

Цветков был командиром полка одновременно и средним и образцовым. И в зависимости от обстановки на первый план выступало то одно, то другое. Восхищались им редко, но не уважать его было невозможно.

У него и сейчас, в эту ночь, в полку, разумеется, был образцовый порядок. Все, кому было положено спать, спали, все, кому было положено дежурить, дежурили в полной боевой готовности.

Пройдя полтора километра по окопам переднего края, Серпилин вместе с Цветковым остановились около одного из дежуривших в окопах солдат.

С тех пор как солдат заступил на пост, у немцев ничего

не было слышно. В их траншеях, тянувшихся по краю хутора, вдребезги разбитого бомбежкой, всю ночь стояла мертвая тишина.

— Только час назад один свисток был и небольшое хождение,— доложил солдат.

— Возможно, разводящего вызывали,— сказал Серпилин.

— Всю ночь молчат фрицы,— сказал солдат.— На пустой желудок много не наговоришь.

— А как у вас с пищей, с наркомовским пайком? Жалоб нет? — спросил Серпилин и почувствовал, как Цветков весь напрягся за его спиной.

— Никак нет, товарищ генерал,— сказал солдат.

«Черт его знает,— подумал Серпилин,— не вводили мы этого «никак нет» и не культивировали; само собой, незаметно из старой армии переползло и возродилось, и все чаще приходится его слышать... Парень молодой, не с собой его принес, здесь приобрел».

Он спросил у солдата фамилию, какого он года и откуда. Фамилия у солдата оказалась редкая — Димитриади, он был грек из-под Мариуполя, двадцатого года рождения.

— Говорят, товарищ генерал, что Сталинградский фронт уже на полдороге к нашему Азовскому морю.

— Примерно так,— сказал Серпилин.— Об итогах боев за шесть недель слышали или еще не слышали?

— Говорят, богатое сообщение. Обещали утром в роту доставить.

Серпилин уже собирался идти дальше, но солдат остановил его вопросом:

— Товарищ генерал, разрешите спросить?

— Ну?

— Правда, по радио передали, что союзники сегодня ночью по всей Европе высаживаются?

— Кто это вам сказал?

— Солдаты говорят. Говорят, Черчилль обещал свое слово все-таки выдержать, которое товарищу Сталину дал,— чтобы их высадка хоть и в последний день, а все-таки по сорок второму году считалась.

— Тише,— сказал Серпилин и приложил палец к губам.

Солдат удивленно посмотрел на Серпилина и шепотом спросил:

— Почему?

— Немцы услышат,— сказал Серпилин.— По какому радио эту военную тайну приняли — по московскому или по солдатскому?

— По солдатскому,— поняв шутку, улыбнулся солдат.

— Нет, товарищ боец,— уже серьезно сказал Серпилин.— Не высадились наши многоуважаемые союзники и пока не собираются. Так что придется нам и в дальнейшем на самих себя рассчитывать.

— Конечно,— ответил солдат с готовностью, в которой чувствовалось разочарование. Ему было жаль, что солдатское радио набрехало и, стало быть, опять выходит, что войну не укоротит никакое чудо.

Следующий солдат, с которым говорил Серпилин, был ему знаком и раньше. Фамилия забылась, остался на памяти только подвиг: в одну сентябрьскую ночь, когда дивизии до зарезу нужен был «язык», этот невидный и немолодой уже солдат вызвался пойти взять «языка»; и пошел и взял.

— «За отвагу» вам вручили, а, Мартыненко? — спросил Серпилин, радуясь, что все же вспомнил фамилию солдата.

— Вручили,— сказал Мартыненко, а по его тону чувствовалось, что все это давно прошедшее. Сейчас его занимало другое: он был родом из Мелового, Ворошиловградской области, слышал сегодня, что по радио передавали итоги боев, и хотел знать, не указано ли там в итогах их Меловое. — Что станцию Чертково взяли, это еще три дня назад было в сводке, а Чертково и Меловое, можно сказать, одно и то же,— рядом!

Серпилин сказал, что в итогах вообще нет названий освобожденных нами населенных пунктов, только указано их общее количество — около полутора тысяч.

— А я все жду, жду, когда в сводке про наше Меловое напишут. Хуже всего, если передний край там встал между Чертковом и Меловым, тогда, значит, все в порошок сотрут. — Мартыненко с ожесточением махнул рукой.

Он был прав — знал войну по-солдатски и еще сам других мог поучить, что такое война. Серпилин только сказал ему в утешение, что помнит эти места еще по гражданской и навряд ли наши, взяв Чертково, застряли, сильных естественных рубежей там нет, и наши, скорей всего, сразу продвинулись за Меловое, до Камышевой.

То, что командир дивизии, оказывается, знал эту их донбасскую речку, обрадовало Мартыненко. Речка вдруг стала как бы их общей знакомой.

— Так думаете, разом до Камышевой дошли, товарищ генерал?

Серпилин развел руками.

— По здравому смыслу — так, но отсюда не видно.

— А когда здесь в наступление на фрица пойдем? Когда его к ногтю возьмем? — жестко, с озлоблением спросил Мартыненко, и в его голосе было нетерпение, хотя в тот день, когда фрицев будут брать здесь к ногтю, не кому другому, а именно ему придется первым вылезать из этого ближайшего к немцам окопа и идти по открытому полю под пулями к вон тем виднеющимся вдали снежным буграм.

«Наступление, наступление,— подумал Серпилин, когда, простившись с Мартыненко, пошел по окопу дальше. — Одно дело — с нетерпением ждать его, планируя в армейском или дивизионном масштабе, а другое дело — вот так ждать, как солдаты ждут. Закончилась артподготовка — вылез и пошел, а не пойдешь, прижмешься к земле под пулями, вот и не будет никакого наступления. И «вперед» некому кричать, кроме самого себя. А что кого-то во время первой же атаки убьют, или тебя, или другого,— это у начальства уже запланировано, и солдат знает, что запланировано, что без этого не обойдется. Знает, а все же спрашивает: когда фрица к ногтю? И не для виду спрашивает, а по делу. И хотя у тебя больше орденов на груди, чем у него и есть и будет, а высшая доблесть — все же солдатская. И коли ты сто́ящий генерал, про тебя, так и быть, скажут: «Это солдат!» А если несто́ящий, так и не дождешься это услышать».

— Что, товарищ генерал, к командиру роты зайдем? — спросил Цветков.

— А кто у тебя сейчас на роте? Алферов? — через плечо спросил Серпилин.

— Алферов.

Серпилин прислонился грудью к брустверу окопа, чувствуя даже через полушубок ледяной, пронзительный холод окаменевшей земли.

Там, впереди, за тишиной, были немцы.

Что они делали в эту новогоднюю ночь в своих ледяных норах? О чем думали, на что надеялись? Но что бы они там ни думали, каждый по отдельности, все вместе они думают как раз противоположное тому, что думаем мы. И каждое наше желание сталкивается с их противоположным, и каждая наша надежда — с их противоположной, и каждый наш расчет — с их противоположным. И все, что было и будет хорошо для нас, было и будет плохо для них. И так до конца войны, до последнего ее часа, потому что война как монета: сколько ни катится, а все равно на ребро станет — ляжет или орлом, или решкой, кто-то сверху, кто-то снизу; пощады нет и не будет ни нам от них, ни им от нас...

Отсюда, из этого окопа на передовой, все казалось огромным: и то, что впереди, и то, что сзади. А ты, человек, находился как

бы на самом острие громадного клина, молча упертого в этой тишине в грудь врага. И какая бы великая сила ни была там, позади тебя, все равно, когда начнется, она тобой, твоим телом, вдавится в это лежащее впереди враждебное, молчаливое пространство.

«Да, нелегкая солдатская должность,— подумал Серпилин. — А сколько людей на ней...»

— Ну что ж, зайдем к Алферову.

Когда они зашли в землянку, лейтенант Алферов, бледный, худенький юноша в съехавшей на затылок ушанке и полушубке внакидку, сидел на корточках, притулясь к железной печке-времянке, и, прижав к уху телефонную трубку, чему-то задумчиво улыбался. Огонек «катюши» — сплющенной снарядной гильзы — освещал улыбавшееся лицо Алферова и спавших вповалку на полу людей.

Увидя входящее начальство, Алферов положил трубку, стряхнул с плеч полушубок, нахлобучил ушанку, вытянулся в струнку и стал докладывать.

— За дежурного самого себя оставили? — спросил Серпилин, выслушав доклад.

— Так точно. Решил: пусть поспят. А мне не спится.

— С кем говорили? — спросил Серпилин. — Возьмите трубку, договаривайте, раз начали.

По смущенному виду командира роты ему показалось, что тот вел новогодний, неслужебный разговор. Может быть, с каким-нибудь знакомым санинструктором, хотя Цветков стремился обходиться в полку без женского пола и у него санинструкторы — почти все мужчины.

— Я ни с кем не говорил, товарищ генерал,— сказал Алферов. — Я песню слушал.

— Вон как! — удивился Серпилин. — Объясните, недопонял.

— У нас тут есть одна связистка на промежуточной,— сказал Алферов, с опаской покосившись в сторону командира полка,— очень поет хорошо. Иногда, когда она ночью дежурная бывает, мы ее по линии спеть просим.

Серпилин перехватил взгляд Алферова и повернулся к Цветкову. Цветков смотрел на своего командира роты со смешанным выражением свирепости и удивления. От удивления брови Цветкова поднялись так высоко, что казалось, сейчас сорвутся с лица и улетят.

— И какие же она песни поет? — спросил Серпилин.

— Разные, товарищ генерал,— сказал Алферов. — Сейчас «Землянку» мне пела. — И опять покосился на Цветкова.

— Хорошая песня,— сказал Серпилин. — Может, ее и нам с командиром полка можно послушать?

Алферов неуверенно посмотрел на него, не шутит ли; увидел, что не шутит, и взял трубку.

— Селиверстова, а Селиверстова... Селиверстова... Давай еще спой. — Он вопросительно посмотрел на Серпилина: сказать, для кого придется петь, или не говорить?

Серпилин покачал головой: «Не надо».

— Спой, Селиверстова,— просительно повторил Алферов,— только сначала, а то меня тут прервали.

И, подождав несколько секунд, подался в сторону и передал трубку Серпилину.

Серпилин услышал доносившийся сквозь хриплые потрескивания молодой женский голос:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...

Он любил эту песню, потому что было в ней, и в музыке и в словах, что-то особенное, щемящее солдатскую душу и до того простое, что проще не скажешь.

До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага...

«Вот именно, четыре шага, а то и два и один».

Почему-то сегодня он думал о смерти больше обычного, не о своей смерти, а вообще о людской.

Он вздохнул и перед последним куплетом протянул трубку Цветкову:

— Послушай и ты, как у тебя в полку поют.

Цветков взял трубку, как змею, и недовольно приложил ее к уху. По выражению его лица было ясно, что ни качество пения, которое его мало интересует, ни либеральное отношение командира дивизии к такому нарушению порядка не смогут переменить его последующего образа действий,— Алферову все равно потом достанется на орехи за то, что занимал линию разной чепухой. Командир дивизии может позволить себе мягкосердечие, ему что —посидит да уйдет, а Цветкову надо оставаться и блюсти порядок в своем полку, и никто, включая командира дивизии, не может ни лишить его этого права, ни освободить от этой обязанности.

Серпилин потрогал ладонью крохотную железную печурку — она была совершенно холодная.

— Бедно живешь, студент,— сказал он Алферову.

— Каждая щепка на счету, товарищ генерал, экономим. Подтапливаем, когда уж терпеть нет возможности.

Серпилин назвал его студентом потому, что он и в самом деле был недоучившийся студент, кончивший краткосрочные курсы младших лейтенантов и попавший на фронт прямо с курсов в июле в самую кашу.

Алферов не был тогда в их дивизии и забрел в нее случайно, когда с несколькими бойцами из своего взвода без оружия бежал куда глаза глядят. Бежал и нарвался на Серпилина, который поставил его по стойке «смирно» и спросил голосом, не предвещавшим ничего хорошего:

— Вы кто, командир Красной Армии или трус, спасающий свою шкуру? Отвечайте: кто вы?

Вот тогда-то он и сказал дрожащими губами ту нелепую, запомнившуюся Серпилину фразу:

— Я вчерашний студент, товарищ генерал.

Он сам хорошо помнил ту минуту и знал, что Серпилин тоже помнит ее, потому что командир дивизии уже не впервые, встречая его, называл студентом.

Но сейчас он не стыдился той минуты, о которой они оба помнили, потому что знал — он сейчас уже не тот, каким был тогда, и на груди у него новенький орден Красной Звезды, полученный за ноябрьские бои. И командир дивизии видит этот орден, и не только видит, но и сам подписал наградной лист на него.

А Серпилин, глядя на этого студента, теперь лейтенанта и командира роты, радовался, что не расстрелял тогда перепуганного мальчишку, хотя вполне могло случиться, что и расстрелял бы. Обстановка была такая, что миндальничать не приходилось.

Цветков положил трубку и, напоминая о себе, негромко кашлянул.

— Ума не приложу, что нам с топливом делать,— сказал Серпилин, кивнув на времянку. — Только и остается одно — Сталинград поскорее...

Он не договорил, потому что, глухо отдавшись в землянке, до них донесся слитный звук нескольких почти одновременных разрывов.

— Выйдем, послушаем,— сказал он Цветкову,— наши или немцы дурака валяют.

Как только вышли на воздух, сразу стало ясно, что это на участке барабановского полка, за три километра отсюда. Разрывы были частые; судя по звуку, рвались немецкие мины. Потом в грохот разрывов вплелись пулеметные очереди.

Что немцы предприняли ночную вылазку, не верилось. У них было не подходящее для этого настроение.

«Наверное, что-нибудь непредусмотренное творит сам Барабанов, а немцы бьют по нему»,— с дурным предчувствием подумал Серпилин и, не возвращаясь в землянку, пошел вместе с Цветковым в штаб полка, чтобы оттуда связаться с Пикиным и узнать, в чем дело.

По дороге в штаб полка, продолжая прислушиваться к разрывам и стрельбе, Серпилин все больше укреплялся в первой пришедшей в голову мысли: Барабанов по случаю Нового года задумал отличиться и взять неудобно торчавшую перед фронтом полка высотку, которую в дивизии звали «Бугор», а в полку за ее вредность — «Чиряк». Стремясь поскорее проявить себя как командир полка, Барабанов уже несколько раз домогался разрешения взять ее, но Серпилин не разрешал, придерживал.

Пока добрались до Цветкова, бой уже стих. Рвались только одиночные мины.

Серпилин соединился с Пикиным, не ожидая ничего хорошего. Но то, что он услышал, привело его в бешенство. Пикин сказал своим ровным скрипучим голосом: он только что говорил с начальником штаба барабановского полка Туманяном, и Туманян доложил, что он удерживал Барабанова в штабе полка, но тот, сильно выпивши, ушел в батальон, ничего не сказав о своих намерениях, и там, очевидно напившись еще больше, решил ради праздника захватить Бугор. Бугор не захватили: сперва напоролись на минное поле, потом были накрыты минометным и пулеметным огнем и кое-как отошли, понеся потери, какие — еще неизвестно. Но командир батальона убит, это уже известно.

— А Барабанов? — крикнул в трубку Серпилин.

— Жив-здоров, но в полк еще не вернулся.

— Где Левашов? — снова сердито крикнул в трубку Серпилин. — Замполит где, Левашов? Где его совесть?..

Пикин ответил, что о Левашове ему не доносили. Сейчас он узнает, где Левашов, и позвонит.

— Не надо,— сказал Серпилин,— я сам туда поехал. — И положил трубку.

По дороге в барабановский полк ему не повезло. Машина юзом пошла по наледи, чуть не опрокинулась и заехала в воронку от бомбы, так глубоко, что втроем не вытащить.

Выругав шофера и оставив его искать людей и вытаскивать машину, Серпилин с ординарцем пошли пешком.

Там, у Барабанова, по-прежнему с промежутками в три-четыре минуты рвались одиночные мины. Немцы то ли хотели помешать вытащить раненых, то ли просто нервничали.

Когда Серпилин добрался до штаба полка, Барабанов был там. Он уже знал от Пикина, что командир дивизии скоро прибудет, и в ожидании топтался у входа в свою землянку.

Увидев Серпилина, он пробежал несколько шагов навстречу и, вытянувшись, стал докладывать. Руку при докладе не приложил, а уткнул в ушанку, чтобы не двигалась, пытаясь — подлец — делать вид, что не пьян. Стоял навытяжку, живой, здоровый, без единой царапины, не замечая, что хотя рука не дрожит, но самого поводит то в одну, то в другую сторону.

«До чего напился,— с отвращением подумал Серпилин,— до сих пор хмель не вышибло!» И, прервав бессвязный доклад Барабанова, обратился к хмуро стоявшему рядом с Барабановым начальнику штаба майору Туманяну:

— Доложите вы.

Туманян доложил подробности. Убит командир батальона капитан Тараховский, больше убитых нет. Но раненых одиннадцать, и есть тяжелые; повезли в медсанбат, но неизвестно, довезут ли живыми. Тараховский, когда подорвались на минном поле, был еще жив. Барабанов вынес его оттуда на себе, а умер Тараховский, уже когда тащили сюда на волокуше.

— Вон он лежит,— показал Туманян.

Он был вообще мрачный, неразговорчивый человек, а сейчас, рассказывая, выдавливал слова по одному, медленно и угрюмо, переживая случившееся.

Серпилин с минуту смотрел на мертвого. Потом разогнулся и посмотрел на Барабанова, который тоже подошел к волокуше и стоял рядом, ожидая последствий. Как ни был пьян, а что последствия будут, понимал.

Увидев, что Серпилин смотрит на него, Барабанов попытался сказать что-то, казавшееся ему необходимым и достойным, насчет того, что ответственность целиком на нем. Но Серпилин посмотрел на него с такой ненавистью, что он смолк на полуслове.

— А где замполит? — Серпилин повернулся к Туманяну.

— Контужен,— сказал Туманян.

— Контужен! — с новым приливом гнева воскликнул Серпилин. — С ним ходил? — ткнул он пальцем в Барабанова.

Туманян объяснил, что замполит Левашов был в другом батальоне, но подоспел, когда стали вытаскивать раненых. Хотел убедиться, всех ли вытащили, и при разрыве одиночной мины был контужен.

— А раненых всех вынесли?

— Всех.

— Всех до одного?

— Я лично проверил,— взмахнув руками, вмешался в разговор Барабанов.

Но Серпилин, не глядя на него и обращаясь к Туманяну, повторил свой вопрос.

— Так точно,— сказал Туманян. — Из батальона донесли, что всех.

— А вы лично проверьте,— сказал Серпилин. — Не он, а вы лично проверьте. И мне донесите.

Потом, по-прежнему не глядя на Барабанова, добавил со свирепым спокойствием, за которым чувствовался душивший его гнев:

— Майора Барабанова от командования полком отстраняю. Исполнять обязанности командира полка приказываю вам. Барабанова отправьте спать, а через два часа, когда проспится, пришлите в штаб дивизии. Вопросы ко мне есть?

— Батальонного комиссара Левашова хотели в медсанбат вывезти, а он отказался, пока вы не приедете, хотел вас видеть.

— Вот еще, ей-богу... — рассердился Серпилин. — Не могли раньше сказать!

— Не счел возможным, товарищ генерал, перебить вас.

— Ну вот, теперь вы мне еще дисциплинарный устав разъясните! Где Левашов?

— У себя в землянке.

— Можете не сопровождать,— сказал Серпилин, видя, что Туманян двинулся за ним. — У вас поважней дела есть.

Когда он, уже подойдя к землянке замполита, оглянулся, Туманян все еще стоял на месте, наверно что-то обдумывая в связи со свалившимися на него новыми обязанностями.

«Да поворачивайся ты хоть сейчас! Ну не на третью, так хоть на вторую скорость перейди!» — готов был крикнуть Серпилин этому умному и дельному, но слишком неторопливому человеку, который, не будь он таким канительным, давно бы уже, и по справедливости, сам командовал полком.

Туманян, словно услышав мысли Серпилина, наконец повернулся и двинулся своей медленной медвежьей походкой, а Серпилин открыл дверь и вошел в землянку.

Замполит полка Левашов лежал на топчане. При виде Серпилина он сдернул с головы и бросил на пол что-то белое, спустил с топчана ноги и вскочил. Но его сильно шатнуло. И он опустился обратно на топчан.

— Сиди,— удержал его Серпилин. — Чем лечишься? — И, по лицу Левашова поняв, что тот не услышал вопроса, повторил громче: — Чем лечишься?

— Холод прикладываю,— сказал Левашов; по лицу его текла вода. На полу лежала свернутая в несколько раз набитая таявшим снегом рубаха.

— Мозги простудишь,— сказал Серпилин. — Поезжай в медсанбат. Там знают, что делать. Если контузия легкая — отлежишься и вернешься.

— Я поеду,— послушно сказал Левашов,— полежу, сколько скажут. Я вас хотел дождаться.

— Слушаю тебя,— сказал Серпилин, не упрекая Левашова за то, что отказался сразу ехать в медсанбат. Раз, несмотря на боль, которую, судя по лицу, еле переносит, все же отказался, значит, была причина.

— Товарищ генерал, я вам лично хотел сказать: у людей после этой глупости такое настроение, что хочешь не хочешь, а надо этот Бугор добить. И чем скорей, тем лучше. Стыдно и совестно перед солдатами. Злоба у них против немцев...

— И против вас тоже.

— И против нас.

— Это и хотел мне сказать?

— Да.

— Как же ты допустил, а, Левашов? Как же вы с Барабановым в такую минуту в разных батальонах оказались?

— Моя вина,— сказал Левашов. — Надоело с ним, с пьяным, возиться, слушать его ахинею: «Не уважаешь меня, замполит... Не пьешь со мной, замполит. Раз не пьешь, значит, политдонесение на меня готовишь!» Плюнул на него, дурака, и ушел в батальон.

— Обиделся?

— Обиделся.

— Ты обиделся, а люди пострадали. Политработникам нельзя обижаться.

— Я это знаю,— горько сказал Левашов.

Его красивое лицо было бледным, без кровинки, а обычно веселые, отчаянные глаза прищурились от боли.

— Ну ладно, Левашов,— встал Серпилин. — У меня служба. Надо еще по начальству доносить о ваших художествах.

Он протянул Левашову руку, и тот, крепко стиснув ее, настойчиво, умоляюще сказал:

— Прикажите нам взять Бугор, товарищ генерал. Если набьем там фашистов, то все же у людей меньше осадка останется! И Тараховского там на Бугре закопаем.

Когда Серпилин вышел из землянки и подошел к машине, Барабанов все еще стоял там, ожидая его.

— Товарищ генерал-майор! — шагнув к Серпилину, воскликнул Барабанов.

Но Серпилин ничего не ответил.

«Убийца чертов!» — подумал он, уже сев в машину и в последний раз увидев лицо пытавшегося еще что-то крикнуть сквозь заиндевевшее стекло бывшего командира полка Барабанова.

Вернувшись к себе, Серпилин позвонил командующему армией, чтобы доложить о случившемся и о произведенном им отстранении командира полка.

По укоренившейся привычке без отлагательств докладывать и о хорошем и о дурном позвонил сразу же, едва войдя в землянку.

Командующий спал, да и не мудрено: было рано.

— Будить? — спросил адъютант.

— Нет, доложите, когда проснется, что звонил.

Сам он спать не мог и не пробовал ложиться. Перед глазами стояло лицо убитого командира батальона, не мертвое, залепленное замерзшей кровью, запрокинутое на волокуше, а живое, улыбающееся, когда ему вручали за ноябрьские бои орден Красного Знамени.

«Всего-навсего позавчера!»

Вспомнив об этом, Серпилин взял из папки заготовленное, но еще не подписанное представление на убитого комбата, лежавшее там вместе с выпиской из послужного списка.

«Не дожил, бедняга, до нового звания».

Из выписки можно было узнать, что капитану Тараховскому, который сегодня, как выражаются писаря, «убыл из дивизии по причине смерти», было 32 года от роду, что родом он из Нижнешадрина на Енисее, до службы в армии был промысловым охотником, в армии прослужил 11 лет, имел жену и пятерых детей.

— Успел! — укоризненно вслух проговорил Серпилин.

Пятеро детей, которых так некстати успел завести Тараховский, делали пьяную удаль Барабанова еще подлей.

«А все я! — подумал Серпилин. — Надо было сперва ехать не к Цветкову, а к Барабанову».

Он положил кулаки на стол и тяжело задумался.

Если уже брать на себя часть вины за случившееся, дело заключалось не в том, куда он поехал сначала, а куда потом.

Еще неделю назад ему стало ясно, что на Барабанова как на командира полка трудно положиться, в общем-то и замена под рукой — Туманян. И однако, Барабанов до сего дня оставался командиром полка.

Почему?

Тут было две правды: да, его, Серпилина, не могли упрекнуть в том, что он любитель спихивать на чужую шею выпавшие на

его долю неудачные кадры, хватало характера самому мучиться с ними,— это была первая, утешительная, правда. А другая, неутешительная, состояла в том, что он своими слишком поспешными настояниями убрать Барабанова не хотел портить отношений с командующим армией, и так сложившихся не лучшим образом. До своего назначения на полк Барабанов полтора года был адъютантом у Батюка и выходил с ним из двух окружений, в первый раз спас его, а во второй раз был спасен им. Серпилин понимал цену стоявшей за этим привязанности и не считал ее слабостью командующего. Слабостью было другое: что Батюк уступил просьбе своего любимца и, присвоив Барабанову майора, отправил его на полк —«расти», хотя командовать полком Барабанов не мог и начинать «расти» ему надо было с другой должности.

— Бери его к себе командиром полка, не раскаешься,— сказал Серпилину командующий.

Это была просьба-приказ, и Серпилин подчинился тогда этой просьбе-приказу, а потом, когда уже стало ясно, что Барабанов командует полком безграмотно, не поставил сразу же вопрос о его несоответствии занимаемой должности — отложил.

Барабанов был из тех людей, что стремятся возместить храбростью все, чего им не хватает. Это опасные люди. Он был неумен, храбр, властен и нетерпим к чужим мнениям. Кроме того, он пил.

В неподписанном представлении на Тараховского было сказано: «Смел и инициативен».

«Да, инициативен,— подумал Серпилин,— и не раз доказал это, командуя батальоном. А вот на то, чтобы удержать командира полка от пьяного безумства, инициативы не хватило!.. А как удержать? — подумал он, реально представив себе всю картину происшедшего ночью в батальоне у Тараховского.— Удержать силой? Но Барабанов, не задумываясь, вытащил бы пистолет! Разоружить и позвонить через его голову в дивизию? Но Барабанов наверняка ссылался на то, что у него есть приказ из дивизии. Потребовать письменного приказа и в ответ получить в лицо труса? «Ладно, трус, сиди на КП, я сам, без тебя, пойду!» Не любят у нас этого, и легче всего толкнуть человека на любую нелепость, швырнув ему в лицо — «трус». К сожалению, так. И этим пользуются такие, как Барабанов, и рангом ниже, и рангом выше... Да, чего-то не хватило у Тараховского, чтобы удержать Барабанова. Вместо этого пошел с ним и погиб... Мертвые сраму не имут!»

«А я сам,— вдруг подумал Серпилин о себе,— мы сами? У самого-то всегда ли хватает всего, что надо в таких случаях?»

Барабанов вошел в перетянутом новыми ремнями коротком черном полушубке, прикрыл за собой дверь и, вытянувшись, отрапортовал о прибытии.

Серпилин со злостью посмотрел на знакомый черный полушубок, в котором Барабанов продолжал ходить, несмотря на полученное неделю назад замечание, что он демаскирует этим на передовой не только себя, но и других. В этом идиотском упрямстве была вся натура Барабанова.

Лицо Барабанова было наглое и несчастное. Серпилин встал, поправив сползший с одного плеча полушубок. Печку топили не досыта даже в блиндаже у командира дивизии.

— Докладывайте о ваших... — Серпилин хотел охарактеризовать то, о чем должен был доложить Барабанов, но так и не нашел слов: на язык лезла только матерщина. — Ну?

Барабанов стал докладывать, а Серпилин, не глядя на него, ходил по землянке и думал, что, судя по докладу, Барабанов еще мечтает выкрутиться.

«Надеется на командующего или на то, что не захочу к невыгоде для себя раздувать историю, случившуюся в дивизии».

Так это было или не так, но ему захотелось разом положить конец надеждам Барабанова.

— Если рассчитываете, что не дам делу полного хода, ошибаетесь,— сказал он, прервав Барабанова.

— Я ни на что не рассчитываю,— сказал Барабанов,— я кровью смою свой грех, только дайте возможность.

Да, конечно, оставшись командиром полка, Барабанов, чтобы смыть свой грех, завтра же полезет в любое пекло, и полезет не один, а потащит за собой людей, за которыми нет грехов и которым нечего смывать с себя.

Эта мысль не дала Серпилину смягчиться, хотя готовность Барабанова ради искупления греха пойти на смерть не вызвала у него сомнений.

«В штрафном батальоне, с винтовкой в руках будешь смывать свой грех»,— хотел сказать Серпилин, но, хотя он твердо решил сделать для этого все, что потребуется, окончательное решение зависело не от него, и он не мог позволить себе бросать слова на ветер. Поэтому промолчал.

— Разрешите продолжать? — тяготясь наступившим молчанием, спросил Барабанов.

— Продолжайте.

Когда Барабанов доложил все, от начала до конца, от того, сколько он выпил, вернувшись в полк, и до того, как он лично на спине вытащил из огня Тараховского, Серпилин спросил:

— Когда организовывали атаку, ссылались на мой приказ?

И по крошечной паузе, которую сделал Барабанов перед тем, как сказать «нет», понял: ссылался! Ссылался потому, что был пьян; в трезвом виде он слишком военный человек, чтобы пойти на это.

— В ответ на возражения Тараховского обзывали его трусом?

— Не помню,— сказал Барабанов. Потом посмотрел в глаза Серпилину и сказал: — Обзывал.

Встретясь глазами с Барабановым и очутившись во власти пришедшей в голову неожиданной мысли, Серпилин подошел к столу и, перевернув свой лежавший на столе блокнот, пододвинул его к Барабанову.

— Садитесь за стол и пишите.

— Что писать, товарищ генерал? — спросил Барабанов, беря карандаш багровыми, опухшими пальцами.

«Обморозил сегодня ночью»,— мельком подумал Серпилин, взглянув на эти пальцы.

По лицу Барабанова видел: думает, что ему предстоит сейчас писать объяснение на имя командира дивизии; ему и в голову не приходит, что речь идет совсем о другом.

— Пишите лично, своей рукой, похоронную жене Тараховского. Пишите, как вы убили ее мужа... Ей и пятерым ее детям... Что смотрите на меня?

Но Барабанов продолжал молчать и смотреть в лицо Серпилину, с силой сжимая карандаш в своих обмороженных пальцах.

То, что сказал ему Серпилин, было невероятно, не лезло ни в какие ворота.

— Как же так — написать, что я убил? Что я, Петрушка, что ли? Лучше трибунал, что хотите,— наконец сказал сильно побледневший Барабанов.

Но Серпилин, которому мысль — заставить Барабанова лично написать письмо жене убитого — пришла совершенно внезапно, не собирался отказываться от нее. Мысль была жестокая, но справедливая.

— Не могу я написать, что я его убил, товарищ генерал,— побледнев еще больше, повторил Барабанов.

Лицо Серпилина оставалось спокойным, и от этого Барабанову стало еще страшнее.

— Я не требую, чтобы вы писали именно эти слова,— помолчав, сказал Серпилин.— Вы просто опишите его жене,— он пододвинул по столу к Барабанову выписку из послужного списка Тараховского,— и детям все, как было. А они уж сами сделают вывод, кто его убил, вы или немцы, если честно напишете... Что смотрите на меня?.. Я не шучу.

Барабанов инстинктивно придвинул к себе документы Тараховского, увидел графу «семейное положение» и, вдруг почувствовав, как у него темнеет в глазах, выпустил из пальцев карандаш и поднялся. Грубый и сильный человек, он был близок к обмороку от испытанного душевного потрясения.

— Товарищ генерал, даю вам честное слово, я напишу, но разрешите поехать к себе в полк, не могу при вас... — сказал Барабанов мертвым голосом.

— Не можете,— сказал Серпилин,— а по делу надо было бы вас заставить не только вдове комбата написать, а и семьям тех солдат, которых вы ни за понюшку табаку загубили. Уже звонили из медсанбата, докладывали, что трое умерли. — Он пригасил свой вновь вспыхнувший гневом голос. — Можете идти.

Барабанов откозырял непослушной, ватной рукой и пошел к двери, но у самой двери повернулся.

— А что потом с письмом? — растерянно спросил он. До сих пор он думал только о том, как будет писать это письмо; мысль — что потом? — пришла ему в голову лишь теперь.

— Пошлем ей,— сказал Серпилин.

— Да разве можно в тыл такое письмо? — крикнул Барабанов.

— А что ж,— сказал Серпилин,— вы будете творить тут у всех на глазах такие дела, а там, в тылу, никто ничего не должен знать об этом?

Несмотря на все свое волнение, Серпилин знал, конечно, что никакая военная цензура не пропустит в тыл такое письмо, да и, не будь цензуры, он сам бы не отправил: это было невозможно.

Но Барабанов все равно должен был написать это письмо.

— Идите, у меня все!

Барабанов молча повернулся и вышел.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда в десятом часу Серпилин доложил по телефону командующему об отстранении Барабанова, Батюк горестно выругался, согласился с отстранением командира полка впредь до разбора дела и оборвал разговор, сказав, что сейчас у него будут гости; он сам позвонит после их отъезда.

«Наверное, командующий фронтом приехал»,— подумал Серпилин и вызвал к себе Пикина.

После того как Сталинградский фронт в декабре остановил и разбил под Котельниковом шедшую на выручку Паулюсу

армейскую группу Гота и пошел дальше к Ростову, в армиях, окружавших Сталинград, началась подготовка к штурму. Операция предполагалась с решительным исходом, все войска были объединены в одних руках, подчинены Донскому фронту, и на фронте сидели представители Ставки.

У Серпилина, как и в большинстве дивизий, был свой план боев местного значения, которые предстояло провести, чтобы улучшить исходное положение перед общим наступлением.

Треклятым Бугром, где разыгралась сегодняшняя драма, предполагалось заняться через три-четыре дня, но Левашов прав: после случившегося в первую очередь надо покончить именно с этим Бугром. Теперь в этом есть не только тактическая, но и психологическая потребность.

— Ну, что скажешь, Геннадий Николаевич? — спросил Серпилин, когда злой, невыспавшийся Пикин появился у него в землянке со своей вечной папкой под мышкой.

— Барабанов — стервец! А Тараховский — размазня, был о нем лучшего мнения.

— Полегче о мертвых.

— Ничего, с того света не услышит! — непримиримо сказал Пикин. — Обязан был взять трубку и доложить: командир полка пьян и толкает меня на авантюру!

— Верно, Геннадий Николаевич. Верно, и, казалось бы, чего проще. Но прежде чем других судить, иногда подумаешь: а если на самого себя в зеркало взглянуть?

— А я каждое утро, когда бреюсь, гляжусь! — сказал Пикин. По резкости его ответов чувствовалось, как он тяжело переживает случившееся, но у каждого своя натура.

— Ладно, оставим это,— сказал Серпилин. — На Тараховского все равно живой водой не брызнешь, а вот на его батальон, на полк? Что думаешь по этому поводу?

— Надо брать Бугор. Я потребность в огне уже прикинул,— сказал Пикин, открывая свою папку.

И Серпилин обрадовался, что они опять, как это уже не раз случалось, порознь, не сговариваясь, пришли с начальником штаба к единому мнению.

Они около часа работали вдвоем, обдумывая предстоящий бой, потом Пикин ушел, а Серпилин уже собрался было прилечь на часок поспать, как вдруг затрещал телефон и Туманян доложил, что майор Барабанов застрелился у себя в землянке.

— Сейчас еду к вам,— сказал Серпилин и положил трубку.

Потом снова взял ее и позвонил в армию. Командующего не было на месте, начальника штаба тоже. В конце концов он дозвонился до члена Военного совета, бригадного комиссара Захарова.

— Слышал о ваших делах,— сказал Захаров.

— Это еще не все,— сказал Серпилин, преодолев желание сперва съездить в полк, а потом уже докладывать. — Барабанов застрелился. Еду в полк.

— Вот дурья башка! — охнул в трубку Захаров. — Как это случилось?

— Не знаю.

— А где Бережной?

Серпилин объяснил.

— Ладно, езжай в полк,— сказал Захаров. — Командующему сообщу, но он еще долго будет занят, а я приеду часа через два. Уже вернешься?

— Вернусь.

Всю дорогу в полк Серпилин ехал в машине молча, думая о том, что хотя Барабанова и не любили в полку, но то, что он застрелился, все равно произведет на людей тяжелое впечатление.

Он и теперь, после всего случившегося, не каялся в том, что приказал Барабанову писать это письмо. Он был виноват в другом — в том, что не поставил в свое время вопрос о снятии Барабанова с полка. Было ясно, что надо ставить, а он не поставил. С этого все и началось.

Он вошел в землянку Барабанова, ожидая увидеть там его тело. Но в землянке валялся на койке только черный полушубок Барабанова да на затоптанном валенками полу темнело пятно крови. Туманян доложил, что уже после того, как он позвонил, в Барабанове обнаружились признаки жизни и его увезли в медсанбат.

— Ну и что? — быстро спросил Серпилин.

— Еще не знаем.

Серпилин сел за стол и приказал соединить себя с медсанбатом. Держа в руке трубку и дожидаясь, когда его соединят, он смотрел на лежавший посреди стола недописанный лист бумаги.

«Уважаемая Варвара Аммосовна,— было написано там. — Как командир полка, должен известить вас и вашу семью о постигшем вас горе. Ваш муж, капитан Тараховский Николай Константинович, пал сегодня в ночном бою смертью храбрых. Я лично, как командир полка...» На этом письмо Барабанова обрывалось. Он так и не смог написать, что же сделал он «лично, как командир полка...». Предпочел умереть, чем объяснить это.

Голос из медсанбата был еле слышен. Со связью, как назло, не ладилось. Серпилин назвал себя и спросил, как положение с

Барабановым. Он не сразу понял слово, которое ему несколько раз повторяли, и только потом понял: «извлекают».

Операция только началась. Значит, почему-то дальше, в госпиталь, не повезли. Решили делать в медсанбате.

— Пулю извлекают,— сказал Серпилин Туманяну и еще нескольким столпившимся в землянке офицерам. — Может, еще выживет. — И, приказав, чтоб ему позвонили, когда закончится операция, положил трубку.

Туманян, как всегда неторопливо, начал излагать подробности — как он вошел, как увидел лежавшего на полу Барабанова, как крикнул ординарца, как они подняли и положили Барабанова на койку, как он сначала позвонил Серпилину, а потом уже прибежала врачиха и обнаружилось, что Барабанов еще жив.

— А где она? — спросил Серпилин о враче.

— С ним в медсанбат поехала,— сказал Туманян. — Совсем с ума сошла женщина! — На его угрюмом длинноносом лице впервые за все время выразилось волнение.

Серпилин ничего не ответил. Он знал, что Барабанов был холост, жил, как с женой, с уже немолодой — старше его — врачихой из полевого госпиталя, которая, когда он пошел на полк, тоже добилась перевода сюда.

— Долго он лежал тут, пока вы не вошли?

Туманян пожал плечами:

— Не знаю.

Серпилин пробыл в полку час, отдавая распоряжения, имевшие отношение к предстоящему бою за Бугор, потом посмотрел на часы и заспешил в дивизию.

Из медсанбата позвонили уже перед самым его отъездом, сказали, что пуля извлечена, но состояние пока тяжелое, поручиться за жизнь нельзя.

Когда Серпилин вернулся к себе, Захаров еще не приехал. Бережной тоже не возвращался, из Зубовки уехал, а в медсанбат не прибыл, и неизвестно было, где его искать. Вполне возможно, что решил десяток километров протопать вместе с пополнением. Это в его натуре.

«Вот уж кто будет переживать!» — подумал Серпилин, пожалев, что с ним рядом нет сейчас Бережного.

«Все-таки вместе было бы легче говорить с Захаровым. Второй самоубийца на моей душе. Тогда Баранов, теперь Барабанов».

Он мысленно поставил эти имена рядом, по вдруг поразившему слух созвучию, хотя ничего общего, кроме созвучия имен, не было ни между этими двумя людьми, ни между обстоятельствами, в которых они оба сделали это.

Тогда, в сорок первом, солгал вдове Баранова: «Пал смертью храбрых...» Теперь лгать некому и незачем! Эта врачиха, которая сейчас там, в медсанбате, все сама знает о своем Барабанове, и хорошее и плохое. Может быть, сегодня ночью даже и пила вместе с ним, а он перед ней кочевряжился, а потом полез на передовую... А может, и нет. Левашов говорил про нее, что она оказывает на Барабанова хорошее влияние.

— Некому и незачем,— вслух повторил он.

«Как так некому? А вдове Тараховского? А семьям тех солдат, что были тяжело ранены и умерли в медсанбате, тоже ведь будем писать, что пали смертью храбрых, как говорится, не вдаваясь в подробности... И ничего другого не сделаешь и нельзя сделать».

Он снова вспомнил о Баранове и задумался: почему столько людей тогда, в сорок первом, растерялись, не выдержали?

Говорят, если водолаза сразу, одним махом, без остановок погружают на всю глубину, то кровь ушами идет. Так и с людьми на войне. Один выдерживает, а у другого кровь ушами идет, если сразу опустить на всю глубину ответственности... Сейчас стали победы одерживать, но война все равно никогда не сахар, особенно если не выпускать из памяти, что люди умирают каждый день и час. Написал в приказе букву — а кто-то умер. Провел сантиметр по карте — а кто-то умер. Крикнул в телефон командиру полка «нажми»,— и надо крикнуть, обстановка требует, — а кто-то умер... Закончил в июне месяце генерал-майор Серпилин формирование своей дивизии, девять тысяч человек... А сколько из них осталось в строю на нынешний день? Да и не за девять тысяч человек ответственность, а, считая детей, и жен, и матерей, у которых единственные и не единственные, пожалуй, за все сорок тысяч человек, если не больше, легла ему ответственность на плечи тогда, в июне сорок второго. И уже не в первый раз за войну, и до этого ложилась... Паскудное дело война, и самое паскудное, что раньше конца все равно не кончится. И каждая стрела на карте, и каждый приказ — кому-нибудь смерть... «Так как же ты можешь, сволочь, в пьяном виде приказывать?» — со вновь вспыхнувшим против Барабанова гневом подумал Серпилин.

Но он не поддался этой вспышке гнева, и не потому, что она была несправедлива, а потому, что человек, ее вызвавший, был сам сейчас между жизнью и смертью, взял трубку и позвонил в медсанбат.

Хирург доложил, что Барабанов все еще не вышел из шокового состояния.

— Ясно. Позвоните мне сами,— сказал Серпилин.

Бригадный комиссар Захаров вошел в землянку один, без сопровождающих, выслушал рапорт, пожал руку Серпилину и стал расстегивать крючки полушубка. Полушубок не сразу скинулся с его грузных плеч — рука застряла в рукаве. Серпилин сделал шаг, чтобы помочь, но Захаров уклонился, отступил на шаг, поспешно сдирая с себя полушубок.

— Спасибо за гостеприимство, Федор Федорович, но неловко: ты годами старше меня.

Он повесил полушубок, снял ушанку, пригладил короткие волосы на седой круглой голове и сел напротив Серпилина.

— Откровенно говоря, повезло тебе, что мне, а не командующему докладываешь,— рвал и метал в телефон, когда от меня о самоубийстве услышал! Что, Бережного еще нет?

Серпилин ответил, что Бережного еще нет, и начал свой доклад с последнего звонка в медсанбат.

На лице Захарова откровенно выражалось все, что он чувствовал по ходу рассказа.

Бригадный комиссар Захаров не имел привычки скрывать свои чувства, не стеснялся думать вслух, а говорил, за редкими исключениями, то, что думал. Хотя они воевали вместе не так уж давно, Серпилину казалось, что он знает Захарова давно и хорошо не только потому, что Захаров много бывал в дивизии у Серпилина, но и потому, что оба они в общем-то были люди одной судьбы. Один командовал в гражданскую батальоном и полком, другой был политруком эскадрона, и оба протрубили в Красной Армии ровно столько, сколько она существовала. Правда, у Захарова не было четырехлетнего перерыва, как у Серпилина, но, хотя они никогда не говорили на эту тему, Серпилину казалось, что и Захарову с его прямым характером, наверное, нелегко дались те годы. Не зная ничего определенного, он думал о Захарове именно так, и ему было легче оттого, что сейчас, в невеселую минуту, напротив него сидел не кто-нибудь иной, а бригадный комиссар Захаров, которого в армии солдаты звали за глаза Костей за его открытую душу и всем очевидную храбрость и за то ощущение его близости к себе, которое русские люди выражают одним словом — «простой», вкладывая в это слово самый высокий и похвальный смысл.

Когда Серпилин дошел до того, как приказал Барабанову писать письмо, Захаров вздохнул и поморщился. Он предпочел бы не слышать этого.

Серпилин и сам понимал всю тяжесть для себя того, что он сейчас рассказывал Захарову. Умри Барабанов, и, нет сомнения, найдутся охотники сказать: глумился над командиром полка, довел до самоубийства. Могут и дело завести, и с дивизии снять...

Однако, как бы там ни обернулось в дальнейшем, Серпилин считал необходимым говорить все, как было, не ставя меру откровенности рассказа в зависимость от того, умрет или выживет Барабанов.

— В чем считаешь причину, будем пока говорить, попытки к самоубийству? — спросил Захаров, упорно молчавший, пока Серпилин не договорил до конца.

— Причина — мой разговор с ним.

— Если бы не удержался — под горячую руку дал ему в морду, пьяному дураку, такой, как он, легче пережил бы! — сказал Захаров.

— Этому не научен,— сказал Серпилин. — Меня били, я не бил, не признаю пользы этого.

— А от твоего разговора вышла большая польза! —сказал Захаров.— Человек мог бы еще воевать, а он пустил себе пулю...

— Не подумал о такой возможности.

— Плохо знаешь людей.

— Видимо, так,— сказал Серпилин, хотя был не согласен с тем, что плохо знает людей.

Захаров понял, что ответ не откровенен, и спросил:

— Значит, не рассчитывал, что совесть в нем заговорит?

— Не рассчитывал.

— А зачем же тогда письмо писать заставлял, если не рассчитывал? Ну, написал бы он тебе письмо и не застрелился, что б ты с письмом делал? В тыл ведь не послал бы?

— Не послал бы.

— Так для чего же заставил писать? Чтоб совесть в нем заговорила? Или так, или я тебя не понимаю! И не крути со мной, пожалуйста!

— А я не кручу с вами, товарищ член Военного совета... — начал было Серпилин, но Захаров прервал его.

— Брось, брось, слышишь, брось! — закричал он. — Я с тобой по-товарищески говорю, брось ты это со мной!

От гнева у него вздулись жилы на лбу.

— Я не кручу с тобой, Константин Прокофьевич,— тихо, уже без вызова повторил Серпилин. — В таких вещах не сразу сам разберешься. Конечно, подумал о совести. А о возможных последствиях — нет.

— Вот именно,— сказал Захаров. — А когда в человеке совесть с предохранителя соскочит, а особенно если она у него заржавелая,— тут все может быть. Ты не подумал, а теперь пойдет писать губерния... — Он неопределенно повел рукой. — Какое

мнение имел, что делать с Барабановым, если бы... — Он не договорил. Все было ясно и без того.

— Трибунал и штрафной батальон,— сказал Серпилин. — Если бы свыше не спасли.

— Кто это «свыше»? Я, что ли? — спросил Захаров.

Серпилин пожал плечами и не ответил. Он сказал, его поняли, а называть вещи своими именами в данном случае не хотел.

— Да-а. Командир полка все-таки фигура,— сказал Захаров, встав и пройдясь по землянке.

Серпилин молчал.

— Что молчишь?

Не хотелось сейчас плохо говорить о Барабанове, но на прямой вопрос приходилось отвечать то, что думал.

— Вот именно — фигура,— сказал Серпилин.

— Да,— сказал Захаров. — А командующий говорил, что хорош был Барабанов в сорок первом, очень хорош; и в сорок втором, когда из харьковского окружения выходили, тоже себя проявил. Выходит, был хорош, а стал плох?

— Не знаю,— сказал Серпилин. — Наверное, и сейчас можно найти ему дело, на котором будет хорош. Знаю одно: полком командовать не может. И кляну себя, что не добился его снятия.

— Не добился! Ишь ты какой! — сказал Захаров. — А что, разве тебе такая власть дана — раз-два, и добился?

И хотя внешне то, что он сказал, было щелчком по носу Серпилина, на самом деле фраза его имела другой, более важный смысл: командующий был упрям и нетерпим и работать с ним было трудно не только Серпилину, но и Захарову.

— Все равно,— сказал Серпилин,— я обязан был ставить вопрос, раз так считал!

Захаров посмотрел на него, отвернулся и еще несколько раз прошелся по землянке взад и вперед.

Серпилин снял телефонную трубку. Звонили из медсанбата, у хирурга был довольный голос.

— Все в порядке, товарищ генерал. Из шокового состояния вышел, непосредственной опасности больше нет. Но, дело прошлое, еще бы на три миллиметра левее — все!

Серпилин положил трубку и глубоко вздохнул.

— Значит, жив,— сказал Захаров; он понял это по лицу Серпилина раньше, чем тот заговорил. — А не приходит тебе в голову, Федор Федорович, что у него рука не случайно ошиблась? Ответственности боялся, а до конца убить себя все же не захотел. Могло так быть?

— Нет,— сказал Серпилин. Сказал с уверенностью, потому что вспомнил мертвый голос Барабанова, которым тот просил отпустить его в полк. Тогда он не понял этого голоса, а сейчас вспомнил и понял. — Он солдат, а не шут гороховый. Стрелялся всерьез.

— Сейчас позвоню командующему,— сказал Захаров. — Если там ничего не горит, поедем с тобой в полки.

— Разрешите оставить вас? — спросил Серпилин.

— Если насчет обеда,— сказал Захаров,— в полку пообедаем.

— Разрешите, я сейчас вернусь? — повторил Серпилин, не вдаваясь в объяснения.

Он действительно хотел распорядиться насчет обеда, но если предстояло обедать не здесь, а в полку, то позвонить туда все равно было нелишне.

Захаров махнул рукой и взялся за телефон.

Когда Серпилин через пять минут вернулся, Захаров стоял одетый.

— Поедем? — спросил Серпилин, в свою очередь надевая полушубок.

— Поедем, да только не куда собирались. — Лицо у Захарова было недовольное. — Командующий просил меня приехать и тебя с собой взять. Тебя в Москву вызывают. — Он, как показалось Серпилину, хотел добавить еще что-то, но удержался.

Захаров сел впереди, рядом с шофером, а Серпилин — на заднем сиденье один.

Ехали молча. Захаров, всю жизнь прослужив в армии, знал, конечно, что его водителя за тот час, пока начальство сидело в блиндаже, уже успели просветить. А все же возвращаться при нем к разговору о Барабанове не хотел.

О том, почему Серпилина вызывают в Москву, говорить тоже не приходилось. На вопрос Захарова по телефону — какая причина, Батюк коротко ответил: «Приедешь, объясню».

Лишний раз показал свой нрав, бурбон! А теперь Серпилин едет там, сзади и зря обижается на него, Захарова.

А в самом деле, зачем вызывают? Не такая великая птица командир дивизии, чтобы перед боями перекидывать его с фронта на фронт через Москву. Да на это и не похоже, тем более что как раз сегодня с утра командующий фронтом завел разговор совсем о другом. Начальника штаба армии забирали во фронт на оперативное управление. Это было дело предрешенное. Командующий фронтом назвал кандидатуру для замены, но она не встретила сочувствия у Батюка.

— Ну что ж,— сказал командующий фронтом,— раз, как всегда, со стороны брать не хотите, подумайте о своих. Вот Серпилин у вас есть — командир дивизии, академик, считался когда-то у нас в академии одним из сильнейших на курсе. Подумайте о нем.

— Подумаю,— неопределенно сказал Батюк.

Чем закончился разговор, Захаров не знал: командующий фронтом забрал с собой Батюка, и они вместе уехали в только что прибывшую тяжелую артиллерийскую бригаду резерва Главного командования.

Но если даже дело решилось, все равно нет нужды вызывать Серпилина в Москву. Утвердят и заочно.

«Так чего ж его вызывают? Снимают в связи с самоубийством Барабанова? Но ведь уже известно и командующему по телефону сказано, что Барабанов, видимо, останется жив. А впрочем, по-всякому бывает!»

Захаров знал, как иногда такие дела вдруг черт его знает по каким каналам доходят до самого верха и за одни сутки разгораются в целый пожар. И хоть ты и член Военного совета, а, смотришь, все это мимо тебя свистит, как будто тебя и нет.

«Нет, тут уж я грудью стану, будь что будет»,— сердито подумал Захаров.

Он снял ушанку, поерошил волосы и повернулся к шоферу. К долгому молчанию Захаров был неспособен, даже находясь не в духе.

— Николай, что солдаты в серпилинской дивизии про наступление говорят?

— Не успел узнать, товарищ бригадный комиссар.

— А вчера у Бухвостова, когда с тобой ночевали, чего там говорили?

— Говорили: через неделю должны мы ударить.

— А почему через неделю?

— Шоферы в сторону Камышина за концентратами ездили, говорят, много артиллерии РГК к фронту тянут.

— А почему все-таки неделя?

— А так располагают: пока дотянут, пока на позиции станут, пока приказ вручат — вот и неделя. А больше не располагают. Зачем ей зря стоять? Она же РГК — не только у нас требуется.

— А когда располагаешь Сталинград взять?

— Лично я?

— Лично ты.

— Хорошо бы к двадцать третьему февраля, к годовщине Красной Армии!

— Однако надолго ты операцию запланировал! — усмехнулся Захаров.

— Фрицы дольше брали.

Шофер, вывернув руль и едва не заехав правым задним в обочину, обогнул встречный тягач. «Эмка» с ревом, на первой скорости брала длинный подъем. Разговор оборвался.

Серпилину, все время видевшему впереди себя широкие, распиравшие полушубок плечи Захарова, и в самом деле казалось, что Захаров знает, зачем его вызвали в Москву, но не хочет говорить. Вряд ли что-нибудь доброе. Если бы доброе, Захаров не выдержал бы, порадовал. Да и с какой стати ждать доброго? В конце концов Серпилин утвердился в первой пришедшей ему в голову мысли, что командующий, не дожидаясь никаких разбирательств, собственной рукой дал делу полный ход и попросил убрать от него командира дивизии Серпилина. Батюк вообще, если в армии случалось неприятное происшествие, считал, что, наводя порядок, лучше поторопиться и перешерстить, чем недошерстить. И с точки зрения самосохранения до сих пор всегда оказывался прав.

«Только что-то уж больно быстро он на этот раз прокрутил,— подумал Серпилин. — Что ж, придется опять доказывать, что ты не верблюд».

К этому он был, положим, готов — голову гнуть не собирался. Но пока докажешь, из дивизии все равно выдернут, как зуб.

Он смотрел на дорогу и на все, мимо чего ехали, с особой остротою зрения, рождавшейся от мысли, что, может быть, придется проститься со всем этим.

Ледяная, разъезженная грузовиками дорога с накатанными до блеска буграми и впадинами, такими твердыми, смерзшимися, что, кажется, их не взять никакой весне... Бойцы на грузовиках, с поднятыми воротниками полушубков, в надвинутых на самые глаза ушанках... Все-таки не подвело интендантство — хотя и с запозданием, но полушубков дало много, почти до полной потребности. С убитых, если не оставались под огнем на ничейной земле, а была возможность их подобрать и похоронить, полушубки снимали; клали в братские могилы в одном обмундировании. Это было в порядке вещей и не могло быть иначе, но сейчас Серпилин с печалью подумал об этом и даже зябко передернул плечами, словно это не их, а его клали в ледяную, неглубокую могилу в одном обмундировании, без полушубка и валенок...

Невеселые для зимнего наступления места! Сколько видит глаз — ни одного населенного пункта. Все живое живет и мерзнет в землянках или приткнулось к редким развалинам, оставшимся после осенних боев. К таким, как вот эти двухметровые кирпичные стенки свинофермы, в полукилометре от дороги... Взяли ее в первый день ноябрьского наступления. Был здесь сутки НП дивизии, потом сутки КП, потом штаб артполка, тоже ушедшего вперед, а теперь уже месяц жил второй эшелон. Набилось там — один к одному, как сельдей в бочке, но держатся за это место: все же стены да и близко от дороги.

На одном из встречных грузовиков везли знакомые ящики с концентратами.

«Опять пшенный, зарядили на всю неделю»,— подумал Серпилин.

С харчами на фронте последний месяц было неплохо. А с топливом — бедственно. Телеграфные столбы в глубоком снегу поодаль от дороги — самые верные свидетели! К каждому протянулось от дороги по нескольку цепочек следов. А у столбов для несведущего глаза странный вид. От подножия и на высоту поднятой человеческой руки все они — словно одинаково выточены на громадном токарном станке — кверху и книзу расширяются до нормальной толщины, а в середине обструганы до пределов возможного. На каждом оставлено ровно столько дерева, чтоб не сломался от ветра. И все это по ночам, когда нет постороннего глаза, натворили солдатские руки. Идет солдат ночью, свернет с дороги к столбу, сострогнет несколько щепок, сунет их в валенок и пойдет дальше. Огонь развести в такую зиму каждому хочется. А чем его разведешь, когда кругом ни дерева, а все, что можно было сжечь — и плетни, и заборы, и кизяк, и солому,— давно сожгли! Были и разъяснения, и взыскания, и приказы, подписывал их и Серпилин, но ничто не помогало. Жизнь брала свое...

Когда выехали из расположения второго эшелона дивизии, Серпилин невольно оглянулся, хотя никакой зримой границы, отделявшей расположение дивизии от других частей, не было, но он помнил ее, эту границу, и на местности и по карте.

«Тяжело все-таки, если выдернут из дивизии»,— снова подумал он.

...Это уже было с ним один раз, в феврале сорок второго. Бывают на войне такие вещи, когда ты считаешься виноватым, хотя ты и прав, и то, что ты прав, понимаешь не только ты сам, но и другие люди, которым положено считать тебя виноватым.

Тогда, в феврале сорок второго, его сняли с дивизии за то, что он не выполнил приказа и не взял к назначенному сроку

районный центр Грачи, на границе Калужской и Брянской областей.

В сроке этом не было ровно никакого смысла, кроме одного-единственного: взятые у немцев Грачи должны были непременно попасть в вечернюю фронтовую сводку, а потом в утреннее сообщение Информбюро 23 февраля 1942 года — в День Красной Армии. А считалось это необходимым потому, что хотя зимнее наше наступление под Москвой уже выдыхалось и шло из последних сил, а местами и просто безо всяких сил, однако на самом верху считалось, что именно 23 февраля в сообщении должны появиться крупные населенные пункты.

Серпилина никто не спросил заранее, сможет ли он взять Грачи к этой дате. По общей обстановке считалось, что может, и, вообще-то говоря, немцы действительно сидели в этих Грачах, как на подрубленном суку, но, чтобы без особых потерь, грамотно подрубить этот сук, нужны были, по крайней мере, еще сутки. А вот этого и не пожелали знать ни заранее, ни тем более потом. Армия обещала Грачи фронту, фронт — Ставке, и от Серпилина потребовали, чтобы он хоть вылез из кожи, а взял Грачи к 24 часам!

Вылезти из кожи он был готов — он и так лез из кожи,— но бессмысленно класть в лобовых атаках свой лежавший в открытом поле в снегу перед Грачами полк он не хотел. И именно для того, чтобы взять эти Грачи, не теряя измотанных боями остатков полка, он сколотил два подвижных отряда и с одним из них даже протащил через лес на волокушах несколько пушек, чтобы закупорить лесную дорогу в тылу у немцев и заставить их бросить Грачи.

Но, оказывается,— ему так и сказали по телефону,— Родина требовала, чтобы он взял эти Грачи не тогда, когда он мог их взять, а на сутки раньше. В глубине души он знал, что Родина не может этого требовать: Родина может требовать от своих сыновей подвига, а не бессмысленной смерти.

Так он думал, хотя и не сказал этого, когда командующий армией потребовал от него взятия Грачей к 24 часам 22 февраля во что бы то ни стало. Он просто доложил по телефону о принятых им мерах и о том, что, по его расчетам, самое позднее через сутки немцы вынуждены будут сами начать поспешный отход и он на их плечах ворвется в Грачи и заберет их целыми, не сожженными.

Командующий не мог не понимать, что это было правдой и никакой другой правды не было и не могло быть. Он не мог этого не понимать: он был умный и, по убеждению Серпилина, талантливый человек, уже многому, как и сам Серпилин, успевший

научиться за два с половиной месяца наступления. Но на этот раз он был глух и беспощадно настойчив.

— Или возьмете к двадцати четырем часам Грачи, или сниму с дивизии,— таков был конец их разговора.

«Ну и снимайте!» — хотелось крикнуть Серпилину в телефон. Он не крикнул этого, а сказал «слушаюсь», не только потому, что тяжело оказаться снятым с дивизии; еще тяжелее была мысль, что, если он откажется выполнить этот неразумный приказ, его отстранят, а заместителя все равно заставят положить костьми полк, лежавший в снегу перед районным центром Грачи.

Он сказал «слушаюсь» и не выполнил приказа. То есть отдал приказ об артиллерийской подготовке и сначала назначил для атаки один час, а потом переменил и назначил другой, более поздний, уже в темноте, чтобы понести меньше потерь. Он еще засветло под обстрелом пошел в лежавший на виду перед самыми Грачами батальон, перенес туда свой наблюдательный пункт и, пренебрегая опасностью, все время оставался там, чтобы подольше не разговаривать с армией, чтобы на все звонки отвечали: командира дивизии нет, находится в боевых порядках пехоты. Когда же подошел второй, перенесенный срок атаки, он на этот раз не отменил приказа, и несколько группок людей — это и было, в сущности, все, чем располагал батальон,— поднялись из снежных ям, где они лежали, продвинулись на полтораста метров и снова залегли под немецким минометным огнем. Через полчаса Серпилину донесли, что немецкий огонь не подавлен и продвинуться дальше невозможно, и он приказал окапываться.

Подавить немецкий огонь ему было нечем, он заранее знал это: у него было всего по нескольку снарядов на орудие. Он, конечно, мог поднять остатки полка еще в несколько атак, продвинуться еще на сотню метров, уложить перед районным центром Грачи все, что осталось от полка, но как раз этого он и не хотел делать.

Незадолго до полуночи командующий все же добрался до него по телефону, нашел его там, в снегу, в поле, перед Грачами, где он лежал с командиром батальона.

— Почему не доносите о взятии Грачей?

— Потому что не взял,— сказал Серпилин.

— Это я понимаю. А когда возьмете? На окраину хоть, по крайней мере, ворвались? — домогался командующий.

Серпилин доложил, что нет, и на окраину не ворвался.

— Так когда же ворветесь? У вас, как у командира дивизии, остались считанные минуты! После двадцати четырех часов, если не будете в Грачах, вы уже не командир дивизии! Немедленно атакуйте!

Серпилин глубоко вздохнул и начал объяснять положение. Теперь, наверно, сложись такая обстановка, посчитались бы с очевидностью, а тогда, в феврале сорок второго, и слушать не захотели... Разговор оборвался. Обеспокоенные немцы били из минометов по площадям и опять порвали связь. И Серпилин не стал заботиться о том, чтобы ее восстановили, он понял по разговору, что в историю со взятием Грачей вмешалось что-то, что давит не только на него, но и на командующего армией, а может, даже и выше. С чего это началось и как закрутилось, он не знал и так и не узнал, но, вполне отдавая себе отчет в последствиях, все-таки не организовал новой атаки; ему было жаль себя, но еще больше было жаль людей.

Когда утром, промерзший до костей, в изорванном осколками полушубке, он пришел назад к себе на командный пункт, в переданном по радио сообщении Информбюро назвали среди других крупных населенных пунктов освобожденный сегодня ночью районный центр Грачи.

Предчувствуя дальнейшее, он испытал соблазн вернуться в батальон, подняться во весь рост, пойти под пули среди бела дня по открытому месту и погибнуть. По крайней мере, все разом кончится! Испытал соблазн, но не поддался, хотя в том настроении, в каком он был тогда, умереть не казалось ни самым страшным, ни самым трудным.

О том, что произошло дальше, он не любил вспоминать. В середине дня его вызвали в штаб армии, где находилось не только армейское, но и фронтовое начальство. О том, что якобы взятые Грачи не взяты, уже донесли на самый верх; гроза собиралась над всеми.

Если бы Серпилин склонил голову, смолчал, ему бы сначала дали жару, а потом потихоньку вытащили из беды. Но он не склонил головы и упрямо сказал все, что думал. Сказал под оскорбления и угрозы трибуналом. Сказал, не уважая в ту минуту человека, которого до этого уважал, и, несмотря на свое подчиненное положение, сумел дать ему почувствовать свое неуважение. А под трибунал не пошел потому, что уже к вечеру его заместитель, действуя по его плану, без потерь взял Грачи.

Под трибунал не пошел, но и в дивизию не вернулся.

Два месяца околачивался в резерве, доказывал, что он не верблюд. В глазах людей, с которыми говорил, часто видел понимание и сочувствие, но поскольку однажды уже было доложено на самый верх, что он наказан за обман, а Грачи взяты в результате вмешательства сверху, то передоложить не решились или не смогли. Не помог даже самоотверженный рапорт его заместителя. Хорошо, что это время пришлось на период весеннего затишья, а то бы он пережил его еще тяжелее. И назначили его снова

командиром дивизии и послали в тыл формировать ее не потому, что он доказал свою правоту, а просто потому, что прошло время. И, быть может, не напоминай он так упрямо о своей правоте, это время прошло бы еще быстрей. Просто прошло время, и нужны были командиры дивизий...

С человеком, который сделал тогда из него козла отпущения, он больше не встречался. Знал, что именно этот человек проявил потом редкую отвагу в тяжелых летних боях сорок второго года, но того, каким он был в тот день, забыть не мог: из песни слова не выкинешь. Хотел бы забыть, потому что они оба были люди одной армии, бившей одного врага, но не мог...

«Неужели опять попаду в такое же колесо? — думал Серпилин, подъезжая к штабу армии. — Нет, врешь, не дамся! Да и время все же меняется: кое-что поняли, кое с чем простились — война научила».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Командующий армией генерал-лейтенант Батюк сидел у себя на командном пункте, пил чай и, поджидая Серпилина, колебался, как с ним разговаривать.

Вообще-то Батюк был человек, не склонный к колебаниям, и считал это своим достоинством. Он любил ясность. А тут была как раз неясность.

С одной стороны, раз уже все равно Барабанов наломал дров, это давало повод намылить шею и Серпилину, которого Батюк хотя и ценил, но недолюбливал за строптивость.

С другой стороны, командующий фронтом, когда Батюк доложил ему о случившемся ночью, отнесся к этому без внимания и еще раз настойчиво повторил: «А вы все же подумайте о Серпилине как о начальнике штаба». И Батюк ответил на это, что долго думать не над чем, если фронт предлагает эту кандидатуру, у него возражений нет.

Серпилин строптив, и это плохо, но все же он свой. Его Батюк, по крайней мере, знает, а кого пришлют со стороны, неизвестно.

«Ничего, с обязанностями справится, а в остальном пообломаю!» — самоуверенно подумал он о Серпилине.

Причина для такой самоуверенности была. Не один десяток подчиненных «обломал» Батюк за долгие годы своей военной службы. С тем начальником штаба, который теперь уходил, у него были неплохие отношения: тот сумел примениться к характеру командующего, недостаток его, с точки зрения Батюка, заключался не в строптивости, а в том, что наверху, в штабе фронта,

об этом начальнике штаба составилось слишком высокое мнение, а Батюк не любил, когда кто-нибудь бывал виден из-под него.

При таком положении вещей Батюк готов был расстаться даже с хорошим начальником штаба. Жаль только, что его забирали во фронт. Батюк не любил, когда его бывшие подчиненные работали в вышестоящих штабах.

И о том, что Барабанов застрелился, и о том, что остался жив, Батюк узнал уже после отъезда командующего фронтом. То, что Барабанов стрелялся, Батюка возмутило больше, чем все, что он натворил в пьяном виде. Самоубийц Батюк презирал и для самого себя такой возможности не признавал, считая, что человек должен бороться за жизнь до последнего дыхания, пока не убьют. «Подумаешь, испугался штрафного батальона! Во-первых, еще не вечер, не за командиром дивизии последнее слово, а во-вторых, и в штрафном можно ранением отделаться и опять в люди выйти. Если и там пуля в грудь, так все же в бою, а не сам себе!»

То, что Барабанов наделал дел в пьяном виде, злило Батюка, хотя для него не было новостью, что Барабанов мог выпить лишнего. «Подвел, сукин сын,— сердито думал Батюк,— сам выпросился на полк и подвел! А ведь целиком обязан. Кто бы ему, дураку, дал полк? Распустил там хвост на самостоятельной должности и подвел... Конечно, Серпилин, если б хотел, мог поначалу замять, знал, что, не замяв, доставит неприятность лично командующему, но не принял во внимание».

С утра Батюк был в гневе на Серпилина. Но теперь, после того как Барабанов стрелялся, этот гнев отошел на второй план. Теперь уже не было вопроса, можно или нельзя замять. Сейчас замять было уже нельзя.

«Отправлять в штрафной батальон Барабанова теперь навряд ли придется: сам себя наказал, а два раза не наказывают, но из партии, дурака, исключат за такие дела. Тут уж Захарова не переспоришь»,— подумал Батюк.

С такими людьми, как Барабанов, которые заведомо ему неровня, Батюк, если имел к ним расположение, был по-хозяйски груб и добр. С ними он был другим человеком, чем с теми, кто способен был критически отнестись к его суждениям и мог, по его мнению, подставить ему ножку или обойти по службе, а обходивших его по службе в последнее время появлялось все больше.

Говоря, что Барабанов спас когда-то Батюка, люди преувеличивали: не спас, а просто вместе с другими тащил его, раненного. Зато Батюк в самом деле спас Барабанова от смерти: на своих могучих плечах вынес с поля боя в сорок втором под Харьковом во время всеобщей неразберихи. Вынес, а потом, нарвавшись на

немцев, положил Барабанова рядом с собой, отстреливался из автомата и отбился: четырех уложил, а остальные отошли и сгинули, пошли искать добычу полегче, не знали, что отстреливается от них, оставшись один как перст, сам генерал-лейтенант Батюк. А потом опять взвалил Барабанова на плечи и дошел-таки до своих, до отступавшего в панике полка. Командира полка — в рядовые за трусость, а полк привел в порядок и вывел. Так было на самом деле у них с Барабановым, и за то, что он сам сделал для Барабанова, Батюк любил его больше, чем за что-нибудь другое, любил и сейчас, хотя был до крайности зол на него.

«Ну что ж,— подумал Батюк, возвращаясь от мыслей о Барабанове к мыслям о Серпилине. — Пусть будет начальником штаба, если, конечно, утвердят».

Звонок из Москвы, в связи с которым Батюк вызвал Серпилина и приказал подготовить У-2, чтобы подкинуть Серпилина на аэродром, откуда шли самолеты в Москву, говорил, что Серпилина, скорей всего, утвердят. Были у него старые связи, были однокашники на высоких постах: если бы не так, то черта с два стали бы запрашивать из Генштаба о возможности отпустить на четверо суток в Москву командира дивизии по семейным обстоятельствам. Батюк сразу ответил: «Пусть едет». Да и сами семейные обстоятельства эти...

Подумав о семейных обстоятельствах Серпилина, Батюк окончательно решил, несмотря на барабановскую историю, разговаривать с Серпилиным по-хорошему. Люди есть люди. Сегодня семейные обстоятельства у него, а завтра и у тебя у самого могут быть...

Серпилин ожидал, что, когда он войдет и доложит командующему о своем прибытии, тот, как это обычно бывало с ним в гневе, привстанет, упрется в стол кулаками и, нагнув побагровевшую бритую голову, глядя не на тебя, а на карту, буркнет в усы: «Докладывайте».

Но ничего похожего не случилось. Когда Серпилин вошел вместе с Захаровым и начал докладывать о случившемся в дивизии, Батюк остановил его и кивнул на Захарова:

— Основное уже знаю от Константина Прокофьевича. А на долгий доклад у тебя времени нет. — Он посмотрел на часы. — Жена у тебя плоха. Надо в Москву лететь, если застать хочешь.

Сказал Серпилину о жене сразу, без предисловий, не от душевной черствости, а потому, что так смотрел на вещи. Если бы с ним случилось такое, сам бы не ожидал от других, чтобы они обхаживали его предисловиями.

Серпилин сильно побледнел и, пошарив рукой спинку стула, молча опустился на него. Только в одном этом и выразилась тя-

жесть испытанного им потрясения: он, человек, всю жизнь прослуживший в армии, в присутствии командующего и члена Военного совета сел первым, даже не подумав об этом.

— Разрешите закурить? — спросил он чужим голосом, вытащил из кармана пачку «Казбека», постучал мундштуком о крышку, чиркнул спичкой и сунул спичку за донышко коробка.

Батюк сказал, что У-2 уже подготовлен, что отпуск разрешен на четверо суток, что из Москвы звонил лично заместитель начальника Генштаба и велел Серпилину перед вылетом позвонить ему по ВЧ.

Мысль Серпилина из всего, что говорил Батюк, сначала выхватила только слова о четырех сутках отпуска. На четверо суток, значит, не на похороны.

— Так как, ВЧ заказать? — спросил Батюк.

И Серпилин, только тут заметив, что он сидит, а командующий стоит, поднялся со стула и молча кивнул.

Глядя, как Батюк идет к столу, снимает трубку и заказывает ВЧ с Москвой, он продолжал думать о том, от чего умирает жена. Наверное, от сердца. В первый раз это случилось, когда он был еще там, на Колыме, во второй — когда вернулся. Значит, теперь в третий.

Он привык жить без нее, привык не видеть ее подолгу, но мысль, что ее вообще не будет, была так непоправима, что не укладывалась в голове.

Он испытал ощущение, которого не испытывал с детства: ему показалось, что он сейчас заплачет. Дикость этой мысли заставила его заторопиться.

— Товарищ командующий,— сказал он, делая два шага к столу, за которым сидел Батюк,— пока ждем ВЧ, разрешите доложить...

Батюк посмотрел на него с неудовольствием. Видя горе Серпилина, он искренне не хотел возвращаться к барабановской истории.

— Не надо,— сказал он. — Все ясно. Барабанов себя наказал, а тот, кто помер, так и так помер. Поговорим, когда из Москвы вернешься.

Захаров тоже с неудовольствием взглянул на Серпилина. Он опасался, что Серпилин захочет рассказать Батюку про обстоятельства, предшествовавшие самоубийству Барабанова, и считал это в данный момент лишним.

Но Серпилин хотел доложить не о том, о чем они оба подумали, и, когда Батюк остановил его, настойчиво повторил:

— Я все же прошу, товарищ командующий, разрешите доложить.

Батюк кивнул, не одобряя, но и не имея оснований запрещать. «Что ж, говори, раз тебе приспичило» — такое было выражение лица у Батюка.

И Серпилин начал докладывать о предстоящем бое. И пока докладывал, уже в середине доклада сам понял, что он, Серпилин, не проведя боя и не заняв этого проклятого Бугра, не уедет с фронта.

Батюк, дослушав доклад до конца и уточнив вопросами несколько подробностей, уже собирался ответить, что согласен,— пусть этот бой, оставшись за командира дивизии, проведет Пикин.

Но он не успел сказать этого Серпилину, потому что по ВЧ уже дали Москву. Он назвал номер и протянул трубку Серпилину.

— Товарищ генерал-лейтенант,— сказал Серпилин, услышав в трубке знакомый голос Ивана Алексеевича. — Докладывает Серпилин. Вы разрешили позвонить вам.

Начал разговор по всей форме потому, что не хотел показывать при Батюке свою дружескую близость с начальством.

— Беда, Федя,— далеким голосом сказал Иван Алексеевич в жужжащую трубку ВЧ. — Валя твоя лежит с инфарктом, у тебя на квартире. Очень плоха. Был ночью у нее.

— Она в сознании?

— В сознании. Просила не сообщать тебе. Но я не послушал, решил вызвать. Батюк разрешил, я с ним говорил. Позвони мне с аэродрома, я машину вышлю.

— Завтра постараюсь вылететь.

— Почему не сегодня?

— Сегодня не могу.

Иван Алексеевич, кажется, хотел возразить, но не возразил. Знал, что бывают на войне «не могу», через которые не перескочишь. Почему «не могу», выяснять не стал, а только сказал тревожно:

— Ну смотри,— и еще раз повторил: — Имей в виду, Батюк мне лично дал согласие отпустить тебя.

— Все понял,— сказал Серпилин и, положив трубку, встретился глазами с Батюком. — Хочу сам бой провести.

— За Барабанова хочешь этим Бугром оправдаться? — спросил Батюк.

— Не оправдаться, а взять хочу.

— Возьмут и без тебя.

— А я хочу при себе.

Батюк пожал плечами: он не считал себя вправе запретить Серпилину сделать это в сложившейся обстановке.

— Только потом не пеняй на себя и на меня,— сказал он.

И, считая дело оконченным, вызвал дежурного и приказал, чтобы У-2 от полета отставили и приготовили завтра на утро.

— Разрешите отбыть в дивизию? — спросил Серпилин.

— Слушай, Константин Прокофьевич,— сказал Батюк, повернувшись к Захарову,— разговор мой с командующим фронтом, что при тебе начался, продолжение имел. Думаю, надо сказать Серпилину. Как ты считаешь?

Захаров кивнул.

Серпилин с недоумением смотрел на Батюка.

— Командующий назвал твою кандидатуру на начальника штаба армии,— сказал Батюк.

Он имел привычку говорить «ты» всем подчиненным без исключения, невзирая на положение и возраст, хотя очень удивился бы, если б кто-то из них вдруг ответил ему тем же. Впрочем, он, в свою очередь, считал в порядке вещей, если те, кому был подчинен он сам, звали его на «ты», невзирая на его немолодой возраст и звание генерал-лейтенанта.

— Как смотришь на это? — спросил он молчавшего Серпилина.

— А вы сами? — в свою очередь, спросил Серпилин, не позаботившись скрыть удивление.

— Отношусь положительно, иначе бы не спрашивал тебя, сам понимаешь, не маленький! — с оттенком вызова сказал Батюк.

«Да, вот так, лично недолюбливаю тебя, сам знаешь за что, а согласие назначить тебя начальником штаба все же дал, потому что справедлив. А ты, хоть и думаешь, что знаешь меня хорошо, знаешь меня плохо. То-то!»

Серпилин вместо того, чтобы поторопиться с ответом, все еще молчал.

— Ну, так как же? — уже сердито повторил не обладавший большим терпением Батюк.

Серпилин ответил, что постарается оправдать доверие.

— Пока в Москву съездишь, так или иначе решится,— сказал Батюк. — Если положительно, то, как вернешься, сразу приступишь... Справится Пикин с дивизией?

— Я вам уже докладывал, что он достоин выдвижения.

— Помню, что докладывал,— сказал Батюк,— но тогда ситуация не возникала.

— Разрешите отбыть в дивизию?

— Поезжай,— сказал Батюк. — И особенно под огонь не суйся. Не в твоем Бугре сейчас суть дела.

Сказал так, хотя испытывал уважение к Серпилину за то, что тот не воспользовался законной возможностью улететь в Москву, свалив на других недоделанную черную работу с этим Бугром.

— Только бы погода до завтра не переменилась! Прогноз неважный, может оказаться и нелетная... — уже пожимая на прощание руку Серпилину, сказал Батюк.

Захаров тоже пожал руку Серпилину, но молча, без слов. Да и какие тут слова? В таких случаях человек сам решает свою судьбу, и глуп тот, кто не понимает этого.

Душа человека, только что испытавшего глубокое личное потрясение, но вынужденного заниматься неотложными делами,— как река, где одно под другим, не смешиваясь, с разной быстротой тянут воду два разных течения.

Однажды решив для себя, что он не может уехать в Москву, не закончив дела с Бугром, Серпилин по дороге в дивизию уже не возвращался в своих размышлениях к тому, мог он или не мог поступить иначе.

Сидя в своей «эмке», он думал о будущем бое, о том, что умно сделал, приказав, чтобы его машина шла вслед за ним в штаб армии,— теперь он возвращался без проволочек; времени оставалось мало, и его нельзя было терять, хотя с Пикиным все было уже обговорено и там, в дивизии, пока он был здесь, дело уже делалось.

Теперь в обратном порядке по сторонам дороги мелькало и ползло навстречу все, что он видел, когда ехал в штаб армии, и мысли о том, что и как будет, если он станет начальником штаба армии, возникали сначала мимоходом, а потом все настойчивей.

Но подо всеми этими мыслями, имевшими отношение к делам, которыми ему предстояло заниматься, неотступно шло второе, глубинное течение: у него в Москве умирала жена.

Надо было брать высоту Бугор — а у него умирала жена. Надо было решать, какого комбата посильней поставить на место убитого Тараховского,— а у него умирала жена. Надо будет убрать подальше от дороги, чтобы не разбомбили, второй эшелон батальона связи — а у него умирала жена. Надо будет пробить заблаговременно, до начала наступления, вторую снежную дорогу к фронту, параллельно той, что идет, и не допустить, чтобы ее заранее искорежили,— а у него умирала жена...

Проезжая мимо расположения второго эшелона своей дивизии, Серпилин на перекрестке чуть не столкнулся с выезжавшей с боковой дороги «санитаркой». Шофер «санитарки», желая пропустить «эмку» с начальством, притормозил и забуксовал, загородив дорогу.

Из кабины санитарной машины выскочил боец, обежал машину и стал вместе с шофером Серпилина подталкивать ее сзади. Но машина продолжала буксовать. Потом открылись задние дверцы «санитарки», оттуда выскочила на дорогу женщина и стала толкать машину вместе с мужчинами.

Серпилин сразу узнал эту женщину. Это была женщина-врач из полка Барабанова, та самая, которая недавно перевелась из госпиталя и с которой жил Барабанов. В машине, очевидно, лежал Барабанов, и она сопровождала его.

Серпилин открыл дверцу «эмки» и пошел к «санитарке» с намерением помочь, потому что машину толкала женщина. Но пока он успел подойти, машину общими усилиями стронули.

Шофер, санитар и женщина стояли, переводя дух. У женщины было еще сравнительно молодое, но поблекшее лицо с большими красивыми еврейскими глазами. С трудом отдышавшись, она приложила пальцы к ушанке. Из-под ушанки, сдвинувшейся набок, пока она толкала машину, выбилась прядь черных с проседью волос. Серпилин увидел эти волосы с проседью и почувствовал жалость к этой женщине, то ли оттого, что вспомнил о своей жене, то ли потому, что, увидев седые волосы, подумал: хотя Барабанов и выжил, но эта женщина долго счастлива с ним все равно не будет, стара для него.

— Товарищ генерал,— начала докладывать она.

Но Серпилин остановил ее:

— Кого везете, Барабанова?

— Да.

— Как его самочувствие?

— Хорошее,— радостно и громко сказала, почти выкрикнула она.

И, спохватившись, словно этими словами о хорошем самочувствии Барабанова могла повредить ему, потухшим голосом стала объяснять, как прошла пуля, что еще три миллиметра левее — и все было бы кончено.

— Но сейчас-то хорошее, говорите? — переспросил Серпилин.

— Признали транспортабельным.

— В сознании?

— В сознании.

Она угадала, что Серпилин захочет увидеть Барабанова, но не знала, хорошо это или плохо.

— Как врач не возражаете? — спросил Серпилин, подходя к задней дверце санитарной машины.

— Не возражаю, товарищ генерал.

Он открыл дверцу, влез в машину и снова прикрыл за собой дверцу. В машине было полутемно.

— Ну что там, Соня? — тихо спросил Барабанов.

Серпилин на ощупь передвинулся вдоль откинутого по борту сиденья и увидел лицо лежавшего на подвесных носилках Барабанова. Глаза у Барабанова были открыты и с удивлением смотрели на Серпилина.

Но Серпилину не пришло в голову объяснять, как он встретил их машину и почему оказался здесь,— все это было несущественно.

— Как себя чувствуете?

— Говорят, буду живой,— слабо, но внятно сказал Барабанов.

И, облизнув языком губы, добавил:

— Не думал, товарищ генерал, что еще раз увижу вас в своей жизни.

И по тому, как он это сказал, Серпилин понял: «Нет, не лукавил Барабанов с собой перед дулом пистолета. Не было у него никаких «а вдруг». Испытал человек смертельный удар совести и лишил себя жизни. Остальное — случайность».

И хотя по логике установленных порядков попытка к самоубийству не смягчала вины Барабанова, а только усугубляла ее, Серпилин, наклонившись к Барабанову и глядя ему в глаза, сказал:

— Поправляйтесь. Штрафного батальона для вас требовать не буду.

И, помолчав, добавил:

— На снижении в звании настою. А штрафного не ждите. Когда вернетесь в строй, возьму командиром разведроты.

— Теперь из партии исключат,— тихо вздохнув, потому что глубоко вздыхать ему было больно, сказал Барабанов.

— Все равно возьму на разведроту,— сказал Серпилин, совсем забыв в эту минуту, что, скорее всего, он уже не будет командовать своей дивизией.

— Семье комбата пол-аттестата своего отдам,— вдруг сказал Барабанов. — Когда после операции очнулся, загадал: если живой останусь, буду переводить. Значит, такая судьба! А что,— помолчав, прибавил он так, словно Серпилин собирался возразить ему,— я холостой, и матери нет.

О женщине, стоявшей там, у машины, на дороге, он даже и не вспомнил. «Не жена и женой не будет»,— подумал Серпилин.

— Ладно, поправляйтесь.

Но Барабанов задержал его взглядом.

— Если хотите, сами напишите жене комбата, что я в его смерти виноват. Пусть знает.

— Не буду,— сказал Серпилин. — Если напишу, аттестат от вас не примет.

Он понял, что слова Барабанова об аттестате не просто минутный порыв, а зарок на всю войну, зарок, от которого, даже если потом будет жалеть, не откажется...

Вылезая из машины, Серпилин снова близко увидел лицо военврача Сони, как он сейчас мысленно назвал ее. Она уже заправила поседевшую прядь волос под ушанку, и лицо ее казалось теперь моложе.

«А счастья все равно у тебя не будет»,— с сочувствием к ней подумал Серпилин и, уже собираясь повернуться и ехать, вспомнил, что в барабановском полку ночью будет бой и надо предвидеть потери.

— Доставите майора в госпиталь,— сказал он военврачу,— и немедля возвращайтесь в полк. Предстоят боевые действия.

Приехав в штаб дивизии, Серпилин прошел прямо к Пикину. Пикин был не один: у него сидел командир артиллерийского полка.

— Ну как, товарищ генерал? — тревожно спросил Пикин. Он знал, что Серпилин уезжал в армию, но не знал зачем, думал, что из-за Барабанова.

— Ничего, все нормально,— сказал Серпилин, еще в дороге решивший никому, даже Пикину, до окончания боя не говорить о том, что его вызывают в Москву.

— Бережной полчаса назад вернулся и поехал прямо в полк, просил передать, что будет там,— сказал Пикин.

Серпилин кивнул.

— Увидимся. Сам поеду туда. Докладывайте ваши предложения.

Пикин стал докладывать, мягко опуская остро отточенный карандаш на образцово вычерченную схемку и время от времени поглядывая на артиллериста, подчеркивая этим, что они работали над предложениями вместе.

Положив в основу еще утром оговоренный с Серпилиным общий замысел боя, он теперь подпирал его всей необходимой бухгалтерией войны.

— Превосходно, Геннадий Николаевич, благодарю. Век бы служить с таким начальником штаба.

Похвала была приятна Пикину, но что-то в голосе Серпилина насторожило его, и он долгим, внимательным взглядом посмотрел на командира дивизии, ничего, однако, не спросив.

«Да, хорошо понимаем друг друга,— подумал Серпилин,— даже когда молчим, понимаем. Как-то будет у меня с Батюком,

если, конечно, будет. Крест предстоит тяжелый, но насколько тяжелый? Вот в чем вопрос».

По дороге в полк, куда Серпилин захватил с собой артиллериста, зашел разговор о расходе снарядов. Артиллерист жался: в предчувствии предстоящего наступления не хотел расходовать на частную задачу ничего сверх строго необходимого. Вдруг потом не пополнят до нормы!

— Не жмотничайте! — сердито сказал Серпилин. — Ночью на снарядах пожмотничали, а людей потеряли.

— Я не жмотничал, — возразил артиллерист. — У нас огня не запрашивали.

— То-то и оно, что не запрашивали. У вас огня не запрашивали, а людей в огонь бросили и сожгли. Маскируемся, говорим про пехоту по телефонам: спички, палочки! Немцы, если не полные дураки, давно это кодирование не хуже нас с вами знают. А если вдуматься, то даже и для кода слова какие-то, черт их знает, скверные: «Спички, палочки...» Сами себя к равнодушию приучаем!

Он помолчал и строго сказал артиллеристу, что обеспечить предстоящий бой сверхметким огнем — дело его совести. Батальон и так уже понес потери. А у солдата, когда он в атаку поднялся, щита нет. Полушубок, да гимнастерка, да нательное белье, а под нательным бельем — тело, а в него пуля летит.

— Ваша поддержка огнем — вот и весь его щит. Другого щита у него нет.

— Товарищ генерал, по-моему... — обиженно начал артиллерист.

— По-вашему, по-вашему... По-вашему, вы хороший командир полка, и по-моему тоже — хороший. Потому и делюсь с вами мыслями, считаю, что поймете меня.

— Все будет сделано, товарищ генерал, — сказал артиллерист. — Только, откровенно говоря, боюсь, не пополнят комплект перед большим наступлением.

— Как ни трудно, а пополнят, — уверенно сказал Серпилин.

Он и в самом деле был уверен в этом. Со Сталинградом пора кончать. Хотя другие фронты продолжают успешно наступать, но их силы тоже не безграничны; чем дальше они уходят на запад, тем острее потребность высвободить в помощь им те семь армий, что заняты здесь, в тылу вокруг Сталинграда.

Серпилин подумал о завершении Сталинградской операции как о реальном и теперь уже недалеком будущем. Для него, Серпилина, это будет третьим кругом его жизни на войне: первый — от Могилева и до выхода из окружения под Ельней, второй — под Москвой, от назначения на дивизию и до снятия, третий завер-

шится здесь, в Сталинграде. А потом — пополнения, эшелоны, переброска на другие фронты — начнется новый круг, четвертый.

«И этот четвертый круг...» Он снова подумал о жене.

Да, конечно, она просила, чтобы ему ничего не сообщали. А ему все-таки сообщили. Она как-то однажды сказала ему, что если ей судьба умереть, то лучше, чтобы это случилось, когда его не будет рядом. И он знал, что она сказала тогда правду. Желание избавить его от тяжести своих последних минут у нее сильнее желания видеть его, потому что она любит его больше себя, и это не слова, которые часто говорят друг другу люди, а так на самом деле.

Когда Серпилин вместе с артиллеристом добрался в полк и вошел в бывшую барабановскую землянку, где теперь хозяйничал Туманян, тот поднялся из-за стола и, прикрыв рукой трубку, попросил у Серпилина разрешения договорить по телефону.

— С зам по тылу говорю, товарищ генерал, насчет маскхалатов.

Серпилин кивнул. Разговор был нужный. Он сам приказал собрать и подбросить в полк маскхалаты, чтобы хватило на всех, кто пойдет сегодня ночью в атаку.

Договорив по телефону, Туманян доложил обстановку: о сделанных приготовлениях и о том, что в полку находится Бережной.

— Прибыл час назад и сразу пошел в батальон Тараховского. Хотел я задержать его до темноты, по дороге одиночные мины кладут. Сегодня одного связиста ранило, но... — Туманян, не договорив, пожал плечами.

Жест был понятен без слов. Бережной, как всегда, не послушался.

— Вот и я схожу туда, погляжу на людей,— сказал Серпилин.

Он еще по дороге в полк решил заранее побывать в обоих батальонах, которым предстояло ночью наступать, охватывая с двух сторон высоту.

— Я уже докладывал вам, товарищ генерал, туда замполит пошел,— сказал Туманян, не одобряя решения Серпилина.

— Тем лучше,— сказал Серпилин,— а то мы с ним сегодня еще не виделись.

— Разрешите вас сопровождать? — недовольно спросил Туманян.

Он только что сам вернулся оттуда, куда собирался идти Серпилин, и у него не было ни малейшего желания идти туда снова. Но не предложить этого не мог.

— Не надо,— сказал Серпилин. — Оставайтесь здесь с артиллеристом, сверьте его и ваши данные. А я в батальонах долго не пробуду, через два часа вернусь.

Сопровождали Серпилина в батальон двое: молодой, недавно прибывший в дивизию лейтенант, помощник начальника штаба полка по разведке, и Птицын, ординарец Серпилина.

В воздухе начинало чуть-чуть сереть, и Серпилин, когда они прошли полпути, метров шестьсот, подумал, что возвращаться из батальона он будет уже в темноте. Ждать ее, чтобы идти в батальон, ему так же, как и Бережному, не позволяло время, но мысль, что на обратном пути они будут проходить это открытое место уже в темноте, была ему приятна.

Одиночная мина хлопнула впереди, подняв столб дыма и снега. И шедший сзади Серпилина ординарец Птицын зашагал так близко, что Серпилин почувствовал на затылке его дыхание.

Птицын попал к нему в ординарцы случайно. В августовских боях под большой бомбежкой Птицын вместе с несколькими другими ушедшими с передовой солдатами был задержан в расположении командного пункта дивизии. Настаивали на том, чтобы всех их отдать под трибунал, но Серпилин, узнав о них уже к вечеру, когда общая обстановка улучшилась, захотел сам посмотреть на беглецов — не имел привычки рубить сплеча.

Птицын обратил на себя его внимание понурым видом и густой, седой, давно не бритой щетиной. Из-за этой щетины он казался почти стариком.

Серпилин спросил, какого он года. Оказалось, что 1895-го — ровесник.

Серпилин распорядился всех остальных на первый случай отправить обратно на передовую, а Птицына взял к себе в ординарцы, вместо убитого накануне при бомбежке.

— Лично проверю, что вы за человек,— сказал он Птицыну,— а еще раз драпанете, лично и застрелю.

Так Птицын и остался у Серпилина в ординарцах. Драпать он больше не пробовал, а своей неговорливостью и абсолютной честностью — качеством в ординарце немаловажным — пришелся Серпилину по душе.

Серпилин считал, что этому немолодому и многосемейному солдату, по гражданской специальности счетоводу, сам бог велел быть ординарцем. Все же семья — семь душ, а быть убитым в ординарцах меньше шансов, чем в роте.

Что касается храбрости, то Птицын был не храбрее и не трусливее других, человек как человек. Боязнь смерти внешне выражалась у него только в одном: под огнем Птицын старался держаться впритирку к Серпилину, в душе считая,что генерала не убьет.

Вот и сейчас он начал наступать на пятки Серпилину и рассмешил его этим.

Лейтенант шел на несколько шагов впереди. Вдали хлопнула еще одна мина, и Серпилин заметил, как у лейтенанта дернулось плечо.

«Да, вот так: когда-нибудь рванет такая случайная мина на двести метров ближе и накроет рабов божьих, всех заодно, не разбирая званий»,— помимо воли подумал Серпилин. Не хотел думать, а подумал.

Там, впереди, в Москве, завтра предстояло только горе. А все же мысль, что можно не дожить и до этого, показалась тяжелой.

В трехстах метрах, там, куда они шли, совсем рядом с командным пунктом батальона, хлопнула третья мина.

«Не в твоем Бугре сейчас суть дела»,— вспомнил Серпилин слова Батюка и, вздохнув, прибавив шаг, подумал, что все-таки сегодня суть дела именно в этом Бугре и он перестал бы быть самим собой, если бы поступил иначе, чем он поступил.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В передней штурманской кабине легкого бомбардировщика, переоборудованного под самолет фельдсвязи, носовые пулеметы были сняты, но оставшиеся после них прорези были заделаны ненадежно, и встречный воздух врывался сквозь швы.

Серпилина, подоспевшего в последнюю минуту, когда уже запустили моторы, впихнули в кабину снизу, защелкнули под ногами крышку люка, и он втиснулся третьим между двумя фельдъегерями, везшими в Москву секретную почту. Фельдъегеря тоже мерзли, несмотря на свои тулупы и валенки. Нельзя было ни повернуться, ни подвинуться, и от этой неподвижности было еще холоднее. Хорошо, что он все же успел. Еще минута — и пришлось бы ждать до завтра.

Самолет шел низко. За дрожавшим плексигласом фонаря были видны подробности заметенной необъятными снегами земли. Вросшие в снег избы с прямо стоявшими морозными дымами, серые по белому санные дороги, черные пятна прорубей с цепочками следов, товарные составы с обледенелыми крышами, водокачка с козлиной ледяной бородой... На земле было тоже холодно.

Серпилин несколько раз чувствовал, что, несмотря на холод, вот-вот заснет. Но каждый раз не позволял себе этого, боясь поморозиться.

Серпилина беспокоило: вдруг летчик не успеет по времени засветло в Москву и заночует по дороге. Только когда справа под

крылом прошла Рязань, он успокоился: между Рязанью и Москвой садиться было некуда.

Ночная операция сошла благополучно. Бугор окружили и взяли, захватив на нем сорок пленных. Цену пришлось заплатить довольно дорогую: были убитые, и раненые, и обмороженные. Того недавно прибывшего лейтенанта из штаба полка, что провожал Серпилина в батальон, убило миной в самом конце боя, когда он, бедняга, наверное, уже думал, что все обошлось. Самому Серпилину осколком той же мины рассекло у плеча рукав полушубка. Отдать зашить полушубок не было времени, а сменить на другой не захотел: привык к этому, так и летел в нем. В дырку лез холод.

Если бы не встревожившая немцев вылазка Барабанова, потери могли быть и меньше. Но в общем-то, учитывая результат, они были из тех, что зовутся оправданными, и Серпилин не переживал их; только вдруг вспомнил об убитом прямо на глазах молоденьком лейтенанте: собирался начать жизнь с этого боя, а вместо того кончил на нем.

Самолет шел почти на бреющем, и от этого возникало ощущение большой скорости, хотя скорость для такого типа машин была недостаточная. Когда создали, назвали СБ — скоростной бомбардировщик. Меркой были тогда собственные, теперь уже устарелые истребители — СБ мог уходить от них. А на поверку выяснилось, что «мессершмитты» запросто догоняют и жгут его. Те немногие, что уцелели, доживают свой век, как этот, — в фельдсвязи. Начали войну, по сути дела, без серьезного современного бомбардировщика. И сколько из-за этого голов сложено и в воздухе и на земле — один бог ведает!

Во фронтовой газете, лежавшей в кармане полушубка, он посмотрел только первую страницу. Разгибать и переворачивать не хватило терпения: не слушались замерзшие пальцы. На первой странице было напечатано вчерашнее сообщение Информбюро: на юге мы заняли столицу Калмыкии Элисту, Тормосин и станицу Нижне-Курмоярскую — все важные пункты и уже далеко, почти на полпути от Сталинграда к Ростову.

После двух дней молчания снова упоминалось о наступательных боях на Северном Кавказе. Значит, наступление продолжалось и там. На Центральном фронте взяты Великие Луки. Трудно представить себе, какого размаха там наступление, но ясно одно: немцам не дают снять оттуда, с севера, резервы.

От сознания, что вот уже полтора месяца, как мы гоним немцев, было если не легче, то как-то проще думать о собственном горе. Меньше от этого оно не становилось, нет! Но было ощущение, что есть нечто выше и больше всего остального и

больше твоей собственной смерти, если б сегодня ночью ты и тот лейтенант поменялись местами, и больше той смерти, навстречу которой ты ехал...

«Навстречу или вдогонку?» — подумал он, не в силах теперь, подлетая к Москве, избавиться от мысли, что эти сутки, на которые он задержался, быть может, уже все переменили в его жизни, что хотя он летит, еще думая что-то сказать и что-то услышать, но на самом деле все кончилось и он уже много часов живет на свете один, совсем один...

Самолет пошел на посадку, впереди, в темноте, мелькнуло два слабых посадочных огня. Самолет тряхнуло и снова рвануло вверх.

— Промазал! — возбужденно крикнул фельдъегерь. — Ночевать, сволочь, в Москве хочет, а ты, как пешка, пропадай!.. — Он испуганно выругался.

— Ничего... как в прошлый раз, сядет, — отозвался второй фельдъегерь.

Летчик заложил крутой вираж и снова резко пошел на посадку. Фельдъегерь, сидевший справа, молчал, вцепившись рукой в колено Серпилина. А сидевший слева еще раз повторил: «Ничего, сядет» — напряженным голосом человека, сознающего опасность, но изо всех сил старающегося не поддаться страху.

«Сейчас разобьемся», — вздрогнув от этого голоса, подумал Серпилин.

Самолет ударился о землю, подпрыгнул, вновь ударился и покатился, продолжая содрогаться и прыгать.

— Извините, товарищ генерал,— сказал фельдъегерь, снимая руку с колена Серпилина.

Когда уже вылезли из самолета и пошли по летному полю к дежурке, шагавший рядом с Серпилиным невидимый в темноте летчик сказал:

— Плохо содержат летное поле... Сколько раз им говорили!

— Раз время вышло, надо было в Рязани заночевать,— сказал тот фельдъегерь, который при посадке успокаивал себя: «Ничего, сядет». — А ты всегда как чумной.

— Боится, что жена с кем-нибудь без него переночует, — отозвался второй фельдъегерь.

— Ничего я не боюсь, — рассердился летчик. — Даже таких дураков, как ты, возить не боюсь. Стараешься для вас днем и ночью, потому что спешите, а вы еще недовольны.

— Спешим, да не на тот свет, — сказал фельдъегерь.

В дежурке было неправдоподобно тепло. Растирая замерзшие пальцы, Серпилин попросил оперативного дежурного позвонить в Генштаб — вызвать машину.

— Не такое быстрое дело, — сказал оперативный дежурный, берясь за телефон. — А может, вы с фельдсвязью подъедете? Их машина уже дожидается, — кивнул он на фельдъегерей. — Если вам в Генштаб, так они прямо туда.

— Мне в район Академии Фрунзе, — сказал Серпилин. — Но все равно.

Машина шла долго и несколько раз буксовала на открытых местах, где снегом перемело дорогу. Фельдъегеря выскакивали и толкали машину. Серпилин не вылезал. Он промерз так, что зуб на зуб не попадал, да и фельдъегеря были ражие ребята.

Последние полчаса ехали быстрее. Фельдъегеря, сидевшие сзади Серпилина, разговаривали о своих делах. О каком-то сослуживце, который откручивается от дежурств, боится летать, о другом, которого сбили позавчера над Ладогой, и о том, придется или не придется завтра лететь снова...

Когда доехали до центра, Серпилин приказал остановить машину у метро, считая неудобным задерживать фельдъегерей с почтой.

В метро было тепло и людно, и эта людность поразила его. Весной сорок второго года, когда он последний раз ехал в метро, народу в эти же часы было куда меньше.

Соседи по вагону говорили и о войне и не о войне, но в памяти от непривычки застревало именно то, что не о войне. Какой-то высокий человек в шляпе, с пунцовыми большими ушами, вися на поручнях и пьяно нагибаясь к сидевшей перед ним хорошенькой женщине, говорил о совершеннейшей ерунде, о том, что какой-то Колпаков вовсе не такой уж царь и бог, за какого себя выдает, и что если она хочет, то можно и без всякого Колпакова поехать завтра в парники и достать там зеленого луку и шампинионов — он так и выговаривал «шампиНИОнов», а женщина, слушая его, виновато смотрела мимо, в сторону Серпилина, и в том, как она смотрела и какая неловкость была написана на ее лице, — в этом все-таки была война.

А рядом с Серпилиным — он сидел полуобернувшись и не видел их — две женщины, судя по голосам, немолодые, говорили о какой-то слесарше, которая за починку парового отопления просит два кило черного, а за полтора не хочет и слышать. Одна из женщин ругала ее, а другая оправдывала, говоря, что у слесарши тоже дети. И в этом далеком от войны разговоре, и в «два кило черного», и в том, что не слесарь, а слесарша, тоже была война.

От метро до дома Серпилин шел пешком. Шел, ни о чем связно не думая, только все прибавляя и прибавляя шагу. Если бы были силы, он побежал бы, но сил уже не было.

Поднявшись по темной лестнице на третий этаж, он пошарил на привычном месте звонок, не нашел и постучал кулаком. Дверь открыла женщина, показавшаяся ему незнакомой.

Серпилин спросил первое, что пришло в голову: «Вы врач?» — но тут же понял, что она не врач. На женщине был бумазейный халат, она одной рукой придерживала его на груди, а в другой держала сковородку с жареной картошкой.

Серпилин все еще не понял, кто эта женщина, понял только одно: не врач — и пошел мимо нее к дверям своей комнаты.

— Нету ее! — вскрикнула женщина и, не выпуская сковородку, рванулась вслед за Серпилиным и схватила его за рукав полушубка так, словно не могла допустить, чтобы он вошел в свою комнату. И от этого ее порыва Серпилин понял: умерла... Выпустил ручку двери, повернулся и посмотрел в глаза женщине.

— Когда? — только и спросил он.

— Вчера в госпиталь увезли, днем,— сказала женщина.

Серпилин опустился на стоявший у стены сундук и, чувствуя, что плохо владеет собой, задрожавшими пальцами полез в карман полушубка за папиросами.

— Правду говорите?

— Конечно,— сказала женщина. — А вы что подумали? — И по его глазам поняла, что он подумал. — Нет, нет, наоборот. Вчера днем лучше стало, потому и в госпиталь решили свезти, там же уход, врачи, а тут только одна сестра медицинская да я... — Она говорила это, все еще держа в руках сковородку.

Из кухни вышел мальчик лет четырнадцати и встал рядом с ней.

— Иди поешь,— сказала женщина, протягивая мальчику сковородку.

Мальчик перехватил ручку сковородки полой куртки и понес ее в ту дальнюю комнату, где когда-то раньше был кабинет Серпилина и где теперь жили эти люди.

Только тут Серпилин понял и кто эта женщина, и кто этот мальчик: это были соседи по квартире, въехавшие сюда по ордеру в тридцать седьмом году, когда его посадили, а Валентину Егоровну уплотнили, оставив одну из трех комнат. Он знал и фамилию соседей — Приваловы, знал и мужа этой женщины, преподавателя академии майора Привалова, который сейчас был на фронте. Знал и эту женщину, и этого мальчика. Видел их лет шесть назад, когда они жили здесь, в этом же дворе, только в другом подъезде, в маленькой комнате. Но сейчас, если б не догадался, кто они, не узнал бы. Тогда, шесть лет назад, этот мальчик был маленьким, а женщина молодой. С тех пор Серпилин не видел их: в начале войны они были в отъезде, а потом

в эвакуации, и их комнаты стояли запертыми, а два месяца назад Валентина Егоровна написала, что они вернулись и что она очень дружно живет с этой женщиной, Марией Александровной, и ее сыном, кажется, Гришей...

— В каком госпитале? — несколько раз подряд затянувшись папиросой, спросил Серпилин.

— В Тимирязевской академии. Там госпиталь теперь. Знаете где?

— Знаю. Лежал,— сказал Серпилин. — Телефон работает?

— Работает.

Серпилин подошел к висевшему на стене телефону и, вытащив из кармана записную книжку, набрал номер Ивана Алексеевича.

Адъютант ответил, что генерал-лейтенанта нет, ушел на доклад, и осведомился, кто спрашивает.

— Генерал-майор Серпилин.

— Где же вы, товарищ генерал? — сказал адъютант. — Мы вас второй день ждем. Куда машину прислать, вы с какого аэродрома звоните?

— С квартиры,— сказал Серпилин.

— Высылаю машину,— сказал адъютант.

— Запишите адрес.

— Не надо. Генерал-лейтенант ездил к вашей супруге, шофер адрес знает.

— Я до госпиталя доеду и верну машину,— сказал Серпилин.

— Не надо, товарищ генерал,— сказал адъютант,— генерал-лейтенант приказал сказать: сколько вам нужно, столько и держите. Только потом позвоните, он приказал, чтобы вы позвонили...

— Не в курсе дела, как положение моей жены? — спросил Серпилин.

— В тринадцать часов по приказанию генерал-лейтенанта звонил в госпиталь, сообщили, что без перемен. Сейчас еще позвоню, товарищ генерал.

— Не надо,— сказал Серпилин. Он уже не хотел слышать от других ничего — ни плохого, ни хорошего, хотел ехать сам и видеть своими глазами.

Он положил трубку и повернулся к женщине:

— Извините, Мария Александровна, не сразу узнал вас.

— Да уж... — сказала женщина, и лицо ее исказилось так, словно она готова была заплакать.

Серпилин с удивлением взглянул на нее. Неужели она так чувствительна к тому, что переменилась и постарела, или он так грубо это сказал?

— Годы идут, старею, память уже не та,— сказал он, считая, что поправляет этим неловко сказанное.

Но женщина словно и не слышала его слов.

— Как Валентина Егоровна? Что говорят?

— Говорят, без перемен.

Серпилин зажег папиросу от папиросы и поискал глазами, куда бросить окурок.

— Бросайте на пол, все равно подметать буду,— сказала женщина. — Санитары были вчера, натоптали. А у меня убирать просто уж сил не было. — Лицо ее снова исказилось, и подбородок задрожал. Но она и на этот раз не заплакала.

Серпилин взялся за ручку двери своей комнаты. Но дверь не открылась.

— У меня ключ,— сказала женщина. — Я еще не прибралась там. К нам пока зайдите.

Она женским чутьем ощутила, что не надо пускать сейчас этого человека в комнату, откуда увезли его жену, где все так и осталось неприбранным, разоренным,— лишняя боль. Зачем она, когда еще столько ее будет!

— Машина скоро придет,— сказал Серпилин, взглянув на часы. — Я вниз спущусь.

— Ну хоть на десять минут, что ж внизу-то мерзнуть?

Серпилин подумал — ей может показаться, что он не хочет заходить в свой бывший кабинет. Он сказал: «Хорошо» — и, скинув полушубок, прошел за нею в комнату.

Мальчик сидел за столом, подперев рукой щеку, и ел со сковороды картошку. В комнате все было по-другому: другие обои, другие вещи, даже другой пол, покрытый линолеумом.

Он скользнул взглядом по стенам. Последнее, шестилетней давности, воспоминание, связанное с этой комнатой, было из тех, что не переступишь: раскрытые шкафы, перевернутая вверх дном и распоротая тахта, стол с выброшенными на пол ящиками, на столе горой письма и бумаги, пол, заваленный книгами, — в них тоже рылись: искали, не заложены ли какие-нибудь документы...

Он сел за стол рядом с мальчиком, увидел напротив на стене портрет Привалова, новый, военного времени, в полковничьей форме, с двумя орденами Красного Знамени, которых у него тогда, до войны, не было, и, отвлекшись от собственных тяжелых мыслей, весело сказал, положив руку на плечо мальчика:

— Вот видишь, тебя и мать не узнал, а батьку сразу узнал, совсем не переменился Иван Терентьевич... — Это он добавил, поворачиваясь к женщине, и, только договорив до конца, понял все случившееся по ее лицу, изуродованному последней, безнадежной попыткой удержаться от рыданий. Она боком опустилась на стул и, разведя в стороны руки, упала головой на стол, заплакала.

Мальчик высвободил плечо из-под забытой на нем руки Серпилина, встал и заходил по комнате, кусая бледные губы.

Серпилин, который в первую секунду хотел что-то сделать, сказать, может быть, коснуться плеча женщины, встретив взгляд мальчика, почувствовал в этом взгляде предупреждение: «Пожалуйста, ничего не надо делать, будет только хуже. Раз уж вы все равно сказали ей это, теперь не надо, ничего не надо...»

Серпилин молчал и смотрел на висевший прямо напротив него портрет покойного полковника Привалова. Мальчик ходил по комнате, а женщина сидела и плакала.

Потом она подняла голову и сказала мальчику:

— Пойди достань платок под подушкой.

Мальчик подошел к широкой, ее и отцовской, кровати — она стояла там, где когда-то стоял письменный стол Серпилина,— достал из-под подушки носовой платок и подал его матери. Мать вытерла платком подбородок, щеки и налитые слезами глаза.

— Вот так, — сказала она, зажав платок в кулаке. — Взяли Великие Луки... — Голос ее дрогнул.

— Мама! — резко сказал мальчик. Это было первое слово, которое он сказал за все время.

— Ничего, не буду... Как услыхала вчера вечером сообщение, что взяли их, так плакала... думала, истерика со мной сделается. Никак остановиться не могла. В тот понедельник погиб он под ними. Его дивизия их и взяла. В Торопце похоронили, на площади. Его дивизия и Торопец брала. За мной на похороны машину прислали. И он был со мной, — кивнула она на мальчика. — Не хотела брать с собой, а он настоял. В ноябре орденом Ленина наградили — написал: попрошу, чтобы в Москве вручили, воспользуюсь, приеду повидаться. Ах,— вздохнула она всей грудью,— что говорить и зачем говорить? Лучше вам про вашу расскажу... Нет, нет, я скажу,— остановила она рукой Серпилина, собиравшегося возразить, что он сейчас сам поедет и все узнает. — Выйди, — строго повернулась она к сыну. — Тебе это незачем слушать, выйди в ту комнату!

И, проводив сына взглядом, подождав, пока за ним закроется дверь, повернулась к Серпилину и сказала:

— Сын ваш, Вадим, в пятницу вечером к ней приехал. С фронта, наверное... Она не ждала его, никогда мне о нем ничего не говорила, а я не спрашивала.

«И правильно делала, что не спрашивала», — сказали ей глаза Серпилина.

— Я ему парадную дверь открыла. Он к ней в комнату зашел, чего-то заговорил с ней, а она как закричит на него!.. Я к себе ушла, чтобы не слышать. Но все равно слышала. А потом

парадная дверь хлопнула. Ушел. Позже зашла к ней, беспокоилась. Знала, что у нее сердце... Но она ничего. Лежала, правда. Спросила ее, не нужно ли чего. Она сказала: не нужно. И я пошла к себе свое горе мыкать. Только накануне с похорон вернулась. А утром пошла у нее чайник просить. Не отвечает. Открыла, а она лежит на полу, в приступе с кровати упала и лежит без сознания. Немного ударилась о ножку стола, вот здесь... — Мария Александровна показала у себя на виске, как ударилась жена Серпилина, и его передернуло от этого жеста. — Я ее на постель взвалила, стала звонить врачам, туда-сюда, пока приехали — боялась, умрет. А потом приехали, уколы делали. Немножко отошла. А потом днем ваш Вадим опять пришел, но я его уже не пустила. На площадке объяснила. Он сказал, что поедет, всех врачей на ноги подымет. И правда, врачи скоро приехали, пост установили, потом генерал-лейтенант приехал...

С улицы донесся гудок машины. Серпилин поднялся.

— Машина пришла, — сказал он.

— Да что же это у нее с сыном? — спросила Мария Александровна, остановившись перед Серпилиным, пока он, сев на сундук в передней и скинув валенки, натягивал вынутые из чемодана холодные сапоги. В ее вопросе не было любопытства, только удивление перед чужим и непонятным горем.

Серпилин молча, не отвечая, натянул второй сапог, снизу вверх взглянул на женщину и, так ничего и не ответив, надел полушубок.

— Навряд ли вернусь сегодня, — сказал он.

Вопрос, на который Серпилин не ответил, уже несколько лет был самым неразрешимым в жизни его жены, а последние два года — и в его собственной.

Серпилин в последний раз видел сына в тридцать седьмом году, когда после выпуска из автобронетанкового училища провожал его на поезд к месту службы в Забайкалье. После этого было несколько писем: как устроился, как служит, как готовится к передаче из комсомола в партию. Последнее письмо пришло за день до ареста Серпилина, и четыре года, до возвращения из лагеря, он не знал о сыне ровно ничего.

Сначала, попав из тюрьмы в лагерь с правом переписки, дважды в свои письма к жене вкладывал письма для сына. Но жена в ответ, как глухая, не писала о сыне ни слова, и он подумал, что сын тоже арестован. Поверить в это было тогда нетрудно.

Потом его перевели в лагерь без права переписки. Ключ в дверях, отделявших его от прежней жизни, повернулся еще на один оборот.

Он возвратился в Москву ранним утром 22 июня. Уже шла война, но ни он, ни люди, встречавшие поезд, еще не знали о ней. Когда поезд подходил к платформе Ярославского вокзала, он еще с подножки увидел в толпе лицо встречавшей его, по телеграмме, жены; сына рядом с ней не было.

— Где Вадим? — спросил он, обнимая молча плакавшую на его груди Валентину Егоровну, надеясь услышать «служит» и боясь услышать «сидит».

— Нет его,— странным, придушенным голосом сказала Валентина Егоровна, с трудом поднимая на него глаза. И он по этим глазам и странному голосу понял, что сын не умер. Когда умирают, об этом не говорят таким странным голосом. — Жив, жив, — продолжая глядеть ему в глаза, сказала Валентина Егоровна. — Дома поговорим.

Дома поговорили. И, несмотря на счастье свободы, на радость встречи, на прилив благодарной любви друг к другу, несмотря на обрушившееся через несколько часов первое известие о войне и первый сводивший с ума вопрос: «Пустят ли на фронт?», все равно тот разговор о сыне остался в памяти навсегда.

В 1937 году лейтенант Серпилин отказался от своего отца, врага народа, бывшего комбрига Серпилина, и подал об этом рапорт командованию, а потом выступил с письмом в окружной газете. Он написал как о вдруг открытой им тайне о том, что никогда не было тайной в их семье. Он указал в рапорте, что, как выяснилось, его настоящим, родным отцом был герой гражданской войны Василий Яковлевич Толстиков, погибший под Царицыном, а оказавшийся впоследствии врагом народа Серпилин, за которого мать вышла вторым браком, усыновил его в пятилетнем возрасте. Не желая носить фамилию врага народа, он ходатайствовал вернуть ему славное имя его настоящего отца.

Его ходатайство было удовлетворено, и, когда Валентина Егоровна, еще ничего не зная об этом, переслала ему письмо Серпилина, он ответил письмом, в котором требовал, чтобы мать больше не переписывалась с его бывшим отцом. Письмо было подписано: Вадим. А на конверте, там, где обратный адрес, стояло: Толстиков Вадим Васильевич. В первую минуту она даже не сообразила, что это значит.

Таков был конец — о начале, рапорте и письме в газету она узнала позже, когда одна из ее подруг приехала с Дальнего Востока.

Она ничего не ответила сыну, не ответила и Серпилину, спрашивавшему о сыне. Она не могла простить своему сыну этих слов «бывший отец», этого предательства по отношению к человеку, который с пяти лет и всю его жизнь делал для него больше, чем все родные отцы кругом. Даже слишком много делал! И сколько бы ей потом ни говорили, что сейчас «такое время», что это вынужденно, что, наверное, сын специально послал ей такое письмо, чтобы это письмо прочли там, где надо, — все эти оправдания уже ничего не могли сдвинуть в ней. Серпилин для нее оставался Федей, Федором Федоровичем Серпилиным, самым лучшим, благородным и честным человеком на свете, что бы с ним ни случилось, что бы про него ни говорили и к чему бы его ни приговорили. А вот сама она действительно была теперь бывшая мать бывшего сына! Она чувствовала себя безмерно виноватой перед Серпилиным за то, что сын, ее сын, теперь уже не его, а только ее сын, оказался таким. Ее мучило, что она не могла выбросить из памяти его — маленького. Такого, каким он был в последние годы, выбросила, а маленького — не могла. Как будто это были два совсем отдельных человека — тот сын, который был маленьким, и тот, который существовал теперь где-то там, на Дальнем Востоке.

На другой год после ареста Серпилина — в забытый, как она думала, всеми, кроме нее самой, день его рождения — к ней вдруг заехал Иван Алексеевич проведать и передать денег из рук в руки. Приехал так, чтоб даже жена не знала, не сболтнула комунибудь. В тот вечер Валентина Егоровна, зная все, что творилось кругом, зная, сколько пустых, запечатанных квартир стоит в казенных военведовских домах, и хорошо понимая, что это значит — приехать к ней в такое время, сказала, вздохнув: «Вот, как хочешь, Ваня, можешь не поверить, а мне было б во сто раз легче, если б Вадим пострадал, а не отказался от Феди — пускай из армии бы выгнали, выслали, работал бы где-нибудь на поселении, на черной работе, и я бы с ним жила где угодно... в землянке, впроголодь, на одной ботве. Неужели такую цену надо платить, чтобы в армии остаться? А зачем они там, такие? Кому они, такие, нужны?.. Меня бабы утешают, что не один мой — все такие. Врут, дуры! Если б все такие, я б на себя руки наложила!»

Время тогда уже чуть-чуть, самую малость, стало поворачиваться к затишью в арестах, и Иван Алексеевич в ответ сказал, что все еще выяснится и станет на свое место, положение в их семье переменится к лучшему и ей самой захочется забыть вину сына.

«Захочется, верно, — с силой сказала в ответ Валентина Егоровна, — да сможется ли?.. Нет, не забуду! Тебе не забуду, что

пришел сегодня, и ему не забуду, что Феде на грудь ногой встал и стоит, как на мертвом. Все переменится, а я не переменюсь к нему, не смогу».

И не смогла. Сын первый раз постучался в дом в тридцать девятом году, когда освободили кое-кого из военных. Приехал в Москву в отпуск, соседка открыла дверь, вошел в комнату матери прямо в шинели, с чемоданом...

«В гостинице места, что ли, не нашел?» — несмотря на всю силу испытанного при виде его потрясения, с презрением подумала она.

И так и не сказала ему ни одного слова. Молчала все время, пока он был в комнате. Он метался из угла в угол, то присаживаясь, то опять вставая, то пытаясь говорить так, словно ничего не произошло, то сперва с недомолвками, а потом и открыто прося прощения... А она все сидела и молчала, ожидая, когда он уйдет.

Наконец он подошел, сел рядом, обнял ее за плечи и вдруг, взглянув в глаза, отшатнулся и вскочил. Понял: еще секунда — и ударила бы по лицу. Кто знает, если б не отскочил, если б не пересел испуганно на другой стул, если б продолжал глядеть на нее, не моргая, и дал ударить себя по лицу, радуясь этому, как прощению, — кто знает, есть же все-таки мера сил человеческих, может быть, и прорвало бы ту каменную плотину, что, подпирая сердце, высоко и больно стояла у нее в груди...

Но он испуганно отсел, и она продолжала молчать, пока он не вышел вместе со своим чемоданом.

Второй раз постучался незадолго до войны, — прислал письмо, что женился и что родилась дочь. Прислал в письме фотографии. Предлагал выслать денег на дорогу, звал приехать погостить, повидать внучку. Валентина Егоровна прочла и не ответила.

В третий раз постучался теперь...

«Откуда взялся в Москве? С Дальнего Востока или с фронта?» — думал Серпилин, подъезжая к госпиталю в Тимирязевке. Хотелось верить, что, не пройдя фронтовой купели, не посмел бы показаться матери. «А она? Почему его приход так подействовал на нее? Что случилось? Только бы в сознании была», — как молитву, про себя прошептал он, выйдя из машины и подымаясь по лестнице. Он был готов к любому запрету — не говорить, не волновать, не спрашивать. Только б услышать ее голос, хоть шепот. И чувствовать, что не только он, но и она его видит.

«Ведь сказали, что вчера стало лучше, а сегодня сказали, что без перемен...» И чем дальше он шел по длинному коридо-

ру госпиталя, тем его сильней лихорадило от этой надежды на лучшее.

Но заведующая отделением, очень высокая, сутулая женщина, похожая на усталого верблюда, не сразу пустила Серпилина к жене, а завела к себе в маленький кабинет, где стояли стол, стул и накрытый клеенкой топчан.

— Садитесь.

Серпилин сел на холодную клеенку топчана и почувствовал, что дальше все будет очень плохо.

— Я думаю, мы будем говорить с вами, товарищ генерал, так, как оно есть.

Серпилин молча кивнул и снова подумал, что все очень плохо.

Заведующая отделением сказала это другими, своими словами. Начала с того, что сейчас его жена все равно без сознания, поэтому ничего, что он задержится здесь, в кабинете, на несколько минут.

— Судя по истории болезни, инфаркт у нее уже третий. Возможно, были и микроинфаркты. Человек, который не следит за собой, может не придать им значения...

— Да уж за собой... — начал Серпилин, но не докончил.

Заведующая отделением продолжала объяснять, что инфаркт третий и крайне тяжелый. Вчера днем больной стало значительно лучше, и врачи, которые увозили ее с квартиры в госпиталь, даже проявили оптимизм... (В голосе заведующей прозвучала досада.) Но уже вчера вечером здесь больной стало вновь плохо. Думали, что скончается; сегодня утром был консилиум, профессор, осмотрев больную, пришел к выводу, что уже помочь не в силах; вопрос не в исходе, а только во времени. Она, заведующая отделением, к сожалению, думает то же самое.

— Больная очень слаба и сегодня приходила в сознание лишь один раз вечером, около пяти часов. Спросила дежурную сестру: не приехал ли муж.

«Около семнадцати,— подумал Серпилин,— как раз когда шли на посадку».

— Вот так,— сказала заведующая отделением и положила перед собой на стол большие, чисто вымытые, равнодушные руки. Лицо у нее было сочувствующее, а руки равнодушные, может быть, потому, что они уже ничего не могли сделать.

Серпилин слушал все, что она говорила, не двигаясь, опираясь холодными ладонями о холодную клеенку топчана. Дослушав до конца, он ничего не ответил и не переспросил, потому что переспрашивать было нечего. Да и эта суровая спокойная женщина

говорила с ним как с человеком, который не станет переспрашивать и говорить никому не нужные слова.

— Пойду,— сказал он, вставая.

Когда они шли с заведующей по коридору, он вдруг остановился и спросил:

— Так что ж, никакой надежды?

Она тоже остановилась, посмотрела на него при свете слабой синей коридорной лампочки и, наверно, еще раз подумав, что этому человеку лгать не надо и нельзя, ответила:

— Никакой.

Он ссутулился больше обычного и пошел дальше по коридору, но она остановила его у поворота:

— Боксы налево, она в боксе.

Серпилин не понял, что это за слово «бокс» и почему она в боксе, и лишь потом, с трудом оторвавшись от того главного, о чем думал, вспомнил, что боксы — маленькие комнаты, в которых лежат поодиночке.

В боксе на широком подоконнике горела настольная лампа, боком к ней сидела медсестра и, низко наклоняясь к страницам, читала книжку. Во весь подоконник была расстелена салфетка, и на ней стояли блестящие никелированные коробки. «Со шприцами»,— подумал Серпилин. Это было первое, что он увидел, войдя в палату.

Жену он увидел, только когда повернулся к стоявшей налево от двери кровати. Кровать была затенена повешенной на спинку простыней; лицо Валентины Егоровны было в тени, и он не сразу заметил все происшедшие в этом лице перемены. Он сделал шаг к кровати, но, вспомнив, что жена без сознания, отступил, не стал подходить к изголовью, а остановился в ногах и, словно сам удерживая себя от чего-то нелепого, что он мог сделать, обеими руками с силой ухватился за спинку кровати. Он стоял вцепившись в спинку кровати, словно это был барьер или решетка, которую он мог перейти только взглядом, и неотрывно смотрел на лежавшую перед ним жену.

За те полгода, что он ее не видел, волосы ее еще сильнее поседели. На левом виске, там, где она ударилась о ножку стола, когда упала, темнела ссадина. Руки вытянулись поверх одеяла, а на похудевшем лице лежала та печать усталости и отрешенности, которую он не раз видел на лицах людей, умиравших не сразу, а имевших несколько дней на то, чтобы самим осознать, что они умирают. Так когда-то в восемнадцатом в походе на повозке умирал на руках от гангрены изрубленный казаками комиссар полка Вася Толстиков, умирал и просил его написать в Пензу — вдове. И он написал, а потом, после гражданской, поехал к

ней. А теперь она, двадцать два года бывшая его женой, умирала сама. Глаза ее были закрыты, и он напряженно следил за тем, продолжает ли она дышать. Потом наконец уловил это слабое дыхание и сам закрыл уставшие от напряжения глаза. А когда открыл, то ее глаза тоже были открыты и, как ему показалось, смотрели на него.

— Валя! — вскрикнул он и пошел, огибая кровать, к изголовью.

Но сестра метнулась со стула ему навстречу и остановила его:

— Она без сознания, просто так бывает — то закрыты глаза, то открыты.

Но он не поверил и еще раз сказал:

— Валя!

И только увидев, что в лице ее ничего не дрогнуло и раскрытые глаза продолжали смотреть не на него, а мимо, в угол, понял, что сестра сказала правду.

Но сестре казалось, что он все еще не понял и не поверил, и она продолжала удерживать его и объяснять, что лучше не прикасаться к больной, что для больной сейчас опасно каждое самое маленькое движение, что она все равно без сознания и ничего не слышит, а если придет в сознание, то это сразу будет заметно — она тогда начнет шевелить губами и шептать, как шептала три часа назад, когда несколько раз подряд спросила: «Не приехал?»

— Ладно, не держите меня, не маленький,— сказал Серпилин. — Ничего я такого не сделаю.

Он отошел от изголовья и снова стал за спинкой кровати в ногах.

Теперь, когда у жены были открыты глаза, было еще труднее думать о том, что она все равно ничего не сознает и не видит его.

Он стоял и ждал, чтобы она очнулась. И если бы всю силу его сосредоточенного ожидания можно было обратить в какую-то другую силу, способную что-то сделать, эта сила, наверное, была бы способна не только возвращать сознание живым, но и воскрешать мертвых. Что значила в его жизни эта умиравшая на его глазах женщина? Со стороны, наверное, казалось, что не так уж много, потому что была служба, и война, и половина жизни в разлуках. Но это только казалось: он-то знал, чем она была для него!

Его жизнь была целью ее жизни, а теперь она умирала, а он оставался жить, не только не представляя, кем или чем можно заменить ее в жизни, но даже не представляя себе, что когда-нибудь сама жизнь вынудит его об этом думать. Но даже и тогда он все равно не сможет заново прожить той жизни, которую прожил

с ней, и сказать кому-то другому то, что он сказал ей за всю эту жизнь, и услышать от кого-то другого то, что он услышал за эту жизнь от нее. Попробовать заменить ее кем-то другим будет все равно что попробовать заменить жизнь, прожитую им самим, другой жизнью, которую прожил не он, а кто-то другой.

Он сам не знал, сколько простоял так, все надеясь, что она очнется, и, что редко бывало с ним, совершенно потеряв представление о времени. Один раз он заснул стоя, и его шатнуло так, что он чуть не упал. После этого сестра принесла ему стул, хотела поставить в головах, но он сам переставил стул в ноги, сел и продолжал ждать, глядя на жену.

Один раз в груди у нее заклокотало, голова ее вздрогнула на подушке и неподвижно замерла. Серпилин подумал, что она умирает, вскочил, подошел, нагнулся над открытыми невидящими глазами. Но она дышала, слабо-слабо, но дышала.

Сестра, тоже подумавшая, что больная умирает, побежала за врачом и вернулась с заведующей отделением. Серпилин посторонился; заведующая пощупала пульс, послушала дыхание и сказала, что нет, пока все по-прежнему.

— Может, поедете домой, поспите немножко, а рано утром приедете? — спросила заведующая отделением. — Не беспокойтесь, я сама сегодня в ночь дежурю,— добавила она, как будто это могло что-то изменить.

Но Серпилин только покачал головой и снова сел на стул ждать.

— Ведь это как,— успокаивающе положив ему руку на плечо, сказала заведующая отделением. — Мы и сами не точно знаем, когда... — Она подразумевала: «Когда приходит смерть»,— и Серпилин понял.

— Вчера ваш сын всю ночь дежурил. В коридоре. Мы ему даже топчан там поставили, он в палату не захотел. Думали сами, что еще вчера ночью все будет, и ему так сказали. А вот, видите. Может, и еще ночь, завтра, а вы уже будете не в силах... поехали бы.

Но Серпилин вновь покачал головой. Может быть, все это и разумно и правильно, но он не мог уехать отсюда.

Потом через какое-то время две санитарки стали вносить в дверь палаты топчан, тот самый, с клеенкой, на котором он сидел у заведующей в кабинете.

Он тихо, но твердо сказал женщинам, что не надо, они поняли, что он не ляжет, и унесли топчан обратно.

Потом опять через какое-то, он не знал, через какое, время зашла санитарка, и сестра после этого сказала ему, чтобы он вышел.

Он вышел и сколько-то времени стоял в коридоре, прижавшись лбом к холодному стеклу, пока они что-то делали там, в палате. Потом они сказали ему, что можно зайти, он опять зашел и сел на свое место. Жена лежала так же, как лежала, только с закрытыми глазами. Пока она лежала с открытыми глазами, ему казалось, что нельзя говорить при ней, а теперь, когда лежала с закрытыми, он спросил сестру про сына: когда он уехал отсюда?

— Сегодня утром; сказал, что у него сутки дежурство, а потом опять приедет.

«Что он, в Москве, что ли, служит?» — подумал Серпилин. А вслух спросил:

— В палату так и не заходил?

Сестра покачала головой.

— Только дверь открывал, заглядывал.

То, что было понятно Серпилину, очень удивило ее. Прошлую ночь она несколько раз предлагала этому капитану, чтобы он сидел не в коридоре, а в палате, тем более что в коридоре холодно. Но он все отказывался, и она подумала, что он боится вида смерти. Это бывает с мужчинами.

— В госпитале давно работаете? — спросил Серпилин сестру.

— Тридцать пять лет по госпиталям. Да три года в санитарном поезде, в ту войну.

— А сколько же вам лет?

— Пятьдесят шестой.

Серпилин удивился: сестра показалась ему моложе.

— Муж есть? — спросил он сестру, ожидая услышать: да, есть. Потому что раз ей пятьдесят шестой, наверно, его по возрасту уже не могли забрать на войну.

— Был, в ополчении погиб.

— А сколько ж ему было? — спросил Серпилин.

— Шестьдесят первый шел.

— А кем он был?

— Старый коммунист был,— сказала сестра, сказала так, словно разом хотела ответить на все заданные и незаданные вопросы. Ответила, вздохнула, помолчала, опять вздохнула. — Сначала сообщили, что без вести пропал. А потом товарищи доказали, что убит. — Она сказала об этом так, словно сначала ей принесли более тяжелую весть, чем потом.

И как ни чудовищно это было, но Серпилин подумал, что это действительно так. Раз по документам убит, значит, уважение к памяти. А если без вести — почему «без вести», как это так «без вести»? Как будто им кто-то предлагал подать о себе весть, а они

не захотели, как будто прежде, чем умереть, надо было выбрать такое место и время, чтобы все видели своими глазами, как ты убит.

Серпилин усилием воли подавил в себе этот старый, еще с сорок первого года тлевший в нем гнев.

«Убит, убит... опять убит,— подумал он, глядя на медсестру. — Только всюду и слышишь: убит». Люди уже начинают забывать, что можно умереть не от бомбы, не от мины и не от пули, а просто от ничего, от болезни. И он сам забыл об этом. А сейчас сидит тут и снова знает, что это так и что это еще страшнее, если вообще смерть может быть страшнее смерти.

Серпилин заснул уже под утро глубоким и тяжким сном, привалясь головой к закрытым одеялом ногам жены. Он обессилел от двух бессонных ночей и от того однообразного, клонившего ко сну напряжения, с которым он много часов подряд смотрел в лицо жены. Он не услышал того последнего короткого вздоха, с которым, так и не открыв глаз, не двинувшись и не дрогнув, умерла Валентина Егоровна. Он не ощутил и того, как у него под щекой постепенно похолодели ее ноги.

Сестра тоже не сразу заметила, что умирающая умерла. Она подходила к ней, когда та еще дышала. А потом, задремав, не подходила полчаса или больше...

— Скончалась...— сказала сестра, тронув за плечо Серпилина, и вышла, оставив его вдвоем с покойной.

Серпилин подошел к изголовью кровати, нагнулся и поцеловал жену в холодные закрытые глаза. Она умерла с закрытыми глазами, словно и тут захотела сделать так, чтобы ему было легче.

Потом он опустился на пол рядом с кроватью, прижался поседевшей лысеющей головой к ее холодному плечу и заплакал. И хорошо, что его никто не видел в эту минуту.

Когда вернулась медсестра и вместе с ней пришла заведующая отделением, Серпилин стоял спиной к ним у окна, за которым уже посветлело, и заправлял большими пальцами за пояс складки гимнастерки. Он повернулся на скрип двери, сухо покашлял, словно у него першило в горле, и спросил, можно ли по их правилам сегодня же похоронить жену. Хотел бы сделать это, пока он тут, а завтра утром ему лететь обратно на фронт.

Заведующая отделением обрадовалась его спокойному голосу: она терпеть не могла, когда при ней плакали мужчины.

— Сделаем все, что от нас зависит,— сказала она. — Может, и успеем, если вы не будете настаивать на вскрытии.

Серпилин довольно резко сказал, что он ни на чем не собирается настаивать. Сказал и, чувствуя комок в горле, пошел к двери.

— Куда вы? — спросила заведующая отделением.

— Похожу по коридору.

Он ходил по коридору минут сорок, а может, и пятьдесят, столько, сколько ему понадобилось, чтобы прийти в себя и знать: комок к горлу больше не подступит. По крайней мере, здесь, в госпитале, перед людьми.

За это время мимо него два раза прошла заведующая отделением. Второй раз с какой-то бумажкой, наверное с актом о смерти, и сказала, что они скоро закончат с оформлением.

Он молча кивнул.

Потом подошла сестра и спросила:

— Домой заберете?

Он покачал головой.

— Значит, сюда, к нам, гроб привезете?

Он кивнул, хотя не знал, как это делается, куда ему ехать и откуда привозить гроб.

— Тогда,— сказала сестра,— нам пока придется спустить ее вниз.

Она хотела сказать «в морг», но сказала «вниз».

— Когда? — спросил он.

— Да надо бы сейчас. Вы еще зайдете к ней? Если зайдете, заходите, а потом мы спустим.

Он открыл дверь в палату и вошел. В палате было уже совсем светло и очень холодно. Фортка была открыта настежь, и из нее тянуло чистым, режущим морозным воздухом.

Жена лежала на кровати, закрыта одеялом по пояс, со сложенными на груди руками. В первую секунду он вздрогнул: ему показалось, что она ранена. Показалось потому, что нижняя челюсть у нее была подвязана широким чистым бинтом, и этот бинт был обмотан вокруг головы так, словно она была ранена в голову.

— Мы полотенцем подвязываем,— услышал он сказанные за спиной слова сестры,— а я ей — бинтом, потому что смена полотенца уже сдала. — Она извинялась перед Серпилиным, там, у него за спиной, что поступила не по порядку. А он смотрел и с трудом привыкал к этому новому, мертвому лицу с подвязанной челюстью, к этой обмотанной белым, раненой голове...

Так он стоял несколько минут в светлой и холодной мертвой комнате, прислонясь спиной к дверному косяку.

Потом почувствовал сзади прикосновение к своему плечу и отодвинулся в сторону, думая, что мешает пройти сестре.

И, только уже отодвинувшись и повернувшись, увидел, что это не медсестра, а сын. Сын стоял и молча плакал. По его постаревшему лицу текли слезы. Теперь Серпилин, отступив в сторону, больше не загораживал ему дорогу, но он все еще стоял на прежнем месте, как будто ему не разрешали войти в эту комнату.

— Что ты стал, иди,— сказал Серпилин.

Сын бросился мимо него к кровати, на которой лежала мать, и Серпилин, уже не глядя, что он будет делать дальше, там, в этой комнате, вышел в коридор.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Заведующая отделением, когда Серпилин зашел к ней, попросила его посидеть.

— Сейчас сестра вернется, пошла вам на справке печать и номер поставить.

После ночного дежурства заведующая стала еще больше похожа на усталого верблюда. Она сидела, ссутулясь, и просматривала истории болезни. Потом достала из стола кусочек сахара и, накапав на него несколько капель из пузырька, взяла в рот.

— Вижу, вам достается,— сказал Серпилин.

Вошла медсестра со справкой, и вслед за ней сын Серпилина.

Как бы там ни было, а Серпилин не мог отвыкнуть звать его так в своих мыслях. Не мог и сейчас.

— Вот и все,— сказала заведующая, беря из рук сестры и протягивая Серпилину справку. — А приехать забрать можете в любое время, как только у вас все будет готово.

— К двум часам все будет готово,— сказал сын Серпилина. — Сейчас в загс поеду, потом за гробом, потом на Новодевичье... К двум часам с машиной и с гробом будем здесь. Мне сказали, ты сегодня хоронить решил? — обратился он к Серпилину.

Серпилин кивнул.

— Могут не оформить вам так быстро,— усомнилась заведующая, но сын Серпилина уверенно сказал:

— Ничего, сделают.

Голос у него был напористый, громкий, все он, казалось, знал и мог, а глаза были красные, опухшие от слез.

— Только вы, товарищ генерал, чтобы обрядить ее, все заранее привезите,— сказала сестра. — Наши нянечки сделают, постараются, но им время нужно. Вы лучше прямо сейчас привезите!

— Привезем, привезем, все привезем,— поспешно сказал сын.

Он заторопился, быть может желая избавить отца от лишних мыслей обо всем этом, и Серпилин подчинился ему и первым вышел из кабинета врача.

— Подожди,— сказал Серпилин, когда они уже шли по коридору,— я вернусь, машину вызову.

— А у меня здесь стоит,— сказал сын. — Сейчас за вещами домой поедем, да?

Спросил так, словно у них по-прежнему был общий дом.

У входа в госпиталь стояла единственная машина — повенький открытый, с натянутым тентом американский «виллис». Эти машины только недавно стали появляться в армии, в противотанковых артиллерийских полках, у большого начальства. Серпилин видел их, но у него самого такой не было.

— Садитесь на заднее сиденье,— приказал сын шоферу. — Я поведу.

Серпилин, ничего не сказав, сел рядом с ним.

— Вот, ездим в командировки, обкатываем... — сказал сын после того, как они минут пять проехали молча. — Я сейчас офицером для поручений у Панкратьева. Он говорил, что ты его знаешь.

«Вон оно что,— ничего не ответив, подумал Серпилин. — Значит, крутится у Панкратьева».

Он действительно знал Панкратьева, но хотя сам по себе Панкратьев был хороший человек, все равно неприятно, что сын — порученец у Панкратьева в автомобильном управлении. Устроился где полегче!

Несколько минут опять ехали молча, потом Серпилин спросил:

— На какие фронты ездите?

— Больше на Западный и Калининский, а в последний раз на Северо-Западный,— радостно откликнулся сын. Молчание его угнетало. — А что?

— Ничего,— сказал Серпилин. — Думал, ты на фронте...

Когда доехали до дому, сын собрался вылезти вместе с Серпилиным.

— Ты только скажи мне, что взять, я возьму, отвезу, а потом уже в загс поеду и так далее,— сказал он.

— Нет,— ответил Серпилин, не вдаваясь в объяснения, почему «нет». — Вещи я сам отвезу.

Он не знал, как это делается, не знал, что из вещей жены надо брать туда, в госпиталь, для похорон и что не надо, но все равно хотел делать это один, без сына.

— Только... — начал было сын, но Серпилин прервал его:

— Мне все ясно, повторять не надо.

— Я только хочу сказать, чтобы ты отдал мне бумагу, она мне для загса нужна.

Серпилин достал и отдал сыну бумагу и, не оборачиваясь, вошел в подъезд.

«Раз служит в Москве,— тяжело подымаясь по лестнице, думал Серпилин,— почему явился к матери только теперь?»

Он не винил сына в ее смерти — так случилось. Могло случиться иначе. Он верил словам врача, что, судя по состоянию сердца, ее жизнь уже давно висела на волоске. Но из головы не выходила неотвязная мысль: с чем же все-таки сын пришел к ней? И почему она так закричала? Она кричать не любила и не умела. Даже в ночь, когда его брали и семь часов подряд шел обыск, не сказала никому ни слова, скрестила руки на груди и проходила взад-вперед по комнате с вечера до рассвета, пока не стали уводить. Но и тогда не крикнула и не зарыдала. А тут закричала. Почему?

Он долго стучал и уже подумал, что никого нет, когда ему открыл мальчик.

— Мамы нет, а я дрова пилил на черном ходу.

— А когда мама вернется? — спросил Серпилин.

Ему пришло в голову, что надо посоветоваться с соседкой, что из вещей взять туда, на похороны. С сыном советоваться не хотел, а с ней мог.

— Наверно, скоро придет, за хлебом пошла. А что у вас? — спросил мальчик и поднял глаза на Серпилина.

— Умерла,— сказал Серпилин и, отвернувшись к стене, снял телефонную трубку.

Адъютант сказал, что Иван Алексеевич отдыхает.

— Еще не приехал? — спросил Серпилин.

— Нет, он здесь. Он, когда до утра задерживается, здесь отдыхает. Сказал, чтоб вы к одиннадцати тридцати приехали. Пропуск на вас уже заказан,— сказал адъютант. — Когда вам выслать машину?

Серпилин попросил машину прямо теперь, повесил трубку и, повернувшись, увидел мальчика, стоявшего за его спиной с ключом в руках. Глаза у мальчика были усталые и взрослые. Так бывает с детьми — жизнь, ни с чем не считаясь, вдруг требует от них, чтобы они за несколько часов взяли и стали взрослыми, и они становятся.

— Спасибо. — Серпилин взял ключ, открыл дверь, вошел к себе в комнату.

Чувствовалось, что соседка все тщательно прибрала в ней. Но эта тщательность как раз и напоминала о несчастье. Комната была так тщательно убрана, что казалась нежилой. На по-

стели лежали подушки в свежих наволочках, одеяло было заправлено в новый пододеяльник, обе стеклянные пепельницы, на подоконнике и на столе, были протерты до блеска. А Валентина Егоровна, хотя ей запретили врачи, немножко покуривала, и, когда она жила здесь, в пепельницах всегда лежали докуренные до половины, оставленные до другого раза папиросы.

Серпилин остановился, не зная, с чего начинать. Стоя посредине этой пустой, чистой и холодной комнаты, очень похожей на ту пустую, чистую и холодную палату там, в госпитале, он еще раз подумал, что вызвать его сюда, в Москву, к умирающей жене было очень щедро по нынешнему военному времени, а что ему, легче от этого? Может быть, легче, а может, и тяжелее. Может, тем, кому совершенно невозможно даже и подумать об отлучке с фронта к умирающей жене, чем-то даже легче от этой не зависящей от них невозможности. Наверное, это была несправедливая мысль, но она все-таки пришла ему в голову. И еще подумалось, что теперь, на третий год войны, все понятия о том, что такое горе, и чем можно помочь человеку в горе, и что он должен испытывать, когда у него горе,— все это уже давно спуталось, нарушилось, полетело к черту... Он вспомнил, как сам много раз отказывал людям в отпусках, нужных им до зарезу, до слез, и, подойдя к шкафу, решительно дернул дверцу. Так или иначе, надо было это делать!

Первой с краю висела на плечиках его шинель. Он знал, что она здесь висит, поэтому полетел в Москву в полушубке, не взяв ничего другого. Но шинель висела не просто так, а обернутая в простыню и заколотая булавками. У Валентины Егоровны была привычка завертывать и закалывать вещи, которые она особенно берегла. Серпилин вспомнил, что ему надо будет идти в Генштаб, расколол булавки и бросил шинель на стул. Все остальное были вещи жены: демисезонное пальто, тоже завернутое в простыню и заколотое булавками, и несколько платьев. Все платья были знакомые и старые. С тридцать седьмого года она так ни одного нового и не сшила. Еще не решив, какое из этих платьев взять для похорон, он нагнулся, пошарил по дну шкафа, нашел две пары туфель, вынул их и поставил у кровати. Одни старые, стоптанные лодочки, а другие, вроде полусапожек, новые, теплые, на байковой подкладке. Он не видел их раньше. Значит, все-таки сделала на заказ из тех заготовок на хромовые сапоги, которые он получил в прошлом году на фронте и послал ей в Москву.

«Возьму их,— подумал он,— они теплее».

Потом открыл другую створку шкафа, зная, что надо взять и белье, но сделать это оказался не в силах. Глядя на сложенное там белье жены, стоял напротив открытого шкафа и, заложив

руки за спину, так долго не вынимал их оттуда, словно на них были кандалы, мешавшие ему протянуть руки, взять белье, собрать, завязать в узел...

Когда вошла соседка, он все еще стоял перед шкафом с закинутыми за спину руками.

Она вошла и, поняв, чем он занят, молча стала делать это вместо него. Самое большее, чем она могла сейчас помочь ему, это избавить его от вопросов. Она так и сделала: сама выбрала платье — черное и лодочки, потом, покопавшись в шкафу, отобрала белье, вытащила простыню, расстелила на столе и стала класть на нее вещи.

А он все так и стоял посреди комнаты, и она, как мимо столба, ходила мимо него от шкафа к столу и обратно.

— Вот и все,— сказала она, завязав узел, и присела.

Это были первые слова, которые она сказала после того, как вошла, и он был благодарен ей за это.

Когда она села, он тоже сел и закурил и, стряхнув пепел в пепельницу, вспомнил о той холодной чистоте, которая была в комнате, и сказал:

— Спасибо вам, что прибрали.

Она кивнула и неожиданно для него заговорила о прошлом:

— Когда уплотняли вашу квартиру, Иван Терентьевич хотел отказаться, не желал переезжать на живое место, но я убедила его: вдруг еще сочтут за что-нибудь такое, если откажемся? Сами знаете, какое было время. Въехали, как виноватые, старались первое время Валентине Егоровне в глаза не глядеть.

— Она мне всегда про вас только одно хорошее говорила,— сказал Серпилин.

— А мы ей плохого не делали,— сказала Мария Александровна. — Только первое время сами себя неудобно чувствовали.

— Что ж тут неудобного,— сказал Серпилин.

Он подумал, что все это сейчас уж не имеет ровно никакого значения, но потом подумал, что нет, имеет, и пожал руку сидевшей перед ним женщине, благодаря ее за ту, которая сама уже не могла поблагодарить.

У женщины показались на глазах слезы, вызванные воспоминанием о собственном горе, но она сдержала себя и не заплакала при Серпилине, потому что его горе было последним, сегодняшним. И сегодня надо было думать о нем, а не о себе.

— Я с вами поеду, обряжу ее там,— сказала она, вставая и беря в руки узел с вещами.

Серпилин надел пахнувшую нафталином шинель, и они вышли в переднюю. Серпилин хотел взять у нее узел, но она не

отдала. Так и спустились по лестнице и сели рядом в машину — он с пустыми руками, а она с узлом на коленях.

Ехали молча. Посреди дороги Мария Александровна сказала:

— Она от меня, когда я с похорон в Москву вернулась, ни днем, ни ночью не отходила.

Сказала и снова замолчала.

Когда остановились у госпиталя и вышли из машины, Серпилин замялся. Он понимал, что идти туда с ней ему нельзя, но не знал, ждать ли ее здесь или ехать в Генштаб.

— А вы не ждите меня, поезжайте,— сказала она. — Я, как управлюсь, домой поеду. А на кладбище с вами не пойду. Про свое там вспомню — и сил не хватит, только вам лишнюю неприятность сделаю...

В бюро пропусков Генштаба ждать не пришлось: пропуск лежал готовый, но Ивана Алексеевича на месте не оказалось. Адъютант сказал, что был и ушел на доклад, предупредив, что, если генерал-майор явится без него, пусть ожидает.

И Серпилин стал ожидать. Ожидать пришлось долго. Несколько раз заходили незнакомые генералы, и адъютант, вставая при их появлении, однообразно отвечал: «На докладе».

От нечего делать Серпилин поглядывал на адъютанта, пробуя по его поведению представить себе: переменился ли Иван Алексеевич за время, что они не виделись, а если переменился, то в чем?

Адъютант был высокий и широкий в плечах, крепкий, рыжий, прихрамывавший подполковник. Звание было высоковато для должности, но, как видно, подполковник не век служил в адъютантах у большого начальства, воевал и в строю. Об этом говорили два ордена Красного Знамени и золотая нашивка тяжелого ранения. По телефону он разговаривал со всеми одинаковым, незаискивающим тоном, только по произносимым вслух званиям можно было догадаться, кто находился на другом конце провода. Когда кто-нибудь входил, адъютант мгновенно, как пружина, распрямлялся над столом, быстро и точно отвечал на вопросы, а все остальное время читал какой-то толстый документ и красным карандашом что-то брал в нем в скобки, наверно отмечая нужные для Ивана Алексеевича места.

«Вот такой имеет право после ранения в адъютантах сидеть,— подумал Серпилин, считавший, что весь свой век сидеть в адъютантах могут только тупицы или холуи. — А потом, если не зажрется, сам в строй попросится. Такие просятся». Серпилин с досадой подумал о сыне, который успел уже зацепиться в порученцах, хотя у него нет ни орденов, ни нашивок за ранения.

Он вдруг с тягостным чувством вспомнил, как сына ничто не затрудняло: ни загс, ни гроб, ни кладбище,— все знал, все умел, все ему было просто. И хотя он понимал, что сын старался облегчить ему горе и освободить его от лишних забот, все равно эта умелость сына тяготила и удивляла: «Смотри какой оборотистый...»

— Скажите-ка, подполковник,— обратился Серпилин к адъютанту, когда тот, в десятый раз сняв трубку, сказал: «Подполковник Артемьев слушает»,— а кладя, пообещал: «Как вернется, доложу, товарищ генерал»,— скажите-ка, где я вас видел?

У него была хорошая память на лица, и чем дольше он смотрел на этого рыжего подполковника, тем больше был уверен, что где-то видел его.

— Так точно, товарищ генерал,— вставая за столом, сказал подполковник. — Видали меня в декабре сорок первого на Подольском шоссе, в пробке. Я свой полк вел, а вы на «эмке» ехали, вызвали меня и приказали пробку расчистить.

— А горло у вас было замотано,— вспомнил Серпилин.

— Так точно.

— Почему, раз помните, сами не напомнили?

— Не положено первому напоминать, товарищ генерал. Я вас и раньше помню. Вы у нас в Академии Фрунзе курс оперативного искусства начинали читать...

Серпилин покосился на него и промолчал.

«Вон оно что,— подумал он,— значит, еще с той поры...»

Он, конечно, не вспомнил этого слушателя академии, бывшего тогда, в тридцать седьмом году, наверное, еще капитаном или старшим лейтенантом и среди десятков других сидевшего перед ним на его лекциях, но сами эти лекции он помнил очень хорошо. В тот учебный год он прочел их всего четыре, четвертая была последней...

Адъютант позвонил по телефону, в приемную принесли чай и бублики.

Серпилин выпил два стакана и, посмотрев на часы, встал. Оставалось совсем мало времени.

— К нам ваши самолеты каждый день идут? — спросил он у адъютанта.

Адъютант подтвердил, что да, конечно. На Донской фронт самолеты ежедневно...

— Кому надо дать заявку, чтобы лететь завтра? Авиаторам?

— Генерал-лейтенант позвонит, и все будет сделано.

У адъютанта был удивленный тон. «А как же ваша жена?» — кажется, хотел спросить он, но удержался.

— Доложите генерал-лейтенанту, когда вернется, что я просил дать на меня такую заявку,— сказал Серпилин. — А сейчас, если можно, вызовите машину, я отпустил ее.

— Генерал-лейтенант вот-вот вернется,— сказал подполковник тоном, намекавшим на делаемую Серпилиным неловкость.

Адъютант не только понимал, но и прямо слышал от своего начальника, что их с Серпилиным связывают давние и короткие отношения. Однако, на его собственный взгляд военного человека, всему был предел: дружба дружбой, а уйти из приемной заместителя начальника Генерального штаба, вопреки приказу дождаться, было недопустимой вольностью.

Серпилин прочел эту мысль на лице подполковника и, считая ее в принципе верной, не счел возможным оставлять его в недоумении.

— Должен быть к четырнадцати часам в госпитале,— сказал он. — Доложите генерал-лейтенанту, что уехал, потому что жена умерла и надо хоронить. Когда похороню, буду звонить ему.

Сказал с тем безразличным спокойствием, которое воспитал в себе про запас для наиболее тяжких минут жизни.

— Да как же это, товарищ генерал? Что ж вы не сказали! — с огорчением воскликнул подполковник.

Но Серпилин остановил его взглядом, говорившим: «За сочувствие спасибо, но при чем тут ты? И почему я должен был говорить тебе об этом раньше, чем возникла прямая необходимость?»

— Вот так,— вслух сказал Серпилин. — Так как насчет машины?

Когда Серпилин подъехал к госпиталю, «виллис» сына уже стоял у подъезда.

— Садитесь ко мне, товарищ генерал,— сказал выскочивший из «виллиса» шофер. — Это с другого хода! Товарищ капитан уже там, а мне приказал вас дождаться и подвезти.

Серпилин сел на «виллис», они выехали со двора, обогнули длинную каменную стену и подъехали к тому же зданию с задней стороны, с переулка. В переулке дожидались два грузовика. На одном стояло два гроба, и сейчас их подвигали, чтобы поставить третий. Вокруг грузовика с гробами толпились женщины. Второй грузовик был пуст.

— Наш,— кивнул на него шофер.

Серпилин поднялся по обледенелым, грязным ступенькам, вошел в помещение и увидел стоявший прямо на полу и показавшийся ему очень большим закрытый гроб. Сын стоял рядом

с гробом и передавал какой-то сверток в руки высокой тощей нянечки, которая ночью при Серпилине заходила в палату к Валентине Егоровне.

— Не беспокойтесь, все передам, как сказали. У нас этого — чтоб не передать — не бывает,— говорила нянечка, принимая сверток.

Сын повернулся к Серпилину:

— Собрал немножко, пайкового, для нее и для медсестры.

Сын был прав, но Серпилину стало неприятно.

— Спасибо,— сказал он и протянул руку нянечке.

Она переложила пакет под мышку и, подав ему руку, сказала:

— Все сделали: и обмыли и обрядили. Совсем еще молодая она у вас, жить бы да жить...

— Спасибо,— повторил Серпилин.

— Я сказал, чтоб закрыли и гвоздями прихватили на дорогу,— сказал сын. — А то тут... — Он не договорил и брезгливо посмотрел на затоптанный пол.

Потом подошел к дверям и крикнул шоферу:

— Вавилов, позовите шофера и бойца с грузовика.

Через минуту вошли все трое.

— Понесли? — спросил сын.

Серпилин нагнулся к изголовью и, коснувшись пальцами пола, стал приподнимать гроб.

Когда вынесли гроб и поставили на грузовик, сын кивнул на соседнюю машину, около которой толпились люди, вдвигая туда еще один, четвертый гроб.

— Вот так и возят. А на кладбище целая очередь. — Он сердито махнул рукой. — Поедем!

Гроб стоял посредине открытого грузовика. По сторонам, к обоим бортам, были прибиты лавки. Серпилин молча полез в кузов.

— Не простудишься? Может, ты в кабину, а? — спросил сын, влезая вслед за ним.

— Закройте борт, — не отвечая, сказал Серпилин топтавшемуся около грузовика бойцу.

Боец закрыл борт и, схватясь за него руками, хотел тоже влезть. Ему казалось неудобным сидеть в кабине, раз генерал поедет снаружи.

— Идите в кабину,— сказал Серпилин.

«Виллис» пошел впереди, грузовик за ним. Сейчас, когда они сидели с сыном в грузовике на лавке, по обеим сторонам гроба, гроб показался Серпилину еще больше.

— Два двадцать пять,— сказал сын. — Не мог другого достать, и этот-то... — И он, снова не договорив, махнул рукой.

В последний раз Серпилин увидел лицо жены на Новодевичьем кладбище, у могилы.

Они слезли с грузовика у ворот, шофер с «виллиса» остался сторожить и прогревать обе машины, а Серпилин с сыном, второй шофер и боец, вчетвером, понесли гроб через все кладбище к дальнему концу его.

Гроб не показался Серпилину тяжелым, он только все время, пока шли, боялся оступиться. Кладбище было заметено снегом, приходилось перебираться через холмы забытых могил.

Когда подошли к яме, оказалось, что могильщики еще не дорыли ее до конца. Они стояли в ней по шею; один бил землю ломом, а другой выбрасывал лопатой смерзшиеся комки. Их головы то появлялись, то исчезали, и снизу, из-под земли, доносилась приглушенная ругань. Они материли мороз, зиму и землю.

Серпилин увидел, что сын собирается прикрикнуть на них, остановил его. Это было ему совершенно все равно. Лишь бы скорее кончили свою работу.

Гроб пока поставили на соседнюю, свежую еще могилу.

— Хочешь открыть? — спросил сын.

Серпилин кивнул. Да. Он хотел этого.

Сын оторвал слабо прихваченную гвоздями крышку, поднял ее, прислонил сбоку к гробу и до половины откинул прикрывавшую тело матери простыню.

Валентина Егоровна лежала на морозе, под открытым зимним небом, в черном платье с зябко сложенными на груди руками.

Дул ветер. Снег переметало с могилы на могилу, и снежинки негусто ложились на черное платье, на бледное лицо мертвой с маленькой ссадиной на виске, на седые волосы и синие веки.

— Может быть, накрыть? — спросил сын.

Серпилин отрицательно покачал головой. Он прощался с тем, чего уже не было. Казалось, что там, в гробу, это еще было. Но этого уже не было. А когда гроб закроют и опустят в землю, этого не только не будет, но и перестанет казаться, что это есть. И то, что Серпилин видел своими глазами столько смертей, что давно потерял им счет, нисколько не помогало ему в эти минуты.

Он стоял и смотрел на жену, страдальчески закусив губу. Расталкивая и оттесняя все другие, одно, все одно и то же воспоминание нестерпимым комом подступало к горлу. Он вспоминал ее несчастное, виноватое лицо в день его возвращения после лагеря. Когда после первых проведенных вдвоем часов, после обеда он пошел в переднюю позвонить Ивану Алексеевичу, который был причастен к его возвращению, и, не дозвонившись,

вернулся, Валентина Егоровна сидела на кровати, прислонясь к стене, без сознания. Он кинулся к ней, уложил, бросился звонить в «скорую помощь», снова бросился к ней, пробуя привести в чувство, лихорадочно вспоминая давно забытое, то, чему его учили когда-то, еще до германской войны, в фельдшерской школе... И когда приехала «скорая помощь», и ей сделали укол, и она наконец пришла в сознание и открыла глаза, у нее было такое виноватое лицо, словно она сделала бог знает что плохое, словно она в чем-то виновата перед ним! Нет, она никогда и ни в чем не была виновата перед ним! Кто угодно, в чем угодно, только не она, ни в чем, никогда.

Он не мог больше стоять над гробом, стоять и смотреть на нее, и даже испытал облегчение, когда один из могильщиков подошел и сказал:

— Все готово. Как, товарищ генерал, закрывать будем?

— Да,— сказал Серпилин, отпуская прикушенную, онемевшую губу.

Сын нагнулся к рукам матери и поцеловал их. Теперь она была уже не вольна запретить ему это.

Оторвав лицо от ее рук, сын накрыл тело простыней, и могильщики привычно и ловко прибили крышку гвоздями.

Серпилин не двинулся.

Могильщики поднесли гроб к краю могилы, подложили две длинные веревки и стали опускать его в яму. Потом вытянули веревки, и настала короткая непонятная тишина.

— Ты бросишь? — спросил в этой тишине сын.

И Серпилин понял: они ждут, чтобы он бросил первую горсть земли.

Он нагнулся, поднял мерзлый комок и бросил его на гроб. Потом бросил несколько комков земли сын, потом заработали лопаты... И все кончилось.

Когда они вышли из ворот кладбища, сын спросил:

— Ты куда?

— В Генштаб.

— Подвезти тебя?

— Подвези, — равнодушно сказал Серпилин.

Сын, как и утром, сел за руль, пересадив шофера назад. Ехали молча. Несколько раз Серпилину казалось, что сын заговорит с ним. Но сын молчал. И если бы Серпилин мог посмотреть в эти минуты на свое собственное лицо, он бы, наверное, понял, почему сын молчал и не смел заговорить с ним.

Только когда они остановились возле Генштаба и Серпилин уже ступил одной ногой на тротуар, сын тихо спросил:

— Домой не поедешь?

— Не знаю. — Серпилин посмотрел в ждущее лицо сына, еще раз повторил «не знаю», повернулся и тяжелыми, свинцовыми ногами пошел по переулку.

Он позвонил из бюро пропусков, но Ивана Алексеевича опять не было на месте.

— У начальника Генерального штаба,— ответил адъютант,— и неизвестно, сколько пробудет, может быть, оттуда прямо... — Он не договорил, куда «прямо», и добавил: — Возможно, до самой ночи. Я доложил, товарищ генерал. Заявка на вас дана, вылет в восемь пятнадцать с Центрального. Куда за вами машину прислать?

— Домой.

— В семь ровно будет у вас. Генерал-лейтенант просил передать, чтоб вы вечером были дома, он, как освободится, будет сам звонить вам, возможно даже ночью. Просил передать, что непременно увидит вас. Только будьте дома.

— Хорошо.

— Машина вам еще нужна сегодня?

— Нет,— сказал Серпилин, подумав, что сегодня ему уже больше ничего не нужно, разве что зайти куда-нибудь поесть. Он так ничего не ел и не пил со вчерашнего дня, кроме тех двух стаканов чая с бубликами в приемной у Ивана Алексеевича.

— Тогда здравия желаю, товарищ генерал. Примите мое сочувствие вашему горю.

— Спасибо. — Серпилин положил трубку.

Выходя из Генштаба, он еще не решил, куда идти: пообедать можно было и в столовой при городской комендатуре на Первой Мещанской, и дома. Птицын перед отъездом с фронта положил ему в чемодан сверток с какой-то едой.

«Да, пожалуй, домой». Однако сразу идти туда не тянуло. Хотелось походить по улицам одному, справиться с чувствами, делить которые было не с кем. Он не спеша вышел на улицу Кирова, свернул в Фуркасовский переулок и обогнул дом, во двор которого его привезли когда-то ночью. В разные времена вспоминал об этом по-разному, а сейчас вспомнил мельком и даже усмехнулся: вот, ничего, иду мимо, жив, здоров!

«Я жив, здоров, а Вале это стоило жизни». И хотя имел право на гнев, но подумал об этом без гнева, просто со смертельной тоской.

Обогнув площадь, свернул вниз к Малому театру.

Было морозно и тихо, небо прояснилось. Затемненные улицы посветлели, можно было даже различать лица прохожих, если они проходили совсем близко и так же, как он, не торопились.

Он подошел к зданию Малого театра и хотел перейти улицу, как вдруг кто-то схватил его сзади за рукав. Он обернулся, думая, что это кто-нибудь из сослуживцев, но перед ним, продолжая держать его за рукав, стояла очень маленькая женщина в ушанке и шинели с петлицами военврача.

Он удивился: генералов не принято хватать среди улицы за рукава шинели,— и, только успев удивиться, понял, что хорошо знает эту маленькую женщину в форме военврача, с перепуганными от радости и удивления глазами.

— Здравствуйте, товарищ доктор,— сказал он, снимая перчатку.

Маленькая докторша улыбнулась и тоже заторопилась стащить перчатку. Перчатка не снималась, и она стащила ее по-детски, зубами. Ее маленькая, крепкая рука с неожиданной силой пожала руку Серпилина.

— А я шла навстречу,— сказала она, не отпуская его руки,— и вдруг вижу: вы идете! А потом подумала: не может быть, это не вы, и прошла. А потом подумала: нет, а вдруг это все-таки вы? — и побежала за вами. Видите, даже за рукав схватила, не побоялась, что достанется, если это не вы. А это вы!

— А почему считали, что не может быть? — спросил Серпилин. — Заранее в расход меня списали?

— Нет, не потому. А просто потому... — Она замялась.

То, что она увидела Серпилина, казалось ей сказкой не потому, что он не мог оказаться живым; он как раз вполне мог оказаться живым. Она, как и все другие, знала в то первое утро после выхода из окружения, что его оперировали и увезли на санитарном самолете в Москву. Сказкой было другое — то, что она сама после всего, что случилось с ней, все-таки жива и может теперь ходить по улицам Москвы и даже встречать людей, которых она когда-то знала, но уже не надеялась увидеть.

Чудом была она сама, со своей судьбой. Но она не привыкла так думать ни о себе, ни о своей судьбе, и поэтому чудом для нее был живой и здоровый Серпилин. Перед ней в генеральской форме стоял тот самый человек в рваной шинели и фуражке со сломанным козырьком, который сказал им в последний день перед прорывом из окружения: «Завтра в это же время мы с вами будем или мертвыми, под ногами у немцев, или живыми, среди своих, а третьего не дано!»

Она смотрела на Серпилина, продолжая держаться за его руку, словно он сейчас улетит.

— Вот вас-то я действительно живой не думал видеть.

— Да, вы знаете, на следующий день... — начала маленькая докторша, но Серпилин прервал ее:

— Знаю, мне Шмаков написал потом о всей этой сволочной истории. А вы, значит, все же выбрались тогда?

— Нет, я не тогда,— сказала маленькая докторша, наконец-то отпуская руку Серпилина. — Я теперь... то есть не теперь...

— Так когда же все-таки — тогда или теперь? Что-то не понимаю вас,— сказал Серпилин. — Может, вы по-военному, по порядку мне расскажете?

Но по порядку у нее все равно не вышло.

Она сначала рассказала, что вот уже третий день ходит по Москве, потому что выписалась из больницы, и у нее отпуск как у выздоравливающей; потом объяснила, что в больницу Склифосовского она попала потому, что ее раненую вывезли из партизанской бригады, а в партизанской бригаде она была не все время, потому что до этого была в подполье в Смоленске, а еще до этого тоже была в партизанской бригаде, но она тогда называлась еще не бригадой, а отрядом, а в этот отряд...

Если бы она писала свою автобиографию, то, наверное, все, что она так торопливо выпаливала сейчас Серпилину, заняло бы много страниц. Но читать эти страницы, чтобы сообразить действительный ход событий, надо было бы наоборот, от конца к началу. Наконец, добравшись до этого начала, она рассказала, как ее вынесли на себе Синцов и Золотарев («Помните, такой маленький, он до прихода к нам шофером был у Баранова, который застрелился, помните?»), и озабоченно спросила:

— Вы не знаете, что с ними? Может, вы случайно знаете?

В голосе ее была надежда: почему она жива, а они не могут быть живы? Чем она лучше их?

Не больно-то хотелось отвечать на этот вопрос, но Серпилин ответил, что Золотарев в конце сорок первого года был жив, а Синцов, по его сведениям, погиб. И сведения эти, к сожалению, не вызывают сомнений.

— Погиб! — вскрикнула маленькая докторша. — Неужели погиб?

— К сожалению, так.

— А я думала, он живой,— грустно сказала она.

И Серпилин, глядя на нее, вспомнил, как в машине, по дороге в медсанбат, поручал Синцову, чтобы тот позаботился о ней.

— Значит, он вас и вынес?

— Он.

«Все же, прежде чем умереть, сделал то, что обещал»,— с уважением подумал Серпилин об этом давно умершем человеке.

— Что ж мы тут посреди дороги стоим? — сказал он. — Вы куда направлялись, товарищ доктор?

— А вы не смейтесь надо мной. — Она подняла на него глаза. — Меня зовут Таней, если вы только не забыли...

— Ладно, — сказал Серпилин. — Этого я, конечно, не забыл и не забуду, а просто как-то не привык так называть военнослужащих.

И он улыбнулся своей доброй, знакомой ей улыбкой, и она подумала, что он остался таким же хорошим человеком, каким был. А он, глядя на ее осунувшееся лицо, подумал, что хотя она сама и легко говорит о своем ранении, но ранение это, наверное, было тяжелое, да и в госпиталях харчи оставляют желать лучшего.

— Так куда же вы идете?

Они оба отошли от края тротуара и теперь стояли у стены Малого театра, возле заложенного мешками и забитого досками памятника Островскому.

— Домой. Я после госпиталя у одной госпитальной нянечки живу. Она меня пригласила пожить, пока я в Москве.

— А откуда шли?

Она кивнула в сторону Большого театра.

— В театр хотела попасть.

— И что же?

— Мне сказали, что сегодня Уланова танцует: «Лебединое озеро». Я думала, хоть какой-нибудь билетик выпрошу, всего-то один! Сказали, чтобы даже и не думала.

— Вот чем, значит, вы расстроены,— сказал Серпилин.

— Это я была расстроена, теперь я не расстроена. Я знаете как рада, что вас встретила!

— Я тоже рад,— сказал Серпилин. — Чего уж лучше — вдруг в Москве, как снег на голову, наша маленькая докторша. Мы вас так за глаза звали. Знали вы это?

— Знала.

— А как мы там, в окружении, вас любили и мужикам в пример ставили, знали вы это, понимали?

— Вот я сейчас как зареву,— сдавленным голосом сказала она, и глаза у нее заблестели. — Замолчите, пожалуйста.

— Ничего вы не знали и не понимали,— сказал он. — И ничего вы не заревете сейчас, потому что не с чего вам реветь, остались живой и здоровой. И до конца войны еще доживете, и счастье у вас еще будет целыми охапками. Я бы, по крайней мере, если б меня спросили, сколько вот ей счастья не жалко дать, сказал бы: для этой мне ничего не жалко! За такую бы охапку проголосовал!

Он широко раскинул свои длинные руки.

— Видите, какую, а вы реветь вздумали!

— А я уже не реву,— сказала она, вытирая перчаткой глаза.

— Значит, хотела попасть в Большой театр и не попала? Пойдем, может, вместе билет достанем.

Он сказал «билет», но ей послышалось «билеты», и она, подумав, что он тоже пойдет с ней в театр, обрадовалась этому даже больше, чем тому, что он достанет билеты, потому что ей хотелось еще очень многое рассказать ему и расспросить про него самого. А здесь, на улице, было уже неудобно его задерживать, и она только что перед этим решила, что ей пора прощаться и уходить.

«Скажи пожалуйста, не могут найти ей билета! — думал он, шагая рядом с нею к Большому театру. — Ей ни для кого и ничего не было жаль там, в окружении, где иногда всю волю в кулак надо собрать, чтобы не превратиться из человека в животное, а им здесь жаль для нее билета! Для какой-нибудь крашеной фри им не жаль, для какого-нибудь завмага водочного им не жаль, а для нее жаль!»

Мысль, что она сама не могла достать себе билета в театр и для того, чтобы она все-таки попала туда, нужен он, с его генеральским удостоверением, очень сердила его.

— Походи тут пока между колоннами, подожди меня,— на «ты», как ребенку, сказал он. И, оставив ее снаружи, вошел в вестибюль театра.

Билетов не оказалось, но администратор, узнав, что товарищу генералу нужно всего-навсего одно место, но непременно на сегодня, выписал ему пропуск в ложу дирекции.

— Только пораньше приходите, товарищ генерал. А то там стулья ненумерованные, если опоздаете, окажетесь за чужими спинами.

Когда Серпилин вышел, он сначала не увидел маленькой докторши, а потом увидел и улыбнулся. Она не ожидала, что он так быстро вернется, и, задумавшись о чем-то своем, чертя пальцем по колонне, бродила вокруг нее, как маленькая девочка.

— Неужели достали? — Она смущенно оторвалась от своего занятия.

— На, держи! — сказал он и протянул ей пропуск. — И учти: чем заранее придешь, тем лучшее место займешь. Прямо заходи в ложу, на первый стул садись и никого на свое место не пускай. Уже недолго до начала осталось! Прямо сейчас и иди.

— А вы? — удивленно спросила она. Она никак не ожидала, что он достанет билет только для нее.

— А мне утром обратно к себе на Донской фронт лететь...

— Так это же утром... — Ей очень хотелось, чтобы он пошел в театр вместе с нею, тем более что его слова насчет ложи и того, чтоб она никого не пускала на свое место, смутили ее.

— Не могу.

— А что такое, что у вас? Почему вы не можете? — с подсознательной тревогой спросила она, увидев его замкнувшееся лицо.

— Да нет, ничего, все нормально,— ответил он, совершенно не собираясь ни во что посвящать ее. И неожиданно для себя добавил: — Жена у меня умерла. С похорон иду.

Она даже вскрикнула от этих слов и этого голоса — глухого, усталого, потерянного. Как будто этот голос только что был где-то высоко-высоко, на горе, и вдруг на глазах у нее упал и разбился на мелкие кусочки.

— Федор Федорович, как же это, как же это...

Она схватила его за руку и заглянула в глаза.

И он, глядя на эту молодую, чуть не заплакавшую от сочувствия к нему женщину, подумал о том, что ему, Серпилину, Федору Федоровичу, сорока восьми лет от роду, похоронившему сегодня свою жену, придется теперь жить одному и привыкать к своему одиночеству.

— Так вот,— сказал он вслух. — Зря сказал тебе, только расстроил. И говорить не собирался, сам даже не знаю, зачем сказал. Ладно, иди в театр. А мне пора.

Таня растерянно смотрела на него. Она только что, когда он сказал, что возвращается на Донской фронт, собиралась спросить его: как там сейчас в Сталинграде, когда же совсем освободят его? У нее даже мелькнула мысль попросить, чтоб он, когда у нее кончится отпуск на лечение, помог ей поехать на фронт туда, где он служит. Но после того, что́ он сказал, уже было нельзя ни задавать ему вопросов, ни говорить о себе и своей службе.

— Ну, иди, иди,— сказал он. И даже подтолкнул ее, словно предчувствовал: она собирается сказать ему, что не пойдет ни в какой театр.

Она послушно пошла, но потом обернулась и увидела, что он еще не ушел и глядит ей вслед.

— Федор Федорович, а можно вам написать?

— Пиши, если не лень.

— А какая ваша полевая почта? Я запомню.

— Пятьсот четыре тринадцать — д. Иди, чего встала?

И она, снова повернувшись и повторяя губами «пятьсот четыре тринадцать — д, пятьсот четыре тринадцать — д», потянула за ручку тяжелую дверь.

Домой Серпилин добрался поздно. Спускаться в метро и толочься среди людей не хотелось, и он прошел всю дорогу пешком.

— А где мама? — спросил он открывшего ему мальчика.

— На работе.

— Поздно!

— Она по суткам работает: сутки работает, сутки дома.

— А где? — Серпилин почему-то не подумал вчера, что соседка работает.

— На Казанском вокзале эвакуатором.

— А ты на хозяйстве?

— Я тоже только пришел.

— Во второй смене?

— Нет. На железной дороге, уголь для школы выгружали.

— То-то, гляжу, у тебя руки...

Мальчик посмотрел на свои руки и ничего не ответил.

— Ты в каком?

— В седьмом.

— Много сейчас народу у вас в школе?

— Много. У нас три школы слили в одну. А нашу под госпиталь отдали.

— А чайник электрический у вас есть?

— Ваш.

— Вскипяти чаю на двоих. Твой чай, мои харчи.

— Только давайте на кухне,— сказал мальчик,— там теплее.

Серпилин открыл дверь в свою комнату и позвал мальчика.

— Достань из чемодана сверток. Сообрази, а потом меня позови.

Мальчик кивнул, достал сверток и вышел из комнаты.

Серпилин остался один, закурил и несколько раз прошелся по комнате. Потом открыл дверку полупустого шкафа и пальцем, словно по клавишам, провел по нескольким висевшим на плечиках платьям.

Вещи, вещи... Не так уж и много их. Но что с ними делать? Куда их девать? Хорошо, что он улетает утром и неизвестно, когда попадет теперь в эту комнату. А вещи... Что ж. Может, отдать их, с глаз долой, соседке? Пожалуй, обидится... Хотя почему обидится? Продаст на базаре да купит что-нибудь сыну. Вон у него валенки латаные. Пусть валенки ему купит. Так и скажу...

Он вспомнил, что уже не увидит соседку, сел за стол и сразу, чтобы потом не забыть, написал короткую записку.

— Можно чай пить,— сказал через дверь мальчик.

— На-ка, записку отдай завтра матери, а то я уже не увижу ее, завтра улетаю,— выйдя к нему, сказал Серпилин и пошел вместе с мальчиком на кухню.

Птицын, оказывается, постарался, а мальчик разложил все на столе, хотя из деликатности ничего не нарезал и не открыл. Три банки мясных консервов, круг копченой колбасы, большой кусок сыра, кирпич хлеба — целый паек! И бутылка водки «тархун» — черт его знает откуда взялся этот «тархун», до войны о нем и не слышал никто.

— Ну, водки мы с тобой, пожалуй, пить не будем, а, Григорий?

Мальчик впервые улыбнулся.

— Нож у тебя есть?

— Вот,— подал мальчик нож.

Серпилин отрезал несколько толстых кусков колбасы и сыра, потом подвинул мальчику банку консервов: «Давай открывай»,— а сам стал разливать по стаканам чай.

— Вы на Донском?

Серпилин кивнул.

— А где? Южнее или севернее Сталинграда?

— Северо-западнее.

— Не про ваши войска сегодня в сводке?

— Где?

— Сейчас принесу.

Мальчик сбегал в комнату и принес газету.

Серпилин надел очки и стал смотреть вчерашнее сообщение Информбюро. В нем среди прочего один абзац был посвящен позавчерашнему ночному взятию Бугра. Не были названы ни пункт, ни часть, но подробности не оставляли сомнений: речь шла о Бугре.

Не обошлись без неточностей: написали, что во время взятия высоты подбито и захвачено семь немецких танков. Нельзя сказать, что это неправда, но и правдой тоже не назовешь. Немецкие танки позавчера никто не подбивал, потому что они были подбиты гораздо раньше и немцы уже давно приспособили их под неподвижные огневые точки. Верно только, что их семь и что место, где они стоят, теперь захвачено нами.

Серпилин усмехнулся и сказал мальчику, что тут действительно описан бой, в котором участвовала его дивизия.

— А у вас гвардейская дивизия?

— Пока нет,— сказал Серпилин.

— У отца была гвардейская. Маме гвардейский значок отца отдали.

У мальчика было напряженное, нервное лицо.

— Я, когда с матерью там был, просил, чтобы меня в дивизии оставили, но они сказали, что ни в коем случае нельзя. Это правда?

Он спросил так, что нельзя было соврать, да Серпилин и не считал нужным это сделать.

— Видишь ли, какое дело,— сказал он. — Если бы я вступил после твоего отца в командование его дивизией и если бы ты попросил взять тебя, я бы тебе не отказал, но поставил бы условие: вернись домой вместе с матерью, пробудь с ней полгода, пока она хоть немного успокоится, закончи седьмой класс, а потом пиши рапорт.

— А если они и тогда не возьмут?

— Тогда напиши мне, я тебя возьму. Принеси тетрадь, запишу мой адрес.

Мальчик быстро вышел и принес общую тетрадь, раскрытую на чистой странице.

Серпилин крупно написал в ней номер своей полевой почты и, вспомнив об, очевидно, предстоявшем ему назначении, сказал:

— Если переменю номер, сообщу.

Сказал — и почувствовал, что мальчик поверил ему. И правильно сделал, что поверил.

— А как сейчас дела у вас под Сталинградом?

— Дела неплохие, а в недолгом времени, думаю, станут хорошими.

— Но ведь вы их совсем там окружили?

— Совсем.

— И уже давно?

— Порядочно. Скоро полтора месяца.

— Так почему же?.. — По глазам мальчика было видно, как ему не терпелось поскорей уничтожить всю сидевшую в Сталинграде немецкую армию. — Ведь они там совсем уже на пятачке.

Серпилин усмехнулся, мысленно представив себе этот «пятачок», который и до сих пор еще был размером в четыре Москвы. «Пятачок»!.. На каждый метр этого «пятачка» придется еще сбрасывать килограммы и килограммы железа и все равно потом доплачивать сверх железа кровью. Ничего себе «пятачок»! Этот говорит так по детскому недомыслию, ему простительно. Но есть и взрослые люди, до сих пор не понимающие, сколько солдатских могил приходится на каждый шаг войны».

— А тебе хочется, чтоб все раз-два — и готово? Самому хотелось бы, да редко бывает!

— А почему?

— Если приедешь ко мне, увидишь почему. Будильник есть?

— Есть.

— А когда встаешь?

— В полседьмого.

— Как проснешься, разбуди меня. Боюсь проспать. Давно уже толком не спал.

Серпилин потянулся и с недоверием к самому себе почувствовал, что ему наконец-то хочется спать. Всего час назад ему казалось, что этого никогда не будет.

— Разбудишь, попьем чаю и поедем по своим делам: ты — к себе в школу, а я — к себе в дивизию.

— А слово мне даете? — вдруг спросил мальчик, имея в виду обещание Серпилина, и глаза у него стали ожидающими, возбужденными.

— Я слов никогда и никаких не давал и не даю, за исключением присяги,— серьезно сказал Серпилин. — Но если говорю: сделаю,— делаю. А если сомневаюсь, сделаю ли, молчу. И тебе так советую. Харчи до утра газетой прикрой...

Он пошел к себе в комнату, но вспомнил о предстоящем звонке Ивана Алексеевича.

— Когда ляжешь? — крикнул он, открыв дверь.

— Поздно. Мне еще уроки надо готовить.

— Если крепко засну, не услышу, как по телефону будут звонить, разбуди!

Так и оставив дверь в коридор открытой, снял гимнастерку, повесил на стул ремень с пистолетом, стащил сапоги и, накрывшись сразу и шинелью и полушубком, обессиленно уткнулся головой в подушку.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Серпилин проснулся, сквозь сон почувствовал чье-то присутствие. Еще не открывая глаз, стряхнул с себя полушубок, опустил на пол ноги, потом открыл глаза и увидел стоявшего в открытых дверях сына. Сын был в шинели и ушанке, рядом с ним стоял Гриша.

— Товарищ генерал, к вам,— коротко, словно он уже был на фронте, сказал мальчик.

— Хорошо, иди. — Серпилин натянул на ноги стоявшие на полу холодные сапоги и, не подымая головы, сказал сыну: — Что стоишь? Раздевайся.

Пока сын раздевался в передней, Серпилин надел гимнастерку, но пояса с кобурой надевать не стал: тело ломило тяжелой усталостью от прерванного сна; накинул на плечи полушубок и сел за стол, облокотившись и растирая руками лицо.

— Садись. — Он все еще не глядел на сына, потом еще раз потер лицо руками, сцепил их, бросил перед собой на стол и спросил: — Ну, что скажешь?

Он смотрел на красивое, обветренное лицо сына, на его начинавший стареть лоб с чуть заметными залысинами, на волевой подбородок с резкой поперечной чертой, смотрел и думал: какими иногда обманчивыми оказываются на войне эти волевые лица, когда их берет в свою пятерню страх, берет, выжимает и делает неузнаваемыми — белыми, творожными...

Почему это лицо, так похожее на лицо матери, в то же время не напоминало о ней? Наверное, потому, что на этом лице не было ее глаз. У нее были упрямые глаза, смотревшие глубоко изнутри и как бы вечно старавшиеся до конца договорить все, чего нельзя было сказать словами. А у этого сидевшего напротив него капитана автомобильных войск неподвижные серые глаза были как две заслонки, не хотевшие пускать туда, внутрь себя, чего-то, чего они боялись. Серпилин вдруг подумал, что есть глаза, которые дают, есть глаза, которые берут, и есть глаза, которые не пускают.

— Не смотри на меня так,— лучше скажи, чтоб ушел. — Голос сына дрогнул. — Ты смотришь так, будто я виноват в том, что случилось с матерью... А я пришел к ней...

— Вот что,— перебил его Серпилин. — Ты не врач и не мог заранее знать, что с ней будет. Если пришел говорить о чем-то еще... говори. А если об этом, напрасно пришел. И не реви, пожалуйста, я этого не люблю,— добавил он, увидя слезы, покатившиеся из-под заслонок.

Сын всхлипнул, вытер глаза и попросил разрешения закурить.

— Кури... У тебя какие?

— «Казбек».

— Дай и мне папиросу.

Несколько минут оба молча курили.

— Слушай, как ты посмотришь,— сказал сын. — Прости, что я об этом сейчас, но мы потом, наверно, долго не увидимся...

Серпилин вопросительно взглянул на него.

— Как ты посмотришь, если я временно, пока не получу жилья, перевезу сюда из Читы жену и дочь? Им там плохо и голодно. Я получил письмо, могу тебе показать.

Серпилин покачал головой. Сын понял это как возражение.

— Ты возражаешь?

— Нет,— сказал Серпилин,— можешь не показывать, верю.

— А как ты на это смотришь?

— Положительно.

— Значит, можно перевезти их? — обрадовался сын.

— Перевози, если разрешат.

— Да нет, с вызовом и с пропиской я все сделаю. Попрошу своего генерала, чтобы позвонил... — Сын даже махнул рукой, показывая, что для его генерала помочь в этом — плевое дело. — Только чтоб ты не был против.

«Ты и к матери, верно, с тем же самым пришел,— подумал Серпилин. — Но почему она на тебя так закричала? Что ты ей сказал? Не с этого ведь начал. А с чего?»

Но он не поддался ходу своих мыслей.

— Что требуется от меня? — спросил он вместо этого. Спросил потому, что понял: требуется.

— Две строчки,— сказал сын. — В управление тыла, что ты не возражаешь. — Он чуть торопливее, чем стоило бы, расстегнул предусмотрительно положенную рядом с собой на стол планшетку и вытащил блокнот.

Серпилин поискал по комнате глазами, вспоминая, где могли стоять чернила, но сын уже вынул из планшетки красный карандаш и сказал, что можно и карандашом.

— Какая у нее фамилия, твоя?

— Моя,— запнувшись, сказал сын.

— А инициалы?

— «А», «Пе» — Анна Петровна, я сейчас покажу тебе их фотографии. — Сын полез в карман гимнастерки.

Ничего не ответив, Серпилин, резко нажимая на карандаш, написал: «Прошу вселить на сохраняемую за мной площадь по Пироговской улице, дом 16, квартира 4, Толстикову А. П. с дочерью...»

— Как дочь зовут?

— Оля,— сказал сын, пододвигая по столу фотографии жены и дочери.

«...Ольгой»,— дописал Серпилин, расписался и протянул сыну записку. Потом взял со стола фотографии, коротко взглянул на них и положил обратно.

Сын подождал несколько тягостных секунд, осторожно, словно боясь нарушить тишину, пододвинул к себе фотографии и спрятал в карман гимнастерки.

— Накинь шинель: холодно. — Серпилин заметил, как сын поежился.

— А у меня под гимнастеркой, видишь. — Сын расстегнул пуговицу и показал надетую под гимнастерку шерстяную фуфайку.

— Не по форме,— сказал Серпилин, придававший значение тому, чтобы офицеры чувствовали зиму одинаково с солдатами и не носили ничего сверх положенного.

Сын пожал плечами.

— Раз выдали — ношу.

— До сих пор не знал, что личный состав автомобильных частей на особом вещевом довольствии.

— Так это ж не всем,— сказал сын и, только сказав, понял, что насмешка отца как раз и подразумевает, что «не всем».

Однако, несмотря на эту насмешку, согласие вселить сюда его семью казалось ему косвенным прощением всего, что было раньше. Он не понимал истинных чувств отца не потому, что был глуп или ненаблюдателен, а просто потому, что в его собственной душе жила иная мера вещей.

Для Серпилина же согласие вселить людей в свою комнату ровно ничего не значило. Он точно так же дал бы это согласие и кому-нибудь другому, хотя бы тому же адъютанту Ивана Алексеевича, для его жены и детей...

— Я хочу тебе рассказать, как все это было.

— А надо ли? — спросил Серпилин. Спросил, не отказываясь слушать, а считая нужным предупредить, что не обещает снисхождения.

Но сын и тут не понял его и упрямо сказал:

— Нет, нет, надо! Я уверен, так будет легче и тебе и мне.

«Навряд ли»,— подумал Серпилин. Но, подумав это, не возразил, а только сказал, чтобы сын дал ему еще папироску, закурил и, поправив полушубок на плечах, внутренне поежившись, еще тяжелее облокотился о стол и приготовился выслушать, не перебивая, все, что бы ни сказал ему сын.

Сын рассказывал о том, как все это было, и из его рассказа получалось, что сделать иначе, чем сделал он, было невозможно. А Серпилин слушал и думал, что пусть все это и так, но, будь он на месте сына, он все равно не сделал бы так, как сделал тот.

Сын, наверное, не все договаривал, но все же скорей был искренен, чем неискренен, когда объяснял отцу, что, однажды попав в это колесо, вынужден был потом вертеться вместе с ним и с такой же скоростью, как оно, потому что иначе в какой-то момент был бы сломан, попав между спицами.

Сын не употреблял слова «сломан» и не говорил о колесе и спицах, он говорил о жестоком собрании и беспощадных репликах, об угрожающем вызове к начальству и о дурных советах, которые, может быть, казались очень хорошими тому, кто их подавал. Он говорил обо всем этом, а Серпилин слушал и думал о колесе и спицах и о том, что значило тогда вертеться в этом колесе и что значило быть сломанным.

Был ли он сам сломан в этом колесе? Да, конечно, если говорить о сломанной на целых четыре года судьбе бывшего комбрига Серпилина, бывшего профессора Академии имени Фрунзе, быв-

шего краснознаменца, бывшего члена партии... Жизнь была переломана на такие куски, что казалось, ей вовек уже не срастись. И все это вполне могло кончиться тем, чем кончилось для многих,— смертью, и даже не по приговору, а просто так, на этапе или в снегу, среди сопок, где и стоящего дерева-то нет, чтоб зарубку сделать. Так оно и бывало на его глазах с другими. В конце-то концов, если говорить правду, смерть ломает все. Из могилы не подымешь, не спросишь: каким умер? Сломанным или несломанным... Правда, кое-что и за гробом могут рассказать протоколы допросов, но кто их будет читать, да и сохраняют ли их?

Когда-то там, в лагерях, думая о смерти, он думал и об этом. Однако он остался жив, и вышел на свободу, и, как его ни ломали, сросся. И не только сросся, но жил, не думая о том, что у него переломы и надо быть осторожней, хотя в глубине души и допускал возможность, что, стрясись какая-нибудь новая беда, и, чего доброго, еще найдутся охотники опять ломать тебя по зажившему.

А сын говорил и говорил, и чем дольше говорил, тем больше радовался тому, что сам себе казался все менее и менее виноватым... Искал, как полегче, тогда, искал, как полегче, и теперь... Искал, не понимая, что сидевший перед ним человек, от которого он отказался, но которого и тогда и теперь мысленно называл отцом, дорого бы дал за то, чтоб не слышать его самооправданий.

«Что же это за кара такая нам с матерью выпала? Ведь не потакали, не баловали. Может быть, я иногда, в детстве. А она никогда, ни в чем,— с тяжелым удивлением глядя на сына, думал Серпилин. — Конечно, то, что я был тебе неродным, а родной давно погиб и, значит, на все случаи не запятнан, сыграло свою роль для тебя в то время. Будь ты сильной натурой, тем более не отказался бы от меня, неродного, а для слабой это, конечно, соблазн — пойти по легкой дороге. Тем более что толкали на нее. Все это так, но уж больно ты напираешь на то, что и все другие были такие, как ты, все не лучше тебя. А я не верю. Потому что слишком много твоих ровесников сложили головы на моих глазах за два года войны. Нет, эти не искали, где полегче. Умирали и по-умному и по-глупому, но в шкурники их не запишешь и трусами не назовешь. И хотя я в боях редко глядел в их анкеты, все равно почти никого из них я уже не могу, не в силах сейчас представить себе такими, как ты, в то время, про которое ты мне говоришь. Черт с ней, с фамилией. Не в фамилии дело, а в трусости. Сменил фамилию, словно бежал из боя переодетый...»

— У тебя все? — спросил Серпилин, когда сын наконец замолчал.

Спросил без намерения пресечь разговор, а просто по многолетней военной привычке.

Сын поднял глаза к потолку, словно вспоминая, не забыл ли чего, потом посмотрел на отца и сказал:

— Да, такое время было.

«Да, *такое* время! Действительно *такое!* — мысленно подчеркнув это слово, подумал Серпилин. — И слова-то не подыщешь другого: *такое!* Все в этом слове».

У него сейчас было странное чувство, что тогда одновременно существовало словно бы не одно, а два соседних и разных времени. Одно ясное и понятное, с полетами через полюс, с революционной помощью Испании, с ненавистью к фашизму, с пятилетками, с работой до седьмого пота, с радостной верой, что все выше и выше поднимаем страну, с любовью и дружбой, с нормальными людскими отношениями; и тут же рядом — только ступи шаг в сторону — другое время, страшное и с каждым днем все более и более необъяснимое...

— Ты отказался от меня тогда и, как выяснилось, ошибся,— сказал Серпилин после молчания.

Сын сделал протестующий жест, означавший, что у него не было свободы выбора, но Серпилин остановил его.

— ...и, как выяснилось, ошибся,— повторил он. — Но некоторые, такие, как я, еще и сейчас живут там, где я был, потому что с ними еще не выяснилось... И вот я смотрю на тебя и не могу этого выбросить из головы. Не могу. И мать не могла. Можешь ты это понять или нет?

Сын встал, беспомощно пожал плечами, как бы говоря: «Ну, а я-то что могу сделать?» — и Серпилину показалось, что сейчас он наденет шинель и уйдет, потому что говорить больше не о чем. Сын несколько раз прошелся по комнате, пожимая плечами, как бы молча отвечая на задаваемые самому себе вопросы. «Сейчас уйдет»,— еще раз подумал Серпилин, но сын, наоборот, подошел к столу и сел.

— Как хочешь,— сказал он,— можешь мне верить или не верить, но я никогда, понимаешь ты, никогда, честное слово тебе даю, никогда, что бы мне ни говорили, ни на одну минуту, ни в каком году, никогда не верил, что ты враг народа...

Он сказал это тихо, почти без надежды на то, что отец поверит ему, но с такой отчаянной силой искренности, что Серпилин содрогнулся от нее. Эта мысль несколько раз приходила ему в голову и раньше, но он всякий раз гнал ее от себя. Раньше в глубине души пытался оправдать сына: лжет, что не верил, лжет потому, что стыдится, не смеет сказать в глаза, а на самом деле

тогда, в то время, верил! Запутали, заморочили голову, запугали, и в конце концов поверил. Поверил — и поэтому отказался!

Так вот что он, пытаясь оправдаться, сказал матери, когда мать так страшно закричала на него! Вот это он и сказал ей, именно это!

— Неужели ты мне не веришь? — откуда-то из страшного далека донесся до Серпилина голос сына, хотя сын по-прежнему сидел напротив него и можно было дотянуться и потрогать его рукой.

— Вот что,— сказал Серпилин, вставая и поправляя съехавший с плеча полушубок. — Прообъяснялись мы с тобой достаточно; думаю, друг друга так и не поняли, но это не суть важно. Есть сейчас в жизни вопросы поважнее. Что виноват передо мной,— забудь. А если шире родства, то, как я понял, пришел ко мне просить прощения за трусость. Так или нет?

— Так.

— А если так, то не по адресу. Трусость в боях смывают. Ничего другого не придумано. Почему до сих пор не на передовой?

— Так сложилось.

— Подай рапорт, чтоб сложилось по-другому. Тем более что принял фамилию — Толстиков. Взял на себя такую смелость. А раз взял — не смей это имя ронять! Василий Яковлевич трусости сам не знал и другим не прощал. Рапорт подай завтра же. Моя помощь не требуется?

— Не требуется.

— Когда подашь?

— Ты же сказал — завтра.

В голосе сына была горечь и растерянность, но Серпилин не пожелал заметить ни того, ни другого.

— Тогда все. Папиросы мне оставь.

Он протянул сыну руку. И пусть через неделю или месяц окажется, что цена этому рукопожатию смерть или рана, но, услышав другой ответ, руки бы не протянул, отправил бы так, без прощанья, пусть идет на все четыре стороны!

Сын вышел в переднюю. Серпилин снова сел за стол, видя через открытую дверь, как сын надевает шинель и ушанку, заправляет ремень...

Одевшись, сын подошел к дверям и остановился в них.

Отец сидел за столом в зябко накинутом на плечи полушубке. Лицо у него сейчас было худое и старое; у висков набрякли синие склеротические жилки, сейчас, от бессонницы, особенно заметные. Большие жилистые руки устало лежали на столе.

И, несмотря на то что этот сидевший за столом упрямый стареющий человек даже и сейчас, среди обступившего его со всех сторон горя, казался несокрушимым, сыну вдруг стало жаль отца. Стало жаль этих сбившихся набок седых волос на лысеющей голове, жаль усталого, постаревшего лица, жаль этих жилистых, худых рук, брошенных на стол, жаль, что он сидит здесь один за столом в этой холодной пустой комнате.

И, стоя в дверях и глядя на отца, поддавшись внезапному порыву смешанной жалости и к нему, и к самому себе, сын вдруг сказал:

— Что, совсем один хочешь остаться?

— А я и так один.

Серпилин поднял голову, но сын выдержал до конца его бесконечно долгий взгляд и, ничего не прибавив, повернулся и закрыл за собой дверь.

Услышав, как захлопнулась вторая, наружная дверь, Серпилин встал и заходил по комнате. Он ходил, как маятник, поддергивая плечами сползавший полушубок и зажигая папиросу от папиросы.

Разговор с сыном всколыхнул все, о чем он обычно не думал, не потому, что боялся этих мыслей, а потому, что их отбрасывала война. За войну они, эти мысли, не то чтобы исчезли совсем, но гнездились в таком дальнем углу памяти, заглядывать в который почти никогда не было ни времени, ни прямой необходимости. А сейчас они вырвались, и надо было все равно пройти через них, как через открытое поле, под обстрелом, которого не переждешь. Главная из этих мыслей и самая трудная, которую и раньше трудней всего было отодвигать в сторону, была не о себе, а о тех, кто до сих пор оставался там. В начале войны ему казалось, беззаветная служба или безупречная, на глазах у всех гибель таких, как он, вернувшихся перед самой войной оттуда, откуда он вернулся, могут сослужить службу для тех, кто еще оставался там.

Потом, в сорок втором, когда его под Грачами сняли с дивизии, его мучила мысль, что если дойдет до трибунала и ему припомнят прошлое, то это плохо обернется и для тех, других, что были еще там и жили одной мечтой — очиститься войною, ранами, пусть даже смертью от возведенной на них лжи.

Но время шло, не оправдывая ни надежд, ни опасений. Хотя с дивизии его сняли, но о прошлом никто не вспомнил ни когда снимали, ни когда вновь назначали на дивизию. На фронте воевало в разных должностях несколько сотен таких же, как он, выпущенных на свободу незадолго или перед самой войной; он лично или понаслышке знал многих из них. Одни успели погиб-

нуть, другие пошли в гору: четверо командовали армиями, один — фронтом. Но, очевидно, из этого никто не спешил делать выводы. За последнее время он не слышал ни одного нового имени: те, что вернулись, воевали, а те, что сидели, продолжали сидеть.

А ведь вернувшихся было не так-то много! В тридцать седьмом и тридцать восьмом в армии не осталось полка, дивизии, корпуса, где бы не посадили или командира, или комиссара, или начальника штаба, или всех вместе. И те из них, кого не расстреляли и не выпустили, продолжали сидеть еще и теперь. Только в том последнем лагере, где он, Серпилин, жил без права переписки, кроме него сидели три человека, которые могли бы командовать на войне дивизиями и корпусами. Допустим, эти годы выбили их из колеи. Хорошо, не давайте сразу дивизии, дайте полк, батальон. Ведь они ничего не ищут для себя, они готовы и оправдаться и умереть в любом звании!

Самым страшным по своей неожиданности, когда Серпилин из одиночки попал в лагерь, было оказаться среди таких же людей, как он.

Он ничего не признал и не подписал, но сама жестокость, с которой у него домогались признаний, утвердила его в мысли, что действительно существует какой-то громадный страшный заговор, из-за которого «лес рубят — щепки летят», из-за которого не верят таким, как он, потому что какие-то люди, которым верили еще больше, чем ему, оказались предателями. Он думал так и не мог думать иначе, ничто другое не могло уместиться в голове. И вот постепенно, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, он убеждался, что этого заговора не было, просто не было. Он убеждался, что, за редкими исключениями, все люди, взятые по проклятой пятьдесят восьмой статье,— такие же люди, как он. Иногда все выдержавшие и не признавшие за собой вины, чаще не выдержавшие и признавшие, но такие же, ровно ни в чем не виноватые, как он.

Так это было. Но еще страшнее, что так и оставалось до сих пор. Лагеря были по-прежнему полны людей, готовых каплю за каплей отдать свою кровь за Советскую власть. Это было невозможно выкинуть из памяти, но сказать об этом вслух — значило бы совершить бессмысленное самоубийство.

Когда-то в госпитале, осенью сорок первого, в памятный вечер после парада на Красной площади, жена спросила его: как, вычеркнул ли он из памяти те годы?

И он сказал: да, вычеркнул. Правдою ли это было? Да, в том смысле, в каком она спросила и в каком он тогда ответил, это была правда.

Да, он пошел воевать и больше всего думал о войне и о людях, которые вместе с ним воюют и которые так же, как он сам, должны научиться побеждать фашистов, потому что иначе погибнем и мы и Советская власть. Он много и постоянно думал об этом и редко и мало думал о себе и своем прошлом. Да, в этом смысле он сказал ей тогда правду, и это оставалось правдой и теперь, когда она умерла и уже не могла услышать его.

Но когда он думал не о себе, а о других, оставшихся там, он не мог вычеркнуть из памяти те четыре года. Он не мог не думать об этом.

Люди радовались, что совершенная в отношении к нему ошибка исправлена, что отвечало их душевной потребности. Хотя ему случалось изредка видеть и другие лица, на которых было написано: «Вернулся — и скажи спасибо. Ты для нас единичный факт, и больше ничего. А мысли, которые возникают из-за факта твоего возвращения, так опасны, что стоит еще подумать: был ли смысл тебя возвращать? И хотя ты не виноват, потому что иначе бы не вернулся, но с высшей точки зрения еще вопрос, что важнее!»

Как говорить обо всем этом с женой — с самого начала, с первого их свидания на вокзале была отдельная и тяжелая проблема. Валентина Егоровна была так предана Сталину, лично Сталину, именно Сталину, так безгранично была уверена, что все плохое, что делается, делается другими людьми, без его ведома и втайне от него, и была так благодарна ему за возвращение мужа, что Серпилин стал в тупик: как же говорить с ней о том, что он знал? Если бы сказать ей все и если б она до конца поверила, она способна была, при ее натуре, выйти на площадь и закричать об этом, погубив и себя, и его, и еще бог знает кого!

Когда она в первый вечер их встречи сказала ему: «Ты должен написать товарищу Сталину, поблагодарить его за то, что он разобрался и освободил тебя»,— он промолчал и понял, что она не согласна с ним, что его молчание кажется ей неблагодарностью.

Он четырежды писал Сталину — два раза из тюрьмы и два раза из лагеря, напоминал, что тот лично знает его по Царицыну, утверждал, что ни в чем не виноват, и просил дать указание проверить дело. Логически говоря, следовало написать и пятое письмо — когда стал свободен. Но что-то мешало ему благодарить за себя, умалчивая о других. А прежде чем говорить о них, надо было поехать на фронт и доказать, на что способен ты, который не лучше и не хуже других, оставшихся там.

Он так и не сказал тогда жене всего, что думал. Сказал только, что встречал в лагерях ни в чем не виноватых людей, и среди них комкора Гринько, своего бывшего командира полка, которого она хорошо знала.

Это имя взволновало ее тогда больше всех. Она сама не верила, что Гринько виноват, и, когда жена Гринько приехала хлопотать в Москву, позвала ее жить к себе. И та, прожив два месяца и ничего не добившись, снова уехала в Забайкалье и перестала отвечать на письма, и только потом выяснилось, что ее взяли на обратном пути.

— А Гринько этого и до сих пор не знает,— мрачно ответил тогда Серпилин. — Тяжело вспоминать, Валя, о таких людях, как Гринько, далеко это заводит, когда думаешь о них...

Сказал, посмотрел на ее растерянное лицо и дальше этого не пошел ни тогда, ни потом.

Перестав шагать по комнате, Серпилин остановился у стола, взглянул на забитую окурками пепельницу и попробовал запретить себе думать обо всем этом.

Но из запрещения ничего не вышло. Перед его глазами был комкор Гринько, такой, каким он его видел в последний раз: изможденный великан, сидевший в лесу на только что сваленной лиственнице, придерживая огромными худыми руками клокотавшую грудь.

Это был тот самый Гринько, который в тюрьме у следователя, когда его и Серпилина вызвали на очную ставку с человеком, обличавшим их в шпионаже, вырвал из-под следователя табуретку и расколол о голову этого человека, а потом, когда его поволокли по коридору, кричал Серпилину: «Федор, пиши Сталину, все опиши Сталину!..»

Это был тот самый Гринько, которого, зная его натуру, решили арестовать не у него в Забайкалье, а по дороге, вызвав в Москву и отцепив его вагон ночью на разъезде. Он вылез в тамбур с именным — от наркома — маузером в руках и отказался следовать, пока его прямо из вагона не соединят по телефону с наркомом. И когда поднятый среди ночи нарком спросил, чего он хочет, Гринько сказал: «Товарищ нарком, меня арестовывают, подозреваю измену! Сопротивляться или сдаваться?» — и, услышав в трубку: «Сдайся, я доложу товарищу Сталину, все выяснится!» — прежде чем сдаться, выбил локтем окно и швырнул именной маузер под колеса шедшего мимо состава. Он потом сам рассказывал об этом Серпилину, когда они вместе строили дорогу на Колыме и вместе вспоминали то время, когда Гринько командовал полком, Серпилин был у него заместителем, а только

что назначенный членом Реввоенсовета Сталин в первый раз приехал на позиции их полка под Царицыном...

Гринько сидел на поваленной лиственнице и кашлял, харкая кровью, потому что у него отбили легкие, требуя, чтобы он признался в измене Сталину. Но он не признался, и остался жив, и пошел на Колыму, и строил там дорогу, и, харкая кровью, говорил, что все равно доживет до того часа, когда товарищу Сталину доложат всю правду!

И об этом Гринько он, Серпилин, так до сих пор и не написал Сталину; получив орден за бои под Москвой, начал писать, а потом как снег на голову снятие с дивизии.

«Вот закончим операцию в Сталинграде, и напишу: будет как раз подходящий момент»,— подумал Серпилин, одновременно и оправдываясь и стыдясь.

В передней зазвонил телефон, и Иван Алексеевич без предисловий сказал, что через полчаса приедет.

— Как, не рано? Встал уже? Принимаешь гостей?

— Принимаю! — радостно сказал Серпилин.

В том, что Иван Алексеевич хочет увидеться, не сомневался, но звонка уже не ждал: на такой должности человек себе не хозяин.

Положив трубку, снял с руки часы и стал заводить их. Без пяти пять. По сути, утро.

«Да, поздно они там заканчивают...»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Когда ровно через полчаса Иван Алексеевич постучал в дверь, Серпилин был уже готов и к встрече с ним, и к предстоящему отъезду: побрился, умылся, надел гимнастерку и портупею, защелкнул на замки чемодан, даже выбросил в кухонное ведро окурки из пепельницы.

— Здравствуй, Федя,— сказал, войдя, Иван Алексеевич и, короткую долю секунды потратив на то, чтобы увидеть и оценить лицо Серпилина, порывисто обнял его, ткнувшись губами в щеку.

Он спешил сюда, не страшась принять самое полное участие в горе друга. И однако, обыкновенное, непеременившееся, чисто выбритое лицо Серпилина заставило его испытать облегчение. Серпилин уже проделал над собой ту душевную работу, которая называется «взять себя в руки» и при всей своей тяжести для самого человека так облегчает жизнь окружающим. То, что Серпилин уже проделал эту работу, видел по его лицу не только

хорошо и давно знавший его Иван Алексеевич, но и стоявший за спиной Ивана Алексеевича и почти не знавший Серпилина адъютант.

— У нас до твоего отъезда еще час тридцать пять минут,— сказал Иван Алексеевич. Обняв Серпилина и выразив этим объятием всю меру своего сочувствия, он теперь не тратил необязательных слов. — Если не возражаешь, позавтракаем. — Он сделал движение пальцем и принял из рук адъютанта небольшой чемоданчик. — А ты, Павел Трофимович, как договорились, съезди пока на аэродром, проверь, как с вылетом.

Адъютант сказал «слушаюсь» и исчез за дверью.

Иван Алексеевич, скинув шинель, быстро прошел в комнату.

Они так и не виделись с ноября сорок первого. Когда Серпилина сняли с дивизии, он не пошел в Москве к Ивану Алексеевичу искать себе поддержки в обход тех, с кем столкнула его служба. Не захотел ставить его в трудное положение. А потом, когда все устроилось и предстояло ехать формировать дивизию, Иван Алексеевич оказался в отъезде, на фронте.

Несмотря на свои пятьдесят лет, он и до сих пор оставался худым и подтянутым. Серпилин помнил его еще с германской войны, помнил молодцеватым унтером с тремя солдатскими «Георгиями», пришедшим после ночного поиска перевязать пожевую рану к батальонному фельдшеру Серпилину; помнил рядом с собой членом полкового комитета от команды разведчиков; помнил начштаба полка под Царицыном. По его щеголеватому виду, по косому пробору в стальных, смолоду поседевших волосах его часто принимали тогда за бывшего офицера, которым он никогда не был. Нынешний генеральский китель так же ловко сидел на небольшой, ладной фигуре Ивана Алексеевича, как те в рюмочку сшитые френчи, в которых он щеголял в гражданскую войну. И волосы у него были все те же, сивые, со стальным отливом, волосок к волоску зачесанные на косой пробор. Иван Алексеевич по-прежнему не старел, но лицо его не понравилось сейчас Серпилину. То, что оно усталое, было понятно. Но в обычно живых и быстрых глазах его сейчас стояла странная неподвижность, словно какая-то мысль поразила его и он никак не мог от нее отвязаться.

«Черт его знает, глупости какие-то в голову приходят»,— подумал Серпилин, а вслух сказал:

— Неважно выглядишь.

Иван Алексеевич вскинул на него свои быстрые, но в глубине по-прежнему неподвижные глаза и отшутился:

— Не от тебя первого слышу. Вы, фронтовики, кровь с молоком, а мы, штабные крысы, чахнем над бумагами.

— Хлеб всюду нелегкий,— ответил Серпилин, без улыбки продолжая глядеть ему в глаза и первым преодолевая их взаимную неготовность к тому серьезному разговору, которого оба в душе хотели.

Иван Алексеевич спросил, где Серпилин похоронил жену, и, когда тот ответил, что на Новодевичьем, сказал: «Хорошо», как будто здесь что-то еще могло быть хорошо или худо. Потом спросил, застал ли ее в сознании. Серпилин, сцепив зубы, покачал головой.

— Почему не прилетел сразу, когда я позвонил? — с упреком спросил Иван Алексеевич. — Я обещал ей, что напоследок воспользуюсь служебным положением и в тот же день вызову тебя в Москву. А ты не прилетел!..

Серпилин отметил про себя внезапное слово «напоследок», но внешне не обнаружил к нему интереса и стал объяснять, почему не смог вылететь сразу.

— Понятно, понятно,— с первых же слов понял и согласился Иван Алексеевич. — А я было подумал, что Батюк тебя в такое положение поставил. А потом вижу, в тот же день приходит с фронта просьба — утвердить тебя начальником штаба к Батюку.

— Ну и как, утвердили? — спросил Серпилин.

— Конечно,— сказал Иван Алексеевич, удивившись. — Я же приказал адъютанту, чтоб первым долгом поздравил тебя от моего имени! Неужели только собирался приказать и забыл? Черт подери, последние дни совсем ум за разум зашел! Пора на строевую возвращаться.

— А что, строевая легче?

— А что, тяжелей? Если хочешь знать... — Иван Алексеевич остановил себя, резким движением руки отбросил недосказанное и спросил: — А что за человек у вас член Военного совета?

— Захаров у нас — простая душа.

— Не уяснил, что означает. Ругаешь или хвалишь?

— Хвалю,— сказал Серпилин.— Могу уточнить: прямая душа.

— Прямая — это хорошо,— сказал Иван Алексеевич и задумчиво повторил: — Хорошо.

И по выражению его лица было видно, что он подумал о ком-то другом, у кого душа не простая и не прямая.

— Как они живут с Батюком?

— Из дивизии не все видно,— сказал Серпилин,— но, по-моему, Захаров хлебает с ним горя, хотя и не подает виду. Имеет достаточную для этого партийную закалку.

— У Батюка тоже, положим, закалка не старорежимная!

— А все же есть у него что-то кулацкое в натуре!

— Ну, это ты брось! — рассмеялся Иван Алексеевич. — Он из середняков, это уж я хорошо помню, секретарем бюро был, когда он в двадцать шестом в академии занимался.

— А, занимался он! — махнул рукою Серпилин. — Знаю я, как такие, как он, занимались! Мы, невеликие чины, командиры полков, действительно занимались в поте лица: жена с сыном за занавеской спят, а ты сидишь за столом и зубришь чуть не всякую ночь до утра...

— Это ты, положим, махнул! — возразил Иван Алексеевич. — И у них по-разному было! Возьми хотя бы того же Гринько! А он тоже, как и Батюк, гражданскую начдивом кончил.

И они, то споря, то соглашаясь, стали перебирать в памяти людей, пересевших после гражданской войны на академическую скамью с армий, корпусов и дивизий. Одни из этих людей учились как одержимые, до бессонницы, до головных болей, ступенька за ступенькой заново одолевая всю ту военную лестницу, по которой смело, без оглядки, один раз уже махнули вверх за гражданскую войну. У других не хватало на этот подвиг ни воли, ни трезвого взгляда на самих себя, они, тяготясь, отбыли в академии и вернулись в армию людьми с прошлым, но без будущего.

— Ладно, это все история,— сказал Иван Алексеевич, когда, перебрав человек десять, они согласились, что бывало и так и так,— а как сейчас практически выглядит Батюк с твоей колокольни, из дивизии?

Серпилин, стремясь быть справедливым, рассказал, как выглядел Батюк с его колокольни в разные моменты своей жизни, лучшие и худшие.

Иван Алексеевич усмехнулся.

— Вот видишь. С твоей колокольни выглядит так себе, с моей — неважно, с фронтовой колокольни — тоже, сколько я понимаю, восторга не вызывает, а с самой высокой колокольни смотрят и видят только грудь колесом да знакомые с гражданской войны усы. А что он с тех пор ни ума, ни знаний не набрался — этого в бинокль не видят. Или видеть не хотят. И все доводы об эту силу воспоминаний как горох об стенку! Хотя, впрочем, иногда воспоминания бывают и во благо, сам знаешь.

Да, Серпилин знал это. Знал, что если он теперь здесь, а не на Колыме, то обязан этим силе все тех же самых воспоминаний. Незадолго перед войной, когда некоторых военных выпустили и продолжали выпускать, Иван Алексеевич, только что назначенный в Генштаб, был на одном из своих первых докладов у Ста-

лина. Сталин вдруг в какой-то связи заговорил о Царицыне, и Иван Алексеевич, державший это наготове, напомнил ему о его первом приезде в их полк, о Гринько и Серпилине. Насчет Гринько Сталин пропустил мимо ушей, а о Серпилине тут же, сняв трубку, позвонил, чтобы пересмотрели его дело.

— Да, вот так! — сказал Иван Алексеевич.

И Серпилину, глядевшему ему в глаза, показалось, что они оба подумали сейчас об одном и том же: было все-таки что-то унизительное в том, что вся твоя жизнь зависела от вдруг мелькнувшего в голове воспоминания, которое могло и не мелькнуть, от трех-четырех слов, походя сказанных в трубку...

— Слушай, Ваня,— тихо, словно кто-то мог их услышать, сказал Серпилин,— неужели с Гринько так ничего и нельзя сделать?

Иван Алексеевич пожал плечами.

— Не знаю. Или Гринько ему еще в былые времена чем-то не понравился, или потом где-то что-то не так сказал... Напоминать второй раз не рискую. Вот тебе и все! Как на духу.

— Но, может быть, в твоем нынешнем положении...

В глазах Ивана Алексеевича промелькнуло что-то отчужденное, почти враждебное.

— А что ты знаешь о моем нынешнем положении?..

— Я сам попробую,— сказал Серпилин.

«Что ж, пробуй, я пробовал, теперь твоя очередь»,— чуть не сорвалось у Ивана Алексеевича. Но он любил Серпилина и даже сейчас, в том тяжелом настроении, в каком пришел сюда, оставался добр к нему, и эта доброта была как остров среди потопа противоречий, заполнявших его душу. И он не сказал, «что ж, пробуй», а сказал, наоборот, «не советую», потому что шестым чувством знал: Гринько уже не помочь, а Серпилина надо удержать от неосторожного шага, всю опасность которого даже отдаленно не представляют себе люди, лишь понаслышке или по старым воспоминаниям знающие того человека, из кабинета которого час назад вышел Иван Алексеевич.

Услышав это хотя и дружеское, но полное невысказанной угрозы «не советую», Серпилин промолчал. Говорить было бесполезно, надо было делать или не делать. И делать ли и когда делать — надо было решать самому.

Иван Алексеевич встал и открыл оставленный адъютантом чемоданчик.

— Давай позавтракаем и поужинаем по совместительству,— не знаю, как у тебя, а у меня, как правило, так. Валю помянем и назначение твое обмоем. Жизнь есть жизнь, и ничего с ней не поделаешь.

Он вынул бутылку водки и несколько завернутых в белую бумагу свертков.

— На-ка, развертывай... Не надо, не ходи никуда,— остановил он поднявшегося было Серпилина. — Тут все имущество, до стаканов и вилок включительно. Никогда не знаешь, когда и куда поедешь, когда будешь спать и когда есть, так что у адъютанта про запас все наготове.

В свертках были бутерброды с колбасой, красной икрой и сыром, вареные яйца и даже два свежих огурца.

— Возвращаясь к Батюку... — Иван Алексеевич протер бумагой стаканы и поглядел их на свет. — Откровенно говоря, удивился, когда прислали тебя на утверждение.

Серпилин вовсе не собирался возвращаться к Батюку, но понял, что Иван Алексеевич сознательно хочет подальше оторваться от того разговора, на который только что был вызван.

— Почему удивился?

— Потому что на месте Батюка и при его взглядах поискал бы себе в начальники штаба кого-нибудь поглаже обструганного. Об тебя можно и руку занозить.

— На его месте меня бы не взял, а на моем месте к нему пошел бы? — спросил Серпилин.

Иван Алексеевич, прищурясь, как бы издалека оценивая стоявшего где-то очень далеко Батюка, сказал задорно:

— А что, пошел бы. Батюк без сильного начальника штаба в современную войну воевать не может. А дать ему слабого — чтобы доказать, что не может,— значит руки по локоть в кровь сунуть. Пока докажешь, он неизвестно сколько людей зря положит. Батюк, в сущности, тот же самый твой Барабанов, только на высшем уровне. Правда, водкой не злоупотребляет. Я, по правде сказать, обрадовался, когда тебя утвердили. Не столько за тебя — хлеб у тебя, как сам выражаешься, будет нелегкий,— сколько за дело. Ну ничего, командующий фронтом у вас мужик дальновидный. Если будешь прав, всегда поддержит тебя твердой рукой и в тактичной форме. Хотя с Батюком расстаться не в силах. Пока нас бьют, легко ошибиться — снять и хорошего, а когда мы бьем, трудно снять и ниже чем среднего. На гребне побед Батюк не столь очевиден.

— А раньше?

— Когда раньше? Когда нас били? В сорок первом мы все не слишком хорошо выглядели. А в прошлом году под Харьковом — надо отдать должное Батюку — своей жизни не жалел. Тем и спасся в глазах... — Иван Алексеевич коротким движением пальца вверх показал, в чьих глазах спасся Батюк. — А то, что надвигавшуюся на армию катастрофу не почувствовал, так, во-первых,

не одного его, а и тех, кто почувствовал, весь фронт приказами свыше в мышеловку толкали, а во-вторых, все последующее за катастрофу приказано не считать. Ясно-понятно или неясно и непонятно? Если неясно и непонятно, все равно спросить не у кого. У меня спросишь — я тоже не отвечу!

Иван Алексеевич разлил водку в стаканы, но, прежде чем сесть, внимательно, с усмешкой посмотрел на Серпилина.

— Пьесу «Фронт» в «Правде» прошлым летом читал?

— Читал.

— Слышал много генеральских обид на нее, но сам в общем был «за». Считал в основном полезной. А ты?

— Я в общем тоже,— сказал Серпилин.

— Но вот интересный вопрос: почему? — Иван Алексеевич снова только жестом показал, о ком идет речь. — Почему он при том, что критику и самокритику не очень любит, пьесу одобрил и в «Правде» велел печатать? Не думал над этим вопросом?

— Нет.

— А я думал. Потому, что из нее при желании можно и такую мораль вывести: во всем, что в сорок первом и сорок втором нам на головы посыпалось, Горловы виноваты, и никто, кроме них. За прошлое ответственность на них. Ни на ком другом. Им за это и на орехи! Заметь, это важный пункт. А что далее? Далее Горловых заменяют Огневыми, и дело начинает идти лучше, что в общем-то близко к истине, хоть ты и идешь начальником штаба пока что все же к Батюку. А теперь вопрос: на что не отвечено в пьесе? Не отвечено, откуда Горлов. Почему и как стал командовать фронтом? На общем собрании выбрали, что ли? Но этот вопрос в пьесе, как говорится, глубоко зарыт, приходит в голову не сразу и не всем, и мне тоже не сразу пришел... Ну что ж, выпьем за твое назначение, и к Батюку своему будь справедлив, он тоже не сам себя назначил... Все, что сказал,— не дальше тебя.

Серпилин пожал плечами — разумеется! Откровенность Ивана Алексеевича его не удивила, удивило другое: та злая взвинченность, которая была сегодня в этом уравновешенном человеке.

— Что, Мария Игнатьевна здесь, с тобой,— спросил Серпилин,— или еще в эвакуации?

— В эвакуации. А что ей здесь со мной делать? Туда хоть письма пишу, а здесь бы жила рядом и не видела. Думаешь, я сегодня поздно закончил? Рано. В семь, в восемь ложусь, в одиннадцать начинаю. Откровенно говоря, устал за последние дни. Забыл приказать адъютанту поздравить тебя с назначением. Ослабла какая-то гайка от усталости... А ослабни она вот так в другом вопросе, в момент доклада...

— Ну что ж, ты не справочник!

— Вот именно не справочник. А есть такие, что хуже думают, но лучше помнят. А я, считается, иногда слишком много времени прошу на то, чтобы свои соображения подготовить. Если совсем откровенно тебе сказать, мое положение в последнее время стало непрочным. За место не держусь, если на фронт — готов на любую должность! Все ж таки мы не просто генералы с тобой — у тебя на звезду меньше, у меня больше! Пусть лучше мне впереди лишняя звезда не светит, да зато совесть коммуниста при мне останется! Она мне и на фронте пригодится независимо от занимаемой должности. А переживаю я потому, что тут не в церковноприходском: поп из класса выгнал — встал, вышел вон да дверью хлопнул, и черт с ним! Тут еще одна сторона дела есть, потяжелее. Мне не место мое дорого, мне дорога́ возможность в меру своего разумения влиять на ход событий. Не хочу, чтоб мое место живой блокнот занял!

— Все так, я понимаю,— видя волнение Ивана Алексеевича, но не до конца понимая его причину, сказал Серпилин. — Но что же все-таки произошло с тобой? Впрочем, не говори, если не хочешь.

— Со мной пока ничего не произошло,— сказал Иван Алексеевич,— не во мне суть... С планированием предстоящих операций не все так происходит, как бы хотелось. Я неделю назад, когда группу Гота погнали, внес предложение оставить там у вас, вокруг Сталинграда, самый необходимый минимум — и только! Что немцы вырвутся или что к ним прорвутся после разгрома под Котельниковом, уже не верю. Несмотря на все посулы Гитлера, будут сидеть и подыхать голодной смертью, пока не сдадутся. В связи с этим предлагал взять из вашего фронта три армии и как можно скорей иметь их под руками там, где предстоит наращивать новые удары. Или — чем черт не шутит — отражать контрудары. С такой возможностью тоже надо считаться! Спор не о дальнейших наших ударах: план их всем ясен и утвержден. Спор о том, чтобы поскорей подкрепить его реальность еще несколькими освободившимися армиями. А вот на это согласия и нет... «Как это так?! Сидеть и ждать, пока сдадутся?.. Как это так — взять Сталинград на месяц позже?!» А почему, спрашивается, его не взять на месяц позже, в обстановке, когда риск, что немцы прорвутся, сейчас, после Котельникова, практически исключен? Почему, так прекрасно начав и развив операцию, вдруг потерять выдержку в момент, когда осталось спокойно переморить их там, у себя в тылу, как клопов, малыми силами, а освободившиеся армии в возможно короткий срок пополнить и передислоцировать в резерв тем фронтам, которые сейчас будут решать все дальнейшее? Вот что мне покоя не дает все

эти дни. А положение мое непрочное потому, что сил не хватило ни выдавить из себя раскаяние за свои предложения, ни проявить восторг перед теми, что приняты вместо моих. Теперь планирую то, что приказано, и бога молю, чтобы вы там, в Сталинграде, за одну неделю все начали и кончили и поскорей освободились. Сделаете, а?

Иван Алексеевич сказал это улыбнувшись, но улыбка у него вышла горькая, в голосе слышалась мольба, обращенная не к Серпилину, а куда-то выше, к самой военной судьбе, которую он просил обернуться лицом к нам и спиной к немцам.

— Откровенно говоря, для меня все это неожиданно,— сказал Серпилин.

У него сейчас просто не умещалось в голове, что штурм Сталинграда можно вдруг взять и отложить, то есть даже не отложить, а просто отменить, потому что в конце-то концов речь шла именно об этом.

— Подожди, как же так... — начал было он, но Иван Алексеевич прервал его:

— Вот именно: как же так? Ну и забудь все, что я сказал. Для того и сказано, чтоб умерло. Тем более что вопрос, кто прав, практически уже в прошлом, а мои переживания никому не интересны. Если хочешь знать, теперь сам желаю, надеюсь оказаться неправым! Мечтаю иметь возможность расписаться в своей ошибке! А из души не могу выбить боязнь, что пройдет время — и ход дела покажет: был прав! Иногда утром ляжешь — устал, а не спишь. Не спишь и думаешь: сколько же в самом деле приходится сдерживаться нашему брату военному человеку! Тяжела наша профессия, а на том месте, где сейчас сижу, тяжела через меру!

— Уйди.

— «Уйди»? — усмехнулся Иван Алексеевич. — Легко сказать. Сам знаешь: на войне не только тогда руки-ноги отрывает, когда рубеж берешь, но и когда с рубежа отходишь. А мне с моего нынешнего кресла отходить — тоже надо момент выбрать, чтобы отойти с руками и с ногами. Я еще воевать хочу, не быть до конца войны где-нибудь в заштатном округе отставной козы барабанщиком! В общем, два звонка уже было, жду третьего,— вдруг сказал Иван Алексеевич.

На этот раз сказал без горечи, даже с каким-то веселым вызовом судьбе, за которым чувствовалась душевная сила.

«Даже если ты и неправ!» — подумал Серпилин.

В рассуждениях Ивана Алексеевича, если принять их исходную точку, была своя, казавшаяся железной логика, и Серпилин не брал на себя со своих позиций командира дивизии самоуверен-

но, по первому впечатлению, решать, кто же все-таки прав в этом касавшемся целых фронтов споре, наверное, одном из многих, которые возникают и кипят в Ставке, чтобы бесследно умереть в час окончательного решения. Чувствовал только одно: если бы вдруг завтра отменили уже готовящееся наступление, в душе не смог бы согласиться с этим. Слишком страстно и нетерпеливо ждал возможности скорей покончить с немцами там, в Сталинграде, ждал, как и все другие на их Донском фронте, сверху и донизу! И, чувствуя это, знал, что в его чувстве тоже есть своя правда. И может быть, с ней, с этой правдой, и посчитались, когда отвергли предложение Ивана Алексеевича.

Подумал об этом, но вслух ничего не сказал, промолчал. Да, собственно говоря, Иван Алексеевич и не спрашивал точки зрения Серпилина. А просто вдруг прорвало, в первый раз за войну прорвало, потому что подошла такая минута и в эту минуту рядом оказался человек, о котором за четверть века дружбы твердо знаешь, что все твои слова — в него, как в могилу.

Но было в памяти и такое, что не скажешь никому, потому что и сам до конца не знаешь, как с этим быть.

Да, Сталин — это Сталин! И этим все сказано, хотя ты знаешь о нем больше многих других, знаешь и то, что было перед войной, и то, что было в начале войны, знаешь и такое, что не лезет ни в какие ворота!

В том, что он великий,— колебнулось что-то в душе в начале войны, а потом опять утвердилось,— нет, в этом ты сейчас опять не сомневаешься. А в том, что он страшный? Это ведь тоже тебе известно, и лучше, чем многим. И каждый раз, когда идешь к нему на доклад, знаешь, что рука у него не дрогнет ни перед чем.

И где кончается железная воля, и где начинается непостижимое упрямство, сто́ящее десятков тысяч жизней и целых кладбищ загубленной техники, не всегда сразу поймешь.

Да, слушает, рассматривает и одобряет планы, принимает во внимание, не отмахивается от советов и донесений, как тогда, перед началом войны. Но это все до какой-то минуты — а потом последнее слово за ним, и слово это — иногда единственное верное решение, а иногда вдруг рассудку вопреки, наперекор стихиям, и никто никакими доводами уже не заставит передумать! А вся тяжесть положения в том, что оно, это его последнее слово, все равно всегда правильно, даже когда оно неправильно. И останется правильным. И виноватые в неудачах найдутся. Должны же они каждый раз находиться, если он всегда прав.

А в то же время в его непререкаемом авторитете, даже просто в самом его имени, неимоверная сила. Как-то уж так с года-

ми вышло, что все, во что верим: в партию, в армию, в самих себя,— все, как жилы в трос, заплетено в это имя. И на этом тросе тянем всю тяжесть войны. Всем выбивающимся из сил народом тянем, а имя на всех одно: Сталин. Ладно, пусть так! Но хотя бы при этом думать о нем, как другие, зная только одно — что великий, и не зная всего прочего, того, что лучше б не знать. А иногда ведь не можешь отделаться от чувства, что знаешь еще не все, далеко не все...

А что делать? Нечего и спрашивать. Надо делать свое дело, раз ты коммунист и солдат! Надо на своем месте долбить и долбить свою правду и честно докладывать чужую. И ее тоже долбить, каждый раз до пределов возможного.

А что больше придумаешь? Тебя и на это-то не всегда хватает! Да и не так-то оно безопасно, по правде сказать. Не такой уж ты трус, в морду-то себе зря плевать тоже незачем!

Иван Алексеевич долго и тяжело молчал, так глубоко отдавшись чему-то своему и очень далекому от Серпилина, что тот почувствовал это и, не желая мешать ему, тоже молчал.

Иван Алексеевич жил среди величин другого масштаба, чем те, среди которых жил командир дивизии Серпилин, и Серпилину очень хотелось воспользоваться редкой возможностью и спросить Ивана Алексеевича о предстоящем размахе операций, о том, как он оценивает силы немцев и какие, по его мнению, перспективы зимней кампании в масштабе всех фронтов. Но как бы ни хотелось спросить об этом, Серпилин слишком хорошо знал черту, которой не имеет права перейти даже самая беспредельная дружба,— черту, за которой на войне не спрашивают и не отвечают. И он перешел эту черту только мысленно... И вместо всего, о чем хотелось спросить, спросил только:

— Часто докладывать ходишь?

— Сейчас да. Те, что повыше меня, все разъехались. Представителями Ставки. Чутье у него страшное,— помолчав, добавил Иван Алексеевич. — Иногда понимаешь, что все равно безнадежно говорить ему свое мнение, стоишь и молчишь. А он смотрит на тебя и чувствует твое отрицательное отношение к тому, что он предложил.

— Может быть, поедет под Сталинград, все же, наверное, ему интересно,— сказал Серпилин. — Тем более знакомые места.

— Навряд ли,— пожал плечами Иван Алексеевич, но почему навряд ли, объяснять не стал. — Ладно, давай выпьем с тобой за то, чтобы вы поскорее там у себя на фрицах крест поставили! Конечно, кухня у нас здесь, в Ставке, такая, что за все переживаешь. Кажется, то здесь, то там что-нибудь не так делается. Но если на карту взглянуть — с ноября здорово махнули! Начинаем

в собственных глазах оправдываться. Трезвость, конечно, сохранять надо. Нельзя еще выдавать все желаемое за действительное, хотя иногда за язык и тянут... Но в общем-то жить много веселей стало: гнем и ломаем их, сволочей!

Он чокнулся с Серпилиным, отхлебнул большой глоток и, зажав в кулак булку с колбасой, стал есть с веселой жадностью человека, отвлекшегося от тяжелых мыслей и вдруг вспомнившего, что он зверски голоден.

— А это ничего, что ты с утра пьешь? — спросил Серпилин. — Пойдешь на доклад — заметят.

Иван Алексеевич почему-то усмехнулся и сказал:

— Ничего. За это он не спрашивает. А потом, я же не завтракаю, а ужинаю. И расписание это не я установил.

В наступившем молчании послышался слабый звонок.

— Наверное, адъютант,— сказал Иван Алексеевич и посмотрел на часы. — Что-то рано.

— Нет, это будильник,— сказал Серпилин. — Я тут сыну соседки наказал меня разбудить, если засну. Сейчас придет будить.

— Привалова сын? — спросил Иван Алексеевич.

— Да. Помнишь по академии?

— По академии — нет, не помню. На днях обстоятельства гибели пришлось докладывать.

— Тяжело смотреть на парня,— сказал Серпилин. — Когда не плачут, на меня это сильнее действует.

Дверь приоткрылась, и в ней показалась всклокоченная голова мальчика.

— Товарищ генерал, вставайте,— сказал он, спросонок не разобрав, что Серпилин не спит, а сидит за столом, и не один, а с кем-то еще. Потом понял, поздоровался и спросил: — Чаю вам согреть?

— Спасибо, не надо,— сказал Серпилин.

— Заходи, позавтракаешь с нами,— сказал Иван Алексеевич.

— Спасибо, я еще не умывался,— сказал мальчик и закрыл дверь.

— Только водки ему не давай,— сказал Серпилин.

— А я и не собираюсь,— сказал Иван Алексеевич и положил на край стола булку с колбасой и огурец. — А твой где?

— Был, ушел.

— Провожать тебя не явится?

— Нет.

— Скажи, как будет дальше с сыном? — спросил Иван Алексеевич, знавший, что Серпилин будет недоволен вопросом, и все-таки считавший необходимым спросить об этом.

— Сказал, чтобы подал рапорт и ехал на фронт. Нечего ему тут в порученцах у Панкратьева тереться,— сказал Серпилин и замолчал, не желая продолжать разговор.

— Это понятно,— сказал Иван Алексеевич. — А вообще как думаешь с ним дальше?

И когда Серпилин так ничего и не ответил, стал рассказывать ему про сына: с какой энергией и отчаянием тот пробивался в Генштаб и как через все преграды все же пробился, чтобы вызвать отца и хоть что-то сделать для матери.

Серпилин понимал, что Иван Алексеевич пробует смягчить его. Понимал, но отвечать не хотел, считая, что это в его жизни такой вопрос, который теперь, после смерти жены, не касается и не будет касаться никого другого, кроме него самого.

— Так как же все-таки будет с сыном? — в третий раз спросил Иван Алексеевич.

Он бывал в таких случаях настойчив. Сказывалась привычка к власти.

— Слушай, Иван,— сказал Серпилин наполовину сердито, наполовину умоляюще,— не мотай мне душу. Не могу тебе ответить, сам еще не знаю. Теперь уже не от меня, а от него зависит.

Мальчик вошел уже одетый, в валенках и полупальто, держа в руках шапку.

— Что ж ты оделся? — спросил Иван Алексеевич. — Я ж сказал: позавтракаешь с нами.

— Мне в школу,— сказал мальчик.

— Тогда возьми в карман,— сказал Иван Алексеевич. — Поешь по дороге.

И, взяв булку и огурец, протянул мальчику.

— Возьми, возьми,— сказал Серпилин, уже понимая, что мальчик послушается только его. — И харчи, что на кухне остались, пусти в оборот. — Протянув на прощание руку, взглядом остановил мальчика от вопроса: помнит ли он, Серпилин, о своем обещании? Сказал глазами: «Помню, и переспрашивать меня лишнее».

— Вот так,— когда мальчик вышел, сказал Серпилин, заканчивая этим «вот так» разговор о собственном сыне.

Иван Алексеевич вылил на донышки стаканов остатки водки.

— Последнюю в память твоей Вали.

У него на глазах внезапно выступили слезы. Он вытер их и выпил не чокаясь.

— Может, тебе что-нибудь нужно будет? За могилой приглядеть? Скажи, я адъютанту поручу, он все по-хорошему сделает.

Иван Алексеевич посмотрел на часы и встал.

— Он тебя на аэродром проводит. Сейчас явится. А меня извини, не поеду: надо поспать. Служба обязывает с утра свежими мозгами думать. Не обижаешься?

Серпилин только пожал плечами.

— Что, собираться будешь? — спросил Иван Алексеевич.

— А что мне собирать?

Они спустились вниз ощупью по темной лестнице.

На улице было еще совсем темно. У подъезда стояла большая машина непривычного вида.

— Трофей. «Оппель-адмирал»,— сказал Иван Алексеевич. — Взяли несколько штук на Дону, вот езжу вторую неделю. Как оцениваешь? — спросил он стоявшего возле машины шофера.

— Хороша, товарищ генерал. Только прогревать чаще, чем ЗИС, приходится.

Адъютанта не было. Серпилин вопросительно посмотрел на Ивана Алексеевича.

— Вон он едет,— кивнул Иван Алексеевич на подъезжавшую «эмку». — Я на своей спать поеду, а ты с ним на дежурной.

«Эмка» подъехала, адъютант выскочил из нее и доложил, что все в порядке, самолет уйдет в восемь пятнадцать.

— Ладно,— сказал Иван Алексеевич. — Это возьми туда, к себе. — Он протянул адъютанту чемоданчик. — Для генерал-майора на дорогу приготовил?

— Так точно.

Иван Алексеевич так же коротко и крепко, как при встрече, молча обнял Серпилина, оторвался от него, сел в машину и первым уехал.

«Что, совсем один хочешь остаться?» — вспомнились Серпилину последние слова сына, когда «дуглас», поднявшись с Центрального аэродрома, делал прощальный разворот над утренней Москвой.

«Дуглас» был полон пассажиров и грузов. С обеих сторон на откидных железных скамейках впритирку сидели люди, а на полу лежали мешки с почтой, несколько раций, обернутые мешковиной винты к истребителям.

Половина желавших улететь на Донской фронт с этим рейсом осталась ждать следующего. Кроме Серпилина, в самолете летели еще два генерала, несколько полковников, судя по их

петлицам и разговорам, из Главного артиллерийского управления, несколько человек из штаба гвардейских минометных частей, офицеры войск связи, летчики, два фотокорреспондента с «лейками» и кинооператор с тяжелым, оттягивавшим шею киноаппаратом. Состав пассажиров говорил о предстоявших под Сталинградом событиях, и Серпилин, хотя они летели еще только над подмосковными дачами и платформами, под влиянием атмосферы, царившей в самолете, почувствовал себя уже не здесь, а там, на фронте.

Нет, он не только не хотел, но и не мог остаться совсем один. А если бы захотел, ему бы не позволила этого война. Через несколько часов ему предстояло принимать штаб армии, знакомиться с незнакомыми людьми и устанавливать новые отношения с теми, кого он уже знал. Предстояло с кем-то взаимно притираться, с кем-то временно мириться, кого-то переставлять, заново разбираться в чьих-то сильных и слабых сторонах, раньше видных только издалека.

Если бы он летел обратно к себе в дивизию, это было бы в каком-то смысле легче для него, а в каком-то тяжелее. В дивизии были близкие ему люди, которых он, по фронтовым понятиям, уже давно знал. Их отношение к его горю, конечно, грело бы душу, но в то же время и бередило бы открытую рану гораздо сильней, чем то более формальное сочувствие, с которым ему предстояло столкнуться в штабе армии со стороны новых сослуживцев, не имевших причин входить в подробности его горя. В конце концов, возможно, это и к лучшему.

Мысль об операции, которую ему впервые предстояло проводить в роли начальника штаба армии, беспокоила его уже сейчас, в самолете, не оставляя времени для других мыслей. По правде говоря, для человека в его состоянии трудно было придумать сейчас что-нибудь лучше предстоявшего ему нового дела. В глубине души он начинал сознавать это и был благодарен судьбе, которая облегчила его горе тем единственным, чем это горе можно было облегчить.

— Товарищ генерал,— обратился к Серпилину сидевший напротив него на скамейке пожилой востроносый маленький генерал-майор,— мне там, на аэродроме, сопровождавший вас подполковник сказал: вы к Батюку летите.

— Да.

— Тогда позвольте представиться: генерал-майор Кузьмич, Иван Васильевич, лечу туда же, к вам, принимать Сто одиннадцатую.

— Серпилин, Федор Федорович,— сказал Серпилин, пожимая руку маленькому генералу и с удивлением думая о том, как

тесен мир. 111-я дивизия была его, то есть теперь уже бывшая его дивизия, и этот летевший в одном с ним самолете генерал летел принимать бывшую его дивизию, а полковнику Пикину, стало быть, снова выходила судьба оставаться в прежнем положении.

— Ну что ж, будем знакомы,— сказал Серпилин, с интересом глядя на маленького генерала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Проводив генерал-майора Серпилина и, как было приказано, дождавшись, пока самолет не поднялся в воздух, подполковник Артемьев возвращался с аэродрома.

Самолет ушел с опозданием, но ехать спать все равно еще нельзя было: требовалось до этого побывать в Бронетанковом управлении и лично забрать там один документ.

Машина свернула с улицы Горького и пошла по кольцу «Б».

«Все-таки понемногу наполняется»,— подумал Артемьев про Москву и вспомнил неожиданный вопрос Серпилина, когда они дожидались посадки в самолет:

— Семью в Москву не вызываете?

— Не вызываю, товарищ генерал,— ответил он, не став объяснять, что живет на свете один как перст и вызывать ему некого.

Там, на аэродроме, глядя вслед пошедшему на Сталинград самолету, Артемьев с досадой подумал о своей временной, адъютантской судьбе. Хорошо, конечно, что попал в офицеры для поручений к начальству, у которого не просто «позвони», «подай», «принеси», а можно при желании набраться и ума на будущее. Но сегодня поглядел в хвост самолету, и потянуло на фронт.

Когда после госпиталя, еще с палочкой, попал в Генштаб, считал это удачей. Но последнее время стал тревожиться: а что, если начальство привыкнет и не захочет отпустить на фронт? Хотя, когда брало, обещало. Генерал-лейтенант последнюю неделю какой-то странный, смурной. А почему — неизвестно, и спрашивать не положено.

В Бронетанковом управлении, несмотря на ранний час, жизнь била ключом. По всему чувствовалось, что танкисты за последние месяцы подняли головы, и не удивительно: танковые и механизированные корпуса с начала ноябрьского наступления давали немцам жизни!

Забрав документ и спускаясь по лестнице, Артемьев посторонился, чтобы пропустить сбегавшего вниз генерал-майора

с черными танкистскими петлицами. И, только уже пропустив, сзади увидев наголо бритую голову, понял, что этот генерал-майор — старый друг, халхинголец Костя Климович. В начале войны о нем говорили как о погибшем, но недавно он вдруг ожил и прошел по сводке, захватив в районе Тацинской сто самолетов.

— Костя! — окликнул Артемьев уже добежавшего до самого низа лестницы генерала. Окликнул, рассчитывая, что, если ошибся, генерал не отзовется.

Но генерал обернулся и стремительно пошел вверх навстречу Артемьеву. Они обнялись на середине лестницы.

— А я как раз был сейчас у танкистов и вспомнил тебя и Халхин-Гол,— сказал Артемьев.

— Нашел что вспоминать! — усмехнулся Климович. И была в этой жесткой усмешке целая вечность, отделявшая теперь их обоих от Халхин-Гола.

Они пошли вниз по лестнице.

— Что хромаешь? — спросил Климович.

— Был ранен.

— А теперь что делаешь?

— После ранения временно в Генштабе. Но скоро думаю обратно на фронт. А ты как здесь? Только недавно в сводке читал, что твоя бригада к Тацинской вышла.

— К Тацинской вышла, а через неделю вся вышла... — сказал Климович. — Четыре машины осталось. Послали на переформирование.

— Наверно, обидно было в разгар таких боев...

— Это только в стихах так пишут. Или у вас в Генеральном штабе в самом деле так думают?

— Что думают?

— А что командир бригады, когда у него из сорока машин четыре осталось, обижается, если его на переформирование отправляют? Не знаю, может, и есть такие дураки, я в них не записывался. Вот если бы у меня от бригады одно название, без танков, осталось, а мой личный состав все равно без ума в огонь как пехоту совали, вот тогда бы я обижался, что начальники боятся истинные потери в технике кому надо доложить. Бывает и так.

— Будем считать, что отбрил,— улыбнулся Артемьев.

— Да, представь себе, рад,— по-прежнему серьезно и страстно сказал Климович. — Рад, что своевременно вывели бригаду из боев; рад, что трезвое решение приняли и что обстановка это позволила; рад, потому что, по правде говоря, глупости еще творим. Бываешь свидетелем, как люди в общий котел победы

свои глупости суют, рассчитывают, что там все перекипит и не будет видно, кто что положил.

— Я вижу, ты в сердитом настроении, а там у вас, наверху,— в более радужном.

— И я не в сердитом, а просто сплю и вижу, как бы поскорей научиться немцев не до полусмерти, а до смерти бить. А сердиться — что ж? Если б я солдатом был, тогда много на кого есть сердиться — и на взводного, и на ротного, на всех, до самого господа бога! А когда теперь я генерал, мне уже мало на кого остается сердиться, кроме себя. Ты когда воевать начал?

— В декабре сорок первого, под Москвой, деревня Зеленино, вступил в бой, командуя полком.

— Значит, прямо с наступления, с праздничка начал...

— Ну, положим, насчет праздничка... — перебил Артемьев и махнул рукой, подумав про себя, что как ни хорош Костя Климович, а все же, значит, из танка не видно, что такое пехота, и кто такой командир полка, и сколько пудов войны у него на горбу. Знал бы — не сказал бы про праздничек...

— Насчет праздничка не обижайся,— сказал Климович. — Праздники на войне тоже в крови. Это мне известно. Просто позавидовал тебе, что начал воевать с других картин, чем я...

Они стояли теперь внизу в вестибюле.

— Ну что ж, Паша, мне, к сожалению, на вокзал, да и у тебя, наверное, жизнь на колесах.

— Да,— сказал Артемьев. — Надо документ в Генштаб везти. —И вдруг спохватился: — Как семья?

— Семью похоронил,— ровным, без выражения голосом сказал Климович. — Всех разом, в одной воронке... И могилу не сам выбирал, и плакать времени не дали. Вот так. Еще вопросы есть?

— Извини.

— Ничего. Уже полтора года всем на этот вопрос отвечаю. Привык. А ты не женился?

— Нет.

— А я осенью после госпиталя чуть не женился. А потом подумал: зачем вдов и сирот плодить, когда их и без тебя хватает? Если так просто — другое дело. Ты — просто, и она — просто...

— Чтобы в случае чего: «Пускай она поплачет, ей ничего не значит...» — сказал Артемьев. — Что смотришь? Не мое.

— Это я догадался. Просто раньше не знал за тобой любви к стихам.

— А много ли, Костя, мы вообще раньше друг за другом знали? — сказал Артемьев. — Себя самих и то лишь на войне узнали...

Они вышли на улицу. После полутемного вестибюля на солнце резало глаза. Машина Артемьева стояла у подъезда. Климович высмотрел свою и махнул, чтобы подъезжала.

— Куда едешь?

— Новое соединение формировать. Для начала — на Казанский. А потом — туда, где танки делают. Ах, танки, танки! — воскликнул Климович. — Перед теми, кто их делает,— шапки с голов, а тем из нас, кто такие машины без рассудка губит в первом же бою,— палкой по роже!

Они спустились с крыльца. Артемьев заторопился и, неловко ступив раненой ногой, охнул.

— Не рано ли о фронте начал думать? — спросил Климович.

— Может, и рано, да больно уж сводки за живое берут!

— Это верно,—сказал Климович,— время такое, что не соскучишься. Ну ладно, воюй. Будь жив по возможности.

Они обнялись. Климович сел в машину и, закрывая дверцу, прощально махнул рукой.

Когда Артемьев вернулся в Генштаб, в приемной на дежурстве сидел второй адъютант — Косых. Этот у генерал-лейтенанта еще с довоенного времени. Офицеры для поручений третий раз меняются, а этот бессменный. Привык и другого в жизни не ищет.

— Насчет меня не звонил? — спросил Артемьев.

— Нет,— сказал Косых. — Можешь спать до четырнадцати.

Артемьев запер в сейф привезенный документ, сладко потянулся и с удовольствием представил себе, как доберется сейчас до маленькой комнаты на третьем этаже, где стояло пять коек для адъютантов. Казарменное положение в Генеральном штабе хотя и было отменено, но практически еще сохранялось.

— Позвони мне в тринадцать, чтоб не проспал.

— Позвоню, не беспокойся,— сказал Косых и, посмотрев в свой блокнот, вдруг вспомнил: — Генерал Шмелев звонил, приказал для тебя адрес записать. Какая-то женщина тебя ищет. Сейчас я тебе перепишу.

Но взволнованный Артемьев, не дожидаясь, пока Косых перепишет ему адрес, сам быстро обошел стол и заглянул в блокнот. Он знал, что его сестра, заброшенная в немецкий тыл, по сведениям партизанского штаба Западного фронта, еще год назад погибла при выполнении задания. Никаких подробностей

он так и не добился и не до конца верил в эту смерть, зная случаи, когда такие известия потом оказывались ложными. В блокноте, из которого переписывал адрес Косых, стояла незнакомая фамилия: «Спросить Овсянникову...»

Может быть, это кто-то, привезший известия о сестре?

«Спросить Овсянникову...» — еще раз прочел он, взяв у Косых листок, и только теперь обратил внимание на адрес: «Сретенка, 24, квартира 6».

— Ты точно записал? — спросил он Косых.

Косых даже не ответил. Уж за что, за что, а за точность Косых можно было ручаться.

«Да что же это! Дурака со мной валяют, что ли?» — подумал Артемьев. Адрес был слишком знаком, хотя считался вычеркнутым из памяти.

— Какой у Шмелева добавочный? — порывисто спросил он.

— Ты что, спятил? — сказал Косых. — Шмелев в семь сорок пять звонил, вот у меня записано, перед тем как спать лечь.

«Спросить Овсянникову...» — еще раз про себя прочел Артемьев. Незнакомая фамилия никак не сопоставлялась с адресом. Он вспомнил старушку, домашнюю работницу, которая жила тогда, до войны, у тех людей, в той квартире. Может быть, это она Овсянникова? Он не знал ее фамилии, просто знал, что она «тетя Поля». Но если и так, зачем он ей?..

— Вот что, Косых. — Он положил записку в карман. — Если что, я пошел по этому адресу. Тут недалеко, я быстро обернусь.

— Смотри, будешь потом носом клевать! — не одобрил Косых.

Когда Артемьев вошел в знакомый подъезд и постучался в постаревшую дверь с ободранной клеенкой, ему открыл подросток в валенках, ватных штанах и накинутой на плечи стеганке.

— Я Артемьев,— сказал Артемьев,— мне дали этот адрес...

— Да, да, заходите,— протягивая руку, сказал мальчик девичьим голосом. — Я Овсянникова.

Рука была маленькая, крепкая и очень горячая.

— Пойдемте в комнаты...

— Можно раздеться? — спросил Артемьев.

— Как хотите. Я сама тут замерзла с утра, даже руки над керосинкой грела... Пойдемте лучше на кухню.

— Я все же разденусь,— сказал Артемьев и, скинув шинель, вслед за девушкой в ватнике прошел через большую ледяную переднюю, мимо открытых настежь дверей в столовую, все так же, как и до войны, заставленную красным деревом.

На кухне было теплее, на керосинке грелся чайник. Вдоль стены стояли узкая железная кровать и пружинный матрац с подложенными вместо козел стопками книг. На матраце лежал новенький полушубок.

— Вы накиньте полушубок, если холодно. Хотя он маленький,— сказала девушка, смерив взглядом массивную фигуру Артемьева. — А я с утра вот так, по-партизански.

Она дотронулась до полы накинутой на плечи стеганки и вдруг смутилась под взглядом Артемьева. Под стеганкой у нее была только заправленная в ватные штаны солдатская бязевая рубашка, завязанная на тонкой шее тесемками; солдатскую бязь оттопыривали два высоких острых холмика. Этого она и застеснялась и, уже отвернувшись и стоя спиной, засовывая руки в рукава и застегивая ватник, сказала:

— Извините, я думала, это моя хозяйка пришла...

Она была острижена коротко, как мальчик, и сзади на шее у нее был мальчишеский завиток отросших волос. Так когда-то до войны стриглась Маша.

Застегнув последний крючок, она повернулась к Артемьеву. Лицо у нее было простенькое, но милое, даже, наверное, хорошенькое, только очень бледное и истомленное, а выражение этого лица было странное — одновременно и решительное и растерянное.

— Ну, что вы мне скажете? — спросил Артемьев, уже чувствуя, что ему не скажут ничего хорошего.

— Я вам должна рассказать про вашу сестру,— сказала девушка голосом, которым не говорят про живых. — Меня зовут Овсянникова, Татьяна Николаевна, Таня... Вы садитесь...

И сама села на полушубок, брошенный поверх пружинного матраца. Артемьев опустился на табурет и продолжал смотреть на нее.

— Я вернулась оттуда, правда, уже почти два месяца, но я все это время была в госпитале...

— Вы только без предисловий. Что сестра погибла, я уже слышал,— сказал Артемьев с последней, отчаянной надеждой.

Но она не остановила его и не крикнула: «Нет!» А удивленно и долго смотрела на него и молчала. Готовила себя к одному, а вышло другое: оказывается, он знает.

— Говорите, чего молчите? Я знаю только одно: что погибла при выполнении задания. Если знаете, где и как, расскажите. Хуже не будет.

Сказал, хотя чувствовал, что нет, будет хуже, гораздо хуже.

А Таня смотрела на этого совсем не похожего на сестру, показавшегося ей грубым человека и все еще не знала, с чего

начать. С того, как погибла Маша? Или с того, как они встретились и подружились и что ей говорила Маша в ту последнюю ночь, когда уходила на явку в Смоленск?..

— Ну что вы из меня жилы тянете? — сказал он все тем же грубым голосом.

— Я не знаю, как она погибла,— сказала Таня,— я не была при этом. Я только знаю, что она в прошлом году в ноябре пошла на явку в Смоленск и все было очень хорошо подготовлено, она не должна была провалиться... А потом, через день, узнали, что она так и не пришла на явку. А потом, через две недели... там в городской управе у нас работал один человек, он передал нам копию списка приговоренных, и ее имя тоже было там... по документам. По документам она была Вероника... Командир нашего отряда думал, что их собираются казнить в одном месте, которое мы знали, и мы сделали там засаду, и я тоже ходила... А их казнили в другом месте: переменили...

Артемьев встал, подошел к керосинке, снял кипящий чайник и налил воды в кружку.

— Возьмите заварку,— сказала Таня.

Но он не ответил, стоял у плиты и долго, мелкими глотками пил горячую воду.

Допил, поставил кружку на плиту, подошел к Тане и, ничего не говоря, потянул за край полушубка. Она поняла и пересела, освободив полушубок. А он, накинув этот полушубок-недомерок на плечи и прихватив его рукой у горла, заходил по кухне. И по его руке, жестко сцепившей у горла борта полушубка, было видно, как ему трудно совладать с собой.

— Ну и что дальше? — спросил он своим грубым голосом.

— Что дальше? — Таня не поняла, чего он хочет. — Что может быть дальше?..

...Дальше — сверху ровная, такая же, как всюду, пелена снега, а под снегом наспех накиданные куски мерзлой земли, а под ними — босые, полуголые и голые тела, мужские и женские, со страдальчески вывернутыми головами, с негнущимися шеями, с раскинутыми в стороны ледяными руками, со скрюченными, еще царапавшими землю и умершими уже потом, после всего остального, пальцами...

Они раскапывали зимой одну такую яму. Раскапывали потому, что хотели проверить, на самом ли деле немцы расстреляли одного провокатора или только сделали вид, что он расстрелян вместе со всеми, а сами отправили его работать в другое место.

А потом, весной, земля начинает оседать, и там, где была ровная снежная пелена, становится виден длинный прямоугольник осевшей земли...

Артемьев посмотрел ей в лицо и, поняв по нему, что спросил что-то такое, на что она не в состоянии ответить, с усилием восстановил в памяти свой первый нелепый вопрос: что дальше?

— Я хотел спросить: где это было? Вы знаете?

— Недалеко от шоссе, у кирпичного завода,— сказала она,— там у них бараки — лагерь. В километре от этого лагеря...

«Вот и похоронили Машу,— подумал Артемьев,— около кирпичного завода, в километре от бараков... Какой завод, какие бараки, в какую сторону километр... Кто там с ней в могиле, сколько людей, каких, почему и за что их убили?.. Да и там, на Западном, скоро пойдем вперед. Но найдет ли кто-нибудь когда-нибудь это место после того, как еще раз прокатится через него война... И мать, наверное, лежит в какой-нибудь такой же яме под Гродно, если не убили еще в первые дни на дороге, вместе с той маленькой девочкой, фотографию которой Маша прислала перед войной в Читу с надписью: «А это наша с Иваном Таня»... Где она теперь, ваша Таня, и где ты, и где твой Иван? Тоже гниет где-нибудь в русской земле, вытянувшись во весь свой нескладный, трехаршинный рост, может быть так и не успев ни разу выстрелить в немцев... Поскорей бы на фронт, что ли...»

— Ладно,— сказал он, продолжая ходить. — Рассказывайте остальное, если что-нибудь знаете. Вообще все, что знаете, говорите, я ничего не знаю. Приехал зимой сорок первого воевать под Москву с Дальнего Востока и застал вместо дома одно пепелище: ни матери, ни сестры — никого... Ключа от квартиры не было, двери ломал. Оставили у одного человека, так и тот помер. Хотите — верьте, хотите — нет, за четыре месяца, что здесь, в Москве, после госпиталя, ни разу дома не ночевал, тоска такая... Один раз с хорошей женщиной ночью крыши над головой не было, она просит: пойдем к тебе, а я не могу, так и не пошел, потому что идти туда — все равно что на могиле этим заниматься... Извините за грубость, сказал как товарищу.

Но она не обиделась, потому что за грубостью слов почувствовала боль и одиночество. Да и, по правде сказать, не такое ей приходилось слышать за эти полтора года! Сказала только вдруг, неожиданно для него:

— Маша, когда вспоминала про вас, все жалела, что вы не женаты.

И, проследив глазами за тем, как он ходит по комнате, прихрамывая и всю тяжесть тела перебрасывая на одну ногу, спросила:

— У вас какое ранение? Голень перебита, да? Вы бы лучше сели...

— Да,— сказал он и послушно сел.

— Я так и подумала,— сказала она. — Я там много операций делала. Я почти в одно время с ней в отряд пришла, на несколько дней раньше.

С этого начался ее рассказ о Маше, которую они нашли в лесу после неудачного прыжка и недели скитаний с запущенным открытым переломом руки.

В глухом лесу, в сорока километрах от Смоленска, утром, расстелив плащ-палатку на только что выпавшем снегу, потому что в землянке было темно, одна молодая женщина делала операцию другой — без инструментов и наркоза. Молча вылущивала один за другим осколки кости, иногда взглядывая в лицо той, второй, тоже молчавшей,— исхудавшее от голода, с закушенной до синевы губой и крупными каплями пота на лбу, похожее на лицо роженицы...

С этого молчания и началась их дружба, одна из тех, что, с мгновенной силой вспыхнув в двух одиноких женских душах, горит в них жадным, нерасчетливым пламенем и заставляет громоздить поспешные и страстные откровенности, словно, предвидя свой скорый конец, боится не наговориться и не надышаться...

А потом, позже, когда они уже успели рассказать одна другой почти все главное, что было до этого в их жизни, вдруг выяснилась одна случайность, уже незримо связавшая их между собой раньше, чем они узнали друг друга. Оказалось, что человек, с которым Таня шла из окружения от Могилева, который вместе с Золотаревым тащил ее на закорках через ельнинские леса, тащил и вытащил, не дав ей застрелиться,— оказалось, что этот добрый и хмурый человек, Иван Петрович Синцов, был мужем Маши.

Рассказывая Артемьеву о Маше, Таня рассказала и о Синцове то немногое, что знала со слов Маши. Но для Артемьева это было много, потому что он не знал о нем ровно ничего. Ни того, что Синцов вышел из окружения, ни того, что добрался до Москвы и в последнюю ночь свидания с Машей говорил ей, что снова пойдет на фронт.

— Буду искать. Уже наводил справки, но начну все заново,— сказал Артемьев.

— Не надо,— печально сказала Таня,— он погиб...

— Откуда вы знаете?

— Мне сказали вчера. Один человек, который точно знает, сказал, что погиб.

Он посмотрел на нее, и она печально кивнула: да, это точно, совершенно точно. Серпилин сказал об этом так уверенно, что ей даже не пришло в голову переспросить у него, когда именно погиб Синцов.

— Ладно,— сказал Артемьев после очень длинного молчания. — Расскажите еще про сестру, все, что знаете.

Тане сначала показалось, что она будет рассказывать ему еще очень долго, но вышло наоборот. Пересказывать ему, мужчине, все, о чем они говорили с Машей, оказалось невозможно. А событий в Машиной партизанской жизни до самого дня ее ухода и гибели было немного.

Просто жила в землянке в лесу и ждала, пока срастется рука, чтобы идти в Смоленск к одной старухе врачихе под видом родственницы.

В Москве, когда ее отправляли, думали, что она будет работать в подполье радисткой, а на месте оказалось все по-другому. Держать передатчик в городе было опасно, и решили держать его в лесу и, чтобы работать на нем, подготовили другого радиста, мужчину, а Машу послали в город связной, чтобы она при помощи этой старухи врачихи устроилась санитаркой в больнице и передавала записки с возчиками, ездившими в лес за дровами для больницы. Но ей так и не пришлось этого делать. Она даже не дошла до явки...

— Через два месяца я сама пошла туда, на эту явку,— сказала Таня. — Было очень нужно все-таки послать кого-нибудь, но меня сначала не пускали, боялись: вдруг, когда ее там мучили...

Артемьева передернуло при этих словах.

— ...но потом два месяца с этой врачихой ничего не было, и стало уже ясно, что Маша ничего не сказала, и тогда меня все-таки послали. В ту последнюю ночь, когда она уходила в Смоленск, а я тоже уходила с отрядом на операцию, мы обещали друг другу, что, кто из нас вернется на Большую землю, разыщет родных и расскажет... Видите, сколько времени прошло, и все-таки нашла вас. Совсем случайно: вчера утром была у нашего командира бригады в гостинице «Москва», а у него сидел генерал-майор, который сказал, что знал Машу и знает вас.

Она замолчала и, как школьница, положила руки на коленки в толстых ватных штанах. Сидела и ждала, не спросит ли у нее что-нибудь еще.

— Что, их расстреляли или повесили? — глухим голосом спросил Артемьев.

— Расстреляли.

Она побледнела, и ее спокойный до этого голос немножко, самую чуточку, дрогнул, и душу Артемьева захлестнуло свирепое отчаяние и жалость и к Маше, которую расстреляли, и к этой сидевшей напротив него побледневшей девушке в стеганке и ватных штанах, которая бог ее знает через что только не прошла и чего только не нагляделась! Он представил себе, как они, бедняги, сидели обе там ночью в лесу, и боялись будущего, и уславливались, чтобы та, которая останется жива, рассказала о той, которая умрет...

«Да что же это такое, как мы это позволили, чтобы они там гибли, умирали, чтобы их пытали, и насиловали, и расстреливали босых на снегу, и накидывали веревки на тонкие девичьи шеи! Как мы допустили, чтобы это было!.. Боже мой, как это страшно и стыдно!»

Он испытывал щемящую жалость уже не только к сестре, а вообще ко всем, кто и сейчас еще там, кого продолжают забрасывать туда, в пекло, к черту в лапы, и сейчас там попадается, гибнет, идет на виселицы. В Смоленске, в Брянске, в Орле, в Могилеве... Сколько этих проклятых гнезд, этих гестаповских костоломок, из которых не выходят живыми, сколько их по всей России, там, за линией фронта! Подумать страшно... Он испытывал жестокое, почти нестерпимое чувство мужского, именно мужского стыда за все то, что выпало на долю этих девушек и женщин, таких же, как его сестра и как эта маленькая, сидевшая против него. В чем душа-то держится!..

«Нет, на фронт, на фронт, скорее на фронт... Бить эту фашистскую сволочь, бить, не щадя, не жалея, до смерти!.. И пленных не брать! Пусть хоть под трибунал, все равно!»

— Слушайте, слушайте, что вы?.. — трясла его за колено Таня, которую испугало его лицо с зажмуренными, словно от страшной боли, глазами.

Он открыл глаза и посмотрел на нее.

— Ничего... так просто, представил себе все на минуту...

И, продолжая смотреть на ее худое, милое, истомленное лицо, спросил:

— Что думаете дальше делать?

— Пока получила месяц отпуска как выздоравливающая. А потом на комиссию. Наверное, пойду на фронт, в медсанбат.

— А туда, обратно, не вернетесь?

— Нет, не вернусь, не хочу. — И, покачав головой, повторила: — Не хочу, устала.

И чтобы он лучше понял то, что она хотела сказать, объяснила, что шесть месяцев пробыла по заданию медсестрой в Смоленской городской больнице.

— Сидела там на связи. А кроме того, медикаменты воровала и в лес переправляла...

Сказав «воровала», она улыбнулась, но сразу снова стала серьезной и объяснила, что, когда в подполье, это совсем другое дело, чем в партизанском отряде. В партизанском отряде есть оружие и кругом товарищи. А тут живешь все время во власти немцев. Как комар между ладонями: в любую минуту прихлопнут — и нет тебя. И от этого больше всего устаешь.

— Нет, я теперь только на фронт, больше никуда.

— А где этот месяц будете? Здесь? — спросил Артемьев.

— Еще не знаю,— сказала она. — Если удастся, съезжу к отцу и матери.

— Где они у вас?

— Не знаю точно. Отец работал перед войной на «Ростсельмаше». Я только недавно через комиссара госпиталя добилась — узнала, что почти весь «Ростсельмаш» в Ташкент эвакуировали. Если отец не на фронте, то, наверное, там. Он до войны был парторгом цеха. Дала туда телеграмму и теперь жду ответа.

— А по какому же адресу телеграмма?

— Ташкент, «Ростсельмаш».

— И приняли?

— Приняли. А что?

— Может не дойти. Завод теперь, скорей всего, стал номерной...

— Я тоже этого боюсь,— сказала она. — А что делать?

— Можно узнать номер почтового ящика, если завод номерной, а можно... — Он не стал объяснять, какая мысль пришла ему в голову, и сказал: — Короче, если не получите ответа, помогу. Завтра к вам зайду, когда у меня «окно» будет. Скорее всего, попозже, вечером.

— Хорошо,— сказала она и добавила: — А лучше не беспокойтесь.

Артемьев усмехнулся; кажется, ей не понравились его слова: «Попозже, вечером».

— Вот что,— сказал он,— давайте договоримся для ясности. Во-первых, я для вас абсолютно все сделаю и место на поезд достану, если ваши родители в Ташкенте. А во-вторых, если что подумали, зря. Я, конечно, не облако в штанах, а холостой мужик, но во мне этого нет, чтоб под видом одного — другое. Я с женщинами или вполне откровенен, или от начала до конца по-товарищески... Вот такие дела, дорогой товарищ,— усмехнулся он собственным словам. — А теперь, перед уходом, два вопроса. Как у вас с харчами? — И, не дав ей соврать, ответил за нее сам: — Безусловно, неважно. А вопрос такой: когда приду, при-

несу вам немного консервов, могу рассчитывать, что не будете ломаться, возьмете как человек?

— Ладно, не буду ломаться,— рассмеялась Таня.

— Уладили. Вопрос второй: как вы сюда попали, в эту квартиру?

Удивленная тем странным для нее интересом, с которым был задан этот вопрос, Таня стала объяснять, как она подружилась в больнице Склифосовского с одной старой нянечкой и как эта нянечка пригласила пожить у себя...

— И зовут ее тетя Поля? — перебил ее Артемьев.

— Да. — Таня озадаченно посмотрела на него.

— И вы только вдвоем с ней? Бывшие хозяева на горизонте не появлялись?

— Тетя Поля говорила, что они в Средней Азии в эвакуации. А их дочь... — Таня хотела объяснить Артемьеву, что тетя Поля как раз вчера встретила хозяйскую дочь и та сказала, что собирается зайти сюда... Но объяснить этого не успела, потому что услышала стук в парадном.

— А вот и тетя Поля! — воскликнула Таня. — У нее самой все и спросите!

И побежала открывать дверь.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Оставшись один, Артемьев с недоумением подумал, что вот сейчас, как ни странно, он увидит тетю Полю — кусочек своей старой, довоенной, вычеркнутой жизни.

— А вас тут один знакомый ждет... Не скажу, сами увидите,— услышал он через дверь веселый голос Тани.

Дверь открылась, и в кухню в том же самом старом «семисезонном» пальто, в каком она ходила и четыре и десять лет назад, со старой, знакомой кошелкой в руке вошла постаревшая и похудевшая тетя Поля. Вошла и вскрикнула с порога:

— Паша! Вот уж кого не чаяла-то!

И, пробежав несколько шажков навстречу, еле дотянулась к нему, наклонившемуся, и ткнулась старческим острым носиком сперва в правую щеку, потом в левую, потом опять в правую. Потом поставила на пол кошелку и стала поспешно стаскивать с себя пальто, отпихнув хотевшего ей помочь Артемьева.

— Брось, брось! Какой кавалер для меня нашелся! Садись лучше чай пить. Хорошо, я с дежурства зашла, хлеба взяла... Таня, посмотри, там осталась заварка вчерашняя? Так слей ее в чашку, а мы уж нового для него заварим, не пожалеем. Уго-

стила бы тебя пирогами, да печь не из чего. Приходи на Первое мая, спеку, если опять к празднику вместо хлеба муку дадут.

Раздевалась, разматывала с головы платки, заглядывала в чайник, вскипел ли, рылась в кошелке — все сразу. Маленькая, суетливая и от военной своей худобы еще более проворная, чем раньше.

— Что это ты заявился? Уж не свататься ли к нашей Татьяне пришел? Так она у нас мужняя жена...

— Ну, зачем вы, тетя Поля? — сказала Таня. — Я бы сама сказала, если б хотела.

— Пусть знает,— сказала тетя Поля,— а то ведь он знаешь какой...

— Ну, какой? — спросил Артемьев, удивившись, что эта женщина сказала ему про мать и отца и не захотела сказать про мужа. — А то из ваших слов, чего доброго...

— Красавец ты!.. — не дав ему договорить и всхлипнув от полноты чувств, сказала тетя Поля, стоя перед ним и оглядывая с ног до головы так гордо, словно сама произвела его на свет божий.

Таня не удержалась и фыркнула: очень уж не подходило слово «красавец» к этому рыжему здоровяку, стоявшему посреди кухни перед маленькой тетей Полей.

Был он большой, сильный, крепко сшитый мужчина, может быть, и даже наверное, нравившийся женщинам, но уж красавцем его никак нельзя было назвать.

— Вот вам и резолюция на ваши слова! — сказал Артемьев тете Поле, покосившись на рассмеявшуюся Таню.

— Да где ж ты ордена такие заимел — два Красных Знамени, шутка ли сказать!.. — снова всхлипнув, спросила тетя Поля. — За что ж тебе их? — И, не дав ему ответить, сердито закончила: — Вот дура! Вот уж дура-то!..

Таня растерянно посмотрела на нее.

— Это не про вас,— улыбнувшись, сказал Артемьев. — Это она меня когда-то женить хотела...

— Я хотела, а ты не хотел? — спросила тетя Поля.

— Ну и я тоже хотел,— добродушно согласился Артемьев. — Да ведь не вышло у нас с вами. Что ж теперь поминать?

— Значит, не поминаешь?

— Нет, не поминаю.

— А я ее давеча на улице встретила. Год на меня прообижалась, а теперь сама в гости напросилась. «Зайду»,— сказала. Что ж, пусть заходит, коли хочет.

— А из-за чего год обижалась?

Артемьев присел.

Таня уже разливала по стаканам чай.

— В работницы я к ней не пошла, на ее квартиру. Муж-то ее погиб, небось слыхал?

— Слыхал.

— Как шестнадцатое октября было, мать во Фрунзе уехала, а Надежда здесь осталась. И стала меня к себе в работницы звать. А я уже в больницу пошла. Не согласилась. Уж и харчами улещала, про паек генеральский, какой она получает, объясняла, а я не пошла. Тридцать пять лет у ее родителей провела в кабале, а теперь, значит, раз она просит, к ней в новую кабалу идти? Она думала, пальчиком меня поманит, и я побегу. Нет, не побегла. Зачем мне это? Харчи в больнице плохие, это верно, бедуем. Но не воруем. «Ты, говорит, такая худая стала, мне просто-таки тебя жалко, тетя Поля». А что ж, что я худая стала? Худая, зато быстрая. Меня главный врач слушал, сказал: «Тебе для сердца полезней, что ты худая». Я, когда Анна Георгиевна вернется со своего Фрунзе, все равно и к ней в кабалу не пойду. На что она мне?

— Ну, ее-то, положим, любили,— сказал Артемьев, удивленный злым задором, с которым говорила старуха.

— Не любила я ее, Паша, а привыкла я к ней за всю свою жизнь. К ней да к покойнику Алексею Викторовичу. К ним привыкла, а от людей из-за них отвыкла. А в больницу пришла работать — к людям привыкла. Она как приучена? Ей и днем и ночью: принеси, унеси! А я, правду тебе говорю, лучше под лежачих раненых за дежурство сорок суден подложу и выну, чем за ней за одной ходить!

— А она вернуться думает?

— Собирается. С мужем. Надежда, когда встретились, говорит мне: у матери у моей теперь муж новый, на двенадцать лет ее моложе. Зубной техник. Она, значит, врач, а он техник. Она, значит, своей бормашиной жужжит, а он для ней золото на коронки ворует. Потому если не ворует, где его взять теперь? Надежда мне говорит: «Мать давно, говорит, меня сверлит, чтобы я ей в Москву пропуск устроила, а я, говорит, не хочу, зачем мне в Москве такое божье наказанье, да еще со своим техником!»

— Ну, а вернутся — как все же будет? — спросил Артемьев.

— Не пойду обратно в работницы. Пока война идет, за ранеными буду ходить. А как кончится, помирать в деревню уеду.

— А как с ней уживетесь, если не будете у нее работать?

— А что мне с ней уживаться! У меня комната своя, при кухне, я в ней тридцать лет прописанная. Вернется — все вещи ее в целости. Только когда на Сухаревой бомба упала, из буфета стекло вылетело и семь бокалов разбились. А не захочет со мною

жить — пусть мне другую комнату хлопочет. Ей Надежда поможет, потрясет перед кем-нибудь юбками, ей это недолго... Она и сейчас на своей машине с шофером ездит. У всех забрали машины, а у ней нет. Говорят, отхлопотала.

— Вот ведь как вы теперь о ней говорите,— сказал Артемьев,— а хотели, чтоб за меня замуж вышла!

— Да, сторонница твоя была. Да ведь мало ли в нас дурости? Разве одну меня, старую дуру, война до ума довела? А вы, умные, как все думали, так и вышло? И все люди, какие вам казались, такие и оказались? Э, да что говорить!.. — Тетя Поля махнула рукой. — Пока за ранеными ходишь, такого наслушаешься... Да разве она,— повернулась тетя Поля к Тане,— себе в жизни такого ожидала-мечтала, что увидела? Так ведь она тебе всего не расскажет! А мне расскажет. А уж какую ее в больницу-то привезли! Как она мучилась, бедная! Шов-то у нее знаешь какой? Вот... — И тетя Поля стала было показывать у себя на животе, какой шов у Тани, но Таня остановила ее:

— Тетя Поля, не надо...

— Чего не надо? Я бы для тебя за то, что ты за все время ни разу голосу не подала, не знаю, чего бы сделала! Сейчас отошла немного,— повернулась тетя Поля к Артемьеву,— а то подымешь ее, чтобы переложить, и через рубашонку чувствуешь, в чем душа держится! На руках держишь — и жалко ее, каждую косточку жалко!

— Тетя Поля, ну не надо же, я вам уже сказала! — Таня сказала это так властно, что старуха замолчала.

Таня остановила старуху не только потому, что та хвалила ее, а еще и потому, что вдруг по-женски застеснялась. Ей стало стыдно, что Артемьев, слушая то, что говорит тетя Поля, может мысленно представить ее, Таню, в больнице такой, какой она была, когда ее поворачивала и приподнимала тетя Поля,— худой, неодетой... Ей было стыдно этого, но было стыдно и того, что она прикрикнула на тетю Полю, и она, чтобы выйти из положения, сказала:

— А я сама даже и не вспоминаю, с меня как с гуся вода!

«Ну да, с тебя как с гуся вода,— подумал Артемьев, глядя на ее худенькое улыбающееся лицо. — Тебя бы, по другому времени, после такого ранения еще бы месяца на два в санаторий да салом кормить...»

Но время было не другое, а это. Оставалось только не забыть принести завтра этим двум женщинам побольше мясных консервов.

— Как вас угораздило? — грубовато, но сочувственно спросил он. Хотя на этой войне уже давно в порядке вещей такое,

что раньше и в голову не приходило, но в сознании у него все не умещалось, что женское тело, искалеченное, простреленное, изуродованное,— это тоже в порядке вещей.

— Там, когда в одном месте полотно подорвали и отошли, я перевязку делала, и нас минами накрыли. Сначала все перелеты, а потом одна близко, а я увлеклась и не легла: не успела. Сама во всем виновата...

«Вон как, оказывается, она еще и сама во всем виновата,— с какой-то нежной досадой подумал Артемьев. С нежной к ней и злой к кому-то еще, он бы сам затруднился сказать, к кому, если бы его спросили. — Сама во всем виновата! Маша, там, где-то в яме с другими лежащая, тоже сама во всем виновата? Что отправилась туда, что застрелили ее там?..»

Мысль об убитой сестре снова оттеснила все другое, о чем он думал до этого.

— Пойду,— сказал он, вставая.

Ему захотелось уйти отсюда и напиться, хотя напиться было нельзя и нечем, да если б и было, все равно не напился бы: не умел раньше и не научился в войну.

— Не замерз у нас? — спросила тетя Поля, увидев, как он повел плечами, вставая.

— Ничего, я сам горячий,— сказал Артемьев. Сказал просто, чтоб что-нибудь сказать, потому что продолжал думать о сестре.

— А я все мерзну,— сказала тетя Поля. — К управдому заходила, говорил: днями подмосковного угля завезем, отопление хотя в четверть силы, а пустим. И опять вторая неделя пошла, а не топят.

— С углем будет плохо, пока Донбасс не освободим,— сказал Артемьев, все еще продолжая думать о сестре.

Таня, прощаясь с ним, встала, но все равно была такая маленькая, что он, пожимая ей руку, сверху видел у нее на голове, повыше виска, маленький, полуприкрытый волосами шрам. «Тоже чем-нибудь царапнуло,— подумал он. — Ах ты, пичуга несчастная!» И, выпустив ее руку, пошел к дверям.

Таня было пошла вслед за ним, но тетя Поля ее остановила, наверно, хотела сказать ему что-то наедине.

Так оно и было. Пока он надевал шинель и перепоясывался, тетя Поля изложила ему свои планы насчет жилички.

— Телеграмму послала,— шептала она. — Думает по телеграфу отца-мать найти. А кого она разыщет теперь, телеграмма-то? Я сестре в деревню, в Колодное, нашего, Елецкого района, три письма отправила, и ответу нет. А она — в Ташкент... Из Ташкента хочет, чтобы ей ответили!

— У вас в Елецком районе фронт стоял,— сказал Артемьев.

— Мало что стоял. Что равняешь Елец с Ташкентом! Никакого она ответа не получит, я ей заранее сказала!

— И напрасно,— сказал Артемьев. — Человек родителей надеется разыскать, а вы...

— Мало что надеется! Теперь все друг друга ищут — родители детей, дети родителев... Я ей сказала: не найдешь своих родителев — иди ко мне в дочки. Будем вместе жить.

— Как же, спрашивается, ей с вами вместе жить? — сказал Артемьев, надевая ушанку и сам не зная, чему больше удивляться: то ли бессердечию тети Поли, явно не желавшей, чтобы Таня нашла своих родителей, то ли силе материнской любви, вдруг вспыхнувшей в душе одинокой старухи. — Она же все равно не будет с вами жить, на фронт уйдет.

— Вот и именно, что уйдет,— сказала тетя Поля. — А зачем ей уходить? Она свое отвоевала, у ней рана тяжелая, пусть остается у нас же при больнице. Возьмут ее, очень даже прекрасно. Я сама к главврачу пойду! — И, видя, что Артемьев берется за ручку двери, горячо зашептала: — Ты скажи ей, Паша, скажи. Скажи, чтобы, если родителев не найдет, в Москве бы осталась. Скажешь?

И Артемьев понял: эта лихорадочная просьба и была тем самым главным, ради чего старуха вышла его провожать.

— Скажу. Только навряд ли послушает...

Он вышел из дома и едва сделал несколько шагов, как увидел знакомую женскую фигуру — навстречу ему шла Надя, в беличьей шубе, которая у нее была еще лет шесть назад, и в пуховом платке. Она шла опустив голову, но, когда они почти столкнулись и она подняла лицо, он понял, что она видела его еще издалека.

— Павлик! — сказала она нараспев и, стряхнув прямо на снег варежку, протянула ему руку. — Куда и откуда? Уж не из нашего ли бывшего дома?

— Из вашего, бывшего.

— Ты что, все еще сердишься на меня? — спросила она, продолжая держать его руку и глядя на него своими красивыми серыми, немножко близорукими глазами с такой укоризной, словно ему и правда не за что было на нее сердиться.

«А может, и в самом деле не за что?» — подумал он не столько о прошлом, сколько о настоящем: о том, что идет война и Козырев, к которому она когда-то ушла от него, уже давным-давно погиб; и Маша, которая так не любила ее, тоже погибла;

и его матери, которая так боялась, что он женится на ней, тоже, наверное, нет на свете... И вообще столького нет, что было тогда, и столько с тех пор случилось такого, о чем никто и не думал...

Молча высвободив руку из Надиной теплой руки, он нагнулся и поднял варежку.

— Спасибо,— сказала она, держа варежку в левой руке и все еще не надевая ее. — Значит, не сердишься?

— А какая тебе разница?

Надя вздохнула и надела варежку.

— Куда ты идешь?

— К себе на службу.

— Где это?

— На улице Кирова.

— Я провожу тебя. Можно? — И, не дожидаясь ответа, взяла его под левую руку. — Так, кажется, с вами можно ходить: справа нельзя, потому что вы козыряете, а слева — можно, да?

Они несколько шагов прошли молча.

— Что-то я тебя даже боюсь немного,— сказала она. — Скажи что-нибудь, пожалуйста.

Он остановился, отпустил ее руку и, повернувшись, поглядел ей в лицо.

— Ну как? — спросила она, не двигаясь. — Ничего, ты не торопись, смотри, смотри...

— Ты все такая же красивая,— сказал он наконец.

— Это во-первых, а во-вторых?

— А во-вторых, ничего,— сказал он и взял ее под руку. — Пошли.

Она действительно оставалась все такой же красивой, и к ней даже шло, что она похудела. Раньше в ее самоуверенной красоте с фарфоровым румянцем и серыми, немигающими, чуть-чуть навыкате глазами было даже что-то наглое: мол, нате вам!.. А сейчас глаза ушли внутрь, и вокруг них легли маленькие, человеческие морщинки. Сейчас это было спокойное лицо женщины, которое говорило: «Да, да, мне тридцать, и я этого не скрываю. А если тебе кажется, что больше, пусть так. Но я еще очень красивая, верно?»

«Да, война все-таки для всех война! — примиренно подумал Артемьев, глядя в лицо Нади. — И кто знает, может, она и в самом деле любила этого своего Козырева».

— Зачем ты заходил туда? — спросила Надя, после того как они прошли в молчании еще несколько шагов.

— Там у вашей тети Поли живет одна женщина, врач,— сказал Артемьев.

— Она мне говорила, что у нее кто-то живет,— сказала Надя. — Вот оно что!.. — В голосе ее прозвучала прежняя, хорошо знакомая интонация.

— Между прочим, как раз нет,— сказал Артемьев и, поколебавшись, говорить ли, добавил: — Она была в тылу у немцев вместе с сестрой, рассказала мне, как погибла Маша.

— Погибла! — Надя даже остановилась. — Неужели погибла?!

Он не ответил.

Она локтем крепко прижала к себе его руку, выражая молчаливое сочувствие.

— И ты только теперь узнал?

— Подробности — только теперь...

— А я так и не узнала никаких подробностей, —сказала она. — В первый день, когда сообщили, думала полететь туда, к нему, а потом все поехало, покатилось... — Она печально повела в воздухе рукой, показывая, как все поехало и покатилось. — И даже оказалось, что никто не знает, где могила. И это с таким человеком, как он! Перед войной были с ним вместе на дне рождения у Иосифа Виссарионовича, совсем близко сидели, а потом оказалось: никому нет никакого дела, как будто его и не было на свете!

В голосе ее послышалась горечь, но в самой этой горечи было что-то суетное, не вызывавшее сочувствия.

— Эх,— сказал Артемьев,— что вспоминать, когда и как до войны сидели — ближе, дальше... Слава богу, что Москву не отдали, и то хлеб!

— Ты не веришь, что я его любила? — вдруг спросила она.

— Какое это имеет значение?

— А все-таки,— настаивала она.

— Тогда не верил.

— Да, тогда я его не любила,— сказала она. — А потом... — Она слегка склонила набок голову, словно приглядываясь к прошлому, помолчала и сказала: — Любила или не любила, все равно страшно! Несколько месяцев ходила как сумасшедшая, до самой эвакуации...

— А ты разве уезжала? — спросил Артемьев.

— Нет, просто, когда началось все это в Москве, меня словно из оцепенения вывело. Но я никуда не поехала.

— Не боялась, что немцы придут?

— Нет, почему-то не верила в это. Может, оттого, что прожила с ним перед тем два года, а он был бесстрашный... Не знаю. — Она снова помолчала. — Думаешь, мне так просто сейчас одной жить? Все сама, все сама! И всем родным что-нибудь

нужно: чтобы я куда-то ходила и говорила, чья вдова, и делала для них то одно, то другое, то третье... Он давно умер, а им все еще кажется, что я им что-то недодала, обманула их, что ли, тем, что он слишком рано умер!.. Твоя мама где сейчас? — вдруг спросила она.

Артемьев сказал, что мать пропала без вести в Гродно.

— Да, бедная,— сказала она и, привычно перейдя в мыслях на себя, добавила: — Она не любила меня. Что ж, может, и права. А моя мама жива-здорова. Последнее время все из Фрунзе письма писала, расспрашивала, как ее драгоценное барахло, не пустилась ли в разгул тетя Поля? А сегодня телеграмму прислала, что уже отбыла с моим новым папочкой из Фрунзе в Москву. Сейчас пойду осчастливлю тетю Полю...

— Значит, все же не удержалась, устроила им вызов? — спросил Артемьев, вспомнив слова тети Поли.

— Я?! — воскликнула Надя. — Что я, с ума сошла? Ты же прекрасно знаешь, что моя мать — исчадие ада! Сама добилась. Я и пальцем о палец не ударила. Но теперь, раз уж на меня все равно валится это счастье, ничего не поделаешь, придется засучить рукава и вымыть полы.

— Не разучилась?

— Одно время разучилась, а потом опять научилась. Могу и к тебе прийти помыть,— усмехнулась она. — Я хорошо полы мою... Ты как, еще не женился?

— Пока нет.

— И белье могу постирать. Я и стираю хорошо. Зарос небось? Все вы одинаковые... Что смотришь? Я ведь и просто так могу, по-товарищески, я и на это способна. Я на все способна,— усмехнулась она, уже не над ним, а, кажется, над собой.

— Не выйдет у нас с тобой по-товарищески,— сказал Артемьев, продолжая в упор смотреть на нее внимательным, откровенным взглядом.

— Думаешь, не выйдет?

— Не выйдет.

— Это хорошо.

— Не знаю уж, хорошо или плохо,— сказал он, примериваясь к чему-то еще не решенному в глубине самого себя.

И вдруг, вспомнив о той маленькой женщине, оставшейся у тети Поли, спросил:

— Когда Анна Георгиевна приезжает?

— Телеграмма с дороги. Дня через три, наверно,— сказала Надя. — А что?

— Там у тети Поли эта женщина-врач,— сказал Артемьев. — Если Анна Георгиевна приедет, а она еще не уедет...

— Все понятно,— сказала Надя. — Если понадобится — укрощу свою мамочку. Это тебя беспокоит?

— Да.

— И вообще могу эту женщину к себе взять. Даже если соврал, что у тебя с ней ничего нет.

Артемьев пожал плечами. Ему не хотелось вдаваться в объяснения. Они уже почти дошли до угла переулка, ему надо было сворачивать.

— Дошли,— сказал он и остановился.

— Запиши мой телефон.

Он записал и протянул руку прощаться.

— Подожди,— сказала она. — Ты почему хромаешь?

— Ранен был,— сухо ответил он, не оставляя намерения проститься и уйти.

— Нет, подожди,— просяще и в то же время повелительно сказала она. — Неужели я такая скверная баба, что со мной нельзя разговаривать по-человечески?

В тоне, которым она это сказала, ему послышалось искреннее, неналгранное огорчение.

— Что ты хотела спросить?

— Многое. Как ты жил, как живешь, что с тобой было, что есть, что будет?.. Все хотела спросить.

— Что будет, не знаю,— сказал он. — Наверное, скоро уеду на фронт. А что было... С июня до ноября служил на Дальнем Востоке и ждал, когда отправят на фронт. С декабря до июля командовал полком. С июля до сентября лежал в госпитале. С сентября здесь, в Москве.

Она ожидала продолжения, но продолжения не было.

— А как сейчас живешь?

— На казарменном положении.

— Один?

— Нет... еще два майора, капитан и подполковник.

Она рассмеялась.

— Спасибо за разъяснение. Ну, а теперь все-таки ответь на то, о чем я спросила.

— Если на то, о чем спросила,— в данное время один.

— А раньше?

— Раньше была одна женщина, уехала на фронт.

— А почему не удержал?

— Не имел права.

— Скажи лучше, не любил. Наверно, потому и уехала, что не любил?

Он посмотрел на нее отчужденно, почти враждебно и ничего не ответил. «Любил, не любил! Получила предписание ехать — и поехала, не потому, что любил или не любил, а потому, что война. А тебе этого все равно не понять, потому что ты не стоишь и не будешь стоить и одного мизинца той женщины, хотя я ее и правда не любил, а тебя когда-то любил и сейчас не могу спокойно смотреть на тебя».

Кажется, она хотела спросить что-то еще, но удержалась, не захотела, чтобы он снова первым начал прощаться.

— Что ж, прощай... или до свидания... А в общем, как знаешь. — И подала руку, не вынув из варежки.

Потом, когда он прошел уже несколько шагов, окликнула:

— Павлик!

Он обернулся.

— Нет, ничего. Просто хотела еще раз взглянуть на тебя. Иди, иди...

Он пошел и, уже сворачивая за угол, все еще чувствовал, что она стоит и смотрит ему вслед.

В приемной, куда он на всякий случай зашел, прежде чем пойти поспать оставшиеся полтора часа, Косых встретил его радостным восклицанием:

— Наконец-то!

— А что такое? Переменилось что-нибудь?

— Только что приехал. Велел, как явишься, сразу к нему.

Артемьев понял, что спать уже не придется, вздохнул, отпер сейф, вынул оттуда приготовленную для доклада папку и открыл дверь в кабинет.

— Разрешите войти?

— Входи,— не поднимая глаз, сказал Иван Алексеевич. Он сидел и что-то быстро записывал карандашом. Потом, оторвавшись, взял лист, перечел, бросил на стол, задумчиво почесал карандашом за ухом и поднял глаза на Артемьева. — Не ложился?

— Нет.

— Ничего не поделаешь... Меня тоже без времени подняли. — Он протянул Артемьеву только что исписанный лист бумаги. — Пойди во второй отдел, пусть по этому списку, по каждому разделу, какие у меня указаны, подготовят имеющиеся у них данные. — И, взглянув на часы, добавил: — К шестнадцати часам. Когда вернешься, сразу зайди, будут поручения. Ложиться нынче не придется!

Он поднялся из-за стола, потянувшись, добавил:

— Приказано готовиться к выезду на Донской фронт. До моего отъезда трое суток покрутишься как белка в колесе. Потом разом отоспишься. Ну, чего стоишь?

— Разрешите обратиться, товарищ генерал-лейтенант?

— Что такое?

Артемьев знал, что Иван Алексеевич любит выезды на фронт и даже считает их для себя чем-то вроде отдыха, но сейчас лицо у него было хмурое, недовольное, а впрочем, может быть, просто не выспался...

— Товарищ генерал-лейтенант, прошусь на фронт... — вытянув руки по швам, сказал Артемьев.

— Не возьму,— сказал Иван Алексеевич. — Косых со мною поедет, а ты тут останешься: все же больше толку будет, чем от него.

Сказал и недовольно уставился на Артемьева: «Ну чего стоишь? Все равно решения не переменю».

— Я не в поездку прошусь, товарищ генерал-лейтенант, я вообще прошусь.

— Вообще... — Иван Алексеевич посмотрел на Артемьева так хмуро, будто в слове «вообще» услышал что-то обидное для себя.

— Вы обещали, товарищ генерал-лейтенант, сразу, как здоровье позволит.

— А тебе что, здоровье позволило? — все так же хмуро, почти подозрительно поглядел на него Иван Алексеевич. — Вчера еще не позволяло, а сегодня позволило? В чем дело, говори без каруселей.

— Подробности о смерти сестры сегодня узнал.

— Что за подробности?

— Как расстреляли ее...

Иван Алексеевич продолжал смотреть на него, ожидая, все ли сказано. Но Артемьев молча стоял навытяжку.

— Значит, мстить будешь фрицам? — все так же недовольно сказал Иван Алексеевич. — В наших масштабах,— он сделал широкий жест, обозначавший не только этот кабинет, но, очевидно, весь Генеральный штаб,— отомстить невозможно — необходимо лично, не долечившись, на одной ноге, но лично! Только так...

Кажется, он собирался сказать еще что-то такое же ироническое, умное и правильное, но удержался и не сказал.

— Чего молчишь, не возражаешь?

— Жду вашего решения, товарищ генерал-лейтенант.

Артемьев уже видел, что влез со своей просьбой не к месту и не ко времени, и хотя не понимал почему, но чувствовал, что его просьба чем-то лично задевает Ивана Алексеевича. Однако отступить он все равно не мог и не хотел.

«Бежишь»,— думал Иван Алексеевич, глядя на него. На минуту эта несправедливая мысль, обостренная одиночеством и

невозможностью высказаться, овладела душой Ивана Алексеевича, но он превозмог ее и, уже начиная остывать от этой вспышки недоверия к людям, сухо сказал:

— Хорошо, поедете со мной на фронт и там останетесь. Только имейте в виду, времени на ваши личные сборы не будет! И с бабами своими только по телефону прощаться будешь. — Это добавил, уже подобрев и усмехнувшись...

— Мне не с кем прощаться, товарищ генерал-лейтенант.

— Ладно, решено.

— Разрешите идти?

— Подожди... — Иван Алексеевич устало опустился на стоявший у стены потертый кожаный диван. — Садись и расскажи про сестру...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

День начался как в сказке: с самого утра за Таней приехал командир их партизанской бригады Каширин. Она думала, что он уже улетел обратно в бригаду, а он вдруг приехал к ней в новенькой полковничьей форме и без бороды. Неделю назад, когда он был у нее в госпитале, и потом, когда она сама заезжала к нему прощаться в гостиницу «Москва», он был еще с бородой. А теперь приехал без бороды и оказался таким молодым, что она его не узнала. Радостно посмеявшись над этим, он сказал, чтоб она скорей собиралась: вчера вышел указ, а сегодня всей группе партизан, слетевшихся с разных фронтов в Москву, будут вручать ордена, наверное, сам Калинин, и ей тоже будут вручать, потому что ее тоже наградили.

Пока она впопыхах переодевалась на кухне, Каширин ходил по передней и радостно и громко, чтобы она слышала через дверь, рассказывал, как им все задерживали переброску через линию фронта, потому что их захотел принять товарищ Сталин, потом сказали, что это отпало, а потом товарищ Сталин все-таки выбрал время и принял их прошлой ночью и, ни на что не отрываясь, расспрашивал до утра, а к вечеру был указ, а сегодня уже вручают ордена, и ночью некоторые полетят обратно.

— Наверное, и я полечу. — Каширин сказал это так же радостно, как и все остальное. — Правда, говорят, с посадкой вряд ли выйдет. Нашу Чертухинскую площадку немцы заняли. Ну ничего, спрыгну в районе лесной базы, летчики обещают прицелиться — плюс-минус пятьсот метров. Семнадцатый мой прыжок будет, считая довоенные.

Судя по его голосу, и то, что Чертухинская площадка занята немцами, и то, что придется прыгать с парашютом, нисколько его

не смущало. После встречи со Сталиным он готов был лететь хоть к черту в зубы.

— Готова,— сказала Таня, выходя к нему.

Он ревниво осмотрел ее с головы до ног.

— Ничего, порядок. Только гимнастерочка великовата. Так мы и не пошили тебе подходящей гимнастерки...

— Пешком пойдем,— сказал Каширин, когда они вышли па улицу. — Времени впереди еще много.

— А вы заранее знали, что пойдете к товарищу Сталину? — спросила Таня по дороге.

— Был дан еще неделю назад такой намек.

— А почему мне не сказали?

— А потому, дочка, что ты еще не доросла такие вещи знать,— рассмеялся Каширин, блеснув во весь рот белыми веселыми зубами.

Когда он там, в тылу у немцев, командуя бригадой и утопая по самые глаза в черной густой бороде, называл ее «дочкой», а других «сынками», ей это совсем не казалось странным. Но сейчас сбривший свою знаменитую бороду Каширин был простонапросто совсем молодой человек, старше ее самое большее года на три. И то, что он по-прежнему называл ее «дочкой», было так странно, что она посмотрела на него и рассмеялась.

— Чего смеешься?

— И как это вы только свою бороду решились сбрить?

— Сам не знаю. Проснулся с петухами, спать от радости не мог. До Кремля еще четыре часа, за тобой заходить рано. Маялся, маялся, по гостинице ходил, зашел в парикмахерскую, а там как раз кресло свободное. Сел и сбрил. Плохо?

— Нет, хорошо, но только теперь дочкой меня больше не зовите.

— Ладно, буду звать сестренкой.

Он посмотрел на нее и улыбнулся.

— Нет, не смогу, привык: дочка и дочка! Терпи, пока не улечу. Или полетишь со мной? Можем еще переиграть.

— Нет, Иван Иванович, я после отпуска на фронт, в медсанбат попрошусь.

— Не хочешь, значит, оставаться партизанкой? — сказал Каширин, и на его веселом лице промелькнула мгновенная тень. — Черт его знает, и у самого такое чувство бывает, что довольно судьбу на одном месте испытывать. Тоже иногда в армию хочется, чтобы и спрос с тебя и ответ — все по армейской норме: приказали — выполнил, выполнил — доложил; слева—сосед, спра-

ва — сосед, впереди — противник, сзади — начальство... Полк бы наверняка дали, я и перед войной полком командовал. А другой раз подумаешь: нет, не нашел бы там счастья, затосковал по партизанскому краю, слишком привык сидеть у фрицев самостоятельным гвоздем в сапоге.

— Иван Иванович,— попросила Таня,— расскажите мне, как вы были у товарища Сталина. Чего нельзя — не рассказывайте, а что можно — расскажите, только от начала до конца.

Каширин сказал «ладно» и всю дорогу до Кремля рассказывал ей от начала до конца: и какой кабинет у Сталина, с двумя большими портретами — Суворова и Кутузова, и как они вошли туда, и как Сталин с каждым из них поздоровался за руку, и как, пока они отвечали на его вопросы, он только изредка присаживался, а все остальное время ходил вдоль стола, вглядываясь в лицо то одному, то другому, и как, когда они уже больше часа сидели у Сталина, вдруг в кабинет вошел какой-то генерал-лейтенант, наверное на доклад, с папкой в руках, и Сталин полуобернулся через плечо, ничего не сказал и только махнул на него рукой. Генерал постоял и вышел, а Сталин, не обращая на него внимания, продолжал слушать то, что ему рассказывали партизаны. И как потом, наверное еще через час, этот генерал-лейтенант опять зашел со своей папкой и сказал: «Товарищ Сталин, у меня важное сообщение». И Сталин снова полуобернулся к нему и сказал тихо и сердито: «Подождите немного, пока не закончим с товарищами партизанами. Они не каждый день к нам в Москву прилетают». И всем партизанам очень понравилось это, а генерал опять потоптался несколько секунд, хотел, кажется, что-то возразить, но не возразил и вышел. А Сталин, когда за генералом закрылась дверь, посмотрел ему вслед, неторопливо развел руками, улыбнулся и сказал: «Не понимают у нас некоторые люди, что не всегда их сообщение самое важное, что могут быть и более важные сообщения, чем их сообщение». И повернулся к отвечавшему перед этим на его вопрос командиру бригады Гусарову: «Продолжайте, товарищ Гусаров, не спешите». И всем партизанам, которые были у Сталина, очень понравилось это, потому что, оказывается, для Сталина самыми важными сообщениями были именно те, с которыми они прилетели к нему.

Каширин с увлечением и даже восторгом рассказывал об этом Тане, а Таня с таким же увлечением и восторгом слушала, радуясь такому отеческому вниманию Сталина ко всем подробностям их партизанской жизни, и радостно смеялась над этим генерал-лейтенантом, которого, чтоб он не мешал говорить с партизанами, два раза прогнал товарищ Сталин. Смеялась от всей души, даже и не задумываясь над тем, что, может быть, то сооб-

щение, с которым два раза приходил и топтался этот генерал, и на самом деле было таким важным, что его надо было выслушать, не откладывая ни на минуту...

Когда партизаны собрались все вместе в маленьком красном зданьице, прилепленном к Кремлевской стене, слева от Спасской башни, и когда им выписали пропуска и они пошли мимо ворот, их остановил резкий звонок и несколько военных преградили им дорогу. Потом из ворот Кремля вынеслась машина. Звонок был такой резкий и так стремительно выскочили поперек дороги люди, что Таня подумала: это едет Сталин. Но в машине никто не ехал, в ней сидел только шофер.

Потом их пропустили, они прошли мимо ворот, и Таня, как ни быстро они шли, не утерпела и с любопытством посмотрела туда, внутрь. За воротами была накатанная шинами брусчатка с белыми полосками снега между камней, а дальше виднелись сбегавшие по склону елки.

Они прошли мимо нескольких человек, внимательно проверивших их документы в проходе около ворот, потом прошли еще через один проход, где у них тоже проверили документы. Потом вошли в здание, где у входа их остановили в третий раз. А потом еще — в четвертый, уже на втором этаже.

Проверяя документы, им все время заглядывали в лица и внимательно читали и то, что написано в пропусках, и то, что написано в удостоверениях личности, так, как будто там было написано что-то особенное, необыкновенное, во что нужно было долго вчитываться. И в лица всматривались тоже очень внимательно.

Таня понимала, что так, наверное, и нужно: ведь они входили в Кремль, где жил товарищ Сталин, и его надо было охранять.

Документы у каждого проверяли очень долго, и все очень долго стояли и ждали каждый раз, и на лицах у всех были неловкие, одобрительные улыбки, как будто все хотели сказать друг другу: да, да, это так нужно, это совершенно правильно, иначе и быть не может.

Потом, когда все расселись в первых двух рядах круглого белого зала, где Калинин должен был вручать ордена, это ощущение неловкости исчезло, забылось.

Таня очень ждала, когда же наконец войдет Калинин, а когда он вошел, удивилась. Она никогда не видела Калинина и заранее представляла себе, что он будет такой, как на портретах: сойдет с них и придет сюда в зал. А Калинин был не такой, гораздо старше, и была у него старческая походка, которой не было

на портретах, и почти совсем белая бородка. Он был старичок, просто старичок.

И Таня еще очень долго, целых полчаса, пока ее не вызвали, привыкала к тому, что этот старичок — Михаил Иванович Калинин.

Партизаны вставали один за другим, подходили к Калинину и, возвратясь на свои места, начинали тут же привертывать ордена.

Когда наконец вызвали Таню, она почувствовала, что все на нее смотрят. И, проходя мимо Каширина, увидела, как он улыбнулся ей, и в ответ тоже улыбнулась и так, улыбаясь, и подошла к Калинину.

Улыбка, наверно, сделала ее еще моложе, и Калинин, отдав орден и протянув ей руку, посмотрел на нее с добрым стариковским сожалением, словно ему было жаль, что на этой войне приходится вручать ордена Красного Знамени таким маленьким стриженым девочкам в военной форме. Посмотрел и, поймав ее руку, потому что она растерялась и не подала ее, о чем-то спросил.

Он спросил, сколько ей лет. Но она не поняла и, только уже вернувшись на место и сев, словно заново услышала его слова: «Сколько вам лет?» А тогда, когда Калинин пожимал ей руку, она не услышала слов: «Сколько вам лет?», а просто услышала, как он ей что-то сказал, и ответила: «Спасибо большое, Михаил Иванович!» — «Это вам спасибо»,— сказал Калинин, отпустив ее руку, и, пока она шла назад, продолжал все с тем же стариковским сожалением глядеть ей вслед.

После награждения сначала вывалились все вместе на Красную площадь, а потом, распрощавшись с остальными и покричав друг другу вдогонку, пошли к гостинице «Москва», где жил Каширин, уже вчетвером: Таня, Каширин, Гусаров из Брянского партизанского края, тот самый, чей рассказ Сталин не дал прервать генералу, и красивый капитан из газеты, который в сентябре прилетал к партизанам и почти две недели жил в бригаде. Его сегодня не наградили, он просто присутствовал, чтобы потом написать, и Каширин подшучивал над ним:

— Это даже удачно вышло, Люсин, что тебя сегодня не наградили. А все почему? Обманул нас. Товарищ Сталин нас спрашивал о тебе: как, говорит, там у вас Люсин себя вел? Я говорю: вел неплохо, но обманул. Обещал про нас десять очерков написать, а написал три. Раз так, говорит, пусть еще слетает, допишет, тогда наградим.

— Ладно врать-то,— сказал капитан из газеты.

— Лучше ко мне прилетай,— сказал Гусаров,— я человек интеллигентный, не чета Каширину, литературу ценю и два раза летать к себе не заставлю.

— Ну да, нашелся интеллигент! — сказал Каширин. — Похож ты на интеллигента, как тот казак, что турецкому султану письмо писал!

Все, включая Гусарова, рассмеялись. Он и в самом деле был похож на того казака с картины Репина, что, полуголый, в одних шароварах, сидит за столом наискосок от писаря, грузный, наголо бритый, с длинными запорожскими усами.

— Только и разница вся, что он свой жупан успел пропить, а ты свой нет. — Каширин ткнул пальцем в полушубок Гусарова. — Как у нас, кстати, с войсковым запасом? Горилка не вся еще вышла? Надо зайти выпить по такому случаю.

Гусаров ответил своим густым, как из бочки, голосом, что для такого случая горилка еще есть, и, повернувшись к Тане и прихватив ее под локоть, с неожиданной для его голоса и вида церемонностью добавил:

— И вас милости прошу в нашу честную компанию, если, конечно, других личных планов нет.

— Какие же у меня планы? — сказала Таня, радуясь приглашению.

— А что у вас за горилка? Типа «тархун»? — спросил капитан из газеты.

— Подымай выше. Типа «сырец»,— сказал Гусаров,— а для вас,— снова обратился он к Тане,— есть бутылка портвейна «три семерки». Одну для жены оставлю, а вторую истребляйте! Шутка ли дело, какой орден заработали — боевое Красное Знамя! У нас в гражданскую всего три краснознаменца на дивизию было.

— А ты расскажи, расскажи ей,— сказал Каширин,— как тебя тогда хотели к ордену представить, а ты попросил, чтобы лучше в благодарность новую кожанку и штаны кожаные выдали.

— Да, было такое дело, по дурости молодых лет,— сказал Гусаров. — Я Каширину рассказал, а он смеется, думает, вру. А я не вру, так оно и было, хотя сейчас и трудно поверить.

— Гусаров у нас сегодня тройной именинник,— сказал Каширин. — Во-первых, как-никак орден, а не полушубок на этот раз выбрал; во-вторых, до того боевой доклад сделал, что товарищ Сталин всех генералов побоку, чтобы только Гусарова дослушать; а в-третьих, жена приезжает... Когда мне с вещичками из номера удаляться?

— Вечером,— сказал Гусаров. — Придем, буду еще на вокзал звонить.

— Правда, жена приезжает? — спросила Таня, как всегда торопливо радуясь чужому счастью.

— Должна приехать,— вздохнул Гусаров.

— А чего ты вздыхаешь? — сказал Каширин. — Грехов за тобой нет. Могу, как сосед, справку с печатью выдать!

— Грех тот,— сказал Гусаров,— что едет, бедная, из Омска шестые сутки, а не знает, что сегодня встретимся, а завтра простимся.

— Опять улетаете? — спросила Таня.

— А что мне делать, я ж не военный, как он,— кивнул Гусаров на Каширина. — Ему, если б попросился, и на фронте место нашли, а я райкомщик, мне дорога одна — обратно, к себе в район... Заходил на днях в МК, к старому товарищу, и даже позавидовал: как немцев из-под Москвы погнали, так сразу все райкомщики, кто жив и не на фронте, обратно на своих местах. А наша Брянщина когда еще к нормальной жизни вернется!..

— Тем более что ты там у себя ни одного моста в живых не оставил,— сказал Каширин.

— А что делать? — невесело отозвался Гусаров. — Фронт ближе подойдет — все, что еще цело, дыбом поставим. Через это не перепрыгнешь!

— Ладно прибедняться,— сказал Каширин и обернулся к Тане: — Его там, где мы были, знаешь как хвалили? Мастер рельсовой войны!

— Мастер-ломастер,— снова невесело усмехнулся Гусаров.

— А вы не могли попросить у товарища Сталина, чтобы вас самого к семье отпустили? — спросила Таня. Слушая разговор Каширина и Гусарова, она все время удивлялась: неужели ничего нельзя придумать, чтобы Гусаров и его жена повидались подольше?

— Как-то не попросилось,— сказал Гусаров. — Когда в Москву вызвали, надеялся, что сам к ней слетаю, а потом ждали приема со дня на день, куда ж улетишь? А теперь обстановка требует — обратно в Брянский лес. Хорошо, заранее догадался ее вызвать, а то б и доехать не успела. Маловато, конечно, сутки, но ничего, у других и этого нет,— добавил он, но в глазах его была тревога. Видимо, предчувствовал, что свидание будет нелегким.

Так, разговаривая, дошли до гостиницы и поднялись на третий этаж, в угловой двухкомнатный номер, который занимали вместе Каширин и Гусаров.

Гусаров сразу взялся за телефон: звонить на вокзал, а Каширин и капитан из газеты стали собирать на стол. Таня помогала им, мыла взятые с умывальника стаканы.

— Можно из буфета посуду попросить,— сказал Гусаров, оторвавшись от телефона. — Да и принесут, глядишь, еще чего-нибудь, у меня талоны есть.

Но Каширин махнул рукой.

— Побереги свои талоны для жены. Обойдемся наличностью.

Капитан из газеты отстегнул от пояса нож с красивой наборной ручкой, и Таня стала резать им хлеб.

— Покойник Дегтярь подарил,— сказал про нож капитан из газеты, стоя у Тани за спиной.

Она ничего не ответила.

— Не забыли его?

Таня обернулась и посмотрела капитану из газеты прямо в глаза:

— Нет, не забыла, товарищ Люсин.

Она знала, что вопрос задан со значением, не отвергала этого значения, но говорить об этом не хотела.

— Хороший был мужик, верно? — не успокаивался капитан из газеты.

— Хороший был мужик, верно, товарищ Люсин,— как эхо, ответила Таня, продолжая смотреть ему в глаза до тех пор, пока он не отвел их.

— А что ты с ним так официально? — обрывая их разговор, сказал Каширин. — У него имя есть — Николай, можно и Коля.

— Слушаюсь, товарищ полковник.

— Чего «слушаюсь»?

— Буду звать товарища капитана Колей...

Она улыбнулась, насильно погасив в себе неприязнь к этому человеку, заговорившему о том, о чем не надо было заговаривать. Не хотелось портить праздник ни Каширину, ни себе.

Гусаров наконец оторвался от телефона и сказал, что если не врут, то жена вроде бы приезжает не в одиннадцать, как думали раньше, а в семь, поезд нагоняет опоздание. У него было радостное лицо. Да и не удивительно: ему, бедняге, приходилось теперь считать каждый час.

Он вышел в соседнюю комнату и вернулся с флягой и поллитровой бутылкой портвейна.

— Под пробку,— удовлетворенно сказал Люсин, тряхнув флягу над ухом. Потом, отбив сургуч вилкой, открыл портвейн.

Сырец перелили в графин и разбавили водой. Стаканов было всего два, и Люсин налил первым Тане и Каширину. Таня придержала его руку, но он все-таки налил ей почти полный стакан портвейна.

— А может, Гурского подождем, он прийти обещал. — Каширин поглядел на часы.

Гурский был второй корреспондент, приставший тогда в бригаду с Люсиным и вдвоем с ним писавший потом очерки. Таня обрадовалась, услышав, что он тоже придет: там, в бригаде, он показался ей веселым человеком.

— Ничего, догонит,— сказал Гусаров.

Каширин встал, поднял стакан и долго молчал.

— Может быть, я тебя, дочка, и не увижу,— сказал он наконец, когда на лицах у Гусарова и Люсина уже появилось томление. — А если увижу, то может не оказаться случая выпить за тебя. Поэтому выпью сразу и за твой орден, и за твое геройство, и за твои красивые глаза, и чтобы никогда ни один гад их плакать не заставил!

И, не двинувшись, не потянувшись к ней, с какой-то странной строгостью спросил:

— Можно тебя поцеловать?

А когда Таня сама шагнула к нему, обнял ее и коротко и крепко поцеловал прямо в губы. И хотя Каширин был с головы до ног мужчиной, его неожиданный порыв не смутил Таню. Он просто прощался с ней. И может быть, навсегда, внезапно подумала Таня, близко-близко увидев его глаза в ту секунду, когда он целовал ее.

Таня выпила за себя полстакана, а вторую половину подняла за жену Гусарова и за их встречу. Потом, спохватившись и даже застеснявшись того, что не сделали этого с самого начала, выпили за Сталина. Потом за товарищей, оставшихся там, по ту сторону фронта, потом — это предложил Гусаров — выпили за капитана из газеты и за то, чтоб он еще раз побывал у партизан. И Каширин стал хвалить его с великодушием человека, которому не жаль передать лишнего другому.

— За товарища Люсина,— сказал он,— который вместе со своим дружком прилетел к нам в самый тяжелый момент. Другой бы не прилетел в такое время.

Таня хорошо помнила это время, когда немецкая охранная дивизия прочесывала леса вокруг Смоленска. Время и правда было неважное. Правдой было и то, что этот капитан из газеты, Люсин, когда прилетел, сам напросился и участвовал в нескольких операциях. Для себя и для других Каширин считал все это само собой разумеющимся. Но капитан был человек из Москвы, из газеты, он прилетел, хотя мог бы и не прилетать, и ходил в операции, хотя мог бы и не ходить! В общем, по Каширину выходило, что и капитан из газеты, и его товарищ были почти героями.

Среди этих подогретых спиртом похвал и связанных с ними воспоминаний, встреченный радостными возгласами, вошел Гур-

ский, тот второй корреспондент, который был у них в бригаде вместе с Люсиным. Тогда в бригаду, Таня хорошо помнила это, он прилетал в гимнастерке без знаков различия, в безрукавке, ватнике и пилотке. А сейчас вошел в номер в штатском пальто, в шляпе и, сбросив пальто на кресло, оказался в костюме и накрахмаленной белой рубашке с галстуком. И только надетая поверх костюма меховая безрукавка напоминала о его прежнем виде, в каком он прилетал в бригаду. Он удобно развалился в кресле и сразу же принялся шутить, чуть-чуть заикаясь, так, словно внутри него от времени до времени что-то вдруг заедало.

— Я вижу, вы тут, воспользовавшись моим отсутствием, п-производите в герои Люсина... Н-не делайте этого, потому что вся наша редакция уже и так стонет от п-проявленного им героизма, и, между прочим, совершенно напрасно. Я вам открою секрет того, как мы попали к вам. Редактор вызвал нас и спросил: хотим ли мы лететь в т-тыл? Мы не возражали, разумеется. А когда выяснилось, что редактор, говоря «т-тыл», имеет в виду н-направление, совершенно п-противоположное тому, которое имели в виду мы, то отступать было уже п-поздно. И мы с Люсиным, как м-мужественные люди, сказали единственное, что нам оставалось сказать: есть...

— Не ломай дурочку,— сказал Люсин.

— Скажите лучше, когда прилетите к нам еще раз? — спросил Каширин.

— Откровенно говоря, думаю, что никогда,— сказал Гурский. — Хорошенького п-понемножку. Прошу обратить внимание на мою п-полную откровенность. От Люсина вы ее не дождетесь. А вы п-полетите туда, обратно? — обратился он к Тане.

— Нет,— сказала она.

— И очень п-правильно сделаете.

— И не жалко вам будет отпустить туда одного Каширина? — спросил Люсин у Тани.

— Не обращайте внимания на его вопросы,— сказал Гурский, кивнув на Люсина. — Он молодой и красивый и п-поэтому считает, что может задавать женщинам любые глуп-пейшие вопросы. Он еще не догадывается, что женщины ценят в ч-человеке ум гораздо чаще, чем это п-принято считать. А теперь п-позвольте задать вам с-сравнительно более умный вопрос. Как вы себя чувствуете?

— Почти хорошо,— сказала Таня.

— К-каширин говорил мне, что у вас отпуск п-после больницы. А вы мне говорили, когда я был там у вас, п-помните, что у вас есть п-папа и мама, т-только вы не знаете где. В-вы узнали, где они?

6*

— Я послала телеграмму и жду ответа.

— Вот это умно. Я бы лично д-дорого дал, чтобы съездить к своим п-папе и м-маме.

— А ты попросись у редактора,— сказал Люсин.

— П-просятся дети в уборную,— сказал Гурский,— и собачки во д-двор. А мужчины во время войны п-просятся на фронт. А в остальных случаях ждут, пока им п-предложат что-нибудь другое, а если им не предлагают, они и не п-просятся. И это, между п-прочим, вп-полне серьезно.

— Это правильно,— сказал вдруг Гусаров, должно быть подумав о своем.

— А почему? — не согласился Каширин. — Все же вы как-никак слетали к нам, в партизанский край, могли после этого и сказать редактору...

— С-слушай, Каширин, — сказал Гурский, — т-ты слишком добрая д-душа. Ты можешь нас исп-портить, боюсь даже, что ты начинаешь нас п-портить. Между прочим, я бы хотел знать, какие п-подвиги ты уже п-приписал нам с Люсиным по широте твоей души. Лично я твердо п-помню все, чего я не совершал. Но боюсь, что Люсина может п-подвести п-память.

Люсин, слушая все это, то смеялся, то отшучивался и, подсев к Тане, настойчиво заботился о том, чтобы она пила свой портвейн.

Он и правда был очень красивый — светло-русый, с синими глазами, но красота его, под стать фамилии, была какая-то девичья, вкрадчивая.

— Послушай, Люсин,— сказал Гурский,— я хочу предложить один т-тост, но п-перестань ей подливать. Во-первых, она недавно вышла из госпиталя и, по-моему, уже побледнела. А во-вторых, п-по-моему, ты не в ее вкусе.

— Нет, почему же... — Тане Люсин действительно не нравился, но она не любила, когда ее опекали.

— В таком случае п-простите.

Таня почувствовала, как Люсин тесно придвинулся к ней плечом, но, заметив испытующий взгляд Гурского, не стала отодвигаться.

— А выпить я хочу вот за что,— сказал Гурский. — Я тебя полюбил, Каширин, за то, что ты храбрей меня. Я бы еще п-подумал, прежде чем снова лететь туда, к вам, а ты допьешь с нами водку и н-ночью п-полетишь. Я пью за то, чтобы ты, п-при всей твоей храбрости и даже н-несмотря на нее, оставался жив до самого п-последнего часа войны. Постарайся, п-пожалуйста, очень тебя п-прошу. И за вас тоже, товарищ Гусаров...

— Ладно, постараемся,— сказал Каширин, чокаясь с Гурским. — Только зачем панихиду завел? Даже не похоже на тебя.

— Во-п-первых, если уж уп-потреблять церковные термины, то это не п-панихида, а молебен. А во-вторых,— Гурский вдруг повернулся к Люсину,— представляешь себе, м-меня редактор в-вызвал — Петя Пустовалов п-погиб. Пришла телеграмма с Донского фронта... П-пошел с десантом на танке — и убит. Редактор ск-казал, чтобы мы с т-тобой были г-готовы к в-вылету на Донской. Вместо н-него. Понимаешь, уже третий час никак не могу п-привыкнуть к тому, что его нет... — Лицо Гурского стало печальным, толстый нос покраснел, а из-под очков выкатилась слеза, которую он небрежно смахнул со щеки пальцем.

Все несколько секунд молчали.

— Да, неожиданная смерть... — сказал Люсин. — Всего месяц на фронте — и уже погиб, а мы с тобой с первого дня трубим, и ничего...

— А ты п-перестань козырять тем, что ты с первого дня. Это п-пошло!

— Почему пошло?

— А п-потому, что уже погибли, п-по крайней мере, миллионы людей, которые начали воевать не с первого дня. Ты так говоришь, что мы с тобой воюем с п-первого дня, как будто мы от этого стали людьми п-первого сорта. Это представление о войне д-достойно гимназистов. Пустовалов полетел на фронт, когда ему п-приказали — не раньше и не позже, и это в п-порядке вещей...

Он сердился, но Тане показалось, что он сердится не на Люсина — Люсин просто попался ему под руку. Он сердился не на Люсина, а на смерть, унесшую какого-то человека, дорогого для него и безразличного для Люсина.

— Редактор сказал,— после молчания проговорил Гурский,— в телеграмме написано, что Пустовалов хорошо вел себя п-перед смертью. Не п-перевариваю этого слова — «вел». «Хорошо вел», «плохо вел» — можно п-подумать, что мы в детском саду. И п-потом он еще сказал мне с оттенком гордости, что теперь, считая Пустовалова, у нас в редакции уже д-десять погибших. Так сказал, как будто ему не хватало П-пустовалова для ровного счета...

— Ну и что вы ему ответили? — спросил Гусаров.

— Ничего. Это не такая простая п-проблема. То, что в редакции уже п-порядочные потери,— значит, что наши корреспонденты действительно торчат на п-передовой. И это п-правильно. И в этом смысле я п-понимаю редактора, тем более что он сам, когда едет на фронт, всегда лезет на п-передовую. Но когда гово-

рят о мертвом, что он хорошо себя вел, мне это п-почему-то п-противно!

— Десять человек!.. — покачал головой Каширин. — А сколько из них писателей?

— П-половина.

Каширин снова покачал головой.

— Не качай головой, Каширин,— сказал Гурский,— т-ты любишь писателей, но ни черта не п-понимаешь в литературе. Я знаю, какие ты давал приказания, когда мы с Люсиным ходили там, у тебя, на операцию,— б-беречь и п-прикрывать собой...

— Да. Ну и что же...

— Это неп-правильно. Человек не вправе соглашаться на то, чтобы его прикрывали грудью! А т-тем более п-писатель. О войне может написать только тот, кого, п-по крайней мере, несколько раз могло убить, и никогда не напишет ч-человек, которого все только и делают, что п-прикрывают грудью. Самое большее, что он сможет написать,— это автобиографию п-под заголовком «Как меня сп-пасали». Вы согласны со мной? — обратился он к Тане.

— Давай выпьем в память этого твоего друга,— сказал Каширин. — Я вижу, ты хоть и придуриваешься, а переживаешь.

— А я не п-придуриваюсь,— сказал Гурский,— я просто п-помню, что я заика, п-пафос не моя стихия. Между п-прочим, я не настаиваю, чтобы вы пили до дна,— сказал он Тане, увидев, как Люсин налил ей в стакан остатки портвейна. — Мертвых это, к сожалению, не воскрешает...

Но Таня не послушалась его совета и выпила вместе со всеми до дна. Почему-то ей так захотелось, наверное потому, что она мысленно выпила сейчас не только за этого неизвестного ей человека, но и за многих других, тех, кого она знала и кого больше не было на свете. И за Дегтяря тоже... Он обидел ее перед смертью, но все равно она вспомнила о нем сейчас. Он любил повторять, что смерть все спишет, и был, пожалуй, прав.

— Не п-пора ли д-договориться о дальнейшем? — сказал Гурский, когда все выпили.

— Сейчас еще достану,— кивнув на пустой графин, сказал Каширин.

— Это т-так,— сказал Гурский,— но я имею в виду более отдаленные планы, вплоть до т-твоего отлета.

Он скользнул по Тане взглядом, и она почувствовала: ее присутствие помешало ему сказать то, что он собирался.

— Иван Иванович,— сказала она Каширину,— я полежу у вас немного в той комнате. Голова кружится с отвычки...—

Сказала и встала: раз у них свои планы насчет дальнейшего, пусть говорят об этом без нее, зачем мешать...

— Ну что ж, полежи,— сказал Каширин.

Остальные промолчали: это всех устраивало.

Она пошла в соседнюю комнату, прикрыв за собой расхлябанную, заскрипевшую дверь. Там стояли две кровати. На одной из них все было дыбом, а из-под подушки торчал знакомый растрепанный томик Лермонтова, вечный спутник Каширина, на все случаи жизни. Другая, гусаровская кровать была аккуратно застелена. Таня присела на краешек и почувствовала, что голова у нее и правда немножко кружится. Не надо было пить эти последние полстакана... Прислушиваясь к сдержанным голосам за дверью, она крикнула через дверь Каширину:

— Иван Иванович, если не трудно, дайте мне папироску!

Она решила вызвать сюда Каширина и сказать ему, чтобы он не стеснялся, не думал о ней. Ему ночью улетать, и, если им с кем-то там надо встретиться, пусть бросают ее и идут. Она понимает, не маленькая... Когда они пойдут, она тоже пойдет по своим делам, у нее есть свои дела... А вечером ей надо быть дома: зайдет этот Артемьев, брат Маши...

Так она собиралась сказать Каширину, хотя до самого вечера никаких своих дел у нее не было и ей, наоборот, стало очень тоскливо, когда она вдруг по взгляду Гурского поняла, что начинает мешать им. Ей казалось, что она будет еще долго сидеть и слушать этот новый и интересный для нее разговор, и даже Люсин, теснивший ее плечом и жарко дышавший в ухо, не портил ей настроения, но теперь это настроение все равно уже было испорчено. Оставалось не быть глупой и не мешать им, а особенно Каширину в его последний вечер в Москве. Кто его знает, что будет потом.

Она ждала, что войдет Каширин, но вошел не Каширин, а Люсин. Вошел с каплями пота на лбу, с покрасневшим, уже не девичьим лицом.

«Хорошо, что дверь не закрыл»,— мельком подумала она, не потому, что испугалась его прихода, а потому, что не хотела, чтобы настроение было вконец испорчено.

— Не думал, что вы ко всему еще и курите,— сказал Люсин, протягивая ей надорванную пачку «Беломора» и садясь на кровать напротив нее.

— К чему «ко всему»? — спросила Таня, беря папиросу.

— Ну, пьете хорошо и вообще...

— Что «вообще»?

— Нет, ничего...— Он хотел сказать, но не решился. — Пьете хорошо, приятно смотреть.

— А медики вообще хорошо пьют,— сказала она. — Вы что, меня напоить хотели?

— Да.

— Зачем?

Он молчал и смотрел на нее с пьяным любопытством: не знал после ее вопроса, как говорить с ней дальше.

— Очень хотелось, чтоб как следует выпили,— помолчав, сказал он.

— Напрасно. Я и когда выпью, все равно делаю, что сама хочу, а не что другие хотят.

Он неуверенно посмотрел на нее все с тем же любопытством, и она взглядом ответила: «Да, про это самое и говорю, про что думаешь. Но думаешь ты про это напрасно и поэтому уходи...»

— Ну чего ты там? — послышался из другой комнаты голос Каширина. — Возьми у Гусарова под кроватью в ящике — бутылка «тархуна» стоит.

Люсин оглянулся на голос, потом посмотрел на Таню и, продолжая смотреть на нее, стал шарить рукой под кроватью, на которой сидел.

— По-моему, это здесь,— сказала Таня, показывая пальцем под кровать, на которой сидела сама, и не двигаясь с места. Он опустился на корточки и, шаря одной рукой под кроватью, другой, словно потеряв равновесие, схватил ее за колено и, сжимая его, снизу вверх испытующе посмотрел ей в глаза.

Она не тронулась с места, только посмотрела вниз и, немножко придвинув другую ногу, каблуком наступила на пальцы шарившей по полу руки. Наступила и вся напряглась от сознательного желания сделать ему как можно больнее. Он охнул, выдернул руку из-под сапога и, отпустив Танино колено, зажал два отдавленных пальца в другой руке. Не обращая на него внимания, Таня нагнулась, сама пошарила под кроватью и протянула ему бутылку.

— Нате... А пальцы под краном подержите...

— А ну вас к богу в рай,— отмахнулся Люсин и, взяв бутылку, крепко сжал ее отдавленными пальцами. — Раз бутылку держат, обойдется.

— Ну что, несешь? — крикнул из другой комнаты Каширин. — Или не найдешь? Помочь?

— Несу. — Люсин вышел, сердито хлопнув дверью.

Оставшись одна, Таня с сомнением посмотрела на кровать Гусарова; к Гусарову сегодня приезжает жена, и прилечь на его кровать почему-то казалось неудобным.

Пересев на кровать Каширина, она подоткнула за спину подушки и прилегла, свесив на пол ноги.

Правду ли она сказала этому Люсину, что всегда делала так, как хотела сама, а не так, как хотели с ней делать другие? Да, правду. А Дегтярь? Да, с Дегтярем это тоже была правда, ей почти целый месяц казалось, что она его любит. А потом все как отрезало. И когда Дегтярь умер, ей было даже странно, что у нее не осталось к нему ни крупицы женского чувства, просто было очень жаль его, как всякого другого погибшего товарища, и больше ничего. Очевидно, природа позаботилась о ее самозащите, не наделив способностью прощать свои женские обиды.

Теперь, когда она прилегла, голова стала кружиться меньше. Она взяла с тумбочки папиросу и закурила. «Неужели и сегодня не получу ответа на телеграмму? Если бы только мама увидела, что я курю... Надо непременно бросить, а то расстроится, если узнает»,— подумала Таня и вдруг явственно услышала голоса из другой комнаты.

Когда Люсин хлопнул дверью, дверь отскочила от притолоки и теперь понемногу открылась до половины. В той комнате говорили о Тане. Она сначала хотела закрыть голову подушкой и не слушать, даже потянула к себе подушку, но в эту секунду Каширин громко сказал: «Как хотите, не согласен в такой день оставлять ее одну», и она выпустила из рук подушку и стала слушать.

— Тогда п-придется отменить все м-мероприятие целиком,— сказал Гурский.

— Ну и отменим,— сказал Каширин.

— П-пожалуйста,— сказал Гурский. — В конце концов это т-ты улетаешь, у т-тебя последний вечер. Я-то п-пока еще остаюсь...

— Ну и пускай, а что ж ее одну бросать,— сказал Каширин.

И Таня благодарно улыбнулась его словам и села на кровати, намереваясь сейчас же пойти и сказать Каширину, что у нее самой есть важное дело и ей нужно срочно уходить, но голос Гурского остановил ее.

— Послушай, Каширин,—сказал он,—ты, конечно, в п-принципе п-прав, но есть и другая сторона вопроса: ты улетаешь, там это знают, и т-твоя Полина тебя просто-напросто хочет в последний раз повидать. Она, конечно, не жена д-декабриста, но всетаки неп-плохой т-товарищ и за это время, что ты в Москве, не сделала тебе н-ничего, кроме хорошего. Надо и ее п-пожалеть...

«Действительно, Каширин — душа-человек,— подумала Таня, вставая. — Готов из-за меня испортить себе последний вечер в Москве... Но я, конечно, не позволю этого — пусть идут, куда им надо...»

— Стойте,— сказал Люсин, когда она, оправив кровать, уже подошла к двери. И Таня, услышав его голос, остановилась с тяжелым предчувствием, словно он сказал это не им, а ей. — Стойте, давай возьмем с собой туда твою докторшу!

— А зачем она тебе там? — сказал Каширин. — Сидеть и смотреть?..

— Почему смотреть? — сказал Люсин. — Я беру ее на себя.

— Ты уже п-пробовал взять ее на себя,— сказал Гурский. — До сих пор на п-пальцы дуешь!

— Ничего,— сказал Люсин,— как раз такие и бывают с неожиданностями... Выпьет еще немного — и сама себя не узнает. Мне Дегтярь, если хочешь знать, сам о ней рассказывал...

«Оказывается, он и ему рассказывал»,— подумала Таня с тоской и злостью — не на Дегтяря, а на себя.

— Было у нее с ним или нет? Или он врал мне? — спросил Люсин.

— Было,— сказал Каширин. — Я даже вызывал его, чтоб не звонил по всей бригаде.

— Ну так в чем же дело,— сказал Люсин,— беру ее на себя, и пойдем все вместе.

— Лично я п-против,— сказал Гурский.

— Почему? — спросил Люсин. — Ведь было же у нее с Дегтярем, Каширин сам подтвердил...

— С Дегтярем было, а с тобой не будет,— сказал Гурский.— Весь вечер п-пойдет прахом... И потом, есть в этом что-то п-противное.

— Чья бы корова мычала... — сказал Люсин.

— И даже п-подлое... — перебил его Гурский.

— А ну вас всех к черту! Лучше поломаем это дело вообще... — сказал Каширин.

И, уже договаривая эти слова, увидел вошедшую в комнату Таню.

Стоя там, в той комнате, она говорила самой себе, что просто ждет, когда они наконец замолчат и ей можно будет войти как ни в чем не бывало. Но на самом деле она жадно слушала, что о ней говорили. Слушала, потому что это было ее право, потому что она оказалась одна среди мужчин и они никогда не скажут ей самой того, что говорят о ней, считая, что она их не слышит. А ей нужно знать, что они говорят и думают о ней. Нужно, обидно, стыдно, интересно — все вместе.

Она вошла, не выдержав этого путаного, тревожного чувства, задохнувшись от него, как от быстрого бега, и, еще не совладав с собой, задыхаясь, сказала:

— Спасибо, Иван Иванович. Я немного вздремнула у вас. Мне пора идти... — И, столкнувшись с трезвым, неверящим взглядом Гурского, выдержала этот взгляд и подошла к Каширину.

— А, дочка,— сказал Каширин, вставая и с грохотом отодвигая стул. У него было виноватое лицо и виноватый голос. Он выпил, и ему не приходило в голову, что она слышала, как они говорили о ней, но, должно быть, он и без того испытывал чувство стыда перед ней.

Гурский и Люсин поднялись вслед за Кашириным. Гусарова в комнате не было: он куда-то ушел. Поэтому Таня и не слышала ни разу его голоса.

— Куда ж ты пойдешь?

— Свидание назначила, чуть было не проспала у вас.

— Вот уж не думал... — сказал Каширин.

— Почему?

— А может, с нами? Мы как раз собираемся... — начал Люсин и замолчал. Кажется, Гурский толкнул его.

Таня ничего не ответила, даже не повернулась к Люсину, и, продолжая глядеть на Каширина, который растерянно взял ее за руку, сказала:

— Всем там у вас, в бригаде, передайте привет от меня, а вас, если можно, я обниму...

И она потянулась и крепко поцеловала его, не превозмогая себя, потому что сейчас, на прощание, целовала не этого подвыпившего и чувствовавшего себя виноватым Каширина, а другого, того, каким он был и каким снова будет там, в бригаде, куда он улетает сегодня ночью.

Потом она подала руку Гурскому, повернулась к Люсину и заставила себя улыбнуться:

— Вам не подаю, у вас рука болит...

— Ничего, я не злопамятный,— сказал Люсин.

Он порывался подойти к ней, но Гурский оттеснил его плечом, вышел вслед за Таней в переднюю и молча подал ей полушубок. Она благодарно кивнула ему, закрыла за собой дверь, быстро прошла мимо смерившей ее долгим взглядом дежурной по этажу и стала спускаться.

Спустившись в вестибюль, она увидела издали стоявшего около портье и звонившего по телефону Гусарова. «Наверное, опять справляется о жене. Вот почему он ушел: оттуда, из номера, звонить не хотел...» И помахала Гусарову на прощанье рукой. И он тоже заметил и помахал ей рукой.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Когда Таня сказала Каширину «мне нужно идти», она еще сама не знала, куда пойдет, а сейчас, спустившись в вестибюль и увидев Гусарова, вдруг решила. Кроме поручения, которое она уже выполнила, повидав Артемьева, у нее было в Москве еще одно, такое же невеселое, от той старухи, врачихи, Софьи Леонидовны, у которой она жила в Смоленске.

Таня уже два раза ходила по адресу, который ее когда-то заставила наизусть заучить Софья Леонидовна. Два раза была в этом глухом дворе, в Брюсовском переулке, и два раза не заставала женщины, которая ей была нужна.

«Ну что ж, схожу в третий раз, как раз сегодня и пойду. Может, даже и хорошо, что сегодня»,— подумала она, хотя сегодня с утра ей никак не приходило в голову идти туда с этим печальным поручением.

Свернув с улицы Горького в Брюсовский переулок, она вошла в уже знакомые низкие и глубокие ворота, похожие на положенный на землю каменный колодец, дошла до самого дальнего углового подъезда и постучала в дверь на первом этаже. Она мысленно примирилась с тем, что и теперь, в третий раз, не застанет той женщины, но терпеливо стояла и стучала в дверь, глядя на лохмотья драной дерюги, на концы проводов и круглые следы звонков, на остатки таблички с фамилиями жильцов: «Никодимов — 1 зв. Волосевич — 2 зв. Курдю...» Дальше было оборвано.

Наконец, когда она решила уходить, дверь открыл тот же старик, который открывал ей и раньше, худой, заросший седой щетиной и с такой кривой шеей, что казалось, ему когда-то отрезали голову, а потом снова приставили, но уже не там, где она была, а ближе к одному плечу и дальше от другого.

— Волынская дома? — спросила Таня.

Но старик не стал, как в прошлые разы, молча вертеть головой на кривой шее, а сказал тонким, детским голосом:

— Дома. А вы к ней?

— К ней.

— Пройдите.

Он пропустил Таню, запер дверь на ключ и поплелся в глубь квартиры, волоча ноги в обрезанных, как калоши, валенках. Думая, что он показывает ей дорогу, Таня пошла за ним, но он обернулся и сказал:

— Не сюда, вон туда, по коридору последняя дверь.

И ткнул рукой налево.

Таня пошла налево, но коридора не увидела — увидела дверь; других дверей не было, и она открыла ее. За дверью действительно был темный коридор. Ударившись обо что-то, она пошла по коридору, шаря руками по стенам. Сначала она нащупала дверь справа, потом другую слева и уже думала постучать в нее, но где-то впереди услышала стук машинки и, вспомнив, как Софья Леонидовна говорила, что ее сестра машинистка, ощупью добралась до последней двери.

Машинка за дверью остановилась и снова застучала. Таня отворила дверь и шагнула в комнату.

— Можно?

Накрытая прожженной газетой настольная лампа освещала стол, у которого, сгорбясь, сидела за пишущей машинкой старуха в пальто с поднятым воротником и в вязаном платке, намотанном на шею так, что он закрывал ей рот. Старуха повернулась, и Таня вздрогнула: сидевшая за машинкой старая женщина была так похожа на свою сестру, что казалось, сама Софья Леонидовна ожила и сидит здесь, в этой комнате, перед Таней.

— Если за работой, то еще не готово,— сказала старуха. — Я болею... Тридцать страниц осталось.

— Нет,— растерянно сказала Таня. — Я...

Она все еще не могла отделаться от ощущения, что перед ней сидит Софья Леонидовна.

— Я к вам от вашей сестры...

— Нет у меня никакой сестры.

— Вы меня, наверно, не поняли,— растерянно сказала Таня. — Я из Смоленска...

— Из какого Смоленска? — спросила старуха так, словно был еще какой-то Смоленск, кроме того, в котором была Таня.

— Ну, из Смоленска... — повторила Таня. — Как вы не понимаете! Я от вашей сестры, я с ней вместе была в Смоленске...

— А у вас есть документы? — вдруг спросила старуха.

— Какие документы?

— Ваши документы у вас есть?

Таня расстегнула полушубок, вытащила из кармана удостоверение личности и протянула старухе.

Ей было странно и дико, что эта старая женщина спрашивает у нее документы. Как будто для того, чтобы услышать то, что ей сейчас предстоит услышать, сначала нужно проверить Танины документы.

Старуха долго смотрела на удостоверение и, отдав его обратно, спросила:

— Ну так что?

Только сейчас она наконец стянула платок со рта на подбородок; все, что она говорила до этого, она говорила глухо, через платок.

— Я работала там в Смоленске вместе с вашей сестрой Софьей Леонидовной,— сказала Таня.

И по изменившемуся выражению лица старухи поняла то, чего не понимала до сих пор: Смоленск и вообще все, что там, у немцев, за линией фронта, было для этой женщины все равно что тот свет. Она уже не представляла себе этого реально, как часть своей жизни, поэтому, наверное, и сказала сначала, что у нее нет никакой сестры.

— Где вы с ней работали? — спросила старуха и, повернувшись вместе со стулом, ткнула пальцем в сторону заваленной вещами кровати. — Садитесь осторожней, там каша завернута.

— Мы с ней работали вместе в подполье,— сказала Таня,— целых полгода. Я даже жила у нее как ее дальняя родственница.

Старуха вопросительно смотрела на нее, не понимая, но потом поняла и кивнула.

Теперь начиналось самое трудное, и чем дальше оттягивать его, тем будет труднее.

— Она мне дала ваш адрес, чтобы я выучила, и просила, если она умрет, а я останусь жива и буду в Москве, найти вас.

— Значит, умерла? — как о чем-то, к чему уже давно приучила себя, спросила старуха. Голос у нее был низкий, простуженный. Лицо спокойное, хмурое, с толстым носом картошкой и толстыми, сердито сжатыми губами.

«Совсем такое же, как у Софьи Леонидовны, только еще строже»,— снова подумала Таня. Ни в голосе старухи, ни в ее лице, когда она спросила: «Значит, умерла?» — ничего не дрогнуло, даже не шевельнулось.

— Да,— сказала Таня.

— Когда? — спросила старуха.

Таня сказала, что это случилось в августе прошлого года.

На лице старухи отразилось напряжение, словно она что-то считала в уме; она даже подняла голову и наморщила лоб.

— Думала, она раньше умерла,— сказала старуха. — Еще весной, как наступление наше остановилось, первую панихиду отслужила.

— А вы верующая? — не успев удержаться от этого глупого вопроса, спросила Таня. Софья Леонидовна рассказывала ей, как еще в юности, на Бестужевских курсах, стала неверующей, и ей было странно, что эта женщина, так бесконечно похожая на Софью Леонидовну, вдруг верующая.

Старуха ничего не ответила, молчала и ждала, что еще скажет Таня.

— Ее гестапо расстреляло.

Старуха продолжала молчать.

— Они многих наших тогда сразу расстреляли и ее тоже. А арестовали за две недели. Я ее в последний раз видела, когда ее арестовали...

Старуха все еще сидела не шевелясь и молчала. А Таня, глядя на нее, с той негаснущей остротой, с какой по многу раз и всегда одинаково возникают в памяти такие воспоминания, увидела перед собой крыльцо дома, где они жили с Софьей Леонидовной, и немецкую машину, и двух немецких солдат, между которыми, ссутулив плечи и заложив руки за спину, идет к машине Софья Леонидовна... И соседа Прилипко, бухгалтера городской управы, который семенит сзади, за вторым солдатом, в своем чесучовом пиджаке и с портфелем.

Таня не только увидела все это, но даже почувствовала в левой руке тяжесть корзины, которую она несла тогда и с которой остановилась за углом, увидев, как из дома выходят немецкие солдаты и Софья Леонидовна. Корзина была тяжелая, в ней, под картошкой, лежала мина с часовым заводом. Мину изготовили в бригаде, и она должна была еще четыре дня пролежать у Тани и Софьи Леонидовны, потому что человек, которому нужно было передать мину, не мог явиться раньше этого срока. Таня стояла, прижавшись к стене с корзиной в руке, а Софья Леонидовна, понурив голову и заложив руки за спину, шла между двумя немецкими солдатами к машине.

А старуха все еще молчала. Долго, невыносимо долго молчала...

— А вы, значит, живы... — сказала она.

— Да. Ее арестовали, когда меня не было. Если бы я пришла на десять минут раньше, я бы тоже пропала.

— Вот, значит, почему она умерла,— сказала старуха.— А я думала, просто от голода...

— Нет, мы с ней не голодали. То есть, конечно, очень плохо ели, но все-таки наши, когда могли, нам немножко помогали.

— Помогали,— как эхо, отозвалась старуха.

И вдруг поглядела на свою машинку и на торчавшую из нее недопечатанную страницу так, словно ей уже некогда больше говорить обо всем этом, а надо садиться и заканчивать работу.

— Что ж, она, значит, была у вас подпольщицей? — снова переводя взгляд с машинки на Таню, спросила старуха.

Слова «у вас» были сказаны с какой-то странной интонацией, так, словно сама старуха и Софья Леонидовна были одно, а Таня и все те, про кого старуха спросила «у вас», были другое. Но

Таня хотя и заметила эту интонацию, в ту секунду не обратила на нее внимания и стала торопливо объяснять, каким замечательным человеком была Софья Леонидовна, и как много она сделала, и как все тяжело переживали, когда она погибла.

У Тани даже несколько раз дрогнул голос, пока она говорила все это. Она жалела не только Софью Леонидовну, но и себя; уже не впервые, когда она вспоминала обо всем этом, ей задним числом становилось страшно и того, что было с ней там, в Смоленске, и того, чего не было, но могло быть.

— А вы что, любили ее? — прервав на полуслове, спросила старуха. Спросила так, словно это удивляло ее.

— Да, конечно,— сказала Таня. — Мы все ее очень любили, а я почти полгода жила у нее.

— А вы знаете, какую она жизнь прожила раньше, до этого?

— Да, она мне рассказывала.

— Все ли?

И снова в голосе старухи было удивление перед тем, что Софья Леонидовна могла все о своей жизни рассказывать не ей, а Тане или еще кому-то другому.

— Да, все,— сказала Таня. — Поэтому немцы ей так и доверяли, что у нее раньше была такая жизнь. Поэтому она так много и могла делать для нас, что они ей доверяли. Она мне все рассказала: и про себя, и про всех своих родных, и про вас...

— Значит, так и погибла за вас,— сказала старуха.

— Почему из-за нас? — не расслышала Таня.

— Не из-за вас, а за вас,— сказала старуха. — Сколько ей Советская власть добра ни делала, а все-таки погибла за вас...

В этих словах и в голосе, которым они были сказаны, было столько горечи, что ошибиться насчет их смысла было невозможно.

— А вы что, считаете... — с вызовом, с вдруг вспыхнувшей непримиримой обидой начала Таня, но старуха прервала ее:

— Ничего я не считаю... Это она считала, что лес рубят — щепки летят... Вот и умерла за свою Советскую власть.

— А для вас Советская власть не ваша?

— Не моя,— сказала старуха. — Что смотрите на меня, удивляетесь, что не боюсь? А чего мне бояться — жизнь моя кончилась, хуже не будет. Живу, как последняя щепка своей семьи... А как живу — тоже видите. — Она обвела взглядом свою мрачную каморку с какими-то медальонами и старыми портретами на оборванных обоях. — И место жительства переменить тоже не боюсь.

— Значит, если бы вы были там вместо Софьи Леонидовны, вы бы не с нами, а с немцами работали? — запальчиво сказала Таня.

— Еще чего! — сказала старуха. И опять вдруг стала так похожа на Софью Леонидовну, что Таня чуть не вздрогнула.

— Ну что ж, я пойду,— сказала Таня. И, уже стоя в дверях, добавила: — До свидания.

— До свидания,— глухо отозвалась старуха, не поворачиваясь от машинки. — Спасибо, что пришли... Ну, идите же, чего стали?!

И, только уже закрывая дверь, в самую последнюю секунду, Таня увидела, как эта казавшаяся ей каменной старуха рухнула лицом и руками на лязгнувшую машинку. Таня стояла за неплотно прикрытой дверью, а старуха, лежа лицом и руками на машинке, рыдала там, у себя в комнате. Рыдания вместе с кашлем и стонами вырывались у нее из груди, ее сутулые широкие плечи в драповом пальто то поднимались, то опускались, вздрагивая от рыданий. Она выла от горя, глухо и хрипло, как мужчина. А Таня смотрела на нее в щель и не знала, что делать. Вернуться и помочь ей? Но чем и как помочь? Или оставить одну с ее горем?

«Может быть, потом еще раз зайти? — подумала она. — А что потом? Что я ей скажу потом? И что ей вообще еще можно сказать?»

Она тихо отошла от двери и на ощупь, по стене, добралась до конца коридора. Старик, открывавший ей дверь, стоял посредине передней с чайником в руке. Судя по его лицу, Тане показалось, что он стоит и прислушивается, хотя отсюда, из передней, ничего не было слышно.

— Застали? — спросил старик.

— Да,— сказала Таня. — Она совсем одна живет?

— Как перст... — сказал старик. И вдруг с любопытством спросил: — А что, сумасшедшая она, да?

— Нет, почему...

— Сумасшедшая,— убежденно повторил старик. — Раньше с ней сын жил, так она сама его, слепого, в ополчение погнала, а у него диоптрий семь... С тех пор, как похоронную получила, совсем из ума выжила. Дверь вчера настежь оставила и на кухне краны́ не закрывает. Сколько ни говори ей — все равно краны́ не закрывает... А вы что, уходите, что ли?

— Да,— сказала Таня.

— Дверь закрою... — Старик поставил чайник на пол, снял цепочку и два раза повернул ключ. — Идите, закрою за вами.

Таня шла по двору, а в голове у нее все вертелась и вертелась нелепая фраза «краны́ не закрывает, краны́ не закрывает...».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Иван Алексеевич сдержал обещание: Артемьев перед отъездом крутился как белка в колесе, но роптать не приходилось — впереди маячил фронт. Времени не оставалось ни на что, кроме службы. Один раз, вспомнив ждущие глаза Нади, он чуть было не позвонил ей, но удержал себя. На то, чтобы заново начинать эту старую песню, тоже не оставалось времени. Не зашел и к Тане Овсянниковой ни в тот вечер, когда обещал, ни в следующий: не позволила служба. Вырвался только в последнее утро.

— Извините, позавчера обманул, не зашел. До черта дел было, да и сегодня тоже на десять минут — завтра утром на фронт улетаю,— сказал он, когда Таня открыла ему дверь с возгласом: «А я вас уже и не ждала!»

В кухне были перемены. Кровать и матрац были убраны, все сияло чистотой.

— Принес кое-чего,— сказал Артемьев, ставя на кухонный стол небольшой чемодан.

— Спасибо,— сказала Таня.

— Перебрались отсюда?

— Да. Хозяева приезжают. Перебралась к тете Поле,— кивнула Таня на маленькую, выходившую в кухню дверь.

— Там такой закут, что и одному человеку не уместиться,— сказал Артемьев.

— А мы уместились. Да и потом... — Голос у нее дрогнул, и Артемьев с любопытством посмотрел на нее.

Она вообще была сегодня совсем другая, чем два дня назад: в сапогах, юбке и гимнастерке, туго перехваченной на тонкой талии широким командирским ремнем. На новеньких петлицах было по новенькой шпале, а на груди был тоже новенький орден Красного Знамени.

«Смотри-ка! Наверное, только что получила...» Но лицо у нее было совсем не праздничное — опухшее от слез.

— Чего вы такая зареванная?

— От мамы телеграмма пришла,— сказала она и, опустившись на табуретку, как тогда, в первый раз, по-детски сложила руки на коленях.

— Значит, живы-здоровы?

— Живы-здоровы,— сказала она и всхлипнула.

— Так чего ж вы ревете?

— От счастья.

— Ну-ка, покажите телеграмму.

Она послушно протянула ему телеграмму.

В ней было написано: «Телеграмму получили если сможешь приезжай повидаться заводской адрес Караванная девять целую мама».

— Когда едете?

— Не знаю. Сейчас пойду на вокзал к коменданту, буду место просить.

«Вон куда ты собралась». Артемьев прикинул в уме, успеет ли, несмотря на завтрашний отъезд, помочь ей, и решил попробовать.

— Давайте все ваши документы. Попробую место достать на сегодняшний ночной.

— А может, лучше я сама? — Таня уже вытащила из кармана гимнастерки документы, но задержала их в руке.

— Если я не успею, тогда, ясно, сами. В девятнадцать часов придете к нам в бюро пропусков и оттуда мне позвоните. Я уже буду знать.

Он объяснил ей, как пройти в бюро пропусков, и записал свой добавочный телефон.

— Договорились?

Он встал.

— Тару освободите, не моя — генеральская.

Она, повернувшись к нему спиной, стала выкладывать из чемодана на стол банки с консервами.

«А фигурка у нее что надо,— подумал Артемьев. — Только уж больно маленькая. Не женщина, а воробей».

— Давайте чемодан.

И, увидев, когда она повернулась, что глаза у нее все еще на мокром месте, спросил:

— Когда телеграмму получили?

— В восемь утра.

— С тех пор все и ревете?

— А вы не смейтесь,— сказала Таня. — Как вам объяснить это чувство? Мне маму до слез жалко за то, что она так долго думала, что я умерла, и только теперь узнала, что я живая. И почему только одна мама телеграмму подписала?..

— Сами же мне говорили, что отец, возможно, на фронте.

— А тогда почему она написала «телеграмму получили»?

Он пожал плечами: откуда он знал?

Они пошли по коридору мимо открытой двери в столовую. Артемьев остановился и заглянул туда.

— Ого,— сказал он,— вижу, тут была генеральная уборка.

— Это Надя приходила, целый день вчера убирала.

— И вас мобилизовала?

— Да. Мы с ней подружились.

— Вон даже как!

— Она мне понравилась. А вам она больше совсем не нравится?

«Эх ты, простая душа!» — подумал Артемьев, представив себе, как Надя, между мытьем полов и перетиркой хрусталя, мимоходом, неизвестно зачем, успела сделать эту маленькую женщину своей союзницей.

— Вы под ее дудку не пляшите! — сердито сказал он.

— А почему вы так грубо?

— Я не грубо. Просто немножко лучше вас знаю людей.

— Вы так думаете?

И было в ее голосе что-то заставившее Артемьева вдруг подумать: кто ее знает, сколько хорошего и плохого она успела повидать в своей жизни? Если вдуматься — далеко не девочка. Только вид такой.

— Ладно, не будем считаться,— сказал он, пожимая ей руку. — В самом деле, кто вас знает, какая вы есть. Я об этом, откровенно говоря, даже и не думал. Времени не имел. Значит, в девятнадцать в бюро пропусков.

Это он добавил, уже открывая дверь.

Артемьев ушел, а Таня осталась и долго ходила одна, слоняясь из комнаты в комнату, по чужой, пустой, заставленной вещами квартире, по чисто вымытым полам.

Она подошла к большому старому трюмо с завитушками, со старым, подернутым желтизной зеркалом, в котором за сто лет его жизни, наверное, никогда еще не появлялось отражение военной женщины в гимнастерке, сапогах и с пистолетом на боку.

Подошла и уткнулась в самое зеркало и долго разглядывала там, в его глубине, свое худое лицо с падавшей на лоб неумело подстриженной челкой и большими карими женскими глазами. Эти глаза ей самой казались красивыми, она смотрела в зеркало и радовалась им, и длинным темным ресницам, и ровненьким темным, темнее волос, удивленно приподнятым бровям, и огорчалась, что губы у нее не совсем правильной формы, немножко припухлые, широковатые, огорчалась, не сознавая, что как раз эти неправильные, припухлые, широковатые губы и придавали ее детскому лицу взрослую тревожную прелесть.

«Просто немножко лучше вас знаю людей!» Подумаешь, знает он людей! Его бы позавчера днем туда, в гостиницу «Москва»...

В парадную дверь громко постучали.

— Кто там? — спросила Таня. За дверью было слышно несколько голосов сразу.

— Открывай! Родителей привезла,— донесся из-за двери голос Нади.

Она вошла первой с двумя обвязанными веревкой чемоданами и шлепнула их на пол.

— Вот как единственную дочь батрачить заставляют,— подмигнула она Тане и кивнула на вошедшую вслед за ней старую женщину с озабоченно поджатыми губами и багровыми пятнами волнения на щеках. — Знакомьтесь, моя мамочка.

Женщина была одета в грязные бурки и облезлую старую шубу и повязана вместо платка вылинявшим мужским кашне, из-под которого вперед, как петушиный гребень, вылезал клок каштаново-красных крашеных волос, седых у корней.

Мельком взглянув на Таню, она поставила на пол два таких же, как у Нади, чемодана, кинулась к дверям в столовую, заглянула и снова кинулась обратно к парадной двери, навстречу входившим с вещами мужчинам.

Первым, загребая по полу хромой ногой, вошел богатырский краснорожий мужчина в шапке-кубанке и надетом поверх стеганки, настежь распахнутом пальто. Он тащил три здоровенных тюка — два в руках, третий под мышкой.

— Знакомься, папочка,— сказала Надя, когда мужчина опустил на пол свои тюки и, сдвинув на затылок кубанку, вытер платком жаркий лоб. Мужчина посмотрел на Таню потными бараньими глазами и, протянув ей громадную красную руку, громко назвался:

— Кобяков.

Вслед за ним вошел благообразный старик в кожаной финской шапке с пуговичкой, Надин шофер,—Таня уже видела его один раз,— он держал в руках ящик.

Надина мама подскочила к ящику, протянув к нему руки, как к утопающему.

Когда ящик был мягко опущен на пол, а шофер повернулся и вышел, в дверь вошел последний, третий мужчина, военный, майор, тоже с тюком и чемоданом в руках. Опустив тюк и чемодан, он внимательно посмотрел на Таню и приложил руку к козырьку. И Таня тоже внимательно посмотрела в его розовое лицо со светлыми, почти белыми бровями. Он был на кого-то очень похож, но Таня не могла вспомнить на кого.

— А это уже не родственник,— сказала Надя все с той же насмешливой интонацией. — Просто попутчик папочки и мамочки...

— Так как же мы теперь поступим, Анна Георгиевна? — спросил майор, не обратив внимания на эти слова.

— Лучше бы завтра утром, Антон Семенович,— сказала Надина мама.

— Я посмотрю,— сказал майор,— но все-таки, может быть, и сегодня вечером.

— Не хотелось бы сегодня вечером,— настойчиво повторила Надина мама.

— Ну, посмотрим,— сказал майор после очень долгой паузы, во время которой он, как показалось Тане, пересчитывал вещи. — Посмотрим,— повторил он. — Пока устраивайтесь. Я поехал.

Он приложил руку к козырьку, повернулся и вышел.

Когда дверь захлопнулась, Надина мама сволокла с головы кашне, уронив на пол несколько шпилек, и устало села на тот ящик, про который кричала: «Осторожно!» Села и, глядя в открытую дверь столовой, несколько раз подряд перекрестилась.

— Что это ты вдруг? — удивилась Надя.

— А-а,— махнула рукой Надина мама,— в эвакуации чему не научишься! Ты пока иди, мы сами распакуемся. А вечером приходи на новоселье. Муки привезли и под Чкаловом мяса купили. Пельмени сделаем. А водку сама достань. Поля где?

Этот вопрос был обращен к Тане.

— Здесь спит,— сказала Таня,— только недавно с дежурства пришла.

— Вот те на! — сказала Надина мама. — Я думала, ее нет, а она даже не встречает. Помоги пальто снять,— повернулась она к мужу. — Пойду разбужу ее.

— Она только час как легла,— сказала Таня.

— Ничего, встанет,— сказала Надина мама; освободившись от пальто, она оказалась в байковом лыжном костюме, засаленные штапы были заправлены в бурки.

— Однако вид у тебя спортивный,— сказала Надя.

— С самого Чкалова мечтала, как буду дома Полины пельмени есть,— сказала Надина мама.

— По-моему, она в пять часов обратно на дежурство пойдет,— сказала Таня.

— Никуда она не пойдет! Глупости все это,— сказала Надина мама и повернулась к дочери. — А ты сегодня же в госпиталь съезди, к начальнику, и объясни ему. Ты это вполне в силах.

— Не пойдет она к тебе в работницы,— сказала Надя. — Я с ней уже говорила.

— Мало ли что ты говорила, теперь я с ней поговорю,— сказала Надина мама и, шаркая бурками, пошла на кухню.

— Знаешь что,— сказала Надя, обращаясь к Тане. — Переезжай лучше ко мне, от греха подальше. А то я уж чувствую: и с тетей Полей скандал пойдет, и папочка,— она кивнула на озабоченно передвигавшего вещи хромоногого великана,— доверия не внушает. Он мне по дороге в машине уже локоток жал...

— Ну, зачем это вы! — испуганно повернулся он к Наде, бросив возню с чемоданами.

— Что, мамочки боитесь? — спросила Надя. — А зачем локоток жали?

И так, словно его не было в комнате, не убавив голоса, сказала Тане:

— Боюсь, будет приставать к тебе. По морде вижу.

— А я, кажется, сегодня к ночи уеду,— сказала Таня. — Мне обещали место достать.

— Смотри, как знаешь,— сказала Надя. — Ладно, поехала. Водки к пельменям привезу, если они состоятся.

— А в госпиталь, может, все же съездите, как вас мать просила? — напомнил «папочка».

— И не подумаю! И вообще на мои заботы не рассчитывайте. Я баба не злая, но с характером.

Она помахала Тане рукой и вышла, а Таня стала с тревогой ждать, что теперь произойдет между Надиной мамой и тетей Полей. Только сегодня утром, перед сном, тетя Поля снова божилась, что палец о палец не ударит для прежней хозяйки.

К ее изумлению, несмотря на свою утреннюю божбу, тетя Поля вышла в переднюю в обнимку с Надиной мамой. У обеих старух — потому что Надина мама в представлении Тани была хоть и крашеная, но тоже старуха — были заплаканные лица.

— А это мой Валерий,— сказала Надина мама, всхлипывая и подводя тетю Полю к мужу. — Прошу любить и жаловать. Знаю я, как ты любила Алексея Викторовича... Ну, да ведь жизнь...

Надина мама развела руками, снова всхлипнула и так и не договорила.

Договорила за нее тетя Поля:

— Царствие ему небесное! — и тоже всхлипнула и деловито, дощечкой протянула руку новому мужу Надиной мамы.

— Анна Георгиевна столько мне про вас говорила, столько говорила!..— сказал он, придерживая руку старухи.

— Да уж мы на тебя там, как на каменную стену, надеялись,— подхватила Надина мама. — Спасибо тебе, что квартиру сохранила, земной поклон тебе за это. А скольких трудов тебе это стоило, разве я не понимаю!

Она снова всхлипнула, и тетя Поля тоже еще раз всхлипнула и сказала:

— Все как есть сохранила. Извиняйте только, что жиличку к себе на время пустила, погостить пригласила без извещения вас.

— Ну, что ты, Поля,— сказала Надина мама,— как тебе не стыдно говорить такое. — И повернулась к Тане: — А мы с вами еще как следует и не познакомились. Приятно на вас смотреть: такая молодая — и с орденом! Мне уже дочь по дороге о вас рассказывала. Жаль, что вы скоро уезжаете.

— Может быть, даже сегодня,— сказала Таня.

— Но пельмешек наших на прощание все же покушаете. Тетя Поля налепит.

Тетя Поля, которая тем временем уже заботливо вытирала тряпкой чемоданы, обернулась, не прерывая начатого дела.

— Уйду я на дежурство... разве что завтра, как с дежурства вернусь...

— А ты не ходи на дежурство,— ласково сказала Надина мама.

— Как же так не ходить-то?

— А ты заболей.

— Как же так заболеть? Я сроду не болела.

— А это уж моя забота,— сказала Надина мама. — На первые дни диагноз тебе поставлю, что воспаление надкостницы, и больничный лист выпишем. А потом Надежда там у вас в госпитале договорится, чтоб тебя отпустили по состоянию здоровья.

Тетя Поля несколько секунд молчала, потом разогнулась, бросила тряпку на чемоданы и сказала голосом, ничем не напоминавшим о ее недавних слезах и всхлипываниях:

— Бессовестная ты, Анна Георгиевна! Как была бессовестная, так ты и есть бессовестная! Ни война, ни мука смёртная совести тебе не прибавили!

Лицо и шея Надиной мамы пошли багровыми пятнами, и в доме начался скандал, не затихавший до самого ухода тети Поли на дежурство.

Таня ушла из дому вместе с тетей Полей, на два часа раньше, чем надо было идти к Артемьеву. Пошла проводить старуху, потому что оставаться одной там, с этими людьми, не хотелось. Всю дорогу никак не могшая остыть тетя Поля снова и снова возвращалась к спору со своей бывшей хозяйкой.

— Буду я еще ходить за ей, с ее хромым бугаем! Она его себе для своих удовольствиев взяла, а я ходи за ним! Он мне не нужный, он ей нужный.

И тетя Поля, не стесняясь, с радостным ожесточением называя все вещи своими именами, стала подробно разъяснять Тане, почему и для чего ее бывшая хозяйка сошлась с этим «хромым бугаем».

Все это было бы смешно, если бы Таня не чувствовала, что за мстительными излияниями старухи стоит ее возмущение людьми, которым нет дела ни до войны, ни до тети Поли, ни до госпиталя, где она работает, ни до людей, которые лежат там сейчас и знают, что сегодня в ночь дежурит старая нянечка Поля; она и зайдет, и переложит, и утку подаст, и вовремя принесет попить, а не будет спать в дежурке или точить с кем-нибудь лясы, как некоторые другие — помоложе.

Тетя Поля немного успокоилась и начала говорить не о Надиной маме, а о предстоящем Танином отъезде только уже в госпитале, в дежурке, надевая халат.

— Коли сегодня уедешь, все консервы с собой в дорогу бери, мне не оставляй. А коли не уедешь, с квартиры не уходи,— сказала тетя Поля,— и к Надьке не переезжай, мало что приглашала. На сколько дён надо, на столько у меня и останешься: раз я прописанная, сколько бы ни лаялись, а ничего со мной не сотворят.

Когда Таня уже пошла к воротам через госпитальный двор, тетя Поля выбежала к ней, догнала и сунула ей ключ.

— На вот тебе ключ, а то вдруг не пустят тебя.

— Как же так не пустят?

— Да вот так и не пустят.

— А если я вдруг уеду, что с ключом делать?

— За батареей в парадном положи, где раньше клала. Пойду с дежурства — возьму.

— Полина Герасимовна,— высунувшись из двери, позвала сестра.

— Бегу, бегу! — крикнула тетя Поля и, уже не прощаясь, побежала обратно к корпусу.

Таня вышла из госпиталя, еще не зная, что делать: до девятнадцати оставалось больше часа. И вдруг с испугом вспомнила, что оставила там, на Сретенке, бумажку с телефоном Артемьева. Положила на кухонный стол, под будильник, чтоб не забыть, а потом из-за всей этой суматохи забыла. Она торопливо перебежала Садовую и пошла по Сретенке, все время думая о том, что Надина мама, разбираясь на кухне, могла вынуть эту бумажку из-под будильника, изорвать и выбросить...

Когда она открыла дверь и шагнула в переднюю, она сначала ничего не могла понять. Почти вся передняя была засыпана чем-то белым, а Надина мама, «папочка» и майор, их попут-

чик,— все трое стояли в разных углах передней на четвереньках и что-то делали.

Белое — был сахарный песок. Он горой лежал у двери на кухню, и из-под этой горы торчали углы наволочки. Наверное, его несли через переднюю в этой наволочке, и она лопнула, и песок рассыпался по всему полу. И теперь его собирали, а чтобы собрать, тесно прижав к полу пальцами листы бумаги, подгребали на них песок и понемножку ссыпали в стоявшие на полу два таза и суповую миску.

Когда Таня вошла, все трое, не вставая с корточек, подняли головы и посмотрели на нее, и ей стало смешно на секунду и почему-то страшно — тоже на секунду, а потом Надина мама, по-прежнему не вставая с корточек, крикнула ей:

— Ну, что ж вы стоите? Помогайте!

Она крикнула это таким голосом, что Таня почувствовала себя как на пожаре и, скинув шинель и повесив ее на ручку двери, тоже, как они, опустилась на четвереньки. И Надина мама, с треском выдрав несколько листов из лежавшей на полу толстой книги, дотянулась до Тани и отдала ей эти листы. И Таня взяла один лист и, прижимая его к полу, стала подгребать сахар и ссыпать его в суповую миску, стоявшую между нею и майором. Сначала она думала только о том, что это сахар, и что он лежит на полу, и что надо поскорее помочь подобрать его, подгребая с полу глянцевитым, вырванным из книги листом, на котором были нарисованы антилопы с детенышами. Она почувствовала, как ей мешает, упираясь в бедро, подаренный Кашириным маленький трофейный «вальтер», и передвинула его на поясе подальше на спину.

Все работали молча. «Как на операции»,— подумала Таня, но «папочка» вдруг нарушил молчание.

— Вот видишь, понемножку и подвигается,— заискивающим тоном сказал он Надиной маме.

— А я вообще не желаю с тобой разговаривать,— тяжело дыша, ответила Надина мама. — Только идиот мог вот так взять и потащить наволочку за углы, через весь дом. А вы тоже хороши,— сказала она майору, уже совсем задыхаясь («Наверное, у нее астма»,— подумала Таня),— приспичило сегодня, не могли до утра отложить!

— Не мог, потому что у меня завтра машины не будет,— сердито сказал майор и, не вставая с четверенек, потер рукой поясницу.

— Дали бы шоферу полкило, и завтра машина была бы,— отозвалась Надина мама. — Так нет, приспичило сегодня! Можно

подумать, что мы за ночь без вас отсыпали бы! Крохобор несчастный!

— Я попросил бы вас... — продолжая стоять на четвереньках, с достоинством сказал майор.

И Таня, повернувшись и посмотрев на его багровое лицо с белыми бровями, вспомнила, как он тогда, днем, пересчитывал вещи и как Надина мама сказала ему: «Не хотелось бы сегодня вечером», а он сказал: «Ну посмотрим»,— вспомнила и поняла сразу все. Они вместе везли, а теперь делили этот сахар, а может быть, и еще что-то другое, что они притащили сюда днем в своих тюках и обвязанных веревками тяжелых больших чемоданах. И этот майор помогал им откуда-то все это везти, потому что он в форме и ему легче верили и разрешали, а теперь он получает за это с них свою долю. А она, как дура, ползает на четвереньках и помогает этим спекулянтам собирать с полу их сахар, которого, наверное, столько не дают на целую неделю на весь тети Полин госпиталь...

Она встала и обдернула гимнастерку.

— Ужели устали? — спросила Надина мама.

— Нет. Но мне надо пройти к вам на кухню.

— Обождите,— сказала Надина мама,— вот соберем все, и пройдете. Если поможете — быстрее будет...

— А я спешу...

— На всякое хотение есть терпение! — сказала Надина мама. Она была раздражена, но все еще не хотела ссориться.

Таня ничего не ответила. Высматривая, как бы ей получше, поаккуратней пройти, она заметила то, на что раньше не обратила внимания: в углу у вешалки стояли кульки с, наверно, уже поделенным сахаром.

— Вы извините, но я все же пройду.

— Да вы что, человеческий язык понимаете или нет?! — повысила голос Надина мама. — Вы что, по нашему сахару, что ли, пойдете!

«Да, вот именно, по сахару, по их сахару!» — с ожесточением подумала Таня, хотя еще совсем недавно смотрела на эту гору прекрасного, белого, красивого сахара, не представляя себе, как можно наступить ногой на такую драгоценность. Она шагнула и пошла, хрустя сапогами, прямо через всю переднюю к дверям кухни. И Надина мама, вскочив с четверенек, закричала: «Сумасшедшая, дура! Сука!» И рванулась к ней, но вдруг вся пошла багровыми пятнами и, закашлявшись, опустилась и села прямо на пол на свой сахар. Хромоногий бросился к ней на помощь. А майор, в первый раз за все время вскочив с четверенек, закричал очень строго, словно Таня стояла перед ним в строю: «Това-

рищ военврач!» И это так разозлило ее, что она, стоя в сахаре, уже у самых дверей на кухню, заскрипев сапогами, повернулась к нему и, расстегивая за спиной кобуру «вальтера», медленно, с ненавистью сказала:

— А я вот постреляю сейчас вас всех к черту, спекулянты паршивые!

Несмотря на обманчиво спокойный голос, она была вне себя, и, если бы майор или хромоногий кинулись сейчас к ней, она бы стала стрелять. Но, на свое счастье, они кинулись не к ней, а от нее. Майор побледнел и, спиной открыв двери в столовую, отступил туда, схватившись за створки руками, готовый в любую секунду захлопнуть их за собой. А хромоногий необычайно быстро, словно паук, боком, не вставая с пола, обогнул жену и оказался за ее спиной.

Только одна Надина мама не испугалась, а сквозь душивший ее кашель прохрипела что-то мужу и, извернувшись, всей пятерней влепила ему пощечину — за трусость!

— Вы хуже фашистов,— сказала Таня, вынимая из-за спины пустую руку, без пистолета. — Только мараться о вас не хочется!

Сказала, повернулась и, уже не оглядываясь на них и не боясь, что они что-нибудь могут с ней сделать, последний раз хрустнув сапогами по их сахару, шагнула в кухню и закрыла за собой дверь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Артемьев, вопреки своим расчетам, освободился не в девятнадцать, а в двадцать, и, когда вышел от Ивана Алексеевича в адъютантскую, Косых сказал, что из бюро пропусков уже три раза звонила военврач третьего ранга Овсянникова.

Артемьев надел шинель, взял с подоконника сверток харчей, который приготовили в буфете ему на дорогу.

— Если еще позвонит, скажи, пошел к ней.

Сидевшая на скамейке в бюро пропусков Таня увидела входящего Артемьева, встревоженно вскочила.

— Получайте ваши проездные документы. — Он протянул ей литер и плацкарту.

— На когда?

— На сегодня, двадцать три тридцать.

— Большое вам спасибо. И прощайте! — сказала Таня. — Вам, наверное, некогда.

— Наоборот, в связи с вылетом на фронт получил шесть часов на завершение личных дел. А вы сейчас в Москве — единст-

венное незавершенное. — Он улыбнулся. — Поэтому провожу вас и отправлю. Сейчас зайдем к вам на Сретенку за вещами, перекусим чем бог пошлет — и на вокзал.

— Очень хорошо,— сказала Таня. — Но туда нельзя идти. Они сегодня приехали...

— А какая нам разница?

— Я там нагрубила им,— сказала Таня с виноватой улыбкой. — Чуть оружие не применила.

— Вот это здорово!.. Тогда дело серьезное,— расхохотался он и только сейчас по лицу ее понял, что дело действительно было серьезное. — А где ваши вещи?

— Я свой сидор уже забрала,— сказала Таня и показала на лежавший под скамейкой вещевой мешок.

Артемьев молча смотрел на эту маленькую женщину, думая: что же теперь с ней делать, куда девать до поезда? Потом вытащил из-под скамейки вещевой мешок, закинул его на плечо и, уже выйдя вместе с ней на улицу, сказал, как о решенном:

— Значит, так: сейчас идем к метро, проедем четыре остановки, слезем и пойдем ко мне домой — пятнадцать минут ходу. Погреемся — у нас дом топят — и попьем чаю... Если потом дежурную машину дадут, как обещали,— два часа имеем; если обманут — полтора. Так или иначе, к посадке будем на Казанском. Я вам говорил, что у себя на квартире не бываю, но вы не бойтесь, что там какая-нибудь берлога. Мне, живу или не живу, все равно убирают. Я вообще люблю чистоту. Держите сверток, тут наши с вами харчи.

Она взяла у него сверток и до самого метро шла рядом с ним молча. Он хотя и прихрамывал, но шагал так размашисто, что она еле поспевала.

— А кто вам убирает? — вдруг спросила она, когда уже они втиснулись в набитый вагон.

— Не то, что вы подумали,— сказал он и усмехнулся. — А теперь расскажите: что у вас стряслось на Сретенке?

Спросил с улыбкой, и она тоже начала рассказывать как о смешном, а не о страшном. И он расхохотался, когда она сказала про выдранные из книги листы с антилопами.

— Это она для такого дела Брэма не пожалела. «Жизнь животных». Действительно, жизнь животных!

Расхохотался так заразительно, что Таня тоже рассмеялась вместе с ним и сказала:

— Может быть, они и сейчас еще там ползают...

— Ну, а дальше, дальше-то что?

Тогда она, перестав смеяться, рассказала все до конца.

— А когда уже с вещами выходила, вдруг испугалась, подумала: выйду, а они на меня набросятся и задушат! Даже, стыдно признаться, «вальтер» на боевой взвод поставила.

— Ну, а что они?

— А их, оказывается, в передней не было. Я вышла, а этот хромой как высунет голову из столовой, увидел меня — и обратно. Чуть не прищемился! Напрасны были все мои страхи!

Она улыбнулась, но он оставался серьезным.

— Значит, Нади не было там с ними?

— Ну что вы,— сказала Таня. — Она, наверное, и не представляет себе этого. Когда они днем приехали, она с этим, с мужем своей матери, знаете как разговаривала — просто с презрением! Нет, она совсем другая, чем они. По-моему... — осторожно добавила она, вспомнив свою утреннюю стычку с ним.

Они вышли из метро и пошли переулками к Усачевке. На углу, около закрытой булочной, стояла женщина и колотила кулаком в запертую дверь. Ударила в последний раз, безнадежно махнула рукой и пошла по переулку, странно нагибаясь на каждом шагу.

— Хлебную карточку, наверное, потеряла,— сказал Артемьев. — В ноябре старушка, что у меня убирает, тоже хлебную карточку потеряла. И всего за неделю до первого числа. Я ей из пайка хлеб принес, а все равно сколько слез было! Нам, военным, хорошо, нас обязаны при всех случаях накормить, а гражданским — жуть как тяжело. Какие сволочи все же! — без паузы, со злобой сказал он.

И Таня поняла, что он вспомнил про этих, там на Сретенке.

— Конечно, если потянут к ответу, будут крутить: «На базаре купили, за свои деньги!» Пусть даже так, все равно сволочи... Если сахар не ворованный, значит, деньги ворованные. А если не ворованные, значит, с кого-то вместе со шкурой содранные. А иначе им и быть неоткуда.

— А люди стараются,— вдруг сказала Таня, даже остановившись от волнения, вызванного собственными мыслями. — Стараются, за Родину воюют... Так что же, неужели мы и их тоже защищаем, этих вот?

— А как же, конечно! — сердито сказал Артемьев. — Все, что у нас за спиной осталось,— все и защищаем. И их тоже.

— Я бы знаете как делала? Вылавливала бы таких спекулянтов — и прямо на фронт!

— А что проку с них на фронте?

— Нет, подождите. — Таня была увлечена своей идеей.— Я бы построила полк и поставила их перед строем... И чтобы про

них вслух прочитали, как они спекулировали, и пусть потом фронтовики с ними что захотят, то и сделают.

— Да, чувствуется в вас партизанская закваска.

— А вы не смейтесь,— Таня упрямо мотнула головой,— по-моему, как раз так и надо, как я вам сказала. А этот майор,— с ненавистью вспомнила она,— еще мне «товарищ военврач» крикнул, по стойке «смирно» хотел поставить! А у самого рожа как у этого у миллионера из «Золотого теленка», розовая, а брови белые. Прямо бы так ему в рожу и выстрелила, если б хоть шаг ко мне сделал. А еще военный, в форме!

— Да какой он, к черту, военный! Вы что думаете, как форму надел, так и свят перед Родиной? — усмехнулся Артемьев. — Замаскировался, сволочь, от войны в военную форму! Не такой уж редкий случай. Поедете — еще увидите.

— Не хочу и видеть! — воскликнула Таня. — Лучше я прямо здесь в военкомат пойду и на фронт уеду.

— Ладно дурака валять... Пошли, чего остановились? — сказал Артемьев, подтолкнув ее. — Пошли, пошли... Мать, а может, и отец ждут вас там, в Ташкенте... Совесть у вас есть или нет? Вы же телеграмму дали. Да будь у меня старики живы, я бы в отпуск после ранения по шпалам к ним пошел, не то что...

— А может, ваша мама жива, зачем вы так про нее, как про мертвую? — почти суеверно сказала Таня.

— Все может быть... — хмуро сказал Артемьев.

Узнав о смерти Маши, он уже не верил, что мать жива.

— Вот мы и дошли...

Сюда, к этим воротам, когда-то, после их последнего разговора втроем с Надей, его подвез на машине пьяный Козырев. В мае тридцать девятого, ровно тысячу лет назад!

— Видите, почти месяц не был, а полный порядок,— сказал Артемьев, когда они вошли в квартиру. — Свет горит, мебель стоит, пол чистый... В керосинку керосин налит, и спички рядом лежат. А Марья Герасимовна, которая все это в порядке содержит, знает меня тридцать лет и три месяца, столько, сколько на свете живу. А мать мою знала сорок лет. А сыновья у Марьи Герасимовны — один старше меня, а другой моложе, и оба убитые. А я живой... Недавно заполнял анкету, написал: мать пропала без вести. Вот какие дела, дорогой товарищ доктор! Начальнику своему не скажу, а тебе скажу: не прощу себе того, как эта война началась...

— Почему себе?

— А кому же? Моя же мать без вести пропала, мою сестру казнили... Кого же проклинать, с кого начинать? С себя, наверное, больше не с кого! Поняла?.. Ничего ты не поняла.

Но Таня поняла самое главное: что надо помочь этому человеку справиться с набросившимся на него одиночеством.

— А ну ее, эту вашу квартиру!..—сказала она. — Вы же мне сами говорили, что не любите заходить сюда, не надо было и сегодня... из-за меня. Поедем прямо на вокзал, там где-нибудь сядем и покушаем. И кипятку там достанем. Пошли! — Она потянула его за рукав.

— Нет, не пойдем, товарищ доктор,— улыбнулся он, посмотрев на нее,— с вами мне и здесь не страшно. Это так, под настроение попало, а вообще-то я не такой уж чувствительный, скорей напротив. Война из меня сухарей насушила...

Он снял с плеча вещевой мешок и, не дожидаясь, что ответит ему Таня, стал расстегивать шинель.

— Идите на кухню, хозяйничайте. Еще накочуетесь по вокзалам, успеете. Этот сверток весь в расход пускайте. Ну что, долго еще колебаться будем? Решение принято! — сказал он, видя, что Таня, положив сверток на табуретку, все еще стоит, не расстегивая шинели.

— Да, конечно, принято,— задумчиво сказала Таня и расстегнула верхний крючок шинели. — А из кого война сухарей насушила, тот этого не замечает. Это вы неправду про себя. А надо — правду. Кому это нужно, бояться этого!

Забрав с табуретки сверток, она пошла по коридору в кухню.

— Где у вас там выключатель?

— Слева от двери.

— А светомаскировка есть? — спросила она уже в дверях кухни.

— Есть.

Он посмотрел ей вслед и, когда она повернула выключатель, увидел в знакомом узком проеме кухонной двери полку с кастрюлями. Покойный отец смастерил эту полку своими руками вскоре после вселения в квартиру, и он хорошо помнил, как и когда это было. Отец прибивал полку, стоя на коленях на кухонном столе, а он стоял рядом, вытянувшись, одной рукой поддерживал полку, а другой подавал отцу гвозди. Было это в двадцать седьмом году, во время забастовки английских горняков. Было ему четырнадцать лет, и не было тогда еще ничего: ни конфликта на КВЖД, ни Хасана, ни Халхин-Гола, ни финской войны, ни этой... И что их всех ждет впереди, никто в этой квартире даже и не догадывался...

— Вот вы говорите, чтоб все друг другу сообщать, что в голову приходит, всю правду; а вот мне в голову пришло, что это не вы, а мать там, на кухне, посудой гремит. Это тоже надо вам говорить?

— Не знаю,— ответила она из кухни. — Если легче молчать, молчите.

— Нет, мне легче говорить. — Пройдя по коридору, он встал в дверях кухни. — Встретил позавчера школьного товарища, были когда-то пацанами, а сейчас — генерал, и вся семья погибла, аттестата некому высылать. И мне тоже некому. Пока вы мне про сестру не сказали, я все еще про самого себя не думал, что мне аттестат высылать некому. А теперь думаю!

— А я должна была вам это сказать, раз нашла вас. Разве можно скрывать такие вещи!

— Это верно.

— Я сосисок только половину сварю, а остальные вам оставлю.

— Варите все,— сказал он. — У меня аппетит здоровый, при любом настроении.

— Почему вы на Наде не женились? — не поворачиваясь к нему и продолжая заниматься своим делом, спросила она.

— А разве она вам, пока вы квартиру с ней убирали, всех подробностей не доложила?

— Никаких подробностей она мне про вас не докладывала. Только сказала, что виновата перед вами.

— Врет. Ни в чем она не виновата. Просто не любила меня. Даже лучше, что ничего из этого не вышло.

— А почему вы и потом ни на ком не женились?

Он молчал, потом рассмеялся.

— Почему вы смеетесь?

— Потому что, когда хочешь на такой вопрос совершенно правдиво ответить, в устах мужчины звучит как-то смешно. Но все равно, скажу: без любви жениться не хотел. Это неудачливые барышни обычно так о себе говорят: хотела выйти замуж только по любви! Не надо заставлять человека говорить все, что он думает, смешно получается.

— Ничего смешного,— сказала Таня, открыла крышку чайника с заваркой и понюхала. — Уже заварился. Крепкий, как до войны. Сказали, чтоб я ничего не жалела, вот я и не пожалела...

— Сейчас,— сказал он.— Только позвоню, будет ли машина, чтоб знать, в каком темпе ужинать.

— Оказывается, у вас даже телефон,— как о чуде, сказала Таня, когда он, позвонив и узнав, что машина придет, вернулся на кухню.

Она за два месяца на Большой земле все еще никак не могла привыкнуть, что в квартирах бывают телефоны, что на дверях висят почтовые ящики, что люди отправляют друг другу письма и телеграммы.

— Не было телефона, выключили,— сказал Артемьев. — Но у меня в Управлении связи один друг еще с Халхин-Гола, и я, когда думал, что иногда тут ночевать буду, попросил его сделать. Ладно, будем ужинать! Водки, правда, всего четвертинка!

— А я вам еще «тархуна» достану, мне тетя Поля свой дала,— поспешно сказала Таня.

— Нет, «тархун» по дороге на харчи менять будете.

Он открыл четвертинку и только тут заметил, что она не поставила себе рюмки.

— Если в мою пользу экономите, так я пошутил, что четвертинки мало.

— Не потому. Я позавчера слишком много выпила портвейна, до сих пор ничего не хочется.

— Тогда на дно, чтоб чокнуться.

Она молча подставила чашку и обрадовалась, что он и правда налил совсем немного.

— За ваше свидание с отцом и матерью! — Артемьев чокнулся и выпил.

— Боюсь, что отец умер. Как получила телеграмму с одной маминой подписью, все об этом думаю...

— Подождите, стойте... — остановил он ее. Он был полон добра к ней, и ему захотелось сделать для нее чудо. — Хотите, попробуем сейчас позвонить вашим родителям?

— Но это же невозможно,— ошеломленно сказала Таня.

— А мы возьмем да попробуем... — Он встал из-за стола. — У вас в телеграмме адрес был.

Она все так же ошеломленно вытащила из кармана телеграмму и протянула ему.

— «Караванная, девять»,— вслух прочел он. — Может, они там и живут в общежитии при заводе? Кого на заводе больше знают: отца или мать?

— Отца. Мать перед войной не работала.

— А вы пока сидите, чего встали? Это еще долгая песня.

Она опустилась обратно на табуретку, но, когда он уже был в дверях, окликнула его:

— Подождите...

— Ждать некогда,— сказал он. — Или звонить, или нет.

— Нет, нет, звоните, это я просто так... все не могу себе представить...

Она услышала через дверь, как он, вызвав какого-то полковника Харитонова, уговаривает его дать Ташкент, партком завода, который помещается на Караванной, девять.

— Ничего! Мне не найдут, а ты скажешь — тебе найдут... Потому и прошу тебя, что невозможно... Ну, что тебе объяс-

нять — нужно, значит, нужно... Нет... Партком вызываю, при чем тут женщины?.. Большое тебе спасибо, Николай! Утром улетаю на Донской. Первый же трофейный «вальтер» тебе пришлю...

Таня сидела и слушала; сначала чуть было не вскочила и не остановила его, чтобы не уговаривал: зачем это?.. А потом, когда он сказал «Спасибо, Николай!», подумала о муже, который тоже Николай, и даже не о нем, а о том, что почти никогда не думает о нем. Даже странно, до чего она не думает о нем!

Артемьев вернулся с радостным лицом. Он был доволен, что ему, кажется, удастся совершить чудо для этой женщины.

— Может быть, вы ему мой «вальтер» подарите? — спросила Таня, когда Артемьев снова сел напротив нее за стол. — Он у меня трофейный, не записанный за мной.

Ей было бы жаль, если б он согласился, но она все-таки предложила.

— Еще чего! Там, на Донском, этого добра, когда немцы сдадутся, через голову будет...

— А вы думаете, они сдадутся? — спросила Таня.

— А что же им делать?

— А мы там в тылу их ни разу в плен не брали. — Таня задумалась, потому что вспомнила, как Каширин, единственный раз за все время, изматерил ее, когда она пожалела двух захваченных в бою немолодых немцев из карательного батальона, пожалела и предложила что-то несуразное.

«Значит, тебе их жаль? — сказал тогда Каширин. — А мне их не жаль?.. Ты у меня за них просишь! А мне у кого просить? У царя небесного? Кто за чужой счет добрый, тот сволочь. Уходи... А то тебе самой прикажу их...»

Немцев из карательного батальона расстреляли, а Каширин потом неделю не говорил с нею. Обиделся, что напомнила ему о его жестокости, вынужденной, но уже привычной. Значит, и у него самого душу свербило от этого, иначе не обиделся бы, просто обругал бы, и все...

А теперь, если окруженные в Сталинграде немцы сдадутся, их будет много, очень много, так много, что трудно себе представить...

Хотя последние месяцы в газетах все время писали о тысячах и тысячах пленных, Таня плохо представляла себе целые тысячи взятых в плен немцев... Тысячи взятых в плен наших она видела — их взяли в октябре под Вязьмой, видела их издали на шоссе. А потом, когда она уже была в подполье и жила у Софьи Леонидовны, весной, в марте, большую колонну наших пленных гнали через Смоленск по их улице... И это было самое страшное и жалкое, что она видела в своей жизни,— раздетые, обмороженные

пленные, которых гнали по улице, а она стояла рядом на тротуаре и ничего, ровно ничего не могла для них сделать: ни дать им кусок хлеба, ни помахать рукой, ни улыбнуться, ни заплакать,— ничего. А теперь мы сами берем в плен немцев, много немцев... Радуясь этой мысли, она все равно еще не могла привыкнуть к ней.

— Чего задумались? — спросил Артемьев. — А то я все сосиски съем, вам не оставлю.

— Скажите,— она подумала о Серпилине, но не назвала его имени,— у меня есть полевая почта одного генерала. Если написать, чтоб он мне вызов прислал прямо туда, в Ташкент, в санитарное управление округа, чтобы мне именно к нему попасть, в медсанбат или в санчасть полка... Может это выйти?

— Зависит от должности и натуры генерала. Вы сперва до Ташкента доберитесь. — Артемьеву почудилось, что зазвонил телефон, он было поднялся и снова сел. — Послышалось... О чем будем говорить, пока Ташкент не дадут?

— А вы верите, что дадут?

— Дадут.

— О чем хотите.

— Вы правда замужняя? — спросил Артемьев. — Или это тетя Поля при мне так, на всякий случай, сказала?

— Правда замужняя. А почему вы спросили?

— А вы же сами меня агитировали: что придет в голову, то и говорить. Пришло в голову: почему вы ни разу о муже хоть из приличия не вспомнили?

— Не вспомнила, потому что не вспоминается... Вот сейчас, когда вы про немцев говорили, вспомнила, как наших пленных через Смоленск гнали, и про брата вспомнила, что он на войне, а про мужа не вспомнила, хотя с ним тоже все могло быть... Он, как и я, врач, наверно, с первых дней на фронте.

— Не обязательно.

Она пожала плечами. Ей казалось, что это обязательно.

— Мы почти разошлись с ним перед войной,— помолчав, сказала она. — Можно даже считать, что разошлись.

Она была не в настроении говорить о своем муже и сердилась, что Артемьев зачем-то спросил о нем. И хотя то, что она сказала в ответ, было совершеннейшей правдой, но это выглядело так, словно она спешит объяснить, что свободна. А не сказать этого она не могла. Раз он спросил ее про мужа, она хотела, чтобы он знал правду. А еще лучше было бы, если бы вообще не спрашивал...

Он почувствовал это, внимательно посмотрел на нее и заговорил о себе.

— Как видите, у меня никого на свете нет,— сказал он голосом, от которого она вздрогнула. — Вот мы сидим тут с вами на кухне, а я вспоминаю, как накануне отъезда на Халхин-Гол, получив назначение, но еще не зная, что через неделю буду уже ранен, пришел сюда, а мать стояла вот здесь, где вы сейчас сидите, и стирала белье. Настроение было у меня и скверное и хорошее, скверное потому, что известная вам Надя выходила замуж не за меня, а за другого, а хорошее потому, что ехал туда, куда хотел. А мать стояла, стирала и молчала. И я ее спросил: «Что же ты молчишь, ничего мне не говоришь, я ведь уезжаю!» А она ответила: «А что с тобой говорить, надо в дорогу тебя собирать!» И собрала меня в дорогу в последний раз, больше и не собирала и не видала, потому что отпусков нам с Дальнего Востока не давали.

— Вы на Донском фронте будете?

— Да.

— В какой должности?

— Если не обманут, начальником штаба дивизии, а нет — пойду на полк, кем раньше был...

Он не договорил: Таня вскочила,— она первой, потому что больше, чем он, ждала этого, услышала далекий звонок в комнате.

Он заторопился вслед за ней к телефону и, сняв трубку, сделал ей рукой знак подождать. Слышимость была плохая, он все время кричал. Его соединили с парткомом завода, и он стал кричать, чтобы ему вызвали к телефону Овсянникова, бывшего парторга сборочного цеха.

— А вам лучше знать, где он теперь у вас работает... А вы проверьте! — кричал он по телефону. — Как так не знаете, какой же вы дежурный по парткому, если парторга цеха не знаете? Тогда давайте мне Овсянникову... — Он сделал движение пальцами, и Таня поняла и подсказала ему: «Ольга Ивановна!» — Ольгу Ивановну. Работает у вас на заводе Овсянникова Ольга Ивановна? Так... — И, не отнимая трубку, закивал Тане, что работает. — Вот и зовите ее, раз близко... Я ждать буду, только пусть трубку кто-нибудь держит, а то разъединят... — И, прикрыв рукой трубку, сказал Тане: — Пошли за твоей матерью, сказали: в литейке работает, недалеко от парткома.

— А что про отца сказали?

— Говорит, не знаю такого парторга, я человек новый.

Он услышал что-то в трубке и сердито крикнул:

— Не разъединяйте! Москва говорит...

Таня снова хотела спросить его об отце, но, удержав себя от этой бессмыслицы, закусила губу, прислонилась к стене и стала ждать. Она стояла зажмурясь и еще два или три раза слыша-

ла, как Артемьев повторял громким, злым голосом: «Не разъединяйте, Москва говорит...» И вдруг, все еще с зажмуренными глазами, почувствовала прикосновение его руки:

— Скорее!

И, схватив трубку, закричала:

— Мама, мама!..

Сначала ничего не услышала, только шуршание в трубке, а потом далекий, слабый голос:

— Это я, Овсянникова, что такое?

— Это я, мама, я, Таня... мама!.. — А в трубке опять ничего не было слышно. — Мама... мама!..

Артемьев сначала стоял рядом с ней, готовый вмешаться и помочь, если что-нибудь будет не так, а потом, поняв, что помощь уже не нужна, ушел на кухню.

— Да, мама... да, да! — кричала Таня. — Все хорошо, все хорошо... Как папа? Когда? Ох... боже мой! Где? Как Витя? Когда?

Несмотря на закрытую дверь, все это было слышно, и Артемьев сидел на кухне и жалел, что устроил этот полный непоправимостей разговор по телефону. А Таня там, в комнате, все еще кричала:

— А извещение было?.. А? — Потом, очевидно, отвечала на вопросы: — Не знаю точно, наверное, дней через семь... Ты не встречай... Я знаю, я найду... Нет, не встречай, я сама найду... Что, что?.. Вернулся? — И несколько раз настойчиво, отчаянно повторила: — Нет, нет, я запрещаю тебе... Нет... Не хочу, нет... — А потом снова: — Мама, мамочка... Мама!..

«Разъединили»,— подумал Артемьев, услышав, как лязгнула о рычаг трубка.

Таня вернулась в кухню притихшая, оглушенная. Он не стал расспрашивать ее. Того, что слышал, было достаточно, чтобы понять: ничего хорошего. Он ждал, а она сразу, как вошла, опустилась на табуретку, сидела и молчала, тяжело дыша, словно после долгой и трудной ходьбы.

— Отца схоронили,— наконец сказала она,— в прошлом году, а брат убит в позапрошлом. Мама живет одна. Сказала мне: ты меня и не узнаешь! Почему я ее не узнаю?

— Ну, изменилась, постарела, это, наверное, хотела вам сказать, предупредить заранее.

— Да, конечно,— согласилась Таня и тревожно вскинула голову. — Но почему же, почему я ее не узнаю?

Эти слова беспокоили ее и пугали.

— А муж мой жив,— помолчав, сказала она,— а я даже сразу не поняла, когда мама сказала: Николай твой здесь, в Ташкенте. Только потом поняла, что это о нем.

— Хоть что-нибудь хорошо!

— А что хорошего? — рассеянно сказала Таня.

— Хотя бы то, что жив. Лучше как-никак, чем если б убит был! — сердито сказал Артемьев.

— Да, конечно, конечно,— снова покорно и рассеянно согласилась Таня. — Хорошо, что не убит. Мама сказала, что он нигде и не был. — И вдруг, подняв глаза на Артемьева, спросила: — Так что же теперь, когда я опять на фронт уеду, свой аттестат ему туда, в Ташкент, высылать?

— Про аттестат — бабьи глупости! — сказал Артемьев. — Аттестат матери будете высылать.

— Хорошо, пускай бабьи глупости, ну а понять меня вы можете? — со злым отчаянием в голосе спросила она.

— Мало ли что человек в тылу. Сам факт еще ничего не говорит.

— А понять меня вы все-таки можете или нет? — настойчиво повторила она.

— Понять могу.

«Да, я баба, баба, я несчастная баба,— хотелось крикнуть ей,— но я все равно хочу счастья, а не мужа в тылу, который только тем и хорош, что жив! Да, может быть, он остался там в тылу просто потому, что у него так вышло. Но мой отец умер, мой брат убит, а он и нигде не был, и я узнала все это сразу, только что, за одну минуту, и я не могу думать о нем, забыв о них, и не могу поверить, что он нигде не был только потому, что так вышло, и мне странно представить себе, что я должна теперь радоваться и ехать к нему, раз он мой муж и раз он жив, жив, потому что нигде не был. Поэтому я и крикнула: «нет», когда мама сказала, что будет встречать меня вместе с ним. И я не могу представить себе, что опять, как до войны, лягу с ним в одну постель. И не могу всего этого объяснить вам. Никому не могу объяснить. А вам тем более».

— Очень любили отца?

— Да, очень. Больше всех на свете! — сказала она. И это было правдой, хотя она сейчас думала не об этом.

— А я знаете как любил своего отца! — сказал Артемьев. — Когда он умер, я первые полгода на его токарный станочек, что он к подоконнику приладил, смотреть не мог. А потом одно на другое, война на войну — и забыл, привык и даже почти не вспоминаю. Как будто это в порядке вещей, что его нет. Так и у вас будет. Как бы ни любили, все равно будет.

«Ну, чего утешаешь! Чего ты меня утешаешь? Самому, что ли, лучше? — испытывая к нему горькую благодарность, подумала Таня. — Я хоть к маме еду. А у тебя вообще никого. И сам

уже два раза ранен, а на третий — возьмут и убьют! Полетишь завтра на фронт, а послезавтра убьют. Очень просто. Так и бывает. Убьют — и все!» — упрямо повторяла она про себя, хотя все ее существо сопротивлялось этой такой простой и обычной во время войны мысли.

— Посидите здесь, я сейчас приду,— сказал Артемьев, который, так и не дождавшись от нее ответа, не знал, радоваться или бояться за нее, что она сидит, молчит и не плачет.

Он вышел, а она почти сразу же, как только он вышел, заплакала. Встала, подошла к висевшим на стене старым ходикам и с треском подтянула за цепочку гирю. Но маятник все равно не закачался, и ходики не пошли, и на кухне снова стало так тихо, что она заплакала от этой тишины...

Но когда Артемьев вернулся, она уже не плакала, а стояла у стола и завертывала обратно в бумагу все, что осталось от ужина.

— Уже ехать? — спросила она.

— Да, надо спускаться.

— Куда это положить?

— Пока в руки возьмите,— ответил он, но, когда они перешли из кухни в переднюю и оделись, он опустился на одно колено и развязал ее вещевой мешок. — Давайте сюда, войдет.

— А может, разделим? Вам ведь самому лететь!

— Лететь — не ехать,— весело сказал он, потянув у нее из рук сверток, сунул в мешок и, завязав, вскинул мешок на плечо. — А надвое мы ваше курево разделим. Вы, я вижу, курец слабый, две за вечер, а мне своих до утра не хватит.

Она заторопилась, полезла в карман шинели за папиросами, но он остановил ее:

— Потом, на вокзале.

У самой двери лежал рюкзак, которого здесь не было, когда они входили.

«Так вот чего он уходил,— подумала Таня. — Собирал свои вещи»,— и вслух спросила у него:

— С собой, в дорогу?

Он не ответил, наверное, не расслышал.

— Давайте я хоть это понесу,— сказала Таня. — А то мой мешок тяжелый. Тетя Поля заставила все ваши консервы взять.

Он посмотрел на нее, потом на рюкзак, хотел, кажется, что-то сказать, но не сказал и, прикинув рюкзак на руке, протянул Тане.

Рюкзак был совсем легкий, и она закинула его за одно плечо, так же как Артемьев ее вещевой мешок.

— Подождите, свет на кухне не погасил,— сказал он, когда они уже вышли на лестницу, отпер дверь, вошел в квартиру и через минуту вернулся.

«Пути ему не будет»,— подумала Таня, не потому, что верила в это, а потому, что так всегда говорила мать, и это бессмысленной тревогой на всю жизнь осталось в памяти.

— Погасил,— сказал он, щелкая ключом. — А то бы горело до конца войны.

Таня понимала, конечно, что он шутит, что завтра или послезавтра сюда пришла бы старуха, о которой он говорил, убирать квартиру и погасила бы забытый свет, но в самой этой невеселой шутке приучившего себя к одиночеству человека было что-то покоробившее Таню. Ей показалось, что вот так же, спокойно и просто, как, не думая о возвращении, он запер сейчас свою квартиру, он и ее проводит на поезд, посадит на хорошее место, помашет рукой через окно и сразу же забудет навсегда. Да, именно так и будет. А почему это должно быть иначе?

На вокзале, когда они с помощью дежурного помощника коменданта нашли и заняли место в вагоне и, оставив там на попечение соседей вещевой мешок, снова вышли на перрон, Артемьев протянул ей свой рюкзак и сказал:

— Возьмите с собой, ладно?

— Почему? Что это? — удивленно спросила она.

— Там потом разберетесь.

— А все-таки что там? — снова спросила она, все еще не принимая у него из рук рюкзака, но уже смутно догадываясь, что там могло быть.

— Я вещи сестры собрал. В голову пришло, когда с вами сидели. Там немного у нее, ничего особенного. Но, может, вам пригодится. Ну, ушьете там себе, в общем, не знаю. Она тоже небольшая была.

Тане хотелось крикнуть, что нет, ничего она не будет ушивать и ничего этого никогда не наденет, она боялась оскорбить его и молчала.

Но он относился к таким вещам, наверное, проще и умней, чем она думала, и, почувствовав ее колебания, сказал:

— А не захотите — не надо! Просто на барахолке на рис смеяете. Мать подкормите и сами тоже... Если думаете, что она там у вас сытно живет, то напрасно. Берите.

И она взяла и еще, наверное, целых десять минут, почти до самого отхода поезда, стояла напротив Артемьева на перроне с этим рюкзаком в руках. Она смотрела на него и думала о том, какой он хороший человек и действительно настоящий, бескорыстный товарищ, которому совершенно нет дела до нее как до

бабы. А она не стоит такого хорошего отношения с его стороны. И очень хорошо, что поезд отойдет и все это кончится. Там, у него в квартире, она на минуту испугалась, не его, а себя самой, того, как ее вдруг потянуло к нему. А сейчас на перроне чувство страха исчезло от той бесповоротности, о которой напоминала проводница вагона, уже в третий раз повторявшая все одно и то же: «Провожающие, покиньте вагон. Отъезжающие, прошу садиться!»

Он был провожающий, а она была отъезжающая. И он сам напомнил ей об этом, потянув за рукав к подножке вагона.

— Садитесь!

И она, поддержанная его сильной рукой, вскочила на подножку и в последний момент, рывком вытащив из кармана, протянула смятую пачку папирос и растерянно улыбнулась ему.

И весь день, и весь вечер, и даже всего минутою раньше совершенно не думавший об этом, Артемьев с удивлением увидел ее вдруг переменившееся лицо. «Вот те на,— подумал он,— когда же это произошло и неужели произошло?»

А потом это лицо исчезло, и смутно появилось еще раз в мерзлом тумане медленно двинувшегося окна, и снова исчезло, и у него, уже не впервые в жизни, появилось щемящее чувство, что мимо него бессмысленно и неудержимо проехало его собственное счастье, которого он опять не узнал и принял за чужое!

«Черт его знает, почему до сих пор так ни разу и не полюбил по-настоящему хорошей женщины! Просто проклятие какое-то!» — подумал он как об уже привычном и непоправимом и остановился у дверей вокзала около заиндевевшего, облупленного, скорее всего сломанного автомата.

«Если вдруг окажется, что все-таки работает, позвоню»,— загадал он. И, вытащив записную книжку, отыскал телефон, который ему дала Надя.

Автомат был исправный, монета звякнула и полетела вниз, а в прижатой к уху ледяной трубке раздался низкий, усталый, а может быть, просто сонный голос Нади:

— Я слушаю.

— Это я,— сказал Артемьев.

— Я ждала твоего звонка,— сказала Надя. — Уже проводил в Ташкент свою докторшу?

— Да.

— У мамочки была, валерьянкой ее отпаивала. Поэтому все и знаю. И решила, что ты или позвонишь мне сразу после отхода поезда, или уже никогда не позвонишь.

— И когда поезд отходит, узнала?

— Узнала, не поленилась. Значит, проводил?

— Да.

— Она дала сегодня мамочке и папочке жару. Я почти сразу после нее пришла, они мне плакались. Молодец баба! Даже завидую...

Он ничего не ответил. Молчал. Не хотелось говорить с Надей об этой только что уехавшей маленькой женщине.

— Павел...

— Да...

— Зачем ты мне позвонил?

— Отбываю.

— Надолго?

— Не знаю.

— Есть еще время?

Он посмотрел на часы.

— Есть, но мало, через два часа с минутами должен явиться к начальству.

— Приезжай. Горького, четыре. Квартира шесть.

— Стоит ли?

— Не стоит. Но все равно приезжай. Поговорим. Чаем напою. Только имей в виду, чай будет без сахара,— усмехнулась она в трубку. — Слезы выслушала, а сахара не взяла, пусть сами жрут! Не люблю ворованного. А ты сейчас не ворованный? А то не надо. Бог с тобой.

— Не ворованный. Не у кого.

— Про бывшую любовь говорить не будем?

— Не будем.

— Тогда приезжай. Я тоже врать не хочу. Надоело. И незачем.

Он повесил трубку, вытащил из кармана смятую пачку папирос, нашел одну несломанную, закурил и подумал:

«А может, все-таки не ехать?», хотя уже знал, что поедет.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Синцов заворочался и проснулся с той же мыслью, с какой заснул,— о Серпилине.

В землянке по-прежнему был он один. Никто еще не вернулся. Зашуршав соломой, он повернулся со спины на бок и, заворотив рукав ватника, посмотрел на трофейные, со светящимися стрелками часы — подарок батальонных разведчиков к седьмому ноября в Сталинграде. Восемнадцать часов. Значит, несмотря на прошлую бессонную ночь, проспал всего два часа и проснулся раньше необходимого.

То, что Серпилин тут, в армии, начальником штаба, узнал еще вчера вечером, как только прибыл из фронтового офицерского резерва сюда, на северо-западный участок сдавившего немцев кольца. Перед наступлением, в ожидании будущих потерь, половину резерва заранее рассовали по штабам армий, чтоб были под рукой. Вчера здесь, в землянке, где, выполнив за день разные, какие придется, штабные поручения, собирались на ночлег еще не получившие назначений офицеры, сразу же услышал фамилию Серпилина. Услышал и спросил, не тот ли Серпилин, что командовал дивизией под Москвой.

Когда подтвердили, подумал, что хорошо бы увидеться. Только вопрос: когда? Перед началом наступления начальнику штаба армии при всем желании не до тебя. И с чем идти к нему? Просить, чтобы по старому знакомству удовлетворил ходатайство и отправил тебя из своей армии обратно на берег Волги, в 62-ю, где ты воевал до госпиталя? Но просить об этом, уже прибыв в распоряжение другой армии, поздно. Когда заикнулся об этом позавчера во фронте, там не приняли во внимание, пошутили, что теперь все равно: кого куда ни пошли, к концу боев все так и так сойдутся с разных сторон на одном пятачке, в Сталинграде.

На войне исполнение личных желаний — в порядке исключения. И кто не привык к такому взгляду на вещи, наплачется. На этом вчера пресек в себе мысль о встрече с Серпилиным и стал прислушиваться к общему разговору о предстоящих назначениях. В армии перед наступлением был комплект офицеров, и все собравшиеся в землянке находились в равном положении: стояли в затылок за кем-то, кто, может быть, уже в первый день наступления будет убит или ранен. А кто за кем, неизвестно. Потерь при наступлении в первую очередь следовало ждать среди командиров рот и батальонов. Об этом и говорили.

Среди собравшихся вчера в землянке только один лейтенант еще не воевал, прямо из училища. Он, как ему и положено по штату, горячился: «Хоть на взвод, только бы поскорее». Все остальные были из госпиталей, после ранений. Но и они высказывались в том же духе: стремились на командные должности, на батальон или роту. Сказывалось общее настроение — поскорее добить немцев в Сталинграде. А если кто и не был до самых печенок искренен, говоря, что не хочет задерживаться в штабах, то ведь каждому в душу не влезешь. Играли роль и характер, и прежняя должность, и что засело у человека в памяти в последнюю минуту боя перед ранением.

Однако на словах против общего настроения никто не шел. И Синцов тоже, когда его спросили, ответил, что хочет на батальон, хотя про себя до этого думал, что, если назначат в

штаб полка, возражать не будет: как-никак, а за плечами четыре ранения. Если бы обратно в развалины Сталинграда, туда, где воевал, тогда только на свой батальон и никуда больше. А раз заново — можно и в штаб полка. В общем, куда пошлют.

Так думал вчера. А сегодня, три часа назад, возвращаясь из 111-й дивизии, куда доставлял пополнение, вдруг увидел Серпилина.

Из штабной землянки выскочил командующий армией и, чуть не налетев на откозырявшего и замершего Синцова, прошел к машине и открыл дверцу. Вслед ему из землянки выбежал Серпилин в одной гимнастерке и, догнав командующего уже у машины, вытянулся — руку к шапке — и что-то сказал. Что — Синцов не расслышал.

— Все равно, как приказано, так и делай! — сказал командующий и поставил ногу на подножку.

Но Серпилин не отошел, а продолжал стоять вплотную, мешая командующему сесть в машину. Синцов услышал его знакомый, высокий голос.

— Слушаюсь! Но доложу свое мнение во фронт.

— Тогда считай, что не сработались,— подняв голову и посмотрев в глаза Серпилину, сказал командующий.

И по его лицу было видно: ждет, что Серпилин одумается и скажет что-то другое.

Но Серпилин молчал, продолжая стоять навытяжку, только чуть заметно повел на морозе лопатками.

Наверно, командующий не прочел на его лице того, что ожидал прочесть, и, негромко буркнув, должно быть выматерившись, грузно сел в машину, запахнул полу бекеши и с хряском захлопнул дверцу перед носом так и не тронувшегося с места Серпилина.

Машина рванулась, швырнув из-под задних колес струю грязного снега на сапоги Серпилину.

Серпилин ударил сапогом о сапог, еще раз повел под гимнастеркой худыми лопатками, круто повернулся и мимо Синцова, не видя его, пошел к себе в землянку.

В хромовых сапогах, в туго затянутой ремнем гимнастерке он показался Синцову худей, легче и моложе, чем раньше. Его лошадиное лицо было непокорно вздернуто, а на костистой скуле играл злой желвак. Этот упрямый желвак на костистой скуле вдруг напомнил Синцову, что Серпилин наполовину татарин. Когда-то, в сорок первом, в ночь перед прорывом из окружения, Серпилин неожиданно заговорил с ним о своем детстве. Почему? Кто его знает почему...

Плащ-палатка, которую Серпилин резко отдернул, входя в землянку, еще колыхалась, и Синцов продолжал стоять и смотреть вслед Серпилину, на еще колыхавшуюся плащ-палатку.

На войне у человека тоже бывает своя первая любовь. И для Синцова такой любовью был Серпилин, потому что первая встреча с этим человеком была для него тогда, в сорок первом, возобновлением веры в самого себя и во все то, без чего не хотелось жить.

«Я помню чудное мгновенье...» — подумал он, усмехнулся, потому что смешно было так думать о знакомом генерале, и пошел докладывать по начальству, что пополнение в 111-ю доставлено.

Доложив и не получив других поручений, он пришел сюда в землянку и залег на верхние нары. Мысль о Серпилине не помешала заснуть, но сейчас, когда проснулся, не выходила из головы. А впрочем, теперь это была уже не мысль о Серпилине, а вызванные встречей с ним мысли о самом себе. Жизнь за минувший сорок второй сложилась из двух госпиталей, в начале и в конце, трех месяцев в тылу на курсах младших лейтенантов — после первого госпиталя и семи месяцев войны — перед вторым госпиталем. Воевать все семь месяцев посчастливилось в одной дивизии: прибыл в начале мая, когда наступали на Харьков, а убыл по ранению в начале декабря из Сталинграда; батальон занимал развалины трех жилых домов, впереди, в сорока шагах, были немцы, а сзади — Волга, за которой, как известно, земли нет.

Кто это первый сказал, неведомо, но в общем так оно и было, соответствовало настроениям. Землю эту, а верней, покрывавшие ее снега, он увидел на том берегу, придя в сознание, когда раненых перегружали с саней на машину. Снега были необъятные, белые, исполосованные грязными плетями дорог. А рана была пулевая, сквозная, в бок, почти туда же, что и первая, в начале войны, под Бобруйском, и опять нетяжелая, но с большой потерей крови. Немцы были уже третью неделю окружены в Сталинграде, казалось, близок конец, и хотелось довоевать до него, командуя своим батальоном. Хотелось, но не пришлось.

Все семь месяцев, с самого начала, он воевал не только в одной дивизии, но и в одном батальоне, пройдя в нем все мыслимые офицерские должности: командовал взводом, ротой, замещал командира батальона, снова командовал ротой, был и адъютантом, и начальником штаба, и опять замещал убитого комбата, пока не прибыл новый. И наконец, за два месяца до своего ранения заменил и этого нового, тоже убитого, став пятым по счету комбатом, если считать с майских боев.

Любили его в батальоне? Во всяком случае, не дожидаясь приказа, сами вытащили, раненного, из-под огня. А это сильней слов. И его благодарность к людям была частью тоски по своему батальону.

Самое главное в его судьбе на войне решилось еще в сорок первом, в ту октябрьскую ночь последнего свидания с женой, когда он сказал ей, что пойдет воевать кем угодно и несмотря ни на что. И, сказав, сделал.

А дальше перед ним уже лежала простая и страшная солдатская стезя: идти и убивать немцев до тех пор, пока тебя самого не убьют или не ранят.

И он пошел по этой стезе. Он не забыл, что начинал войну журналистом, политруком, человеком с партийным билетом в кармане гимнастерки. Он не забыл и того, что не рвал и не жег этого билета и что когда люди не верили ему, то совершали над ним несправедливость, с которой у него хватало сил не мириться. Он выбыл из строя и лег на операционный стол в декабре под Москвой — через неделю после того, как увезли в госпиталь Малинина; лег, так и не узнав, что, останься он еще хотя бы месяц в строю, в той же части, эта несправедливость рухнула бы так же внезапно, как возникла. У него были вспышки гнева против этой несправедливости, но он, не дожидаясь справедливости, воевал кем пришлось, и это не дало ему ожесточиться. Каждый день рядом с ним умирали хорошие люди, нисколько не меньше его надеявшиеся жить, умирали, и это само по себе было такой чудовищной несправедливостью, что, глядя на них, не находил сил думать о себе. Или хватало совести не думать. И то и другое, когда как.

Но в госпитале, слава богу, выздоравливают чаще, чем умирают, и жизнь, бравшая свое, напоминала обо всем, что в ней было, в том числе и об обидах.

Он написал из госпиталя сразу пять писем и получил три ответа.

На письмо в часть — «Как с моим партийным делом?» — ответа не пришло.

Из Читы, куда он написал брату жены по довоенному номеру его войсковой части, тоже не ответили.

Зато на прямой запрос о жене ответ пришел неожиданно быстро. Батальонный комиссар с неразборчивой фамилией сообщил, что об Артемьевой М. Т., убывшей для выполнения служебного задания, у командования части сведений не имеется.

Старик Попков ответил открыткой, что на квартире никого нет и не было, никто не приходил и ничего не писал, а сам он болеет и навряд ли встанет.

Из райкома написали, что о ранении Малинина они знают, но сам он о себе не писал, и в каком он госпитале, пока неизвестно.

Круг замкнулся, и судьба ни с какой стороны не обещала, что он разомкнется.

В конце января сорок второго года, при переводе в команду выздоравливающих, комиссар госпиталя проявил чуткость и предложил похлопотать об увольнительной на десять суток в Москву.

— Вдруг что-нибудь узнаешь там о жене?

Но Синцов понимал, что сейчас узнавать о жене нечего. Все, что знали, ему уже сообщили — что ничего не знают. А в чудо случайной встречи он не верил. Тем более что один раз она уже была. Добираться же с пересадками четверо суток от Кургана до Москвы и столько же обратно, чтоб просто прожить в Москве два дня,— чего он там не видел?

Была, правда, в голове мысль, связанная с Москвой: добраться до своей старой редакции. Но где она теперь, в Москве или где-то в поезде, кто ее знает? А если б и нашел ее, то о чем говорить и чего просить? Если уж на передовой, несмотря на бои, на орден, на заступничество Малинина, не нашли нужным восстановить в партии, то что сделают в редакции? А просто устроиться, попросить, чтоб взяли кем угодно, хоть корректором, только бы в редакцию,— такая мысль хоть и мелькнула, но уже не смогла взять верх. В нем сидела теперь солдатская ревность к своей прежней профессии. Хотя, читая газеты, понимал: нельзя описать в них всего, что видишь на фронте, но все равно молчаливо сравнивал то, что видел, с тем, что писали, и злился, встречая брехню. Люди, как и до войны, писали по-разному: одни не теряли совести, а другие, видать, ее никогда и не имели.

Вместо Москвы попросил дать увольнительную в город. Комиссар пожал плечами и дал, а курганский горвоенком, к которому пришел прямо из госпиталя с просьбой зачислить на курсы младших лейтенантов, думал недолго. Курсы — не из тех заведений, где отсиживаются от войны. Четыре месяца, а то и меньше на харчах по второй норме — и готово, испекли, поезжай, где стреляют, принимай взвод! Синцов был, на взгляд военкома, человеком подходящим: старший сержант с опытом боев, с орденом Красной Звезды, после ранения, вдобавок с образованием. Таких людей мимо курсов не пропускают.

На девяносто пятый день учебы выпустили досрочно, построили, поздравили младшими лейтенантами, предписание в зубы — и на фронт. Готовилось наступление под Харьковом, и передовая заранее просила резервов; лейтенантская жизнь в дни

наступлений недолгая — в среднем от ввода в бой и до ранения или смерти девять суток на брата.

Решение пойти на курсы принял, в душе считая, что способен на большее, чем делал до сих пор. Курсы открывали к этому путь, а война подтвердила, что это действительно так.

Наступал на Харьков, командуя взводом, а уже через три недели выводил из окружения батальон, потому что, когда одной бомбой убило всех, кто был на командном пункте, именно он, несмотря на единственный кубарь в петлице, вдруг оказался самым старшим из всех оставшихся в живых лейтенантов.

Может, сказался солдатский опыт, а может, давно копившееся беспощадное ожесточение против фашистов, которые опять гнали нас по открытой степи, как собаки — зайцев. У кого-то в те минуты не хватило этого ожесточения, а у него хватило, и оно бросило его на землю рядом с забытым кем-то противотанковым ружьем, и приказало лежать и ждать, и нажало на спусковой крючок не раньше и не позже, а вовремя, и зажгло немецкий танк на глазах у отходившего батальона.

То превосходство в бою, когда при равных правах именно тот, а не другой принимает команду над остальными, возникает из самых простых и очевидных для всех вещей. Из того, что ты зажег танк. И из того, что, когда фашисты уже перестали стрелять, а уткнувшиеся в землю люди еще не заметили этого, ты первый поднялся в рост. И из того, что ты на неоседланной лошади подскакал к уже снявшимся с позиций артиллеристам и убедил их повернуть пушки и дать залп по танкам на горизонте, и они послушались тебя и дали, и один танк загорелся, а другие ушли. И из того, что в ужасную для тебя и для всех минуту у тебя не было написано ужаса на лице, и это заметили, и голос у тебя не сорвался на хрип, а остался голосом, и ты подал им немудрящую команду, до которой в менее тяжелую минуту додумался бы каждый, а в ту минуту — ты. Ну и, конечно, нужно еще, чтобы, пока ты делал все это, тебя не убило и не ранило.

Так из числа оставшихся в живых за несколько дней и недель рождаются командиры, способные на большее, чем о них думали раньше.

Младший лейтенант Синцов вывел за Дон к другим частям дивизии половину батальона и еще сотню прибившихся с оружием и без оружия людей.

Батальон принял прибывший из штаба дивизии капитан, а младший лейтенант Синцов принял в том же батальоне первую роту. Он оставался еще младшим лейтенантом, но дать ему теперь под команду меньше роты было бы не по-хозяйски; это знали и другие, знал и он сам.

Дивизия, отступавшая от Харькова и дравшаяся до последнего, догола, была отведена на пополнение в тыл, а потом в середине сентября, когда все висело на волоске, была брошена через Волгу в центральную часть Сталинграда. Она и до сих пор все еще воевала там, среди поименно известных ему, Синцову, комбату этой дивизии, развалин домов, от Г-образного на левом фланге до циркульного — на правом.

Она была — *его* дивизия, а он был — *ее* комбат, потому что в ней он окончательно нашел свое место на войне и самого себя. В ней ходил под обстрелом вдоль берега три километра туда и обратно за своим орденом Красного Знамени. В ней получил и лейтенанта и старшего лейтенанта. И в ней же, как отличившийся в боях, заново вступил в партию, имея рекомендации от людей, в глаза не видавших его до прихода в дивизию, но узнавших его под огнем, а значит, лучше, чем мать родная.

Один из них, Шавров, командир полка по должности и ровесник Синцова по годам, убедил его написать в автобиографии фразу, которая, не уводя от истины, в то же время не запутывала дела: «Утратил партбилет, находясь в окружении».

Синцов рассказал ему все, и Шавров верил своему комбату до самых печенок, но в ответ на возражение, что лучше написать подробно, все, как было, отрезал:

— Хочешь проверяльщикам еще на год работы задать? Доживем до победы — все и всем докажешь. И стаж восстановишь. А не рассчитываешь дожить — напиши для очистки совести все, как было, и в медальон положи. А если кто и в смертном медальоне прочтя не поверит, тот сволочь!

Класть в медальон Синцов ничего не стал, но грубые дружеские слова Шаврова вдруг с хрустом повернули в его душе и поставили на свое место то вывихнутое, к чему когда-то подступался Малинин, да так и не успел, а может, и не сумел бы вправить тогда, в сорок первом, когда еще не вышло решения без волокиты заново принимать в партию тех, кто отличился в боях.

Теперь предстояло служить в новой, еще неизвестно в какой части. Как за пределы армейского госпиталя выскочил, дальше по воле волн, начинай все с чистого листа. На какие только ухищрения люди не идут, на обман, на что угодно, только бы попасть обратно в свою часть. Видимо, все-таки слишком сильное это желание — жить и умереть среди тех, с кем свыкся в боях. И обычно все напрасно: кого куда!

Конечно, война большая, это верно, и жрет людей много, нынче тут, завтра там... И приходится брать их в горсть и совать туда, где жиже. Это понятно. Но обидно, когда и могут сделать, а не делают! Привыкли не вдумываться в чужие желания: а

вдруг они исполнимые? А это ведь тоже на войне нелишнее. Человек не спичка, ему не все равно, в какой коробок лечь. И желание-то было проще простого: довоевать в Сталинграде до конца в своем батальоне. И конец этот, наверно, уже не за горами. Может, еще неделя — и все.

А что потом? Тишина?.. Ему трудно было представить себе, что в Сталинграде может наступить тишина. Тишина между двумя налетами — понятие знакомое. А чтоб вообще тишина...

Он еще раз повернулся на нарах, почувствовав шедший от стены холод.

В Сталинграде, как и большинство офицеров полка, ходил в ватных брюках, меховой телогрейке и поверх нее в коротком солдатском ватнике. Так было ловчее и перебегать и лазить по узким ходам сообщения, по кротовым, прорытым под фундаментами норам.

Так в ватнике и ранило, когда привычно перебегал через открытое место, через которое до этого перебегал тридцать или сорок раз. А полушубок так и остался лежать там, на топчане, в подвале дома, в штабе батальона.

Еще вчера ночью, когда приказали привести с места выгрузки пополнение в 111-ю дивизию, пожалел о полушубке. К утру мороз хватил под тридцать и с ветром; пока вел колонну, продрог до костей. И сейчас, ворочаясь и чувствуя стужу земли, снова подумал о том же — об оставленном в Сталинграде полушубке.

Если бы Селезнев, ординарец, был жив, то, конечно, не забыл — раненого в дорогу одел бы полушубком. Но Селезнева убило на глазах. Полз навстречу, чтоб помочь, тюкнуло пулей под край каски, так и лег, как полз, вытянув голые руки без рукавиц. Поцарапал ими по снегу — и затих.

В землянку кто-то вошел и, закряхтев, разминаясь с мороза, стал шарить руками по столу, потом выругался и спросил:

— Никого нет?

— Есть,— сказал Синцов.

— Спичек нет?

— Зажигалка.

Рука наткнулась в темноте на руку Синцова и взяла зажигалку.

— Для других движок работает,— сказал вошедший,— а для нашего брата пожалели! — И, чиркнув зажигалкой, зажег стоявшую на столе «катюшу». Над сплющенной снарядной гильзой поднялось узкое лезвие огня.

Пришедший, не раздеваясь, присел и бросил на стол шапку. Теперь Синцов узнал его. Это был такой же, как и он, старший лейтенант, в прошлом тоже командир батальона. Вчера вечером

он говорил, что прибыл сюда первым, уже пятые сутки, а все еще без назначения. Сейчас на свету хорошо видно было его круглое бабье лицо с толстыми рыжими усами. Усы были такие большие, что казались наклеенными, как у артиста.

— Зажигалку,— сказал Синцов.

Усатый покрутил зажигалку в руке и, не вставая, бросил Синцову. Синцов поймал на лету и сунул в карман ватника.

— Хорошая зажигалка,— сказал усатый. — Трофейная?

— Солдаты сделали,— сказал Синцов и снова вспомнил своего ординарца Селезнева: зажигалку эту он подарил.

— В обороне стояли? — спросил усатый.

Вопрос был глупый — в наступлении зажигалками заниматься некогда,— и Синцов не ответил.

— Повезло сегодня,— радостно сказал усатый. — В три дивизии посылали — и ни одной знакомой души. А сегодня в Сто одиннадцатую пакет повез и прямо на своего бывшего командира напоролся, Кузьмича, генерал-майора.

Синцов был сегодня в той же 111-й дивизии и тоже видел этого генерала с фамилией, похожей на отчество, и даже отвечал на его вопросы. Но разговора сейчас не поддержал по укоренившейся за войну привычке: пока молчится — молчать.

Но усатый и не нуждался, чтобы с ним поддерживали разговор.

— Теперь я буду кум королю,— весело продолжал он. — Намекнул генералу, чтобы, как явится первая возможность, забрал по старой памяти к себе. Он летом, до ранения, нашей дивизией командовал на Южном. А ты где летом был?

— На Юго-Западном,— нехотя отозвался Синцов, снова подумав о своем батальоне.

— А где стояли, что делали?

— То же, что и вы: от немцев драпали,— сказал Синцов, усмехнувшись слову «стояли».

— А мы не драпали.

— Ну, значит, и мы не драпали,— сказал Синцов. — Значит, приказ двести двадцать семь не про нас с вами был.

— Да, тяжелый был приказ,— вздохнул усатый.

Но Синцов в душе не согласился с ним: не приказ двести двадцать семь был тяжелый, а тяжело было, что в июле прошлого года дожили до такого приказа. Положение на фронте было хуже некуда, и порой уже казалось, что отступлению нет конца. Как раз незадолго до этого приказа Синцов своими глазами видел всю меру нашей беспомощности, видел в ста шагах от себя маршала, командующего фронтом, приехавшего на передовую наводить порядок. Приехал на своей «эмке» в самую гущу отхода,

ходил между бегущими, останавливал их, здоровенный, храбрый и беспомощный. Подойдет, уговорит, люди остановятся, начнут у него на глазах ямки копать, а пройдет дальше — и опять все постепенно начинают тянуться назад...

Потом прямо между отступавшими выехали на пригорок «катюши» — в первый раз их тогда увидели. Эти — другое дело! Эти дали по немцам два залпа и сразу на несколько часов остановили. Остановили и уехали. Как и не было их! А к вечеру все опять поползло. Хоть плачь, хоть умирай!

А приказ двести двадцать семь просто-напросто смотрел правде в глаза. Ничего сверх того, что сами видели, он не принес. Но поставил вопрос ребром: остановиться или погибнуть. Если так и дальше пойдет, пропала Россия!

Странное дело, но, когда читали тот жестокий приказ, он, Синцов, испытывал радость. Радовался и когда слушал про заградотряды, которые будут расстреливать бегущих, хотя хорошо знал, что это прямо относится к нему, что, если он побежит, ему первому пулю в лоб. И когда про штрафные батальоны слушал, тоже радовался, что они будут, хотя знал: это ему там с сорванными петлицами оправдываться кровью, если отступит без приказа и попадет под трибунал.

Сами испытывали потребность остановиться и навести порядок. Потому и готовы были одобрить душой любые крутые меры, пусть даже и на собственной крови.

— Слушай,— наскучив молчанием, сказал усатый,— я, помоему, со вчера тебя не видел. Ты где был?

— За пополнением послали на ночь глядя.

— Хорошее?

— Неплохое. — Синцов перевернулся на другой бок.

Какое пополнение — скажет бой. Хотя на вид вроде бы и правда неплохое.

Весной, к началу боев, в батальоне было на удивление много пожилых. И хотя на поверку они воевали не хуже других, но вначале оставляли тяжелое чувство: как же так? Еще не кончился первый год войны, а солдаты уже попадаются и по сорок пять и по пятьдесят. При отходе, когда подолгу не бреются, у некоторых седая щетина на палец, выглядят совсем стариками. Да для войны они и есть старики. Неужели за год такие потери, что уже по закромам шарим? Нет, видимо, все же до этого не дошло. Нынче пополнение было моложе. Большей частью до тридцати.

Усатый с минуту молчал, а потом завел баланду: якобы у немцев заведен порядок — если трех раненых вытащил, получаешь отпуск домой на неделю.

— Как думаешь, возможна такая вещь?

— Не знаю,— сказал Синцов.

— Вот бы в отпуск съездить,— мечтательно сказал усатый,— жену потрогать, вспомнить хоть, какая она есть... — И вдруг спросил: — Ты до госпиталя где воевал?

— В Сталинграде,— Синцов назвал номер своей дивизии.

— Знаменитая дивизия! — воскликнул усатый. — Что же ты вчера сидел молчал!

— Ты мне дашь спать или нет? — спросил Синцов.

— Это верно,— согласился усатый. — Значит, все же спать будешь? — И наконец замолчал, вытащил из планшета карту и, насупив брови, стал разглядывать ее. И эти насупленные брови так же не шли к его бабьему лицу, как и толстые, приклеенные усы.

Синцову на самом деле не хотелось спать, но усатый своими вопросами отводил его от какой-то нужной мысли, какого-то важного воспоминания, которое уже несколько раз, казалось, вот-вот появится и опять исчезало при звуках чужого голоса.

Только теперь, в молчании, в усталой голове всплыло сразу и то и другое: воспоминание и мысль.

Воспоминание было о медсестре из госпиталя в Камышине.

А мысль была все та же, старая, вечная: о жене.

Но сейчас эта старая, вечная и временами уже притуплявшаяся мысль из-за возникшего рядом с ней недавнего воспоминания сделалась острой и невыносимой.

Эта медсестра была добрый человек и, наверно, даже больше заботилась о нем, чем о себе. Но ровно ничего хорошего из этого не вышло ни для него, ни для нее, и он чувствовал себя виноватым перед ней. Не надо было идти к ней на квартиру в тот вечер после выписки, когда она ожидающе сказала, что ее соседка по комнате всю ночь до утра на дежурстве. Не надо было идти, и сидеть с ней, и пить разбавленный спирт, и ждать, когда начнется то, за чем пришел, раз не был уверен, что не только давно хочешь этого от женщины, а и готов на это. Казалось, что готов, а вышло, что нет.

Женщина была не моложе его, а даже старше, умная, не ждавшая от него никакой лжи и ненужных слов. Может, потому и показалось, что перед отъездом на фронт вот так просто, без слов, возьмет и переступит через то, через что раньше не переступал. И еще потому, что в госпитале, начиная с одной бессонной ночи, стал думать о Маше как о мертвой. Раньше думал как о живой: что с ней? И вдруг начал думать как о мертвой. Думал так, словно получил извещение о ее смерти, в котором не было сказано только одно: когда?

Откуда пришла такая убежденность, не знал сам. Может, от предсмертных криков умиравшего соседа, а может, от тишины, которая наступила после этого?

С этим чувством засыпал, и просыпался, и смотрел, как сестра разматывает бинты во время перевязок. И с этим же чувством, разговаривая однажды с ней и уже не впервые встретив взглядом ее взгляд, молча ответил: «Да, конечно. Почему бы нет?» И представил себе, как все это будет.

И как представил себе заранее, так все и было, до той минуты, когда она, молча убрав со стола и молча открыв постель, на минуту снова присела за стол, рядом с ним, и, подперев ладонью порозовевшую от выпитого мягкую, молодую, без морщин щеку, сказала про убитого в сорок первом на фронте мужа, что уже стала забывать, какой он был. Сказала в том определенном физическом смысле, в котором невозможно ошибиться, сидя рядом с женщиной. Знала, что сейчас будет близка с тобой, ждала этого и хотела, чтобы ты знал заранее, что, когда она будет с тобой, она будет думать о тебе, а не о том, кто был у нее до тебя.

Она могла и не говорить этого, потому что ему это было все равно. Но когда она сказала, он вдруг понял, что теперь сам будет думать об этом, не о ней и ее муже, а о себе и Маше и о том, как эта женщина похоже на Машу, вкось, с одной стороны, откинула одеяло и взбила подушку...

«Наплевать, все равно!» — ожесточенно решил он. И потянулся и обнял чужие, ненужные плечи женщины, и ее ненужный чужой рот приоткрылся в ожидании ненужного ему поцелуя.

Он отпустил руки, встал, заходил по комнате и через несколько тягостных минут ушел.

Наверно, на лице его была написана беспросветная тоска, потому что женщина, не удерживая, только молча смотрела на него, пока он ходил по комнате.

Он ушел обратно в госпиталь, испуганный необоримой силой своего чувства к Маше.

Когда за два часа до этого он шел по той же улице, придерживая под локоть ту чужую женщину, его просто тянуло к ней, как голодного к куску хлеба. И он думал о предстоящем, как о чем-то совсем другом, отдельном от того, что у него бывало с женщиной, которую он любил, когда женщина, которую он любил, была жива. Но оказалось, что совсем другого, отдельного и не имеющего никакого отношения к тому, что у него было с Машей, нет и не может быть.

Он остановился, прислонился к стене дома и с радостью, по силе чувства похожей на ужас, понял, что Маша жива, что она

не может не быть жива, потому что он не может жить без нее. Понял и почувствовал ее рядом с собой. Она стояла рядом и мешала ему проснуться в чужой кровати, с чужой женщиной, касаясь телом чужого тела.

И в следующую же секунду, не выдержав напряжения, опустошенно ужаснулся: а вдруг как раз сейчас, когда он почувствовал ее рядом с собой во всех подробностях ее лица и тела, она умерла где-то там? И все остальное рядом с этой дикой, но не выходившей из головы догадкой сразу показалось неважным и глупым: подумаешь, кому какое дело, провел или не провел ночь одинокий мужик с такой же, как он, одинокой женщиной.

Усатый старший лейтенант со своей тоской по жене сейчас снова разбередил душу, и неизвестно, то ли ругать, то ли благодарить его за это. Страшно привыкать к мысли, что умерла. Но, может, еще страшней, затолкав эту смертельную мысль в глубь себя, жить с нею так, словно годами идешь по минному полю, не зная, где и когда под тобою рванет.

Да, порой, когда приходят письма, человеку страшно думать, глядя на них, о куске железа, который попадет в грудь или в голову и оставит без тебя тех, кто пишет и ждет. Но страшно и когда никто не пишет и никто не ждет, когда этот кусок железа никого и ничего не лишит. Трудно оставаться одиноким, и от этого еще острей тоска по своему привычному месту на войне, по своему батальону, по людям, которые хотя и не так одиноки, как ты, потому что иногда получают треугольнички из дому, но во всем остальном, как братья, равны с тобой перед всем, что им было и будет приказано сделать.

А если все-таки жива?

Он подумал о невозможном и нелепом: о том, что согласен на самый страшный договор с судьбой, согласен умереть только за то, чтобы она на несколько минут оказалась рядом с ним, на этих холодных нарах. А потом — хоть бомба...

От этих мыслей тяжело, до боли в сердце задохнулся и сел на нарах, ничего не видя и не соображая, как после вдруг прерванного, душного сна.

— Что с тобой? — спросил усатый старший лейтенант.

— Ничего!

— А я испугался было. Хотел придержать, думал, спросонок на пол ссыплешься. Очень даже просто. Люди, пока не спят, себя держат, до нервов не допускают, а во сне с ума сходят! У меня летом политрук заснул после ночного боя в окопе, плащпалаткой с головой накрылся. А через час как схватится, плащпалатку ногтями рвет, скинул с себя, зарыдал да как бросится

на бруствер!.. А уже светало, еще миг — и сняли бы! За ноги сдернул. Спрашиваю: «Что с тобой было?» Ничего не помнит. А в глазах слезы. Оплакивал кого-то во сне, бедняга! И на другой же день убили. Такой сон к смерти.

— А ты что, суеверный?

— Я-то не суеверный,— сказал усатый,— да война кем хочешь заставит быть.

— Жена у тебя где?

— Теперь хорошо! Теперь в эвакуации, под Барнаулом. А то в Ростове была. Когда фашисты первый раз его брали, не догадалась уехать, а потом все же догадалась,— весело сказал усатый.

«Да, треугольнички писем, конечно, лезут в глаза, когда сам их не получаешь,— с душевной неловкостью вспомнил Синцов. — Но сколько еще людей в твоем батальоне так ни разу и не получили этих треугольничков? И сколько семей осталось там, за немцами, *не догадалось* уехать? Сколько миллионов не догадалось? Да, аккуратное слово подыскал старший лейтенант».

— Чего молчишь? — громко, как глухому, сказал усатый.

— Извини, ты чего-то спрашивал?

— Спрашивал: твоя жена где?

— Не знаю.

Усатый вздохнул и посмотрел на часы.

— Ужинать пойдем? Время выходит.

— Пойдем. — Синцов слез с нар.

В землянку вошли два лейтенанта — молодой, из училища, тот, что вчера громче всех рвался на передовую, и второй — высокий, немолодой, с перебитым пулей носом. Синцов еще вчера обратил внимание на его полуседую голову, плохо сочетавшуюся с лейтенантскими петлицами, и на голос — сильный и в то же время надорванный, словно не в голосе, а в самом человеке дребезжала невидимая трещина.

— А мне требуется туда пойти, где быстрей орден заработаю,— сказал он своим надтреснутым голосом вчера, когда заговорили о будущих назначениях.

Кто-то ответил:

— Куда пошлют, туда и пойдем.

— А мне не требуется, куда пошлют, мне требуется туда, где орден дадут...

Синцов не дослушал вчера всего разговора, ушел.

Теперь лейтенант с перебитым носом, войдя в землянку, опустился на табурет напротив присевшего к столу Синцова и сказал, распахивая полушубок:

— Тут тепло, однако.

На широкой груди у него было пять нашивок за ранения — и ни ордена, ни медали.

«Наверное, после штрафного»,— подумал о нем Синцов, сопоставив кадровую выправку, возраст, звание, наличие нашивок и отсутствие наград.

— А ты, старший лейтенант,— спросил человек с перебитым носом, заметив взгляд Синцова,— что за войну имеешь? Под ватником не видно. — Спросил властно, как человек, привыкший, чтоб, когда спросит, отвечали.

— Звезду и Знамя,— сказал Синцов.

— Богато,— сказал лейтенант с перебитым носом,— а у меня только эти задержались. — Он ткнул пальцем в нашивки. — Тот, что за гражданскую имел, в тридцать седьмом, когда взяли, сняли. Медаль «20 лет РККА» мимо просхала. А когда выпустили, вместо ордена справку дали, что потеряли, с нею воевать уехал. А те два, что за эту войну привинтил, штрафной съел. А что в штрафном по закону заработал, не считается, вместо него два кубика дали, и на том спасибо: расти обратно до четырех шпал, с которых начал! Понял?

Он дохнул на Синцова водкой и покосился на молодого лейтенанта, с которым пришел.

— Что смотришь? Свое принял, и твое принял, и спасибо тебе сказал. Еще раз сказать?

— А я ничего вам не говорю,— сказал лейтенант.

— Пойдем, что ли, ужинать? — спросил Синцова усатый старший лейтенант.

— Успеешь,— отмахнулся от него лейтенант с перебитым носом. — Я с человеком разговариваю.

И, снова дохнув на Синцова водкой, спросил:

— Все понял или еще объяснить?

Синцов пожал плечами. Он не любил разговаривать с выпившими людьми.

— Могу больше объяснить,— сказал лейтенант с перебитым носом. — Приказ двести двадцать семь правильный, всегда скажу, что правильный. Когда я прошлым летом товарища трибунальца этой рукой бил,— при этих словах он выпростал далеко из полушубка чугунный кулак,— я на приказ двести двадцать семь надеялся, что в штрафбат кровь лить пошлют, а посадить не посадят. А бил за то, что раньше знакомы были. А подробней не объяснял. Сказал: пьян был! А пьян не был. Понял?

— Зачем вы все это рассказываете? — сказал молодой лейтенант.

— А что,— с вызовом спросил лейтенант с перебитым носом,— тут такие есть, при которых нельзя? Тогда прошу заявить. А почему выпил сегодня, тоже могу сказать...

— Ну, выпили и выпили,— снова попытался удержать его молодой лейтенант.

Но лейтенант с перебитым носом упрямо рубанул в воздухе рукой и повторил:

— Могу сказать. Потому что встретил его и обиделся, что он до сих пор пули в лоб не пустил. Я его летом при людях по морде хлестал, а он себе пулю в лоб не додумался. С битой мордой и с орденом ходит и умереть не мечтает...

— Ишь чего захотели, держите карман шире! — сорвался упрямо молчавший Синцов.

Лейтенант с перебитым носом посмотрел на него красными отчаянными глазами и ткнул его в грудь пальцем.

— Вот это ты верно его душу понял. Вот именно! — Сказал так, словно удивился, что кто-то, кроме него, может понимать это.

Дверь в землянку открылась, и все обернулись. В дверях стоял посыльный.

— Товарищи командиры, разрешите обратиться? Кто из вас старший лейтенант Синцов?

— Я Синцов.

— Срочно явитесь к замначштаба. Где находится землянка, знаете?

— Знаю.

— Выходит, пришла на тебя заявка. Если бы просто какое задание, в оперативный вызвали бы,— сказал усатый старший лейтенант с оттенком досады: то ли завидовал, то ли не хотел идти один ужинать.

— Выходит, так,— сказал Синцов, одной рукой нахлобучивая ушанку, а другой шаря по топчану, где лежал ремень с наганом.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Получена заявка на вас от командира Сто одиннадцатой на должность комбата. Лично известны генералу Кузьмичу? — спросил заместитель начальника штаба и пальцем показал Синцову на табуретку, чтобы присел, хотя разговор не мог быть долгим. Кругом шла суета.

Синцов пожал плечами.

— Сегодня в тринадцать часов привел ему пополнение и лично доложил.

— До госпиталя на должности комбата были?

Сказано было не то вопросительно, не то утвердительно. Синцов так и не понял, пришло или еще не пришло его личное дело.

— Так точно, был.

— Возражений нет, здоровье позволяет? — без паузы, связав два вопроса в один, спросил замначштаба.

— Так точно.

Под плащ-палатку, закрывавшую вход в землянку, просунулся багровый от мороза лейтенант.

— Товарищ подполковник, кого от вас забирать?

— Его,— кивнул замначштаба на Синцова и махнул карандашом по уже заготовленному предписанию.

Синцов уже узнал, что ехавший с ним лейтенант — офицер связи от 111-й, а по должности начхим полка. Его зачем-то дернуло спросить лейтенанта, кто он по должности, и тому пришлось отвечать. Ответил и надолго замолчал. Начхимы не любят признаваться, что они начхимы. Должность уже второй год — и без применения и без отмены, а люди на этой должности — затычка во все дырки.

— Кругом горячка, спасу нет,— сказал лейтенант, когда машина вывернула на сильно наезженную широкую дорогу, обгоняя шедшие к фронту грузовики со снарядными ящиками.

— Генерал Кузьмич давно на дивизии? — спросил Синцов.

— Неделю. До него Серпилин был, в армию ушел начальником штаба.

— Сильный был комдив?

— Слабого бы не выдвинули.

— А новый?

— Тоже сильный,— убежденно сказал начхим.

«Может, и правда, кто его знает»,— с сомнением подумал Синцов. Сегодня днем, при первой встрече, ему просто не пришло в голову определение «сильный» для этого маленького, щуплого, птичьего росточка генерала.

«Хороший старик»,— подумал он тогда днем, когда генерал, хрустя на снегу стариковскими, растоптанными валенками и мелко, по-птичьи поклевывая носом воздух, быстро один за другим задавал ему свои вопросы.

Когда Синцов доложил, что привел пополнение, генерал приказал построить людей, и еще не успели они построиться, как выбежал к ним из землянки. Последние солдаты еще подравнивались, а он уже начал свою речь не совсем обычными словами:

— По случа́ю мороза агитация отменяется. В Сталинград взойдем, там и поговорим. И взойтить туда надо первыми, в чем и есть суть вопроса для меня, для вас, для всей Советской Рос-

сии. Пока в Сталинград не взойдем, отдыха не будет, только бой. Взойдем — отдохнем. Я — ваш командир, звание — генерал-майор, фамилия — Кузьмич, Иван Васильевич. Будете между собой Кузьмичом или дядей Ваней звать, не обижусь, если вне строя, а в строю — за это, безусловно, наряд.

В шеренгах засмеялись. Кузьмич переждал смех и сказал:

— Биография моя простая: в германскую был, как вы, солдат. В гражданскую — полком командовал, в эту — дивизией. Чего и вам желаю. А теперь к вам вопрос: кто вы и где в боях были?

Он засеменил в своих валенках вдоль строя и с безошибочным чутьем, каждый раз внопад, спросил на выбор нескольких солдат и сержантов, какая у них была война. Все спрошенные оказались из госпиталей и участвовали в боях.

Один за другим следовавшие ответы: «Под Москвой», «Под Воронежем», «Под Тихвином», «Имею «За отвагу», «Дважды ранен»,— производили впечатление на остальных. Шеренги подтянулись и напряглись.

— А кого не спросил,— выйдя на середину, сказал Кузьмич,— пусть не обижаются. В другой раз спрошу. Где вы будете, туда и я к вам приду!

Солдат построили и повели на питательный пункт. Все от начала до конца не заняло и десяти минут.

Кузьмич посмотрел на Синцова и стал спрашивать его о том же, о чем спрашивал солдат: где и кем воевал? Услышал, что в Сталинграде, комбатом, сказал:

— Сосватал бы тебя, да некуда. — И отпустил: — Можете быть свободны.

«А теперь, значит, есть куда»,— подумал Синцов, глядя на дорогу и прикидывая, сколько осталось ехать до штаба дивизии.

Он вспомнил усатого старшего лейтенанта, служившего у этого Кузьмича на Южном, и его уверенность, что генерал при первом же случае возьмет его к себе в дивизию. Случай уже вышел, но Кузьмич взял не его, а Синцова. Ну что ж, всяко бывает: бывает, что свой, а лучше б служить с другим. Может, так и с этим, усатым...

— А вы к нам в дивизию на какую должность? — спросил начхим.

— На должность комбата.

— Вот те па! — удивился начхим. — С утра уезжал — все комбаты были живы-здоровы. Кому же это не повезло?

Ехал и долго еще покачивал головой. Гадал про себя, кто из знакомых ему людей мог быть убит или ранен в самый канун наступления.

Ехали долго, с полдороги оказались в хвосте длинной колонны «катюш», и обогнать их было нельзя: навстречу, с фронта, один за другим неслись порожние грузовики.

Когда добрались до штаба дивизии, начхим зашел в землянку начальника штаба первым, оставив Синцова у входа, рядом с автоматчиком.

— Пакет вручу и о вас доложу.

К вечеру мороз еще покрепчал. Часовой притопывал валенками.

— Как часто сменяетесь? — спросил Синцов.

Часовой не ответил. В дивизии был порядок.

Начхим вышел через минуту.

— Доложил о вас, идите.

И, на ходу запихивая в полевую сумку разорванный конверт, наверно, с распиской о вручении, не прощаясь, пошел в темноту, к машине.

В землянке начальника штаба все было устроено по-хозяйски, в углу стоял не топчан, а складная койка и над ней ковер.

Начальник штаба кивнул на вопрос Синцова «разрешите войти», договорил по телефону и встал, худой и длинный, под потолок землянки. Как ни высок был Синцов, а начальник штаба был выше.

Синцов доложил, как положено. Начальник штаба взял у него из рук предписание, прочел, попросил удостоверение личности, посмотрел, вернул и, сняв и положив на стол пенсне, протянул Синцову руку.

— Будем знакомы: полковник Пикин. — И, усмехнувшись не то синцовскому, не то собственному росту, спросил: — На действительной правофланговым?

— На действительной не служил,— сказал Синцов.

— А раз так, значит, образование высшее, на военное дело — час в неделю, за отбытие номера кубарь в петлицу — и в запас! А если война, то бог поможет! Так, что ли?

— Так точно,— без улыбки ответил Синцов, потому что так оно примерно и было: в институте учили военное дело — курам на смех.

— Садитесь,— сказал Пикин,— кратко изложите свой боевой путь, лишнего времени не предвидится. — При этих словах он покосился на лежавшую перед ним отпечатанную на машинке бумагу, ее и привез начхим, и Синцов, тоже покосившись на нее, привычно экономя слова, уложился в три минуты.

Начальник штаба задал несколько вопросов, бивших в одну точку. Интересовался, какой у комбата опыт боев в наступлении. Синцов ответил, что в Сталинграде, еще командуя ротой, наступал два дня на Мамаев курган, и, предупреждая новые вопросы, добавил:

— По правде говоря, за свое держаться научились, а как чужое брать — еще только примеривались.

— А здесь сразу наступать придется,— сказал Пикин. — Пошлем вас на третий батальон Триста тридцать второго полка. Батальон хороший, но невезучий. В новогоднюю ночь одного командира убило, сегодня второго. Двойной удар по психологии. Людям скажем, что посылаем к ним комбатом сталинградца. Это в их глазах имеет значение. Как и в моих. А опыт наступления придется наживать в наступлении. У большинства из нас его тоже немного. Не запугал?

— Никак нет. Сделаю, что смогу.

— Сколько подряд с последним командиром полка служили?

— Семь месяцев.

— Много. К чему с ним привыкли, не знаю, а к чему здесь привыкать придется, скажу. Ваш командир полка майор Туманян командует полком девять дней. До этого был в нем же начальником штаба. Исключительно грамотный командир, но имеет один недостаток, а верней, заблуждение: сам настолько уважает порядок, что излишне уверен — все, что приказал, выполнят. Все, что доложили, правда. В идеале верно. А на практике нет. Не всегда чувствует момент, когда надо нажать, а многие, к сожалению, привыкли. Не дожидайтесь, чтобы жал. Сами жмите. Час наступления подтвержден. — Пикин положил руку на отпечатанный на машинке приказ. — В восемь ноль пять — артподготовка, в девять — начало. Времени у вас в обрез. С остальным познакомит Туманян.

— Геннадий Николаевич, у тебя ничего ко мне нет?

Синцов повернулся и встал. У входа в землянку, придерживая рукой плащ-палатку, стоял командир дивизии генерал Кузьмич.

— У меня вопросов нет,— сказал Пикин.

— Тогда я к Колокольникову поехал,— сказал Кузьмич. — Излишне стал признавать свои умственные способности... Начальник артиллерии на него жаловался: на НП полка артиллеристы набились, так он их чуть не выпер. Трудно ему, видишь ли, в такой тесноте боем управлять! Без артиллерии, что ли, наступать собирается, на одной своей сообразительности? Придется его до ума довести.

И только теперь, разглядев Синцова, отрывисто сказал:

— Здорово, комбат! Прибыл?

— Здравия желаю...

— Назначение получил?

— Так точно.

— К Туманяну не заедете? — спросил у Кузьмича Пикин.

— Нет. Там Бережной ночует. — Кузьмич повернулся к Синцову: — А тебя прихвачу до развилки. Там до Туманяна триста сажен останется. — Он посмотрел на часы. — Теперь у тебя до боя всего полсуток — и на то, чтоб людей понять, и на то, чтоб они тебя поняли. Пиши ему приказание, Геннадий Николаевич, и с богом!

— Уже пишу,— отозвался Пикин.

Кузьмич прошелся по землянке и остановился у Пикина за спиной. Теперь он стоял напротив Синцова.

— После хорошего хлопца батальон принимаешь, после Поливанова... Только сегодня утром с ним говорили. Оказалось, земляк, с Кадиевки, как и я сам, шахтерская душа... Утром говорили, а после полудня выстрел грянул — и жизнь кончилась. Был его батальон, а теперь твой. Что есть война, знаешь? Война есть ускоренная жизнь, и больше ничего. И в жизни люди помирают, и на войне то же самое, только скорость другая.

«А чего ты мне все это говоришь? Пугаешь, что ли?» — подумал Синцов, принимая из рук Пикина приказание.

Но Кузьмич словно угадал его мысль и усмехнулся:

— Старухи нечистую силу поминать не велят, чтоб не накликать. Но смерть, она не черт, ее не накличешь. Поминай не поминай, все равно ее в душе страшишься. Или, может, ты такой, что не страшишься? А, комбат?

И, уже не усмехаясь, серьезно посмотрел на Синцова, словно, спрашивая так, делал ему последнее испытание перед боем.

— По-всякому бывает, товарищ генерал...

— Ну и правильно,— сказал Кузьмич. — Я бесстрашным не верю, а тем верю, которые боятся, а делают... А чтобы бояться, я не против, я и сам боюсь.

Это с коротким смешком он договорил уже через плечо, выходя из блиндажа.

Ехали в «эмке» впятером. Генерал впереди, с шофером, а на заднем сиденье, с обеих сторон тесня Синцова полушубками, генеральский адъютант и офицер связи из 332-го.

Генерал первое время молчал, но потом, как видно, в нем возобладало желание пообщаться с новым в дивизии человеком.

— Был я утром в твоем батальоне,— сказал он, не поворачиваясь. — Парламентеры через него к немцам ходили. В первый

раз за войну. Подполковник, майор и трубач с ними. И по этому случаю погоны надели. Погон еще не видал?

— Еще не видал, товарищ генерал.

— Чуднó,— сказал Кузьмич. — С тех пор погон не видал, как в Ялте последних офицерóв в море топил. — И снова с удивлением повторил: — Чуднó! Вышли наши с окопа в шинелях с погонами. Мне бы тревожиться: воротятся ль живые? А я гляжу и думаю, как дурак: наши или не наши? Слишком привычка сильная: раз погоны, значит, их благородия!.. А молодые рады. Вот Новиченко у меня даже службу исполнять перестал, только и мечтает, когда в дивизию погоны пришлют.

— Как же не радоваться, товарищ генерал? — весело отозвался сидевший рядом с Синцовым адъютант. — Красивая вещь! Мне адъютант командующего говорил, может, и эполеты для генералов введут.

— А ты чего радуешься? — сказал Кузьмич. — Коли введут, тебе ж хуже! Одни эполеты мне на шинель пришивать, другие — на полушубок, третьи — на ватник! Да потом мелом их чисть.

В голосе его послышалась стариковская насмешка над молодой суетностью адъютанта.

— А немцы ультиматума не приняли,— помолчав, сказал он. — Парламентерам — от ворот поворот.

— Вот и хорошо, товарищ генерал,— снова весело отозвался адъютант. — Пусть теперь умирают... А то мы такую силу приготовили, а они бы сдались.

— «Приготовили»! — ворчливо сказал Кузьмич. — Это тебе не щи хлебать, ложку приготовил, а до рта донести не дали... Что приготовили, до другого раза бы оставили... Кровь людская и на войне не водица.

Адъютант, ища сочувствия, подтолкнул в бок Синцова, как бы желая сказать: «Видал, какой у нас блажной старик?» Но Синцов подумал о смертях, которых завтра не миновать, и не испытал сочувствия к глупому бесстрашию адъютанта.

— Останови,— сказал Кузьмич.

И когда Синцов уже вылез, приоткрыв дверцу, протянул руку.

— Воюй, комбат. Завтра вечером приду туда, где будешь...

Машина уехала, а Синцов с провожавшим его офицером связи свернул на дорогу, шедшую к переднему краю. С обеих сторон ее тянулись высокие снежные отвалы. Дорога была скользкая, накатанная. Если бы не знать, что передний край рядом, можно было подумать, что это большая тыловая дорога.

— Сейчас еще раз свернем,— сказал провожатый.

Они дошли до широкого съезда влево, и Синцов подумал, что тут они и свернут, но провожатый не свернул.

— Это к артиллеристам на позиции,— сказал он. — Еще вправо один съезд будет, потом влево один, а там уж к нам. Артиллерии наставили — на каждый штык по орудию.

«Интересно, сколько штыков в батальоне? — подумал Синцов. — Наверно, от штатного комплекта — одно воспоминание. Все еще по старинке па штыки и считаем. «Смелого пуля боится, смелого штык не берет!» Конечно, не берет, ни смелого, ни робкого! Если б немцы не техникой, а штыками нас брали, мы бы их давно за Берлин загнали».

Они прошли еще сто метров и увидели новый съезд, теперь вправо.

— Здесь «катюши» стоят,— сказал провожатый. — Видите, темнеют?

Синцов повернулся и увидел силуэт «катюши».

— Совсем при дороге стоят,— сказал провожатый. — Можно сказать, обнаглели: живем в открытую. За неделю только раз разведчик в небе покрутился. Или мороз на них влияет, или по расчету горючего уже не дотягивают.

— Вы кто по званию? — спросил Синцов.

— Старший сержант.

Синцов удивился. Думал: раз офицер связи, то хотя бы младший лейтенант.

— Потери были в полку,— отозвался провожатый. — Когда девятнадцатого ноября в наступление пошли, мало потеряли. А потом уже, в декабре, одну высотку брали, фронт ровняли: трое суток тыр-пыр, тыр-пыр...

Он вздохнул, не одобряя это «тыр-пыр».

— Лейтенант был, офицер связи, его — на роту, а меня — на его место.

Ветер дул прямо в лицо. Синцов на ходу потер рукавицами заледеневшие щеки и нос. Вещевой мешок, закинутый за одну лямку, упал на снег. Провожатый подхватил его.

— Давайте понесу, товарищ старший лейтенант.

— Несите, коли не лень.

— Больно легóк,— прикидывая мешок на руке, сказал провожатый.

— Пехоте много не положено.

— Полушубок вам надо достать. Говорят, к наступлению в дивизию еще полушубков доставили.

— Мой полушубок в Сталинграде остался,— сказал Синцов.

— Как так в Сталинграде?

— В батальоне моем бывшем. Соединимся — возьму.

Провожатый присвистнул.

— До соединения еще далековато! — Потом сказал серьезно: — От нашего переднего края до центра города, если по прямой, сорок километров. Артиллеристы при мне считали. И половина — по открытому месту.

Синцов не ответил. Про полушубок сказал так, к слову. Конечно, со своим бывшим батальоном навряд ли встретишься, тут уж лотерея!

— А вот эта дорога к нам,— сворачивая впереди Синцова, сказал провожатый.

— Поливанова, комбата, не знали? — спросил Синцов о своем предшественнике.

— Нет. Я из первого батальона. У нас комбат с августа все тот же. А в третьем батальоне жизнь та же, а комбаты не задерживаются.

«Они не задержались, а я задержусь»,— подумал Синцов. Он уже несколько раз перед тяжелыми боями испытывал предчувствие, что какие бы ни были потери, а с ним ничего не случится, и слова о не задержавшихся в батальоне комбатах не испортили ему настроения.

Но провожатый, наверно, решил, что зря накаркал новому человеку, и опять стал говорить об артиллерии, что ее, как никогда, до черта наставлено и она завтра «как даст подготовочку, так у немцев на переднем крае сразу все умрет».

«Ну да, умрет! Какая ни будь артиллерия, а все же не щипцы — в каждый окоп не залезет и каждого немца не вынет»,— подумал Синцов.

Дорога вывела в узкую балочку. Справа по снежному откосу темнели входы в землянки. Далеко впереди, там, куда тянулось устье балки, взлетела высоко в небо пулеметная трасса, и вдогонку сухо, морозно простучала очередь.

— Тишина-то какая,— сказал провожатый, выждав, не стрельнут ли еще.

И действительно, вся напряженность окружающей тишины почувствовалась лишь теперь, после этой вдруг простучавшей и бесследно потонувшей в снегах очереди.

— Вам к командиру полка, сюда,— показал провожатый на ближайшее темневшее в снегу пятно.

Маленькая землянка была тесно набита. Ближе всех к двери, с краю стола, сидел густоволосый большеголовый майор в накинутом на плечи полушубке. Он повернул к появившемуся из-под плащ-палатки Синцову крупное носатое армянское лицо, и Синцов, поняв, что это и есть командир полка майор Туманян, стал докладывать о прибытии.

— Обратитесь к заместителю командира дивизии,— сказал майор и недовольно повел тяжелой головой в сторону сидевшего в углу землянки гололобого полкового комиссара в очках.

Синцов, исправляя ошибку, попросил у того разрешения обратиться к командиру полка. Гололобый кивнул и, пока Синцов докладывал и предъявлял документы, подавшись вперед, внимательно смотрел на нового комбата.

Кроме этих двоих в землянке вокруг стола, впритык друг к другу, сидели еще три офицера: два молодых майора в шинелях с артиллерийскими петлицами и третий, круглый, в полушубке, с большим артиллерийским биноклем на шее.

Когда Туманян, посмотрев документы Синцова, хмуро сказал, чтоб садился, крайний из артиллеристов, тоненький майор, тесня боком соседа, подвинулся, очистив Синцову краешек огибавшего стол накрытого соломой земляного выступа. Синцов сел.

— Бережной,— сказал гололобый и, раздвинув соседей, выпростав широкие плечи, потянулся короткой, толстой рукой. — Рад новому комбату. — Он стиснул руку Синцова и, еще раз раздвинув артиллеристов плечами, всунулся обратно. — Начальник штаба дивизии,— он кивнул на телефон, как будто телефон и был самим начальником штаба,— сказал, что вы старый сталинградец. Так?

— Так,— сказал Синцов.

— Тем более рад,— сказал Бережной. — И командир полка рад, только не имеет привычки показывать. А это наши боги войны,— поведя головой налево и направо, сказал он об артиллеристах. — Собственные, приданные и поддерживающие. В Сталинграде часто их у себя видели?

— С утра до вечера,— сказал Синцов. — Без них бы не жили.

— А где у вас огневые были? — спросил артиллерист в полушубке.

— Все огневые за Волгой,— сказал Синцов.

Еще в госпитале, слушая расспросы разных, в том числе, казалось бы, сведущих людей, он понял, что все же издали они плохо представляли себе действительное положение в Сталинграде, при котором уже в октябре нечего было и думать тащить через Волгу артиллерию на те узкие клочки берега, что еще оставались в наших руках.

— А связь? Телефонная?

— Телефонная.

— Не замыкало кабель под водой?

— Замыкало,— сказал Синцов. — Ракетами дублировали.

Пока шел этот разговор, Туманян, не обращая на него внимания, занимался своим делом. Позвонил по телефону, вызвал «двойку», потребовал какого-то Ильина и, узнав, что тот спит, приказал разбудить.

— Сюда вызвать хочешь? — спросил Бережной.

Туманян молча кивнул, подождал и сказал в трубку:

— Ильин, батальон можете оставить?.. Так. Понятно. Тогда через тридцать минут явитесь ко мне. А прежде чем уйти, вызовите к себе командиров рот... — Он оторвался от трубки и посмотрел на часы. — На двадцать два сорок.

Туманян положил трубку, и Синцов тоже посмотрел на часы. Двадцать два сорок — через час. Этот Ильин исполняет обязанности командира батальона, потому и придет сюда. А когда они вдвоем вернутся в батальон, командиры рот уже будут собраны для первого знакомства.

Командир полка, видимо, не любил терять времени, да и обстановка не позволяла.

— С вашего разрешения, товарищ полковой комиссар, мы пойдем,— сказал тоненький артиллерийский майор, вытискиваясь из-за стола.

Синцов встал и освободил проход.

— А чего пойдете, сидите,— сказал Бережной. — Вы боги, от вас секретов нет.

— Зайдем к начальнику штаба, еще раз кое-что уточним,— сказал тоненький майор.

Второй артиллерист тоже вылез из-за стола. Поднялся и круглый в полушубке.

— Разрешите отбыть,— сказал он, не входя в объяснение причин. И, протискиваясь мимо Синцова, добавил: — С вами неплохо бы до утра увидеться; мой НП недалеко от вашего.

Проводив глазами артиллеристов, Туманян развернул карту и начал не с вопросов к Синцову, а прямо с обстановки на фронте полка, с противника.

«Кто его знает,— подумал Синцов,— может, считает вопросы излишними. Кого бог и начальство дали в комбаты в ночь перед наступлением, с тем и воевать».

Смены частей немцы не производили, взятые накануне пленные показали, что перед фронтом полка прежний противник — части 14-й пехотной дивизии немцев. Полоса обороны состоит из трех позиций — по нескольку траншей каждая. Сидят уже три недели и хорошо укрепились.

— Да им это и особых трудов не стоило,— сказал Бережной, оторвавшись от вынутых из полевой сумки бумаг. — На одном из наших же сталинградских обводов сидят. Сидят, сволочи, в

блиндажах и окопах полного профиля, вырытых сталинградскими трудящимися. Не то что мы — долбим теперь землю, как кость; пока голову и задницу спрячешь, семь потов спустишь!

Передний край батальона тоже не изменялся уже три недели, за исключением высотки на правом фланге, взятой неделю назад.

— Когда первый раз неудачно брали,— снова оторвался от бумаг Бережной,— командир батальона, до Поливанова был, Тараховский, погиб на ней по-дурацки.

— Не его вина была, товарищ полковой комиссар,— сухо сказал Туманян, и в его сдержанном голосе была обида за неизвестного Синцову, по-дурацки погибшего там, на высотке, командира батальона.

— А я не говорю, что его вина...

— Теперь наши силы... — Туманян памятливо, не заглядывая в лежавший перед ним блокнот, перечислил все, что имелось в батальоне и поступало под команду Синцова. — В стрелковых ротах по шестьдесят пять — семьдесят человек, ручных пулеметов комплект, в пулеметной роте одиннадцать станковых, в минометной — девять минометов. После общей артподготовки продвижение батальона будет поддерживать огнем тот самый майор в полушубке, который недавно ушел, командир приданного артполка.

Синцов прибавил к записям в своей полевой книжке еще одну: «Майор Голубев».

Задача дня состояла в том, чтобы занять на своем участке первую и вторую позиции немецкой обороны на глубину четыре с половиной километра. Занять и закрепиться, имея в виду в дальнейшем наступать на третью.

Туманян показал по карте:

— Сюда.

— А силенок хватит, так и завтра вскочим туда прямо с ходу,— сказал Бережной.

Туманян не возразил, только сделал чуть заметную паузу и повторил:

— Занять первую и вторую позиции. Понятно? — подчеркивая этим, что на ближайший день никакая иная задача перед полком не поставлена и он, командир полка, не ставит ее и перед батальоном. А заранее уверять друг друга в своем желании сделать сверх ожиданий — лишнее.

Скосив глаза на Бережного, Синцов заметил, как тот еле заметно усмехнулся, и подумал о нем: «Все же умный, пилюлю проглотил, а в бутылку не полез».

— Задача ясна? — спросил Туманян, все еще не отрывая карандаша от карты и упираясь глазами в лицо Синцову.

— Ясна,— ответил Синцов, чувствуя под его напряженным взглядом, как дорого бы дал сейчас командир полка за то, чтобы чудом знать наперед цену своему новому комбату.

Хотелось успокоить его: зря об меня глаза ломаешь. Все, что смогу, сделаю. И жалко, что нельзя тебе этого сказать.

— Теперь об исполнителях,— сказал Туманян и, оторвав от карты карандаш, кратко охарактеризовал командиров рот. О четырех сказал, что они на своем месте, о пятом — командире пулеметной роты — отозвался холодно: пулеметы знает хорошо, но способен на ложь; был случай, когда доложил, что пулеметы заправлены незамерзающей жидкостью, а на поверку выяснилось — не заправил.

— Имейте это в виду...

— Вообще имей в виду,— сказал Бережной Синцову,— командир полка вранья не любит. Что-нибудь другое простит, а это — нет.

— Врать не привык,— сказал Синцов.

— Тем лучше,— сказал Бережной.

Туманян ничего не сказал, только еще раз долго, внимательно посмотрел в лицо, и по глазам его было видно, как мало значения придает он словам.

— Адъютант батальона, лейтенант Рыбочкин,— сказал Туманян, опустив глаза и тщательно выковыривая что-то, непонятно даже что, чистейшим ногтем из-под другого чистейшего ногтя на чистых, как у хирурга, добела вымытых пальцах,— прибыл из училища, по службе исправен, но в боях еще не был. На начальника штаба Ильина можете опереться полностью, во всем, всегда, в любой обстановке.

— Да, этот не подведет, этот действительно будет правой рукой,— еще раз оторвался от своих бумаг Бережной. — Не чета Богословскому. Предупреди его.

— Ваш заместитель, старший лейтенант Богословский, занимаемой должности не соответствует. Не сразу поняли, что трус. Найдем замену — заменим. Командиров рот не хотели трогать с места перед боями. Понятно?

Синцов кивнул. Чего понятней! Хороший командир роты — это рота. Без него на батальоне сидеть — как на стуле без ножки. А без заместителя в крайнем случае можно и прожить.

— Если бы не твой предшественник, Поливанов,— сказал Бережной,— еще пять дней назад этого Богословского здесь не было бы.

— И надо было отстранить,— сказал Туманян. — Я настаивал.

— А он только и мечтал, чтобы его от передовой отстранили. Жаль было ему навстречу идти. А Поливанов его на поруки взял. Заявил: лично исправлю! — невесело усмехнулся Бережной.

И, поглядев на бумаги и запихав их в полевую сумку, сердито хлопнул по столу тяжелыми, толстыми руками.

— Замечательный у тебя предшественник был, Василий Фомич Поливанов. Немолодой уже человек, а с первых дней войны добровольно в армии, от солдата — до капитана. Жену пережил — в поезде бомбой убило. Всех трех сыновей пережил — на трех фронтах пали. А сам как заговоренный шел и шел из боя в бой. Только белый стал. Неравнодушен я к нему был. Может, еще потому, что из наших шахтерских мест. Как и наш комдив, из Кадиевки. А я сам из Штеровки. До слез обидно.

И Бережной в самом деле снял очки и вытер слезы. Потом снова надел очки и сказал Туманяну:

— А о замполите батальона ни слова. И всегда так. Это у тебя не случайно.

— А вы его лучше меня рекомендуете, товарищ полковой комиссар,— сказал Туманян.

— Политрук Завалишин — культурнейший человек,— сказал Бережной. — До войны в МГУ философию читал. Два раза с передовой в лекторскую группу отзывали. И два раза — не пошел. Сначала, признаться, не ждал от философа добра, а потом увидел — действительно политработник! Бумажки пишет редко и умные, потому что живет среди людей — на глупые бумажки времени нет. За полтора месяца боев в батальоне тридцать человек в партию приняли. Конечно, в первую очередь общий подъем сказался. Но и замполит поработал. Возможно, и перехвалил его: люблю таких, что сами в глаза не лезут, имею такую слабость! Кстати, не забудь сказать своему Левашову,— вдруг повернулся Бережной к Туманяну,— что я его политдонесения прочел и с собой взял. Не политдонесения, а прямо какие-то жития святых. Хоть бы раз для порядку какой отрицательный факт про тебя, или про начальника штаба, или про комбатов привел. Что это за политдонесения такие? Что же мне теперь, самому по вашему полку отрицательные факты выдумывать и наверх слать? Неужели у вас до того все гладко, а?

По его лицу так и нельзя было понять, всерьез или шутя все это сказано.

Туманян пожал плечами.

— Темнишь, Туманян. Гладкой в природе только плешь бывает, да и то не всякая. — Бережной, усмехнувшись, погладил

толстой рукой свою бритую голову с начинавшей отрастать щетиной. — Холодно у тебя в землянке.

— А вот и правая рука явилась, минута в минуту!

Вошедший был мал ростом, худ и очень молод. На петлицах надетой поверх ватника шинели было всего-навсего по одному кубарю.

«Младший лейтенант, а начальник штаба батальона? Что-то маловато звание для должности!» — подумал Синцов, поднимаясь навстречу своей будущей правой руке.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В батальон шли вдвоем с Ильиным. Ильин шагал впереди, маленький, легкий и быстрый, уверенно похрустывая сапогами по снегу. Ветер стих, но от сухого мороза перехватывало дыхание.

Вспоминая разговор в штабе полка, Синцов думал о том, что, будь у Ильина хоть на один кубарь побольше в петлицах, командиром батальона назначили бы его, и сам Ильин, возможно, ждал этого.

Маленький, похожий на строгого мальчика, младший лейтенант показался Синцову честолюбивым человеком. Правда, честолюбие на войне, если при нем еще ум и совесть, не беда, а беда — если без них.

Из слов Туманяна ясно, что Ильин уже четвертый месяц на должности начальника штаба батальона, неясно другое: почему, раз соответствует должности, до сих пор не получил очередного звания?

Он наддал шагу и, поравнявшись с Ильиным, спросил:

— Какую должность занимали до начальника штаба?

Ответ был неожиданным.

— Писарь батальона,— сказал Ильин и, понимая, что удивил ответом, объяснил: — Уже исполнял обязанности, а по званию все еще в старших сержантах ходил. Офицер, как говорится, доморощенный.

Сказал с гордостью человека, знающего себе цену. Потом, шагов через двадцать, добавил:

— Меня бывший командир батальона Тараховский любил и выдвинул, не считаясь со званием. И начальству доказал. Имел характер.

— А последний комбат, Поливанов, тоже сильный был? — спросил Синцов.

— Герой Советского Союза. Справедливый,— сказал Ильин строго, словно хотел предупредить Синцова, какое качество в

своих командирах лично он, Ильин, больше всего ценит. — Когда его днем хоронили, Левашов, комиссар полка, приказал глубоко не зарывать и рельс рядом в землю вогнать, чтобы места не потерять. Раскаленным ломом землю долбили, а все же вогнали. Комиссар сказал, что через неделю, когда в Сталинград войдем, перенесем туда Поливанова и как Героя Советского Союза похороним на площади Павших борцов. Есть такая площадь.

— Знаю, что есть,— сказал Синцов,— но сам не видал, она уже у немцев была... Замполита полка все еще по привычке комиссаром зовете?

— А он и есть комиссар,— сказал Ильин.

— Почему?

— Как вам объяснить,— сказал Ильин. — Сами увидите.

«Да, быстрый у них комиссар полка»,— подумал Синцов. Тяжкая, кротовая борьба с немцами в развалинах Сталинграда приучила его самого мыслить метрами, и мысль, что можно за одну неделю пройти все сорок километров — отсюда до площади Павших борцов,— не укладывалась в голове.

Там, в Сталинграде, в старом батальоне Синцова, они сами решили, что после боев назовут именами двух погибших героев улицы, где те сложили головы. Он вспомнил об этом и сказал Ильину.

— На всех, кто голову сложил, улиц не хватит,— сказал Ильин.

— А возможно, хотя и сами решили, потом по русской привычке сами же и забудем,— сказал Синцов и спросил Ильина, какого тот мнения о командирах рот, что из себя представляет каждый из них.

Ильин отвечал коротко и обдуманно, не колеблясь в своих суждениях о людях, с которыми служил.

— А что скажете о Богословском?

Ильин несколько секунд молчал.

— Знаю, что в штабе полка о нем составили мнение — трус. И от вас, конечно, не скрыли.

— Не скрыли.

— У меня иное мнение,— сказал Ильин и замолчал.

— Может, разовьете?

— Могу развить. Он не трус, а сразу психанул, в первом бою, и не может найти себя. Два раза напивался. В первый раз хотели снять — Поливанов отбил, а про второй — не довели до сведения.

— Пожалели?

— Не считали целесообразным.

— Почему?

— Подумали, может, еще найдет себя, когда начнем наступление.

— А почему психанул?

— Прибыл на фронт впервые. Все тихо. И вдруг на третью ночь бой за высотку. Без приказа свыше, просто пришел Барабанов, командир полка, и поднял людей по пьяной лавочке. А когда Тараховского почти сразу убили, приказал Богословскому повторить атаку. Богословский отказался. За отказ — в лицо: подлец, предатель, трус и так далее... Про Барабанова вас информировали?

— Нет. А что он из себя представлял?

— Коротко говоря — сволочь,— с беспощадной злобой сказал Ильин.

— А если пошире?

— И пошире — сволочь.

— Что, он и вас тоже... — спросил Синцов, услышав ненависть в голосе Ильина.

— Что?

— Ну, что... — сказал Синцов. Что-то в Ильине удерживало от произнесения вслух того, что Синцов имел в виду.

— Меня? Нет... Хотя и пьяный был, а знал, что ногами по себе ходить не дам, застрелю.

— А потом?

— Что потом? Лучше в землю лечь, чем по ней битым ходить. Покалечил Богословского, сволочь!

— Вон даже как! — удивился Синцов.

— Не в том смысле,— сказал Ильин. — До этого не допустили. А что тебя мерзавцем и предателем крестят, думаете, легко пережить? Позволяем, чтоб людей калечили, а потом сами удивляемся: трус! На Барабанове поставили точку, а Богословский психанул и напился в доску. Левашов как ни хорош, а тут не разобрался, он пьяных вообще не терпит, тем более что с Барабановым нахлебался горя. Откровенно говоря, товарищ старший лейтенант, неохота больше на эту тему... Скоро дойдем.

Из темноты выросла фигура шедшего навстречу человека.

— Кто? Ильин? — баском спросил человек.

— Я, товарищ комиссар,— отозвался Ильин,— идем с новым комбатом.

— Добро! — Человек скинул рукавицу, протянул руку Синцову. — Замполит Триста тридцать второго Левашов. — И сразу же сунул руку обратно в рукавицу.— Сегодня, однако, мороз!

— А мы рассчитывали вас увидеть в батальоне, товарищ комиссар,— сказал Ильин.

— Сам рассчитывал,— сказал Левашов,— да вот в штаб полка вызвали. Не то приятность, не то неприятность, у Туманяна по голосу разве разберешь. Кто-то заявился на нашу голову. Только бы не звуковещательная, а то начнет предлагать фрицам сдаваться — и прощай солдатский сон! — Он рассмеялся. — Пошел! Да, Ильин, комбат еще не в курсе дел, поэтому говорю тебе. Беседовал с вашим Богословским, взял с него слово не принимать вплоть до победы ни утром, ни днем, ни вечером ни гвардейской, ни армейской... Вы меня обманули насчет второго случая, а он сам признался. Что обманули — не прощу, а что сам признался — дает надежду. А Завалишину я сказал: еще раз случится — пиши мне официально. Писанины не терплю, но на сей раз требую. А не напишешь — шкуру сдеру! А то опять пожалеет, интеллигент паршивый!

— Почему паршивый? — спросил Синцов.

— А какие же еще интеллигенты бывают, кроме как паршивые? Если и ты из них, то извиняюсь.

— Я из них, товарищ комиссар.

— Шучу,— сказал Левашов. — Просто присказка такая глупая. От бывшего командира полка Барабанова заразился...

И, еще раз повторив: «Пошел!», скрылся в темноте.

— Вот вам и Левашов,— сказал Ильин, когда они прошли несколько шагов. В голосе его послышалась любовь к тому ушедшему в темноту человеку.

— А Барабанов ваш, вижу, был кругом дуб, в выражениях не стеснялся! — сказал Синцов.

— Выражения — полбеды,— сказал Ильин. — Мы и сами бываем неласковые. Хотя, между прочим, ввели у себя в батальоне — не материться. Как вы насчет этого?

— Раз так, буду придерживаться,— сказал Синцов. — Давно ввели?

— Месяц. Еще при Тараховском завели такую странность.

— А чья инициатива? — спросил Синцов, подумав о «паршивом интеллигенте» — замполите.

— Моя,— сказал Ильин.

Землянка штаба батальона, против ожидания Синцова, оказалась просторной, с солидным накатом над головой.

— Старая, немецкая, КП их батальона был,— входя, пояснил Ильин. — Только ход теперь с другой стороны пробили.

В землянке сидели восемь офицеров, все они поднялись при появлении Синцова.

Синцов, как только вошел, подумал, что вяло привставший немолодой низенький старший лейтенант с равнодушным широким лицом и есть Богословский, но оказалось, что это контрразведчик, уполномоченный Особого отдела, или, как его теперь называли, «Смерша»; говорили, что это новое название — сокращенное от слов «смерть шпионам» — придумал сам Сталин. А Богословский, наоборот, был на вид самый бравый из всех присутствующих, высокий и стройный. Здороваясь, он, как олень, вздернул красивую горбоносую голову. Вздернул как бы даже с вызовом: «Что бы там тебе про меня ни говорили, а я вон какой!»

Замполит Завалишин действительно был самый настоящий «паршивый интеллигент»: щуплый, плохо побритый, в толстых сильных очках.

«Наверно, ограниченно годный»,— подумал Синцов.

Адъютант батальона был высокий вихлявый парень с торчащими усиками, из тех, что, как назло, не растут, хоть поливай их утром и вечером.

На крупном пучеглазом багровом лице командира пулеметной роты была написана такая старательность, что Синцов невольно вспомнил слова Туманяна — «способен на ложь».

Старший лейтенант — минометчик, о котором Ильин по дороге сказал «старик, из запаса», был совсем не старик, а дюжий спокойный сорокапятилетний дядя. А впрочем, по арифметике лет он и верно годился в отцы и Ильину, и адъютанту батальона, и обоим командирам стрелковых рот. Эти двое были похожи друг на друга, как братья: одинакового среднего росточка, одинаково сегодня, перед наступлением, одним и тем же парикмахером безжалостно обкорнанные под бокс, и оба с чубчиками, как футболисты, только один с льняным, а другой с черным.

«Левый край, правый край...» — про себя повторял Синцов черт его знает откуда влезшие в голову слова довоенной песенки. И еще подумал, глядя на выстриженные затылки и на чубчики: сколько на его собственных глазах уже сложено этих лейтенантских голов на многострадальной русской земле!

— А где Чугунов? — спросил Ильин.

— У Чугунова замечено движение перед боевым охранением. Просил разрешения остаться в роте,— сообщил Богословский.

— Комроты-три находится у себя,— доложил Ильин Синцову, как бы ставя этим докладом точку на своем прежнем положении человека, исполнявшего обязанности командира батальона.

«Вот с ними и воевать»,— подумал Синцов и пригласил офицеров сесть.

Долго говорить о себе не считал необходимым; не входя в подробности, сказал, что воюет с начала войны, в разное время

был и на взводе и на роте; с октября по декабрь командовал в Сталинграде батальоном.

— Слышал, что Герой Советского Союза капитан Поливанов был сильным командиром батальона. Буду стремиться в меру сил заменить его на этой должности, а в остальном надеюсь на вас и личный состав батальона.

Сознавая трудность своего положения перед людьми, только что понесшими потерю, чувствовал, что надо бы сказать по-другому, но не смог преодолеть свою сдержанность. Раньше, до войны, легче сходился с людьми, но ни того, что война вычеркнула из тебя, ни того, что вписала, видно, не перепишешь.

По отношению к собравшимся было два чувства: хотелось понять каждого, но и задерживать людей надолго было нельзя, особенно командиров рот. Да и вполне поймешь людей все равно только в бою.

Чтобы не затягивать разговора, спросил у командиров рот лишь о том, что хотел услышать лично от них: о настроении людей и понимании завтрашней боевой задачи.

Потом взял у Ильина карту и с карандашом в руках прошелся с каждым по его боевому участку, уточнил, как оценивают противника и местность. Вместе с Ильиным и минометчиком посмотрел схемы огня — и своего и поддерживающего.

Карту все читали грамотно, неприятных неожиданностей не было, за исключением одной: командир пулеметной роты Оськин в ответ на вопрос, где будет находиться завтра во время боя, бойко отчеканил: «Где прикажете!» За этой бойкостью чувствовалось: или заранее не думал, или уклонился от прямого ответа. Станковые пулеметы, согласно приказу, отданному еще Поливановым, были приданы стрелковым ротам повзводно, и командир пулеметной роты мог при желании болтаться во время боя и где-то сзади.

Услышав «где прикажете», Синцов ответил, что до утра прикажет, оглядел всех и сказал:

— У меня все. Какие будут вопросы?

В землянке было неправдоподобно тепло, один бок печки раскалился докрасна. Синцов снял ватник и, расстегнув меховую безрукавку, чтобы перепоясаться под ней ремнем, поймал взгляд адъютанта. Адъютант смотрел на ордена.

«Ладно,— подумал Синцов. — Пусть видят. Заработано не чужим горбом».

— Будут вопросы или нет?

— У меня есть, товарищ старший лейтенант,— сказал командир стрелковой роты с льняным чубчиком.

— Слушаю.

Синцов заглянул в полевую книжку и, чтобы среди всего, что надо помнить, не забыть и этого, мысленно повторил: «Лунин, Лунин, Лунин».

— В каком районе Сталинграда вы воевали? Я сам сталинградский.

Вопрос не относился к предстоящему, а впрочем, относился. Воевать предстояло вместе, и не только он разглядывал их, но и они его.

— Мамаев курган знаете?

— Еще бы!

— Сначала там, а потом северней. В районе баков, знаете?

— Так это ж до Волги всего ничего!

— Да, всего ничего,— сказал Синцов. Сколько ни пришлось вытерпеть за эти месяцы, когда за спиной оставалось «всего ничего», но сейчас если он чем и гордился в жизни, так именно этим. — Занимали своим батальоном три дома на левом фланге дивизии.

— Весь батальон — три дома,— не то восторженно, не то недоверчиво сказал второй, черненький, лейтенант.

Фамилию этого Синцов уже запомнил, фамилия была нерусская — Караев.

— На батальон — три дома, а на дивизию — двадцать,— сказал Синцов. — Был у нас случай, уже в ноябре, командир дивизии рассказывал: ему позвонил с того берега сам командующий фронтом и спрашивает: «Наступаешь?» — «Наступаю». — «Доложи, каким флангом и в каком направлении наносишь удар?» А командир дивизии ему отвечает: «На правом фланге, товарищ генерал-полковник, наношу удар в направлении сверху вниз, потому что дом уже занял, а в подвале еще немцы. А на левом фланге — в направлении снизу вверх, потому что первый этаж наш, а второй — их...»

Все засмеялись. Синцов тоже улыбнулся. Он хотел дать понять этим рассказом, какая обстановка была там у них, в Сталинграде.

— Значит, в газетах похоже на правду писали, товарищ старший лейтенант,— сказал молчавший до этого командир минометной роты с тем хорошо понятным каждому фронтовику чувством, когда от души хочется верить, что все прекрасное, написанное в газетах про других, есть полная правда, но до конца поверить в это мешает сознание, что полной правды о том, что видел и пережил лично ты сам, наверное, никому, кроме тебя самого, не дано прочувствовать до конца.

— Большей частью похоже,— ответил Синцов.— От нас самях зависит. Когда хорошо воюем, почему и всей правды про нас не написать?

Сказал и посмотрел в сторону особиста.

«Если хороший мужик, как был у меня Зотов, не придашь значения, а если, как Федяшкин, каждое слово на крючок,— бери для начала».

— Еще какие вопросы?

Вопросов больше не было.

Командиры стали вылезать из-за стола.

— Жаль, вы, товарищ старший лейтенант, тут у нас утром не были,— надевая шинель, сказал Караев так, словно от Синцова зависело, быть или не быть тут утром.— Через нас парламентеры ходили, на шинелях — погоны новые. Красота!

Он говорил с еле заметным акцентом, мягко и стремительно — не говорил, а танцевал.

«Или дагестанец, или осетин, а может, кабардинец,— подумал Синцов.— Надо будет потом спросить».

— У нас погоны новые, а у немцев песня старая — не сдаются, и все! — сказал замполит Завалишин.

— А вы что, всерьез думали, что они тут же возьмут и сдадутся? — повернулся к нему Синцов.

Завалишин протер очки и задумчиво посмотрел на Синцова.

— Думал. А вы нет?

— Я не думал,— сказал Синцов.

— А я думал. Ведь не просто для очистки совести к нам парламентеров посылали. Значит, допускали такую возможность?

— Это, положим, верно,— согласился Синцов, хотя сам не допускал такой возможности.

— Ничего, товарищ политрук,— сказал Караев.— Так и так за неделю от них мокрое место оставим!

Синцов сегодня уже в третий раз слышал это слово — «неделя». Одно из двух: или так действительно запланировано и просочилось сверху, или это была шедшая снизу солдатская молва, рожденная сознанием собственной силы.

Когда командиры рот, уходившие вместе, теснясь, задержались у выхода из землянки, Синцов краем уха услышал, как Лунин сказал Караеву:

— А сколько у нас жил командир взвода?.. Почти и не жил...

Так и застряла в памяти эта последняя неизвестно по какому случаю сказанная молодым веселым голосом фраза.

Командир минометной роты Харченко задержался последним у выхода и спросил:

— Разрешите обратиться?

— Слушаю вас.

— Колебался, говорить ли с первого раза, товарищ старший лейтенант. У меня девушка в минометном расчете, сержант Соловьева. Санинструктор батальона была, перевели ко мне по ее личной просьбе. Тараховский приказал, и Поливанов подтвердил. А я возражал и сейчас возражаю. Прошу отчислить ее от меня куда хотите.

— Почему? — спросил Синцов.

— Завтра бой.

— А что, она себя плохо показала?

— Нет, не плохо. Но девушка она. Жалею.

— Она сама упорно просилась на это место,— сказал Завалишин.

— Много она, дура, понимает, где ее место,— упрямо сказал Харченко. — Жалею, потому что бой. Прошу отменить приказ.

— Ничего. Она сама заявила, что у минометчиков ей не страшно,— усмехнулся Ильин, и Синцову показалось, что усмешка эта относится к чему-то, о чем он еще не знает.

Но Харченко не обратил внимания на слова Ильина, даже глазом не повел. Стоял и ждал, что скажет комбат.

«Может, и в самом деле не место»,— подумал Синцов, но начинать в первый же день с отмены приказа двух комбатов не захотел. Тем более девушка сама добивалась — такие чаще всего упрямы.

— Позже разберемся, а пока берегите по силе возможности.

Харченко откозырял и вышел.

— Исключительно добросовестный, но немного боязливый,— сказал Ильин о Харченко после его ухода.

— Не сказал бы,— раздалось из угла землянки.

Это были первые за все время слова, сказанные уполномоченным.

— Что имеете в виду? — повернулся к нему Синцов.

— Имею в виду, что вполне на месте и пользуется в роте авторитетом. А что не бахвал — так это не обязательно.

В его словах был оттенок вызова. Видимо, уполномоченный больше сочувствовал спокойному поведению такого же, как он, средних лет человека, чем молодому задору Ильина.

— Я не говорю, что Харченко плох, но ему всегда кажется, что страшней его минометных позиций на земле места нет. Дело делает, но внутри себя все время переживает,— сказал Ильин.

— А переживать никому не запрещено,— сказал уполномоченный.

«Нет, ты, кажется, ничего, дядя,— подумал Синцов,— хорошо бы не ошибиться!»

— Ничего с ней, с этой Соловьевой, завтра не сделается,— сказал Ильин.

Уполномоченный поднялся.

— Если у вас нет ко мне вопросов, пойду. У меня свои дела в ротах.

— Значит, не к себе людей вызываете? Сами к ним ходите? — спросил Синцов.

Сказать так дернуло за язык одно воспоминание, но, не договорив, уже пожалел: «Зачем задираешься? Даст отпор — и будет прав».

Но лицо особиста осталось равнодушным.

— Как когда,— сказал он. — А что?

Теперь, раз начал, надо было договаривать до конца.

— Сидел у меня одно время в батальоне уполномоченный. Засел, как гвоздь, в землянке, и вызывал к себе днем под обстрелом то одного, то другого.

— Ну и что? — тем же ровным голосом спросил уполномоченный.

— Ничего. Пожаловался его начальству, попросил отозвать.

— Отозвали?

— Отозвали.

— Ну и правильно,— сказал уполномоченный. — Так если ничего ко мне нет, я пошел.

«А что у меня к тебе может быть? — молча кивнув, подумал Синцов. — У меня свои дела, у тебя свои».

Уполномоченный медленно надел полушубок и ушанку — наверно, не хотелось, как и всякому другому человеку, идти из тепла на холод — и вышел.

«Спокойный мужик»,— сочувственно подумал Синцов. Он любил спокойных людей.

— Хорошо натопили,— сказал Ильин. — Верно, товарищ старший лейтенант?

— Даже слишком,— сказал Синцов. — Дров не жалеете.

— Напоследок ободрали все,— сказал Ильин. — До последнего. Все равно нам здесь больше не жить, завтра вперед пойдем.

Синцов посмотрел на часы. Времени уже много. А надо еще и к артиллеристам и в роты, хотя бы в одну, из которой не пришел ее командир — Чугунов.

«Да, Чугунов». Он заглянул в полевую книжку, чтобы проверить, не ошибся ли.

— Сходите к Чугунову,— обратился он к адъютанту,— узнайте, что там у него, и передайте, что я позже сам приду, пусть не отрывается от своих дел.

Можно было и просто позвонить по телефону, но подумал об адъютанте: «Пусть сбегает, долговязый, нечего ему тут все время толочься».

Адъютант радостно сказал: «Есть!» Этому выскочить на мороз, видимо, ничего не стоило. Он кинулся к висевшему на стене полушубку, и Синцов только тут заметил, что адъютанта еще и мужчиной-то не назовешь. До чего же он голенастый, длиннорукий, даже плечи еще не развились по-настоящему!

— Неплохой парнишка наш Рыбочкин,— сказал Ильин, когда адъютант вышел. — Только умываться его пришлось заставить. Когда пришел, вижу: два дня не умывается, три дня не умывается. Спрашиваю: «Ты чего не умываешься?» А он говорит: «А я думал, на войне не умываются»...

— Шутка, что ли?

— Нет. Вполне серьезно,— рассмеялся Ильин. — Пришлось учить, как маленького. Дело знакомое. Я только за год до войны педтехникум окончил. «А ну, покажите ваши руки?» Так и с нашим Рыбочкиным.

Он говорил об адъютанте, как о маленьком, и имел на это право. Чувствовал себя старше его на полтысячи дней войны.

Синцов, обратившись к Богословскому, задал ему несколько вопросов по занимаемой должности. С ответами Богословский не мялся; что было положено знать — знал, только отвечал слишком звонко, напряженно, как бы стремясь подчеркнуть, что он не тот, каким командир батальона мог заранее счесть его с чужих слов.

— Как видите завтра свое место в бою?

Богословский ответил, что Поливанов еще утром приказал ему с начала наступления находиться с первой, левофланговой ротой — толкать Лунина.

— Толкут воду в ступе,— не удержался Синцов. Знал на своей шкуре, как редко в бою обходятся без этого слова, но все равно не любил его.

— Если приказание не отменяется, то разрешите, пойду туда с ночи. — Богословский выждал, не добавит ли комбат еще чего после слов о воде и ступе.

— Что ж отменять,— сказал Синцов. — На первые часы боя приказание верное, а там по обстановке. Идите. Толкайте, а верней — помогайте бой организовать. Мне лично так больше нравится.

— Мне тоже, товарищ старший лейтенант,— дернул головой Богословский.

Когда он ушел и остались втроем, Ильин вспомнил:

— А вы ужинали?

— Уже перехотел,— сказал Синцов и удержал вскочившего Ильина. — Потом, когда из роты вернемся.

— А когда пойдем?

— Да вот сейчас и пойдем.

— Тогда разрешите отлучиться.

Ильин надел ушанку и выскочил из землянки в одной гимнастерке.

— Насчет того, что про нас пишут и чего не пишут, зря высказались,— вдруг сказал Завалишин.

— При особисте зря или вообще зря?

— Вообще зря.

— А вы что, журналист, что ли,— обиделись?

— Нет, я не журналист.

— А я как раз журналист, в далеком прошлом,— сказал Синцов.

— Вот не думал,— сказал Завалишин. — Думал, вы кадровый.

«Кто его знает, может, хочет польстить? Если так — зря».

— Возможно, я бываю резок,— сказал Синцов, посмотрев на замполита. — Жизнь так научила, хотя и не сразу. Если привыкнете — спасибо, а не привыкнете — что поделать. С прошлым замполитом жил по-братски.

— Что ж,— сказал Завалишин,— по-братски так по-братски. Авось найдем общий язык, я, говорят, человек мягкий.

— Мягкий — это плохо.

— Ну, не до такой степени, чтоб плохо,— чуть заметно усмехнулся Завалишин.

И Синцов вспомнил то, что говорил про него Бережной.

— Мне в полку сказали, что за время боев в батальоне тридцать человек в партию принято.

— Да, приняли много, но и потеряли... — Завалишин не договорил.

— А на сегодня?

— На сегодня, с вами считая, двадцать девять.

— Да, арифметика тяжелая.

Завалишин вздохнул.

— Бои. А когда бои, сами знаете: коммунисты, вперед! — со всеми вытекающими... А кто к этому не готов, зачем его в партию тянуть? Для цифры?

— Ваша фамилия мне знакома,— сказал Синцов. — Только не могу вспомнить.

Завалишин пожал плечами.

— Декабрист был такой, Завалишин. У нас тут в батальоне два декабриста — я да Лунин!

— Уж не потомки ли, часом? — рассмеялся Синцов.

— Лунин навряд ли, а я, видимо, да.

— Замполит — из дворян. Этого со мной еще не бывало.

— Чего на свете не бывает. Правда, дворянином я только до пяти лет был, больше не успел.

— Значит, как и я, с двенадцатого? А мне показалось, старше. — Синцова почему-то обрадовало, что они с замполитом одногодки.

— Ужин подготовят на три ровно,— сказал Ильин, входя.

— А не рано?

— Успеем. И сходим и вернемся.

Синцов стал надевать ватник.

— Вы здесь, на телефоне,— сказал он Завалишину. — Мы в третью роту, потом на НП к артиллеристам и домой.

— Можно найти полушубок,— предложил Ильин.

— Пока не требуется,— сказал Синцов. — Где санчасть?

— Как водится, под боком,— сказал Ильин.

— Когда вернемся, вызовите фельдшера, хочу знать, как подготовился к завтрашнему. Санчасть по штату?

— По штату. Фельдшер, два санинструктора, четыре санитара, сани, лошадь.

— Штат ясен. А пол?

— Пол последнее время кругом мужской,— улыбнулся Завалишин. — За исключением, кажется, лошади. Была Соловьева санинструктор, теперь — минометчица.

— Кстати,— Синцов вспомнил выражение лица Ильина, когда они говорили об этой девушке с командиром минометной роты,— там у нее ничего не происходит с Харченко, не из-за этого он волновался?

— Ничего подобного,— ответил Ильин и покраснел.

— Вопрос исчерпан,— сказал Синцов, не пожелав обратить на это внимания. — Пошли.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Луны не было, но небо к ночи посветлело, и стояла такая тишина, что казалось, хруст шагов по ходу сообщения отдается и у нас и у немцев.

Впереди, там, куда шли, простучала длинная очередь и сразу вдогонку вторая, короткая, и еще раз длинная, последняя.

Бил немецкий ручной пулемет. Синцов узнал бы его и во сне и спросонья.

— У Чугунова? — спросил Синцов.

— Да.
— Сколько тут ходу?
— По прямой мало, но мы немного огибаем высотку.
— Что скажете о командире роты?
— Человек трудящийся. Только учудил недавно. Когда эту высоту взяли, три контратаки было. И на третью ночь все же выбили Чугунова. Он был злой на это, и, когда восстановил положение, оказывается,— мы уже потом узнали — собрал роту и принял клятву: что бы ни было — высоту держать! А кто в другой раз отойдет, тому живым не быть. На другую ночь опять контратака, и один боец, Васильков, сбежал в тыл. Ну, куда в тыл? Не дальше кухни. Свои же ротные его и вернули. Тогда Чугунов, никому ничего не доложив, собрал представителей взводов на суд: что с этим Васильковым делать? Приговорили: расстрелять. Когда приговорили, Чугунов спрашивает: «Может, на первый случай простим? Пусть докажет». А солдаты свое: расстрелять! Строго подошли. Чугунов им свое, а они свое. Конечно, он на своем настоял, но уже с трудом. Завалишин — на политрука роты: как допустил самосуд? Левашов — на Завалишина...
— И чем кончилось?
— А ничем не кончилось. Рота высоту держит, солдат воюет, оправдывается. Я уж спрашивал Чугунова, что он имел в виду: солдата спасти, чтобы до трибунала не дошло, или в самом деле имел в виду его расстрелять, а в последний момент пожалел? Молчит, не объясняет. Характер тяжелый. Вот уж именно Чугунов!
— Значит, его не сняли, а вам всем досталось,— сказал Синцов.
— Мне-то боком,— сказал Ильин,— а Поливанову с Завалишиным холку намяли. Ясное дело! Раз заслонили своего командира роты, значит, весь удар по ним. Однако все же на своем настояли.
— И Завалишин тоже? — спросил Синцов о замполите.
— А он, между прочим, упрямый,— сказал Ильин. — Иногда такой человечный человек, что просто за него неудобно: приказывает, как просит, только что «пожалуйста» не говорит. А иногда упрется — не сдвинешь! За Чугунова — горой. Вчера ему рекомендацию в партию дал. Уже после всего.

В маленькую землянку к Чугунову едва влезли. В ней и так теснилось несколько человек. Чугунов подал команду «смирно», оттеснил заслонявшего его Рыбочкина, сделал полшага вперед и отрапортовал Синцову по всей форме.

— Что у вас за стрельба была? — спросил Синцов, сверху вниз глядя на маленького, невидного, утонувшего в полушубке и

валенках командира роты, которого после слов Ильина «вот уж именно Чугунов!» ожидал увидеть совсем другим.

— Фрица взяли!

Синцов повернул голову и увидел стоявшего между двумя солдатами тощего немца в натянутой на уши дырявой пилотке. Немец стоял навытяжку, руки по швам, и глотал слюну, двигая небритым кадыком. В правой руке, в худых черных пальцах, была зажата горбушка хлеба.

— Уже кормите? — сказал Синцов.

— Дали,— виновато сказал Чугунов и, объясняя свою доброту, добавил: — Перебежчик.

— По нем стреляли?

— Не совсем, товарищ старший лейтенант. Разрешите доложить?

— Докладывайте.

— Заметили шевеление перед передним краем. А потом прекратилось и больше не наблюдалось. Даже подумали: почудилось. А вот он,— Чугунов показал пальцем на одного из солдат,— уверял, что наблюдает. Разрешил ему сползать за передний край. Сползал и обнаружил.

— Так какой же это перебежчик? — сказал Синцов. — Наоборот, разведчик.

— Никак нет,— сказал Чугунов и повернулся к солдату. — Доложите.

— Когда я до него дополз, он без оружия был, товарищ старший лейтенант,— сказал солдат. — Я на него автомат, а он — «капут» и пропуск сует.

— А почему же он сам дальше не полз?

— Думаю, забоялся. Мы, когда с ним потом ползли, только чуть зашумели, фрицы сразу по нас огонь.

— Их бин остеррейхер... — Немец оторвал руку от ляжки и ткнул себя черным пальцем в грудь.

«Еще не чувствует, а пальцы поморожены»,— подумал Синцов.

— Остеррейхер,— повторил немец и, весь напрягшись от желания и неумения выразить то, что хотел, с отчаянием выкрикнул: — Аустрия.

— Подумаешь, Австрия! — сказал Ильин. — Теперь нам и Германия сдается.

— Нихт Германия, нихт Германия, Аустрия!.. — хрипло выкрикнул перебежчик. И снова ткнул себя черным пальцем в грудь и сделал несколько судорожных движений рукой, показывая, как он полз сюда.

— Да, похоже, что перебежчик,— сказал Синцов. — Соедините с батальоном.

Телефон стоял тут же, на лавке. Чугунов, присев на корточки, стал накручивать ручку.

— Товарищ старший лейтенант,— сказал Рыбочкин,— разрешите, я его допрошу, я немецким немного владею.

Синцов недоверчиво покосился на адъютанта батальона: допрашивать пленных всегда находятся доброхоты, считающие, что они знают немецкий.

— Попробуйте.

— Заген зи мир битте,— бойко начал Рыбочкин и, запнувшись, повторил: — Заген зи мир битте, варум зи коммен унс?

Немец ответил длинной, быстрой, захлебывающейся фразой: видел свое спасение в человеке, понимающем по-немецки, и спешил поскорей сказать ему как можно больше.

— Что он говорит? — спросил Синцов, уже беря у Чугунова телефонную трубку.

— Говорит, что сам сдался,— неуверенно сказал Рыбочкин.

— А что еще? Что сдался, и без вас вижу.

— Сразу не разобрал, товарищ старший лейтенант.

Синцов махнул рукой и попросил к телефону Завалишина.

— Слушаю! — послышалось в трубке.

— Позвоните Первому и доложите, что на участке Чугунова... — Синцов остановился, вспомнив, что фронт здесь стоит не первый день и немцы, чего доброго, могли где-нибудь прицепиться к нашей связи. Маловероятно, но приходилось считаться. — Подождите,— сказал он в трубку и повернулся к Чугунову: — Кодовые обозначения у вас есть?

— Так точно.

Чугунов вытащил из полевой сумки, перелистал и подал Синцову тетрадку. Там столбиком были выписаны два десятка закодированных цифрами слов, нужных в обиходе батальона.

— Завалишин,— отыскав в конце столбика против цифры «16» слово «пленный», сказал Синцов,— передайте Первому, что срочно отправил к ним шестнадцать. Поняли меня? Посмотрите там у себя. Повторяю: шестнадцать. Посмотрели?

— Сейчас посмотрю,— сказал Завалишин. — Посмотрел.

— Скоро будет у них. Предупредите, чтоб подготовили... — Синцов не хотел произносить по телефону слово «переводчик» и потому сказал: — Ну, кто нужен для разговора с шестнадцать, поняли?

— Понял.

Синцов положил трубку и приказал Рыбочкину:

— Лично отведите его прямо в полк, да побыстрей. Бойца с собой возьмите,— кивнул он на того солдата, который привел перебежчика.

— Я и один доведу,— сказал Рыбочкин.

— А в дороге обессилеет, свалится, на горбу потащите? — спросил Синцов. — Выполняйте приказание. И для доморощенных переводов не задерживайтесь. Без вас допросят.

— Воллен вир коммен,— сказал Рыбочкин немцу.

Немец не понял слов, но хорошо понял жест, которым солдат подтолкнул его в плечо. Понял и вопросительно посмотрел на Синцова.

— Эссен, эссен,— сказал Синцов, показав пальцем на стиснутый в черной руке немца хлеб. — Аллес гут...

Немец пошел за адъютантом, и Синцов невольно посмотрел ему вслед. У выхода из землянки, прижавшись к стене, пропуская мимо себя немца, стоял неизвестно откуда взявшийся мальчик в полушубке и ушанке, с автоматом на шее.

— Это еще кто такой? — спросил Синцов.

Мальчик повернулся на его голос. Он был высокий и щупловатый — маленькое, худое, детское лицо с черными злыми глазами.

— А, явился! — сказал Ильин. — Кто тебя звал?

— Мне сказали, что товарищ комбат пошел к Чугунову, и я тоже пошел. Я службу несу.

— Самовольничаешь ты, а не службу несешь. Велел тебе, чтоб пока на глаза не совался,— сердито сказал Ильин и повернулся к Синцову: — Товарищ старший лейтенант, это ординарец Поливанова, такого уж он сам себе выбрал. У Поливанова год был. Остался на ваше усмотрение.

«Надо будет поскорей заменить»,— подумал Синцов, но говорить этого вслух не стал. Его поразило лицо мальчика: выражение неутоленной ненависти, с которым он повернулся после того, как смотрел на немца.

— Раз службу несешь,— сказал Синцов,— должен был выполнить приказание.

— Прикажете идти? — держа руки по швам, сказал мальчик; на лице его по-прежнему было все то же непроходившее выражение.

— Теперь со мной пойдешь, когда я пойду.

— Между прочим,— сказал Ильин,— солдат, что немца нашел, тот самый Васильков, что я вам говорил.

— Что? — услышав «Васильков», спросил отвлекшийся по своим делам Чугунов.

— То, что слышишь,— сказал Ильин. — По дороге сюда рассказал новому комбату, как ты учудил. Пусть знает, что ты за птица.

— А я не птица, товарищ младший лейтенант, а командир вверенной мне роты,— огрызнулся Чугунов. Его резкий тон заставил Синцова оглянуться.

Но в землянке уже никого не было, кроме них троих. Мальчик-ординарец исчез.

«Значит, не приучен тереться возле начальства»,— подумал Синцов.

— А насчет Василькова разрешите доложить свои соображения, товарищ старший лейтенант,— обратился Чугунов к Синцову.

Синцов не собирался расспрашивать, но раз сам хочет, пусть говорит.

— Слушаю вас.

— Васильков сам попросился сползать на ничейную землю, заявил, что там человек. И я разрешил. Если б не разрешил, он подумал бы, что я не верю в него. А раз так — он уже не солдат. А я, когда верил, знал, что за свою веру своей головой отвечаю.

«Эх, голова, голова наша командирская! — подумал Синцов. — Сколько раз под горячую руку обещали и снять ее и оторвать, а ничего, все еще держится на плечах! И верить людям не разучиваемся, хотя, случалось, и подводили. Но разве сравнишь это с тем, сколько раз они твою голову спасали и стойкостью, и кровью, и прямой жертвой жизни? Даже и ставить нельзя рядом одно с другим, если воюешь вместе с людьми, а не просто дрожишь за свою голову. Вера в людей! Где ее мера и в чем ее заблуждение? А заблуждения тоже бывают, и чаще всего не там, где ждал. И сам иногда неожиданно делаешь больше, чем мог себе представить, а иногда сдаешь, держишься на ниточке, на спокойном лице, а внутри страх и ужас...»

Так думал он, глядя на Чугунова и говоря в это время вслух то, что считал должным сказать: командир роты правильно сделал, послав Василькова, солдат — молодец, и надо представить его к «Отваге».

— Хорошо, что так кончилось,— сказал, обращаясь к Чугунову, Ильин. — Я бы, например, не решился на твоем месте. Другого кого — да, а Василькова на ничью землю не послал бы.

— Почему?

— Раз вчера со страха в тыл утек, завтра с того же страха мог и к немцам утечь.

— Ну, а дальше что? — спросил Синцов. — К ним в котел, а потом?

— А страх не думает,— сказал Ильин. — Страх сразу делает, что дальше — он не знает.

— Ты бы не решился,— сказал Чугунов,— а я решился. В этом и есть вся разница между нами.

— Ох и обидчивый ты, Чугунов,— примирительно сказал Ильин. — Подумаешь! Сказал ему «птица» — и сразу в бутылку полез, обиделся.

— А я не обиделся, я тебя на место поставил,— непримиримо сказал Чугунов.

Ильин махнул рукой. По его лицу видно было, что он одновременно и уважает и не выносит строптивого Чугунова, и еще неизвестно, какое из двух чувств в нем сильнее.

«Да, тут нашла коса на камень»,— подумал Синцов.

Он уже успел заметить, что все остальные офицеры в батальоне внутренне приняли над собой старшинство младшего лейтенанта, а Чугунов — нет. Чугунова, наверно, и самого могли бы выдвинуть в командиры батальона, а может, и выдвинули бы, если бы он не «учудил» с этим своим судом.

Поглядев с Чугуновым по карте боевой участок роты и задав ему несколько вопросов, Синцов ощутил в себе то радостное чувство высшей уверенности в подчиненном, которое иногда дается в награду только тем из больших и маленьких начальников, кто в душе способен на справедливую оценку и себя и других; он почувствовал, что, окажись он сам завтра здесь командиром этой роты, он все равно не сделает в бою больше, чем сделает Чугунов.

— Ну что ж,— сказал Синцов, когда Чугунов сложил карту. — Теперь сходим посмотрим, где ваш первый солдат лежит.

— В окопах только дозорные,— сказал Чугунов. — Остальные спят.

— Ясно,— сказал Синцов. — Пошли.

— Товарищ старший лейтенант, вы хотели еще успеть к артиллеристам,— сказал Ильин. Он не одобрял намерения нового комбата пройтись по окопам.

Да оно и понятно: сам все сто раз облазил, а сейчас, ночью, много не увидишь.

Но Синцов все равно не переменил намерения, слишком хорошо знал, что солдат смотрит на командира по-своему: раз уж явился, то всюду ли прошел и пролез и не спешит ли уйти назад? В этом, конечно, не вся командирская доблесть, но первый слух о командире начинается с этого.

К артиллеристам пришли только через полтора часа, глубокой ночью.

— Однако вы припозднились,— поздоровавшись с Синцовым и Ильиным, сказал тот круглый майор-артиллерист, который у Туманяна приглашал Синцова зайти к себе.

Сейчас, у себя в землянке, за столом, без шапки, он казался еще круглее: круглые щеки, круглая, ежиком остриженная голова, круглые пальцы, которыми он обнимал фарфоровую кружку с чаем. Кружка была домашняя, с цветочками.

— Мы и то боялись, что вы уже спите,— сказал Синцов.

— Надо бы, а не могу. Завтра наш день. Только что ваш сосед — комбат — ушел. Немного не застали. Я его тоже поддерживаю. Чаю хотите?

— Спасибо.

— А может, с мороза чего другого?

— Тогда лучше чаю,— сказал Синцов.

— Увязывать нам с вами особенно нечего. Все с вашим предшественником увязали. Но для порядка посмотрим.

Майор развернул на столе свою большую, на диво расчерченную цветными карандашами схему огня и положил ее рядом с картой. Майора радовало, что схема такая красивая. Он вообще готовился к завтрашнему дню, как к празднику.

На разглядывание схемы, сверку ее с картой, вопросы и ответы ушло минут пятнадцать.

Ординарец принес чай.

— Да; вес общего залпа завтра будет солидный,— сказал майор,— можно сказать, небывалый вес.

Синцов чуть заметно усмехнулся дважды повторенному слову «вес».

— Думаете, преувеличиваю? Действительно, вес небывалый! С цифрами в руках.

— Я понимаю,— сказал Синцов. — Просто вспомнил, как до войны в докладах подчеркивали: «Общий вес нашего «Ворошиловского залпа» в три раза тяжелее общего веса залпа всей армии Франции, в два раза тяжелее, чем Германии...»

— А что,— сказал майор,— по расчетам так оно и выходило — тяжелей. Да сложилось не так, как мы, артиллеристы, думали поначалу. А сейчас все на воздух подымем!

— Полки пополнение получили,— сказал Ильин,— а нам по батальонам не роздали. Значит, рассчитывают, что вы дадите нам возможность первый день без потерь прожить.

— Без потерь войны не бывает,— сказал майор. — Хотя и приложим все наши старания.

Синцов вспомнил о перебежчике и сказал, что срочно отправил его в полк. Может, что-то даст, какие-нибудь новые цели для поражения.

— Навряд ли будут уточнения. На сей раз разведали все досконально,— сказал майор. Его переполняло такое чувство абсолютной готовности к предстоящему делу, когда уже не хочется, чтобы жизнь вносила еще какие-нибудь поправки.

— Спасибо за чай, пойдем,— встал Синцов.

— Жаль, своего соседа не застали,— сказал майор. — Он дожидался вас.

— А далеко он? — спросил Синцов у Ильина.

— Метров восемьсот.

— Раз так, сходим,— пересилив себя, поднялся Синцов; после кружки горячего чая его тянуло спать.

Пока прощались, на столе затрещал телефон. Майор взял трубку.

— Голубев слушает... Есть. Сейчас. — И протянул трубку Синцову. — По вашу душу.

— Комбат,— послышалось в трубке. — Левашов говорит. Я у тебя с гостями. Приходи быстрей, не задерживайся.

— Это Левашов звонит,— положив трубку, сказал Синцов Ильину. — Приказал мне прийти. Сидит у нас с какими-то гостями. Как поступим?

— Если разрешите, я к соседу сам схожу.

Идти Ильину было явно неохота, но все же предложил.

И Синцов согласился.

— А вас ординарец ваш проводит. Он тут уже все ходы и выходы знает.

Мальчик шел по ходу сообщения впереди Синцова. Такому бы не автомат на шее таскать, а учиться в шестом классе. Синцов вспомнил, как мальчик смотрел там, в землянке, на немца, и спросил:

— Крепко не любишь фрицев?

Мальчик повернулся на ходу.

— Зря этого фашиста не убили, товарищ старший лейтенант.

— Почему зря? Перебежчик, сведения даст.

— Что-то они раньше не перебегали!

— Не перебегали, а теперь перебегают. Это в нашу пользу.

— Я летом капитана Поливанова просил, когда мы двух эсэсовцев поймали, чтоб он меня послал их кончить. А он не послал, обругал.

— И правильно.

— А фашиста этого все равно зря повели,— сказал мальчик. — Теперь, конечно, не признается, а может, он до этого сто человек убил?

— Как тебя звать?

— Ваня.

— Значит, тезки, я тоже Иван, Иван Петрович.

— А у меня не настоящее,— сказал мальчик. — Меня так капитан Поливанов назвал.

— А какое настоящее?

— Иона Ионович,— сказал мальчик так, словно он был взрослый. — Только вы меня так не называйте. Называйте, как капитан Поливанов. Я уже привык.

— А я тебя вообще никак называть не буду. Отправлю в школу учиться.

— А я все равно на фронт уйду. За капитана Поливанова отомстить!

Синцов вздохнул, понял по голосу: в самом деле уйдет. «Если останется тут, со мной, скорей всего, рано или поздно ранят, а то и убьют. Но, с другой стороны, еще неизвестно, какая у него будет жизнь там, в тылу. А здесь уже прижился. Убить или ранить могут любого. Это общая судьба. Можно и просто где-нибудь по дороге на фронт с буферов под колеса...»

— Правда, отправите?

— Не знаю,— сказал Синцов. — Подумаю. А ты что, сирота или родных потерял?

— Сирота. Меня капитан Поливанов той зимой в Лозовой подобрал.

— Что значит «подобрал»! На дороге, что ли?

— На дороге. Я замерзший лежал, у меня на ноге три пальца отняли. Неужели отправите?

— Сказал, еще не знаю.

— Если сами не хотите, тогда лучше обратно в Триста тридцать первый отправьте. Локшин меня к себе возьмет.

— Кто такой Локшин?

— Замполит был капитана Поливанова, он живой. С ним капитан Поливанов вчера по телефону говорил.

— Подумаю,— сказал Синцов.

Он испытал приступ тоски. Страшно тридцатилетнему человеку на войне вдруг, как маленькому, вспомнить, что он тоже сирота.

Об отце память была не собственная — через мать: забрали из-под Вязьмы на германскую войну народного учителя, а обратно прислали только извещение, что погиб за царя и отечество. О матери помнил сам, но смутно, как, умирая в тифу, отстраняла горячей рукой, чтобы не подходил, не утыкался.

Вот и все воспоминания...

«А этот, конечно, помнит все, всякую мелочь. Всего год назад было. А что помнит, лучше не спрашивать...»

У входа в землянку мальчик прижался к стене окопа и пропустил Синцова вперед.

— Заходи, погрейся,— сказал Синцов.

— Я пойду вам оружие к бою подготовлю, товарищ старший лейтенант.

— Что за оружие? — спросил Синцов. — Свой автомат, что ли, отдашь?

— Нет,— сказал мальчик. — У меня капитана Поливанова автомат остался. Только у ложа кусок отщепило, но я подрежу, ничего будет.

«Да, вот и все, что осталось от капитана Поливанова,— подумал Синцов,— мальчик Ваня да автомат со щербиной на ложе».

— Ладно, иди,— сказал он мальчику и шагнул в землянку.

В землянке, когда он вошел, сидели четверо: Завалишин, батальонный комиссар в телогрейке, который только и мог быть замполитом полка Левашовым, и двое гостей: белокурый старший политрук со знакомым лицом и широкоплечий, коротенький, рыжий, очкастый человек в гимнастерке без петлиц.

Синцов отрапортовал о своем прибытии по приказанию товарища батальонного комиссара.

— Уже знакомы, но познакомимся еще раз, как говорится, при свете дня. — Левашов встал и, шагнув навстречу Синцову, пожал ему руку.

— Захватил к тебе с собой гостей из Москвы, корреспондентов. Имеют задание написать «Сутки боя на КП батальона». Обещают ни на шаг от тебя, если живот от страха не заболит. Предлагал в штабе полка остаться, что не увидят — домыслить. Не согласны.

— Рад п-познакомиться,— слегка заикнувшись, сказал рыжий. Лицо у него было розовое, хитрое, все в маленьких, таких же рыжих, как волосы, веснушках.

Синцов повернулся к старшему политруку со знакомым лицом. Так вот где их в третий раз свела судьба! Чего на свете не бывает!..

— Здорово, Синцов. — Люсин протянул руку.

— Здравствуйте,— сказал Синцов, пожимая эту с излишней быстротой протянутую руку.

— Неужели знакомы? — весело спросил Левашов.

— Знакомы, когда-то вместе служили,— радостно улыбаясь, сказал Люсин.

«Наверно, боялся, что не подам руки, а теперь обрадовался, дурак»,— подумал Синцов и, ничего не сказав, повернулся к вошедшему в землянку пожилому ординарцу Ильина.

Он уже видел его сегодня мельком, когда тот подтапливал печку. Ординарец стоял, держа в одной руке судки, а в другой буханку хлеба. Под мышкой у него была зажата фляжка.

— Приглашаю поужинать, товарищ батальонный комиссар,— сказал Синцов.

— А нас Завалишин уже пригласил, тебя ждали. — Левашов снова повернулся к Люсину: — Где вместе служили?

— В начале войны на Западном, во фронтовой газете,— сказал Люсин.

— Вон оно что! А ты тоже журналист был?

— Был когда-то,— сказал Синцов.

— Вот это удача,— сказал Левашов. — Это вам, можно сказать, хлеб! Комбат из журналистов! Не часто бывает. Хотя, между прочим, я тоже когда-то рабкором был, заметки в «Керченский рабочий» писал. Хотя это у вас, наверно, не считается?

Синцов отвинтил крышку у фляги и понюхал: водка или сырец. Во фляжке был сырец, надо будет разбавлять.

— Воды принесите,— сказал он ординарцу.

Когда Синцов стал разливать разбавленный сырец, Левашов накрыл свою кружку рукой:

— Не буду. И не трать время на уговоры. Завалишин знает.

— А в чью пользу отказываетесь? — спросил рыжий.

— Могу в общую, могу лично в вашу.

— Лучше лично в мою,— сказал рыжий и пододвинул свою кружку, чтобы Синцов долил.

— Ничего, ему можно,— сказал Люсин. — Он здоров пить.

Синцов, ничего не ответив, долил.

За ужином говорил главным образом Левашов. Сначала расспрашивал корреспондентов про Москву, из которой они, оказывается, улетели только вчера утром, потом стал вспоминать какого-то корреспондента, в начале войны приезжавшего к нему в в полк под Одессу. Потом, узнав, что рыжий (его фамилия была Гурский) и Люсин пишут свои корреспонденции вдвоем, стал удивляться: и как это так люди пишут вдвоем?

— А очень просто,— сказал Гурский. — Я ленив от п-природы, а Люсин, наоборот, т-трудолюбив. Сначала он п-пишет т-текст, а потом я вставляю в его т-текст м-мысли.

Люсин не спорил и не отшучивался. Сидел и думал о своем. Может быть, о том же самом, о чем и Синцов: на кой черт их

снова свела судьба? А может, и не так, может, просто думал о предстоящем бое, о котором так или иначе думали все — и говорившие и молчавшие.

— Что мне, бывает, не нравится в газетах,— сказал Левашов,— это то, что иногда у вашего брата немцы падают, как чурки. Один, понимаешь, до тридцати уничтожил, другой — до сорока, а третий, глядишь,— и до ста... А если бы, между прочим, с начала войны каждый из нас по одному немцу уничтожил, то от всего бы их войска уже один шиш остался.

— Согласен. Но т-тут еще надо разобраться, когда мы п-привираем по собственному вдохновению, а когда — согласно вашим п-политдонесениям,— сказал Гурский.

— Хрен редьки не слаще,— махнул рукой Левашов.

— Лично я, п-повторяю, согласен, но б-боюсь, что наш редактор не опубликует ваших мыслей.

— А я и не прошу мои мысли публиковать. Я вам просто как человеку сказал.

Синцов внимательно посмотрел на Левашова. В голосе батальонного комиссара прозвучала затаенная печаль.

— Был у нас до него,— кивнул Левашов на Синцова,— комбат Поливанов. Герой и успел получить Героя. Был до Поливанова Тараховский, сделать успел много, а получить ничего не успел и погиб из-за дурака. Был до Тараховского... Как его была фамилия? А, Завалишин?

— Не знаю, я позже пришел.

— Да, верно, ты позже пришел. И я его только несколько дней застал. Вот видите, даже фамилии не помню. Помню, что старший лейтенант, помню, что хороший был, помню, что в госпиталь отправили... и все, больше ничего не помню. Вот она, наша жизнь!.. Слушай,— повернулся Левашов к Синцову,— что с мальчишкой будем делать?

— Оставляю,— неожиданно для себя именно сейчас окончательно решил Синцов.

Левашов пожал плечами: «Неправильно, но тебе виднее».

— А что за мальчишка? — спросил Люсин.

— Ординарцем был у комбата Поливанова, его предшественника,— кивнул на Синцова Левашов. — Мальчик четырнадцати лет. Ваня Хорол из Лозовой. Семью немцы убили. Они в Лозовой почти всех евреев убили, мы своими глазами ту яму видели.

— А п-почему Ваня? — спросил Гурский.

— А это надо было у Поливанова спросить, да теперь уже не спросишь,— сказал Левашов. — Он его так перекрестил — из Они в Ваню. Может, в память о сыне, а может, еще почему.

Откровенно говоря, не интересовался. Да и времени не было. Поливанов у нас всего девять дней был. Первый день прибыл, «разрешите доложить», а на девятый убили без доклада.

— Интересно бы поговорить с мальчиком,— сказал Люсин неопределенно, обращаясь не то к Синцову, не то к Левашову.

Но Синцов счел нужным принять его обращение на свой счет.

— Говорить не дам,— сказал он.

— Почему?

— Не дам — и все.

Левашов кивнул.

— Комбат прав. Поливанов еще суток нет как убит. Рано парня трогать. На струне держится, чтоб не плакать.

— А если мне все-таки это понадобится? — сказал Люсин.

— Мало ли что кому понадобится! — сказал Левашов.

В землянке несколько секунд тянулось неловкое молчание. Его неловкость ощутили все, но настоящую причину ее знали только Люсин, молча, глазами, спросивший: «Значит, не забыл?» — и Синцов, тоже молча, глазами, ответивший: «Нет, не забыл».

— Так как, товарищ батальонный комиссар, пойдем ночью в роты, как обещали? — спросил Люсин весело, может быть, чересчур весело, с улыбкой потягиваясь и поправляя портупею на широкой груди с орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу»; Красная Звезда была новенькая, недавно полученная, а медаль «За отвагу» висела на старой, посекшейся ленточке; эту медаль Синцов видел у Люсина еще тогда, в октябре, под Москвой.

— Раз обещано, будет сделано. — Левашов встал. — Сходим ненадолго к Чугунову.

— Разрешите сопровождать вас, товарищ батальонный комиссар? — поднялся Синцов.

— Не надо, мы с Завалишиным сходим. Корреспонденты по нашему с ним ведомству. А ты отдохни перед боем. С людьми познакомился?

— Познакомился.

— Как выводы? Какое самочувствие?

— Выводы делать еще не готов, а самочувствие хорошее.

— И то хлеб. — Левашов, уже надев полушубок, повернулся к Гурскому: — Комбата вопросами не мучай, пусть поспит, для того и оставляю. У него завтра бой на плечах. А то, может, для верности с нами пойдешь?

— Откровенно говоря, п-предпочел бы остаться,— сказал Гурский. — Тем более что тут тепло, а свой героизм я успею п-проявить на ваших глазах завтра.

Оставшись вдвоем с Синцовым, Гурский молча поднял палец.
— В чем дело?
— Один вопрос можно? — спросил Гурский.
Синцов кивнул.
— П-почему вы такой молчаливый? От п-природы или не любите журналистов?
Синцов пожал плечами.
— Я сп-прашиваю п-потому, что замечал: бывшие журналисты иногда не любят журналистов.
Синцов снова пожал плечами. Что ответить на это? Журналистов обычно не любят те, кто в душе им завидует. А он не завидует. Давно привык на войне к другому.
— Спать будете? — спросил он вместо ответа.
— Спасибо за исчерпывающую информацию по п-первому вопросу. Можно еще один? — Гурский снова поднял палец.
— Валяйте,— сказал Синцов, расстилая на топчане чей-то полушубок.
— Хорошо знаете Люсина?
«Наверно, лучше, чем ты»,— хотелось ответить Синцову, но это значило бы ввязаться в разговор.
— Нет.
— А если чуть п-поподробней?
Этот рыжий заика, видно, что-то почувствовал.
— А подробней у него спросите.
— Грубо,— сказал Гурский.
Синцов ничего не ответил, вынул из полевой сумки тетрадку, вырвал из нее лист, написал на нем: «Ильин, разбудите в 5.30», положил на стол, прижал кружкой, сунул полевую сумку в изголовье и лег на полушубок, подложив руки под голову.
«Если встать в пять тридцать, можно еще успеть сделать все, что хотел: сходить с Ильиным в роту к Караеву, побывать до боя хотя бы в двух из трех. А к семи тридцати, за полчаса до артподготовки, вернуться к себе».
Было слышно, как рыжий шуршит соломой, укладываясь на топчане.
«Сейчас три тридцать. Если сразу заснуть, все же два часа...»
Очень хорошо лежать вот так, вытянувшись, руки под головой, в тепле, на мягком полушубке, а под ним еще солома... Глупо, что сон нейдет. Бывает же так! Дорога́ каждая минута, а он не идет, и не прикажешь ему...
Сказал этому рыжему про Люсина: «Спросите у него». Вполне возможно, что спросит. А тот расскажет. Рассказать можно по-разному, можно и так рассказать, что будешь лучше всех! Мож-

но рассказать, что проявил бдительность, не захотел в той обстановке, шестнадцатого октября, везти в Москву человека без документов, тем более что знал тебя до этого мало, всего один день... А что это был за день, объяснять не обязательно. И что ссадил тебя, даже не довезя до КПП, тоже не станет уточнять... И выйдет все гладко... Такие, как Люсин, умеют гладко... А можно и по-другому, проще и короче: «Хоть рубите мне голову, а в таких вопросах я формалист. Война есть война, порядок есть порядок». Можно и так. Такие, как Люсин, и это умеют. Так выскажется про войну и про порядок, что хоть шапку перед ним снимай! Ну и черт с ним! Только зло берет, когда похожих встречаешь. Звания разные, а мысль все та же: вот и еще один товарищ Люсин!..

А этот рыжий ездит с ним вдвоем и вместе пишет. Ездит и не знает, кто Люсин. Другие люди, другая газета, другое время... А может, и Люсин стал другим, кто его знает?

«Ладно. Хватит о личном,— сердито оборвал он себя, хотя в глубине души знал, что это не личное. Просто легче думать об этом как о личном.— Ладно, прекратим на эту тему... Как говорится, не моего ума дело!

А что дело моего ума? Майор Шавров смеялся: «Поменьше думай, Иван, лучше воевать будешь». Неправда. Не буду я от этого лучше воевать. И никто не будет. И сам Шавров не хуже воюет оттого, что своей головой думает. Надо мной шутил, а сам думает...

А если бы я оставался, кем был,— газетчиком, может быть, у меня вообще была б сейчас другая психология? Хотя, конечно, глупо так представлять себе, что все мы что-то одно, а все они что-то другое. Оставался бы, как они, газетчиком, тоже, наверно, думали бы по-разному; Люсин — по-одному, этот рыжий — по-другому, а я — по-третьему...

У рыжего на конце каждой мысли — шутка. Так, конечно, жить легче... А умирать, наверное, труднее...»

Он снова вспомнил о том, что говорил Ильин,— что пополнение пока оставили в полках, не роздали по батальонам: надеются завтра, в первый день, на силу нашего огня и на малые потери. Не то что раньше, когда, бывало, за день бросали в бой без остатка все, что было,— так, словно он, этот бой, самый последний, словно на нем вся война кончится!

— П-послушайте,— перегнувшись через стол и заглядывая в открытые глаза Синцова, сказал Гурский,— раз не спите, д-давайте р-разговаривать. О чем вы сейчас думаете?

— О завтрашнем бое.

— И что вы о нем д-думаете?

— Думаю, как решим стоящую перед батальоном задачу.
— А если шире?
— Что шире?
— Шире. Например, если мысленно п-поставить себя в п-положение к-командования фронтом? Как бы вы, например, завтра д-действовали? Или вы об этом не д-думаете?
— Не думаю. У меня своя задача и свой кругозор, о них мне и положено думать.
— П-послушайте, т-только не обижайтесь. Вот вы сказали — кругозор. Что это — вп-полне искренне или п-просто так удобнее?
Рыжий испытующе смотрел на Синцова, на этот раз он был вполне серьезен.
«Нет, ты не дурак,— подумал Синцов о рыжем,— но нахал. Раз тебе приспичило, значит, я обязан тут же душу — на стол! Да, конечно, по моей должности, по масштабам того, что я могу наблюдать и сопоставлять, то есть по моему кругозору, я не могу разбираться во всех вопросах войны. Но в то же время у меня не отнять чувства, что, делая на войне свое дело, я какие-то вещи должен понимать лучше всех, иначе я не на месте. У меня есть свое мнение, свой взгляд на вещи и свои права, как у всякого человека. И кто теряет это чувство, тот не командир и вообще не человек. Но объяснять тебе этого я не буду. Неохота. И спать пора. Раз не дурак — должен сам понять».
— Что, обиделись? — спросил Гурский, продолжая смотреть на Синцова.
— Нет. Просто лень языком трепать. Давайте спать. Не знаю, как вы, а я обязан хотя бы попробовать, для пользы дела,— уже с закрытыми глазами сказал Синцов.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Впереди, над немецким передним краем, и дальше, и еще много дальше, до самого горизонта, который сейчас только угадывался, стояла стена разрывов в несколько километров глубиной. Разрывы то сливались, то разъединялись, то снова образовывали стену дыма, то вдруг на фоне их, черные на черном, взлетали бревна, доски, рельсы, вздыбленные куски того, что секундой раньше было блиндажом или землянкой.

Все, что было необходимо и положено заранее сделать и приказать у себя в батальоне, Синцов сделал и приказал до начала артподготовки. Теперь оставалось только одно — ждать.

Там, впереди, умирали немцы. Умирали и должны были умирать, потому что пришли сюда, потому что не сдались вчера,

когда им предлагали, потому что когда-нибудь должен быть конец всему этому здесь, в Сталинграде...

«И он будет — доживу я до этого или не доживу, но я хочу дожить до конца, и поэтому пусть как можно больше умирает их сейчас там, в своих норах. Потому что те из них, кого не убьют сейчас, вылезут потом из своих нор и начнут стрелять в меня и моих людей, и убивать нас, и ранить...

Хорошо, что, когда командуешь людьми, редко остается время на то, чтобы думать о собственном желании жить. Всегда что-нибудь отвлекает. И сегодня тоже некогда было думать об этом до самого начала артподготовки.

А сейчас уже нечего делать, и будет нечего делать еще сорок, нет, теперь уже тридцать восемь минут, и пока они будут тянуться, уж никому ничего не скажешь и ни от кого ничего не услышишь. И напрасно этот стоящий рядом со мной заика-корреспондент что-то кричит мне... все равно я ничего не слышу... пошел он к черту, только плюется, как верблюд, в ухо...

Если бы даже Маша стояла рядом и шептала мне в самое ухо, я бы все равно ничего не услышал...

А сзади стоят танки, и танкисты высунулись из башен и смотрят, не боятся, что в них попадет снаряд, и правильно делают: немцам сейчас не до стрельбы...

«Тридцатьчетверки»... Говорят, они у нас были тогда, в сорок втором, под Харьковом, но я их там не видел. Я лично видел тогда только один КВ близко и еще пять — далеко. Они прошли, и я их больше не видел. А по этому КВ — я сам видел, как это было,— наши бойцы стреляли из противотанкового ружья. Он стоял неисправный, а они стреляли, а потом из верхнего люка высунулся танкист и стал им махать руками, что он свой. А они все равно стреляли. И тогда он развернул башню и дал по ним очередь, и одного бронебойщика убило. А они все стреляли по танку из своего ружья, и я побежал к ним и крикнул, чтоб не стреляли, что это наш танк! Но они мне не верили, потому что еще ни разу не видели наших танков вблизи и считали, что и этот — немецкий. Тогда я насильно взял одного из них с собой и пошел к танку. И когда мы подошли ближе и на танке стала видна надпись белой краской: «Смерть фашистам»,— я сказал: «Видишь, это же наш танк!» Но он все равно не хотел идти к танку и говорил: «Это фашистский, они нарочно написали». А когда мы все-таки подошли к танку, то оказалось, что пуля из бронебойки ударила в триплекс и водителю осколками изранило все лицо. Он вылез из танка окровавленный, и танкисты ругались последними словами.

А потом какие-то бойцы выбежали навстречу нам с пленным немцем, и он кричал: «Доктор, доктор!..» — и стоял, не опуская

рук. А я подвел его к танку, и, как дурак, стал стучать по броне, и, показывая ему на этот танк, кричал: «Русс панцер, понимаешь, русс панцер!» А он дрожал и говорил: «Йа, йа, гут, гут...» А я все кричал: «Русс панцер!» — и показывал ему на танк,— в таком я был восторге, что мог ему показать, что это наш танк, а не их!

А почему я это вспоминаю сейчас, сам не знаю. Нет, знаю. Потому что мне обидно за то, как было. И я ненавижу за это немцев, но, если сказать совсем по правде, ненавижу не только немцев, но и самого себя. Всех нас ненавижу за то, что у нас так было. Я люблю всех нас, но и ненавижу, потому что мучаюсь тем, как это было. И кому-то я могу сказать об этом и говорю, но чаще удерживаю себя, потому что считается, что об этом нельзя говорить, и, может быть, правда нельзя, пока идет война... Хотя я не думаю ничего плохого. И этот уполномоченный, с которым я вчера чуть было не схлестнулся, я больше чем уверен, что он в душе думает то же самое, что и я, хотя по своей службе должен выявлять такие разговоры и сообщать куда надо.

Хорошо, если он действительно стоящий мужик, как сказал про него Ильин, но это я еще сам посмотрю, какой он мужик. Если действительно стоящий, так пойдет сегодня вперед вместе со мной, и с Ильиным, и со всеми другими, а не останется сзади. А если будет застревать сзади под какими-нибудь предлогами, то я этого так не оставлю. Докажу, что трус, и исчезнет от меня, как исчез когда-то Федяшкин. Их за трусость тоже по головке не гладят...

А еще лучше, конечно, если ничего этого не придется делать, если он окажется таким человеком, каким был Зотов, Иван Зотыч. Тот, когда явился ко мне после Федяшкина, сам ходил всюду, куда надо, и за пулемет ложился, и был действительно хороший человек. И я его звал «Зотыч», пока его не убило в Г-образном доме... И он один раз ночью, когда сидели вдвоем, вдруг сказал мне про свою жизнь у нас в батальоне: глупая у меня здесь жизнь, Синцов. Мне бы замполитом твоим быть, а не тем, кто я есть!

А разве вообще мало глупого на войне? Когда я был еще командиром роты и меня наградили Знаменем, а Бутусова Звездой, мы с ним три километра шли по берегу в штаб, чтобы получить свои орденские знаки. И нас чуть не накрыло миной, а потом обстрелял снайпер, а когда мы пришли, нам сказали, что орденские знаки еще не привезли... А потом Красное Знамя все же нашлось. И мне дали, и я привинтил. А Бутусов так обратно и пошел без ордена. И опять попали под минометный огонь и пришли еле живые, и командир полка Шавров спросил: «Ну, где же ваши ордена, показывайте...» И Бутусов не знал, плакать или смеяться...

А Люсин стоит в трех шагах от меня и тоже смотрит, как умирают немцы... Разве он когда-нибудь думал, что встретится здесь со мной! Наверное, радуется, считает, что сделал большое дело: дошел до батальона. А теперь станет доказывать мне, какой он храбрый.

Считается, что люди на войне становятся другими людьми. Но когда мы думаем, как все будет, когда кончится война, мы все равно представляем себя такими же, какими были. Хотя, может, и зря... Мне некогда думать, какой я сейчас. Мне приходится думать о других вещах, а если я и правда стал другим, чем был, то это потому, что мне все время нужно думать о других вещах, а не о себе...

Сейчас я думаю о себе потому, что все равно нечего делать, пока идет артподготовка и пока там, впереди, умирают немцы. И пусть умирают! Я помню, как это было, когда умирали не они, а мы, как в сентябре, когда мы переправлялись, шла бомбежка, и плыли трупы и обломки барж, и горел нефтесиндикат, и вылившаяся в Волгу нефть тоже горела, и стоял страшный смрад горелого... Я даже мысленно не знаю, как это сказать про горелое человеческое тело.

Да, там, впереди, уже двадцать минут подряд умирают немцы, все немцы, за исключением тех, которые останутся живы и будут стрелять в нас, когда мы пойдем...

...Если кому-нибудь рассказать, почему я тогда не остался ночевать у той женщины в госпитале, никто не поверит. Вдруг зачем-то сказала мне, что начинает забывать, какой у нее был муж. А я не забыл, какой была моя жена. Я и сейчас помню, какой она была.

Стою, как глухой, и ничего не слышу. Вижу, как впереди в дыму все переворачивается до самого горизонта, упираюсь грудью в ледяной край окопа, вытягиваюсь, чтобы увидеть, что там, впереди, касаюсь подбородком льда... и все равно не могу забыть, какая она была. Хотя ее, наверное, уже нет. Я хорошо знаю, что это значит. Я видел столько мертвых тел, и женских тоже, и знаю, какими они бывают. Зимою, в холод. И летом, в жару...

Нет, я все-таки забыл, какая она. Давно забыл. И жалею, что не остался там, в госпитале, ночевать у той женщины. Тогда казалось, что не могу, а сейчас жалею. Стоишь и представляешь себе, как все это могло быть.

Когда такой грохот, как сейчас, это похоже на тишину...

Где-то там, впереди, за разрывами, мой сталинградский батальон. И этот батальон, где я сейчас, тоже мой. И тот мой. И этот. На самом деле теперь только этот мой. А тот уже не мой. Но мне кажется, что он еще мой. Думаю о нем сейчас, как будто

он где-то за тысячу верст. А до него только сорок километров. И если сейчас вылезти из окопа и пойти прямо по снегу, я б дошел до него всего за десять часов, если бы никто не стрелял в меня, ни один человек.

В первый день, когда мы занимали свои позиции в Сталинграде, от моих окопов до берега было тысяча сто метров, а когда меня ранило, по прямой оставалось четыреста. Значит, за восемьдесят два дня, что я там был, немцы прошли всего семьсот метров. Даже по десяти метров в день не проходили. Наверное, дождевой червяк, если будет ползти все время, с утра до вечера, может проползти за день десять метров. А разве они не хотели дойти до Волги, разве не верили, что дойдут? И если бы у них был хоть один бессмертный, неуязвимый человек, он бы просто вышел из переднего окопа и дошел до Волги за полчаса, даже за двадцать минут. Но ни одного бессмертного человека все равно нет, ни у них, ни у нас...

Глупо даже думать об этом. Туманян сказал вчера про командира пулеметной роты, что он не всегда способен правдиво доложить. А почему не способен? Потому что не бессмертен. Если бы он был бессмертен, он бы всегда правдиво докладывал, ему бы это ничего не стоило. Неправдивые донесения почти всегда оттого, что человек боится умереть. А потом из-за этого неправдивого донесения умирают другие.

Интересно знать: что я буду делать после войны, если останусь жив? Мне почему-то все время кажется, что я останусь жив. Только несколько раз казалось наоборот. Один раз в сорок первом, когда сразу после выхода из окружения мы ехали в тыл, на формирование, на машине и пели «Катюшу», а нам навстречу снова вышли немецкие танки. И второй раз, уже прошлым летом, когда вечером вдруг еще раз началась бомбежка. Ничего особенного, просто за трое суток так и не видел ни одного нашего самолета. И все надоело до смерти, и на минуту не захотелось жить. И еще — в третий раз — тоже прошлым летом, когда к нам пришел командующий фронтом и мне было до слез обидно за него, что он ходит и задерживает бегущих и заставляет их окапываться, как будто ему ничего больше не осталось. А может быть, он сам тогда не хотел жить и искал смерти? Не знаю, что он тогда думал, а я думал, что не доживу до конца войны не потому, что вот сейчас прилетит пуля и убьет меня, а потому, что вообще все плохо.

А потом, в Сталинграде, у меня уже не было такого чувства, что я не доживу до конца войны. Когда я вспоминаю об этом, я иногда сам себе не верю, и все-таки это правда: у меня больше ни разу не было такого чувства. И сейчас нет.

Не знаю, как я потом буду вспоминать про войну, но, пока я воюю, для меня самое тяжелое и невыносимое — это когда мы делаем что-то не так, как надо делать. Мы сейчас гораздо реже делаем это, но все равно еще бывает. И если я за что-то готов умереть, то я готов умереть за то, чтобы у нас все делалось так, как надо, так, как мы хотим! Надо, чтобы и сегодня здесь все получилось, как мы хотим! Я так хочу этого! Я никогда и ничего в своей жизни не хотел так, как хочу сейчас этого.

Когда я вижу, как «мессершмитт» заходит сверху над нашим «ястребком» и идет сзади и еще не стреляет, я спиной чувствую, как сейчас он воткнет мне очередь между лопаток. И когда так и выходит, я чувствую, что это меня ударило в спину, лежу на земле раздавленный, и кажется, что это меня убили, что это я не встану...

Я не могу до конца объяснить это чувство даже самому себе. Это — чувство общности со всеми, кого убивают у нас, это — чувство вины, и стыда, и боли, и бешенства за все, что у нас не получается, и радости за все, что у нас выходит. Что у тебя за душой, Синцов? А вот это самое чувство, из-за которого я живу не только в самом себе, но и во всех других наших и делаю вместе с ними все хорошее и все плохое. И люблю себя за хорошее и ненавижу и упрекаю за все, что делаю не так,— не только я сам, но и все другие люди. Оно у меня и в душе, и за душой, и в голове, когда командую, и в руке, когда бросаю гранату. И кто его знает, может, это и есть чувство Родины, может, его и имеем в виду, когда, каждый про себя, думаем, что мы — советские люди?

Там, впереди, дымы разрывов так закручиваются и перекручиваются, как будто ложкой мешают черную кашу, от земли до неба.

А здесь, прямо перед глазами, ледяная кромка окопа, гладкая, затертая плечами и рукавами, с одной вмерзшей соломиной. Торчит, словно ее нарочно воткнули измерять силу ударов, и подрагивает перед глазами то сильней, то слабей...

Замечательно, что у нас стала такая артиллерия, что ее так много и что она бьет по немцам так, как я еще никогда в жизни не видел. Еще летом я не представлял себе, что у нас может быть столько артиллерии. Если вспомнить все, что мы бросили и оставили с тех пор, как началась война, можно считать чудом то, что происходит сейчас.

Конечно, мы бы не удержались в Сталинграде, если бы нас все время не поддерживали с того берега и артиллерия и «катюши». Они нас поддерживали, как братья родные. Я их люблю, я даже не знаю, как выразить словами ту любовь, которую чувствовал к ним в Сталинграде, когда они стреляли с того бе-

рега. Не могло быть и речи о том, чтобы мы удержались, если бы они не стреляли все время, днем и ночью, поддерживая нас. И их становилось все больше и больше, мы это чувствовали. Но я даже тогда не представлял себе, что у нас может быть столько артиллерии, сколько бьет по немцам сейчас, через мою голову.

А сколько раз и какими только словами мы не проклинали себя за то, что у нас нет то того, то этого! И до сих пор еще многого нет! И до сих пор, когда начинаешь думать, не понимаешь: как это могло случиться? Я еще учился в школе, когда наши радиолюбители первыми поймали SOS с дирижабля Нобиле. А у меня в батальоне до сих пор нет подвижной рации. И сколько посыльных погибло на моих глазах из-за того, что у нас не хватало самой обыкновенной телефонной сьязи, из-за того, что у нас огромные телефонные катушки и нужно тащить их вдвоем, и провод толстый, тяжелый, и чтобы связь работала как следует, нужно ее тянуть в два провода. И этого провода всегда не хватает... А фашист, сволочь, бежит и крутит маленькую катушку, и на ней проводок, тонкий-тонкий. А нам на чем только не приходилось ставить связь из-за того, что не хватало провода, даже на колючей проволоке ставили...

У меня лопается голова, когда бывает время думать над тем, как все это могло случиться. Значит, что-то было не так еще до войны, и не я один об этом думаю, а думают почти все. И те, которые иногда говорят, и те, которые никогда не говорят об этом. Наверное, я не все понимаю, даже безусловно. Иначе и не может быть. Но я все равно понимаю, что мы до войны чего-то не понимали. И я думаю о том, как же все будет после войны.

Иногда, правда, я мечтаю о времени после войны просто как о тишине. Вспоминаю, как покупал хлеб в булочной, и как мы с Машей приносили клубнику с базара, и как вместе с Таней ели эту клубнику со сметаной и сахаром, и как шли потом вдвоем в театр, а соседка оставалась с девочкой. Шли, обнявшись, по городу, и заходили в дежурный магазин на углу, и стояли в маленькой очереди, и ждали, пока нам нарежут ветчины. И опять шли по улице, обнявшись, и не представляли себе, что ничего этого больше не будет, а вместо всего этого будет война... И когда передо мной проходит все это, мне хочется, не хочу, чтобы после войны все было так, как было...

Но потом я опять вспоминаю, как началась война, и уже не хочу, чтобы после войны все было так, как было...

Я хорошо помню, как после выхода из окружения, в Москве, в ополчении, Малинин говорил мне про нескольких

генералов, которых в начале войны расстреляли за то, что они отступили. И говорил, что так и надо.

Может быть, и так. Не знаю. Не могу выкинуть из головы, что нами и сейчас командуют генералы, которые тогда отступали... Сейчас бьют немцев, а тогда отступали. Тогда все отступали. Не было генерала, который бы тогда не отступал, и солдата тоже. И ведь никто не собирается расстреливать всех нас, кто отступал тогда, в сорок первом. Потому что нельзя считать виноватыми всех, кто это делал, и я тоже не считаю себя виноватым. Если бы я считал себя виноватым, я бы сказал: берите и расстреливайте меня. Но я не виноват. Я честно говорю это наедине с собой.

Не знаю, что бы я мог сделать еще сверх того, что я делал, когда все это уже началось. Но если так, значит, кто-то был виноват еще до войны?.. Ведь не просто из-за нескольких генералов все это вышло. Кто-то еще раньше был виноват во всем этом.

И я бы хотел знать кто. Если не сейчас, то хотя бы после войны. И может быть, поэтому я и не хочу, чтобы после войны все было, как было.

Если бы можно было поговорить с товарищем Сталиным и спросить его: как все это вышло перед началом войны? Если бы можно было написать ему письмо, чтоб он вызвал меня с фронта всего на один день и сказал бы мне, как все это было на самом деле!.. Потому что я ведь воюю и могу умереть раньше, чем узнаю, а я так хочу это знать... И не я один. Другие тоже.

Но когда я думаю об этом, я, конечно, понимаю, что это невозможно. И не только потому, что нельзя вызывать с фронта какого-то командира батальона, чтобы товарищ Сталин вдруг все бросил и отвечал на его вопросы. Это невозможно еще почему-то. А почему?

Я боюсь себе на это ответить. Потому что, если отвечу так, как мне иногда кажется, боюсь сдвинуть в своей душе что-то такое, без чего мне трудно жить. Да, мне иногда кажется, что не только другие, а и он сам виноват в этом...

Этот, заика, рядом со мной вздрогнул. Я плечом почувствовал, как он вздрогнул, потому что два тяжелых дали недолеты и разорвались между нами и немецким передним краем. Это еще ничего. Важно, как нас будут сопровождать огневым валом, когда мы захватим первую позицию и пойдем ко второй... Вот если там начнутся недолеты, тогда плохо дело. Трудно будет поднимать людей, чтобы, не отставая, шли за огненным валом... И Ильин, наверное, тоже подумал об этом, подтолкнул в плечо и подмигнул на недолеты...

Всем страшно, и мне страшно, и ему страшно, а не только корреспонденту. И Люсину тоже, наверное, страшно. Он же сказал, что пойдет со мной,— куда я, туда и он. Посмотрим, как он пойдет.

А Ильину как будто даже не терпится. Это бывает. Я его понимаю. Это не оттого, что не боится, а потому, что хочется поскорее пройти через все до конца, чтобы уже быть или не быть. У меня у самого бывает такое чувство, и отчасти есть и сейчас. Когда все кончится, добраться до тепла, поесть, и выпить, и хотя бы немного поспать...

Интересно знать, о чем думает сейчас Ильин? Сильный командир, хотя и молодой, всего двадцать один. Если вдуматься, совсем мальчик... Я спросил его вчера про галифе, почему он ватных штанов на таком морозе не носит; и оказалось, носит, только ватные штаны выбрал самые тонкие, а галифе — большие, носит их поверх ватных, чтобы выглядеть... А перед кем выглядеть?.. Перед этой Соловьевой, которая была санинструктором, а теперь минометчица? Может, и перед ней. Или просто так, для самочувствия. Вполне возможно, что он ни одной женщины так до сих пор и не узнал. До войны не успел, а в войну не сумел... Я и сам за полтора года забыл, что такое женщина. И лучше не вспоминать. Только начни, и не отвяжешься ни наяву, ни во сне...

Тяжело смотреть, когда женщины умирают. Когда в Сталинграде Тамару, фельдшера, ранило бомбой и я помогал выносить ее из разбитого блиндажа, приподнял, а она руками за шею и кричит: «Ваня, Ванечка... не оставляй меня!..» Как будто о любви просит, как будто я ее не вытаскиваю, а бросаю... У самой обе ступни оторваны, а она еще не видит этого, не понимает. Хорошо, когда человека наповал убивает, хуже, когда не до смерти... Потом подумал, почему она так перед смертью кричала, при жизни никогда так не называла. И вообще была очень честная, никого до себя не допустила, ни одного человека. Может быть, любила, ничего не говоря? Один раз, за неделю до этого, пришло в голову, когда вдруг повернулся к ней и увидел, как смотрит. Подумал и забыл. Не до этого было. Самые были невозможные дни, буквально на волоске...

Не представляю себе, как я буду жить после войны. Если Маша погибла, то, конечно, женюсь. И, скорей всего, сразу же, на ком попало. А может быть, и нет. Может, это просто с тоски так кажется. А вдруг она останется жива, а меня самого не будет? Вдруг есть какой-то, зависящий не от нее и не от меня, а от самой войны выбор, что только кто-то один из нас останется жив — или я, или она. И выбор этот мгновенный — чик, и все

кончилось. Как будто свет во всем мире выключили. И много для этого не надо — кусок железа с крючок на ватнике.

В начале ноября принял утром пополнение: трех человек. Принял, записал фамилии и отправил в роту к Бутусову. Времени долго говорить не было, шел бой. Даже как следует лица не запомнил. Подумал, потом в роте поговорю. А под вечер всех троих привели обратно — у всех самострелы в левую ладонь. «Мина... мина...» А какая мина, когда размотали бинты, и у всех на ладонях ожог от пороха. Стреляли из винтовки в упор, во время бомбежки, когда было не слышно. Наверное, хлебнули страха еще на переправе и заранее сговорились. Сначала хотел расстрелять только одного — сержанта, а двоих отправить в госпиталь и в штрафную роту. Но пришел приказ из дивизии: трибунал — и расстрелять всех троих на месте, в батальоне.

«Из-за тяжелой обстановки!» Обстановка в самом деле была тяжелая. Может, и верно, в тот день нельзя было поступить иначе. Прочли приговор, поставили у стены Г-образного дома — да какая это была стена, одни развалины! — и расстреляли в присутствии представителей от всех рот... Всё в один день: и начало и конец...

Хорошо бы сегодня ни один человек не дрогнул. Никого бы не пришлось гнать вперед силой оружия! Хуже нет на свете, чем...»

Он так привык к непрерывному грохоту артподготовки, что ему казалось, он думает в тишине. И когда все кончилось и наступила действительная тишина, он в первую секунду не заметил ее.

— Ракету! — хрипло крикнул он, все еще не слыша своего голоса. Услышал слабый треск ракетницы рядом с собой, увидел взвившуюся над второй ротой другую ракету и, став валенком на ледяную приступку, вылез наверх.

Еще заранее решил, что до первых немецких окопов пойдет сразу с цепью. Теперь оставалось делать то, что решил.

Впереди, в трехстах метрах над вставшей дыбом землей, словно последние капли с крыш, один за другим упали три запоздалых снаряда. Это заметил уже на бегу, когда окоп остался позади.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

К трем часам дня третий батальон 332-го стрелкового полка решил на своем участке дневную задачу: первый рубеж немецкой обороны был прорван еще с утра и давно остался за спиной, а второй был окончательно занят только что — с чувствительными потерями. Какой приказ последует дальше, было еще неизвестно.

В ожидании его закреплялись, а говоря проще, ввалившись в немецкие траншеи, приходили в себя после всего пережитого за шесть часов непрерывного боя.

Впереди виднелась длинная, пологая высота. По ее скатам проходил теперь передний край третьей, еще не взятой нами немецкой позиции. Когда полтора десятка солдат вслед за командиром роты Караевым сгоряча выскочили из окопов и кинулись дальше, немцы засыпали их минами. Раненых вытащили, а двое убитых темнели впереди на снегу, на виду у всех. Чтобы зря не рисковать людьми, Синцов приказал дотемна не вытаскивать.

Перед окопами лежало снежное поле, медленно повышавшееся к горизонту.

Когда выбитые отсюда немцы густо побежали назад, к высоте, их накрыли на полдороге «катюшами». Трупы испятнали поле; и сама высота тоже была теперь не белая, а пятнистая, вся в подпалинах от залпов «катюш».

Но бежали не все. Несколько группок засели в последней траншее и стреляли до конца. За таким огнем всегда чувствуется твердая рука. На дне окопа, среди других трупов, лежал труп немецкого полковника. Из снега дулом вверх торчал так и не выпущенный из мертвой руки автомат.

«Этот, наверное, и заставил их тут драться до последнего»,— подумал Синцов со злостью, вызванной собственными потерями. Уважение к таким вещам если и приходит — задним числом, а не в бою.

Судя по количеству офицерских трупов, блиндажей, телефонов, обрывков втоптанного в снег разноцветного провода, здесь, куда вышла рота Караева, был штаб полка. Донести об этом пока не было возможности. Связисты еще тянули провод из той воронки, за полкилометра отсюда, где Синцов сидел перед последним броском. Они мешкали, но торопить их было неохота. Донести, что заняли штаб полка,— хорошо, но ведь не только ты донесешь, а и тебе сразу начнут приказывать. Бывают в бою минуты, когда хочется немного передохнуть, без связи с начальством.

— Товарищ старший лейтенант, может, покушаете?

Синцов обернулся. В бою некогда думать о мальчике, хотя несколько раз он видел его возле себя. А сейчас вдруг подумал, какой он все же худой и замерзший, зуб на зуб не попадает.

— А что у тебя есть?

— Консервы мясные.

— А подогреть? — Синцов подумал, что на таком холоду консервы как стекло.

— Есть сухой спирт.

— Тогда валяй.

Он подозвал командира роты Караева и сказал, чтобы прошел по окопам направо, проверил, как идет установка пулеметов на случай немецкой контратаки.

— Налево сам пойду посмотрю.

Солдаты, пригибаясь от ветра, жались к стенкам окопов. Кто перекуривал, кто шарил по немецким трупам. Один с треском грыз сухарь, крепкий как кусок столярного клея, другой, высыпав на ладонь патроны, щелкал трофейным «вальтером».

Торопливая, жестокая отчаянность боя сменилась усталостью. В глазах солдат можно прочесть тот же вопрос, который есть и в тебе самом: «А теперь что? На сегодня все, или еще что-нибудь прикажут?..» И, конечно, хотелось, чтоб на сегодня — все.

На карте-пятисотке все, что прошли, девять сантиметров. А в натуре первая позиция — из трех траншей, от первой до второй — четыреста метров, от второй до третьей — семьсот. Да два километра по открытому полю до второй позиции. А та снова из трех траншей, пока всю насквозь пропороли — еще полтора километра, и как ни перепахала все кругом артиллерия и во время артподготовки и потом, когда поддерживала, все равно из каждой траншеи — огонь. И дальше — больше, по нарастающей. Так что солдат понять можно: пока сквозь все это прошли, уже несколько раз за день превозмогли меру сил человеческих, и не хочется думать, что прикажут превозмочь еще раз.

Поземка неслась над окопами в сторону немцев, на глазах забеляя мертвые пятна воронок и трупов.

Хотя приказ закрепляться был отдан в первые же минуты, как только заняли последнюю траншею, пулеметы еще не были установлены. Пришлось прикрикнуть и заставить делать то, что приказано. Солдатам не хотелось возиться, устраивать новые пулеметные позиции, обращенные в сторону немцев. Сказывалась усталость после боя и мнение, что немцы навряд ли будут сегодня контратаковать, а мы не ночью, так утром все равно пойдем дальше и, стало быть, все труды зря.

В конце траншеи, где надо было установить на оставшемся от немцев ледяном столе пулемет с круговым обстрелом, Синцов простоял несколько минут над душой у солдат, торопя их своим присутствием.

Стоя здесь, он хорошо видел и большую высоту впереди, и продолжение немецких траншей, занятых слева отсюда ротой Лунина. Между теми окопами, где стоял он, и теми, что захватила рота Лунина, было метров четыреста открытого места. Немцы не строили тут сплошной линии. Ложбина хорошо простреливалась насквозь из глубины, с двух еще и теперь занятых

немцами высот — с большой, дальней, и еще с одной, маленькой, метрах в семистах перед позициями роты Лунина.

Глядя на эту маленькую высоту, торчавшую перед ротой Лунина, Синцов мельком подумал, что, взяв ее, мы окажемся на фланге у большой высоты. А раз так, потом и большая легче посыплется.

Однако заставить себя думать об этом подробнее сейчас еще не хватало сил.

Подумал о другом — о том, что Богословскому, который командует теперь ротой, после Лунина, убитого еще в начале атаки на вторую позицию, пора бы уже прислать в батальон связного с донесением.

«Что он там канителится? Не хочет рисковать связным, чтобы засветло перебирался через эту наблюдаемую немцами ложбину?»

Шел обратно по окопам, недовольный Богословским, который хотя и занял все, что приказано, но теперь что-то волынит с донесением, а вообще еще неизвестно, как он, оставшись за Лунина, справится в дальнейшем с ротой.

Эта мысль смешивалась с другой — надо бы поскорей самому побывать там, в роте Богословского. А потом, оттеснив и ту и другую, пришла третья, главная мысль, мелькнувшая еще тогда, когда, ожидая установки пулемета, стоял и глядел на высотку перед позициями лунинской роты: «Хорошо бы взять эту высотку поскорей, не откладывая, едва стемнеет. Немцы ждут, что будем брать ее завтра утром или глубокой ночью, а надо взять сразу, пока считают, что еще подтягиваемся и готовимся. Взять неожиданно, малыми силами, без артподготовки. И делать это надо самому. И чтобы успеть до темноты примериться, посмотреть подходы к высоте, надо самое большее через полчаса, еще засветло, идти к Богословскому через эту открытую лощину».

Он вернулся, отягощенный этой мыслью; отвертеться от нее было уже нельзя. Как ни трудна она была, как ни хотелось заменить ее другой, более легкой,— что на сегодня война уже кончилась,— он знал, что эта трудная мысль существует в нем и растет, и когда он додумает ее до конца, то все равно доложит о ней, не позволит себе не доложить. Хотя сам, противореча себе, будет при этом надеяться, что не разрешат, отложат до завтра.

Мальчик на дне окопа грел две большие банки мясных консервов, пристроив их над двумя банками с сухим спиртом. Консервы были открыты, а поверх них, чтоб отмокли на пару́, были положены сухари.

Мальчик на чем-то сидел. Синцов сначала не понял на чем, а потом, увидев торчавшие из-под полушубка зимние немецкие боты, понял, что мальчик сидел на убитом немце, как будто так и надо.

Караев стоял рядом и смотрел на банки с консервами и на горевший под ними спирт.

По этому еле заметному на дне окопа огоньку чувствовалось, что темнеть еще и не начинало.

— Проверили? — спросил Синцов.

— Так точно,— сказал Караев и вдруг спросил: — Где Лунина-то убило? Вы сами видели?

Синцов уже говорил ему, как и где убило Лунина, но то, что спросил Караев, был уже не вопрос, а пришедшее сейчас, в тишине, тоскливое желание сообразить, как же так: был человек, Лунин, и нет его, убит. А как убит? Как так убит?.. И Синцов, понимая это желание, повторил, что да, Лунин убит, когда брали вторую позицию, очередью, наповал, так что, наверно, и не успел подумать, что убит. Так и не дошел сталинградец до своего Сталинграда. И, говоря это, вспомнил белобрысую, чистую, не задетую смертью голову Лунина на снегу и свалившуюся с головы ушанку рядом; лицо с открытым глазом, одной щекой на снегу, и стрижку под бокс, и высоко, выше уха, подбритый висок... Да, так вот оно и было с Луниным, и больше сказать об этом нечего, потому что он и сам ничего другого не знает. Знает, что Лунин взял со своей ротой первую позицию, все три траншеи, и остался жив, а перед второй позицией, во время броска в атаку, был убит.

Очень мало можно сказать о бое, когда он только что кончился, когда еще не было времени подумать о нем.

Первая позиция была взята почти без потерь. А на следующей, в первой же траншее, оказался непогашенный пулемет, там и погиб Лунин... А он, Синцов, во время боя за вторую позицию был и в одной роте, и в другой, и в третьей. Поднимал залегших бойцов перед первой траншеей, а когда ее заняли и слева и справа, а здесь в центре, у Караева, не заняли, пополз под огнем сюда, к Караеву, и дополз, и поднял вместе с ним роту, и многих на их глазах убило и ранило, но они все же влезли и в первую и во вторую траншеи.

А потом надо было не останавливаться и наступать на третью. Но немцы сами пошли в контратаку, и вышла задержка. Ильин пошел к Чугунову, а он остался тут, у Караева, и ждал в снегу, в воронке, пока немцев еще раз обрабатывала наша артиллерия, и поднялся, и по пятам за последними снарядами вместе с ротой пошел и дошел до этих окопов...

Все было... Чего только не было!.. Если вспомнить. Но в бою все чувства наскоро и некогда думать ни над чем, кроме дела, а над делом тоже надо думать сразу и коротко: или да, или нет!

Было ощущение сделанного дела, и это и было главным воспоминанием боя. И еще второе воспоминание — о самом себе,— что остался жив. Сказать о себе, что некогда было бояться, потому что командовал батальоном, было бы неправдой. На то, чтоб бояться, все равно оставалось время.

А все остальное — кроме общего чувства боя и сознания, что жив,— пока, на первых порах, память сохраняла только в клочках и обрывках.

Среди этих клочков и обрывков было и мертвое лицо Лунина с высоко подбритым виском, и сосущее, тошнотное чувство, когда немцы пошли в контратаку и вдруг показалось: могут столкнуть... И злой голос Туманяна по телефону, когда ты задержался: «Где вы находитесь? Немедленно собирайтесь — и вперед, вперед...» И собственный злой ответ: «А мне собраться, как голому подпоясаться...» И короткое чувство обиды, смешанной с чувством вины, и еще один бросок под огнем по снежному полю... И еще один обрывок: минометчики, ведущие огонь, и женщина, та самая, о которой говорили ночью,— рослая, с широкой спиной, с выбившимися из-под ушанки на ватник золотыми волосами, опускает двумя руками мину в ствол миномета. А потом, через час, уже на другой позиции, минометчики, которых разметало прямым попаданием снаряда, так что трудно смотреть, и эта женщина, тоже мертвая среди мертвых, опрокинутая на снег, с разорванным телом и нетронутым лицом... Когда она была еще жива, он видел ее только со спины, а тут увидел ее лицо на снегу — мертвое, с закушенной губой, с открытыми глазами. Увидел мельком и пошел дальше, потому что было некогда, надо было идти дальше...

И еще: пять пленных немцев навстречу и с ними молоденький солдат, озабоченно просящий: «Разрешите я сам доведу». — «Почему сам?» — «А то они убегут»...

И еще один солдат, в поле на снегу, и приходится долго тыкать его наганом в спину, чтоб встал...

И еще один солдат, во взятом окопе, отпихнувший тебя от смерти, и немец, убивший этого солдата и застреленный тобой в упор и упавший прямо на тебя, мертвой рукой, как плетью, выбив из пальцев наган...

И еще что-то, чего не можешь вспомнить, но что вертится и вертится в голове. Какая-то яма, в которую ты вдруг падаешь на бегу среди поля и, уже падая, ловишь сбитую пулей ушанку... И в ноздрях стойкий, тяжелый запах дымного, отравленного

порохом снега. Такого дымного, что не лезет в рот, несмотря на жажду... И еще что-то... Что? Сейчас не сообразить...

— Вместе с ним одно училище окончили,— вдруг донесся голос Караева.

Да, это говорит Караев. Да, да, верно. Он слышал еще ночью, что им с Луниным повезло — окончили одно училище и попали в один батальон...

— Согрелись, можно кушать...

Это сказал мальчик. Рукавицей обернул банку с консервами и поднял с огня.

«В чем он все время тащил эти две банки, в полушубке, что ли?»

— Пойдем, комбат, в землянку. Хотя и разбитая, но все же без ветра, теплей.

Это сказал вылезший из землянки Ильин. Оказывается, он уже пришел от Чугунова.

«А что та минометчица убита, он еще не знает, я ему не говорил».

— Как у Чугунова?

— Все в порядке.

— А со связью?

— Еще волынят. Послал Рыбочкина — ускорить.

Синцов не сразу вспомнил, кто такой Рыбочкин. «Ах, да, Рыбочкин — это адъютант батальона...»

— Тогда будем есть,— сказал Синцов.

— Зайдем в землянку,— повторил Ильин.

— Потом, сейчас неохота. — Синцов озабоченно повторил: — Что же связь не тянут?

Он пока не хотел заходить в землянку, потому что решил, как только на проводе окажется Туманян, попросить у него разрешения сделать с той малой высоткой перед ротой Лунина то, что задумал. Если разрешение будет дано, незачем разнеживаться в тепле, все равно придется идти в роту. Другое дело, если отложится до утра...

Он вытащил финку и подцепил на кончик ножа кусок плававшего в жирном бульоне мяса. Есть не хотелось, но приятно было, что мясо горячее. Перед тем как передать банку Ильину, захотелось хлебнуть бульона; огляделся, у кого есть ложка. Но мальчик уже вытащил ложку из валенка и вытирал вынутой из полушубка тряпицей.

— Нате, товарищ старший лейтенант.

Синцов съел несколько ложек и протянул банку и ложку Ильину.

— Что-то вы мало,— сказал Ильин.

— С меня хватит. — Синцов заметил, как Караев быстро управляется со второй банкой, и кивнул на мальчика: — Повару оставь.

— Может, хотите немного?.. — спросил Ильин. — У моего ординарца — с собой.

Синцов мотнул головой.

— Пока бой, не пью. — Сказал и заметил мелькнувшее в глазах Ильина удивление: «А что, разве на сегодня не закончили?»

Война так складывает отношения между подчиненными и начальником, что не все принято спрашивать вслух. Но вопрос все равно остается вопросом, и раз заметил его в глазах, надо ответить «да» или «нет».

— Слушай, Ильин,— сказал Синцов, беря Ильина за плечо и отводя его немного в сторону. — Тут на сегодня один план созрел, как твое мнение?..

И, начав излагать, понял: уже не отступится, даже если у Ильина будет другое мнение. И в этой решимости — не только чувство своей правоты, но и откуда-то взявшееся предчувствие легкой удачи.

Ильин выслушал и не возразил. Но вместо комбата предложил в исполнители себя. То ли из самолюбия, то ли из привычки брать на себя все трудное, что встретится.

— Тебе своих дел хватит, на тебе две роты останутся,— сказал Синцов. — А вот разведчиков собери, сколько наскребешь, и пошли туда, ко мне.

Ильин кивнул, но в его глазах задержался молчаливый вопрос: «Уже сейчас собирать разведчиков, считая дело решенным, или ждать, когда комбат свяжется с командиром полка?»

— Собирай,— махнул рукой Синцов. — И разведчиков, и ординарцев, и всех, кто подходящие. Чтоб человек пятнадцать было, кроме тех, кто в роте.

И, сказав, подумал, что своего ординарца с собой не возьмет, оставит тут. Все-таки ребенок. Одно дело ходить хвостом за командиром в обороне, а другое дело — в бою. За день больше, чем за месяц, нахлебался! Как бы ни плакал, завтра же отправить в тыл.

— Слушай, Ильин,— окликнул он Ильина, который уже двинулся выполнять поручение.

Ильин повернулся.

— Проследи, чтоб горячая пища была, а то старшины пропасутся в тылу до ночи...

— У нас так не заведено, товарищ старший лейтенант. Все будет в порядке. Разрешите идти?

— Иди.

Едва ушел Ильин, как в окоп рядом с Синцовым спрыгнул Рыбочкин, адъютант, и за ним связист с телефоном и катушкой.

— Наконец-то,— сказал Синцов. — Еще бы до ночи прочухались.

— У него напарник, оказывается, раненый. Пока... — начал было объяснять Рыбочкин, но Синцов прервал его:

— Потом объясните. Ставьте телефон,— и указал на вход в блиндаж.

Он вошел в блиндаж вслед за адъютантом и связистом и чуть не упал, споткнувшись о труп, лежавший поперек входа. В блиндаже горела коптилка, но после дневного света ничего не было видно.

— Эй! — крикнул Синцов, высунувшись из блиндажа. — Хоть блиндаж-то очистите. Все же КП!

В блиндаж влезли усатый старик, ординарец Ильина, и мальчик, они вытащили из блиндажа труп.

— Офицер? — крикнул вдогонку Синцов.

— Офицер, с крестом,— отозвался снаружи мальчик.

«Все же много их сегодня набили,— подумал Синцов. — Главное, конечно, артиллерия, но и мы тоже. В несколько раз больше, чем сами потеряли».

— Все еще чухаетесь со связью? — нетерпеливо спросил он.

— Готово,— сказал связист.

Слышно было плохо, провод где-то заземлило. На том его конце, против ожидания, оказался не Туманян, а Левашов.

— Объявился, пропащая душа! — закричал Левашов и весело выматерился по телефону. — Где находишься?

Синцов доложил, где находится и что в этом узле обороны пять больших блиндажей,— очевидно, тут был штаб немецкого полка. Сейчас все они, конечно, дыбом, но один-два можно будет привести в порядок.

— Вот и хорошо! — сказал Левашов. — Командир полка вернется — свой КП перенесем к тебе, а тебя вперед выпихнем.

— Вперед — некуда. Впереди немцы. А где командир полка?

— Ушел в первый батальон, комбата менять. Комбат на мину нарвался, все хорошее настроение испортил... Корреспондент там, у тебя?

— Какой корреспондент? — спросил Синцов, вспомнив, что, когда взяли первую немецкую траншею, заметил неподалеку от себя обоих корреспондентов, а с тех пор не видел ни того, ни другого.

— Очкарик у меня,— сказал Левашов. — А старший политрук должен быть у тебя. Очкарик за него беспокоится.

— Не видели.
— А ты поищи, ты за него отвечаешь.
— Слушаюсь. А где начальник штаба?
— Где-то передвигается,— сказал Левашов. — Со старого места снялся, а сюда еще не пришел. Зачем он тебе?
Синцов решил не дожидаться возвращения Туманяна и доложил Левашову свой план: сразу после наступления темноты тихо, без артподготовки, взять высоту перед ротой Лунина. Объяснил, что, как только возьмем ее, сразу нависнем на фланге у той, другой, большой высоты.
— Подожди, сейчас по карте посмотрю. — Левашов с минуту молчал. — Так, ясно, вижу. В успех веришь?
— Не верил — не просил бы разрешения. — Синцов окончательно расставался с подавленным, но еще существовавшим в душе желанием, чтобы атаку отложили до завтра.
— Раз так — не возражаю! Но если почувствуешь, что уперся, остановись, не клади зря людей.
— Ясно,— недовольно ответил Синцов: то, что сказал сейчас Левашов, говорить было лишнее: все это слова, хотя и хорошие, а все равно слова.
— Корреспондента найди! — крикнул в телефон Левашов. — Под твою ответственность.
— Мне некогда, я в роту ухожу.
— Все равно под твою ответственность.
— Прикажу искать. У меня все.
— Ладно, готовься. Но перед началом позвони, еще раз запроси «добро» у командира полка.
Синцов вышел из блиндажа и удивился тому, как сильно резанул в глаза свет. Пока был в блиндаже, думал, что на дворе начало сереть, а оказывается, еще совсем светло. И нужно через несколько минут идти по этому свету через вон ту, хорошо просматриваемую немцами белую ложбину.
— Синцов! — услышал он радостный окрик, повернулся и увидел подходивших к нему по окопу Люсина и Завалишина.
— Здорово! — все так же громко крикнул Люсин, подойдя вплотную к Синцову, и с силой потряс его руку, как будто они сегодня еще не виделись. — Так рад, что ты живой, не представляешь себе! — И в этих словах «не представляешь себе» была откровенная просьба забыть все, что было между ними. Вчера делал вид, что ничего не было, а сегодня просил забыть. Считал, что, раз весь день пробыл в батальоне и подвергался тем же опасностям, что Синцов, все старое этим списано. «Ну и черт с тобой, списано так списано!» — глядя в сиявшее радостью лицо Люсина, подумал Синцов.

— Все о вас спрашивал, где вы,— кивнув на Люсина, сказал Завалишин.

— Слушай, Завалишин. — Синцов пропустил эти слова мимо ушей. — Мне некогда, я ухожу, а ты позвони замполиту полка и сообщи, что нашелся корреспондент, а то он звонит, беспокоится.

— Беспокоится! — довольно хохотнул Люсин. — Пусть не беспокоится! Мы с тобой и не в таких переделках были и не пропали!

— А вы куда? — спросил Завалишин.

Синцов коротко объяснил.

— Разрешите с вами пойти? — спросил Завалишин.

— Пока Ильин не пришел, будь тут,— сказал Синцов. — А там решите вместе с ним, по обстановке.

— Ну, а я с тобой пойду,— сказал Люсин.

— Это пока лишнее,— сказал Синцов.

— Почему лишнее?

— Ну, этого мы обсуждать не будем. Лишнее — значит лишнее,— отрезал Синцов и повернулся к Завалишину. — Сейчас же позвоните.

Мальчик поднял автомат и повесил на шею.

— Со мной не пойдешь,— сказал Синцов.

— Почему?

— Без «почему». Останешься.

— А я, когда с капитаном Поливановым...

— С капитаном Поливановым было одно, а со мной другое. В блиндаже порядок наведи, пока меня нет. Понял?

Он ничего не добавил, повернулся и пошел, взяв с собою связным чужого усатого пожилого ординарца.

Уже вылезая из окопа, еще раз подумал: как все же светло! Но для того и шел, не откладывая, чтоб быть на месте.

Ординарец Ильина, вылезший из окопа вслед за Синцовым, шел сзади молча; раз комбат приказал, значит, надо идти за ним. Да и как иначе — в одиночку комбату ходить в бою не положено.

Сначала шли в рост, глубоко проваливаясь в снегу. Потом, когда с дальней высоты стеганул пулемет, легли и шагов тридцать ползли. Потом поднялись и побежали, но по-настоящему бежать глубокий снег не давал. Пулемет опять стеганул очередью, стреляли снова с дальней высоты, наудачу, почти на предельную дистанцию.

А на ближней высотке молчали, кто их знает почему. Может, не хотели напрашиваться на ответный огонь.

Когда прошли половину ложбины, она стала понемногу мелеть. Но и на самом открытом, опасном месте, где Синцов ожи-

дал, что стеганут еще раз, все сошло благополучно. Немцы больше не стреляли.

За перекатом вздохнули спокойно. Маленькое, издали незаметное глазу понижение местности закрывало от немцев и делало последние сто метров безопасными. Еще не успели дойти до окопов, как оттуда вылез и пошел навстречу Богословский.

— А мне донесли: идут! Побежал сам поглядеть: кто? Оказывается, вы...

— Почему до сих пор не донесли о выполнении задачи? — недовольно прервал его Синцов.

— Полчаса, как отправил посыльного с запиской. Считал, что вы уже...

— Куда вы его послали? Назад, что ли, к черту на кулички?

— Назад, где вы раньше были.

— Думать надо, — сказал Синцов. — Разве я могу, по обстановке, находиться сейчас за полтора километра от переднего края? А кроме того, когда уходил от вас, предупредил: буду у Караева.

— Наверно, в горячке недослышал, товарищ старший лейтенант.

И Синцов понял по лицу Богословского, что не врет, правда — или недослышал, или не понял. Да и действительно, была в тот момент такая каша — Лунина убило, роту только что принял,— мог и упустить.

Они уже спрыгнули и шли теперь по окопу.

— Связи у немцев много взяли?

— Много,— сказал Богословский. — Телефонист целую катушку намотал.

— Ну и тяните ее скорей, откуда я пришел. Исправляйте ошибку! Да пусть прямиком тянет, мы прошли, и он пройдет. Мне связь нужна. Какие потери?

Богословский доложил о потерях, которые понесла рота под его командованием при взятии последних двух траншей. Потери были небольшие; это облегчало решение предстоящей задачи.

— Командир взвода, старший сержант Чичибабин, спас от потерь,— сказал Богословский. — В последний момент на пулемет кинулся и грудью закрыл.

Синцов посмотрел недоверчиво. Знал, что, докладывая о таких вещах, иногда прибавляют лишку.

— Так точно,— понял взгляд комбата Богословский. — Я вам в донесении написал. Вон и пулемет этот...

Они подошли к немецкому пулеметному гнезду. В окопе лежали мертвые немцы, а на снегу, прямо перед пулеметом, отбро-

шенное силой удара назад, раскинулось на снегу тело бойца в распахнутом полушубке. На гимнастерке, на середине груди, темнело большое заледенелое пятно. Ноги были без валенок. Одна — босая, в разметавшейся по снегу портянке.

— Герой... А валенки уже сняли,— сказал Синцов. — В донесении написали, а прибрать, хотя бы в окоп положить, не додумались!

— Сейчас прикажу. — Богословский, оправдываясь, стал объяснять, что один боец в горячке, в атаке, валенок потерял, в окоп вскочил на одну ногу босой. Поэтому и пришлось разрешить ему снять валенки с убитого.

— Все у вас в горячке,— по-прежнему недовольно сказал Синцов, хотя понимал, что на месте Богословского сделал бы то же самое.

Двое бойцов подошли к телу убитого и стали затаскивать его в окоп. Синцов смотрел с тяжелым чувством на душе. Казалось бы, ко всему пора привыкнуть, а доходит до какой-то минуты,— и оказывается, все равно нет ее, этой привычки. Нет.

— Документы забрали?

— Заберем.

— Сохраните у себя. — Синцов подумал, что теперь этого старшего сержанта Чичибабина, фамилию которого он узнал только после его смерти и которого не помнил в лицо живым, надо будет представить за подвиг на Героя. Наверное, потом и в газете напишут. Да, бежал впереди всех, первый рванулся к пулемету, а уж сознательно бросился на него грудью или просто так вышло, что оказался перед ним вплотную и спас этим других, его не спросишь. Да, был смел и сделал все, что мог. Это правда! А остальное допишут. И остальное, дописанное, тоже будет правдой. Был человек, и не пощадил своей жизни, и умер, и уже валенки его пошли в дело... И возражать против этого — надо дураком быть...

— Пойдем, оглядим всю вашу позицию,— сказал Синцов. — Откуда лучше всего подходы к той высотке? Вы тут по ней огонь вели, а отвечает вроде не в полную силу?

— Вроде не в полную,— сказал Богословский. — Трудно знать, что у них там есть в действительности. Остатки тех, кто отсюда добежал, теперь там. Но там и до этого были. Высотка существенная...

— О том и речь.

Они пошли вдоль окопов, время от времени приподнимаясь, чтобы получше разглядеть местность. Немцы не стреляли. Только когда стали возвращаться, с высотки вдруг повел огонь ручной

пулемет, но не по окопам, а правей, по ложбине, через которую недавно прошел Синцов.

— По ком это, интересно?

— Связист уже прошел, по нему не били,— сказал Богословский.

Пулемет продолжал стрелять короткими очередями.

Дойдя до правого конца траншеи, увидели, в чем дело: по предвечернему, начинавшему сереть снегу двигались два человека, залегали, перебегали несколько шагов и опять залегали под огнем.

Синцов собрался было приказать — прикрыть огнем идущих сюда людей, но солдаты сообразили и без того. Два наших пулемета, один отсюда, один оттуда, от Караева, длинными очередями повели огонь по высотке. Немецкий ручной пулемет замолчал, но потом снова открыл огонь, и к нему присоединился станковый. Решили не дать этим двоим добраться живыми.

Двое еще раз залегли, и перебежали, и опять залегли, уже недалеко от гребешка, за которым начинался безопасный скат в нашу сторону. Теперь, когда они перебегали в последний раз, Синцов понял по фигурам, что второй, маленький, сзади, был мальчик.

— Вот сволочь! — сквозь зубы сказал Синцов; ругань относилась не к мальчику, а к тому, кто посмел взять его с собой вопреки запрещению.

Мальчик и тот, второй,— Синцов еще не разглядел, кто это,— снова вскочили, добежали до снежного гребешка, и здесь их застала еще одна очередь. Взрослый продолжал бежать, а мальчик остановился и стоял, потому что в него попали. Стоял секунду или две, прежде чем упасть, а потом упал в снег на самом гребне, за пять шагов до начинавшегося спуска...

А тот, кто бежал первым, пробежал еще несколько шагов, споткнулся, упал, поднялся и, не оглянувшись, побежал вниз по склону, сюда, к окопам.

Немцы больше не стреляли. Только два наших пулемета продолжали стучать, запоздало пытаясь помочь тому, чему уже не поможешь.

Люсин — теперь Синцов увидел, что это был Люсин,— по-прежнему не оглядываясь, добежал до самого окопа и спрыгнул в него, в двух шагах от Синцова. У него было улыбающееся потное лицо. Одной рукой он придерживал чуть не слетевшую на бегу ушанку.

— Все-таки добрался до тебя,— сказал он и глубоко, счастливо вздохнул.

Синцов ничего не ответил, глядя мимо него туда, где на гребне снега темнело неподвижное маленькое тело с выкинутыми вперед руками.

Только теперь, подчиняясь этим глядевшим мимо него глазам, Люсин наконец сделал то, что должен, обязан был сделать много раз до этого,— пять, десять, двадцать раз! — обернулся и тоже увидел маленькое неподвижное тело на снежном гребне.

— А я и не заметил,— сказал Люсин так просто, как будто наступил на ногу.

Синцов не отвечал и продолжал смотреть на мальчика, считая, что он убит, и все же еще надеясь заметить хоть какое-то слабое движение, которое показало бы, что это не так.

— А я думал, он все время за мной... Нисколько не сомневался... — новым, извиняющимся тоном сказал Люсин. Радостное сознание, что он сам остался жив, до сих пор мешало ему думать о чем-либо еще.

Синцов, по-прежнему не отвечая ему, увидел, как на снегу шевельнулась сначала одна выброшенная вперед рука, потом другая. Потом дрогнула и шевельнулась нога, потом немножко подвинулось все тело... Мальчик там, на снежном гребне, пробовал ползти. Но он или не видел, или не понимал, что делает, потому что полз не в сторону спасительного уклона, а туда, куда упал головой,— по гребню к немцам.

— Идите вытаскивайте! — сказал Синцов, поворачиваясь к Люсину и уже понимая по его лицу, что этот человек сейчас сам, по своей воле, никуда не пойдет и никого не вытащит. После пережитой смертельной опасности в нем кончился тот завод смелости, который бросил его сюда через ложбину.

Лицо Люсина было как остановившиеся часы.

— А почему вы мне приказываете? — визгливым, не своим голосом вскрикнул он.

Синцов потянулся к кобуре, но удержал руку, не дотянувшись. Будь они здесь вдвоем, он бы погнал его, этого, который ни разу не оглянулся... Погнал бы назад, к мальчишке. А если б не подчинился — застрелил бы и пошел сам. Но сделать это сейчас, здесь, на глазах у солдат, было нельзя, и он не позволил себе этого.

— Уже пошли! — крикнул Люсин все тем же взвизгивающим голосом.

Но Синцов и сам увидел, что пошли. Усатый старик, ординарец Ильина, вылез из окопа и быстро пошел по снегу к продолжавшему ползти в сторону немцев мальчику. Пошел, не дожидаясь ни приказа, ни разрешения, не сказав ни слова.

— Богословский,— крикнул Синцов,— огонь по немцам из всего наличного оружия! С минометчиками есть связь?

— Они еще на подходе.

— Пошлите связного! Пусть ведут огонь с того места, где застанете!

Он говорил все это Богословскому, не оборачиваясь, продолжая следить за мальчиком и приближавшимся к нему ординарцем. Он предчувствовал, что немцы сейчас снова откроют огонь. Надо прикрыть людей, прикрыть всем, чем только можно!

Ординарец поднялся по склону и, не вылезая на гребень, прошел несколько шагов вдоль — хотел оказаться прямо под мальчиком, чтобы меньше ползти по открытому месту. Потом поднялся до гребня, лег и пополз. И как только пополз, оттуда, с бугра, сразу застрочил пулемет. Одна очередь, вторая, третья... Ординарец все еще полз. Еще одна — четвертая... Он замер и больше не двигался.

А мальчик все еще продолжал ползти под новыми очередями, медленно и не туда, отдаляясь от неподвижно лежавшего солдата.

— Повернись, эй ты, повернись! — отчаянно кричал кто-то в окопе, над ухом Синцова.

Синцов сорвал автомат, поставил на дно окопа и вылез. Сейчас, после гибели солдата, он уже не думал о том, что он командир батальона, что ему предстоит операция и он должен удержать себя от этого шага. Та узда, на которой он держал себя, пока солдат полз к мальчику, оборвалась, лопнула. Положено, не положено... Иногда, чтобы и дальше выполнять на войне все, что ему положено, человек должен вдруг, ни с чем не считаясь, сделать то, что ему не положено. В такие секунды войны командир, совершив неположенное и умерев, навсегда остается в сознании подчиненных командиром. А не совершив и оставшись в живых, перестает быть самим собой.

Синцов бежал вверх по склону, проваливаясь в снег, вытаскивая ноги и снова проваливаясь, бежал, не зная того, что за ним уже сорвался и побежал один солдат и следом еще один. Добежав до гребня и услышав у ног шуршание взрывшей снег очереди, он упал и пополз мимо мертвого, ничком лежавшего солдата к мальчику...

— Ваня, Ваня! — крикнул он.

По снегу хрустнула еще одна очередь, забросав лицо снегом.

Мальчик больше не полз. Теперь он лежал неподвижно, приподняв бритую, без шапки, голову.

— Голову вниз! — крикнул Синцов.

Но мальчик продолжал лежать неподвижно, приподняв голову, словно прислушиваясь к чему-то, что слышал, но не мог понять.

Синцов дополз до него и насильно пригнул голову в снег. Потом одной рукой, со спины, обхватив мальчика под мышки, загребая снег ногами, повернул его и пополз назад, волоча его за собой. Услышав рядом шуршание еще одной очереди, взбившей снежные фонтанчики, и хлопки наших минометов впереди, и взрывы мин сзади, у немцев, и проталкиваясь головой в снегу, увидел ползшего навстречу солдата.

— Давайте перейму, — сказал солдат.

— Не надо. Проверь Прохорова, по-моему, он мертвый.

Солдат ничего не ответил, только глазами показал, что понял, и пополз дальше.

Продолжая тянуть мальчика левой рукой, чувствуя, что, кажется, неловко подвернул руку в кисти, Синцов смахнул снег с лица, увидел впереди уклон и поднимающегося по нему второго солдата. Только теперь понял, что он уже не виден отсюда немцам, сел на снегу, подтащил на колени тело мальчика и впервые увидел его лицо — окровавленное, исцарапанное настом, с закрытыми глазами.

— Давайте я понесу... — сказал солдат.

— Вместе. — Синцов поднялся на ноги.

Солдат взял мальчика под мышки, а Синцов перехватил колени и, перехватывая, почувствовал острую боль. Кисть была в крови. Он пошевелил пальцами — пальцы двигались. Значит, ничего не перебито, только мякоть между большим и указательным до кости разорвана пулей.

Мальчик открыл глаза и застонал.

— Живой, — сказал солдат. — Не зря вы старались, товарищ комбат.

— Чего ж ты, дурак, к немцам-то полз? Растерялся? — спросил Синцов, хотя спрашивать было бессмысленно.

— Ничего... — сказал мальчик. И слабо повторил: — Ничего...

— Прохоров насмерть убитый, — сказал, догоняя Синцова, тот первый солдат, что выполз навстречу на гребень. И, поравнявшись, спросил: — Может, вытащить его? Немцы больше не бьют.

— Заберем, как стемнеет, — сказал Синцов.

— Давайте понесу... — Солдат потянулся к мальчику.

Солдаты понесли мальчика, а Синцов пошел рядом, шаря в карманах ватных брюк. Там должен был лежать индивидуальный пакет, но его не было. И только потом, уже удивившись —

как же так! — вспомнил, что отдал его раненому еще утром, в первой взятой траншее.

— У меня есть. — Один из солдат заметил, как Синцов шарит в кармане, и остановил второго: — Погоди, дай пакет достану.

— Не надо,— сказал Синцов. — Сейчас дойдем...

Богословского не было, наверно, распоряжался огнем, а Люсин стоял как вкопанный там, где остался.

Синцов увидел его бледное лицо и прошел мимо.

— Санинструктора к комбату!

— Я здесь, — близко отозвался голос.

— А солдата там оставили? — за спиной у Синцова спросил Люсин. — Убитый?

— Был бы живой, не оставили бы... — тоже за спиной у Синцова сказал один из солдат, несших мальчика, и в голосе его было презрение.

— Занесите куда-нибудь в землянку и посмотрите, — сказал Синцов подошедшему санинструктору.

— А вас, товарищ комбат?

— Идите! Без вас перевяжемся. — Синцов потрогал пальцами рваную мякоть вокруг раны. Да, кости были целы!

Один из набившихся в траншею солдат, зажав конец нитки в зубах, с треском рванул индивидуальный пакет и стал перевязывать руку комбату.

— Потуже, — сказал Синцов.

— Сильно ранило? — спросил у него за спиной Люсин.

Синцов отвернулся от солдата, который перевязывал ему руку.

— Двух человек из строя вывели, — сказал он сквозь зубы, глядя в бледное лицо Люсина. И хотя форма выражения была безличная, выражение лица Синцова не оставляло сомнений: он сказал это не о немцах, а именно о нем, о Люсине.

— Но парень-то живой остался, — сказал Люсин.

И что-то в этом ответе еще больше обозлило Синцова. Об убитом солдате Люсин уже не думает, убитого солдата он уже списал в уме. «Парень-то живой остался». А солдат? Солдат, который сделал для этого чужого мальчика за несколько минут больше, чем для другого родной отец сделает за всю жизнь! Пошел без приказа, чтобы спасти, и умер ради этого. Не только умер, но и за эти минуты осиротил родных своих детей! А этот уже и не думает о нем!

— Кто вам разрешил брать мальчишку с собой? — спросил Синцов. — Захотели идти, шли бы сами! Почему чужой жизнью распорядились, по какому праву?

— Он сам хотел, взялся к тебе проводить, — растерянно сказал Люсин.

Синцов ничего не ответил, подумал про себя: «Может, и так! А ты все равно сволочь. А мальчишка, боюсь, умрет...»

Подумал так в первый раз, еще когда полз по снегу, а потом, когда нес, показалось в теле что-то безнадежное, еще живое, но уже неживое...

— Товарищ комбат, возьмите.

Солдат, перевязавший Синцову руку, протягивал ему связанный в лямку бинт.

— Руку — подвесьте, а то крови лишней вытекет...

Синцов нагнул голову, солдат накинул ему на шею лямку. Синцов сунул в нее руку и пошел по окопу к землянке.

— Ну как? — спросил он, войдя.

— Сейчас, — сказал санинструктор.

Над головой в перекрытии зияла дыра, обшитые досками стены от взрывов выперло внутрь, и из-под них, шурша, сыпалась земля.

— Лучше землянки не нашли? Того и гляди, обвалится, — сказал Синцов.

— Другие еще хуже этой, разбитые, — сказал санинструктор.

Нагнувшись над мальчиком, он заканчивал перевязку. Приподнимая его одной рукой, еще раз пропускал бинт под спину. Мальчик длительно, прерывисто застонал. Санинструктор разогнулся, накрыл мальчика полушубком и повернулся к Синцову.

— Две пули, — сказал он. — Одна в живот, одна в бок...

«Наверно, та, которая мне через руку прошла», — подумал Синцов.

— Надо скорей вывозить, — сказал санинструктор. — Пульс неплохой. Если быстро на стол, может, еще и выживет.

— Организуйте, — сказал Синцов и нагнулся над мальчиком. — Ну, что ты, как?

Мальчик попробовал открыть глаза и не смог. Снова попробовал, открыл и опять закрыл. Синцов махнул рукой и вышел, столкнувшись у выхода из землянки с Богословским.

— Подбери мне к завтрему у себя в роте кого-нибудь подходящего в ординарцы. Постарше кого-нибудь, — сказал Синцов и повернулся к подошедшему Люсину: — Расспросите бойцов о подвиге старшего сержанта Чичибабина. Он при атаке этой траншеи закрыл грудью пулемет и обеспечил успех. Найдите тех, кто видел. Раз уж пришли, так делайте свое дело...

И, не обращая больше внимания на Люсина, пошел по окопам с Богословским, объясняя подробности предстоящей атаки высотки.

Адъютант батальона Рыбочкин пришел с людьми своевременно и даже раньше, чем было обещано, еще до окончательной темноты.

Немецкая высотка чуть заметно серела в надвинувшихся сумерках. Ильин еще раз за этот трудный день проявил свою исполнительность: наскреб больше людей, чем просил Синцов. Не пятнадцать, а двадцать человек, не считая адъютанта и пришедших вместе с ним Завалишина и уполномоченного.

— Значит, теперь ты вместо Лунина ротой командуешь... — сказал Завалишин Богословскому. А когда присели все вместе в землянке, чтобы при свете поглядеть на карту, протер очки и добавил: — Теперь один я в батальоне декабрист остался.

Синцов посмотрел на него и, с трудом продравшись в памяти через все события дня, вспомнил тот, ночной, казавшийся теперь уже далеким разговор в землянке, когда Завалишин пошутил про двух декабристов — себя и Лунина.

Мальчика в землянке уже не было, его унесли.

— Я давно говорил, что этим дело кончится,— зло сказал уполномоченный про мальчика. — Даже писал по своей линии, чтобы забрали мальчишку от твоего предшественника Поливанова.

— Даже писал? — спросил Синцов.

— Писал,— сказал уполномоченный. — Такие мои права и обязанности. Чего ждал, тем и кончилось...

В словах его было больше горечи, чем зла, и Синцов, слушая его, почему-то подумал, что, наверно, он сам человек многосемейный. Может, оттого и писал, что представил себе своих собственных на месте этого мальчишки.

— Где были? — спросил он уполномоченного.— Что-то я вас не видел сегодня.

— А я не при вас, а при батальоне. Мне вам глаза мозолить не обязательно.

— Однако все же пришли?

— Пришел, потому что в других ротах ничего больше не ждем, а здесь операция.

— Пришли принять участие?

— Вот именно. Еще вопросы будут?

— Не сердись,— сказал Синцов. — Это я так, сдуру кусаюсь. За мальчишку переживаю...

— Не один ты,— сказал уполномоченный. — Хоть бы теперь на хирурга хорошего попал, чтоб вы не зря старались...

— Прохорова жаль,— вздохнул Завалишин. — Такой был беззаветный, безотказный старик. Ильин, когда с глазу на глаз, его всегда батей звал...

— Значит, на КП у нас теперь один Ильин остался? — спросил Синцов.

— А вот и связь... — сказал адъютант, поднимая трубку затрещавшего телефона. — Ильин вас просит.

Голос Ильина показался Синцову в телефон не таким, как обычно, хотя докладывал Ильин четко и ясно, как всегда: все в порядке, связь со всеми ротами есть, скоро должны доставить людям горячую пищу... Он звонит уже из другой землянки. В той, где были раньше, теперь КП полка. Левашов уже там, и Туманян должен скоро прийти.

— Позвоните им по двойке, когда у вас готовность будет. Левашов повторил, чтоб спросили «добро», прежде чем начинать.

— Через пятнадцать минут позвоню, — сказал Синцов.

И еще раз подумал, что хотя Ильин говорит как всегда, а голос у него не такой. Может быть, уже узнал про свою минометчицу, что ее больше нет на свете. И, подумав об этом, не стал говорить сейчас про убитого ординарца, положил трубку и повернулся к Завалишину.

— Зачем мальчишку с корреспондентом отпустили? При вас приказал, чтобы не шел со мною...

— Я на телефоне был, — объяснил Завалишин. — А когда вышел, они уже...

Синцов махнул рукой. Не хотелось больше говорить, все это теперь уже бесполезно.

В землянку вошел Люсин.

— Все выяснил об этом вашем герое, — сказал он, войдя. — Материал будет исключительный!

Синцов поднялся ему навстречу.

— Закончили?

— В основном закончил.

— А раз так, то все. До свидания. И чтобы больше духу вашего не было у нас в батальоне! Рыбочкин! — повернулся Синцов к адъютанту. — Дайте бойца, пусть проводит старшего политрука в полк.

— Какое вы имеете право? — вспыхнул Люсин.

— А иди ты отсюда к... — Синцов грубо и зло выругался, — пока морду тебе не набил. Понял?

— В дивизию сообщу о вашем поведении, — сказал Люсин.

— Хоть в армию, — сказал Синцов. — Что стоите, Рыбочкин? — обернулся он к адъютанту. — Приказано — делайте!

— Товарищ старший лейтенант... — поднимаясь, недоуменно сказал Завалишин.

Но Синцов остановил его рукой.

— Рыбочкин, что сказано?

— Пойдемте, товарищ старший политрук,— сказал Рыбочкин.

— Не понимаю вас, может, объясните? — сказал Завалишин, когда Люсин и Рыбочкин вышли.

— Богословский, объясните старшему политруку, как было дело, — сказал Синцов.

И пока Богословский рассказывал, он ни разу не вмешался. Ходил по землянке, сжав зубы, пытаясь унять вдруг заколотившую его дрожь. Откуда она, черт бы ее взял? От злости, от усталости, от всего пережитого за день? Или оттого, что через двадцать минут опять наступать? Если так, это хуже всего...

— А почему сразу его из батальона не отправили? — спросил Завалишин.

— А потому что еще светло было, убить могли, не имел права. А теперь имею,— сказал Синцов. — Так или не так? — Он остановился перед Завалишиным.

— Так. Но форма выражения... Может пожаловаться.

— А... с ним, пусть жалуется,— вдруг сказал уполномоченный. — Не подтвердим, и все.

— Не матерились, не матерились — и сразу разговелись, — сказал Богословский.

— Пора людей собирать, — сказал Синцов и первым вышел из землянки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Предчувствия Синцова оправдались. До высотки дошли на удивление удачно — остались незамеченными до последней минуты.

Расчет оказался верным: немцы до сумерек ждали продолжения дневной атаки, ждали и перестали, а ждать ночной атаки еще не начали, не рассчитывали, что мы, имея за спиной столько огня, пойдем в атаку без выстрела. Помогла и несшаяся прямо в глаза немцам поземка, превратившаяся в метель. Как это часто бывает в бою, даже трудно сказать, что оправдалось — расчет или предчувствие.

А могло и не повезти! Взвод, который вел Богословский, отстал от других всего на минуту, и немцы успели осветить его ракетой и положить пулеметом в снег. Легли и лежали до тех пор, пока остальные, ворвавшись на высотку, не закидали этот пулемет гранатами. Могло случиться и с другими, но не случилось, а Богословский сплоховал: потерял людей и сам был тяжело ранен — лежал здесь, на высотке, в немецкой землянке, с перебитым коленом. Фельдшер уже перевязал ему ногу и пристра-

ивал теперь поверх повязки шину из двух досок. Терпеть было нелегко, и Богословский постанывал сквозь зубы.

Часть немцев была уничтожена на высотке, а часть бежала за нее, в снежное поле... И гнаться за ними уже не было сил. Еще когда Синцов готовил людей к наступлению, чувствовал, что они на пределе. Однако все же пошли и сделали. Но, сделав еще и это, на большее были неспособны. Повесили над бегущими несколько ракет, постреляли вслед, тем дело и кончилось.

Синцов только что зашел в землянку. До этого ходил по окопам, требуя от всех, чтобы были готовы к возможной контратаке.

Высотка действительно оказалась существенной. Двое пленных сообщили, что здесь еще до середины дня был наблюдательный пункт командира дивизии.

Судя по многим признакам, по количеству блиндажей, их перекрытию и оборудованию, по исковерканным обломкам стереотруб, это было похоже на правду.

Несколько особенно мощно перекрытых блиндажей остались совсем целы, и иззябшие, измученные боем люди, валясь с ног от усталости и желания спать, всеми силами тянулись туда погреться.

Но считаться с усталостью можно было только отчасти. Немцы, которым эта потерянная высотка теперь как заноза, могут пойти в ночную контратаку с той дальней большой высоты. А если пойдут, могут столкнуть. А если столкнут, то покатишься обратно до самых окопов.

Ходил, не давая покоя людям, выгонял их из землянок, требовал, чтобы все пулеметы были наготове и чтобы у каждого, сменяя друг друга, дежурили люди. Ходил и проверял, заставив то же, что делал сам, делать и других. И уполномоченный и адъютант тоже ходили и теребили людей. Высотка была как будто и небольшая, а протяжение траншей и ходов сообщения порядочное, за всем сразу не усмотришь! Правда, люди и сами понимали опасность, но понимание пониманием, а мороз и усталость брали свое...

Нервничал еще и оттого, что до сих пор не было связи с полком. От окопов до высотки сразу тянули провод за собой, но, когда дотянули, телефон не заговорил: где-то обрыв. Послал проверить, а еще двух связистов отправил с трофейным немецким телефоном и проводом напрямик на НП полка.

Знал, что и по ракетам, и по отзвукам гранатного боя в полку уже поняли, что высотка взята, и надеялся, что приняли меры — послали людей на поддержку, на случай контратаки. Но пока надежда только на себя и на тех, кто с тобой! Чувствовал

значение достигнутого успеха для завтрашнего боя, и от этого тревога была еще больше; в такие минуты ответственность за дело наваливается на плечи страшнее всякого страха за жизнь.

Первое, что спросил у сидевшего в землянке Завалишина, — про телефон:

— Молчит?

— Пока молчит.

И только потом подошел к Богословскому, с которым возился фельдшер.

— Знобит, — сказал Богословский. — Прикажите фельдшеру, чтобы водки дал.

— Я уже давал.

— Всего глоток и дал... Пожалел, — пожаловался Богословский.

— Медицина знает, сколько дать, — сказал Синцов.

— Ничего он не знает. Жалеет, для себя оставляет...

— Нате, пожалуйста, пейте! — сердито сказал фельдшер, отцепляя от пояса флягу.

— Напрасно даете, раз считаете, что лишнее.

— Обидно, товарищ старший лейтенант. — Фельдшер в нерешительности задержал флягу. — Я норму, которую, считал, можно, дал.

— А раз дали, значит, все. Подумаешь, обиды! — сказал Синцов. — Это тебя не от холода знобит, а от потери крови. По себе знаю. Первый раз раненный?

— Первый.

— А я четыре раза. Слушай тех, кто знает.

— Эвакуировать его поскорей надо, — сказал фельдшер.

— Надо — так эвакуируй, — сказал Синцов. — Чего ко мне обращаешься, у меня свои дела есть. Где твоя кобыла?

— Послал за ней.

— Раненых всех подобрали?

— Вроде всех.

— Смотри, — сказал Синцов, — если кто остался, за ночь замерзнет.

— Ясно, товарищ старший лейтенант.

Но Синцов почувствовал в этом «ясно» неуверенность.

— Все проверил?

— Сейчас еще проверю, товарищ старший лейтенант.

«Еще проверю» — значит, не проверил.

— Иди проверяй! Перевязку закончил, нечего тут околачиваться.

Синцов покрутил ручку телефона и машинально взял трубку, хотя, когда крутил ручку, уже понял, что связи нет.

— Молчит, холера! — И, сказав это, наконец взглянул на сидевшего в углу блиндажа немецкого пленного майора.

Немец был без шапки. Воротник шинели у него был на две трети оторван, когда его волокли сюда по окопу в блиндаж.

Напротив немца сидел пожилой ординарец Богословского с автоматом на коленях. По его злому лицу было видно, что, не будь приказа, он бы хоть сейчас пустил в расход этого фашиста, тем более что в бою ранили старшего лейтенанта Богословского. Когда Синцов, выругавшись в молчавшую трубку, посмотрел на немца, ему показалось, что тот усмехнулся. Но немец не усмехался, а кривил от боли лицо. Вся его правая скула и подглазье, наверно от удара прикладом, превратились в сплошной синий кровоподтек.

— Допросил его? — спросил Синцов у Завалишина.

— Допросил, — сказал Завалишин. — Повторил то, что сказал сразу: командир третьего батальона сорок второго полка четырнадцатой пехотной дивизии. Сначала оборонялся на занятой нами днем позиции. А когда отошел сюда, получил приказ оборонять высотку. Больше ничего говорить не желает.

— А может, ты немецкий язык знаешь, как наш Рыбочкин? — усмехнулся Синцов, вспомнив, как вчера вечером адъютант пытался допрашивать перебежчика-австрийца.

— Я как раз сносно владею немецким,— сказал Завалишин. — Только неделю, как открутился, — хотели взять в штаб фронта переводчиком.

— А чем не работа?

— А ну их к черту! — отмахнулся Завалишин. — Хочется поменьше иметь с ними дела. А язык нужный. Я же философ, а в философии без немецкого ни шагу. Если, конечно, не по готовому бубнить.

— Ладно, философ,— сказал Синцов,—я немного у телефона побуду, погреюсь, а ты иди по окопам, проверь посты и в случае чего людей из землянок беспощадной рукой... — И еще раз с нажимом повторил: — Беспощадной! Понял?

— Ясно, хотя и тяжело. — Завалишин встал.

— А легкого нам не обещано,— сказал Синцов. — Не имеем права, чтобы у нас людей, как у этого,— он кивнул на немца,— как кур перебили. Люди до того устали, что страх смерти забыли, только бы поспать! Но если допустим это, подлецы будем!

— Все ясно, — сказал Завалишин.

— Уполномоченного пришлите,— крикнул вдогонку Синцов,— чтобы меня сменил! Будем по очереди.

— Я могу у телефона подежурить,— слабым, запавшим голосом сказал Богословский. — Только аппарат мне поближе...

— Ты свое отдежурил, — сказал Синцов. — Рыбочкин твою роту временно принял. Твое дело теперь маленькое: поскорей на ноги встать и обратно в батальон.

— Не так-то это просто, — сказал Богословский.

— А я не говорю, что просто. Спи: сон раны лечит!

— Авдеич, — помолчав, сказал Богословский своему ординарцу, — у тебя сухари есть?

— Есть. Кушать хотите?

— Нет. Дай немцу сухарь.

Ординарец недовольно крякнул и, не выпуская автомата, потянул с пола на колени тощий сидор. Развязал, порылся и молча протянул немцу сухарь. Но немец даже и не шевельнул навстречу рукой.

— Не берет, — сказал Авдеич.

— Что это ты вдруг расчувствовался? — спросил Синцов.

— Сам не знаю, — сказал Богословский.

Синцов, поморщившись, выпростал руку из грязной, почерневшей лямки бинта и осторожно положил перед собой на стол. Рука сильно болела. Пальцы кололо холодными тупыми иголками: то ли туго перебинтовали, то ли нерв перебит, тогда дело хуже, чем думал. Он посмотрел на неподвижно сидевшего немца. Почему-то хотелось спросить его, этого немца, где начинал войну и что думал тогда, в ту ночь, когда переходил границу, если он с первого дня. Думал ли, куда дойдет, и представлял ли, чем кончит? Тоже командир батальона, только немецкого. Сорок второго полка, четырнадцатой дивизии. Вот они сидят — комбат против комбата, батальон на батальон! Раньше так не было, раньше так немцы в плен не попадали. А когда попадали такие, как этот, возились с ними, как с писаной торбой... Сразу во фронт везли.

То прежнее, смешанное с ненавистью уважение к немцам, нет, не к немцам, а к их умению воевать, которое было и у него и у других, всегда было, как бы там ни писали про немцев, что они вонючие, паршивые фрицы, а все равно было, потому что сам себя не обманешь, — это уважение у него надломилось еще в Сталинграде. И не в ноябре, когда мы перешли в наступление, а еще раньше, в самом аду, в октябре, когда немцы, казалось, уже разрезали дивизию и чуть не скинули в Волгу, а все-таки и не разрезали и не скинули!

Нельзя сказать, что до этого не верили в себя. И до этого верили, но не в такой степени. А в октябре не только намного больше поверили в себя, но и тем самым стали намного меньше верить в немцев, то есть не в них, а в их умение воевать. Одно за счет другого, вполне естественно! Так было, так есть, так будет и дальше.

Вот сидишь сейчас перед этим немцем и уже не веришь, что он может оказаться сильней тебя. И не потому, что он сейчас пленный... И вообще эти мысли не о нем лично... Лично он, может, и хороший командир батальона, может, даже отличный, хотя и проспал сегодня свой батальон, но этим еще не все сказано, такое бывает и со сверхотличными,— есть случаи на памяти!

Когда мальчик полз там, по снежному гребню, этот немец, вполне возможно, сначала следил в свой бинокль, шевелится или не шевелится, а потом отдал приказ: открыть огонь. Мальчик — неизвестно, жив или умер. А этот немец сидит живой... И как остался жив, непонятно. Тем более докладывали, что стрелял до последнего. Парабеллум из рук выбили.

Он снова посмотрел на немца и вдруг подумал: «А может, сидит сейчас и радуется, что жив, в плену и все позади. У них, в котле, все равно теперь перспектива одна: если не плен — смерть...»

Но лицо немца — худое, сильное, замкнутое, спокойно-ненавидящее — ничем не подтверждало этой мысли. Нет, не рад, что в плену. Чувствуется, когда бывают рады, а у этого не чувствуется. Они еще сила, такие, как этот, с ними еще нахлебаешься горя...

Интересно все же, пойдут они в контратаку или примирятся? Навряд ли примирятся. Высотка ключевая. Недаром у них тут наблюдательный пункт был.

И, обеспокоенный этой, снова, упрямо, из-под всех других выплывшей мыслью, услышал слабый писк телефона и радостно кинулся к трубке, больно ударившись о стол раненой рукой.

— Двадцать первый, где находитесь? — послышался голос Туманяна.

Синцов доложил, что находится на высотке и что, по сведениям пленных и собственным выводам, здесь ранее находился наблюдательный пункт командира немецкой дивизии.

— Как противник? Не контратакует?

— Пока нет.

— Уточните координаты для заградительного огня.

Синцов уже сам держал это в уме — подготовить заградительный огонь артиллерии перед высоткой на случай, если немцы пойдут в контратаку. Но хотя наизусть помнил координаты, прежде чем сказать, еще раз, для очистки совести, взглянул на карту.

— Будет сделано,— обещал Туманян. — Чугунова снял с позиций, уже идет к вам. Ильин ждет смены. Сдаст участок и приведет остальных. Будешь *весь* там, где сидишь. Понял меня?

— Понял,— весело сказал Синцов, радуясь, что прежний участок уже принимают соседи и скоро весь его батальон будет здесь в кулаке.

— Где ваши минометчики? Ильин потерял их...

— А я им приказал, как дам ракету, что взял высотку, сразу идти ко мне. Наверно, в пути.

— Тогда понятно,— сказал Туманян. — И роту автоматчиков к вам направляю.

Он говорил открытым текстом: хотел подбодрить и, видимо, не считался с возможностью, что немцы в сложившейся обстановке могут подслушать.

Только покончив с главным, что беспокоило и его и Синцова, спросил о потерях. Синцов доложил.

— А какие потери понес немец?

— Во много раз бо́льшие. Еще не все подсчитали.

И это были уже не слова, как часто бывало раньше, это было действительно так.

— Командира батальона в плен захватили. — Синцов искоса взглянул на продолжавшего неподвижно сидеть немца.

— Пришлите ко мне.

— Боюсь, не доведут.

— Пришлите с офицером.

— Пока не с кем, все на счету. Богословский ранен. Рыбочкина назначил на роту. Прошу утвердить.

— Утверждаю. Богословского вывезли?

— Пока у меня.

— Тяжелый?

— Да. — Синцов поглядел на Богословского.

— Как у вас там, просторно? Разместите все, что подойдет?

— Вполне.

— Приготовьте мне землянку, попозже сам приду. Левашов пошел к вам с Чугуновым. Ждите!

— Слушаюсь.

— До утра доживем — к ордену представлю,— сказал Туманян. — А пока спасибо!

«Доживем или не доживем, а живыми обратно не уйдем»,— подумал Синцов, но вслух не сказал. Лучше сделать молча, чем, сказав, не сделать.

— Ну что там? — спросил Богословский. — Про меня спрашивал?

— Передал тебе благодарность за взятие высотки,— сказал Синцов; услышанное от командира полка «спасибо» было поровну или не поровну, а одно на всех.

В землянку вошел уполномоченный.

— Завалишин прислал. — Он растер рукавицей лицо с заиндевевшими бровями. — Что от меня требуется?

— Связь установили,— сказал Синцов. — С Туманяном говорил, весь батальон сюда идет. А требуется от тебя — погреться. Посиди у телефона, а я пойду.

— Там все в порядке,— сказал уполномоченный,— а греться мне некогда. Одного раненого не нашли — Котенко, сержанта, нет. Он со мной шел и упал у самой высотки... Не убитый, я уже за спиной слышал, как от раны в крик закричал. А фельдшер заявляет, что всех подобрал. Врет! Он сука ласковая, я его давно в виду имею. При начальстве трется, а к людям без внимания. Сейчас солдат возьму, сам схожу, я место помню.

— Ладно, иди,— сказал Синцов,— только по-быстрому. А Рыбочкина сразу сюда пришли. Пусть у телефона посидит, я все же пойду.

Уполномоченный кивнул и вышел.

— Да, если не подберут, замерзнуть недолго,— сказал Богословский, наверно подумав о себе.

Рыбочкин зашел почти сразу же, как только вышел уполномоченный. На ремне поверх полушубка у него висел немецкий парабеллум в черной треугольной кобуре.

— Возьмите, товарищ старший лейтенант. — Он вытащил из-за пазухи второй такой же парабеллум. — Его,— кивнул он на немца. — Лично у него взял и для вас сохранил. Я уже свой пробовал — бой у них сильный, будь здоров!

Синцов усмехнулся.

— Оставь себе про запас. Я к нагану привык. Посиди у телефона; связь уже есть, и люди к нам идут.

— Ох, замечательно тут у вас, тепло! — притопнул по полу валенками Рыбочкин.

И при виде этого счастливого замерзшего долговязого мальчика Синцов не удержался от шутки.

— Грейся на всю катушку! Только не усни, чтоб трофей твой не сбежал. — Он кивнул на немца и вышел из землянки.

Обратно в землянку Синцов вернулся только через час. Сразу, как вышел, оказалось — забот полон рот. Сначала подошли минометчики, и надо было выбрать вместе с ними позицию. Потом уполномоченный вместе с солдатом притащил Котенко. Если бы не пошел сам, раненый так бы и замерз в сорока шагах от землянок. Потерял сознание, а раз без голоса, то и прошли, как мимо мертвого. Синцов разозлился, приказал разыскать фельдшера, хотел накрутить ему хвост. Но фельдшер словно чувствовал — как сквозь землю провалился! Сказали, что пошел за лошадью и не вернулся.

Потом понемногу стала подтягиваться в метели рота Чугунова. Люди сильно замерзли, и надо было вместе с Чугуновым поскорей разместить их, чтобы отогрелись.

Левашову, который пришел вместе с Чугуновым, доложил самое необходимое на ходу, в окопе, и пригласил пройти в землянку. Тем более что с ним явился тот, второй корреспондент, заика. Все-таки принесла его сюда нелегкая вместе с Левашовым. Левашов было заупрямился, хотел обойти окопы, но Синцов настоял:

— Разрешите самому разобраться и порядок навести, а потом вам доложить. Вы с дороги, а я только из землянки, уже отогрелся.

Левашов пошел греться. Все же мороз взял свое, да и здравый смысл был на стороне комбата.

Проводив Левашова, закончил размещать с Чугуновым роту. Приказал проверить, нет ли отставших, и с радостью узнал, что наконец пришли — слава тебе господи! — старшины с термосами.

Немцы не подавали признаков жизни. Или отступились от этой высотки, или готовили что-нибудь серьезное. Но теперь это было уже не так страшно, как два часа назад. Пусть, если хотят, идут. Больше за ночь положим — легче утром будет. Теперь можно подумать и о том, чтобы перекусить и погреться. Судя по обстановке, самое время. А дальше — больше: начнет прибывать начальство, и времени на себя не будет. Уже по дороге в землянку зашел в другую, которую приказал освободить для НП полка. Землянка была просторней, чем та, в которой обосновался сам. Начальству лучшее, как положено!

Когда вернулся к себе, Богословского не было. Оказывается, фельдшер уже забрал его. Так и не успел ни с Богословским проститься, ни фельдшеру выдать, что ему причиталось.

— Как, комбат, — спросил Левашов, — кормить гостей будешь?

— Буду. Горячую пищу поднесли.

Синцов повернулся к ординарцу Богословского. Теперь, когда Богословского увезли, само собой складывалось, что этот Авдеич останется ординарцем у комбата.

Сейчас он уже не дежурил на лавке против немца, а примостился на корточках у входа рядом с ординарцем Левашова и с таким наслаждением курил оставленный соседом бычок, что грех было отрывать его от этой солдатской радости. Однако ничего не поделаешь, пришлось приказать, чтоб шел к старшине за харчами.

Корреспондент — Синцов опять забыл, но напрягся и вспомнил его фамилию — Гурский сидел против немца и смотрел так внимательно, словно собирался писать с него портрет.

— Молчит фриц,— сказал Левашов и кивнул на Гурского. — Он уже и так и сяк его спрашивал и курить предлагал — не курит. Туманян звонил: где фриц? В дивизии разведчики интересуются. Надо отправлять.

— Не знаю, с кем отправлять в такую метель,— сказал Синцов. — Кто доведет, а кто шлепнет...

Левашов вздохнул. Видно, ему очень не хотелось делать то, на что он решился.

— Ладно,— сказал он. — Тогда придется по-другому. Феоктистов!

— Слушаю, товарищ батальонный комиссар,— вскочил с корточек его ординарец, обнаруживая свой огромный рост. Вскочил и вытянулся — почти до потолка землянки.

Немец шевельнулся и посмотрел на огромного ординарца.

— Сведешь в штаб полка,— сказал Левашов, показав на немца. — И чтоб без случайностей! Что пробовал от тебя сбежать, не поверю. Головой за него ответишь, понял?

— Так точно, товарищ батальонный комиссар,— скорбно отозвался ординарец. По лицу его было видно, как до смерти неохота ему тащиться в тыл через метель с этим немцем.

— А так точно, значит, веди его.

— А он без шапки, товарищ батальонный комиссар.

— Ничего, по дороге с какого-нибудь мертвого фрица снимешь и натянешь,— сказал Левашов. — Иди, не прохлаждайся.

— Пошли. — Ординарец подошел к немцу и толкнул его в плечо. — Ну, давай, пошли...

Немец встал. Синцов видел, как на секунду в его глазах мелькнуло отчаяние; показалось, что сейчас, испугавшись, дрогнет, взмолится и начнет отвечать на вопросы. Но немец не дрогнул и не взмолился. Отвел глаза, поднял голову, расправил плечи, как перед смертью, и пошел из землянки впереди ординарца.

— Сильный фриц,— сказал Левашов, когда немец и ординарец вышли. — Люблю таких!

— Д-даже любите? — сказал Гурский.

— Люблю, когда не сопливых, а таких, как этот, в плен берем. Значит, еще на одного меньше...

Левашов уже спрашивал Синцова о руке, но сейчас, когда Синцов, присев, выпростал руку из лямки и положил на стол, спросил еще раз:

— А не врешь, что рана легкая?

— Не вру.

— А если на откровенность?

— На откровенность — болит и мерзнет, а кость не тронута.

— Как Богословский, нашел себя в бою?

— Ваших опасений не оправдал.

— Если считаешь нужным, представь! — сказал Левашов, подчеркивая свою готовность отказаться от прежнего несправедливого мнения о Богословском.

— А представлять пока не за что.

— Я вижу, ты строг!

Синцов пожал плечами: тебе видней, какой я, а я такой, какой есть.

— Старший политрук, напарник его,— кивнул Левашов в сторону Гурского,— прямо в восторге от твоего батальона вернулся!

Синцов не сразу понял, что речь о Люсине. Так далек был сейчас от него в мыслях. «Значит, не стал жаловаться на меня». А впрочем, понятно: за грубость в бою с комбата не взыщут. Да и объяснять, за что и почему выгнал, было бы не в интересах товарища Люсина.

— Он нам про Чичибабина описал, что грудью пулемет закрыл. Это факт?

— Факт,— сказал Синцов. — Завалишин сегодня в политдонесении даст.

— Да, на все теперь люди идут,— сказал Левашов. И добавил задумчиво, как бы оспаривая сам себя: — И всегда, между прочим, шли. Помню, летом под Купянском у нас ефрейтор Максюта был, пулеметчик. Ему в бою ногу ниже колена оторвало, на лоскуте повисла. Так он сам дотянулся и отрезал, чтоб не мешала, и за пулеметом остался, кровью исходя! На моих глазах было; другой бы рассказал — не поверил! Ну, спрашивается, какое еще мужество должно быть у человека? Что еще с него можно спросить? А ведь все равно отступали. Как это совместить? Разве солдат в этом виноват? Это легче всего сказать... Или, наоборот, все чохом на начальство свалить. А мало ли дурости в нас самих? Сколько угодно! Сам знаешь, чувствуешь, бесполезно идти в атаку, а велишь! Или, наоборот, надо отойти, пока не поздно, знаешь, чувствуешь, дураку ясно, а сидишь!

— Что-то вы сегодня в к-критическом настроении,— сказал Гурский.

— А, иди ты со своими шуточками,— сказал Левашов. — Я не в критическом, я в самокритическом... А критика и самокритика знаешь что такое?

— Знаю. Д-движущая сила,— сказал Гурский.

— А раз знаешь, так и молчи в тряпочку.

— А где ваш товарищ? — спросил Синцов у Гурского, подумав, что Люсин, чего доброго, еще явится сюда с Туманяном.

— Уже в дивизии,— сказал Гурский — Д-добирает материал у начальства. Нам завтра утром лететь. Кстати,— обратился он к Левашову,— вы меня до рассвета в штаб д-дивизии д-доставите?

— А чего тебе лететь? — сказал Левашов. — Оставайся с нами. За неделю фрицев кончим, и поедешь.

— Как мне п-понять ваше п-предложение остаться? — спросил Гурский. — Как выражение сомнения в моем личном м-мужестве? Но я уже объяснял вам, что любимая п-поговорка нашего редактора, хотя он и еврей: «Д-дорого яичко ко Христову дню». Завтра ему нужен подвал. «Первые сутки наступления»... А д-дальнейшее его будет интересовать в д-дальнейшем.

— Ладно,— сказал Левашов. — Не лезь в бутылку. Какое-нибудь начальство приедет — выцыганю, чтобы тебя обратно подбросили.

— А кто приедет? — спросил Синцов.

— Думаю, командир дивизии. До утра не утерпит, явится. Он у нас заводной мужик.

Ординарец принес в котелке обед — суп из пшенного концентрата с мясными консервами.

— Богато кормите,— сказал Левашов, помешав суп и зачерпнув целую ложку гущи. — Что, со всего термоса мясо наловили или солдатам тоже оставили?

Ординарец молчал. Старшина перестарался. Синцов чувствовал себя неловко: был бы один, выругал бы и отправил суп обратно... Но Левашов как-никак гость в батальоне, сделать это при нем неудобно. Видимо, и Левашов почувствовал неловкость, но только уже перед Гурским, и, больше ничего не добавив, стал вылавливать мясо и класть в крышку котелка. Наложил полкрышки мяса, долил супом и пододвинул Гурскому:

— Кушайте...

— Чего-то н-не хватает... — сказал Гурский, берясь за ложку.

Синцов передал ему флягу.

— Пейте, кружки нет.

Гурский отвинтил крышку, сделал два затяжных глотка и, не завинчивая, вопросительно посмотрел на Левашова и Синцова.

— Я, как вам известно... — сказал Левашов. — А ты — на твое усмотрение.

Он взял флягу из рук Гурского и протянул Синцову. Синцов сделал глоток, завинтил, положил флягу на стол. Пить не хотелось, знобило,— наверно, от руки.

— Не по-товарищески,— сказал Гурский.

— Пью по обстановке,— ответил Синцов,— по-товарищески мы с вами после войны выпьем.

И, обратившись к Левашову, сказал, что землянка для НП полка подготовлена.

— Лучше вашей или хуже? — спросил Левашов. — Если хуже, Туманян все равно вашу займет. Он насчет этого самолюбивый.

— Все как положено. Порядок знаем.

— Тогда хорошо,— сказал Левашов. — У нашего Туманяна всегда и все аккуратно, по Льву Толстому: «Эрсте колонне маршкрт... цвайте колонне маршкрт...» Пока не убедится, что все в порядке, ни КП, ни НП менять не станет.

И, очевидно подумав, что его отзыв о командире полка может показаться упреком, добавил:

— Накаты над головой любит, в этом смысле не армянин, а немец, но когда надо, не дрогнет, жаловаться на него не приходится. Пойду погляжу, что вы ему там за блиндаж подготовили.

Он быстро, одну за другой отхлебнул несколько ложек супа, положил ложку и вдруг ни с того ни с сего сказал:

— Переаттестация кончится — перейду с политработы на строевую. Будем с тобой соседними батальонами командовать.

— Думаю, вам и побольше батальона дадут,— сказал Синцов.

— А побольше дадут — спасибо. С первого дня войны в замполитах полка — ни взад, ни вперед!

— А вы в-возьмите да п-посоветуйте, чтоб вас назначили куда п-повыше,— подал голос Гурский.

— А я не хочу повыше, я хочу к делу поближе. — Левашов встал.

Синцов поднялся вслед за ним.

— Оставайся, сам найду,— сказал Левашов и ткнул пальцем в Гурского. — С ним поговори, пока время есть. Позвоню, если понадобишься...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

— А знаете, что Левашов мне про вас сказал? — спросил Гурский, когда они остались вдвоем с Синцовым.

— Что?

— «Поговори с комбатом, комбат — личность!»

— Из чего он это вывел?

— Из того, что вы эту в-высоту напросились брать.

— Все мы по-своему личности.

— Между п-прочим, с этим на войне не всегда считаются.

«Вот и плохо, когда не считаются»,— хотел сказать Синцов, но вместо этого только пожал плечами.

— А что, с вашей т-точки зрения, главное в командире?

— Смелость и правдивость,— сказал Синцов. — Остальное можно списать.

— В каком смысле?

— В том смысле, что не всяко лыко в строку.

— Ну, а, скажем, смел и п-правдив, но пьяница?

— А тот, кто пьян, правды о бое не знает.

— А вы во многих боях б-бывали?

— Считайте сами,— сказал Синцов. — Полтора года войны, из них четыре месяца в госпиталях, три — на курсах, остальное — передовая.

— А если п-поподробней?

— Подробней долго,— сказал Синцов.

В боях, не в боях... Если выбрать из всей войны только те часы, когда был именно в *бою,* и месяца не сложится. Но как это считать? Перед боем, в бою, после боя?.. Где тут граница, если иногда ожидание боя треплет нервы хуже, чем сам бой? А после провала, когда все прахом, такой камень на душе, что, кажется, лучше б не жил! Нашел что спросить: в скольких боях?.. Всего-навсего в одном, да только он еще не кончился. Пули, что ли, считать или снаряды, что рядом легли?.. Это если на войну на день приехал, можно считать. Тогда и осколок, что рядом упал, в карман берут...

— Н-ну ладно, что с вами сделаешь. — Гурский взглянул на молчавшего Синцова и вынул блокнот. — Т-тогда давайте п-подробно про сегодняшний бой...

Коротко отвечая на вопросы Гурского, Синцов понимал, что, переменись они с Гурским местами, он, наверно, спрашивал бы то же самое. На минуту, пока отвечал, шевельнулось в душе что-то старое, напомнившее самого себя, шевельнулось и исчезло. Он уже не мог представить себя человеком, расспрашивающим других людей о том, как они воюют.

— А теперь один личный вопрос,— сказал Гурский, закрыв блокнот. — Что у вас в-вышло с Люсиным?

— А что он вам сказал? — Синцов внимательно посмотрел на Гурского. Значит, Люсин сказал Левашову одно, а этому другое.

— Ск-казал, что вы сволочь.

— Поверили?

— П-привык составлять собственное мнение. П-поэтому и спрашиваю вас, что п-произошло. З-за что вы его п-прогнали?

Синцов объяснил. Хотя объяснять было неохота.

— Не п-похоже на него. Он вообще-то не т-трус.

— А я и не говорю, что он трус.

— П-послушайте, вы ведь с ним давно знакомы, он мне рассказывал...

— А мне неинтересно, что он вам обо мне рассказывал,— прервал его Синцов.

— Я сп-прашиваю потому, что не очень ему п-поверил...

— А если не верите человеку, зачем с ним ездите? — снова прервал Синцов.

— Очевидно, п-проявляю свойственную мне неп-принципиальность во второстепенных вопросах.

— Ладно, не будем жевать мочалу,— сказал Синцов. — Не знаю, как вы, а я, когда кого-нибудь ненавижу, делаю это молча.

— Иногда мне вдруг к-кажется, что он д-далеко п-пойдет,— задумчиво, словно обсуждая этот вопрос уже не с Синцовым, а с самим собою, сказал Гурский. — Гладкий п-парень, н-нигде не зацепится. Вп-полне возможно, буду еще к-когда-нибудь работать п-под его рук-ководством.

Синцов ничего не ответил.

— Не хотите г-говорить на эту т-тему?

— Не хочу.

— Тогда п-переменим. Вопрос, как бывшему журналисту: дневник ведете?

— Нет,— сказал Синцов.

— П-почему?

— А вы что, соответствующего приказа не читали?

— Читал, но некоторые п-пробуют его забыть.

— А я не пробую,— сказал Синцов.

Он слишком хорошо помнил этот прошлогодний приказ, которым под угрозой трибунала запрещалось вести дневники, находясь в действующей армии. Под приказ попал прошлым летом замполит полка — под горячую руку пошел в штрафной батальон из-за тетрадочки.

— Не самый удачный п-приказ, п-по-моему,— сказал Гурский. — П-после войны будем рвать на себе в-волосы. Г-говорю как историк п-по образованию. Согласны?

Синцов не ответил: услышал близкую очередь из немецкого пулемета и вскочил. Но продолжения не было. Просто кто-то из своих пробовал немецкий пулемет.

— У вас личное оружие есть? — спросил он у Гурского.

— Есть какая-то п-пукалка дамского образца, выбрал по п-принципу наименьшего веса. А что?

— Еще не исключена возможность, что немцы контратакуют.

— П-пугаете,— усмехнулся Гурский.

— Нет. Маловероятно, но не исключено. — Синцов подумал про себя, что, если немцы так и не пойдут в контратаку, значит, мы сегодня действительно выпустили из них дух. Не весь, конечно, и не навсегда, но все же...

— Д-девятый раз на фронте, и еще ни разу ни в кого не п-пришлось в-выстрелить. М-можете себе это п-представить?

— Вполне. — Синцов подумал о том, сколько людей погибло на его памяти, так ни разу и не успев выстрелить.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите доложить?

Синцов обернулся. В дверях землянки стоял фельдшер.

— Старший лейтенант Богословский по вашему приказанию вывезен санями.

— Хорошо,— сказал Синцов.

— Мне сказали, вы меня спрашивали...

Синцов посмотрел на него и понял: что спрашивал — знает уже давно, но решил, что теперь при корреспонденте наиболее безопасный момент явиться.

— Что с Котенко?

— Отправил вместе со старшим лейтенантом. Его и еще трех тяжелых.

— Обморожен?

Фельдшер запнулся. Хотел соврать, но не решился.

— Есть немножко.

— Имейте в виду, еще раз соврете, что всех подобрали,— пощады не ждите.

— Больше не повторится, товарищ старший лейтенант.

— У меня все. — Синцов, пересилив злобу на фельдшера и нежелание иметь с ним дело, выпростал руку из лямки и положил на стол. — Посмотрите.

— Я же вам давно говорил, товарищ старший лейтенант! — с преувеличенной укоризной воскликнул фельдшер.

Пока он делал свое дело, Синцов молчал; молчал и Гурский. Хватило ума понять, что больно. Сдерживаясь, чтобы не охнуть, Синцов заметил взгляд Гурского. Рана и в самом деле имела неважный вид и здорово болела. А главное, почти не двигались большой и указательный пальцы. Это хуже всего.

Фельдшер делал свое дело молча. Человек, видимо, дрянь, но дело знал. Только когда снова забинтовал руку и сделал из свежего бинта лямку, сказал:

— В медсанбат надо, товарищ старший лейтенант. Ушиб кости, и, возможно, нерв порван. Запустить — можно руки лишиться.

Синцов молча посмотрел на него: «Кто его знает? Может, и в самом деле так считает, а может, спешит дать возможность начальству опереться на медицину и уйти в тыл. Бывает ведь и так, что вслух говорят: «Разрешите остаться в строю», а про себя ждут, чтобы похвалили и не разрешили. В душу до конца не заглянешь. Я гляжу в его, а он — в мою...»

— Идите,— сказал Синцов.

— Мой долг предупредить.

— Идите.

— Жестко вы с ним,— сказал Гурский, когда фельдшер вышел.

— А вы раненым в снегу поваляйтесь, тогда поймете, жестко или не жестко.

— Л-люблю злых,— сказал Гурский. — Д-до войны, наверно, п-подобрей были?

— До войны был ни рыба ни мясо. — Синцов помолчал и добавил: — Плохо помню, какой был.

Он положил голову на здоровую правую руку и мгновенно заснул как убитый, даже не успев подумать, что засыпает.

В голове его возник и потянулся длинный, однообразный летний сон. Он шел летом, в жару, по лесу и знал и чувствовал, что это лето и жара, но идти было очень трудно, потому что в лесу лежал глубокий снег, и его это не удивляло, а только затрудняло. Он все время проваливался в снег и никак не мог вытащить ноги, а левой рукой заслонялся от бивших ему в лицо зеленых веток. Он знал, что там, за лесом, впереди — Волга, и неизвестно почему, но это было хорошо, что там Волга. Он знал, что как только он туда дойдет, все сразу станет хорошо. Но ветки ему все время мешали и больно били по руке, и каждый раз, когда он хотел посмотреть вперед, не видна ли еще там, за ветками, Волга, он никак не мог этого увидеть из-за руки, потому что рука была все время перед глазами. И это сердило его, и он пытался посмотреть вперед поверх руки и не мог.

Он проснулся от какого-то непонятного звука и еще во сне подумал, что он уже не спит, что его разбудили, и, рванувшись раненой рукой к телефону, больно дернулся о лямку и в самом деле проснулся...

На столе трещал телефон. Он покрутил ручку и взял трубку правой, здоровой рукой.

— Синцов слушает.

— Командир полка пришел,— сказал в трубку Левашов. — Ждем тебя.

Синцов положил трубку, встал и посмотрел на Гурского.

— Долго спал?

— Минут десять.

Глаза у Гурского были красные, растерянные, близорукие. Перед ним лежал блокнот, а рядом очки.

— Как мы до войны у себя в редакции говорили: «Набор еще в чернильнице!» — кивнув на блокнот, усмехнулся Синцов.

Гурский внимательно снизу вверх посмотрел на него.

— А в-вы еще к-когда-нибудь сами п-про все это н-напишете. П-помяните мое слово.

— Поживем — увидим. Посидите здесь, я отлучусь. А сюда Рыбочкина, адъютанта, пришлю.

— К-как в-вам угодно. В к-крайнем случае сп-правлюсь с-сам,— посмотрев на телефон, сказал Гурский. — Ск-кажу: рядовой необученный Г-гурский вас слушает.

В землянке у Туманяна было гораздо больше народу, чем ожидал Синцов.

Еще на пороге он разминулся с фельдшером и мельком подумал: «Ранило, что ли, кого?»

Но в землянке все были, слава богу, живы и здоровы. Кроме Туманяна и Левашова здесь был давешний круглый майор-артиллерист, и еще один артиллерист, незнакомый, и саперный капитан с топориками на петлицах шинели, и еще капитан — из дивизии, которого вчера мельком видел в штабе, и еще несколько человек, теснившихся сзади, не на свету. Обстановка прояснялась. Туманян пришел сразу с целой свитой, и это могло значить только одно: в масштабах полка уже решили завтра наносить главный удар по немцам с этого направления.

«Поэтому и батальон приказано собрать в кулак, и резерв — роту автоматчиков — бросают сюда. Раз здесь готовят кулак, то завтра и будут бить этим кулаком, то есть нами»,— отторженно от предстоящей опасности, просто как о красной стреле на карте, подумал Синцов о себе и своем батальоне.

Туманян поздоровался.

— Как оцениваете обстановку и какие соображения насчет дальнейшего?

Синцов сказал то, что думал: теперь немцы всю ночь будут начеку. Большую высоту надо брать утром, после хорошей артподготовки, и главный удар наносить левей ее, отрезая немцам пути отхода.

Туманян кивнул. Очевидно, другого и не предполагал услышать. Теперь, после взятия этой малой высотки, дальнейшее решение напрашивалось само собой, при первом взгляде на карту. Видимо, он просто хотел проверить, что думает сам комбат о предстоящей ему завтра задаче. Комбат думал правильно, и на лице Туманяна отразилось сдержанное удовлетворение.

— После боя отдыхали? — спросил он.

— Немножко поспал, товарищ майор,— не уточняя, сказал Синцов.

— За взятие высоты благодарю и представлю к награде.

— Служу Советскому Союзу! — Синцов, бросив правую руку к виску, невольно дернул левой и поморщился от боли.

Дальнейшее было совершенно неожиданно для него, уже свыкшегося с мыслью, что именно он и будет выполнять завтра все, что намечено.

— Сейчас придет Ильин,— сказал Туманян,— я приказал ему дождаться автоматчиков, чтоб они не плутали. Временно сдадите ему батальон и отправитесь в медсанбат.

— Я могу воевать, товарищ майор,— сказал Синцов. — Прошу не отстранять от командования.

— А кто тебя отстраняет? — вмешался Левашов. — Тебя война отстранила. — Он показал на руку Синцова. — Подлечишься — вернешься.

Туманян покосился. Наверное, считал, что слова командира полка не требуют ничьих разъяснений.

— Я могу воевать, товарищ майор,— повторил Синцов, глядя на Туманяна.

— А фельдшер заявил, что не можешь,— снова вмешался Левашов. — Специально вызывали его и спросили; заявляет, что руку потеряешь.

«Сволочь фельдшер! — подумал Синцов. — С Ильиным сжился, а со мной понял, что не сживется, и рад избавиться».

Мысль могла быть и несправедливой, фельдшер имел право сказать то, что думал.

— Прошу разрешить остаться хотя бы на сутки,— продолжая смотреть в лицо Туманяна, сказал Синцов.

— А что просить? — Туманян недовольно сдвинул к переносице густые сильные брови. — Потребовала бы обстановка — задержал бы без ваших просьб. А раз не требует — существует порядок.

Он круто нажал на слово «порядок». «Думаешь, если сегодня отличился, так завтра без тебя уже и не справимся и не обойдемся? И справимся и обойдемся»,— как бы говорил он.

Синцов искоса взглянул на Левашова; по лицу Левашова было видно, что он недоволен. А вмешаться не может и не вмешается. Как не вмешается и никто другой из присутствующих, хотя видно по лицам, что и понимают и сочувствуют.

«Ну и черт с вами, пусть будет по-вашему, раз так!» — с обидой и вдруг нахлынувшей тяжелой усталостью подумал Синцов.

— Слушаюсь, товарищ майор. Разрешите идти?

— Подождите. — Туманян позвал: — Зырянов!

Из-за его спины, из темноты, шагнул высокий, плечистый лейтенант, тот самый седой с перебитым носом, которого видал вчера в штабе армии. Туманян на секунду повернул свое хмурое лицо к лейтенанту с перебитым носом и снова перевел взгляд на Синцова.

— Назначаю лейтенанта Зырянова вашим заместителем, заберите его с собой.

Слово «вашим» значило: «Не списываю тебя, считаю, что еще вернешься». Но Синцов слишком хорошо знал, что человек предполагает, а война располагает, чтобы это слово «вашим» что-нибудь изменило в его настроении.

— Желаю поправиться и вернуться. — Туманян протянул руку.

И, пожимая протянутую руку, глядя в лицо командиру полка, Синцов почувствовал, что этот хмурый человек прекрасно все понимает: и как тяжело уходить из батальона, едва успев найти в нем себя среди людей, и как хочется завтра самому развить свой первый горбом заработанный успех,— все понимает, но ничего не переменит.

«Оказывается, этот чертов армянин тоже крут, хотя и не дерет глотку, как другие, что ходят в крутых».

Левашов, прощаясь, пожал руку по-дружески, со значением. Но Синцова это мало тронуло. Что проку руки жать, если промолчал, не подал голоса. Был бы, как раньше, комиссаром, может, и подал бы, а раз теперь замполит, в таких вопросах молчит. Наверное, потому и говорит про строевую, что при его характере должность не по праву.

«А о подготовке завтрашней операции будет говорить уже с Ильиным, со мной не хочет зря время тратить»,— подумал Синцов о Туманяне, выходя из землянки.

Он шел по окопу впереди лейтенанта с перебитым носом и слышал, как тот хрустит сапогами по снегу. «Так вот кто, оказывается, там, в резерве, стоял в затылок за Богословским. А может, не только за Богословским, а теперь и за мной, все же бывший полковник, сегодня зам у Ильина, а послезавтра вместо меня — комбат. Это недолго. И даже наверное назначат, если не пьяница».

— Не расстраивайся, комбат, не такое с людьми бывает,— сказал за спиной лейтенант с перебитым носом. Голос его не был хриплым и злым, как там, в штабе армии. Голос был чистый и добрый.

«Сейчас ты — как стеклышко,— подумал Синцов. — А какое с людьми бывает, это я и без тебя знаю».

— Не расстраивайся,— повторил еще раз лейтенант. — Вернешься из медсанбата, сдадим тебе батальон в лучшем виде.

Услышав это, Синцов подумал еще раз, что, вполне возможно, через день-два этот Зырянов проявит себя, как положено бывшему полковнику, и будет назначен на батальон. А заговорив про возвращение, просто решил поддержать уходящего товарища. Это от него зависело — слова. А все остальное не зависело. В том числе и собственное назначение. Коли назначат, отказываться не будешь!

— Что молчишь? — спросил Зырянов, когда они прошли еще два десятка шагов.

— А о чем говорить? — впервые за все время отозвался Синцов.

И в самом деле, о чем говорить? Надо сдавать батальон и идти в медсанбат. И раз так, чем скорее, тем лучше, незачем чикаться и расстраивать себя. Он со злостью подумал о раненой руке и о Люсине: «Вывел из строя, сволочь!»

— Куда идем? — спросил Зырянов.

— Сейчас сведу вас с адъютантом батальона, он за командира роты. До прихода Ильина познакомит вас со своей ротой и с третьей, чтоб времени не упускать. А все остальное — с новым комбатом,— добавил он, в первый раз и мысленно и вслух называя так Ильина.

— Ясно,— сказал Зырянов и за рукав ватника удержал Синцова у самого входа в землянку. — Два слова, по-товарищески.

— Слушаю вас.

— То, что слышал там от меня, умерло. Так?

— Так.

— И что пьяным видел, пусть умрет. Имел причины. А вообще пью по норме, водки у солдат не ворую.

— Все ясно,— сказал Синцов.

Гурский сидел на том же месте, где Синцов его оставил, а Рыбочкин, длинный и вдохновенный, вытянув из воротника полушубка жилистую мальчишескую шею и зажав в руке сдернутую с головы ушанку, так, словно он выступал на митинге, громовым голосом читал стихи:

Теперь
Не промахнемся мимо.
Мы знаем кого — мети!

Увидел Синцова и осекся.

— Что остановился, продолжай. Свои?

— Маяковского, товарищ старший лейтенант, своих не пишу.

— Н-небольшая дискуссия,— сказал Гурский. — Я ему г-говорю, что людям во время войны нужно: «Напрасно ст-тарушка ждет сына д-домой», а он мне лепит М-маяковского.

— А я доказываю, товарищ старший лейтенант, что у Маяковского на все случаи жизни есть,— сказал Рыбочкин, все еще продолжая тискать ушанку в руке.

Синцов усмехнулся. Больно уж неожиданно все это было: спор о поэзии и старшего лейтенанта — в судьи. А кого же еще, раз война?

— Дочитай, что хотел.

— Я что доказываю...

— Ты не доказывай, ты дочитай, что хотел.

Рыбочкин отвел в сторону руку с ушанкой, откинул голову и крикнул:

Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем кого — мети!
Ноги знают,
чьими
трупами
им идти.

Нет места сомненьям и воям.
Долой улитье — «подождем»!
Руки знают,
кого им
крыть смертельным дождем.

— Про трупы — крепко! — сказал Зырянов.

Рыбочкин остановился, посмотрел на Синцова и с готовностью сказал:

— Могу и дальше.

— Дальше времени нет,— сказал Синцов.

И, представив друг другу Зырянова и Рыбочкина, приказал Рыбочкину провести нового заместителя командира батальона в роты — свою и Чугунова.

Шевельнулась было мысль сходить самому, но удержался. Странно чувствует себя человек, которому больше нечего делать там, где только что, казалось, невозможно было без него обойтись.

Гурский встал, сунул блокнот в полушубок и сказал, что, если товарищи командиры не возражают, рядовой необученный Гурский пойдет с ними в роты.

— Идите,— равнодушно сказал Синцов и протянул Гурскому руку. — На всякий случай.

— Увидимся, я еще в-вернусь к вам.

Синцов не ответил. Не хотел вдаваться в объяснения.

Оставшись один, подумал о своем вещевом мешке. Хотя в нем и невелико богатство, но все же оказаться в медсанбате без бритвы и смены белья ни к чему. В боях потом будет не до тебя и не до того, чтобы отправлять тебе в медсанбат твой мешок. Возможно, Ильин уже подгреб там, в тылу, все штабное хозяйство, в том числе и мешок. Надо будет спросить, когда придет... Очень захотелось, чтобы Ильин пришел поскорей. Чтобы не долго его дожидаться. В таких делах проволочка — хуже нет.

И Ильин, словно почувствовав, вошел в землянку как раз в эту минуту, когда Синцов нетерпеливо подумал о нем. Вошел, поздравил со взятием высотки, торопливо потер лицо с морозу и доложил, что прибыл со всем сразу: и с ротой Караева, и с автоматчиками, и со всем штабным хозяйством. Потом огляделся, словно ища кого-то еще, кто непременно должен быть сейчас здесь, в землянке, покачал головой и вздохнул. Ни слова не сказал, но о ком вздохнул, было понятно — о Прохорове. Вздохнул и спросил, как рука. Что Прохоров убит, а комбат легко ранен, уже слышал несколько часов назад, но что придется принимать батальон, не догадывался.

— Ничего,— сказал Синцов. После новой перевязки рука, как назло, не напоминала о себе, и от этого еще обиднее рисовалось предстоящее. — Приказано отправляться в медсанбат, а батальон сдать тебе.

— Вот как,— сказал Ильин безрадостным голосом. — Ну что ж, мне принять батальон недолго. Сдали — приняли.

На лице его было написано полное равнодушие — ни радости, ни сочувствия, ничего. И, глядя на это равнодушное лицо, Синцов вдруг понял, почему оно такое: Ильин уже узнал, что погибла та девушка-минометчица. И, подумав так, не колеблясь, потому что если бы даже ошибся, то Ильину все равно предстояло это узнать, спросил:

— Что, уже знаешь про Соловьеву?

И Ильин, хотя они никогда не говорили с комбатом об этой девушке, ответил так, словно Синцов уже давно знает об этом все от начала и до конца.

— Погибла Рая. Ты не представляешь, как я ее просил, чтобы не оставалась в минометном расчете! Только позавчера умолял. Просто жить не хочется...

Он сел на лавку и, понурясь, бессильно бросил между колен руки.

И Синцов, стоя над ним и глядя на его понурую голову и бессильно повисшие руки, впервые за весь день боя подумал о своем: о Маше. В разные минуты жизни думал о ней по-разному: то как о живой, то как о мертвой, то снова как о живой. Сейчас, глядя на Ильина, опять подумал как о мертвой.

— Ладно,— сказал Синцов,— принимай батальон. А я пойду в медсанбат.

Сказал не от черствости, а оттого, что понимал: все равно свою беду Ильин будет лечить делом. Потому что больше лечить ее нечем.

— Сейчас. — Ильин поднялся и заходил взад-вперед по землянке, высоко вздернув голову. Не хотел расплакаться, а слезы все равно навертывались на глаза.

— С полдня уже знаю, а пережить не могу,— дрогнувшим голосом сказал Ильин, продолжая ходить со вздернутой головой.

И Синцов вспомнил, как, услышав его голос днем, по телефону, еще тогда подумал: «Знает». И, подойдя к продолжавшему шагать Ильину, прихватив его здоровой рукой за плечо, сказал:

— Ну, Ильин!.. Ильин!.. — как бы приглашая очнуться и справиться с горем.

Но Ильин вывернулся из-под руки и сказал глухо, сквозь слезы:

— Ну что Ильин?.. Думаешь, б... убили — и ладно? Не жена, чтоб по ней плакать?..

— Вовсе я этого не думаю. С чего ты взял?

— А с того и взял, что знаю, как о ней говорили. Со зла, что не дала им. А она и мне, если хочешь знать, тронуть себя не дала. И из санчасти ушла, чтоб разговоров не было. Сказала, что не для этого, а для войны шинель надела. Я ей и жениться предлагал, какая мне разница!

— Значит, не любила тебя,— сказал Синцов.

— А мне от этого не легче,— сказал Ильин. — Это ей было бы легче, если б не ее, а меня...

Он не договорил, всхлипнул, вытащил из полушубка грязный платок, вытер лицо, сунул платок обратно в полушубок и спросил:

— Где наш медсанбат стоит, знаешь?

Дверь в землянку с силой распахнулась, и в нее, словно его кто-то подтолкнул в спину, не вошел, а вскочил командир диви-

зии генерал Кузьмич, в ушанке и в перепоясанном ремнем коротком ватнике. Маленький, коренастый, с красным от мороза лицом и толстыми солдатскими усами, он был похож не на генерала, а на пожилого лихого старшину, и только выглядывавшие из-под расстегнутого воротника ватника красные петлицы с генеральскими звездами удостоверяли его настоящее звание.

— Товарищ генерал,— вытянулся Синцов ему навстречу,— командир третьего батальона Триста тридцать второго стрелкового полка старший лейтенант Синцов. Во вверенном мне батальоне...

Кузьмич прервал. Коротко махнув рукой, сказал:

— За высотку спасибо. Эту высотку тебе по гроб не забуду, комбат! — сделал два быстрых шага к Синцову, обнял, поцеловал, кольнув усами, так же быстро оторвался, отступил на шаг и окинул Синцова с головы до ног коротким, быстрым взглядом.

— Зачем — такой молодец, а позволил себя ранить?

— Фрицы позволения не спросили, товарищ генерал.

— Легко?

— Легко.

— А не врешь?

— Не вру.

— Вот видишь,— улыбнулся Кузьмич,— говорил тебе вчера, что увидимся. Вот и увиделись. — И быстро повернулся к Ильину и тоже пожал ему руку. — И тебя поздравляю, Ильин. Судя по делу, нашли с комбатом друг друга?

— Так точно, нашли.

— А дело у храбрых всегда идет,— весело сказал Кузьмич.— А не идет — так храброму всегда найдем чем помочь, а трусу чем я могу помочь? Если он трус, я уже ничем ему помочь не могу. Разве существование его прекратить. Теперь мы благодаря вам короли. Теперь у меня одна печаль: завтра продолжить, как сегодня начали. Не дай бог испохабить! У всех теперь об этом голова болит. Артиллеристы нам еще два полка на артподготовку добавляют, хотя нам уже и так больше дадено, чем по закону божьему положено. Где Туманян? Проводи меня к нему,— все так же весело обратился он к Синцову.

— Слушаюсь, товарищ генерал-майор! — вытянулся Синцов.

И вдруг, глядя в эти веселые, добрые старческие глаза, решился на то, что уже считал отрезанным, решился и потому, что все равно в душе не мог смириться с этим, и потому, что Ильин показался ему до такой степени угнетенным, что было боязно сдавать ему сегодня батальон.

— Разрешите обратиться по личному вопросу, товарищ генерал?

— Жениться, что ли, задумал? — улыбнулся Кузьмич и с любопытством посмотрел на Синцова.

— Никак нет, — поддаваясь его тону, сказал Синцов. — Разводиться не хочу! Командир полка приказал сдать батальон Ильину и идти в медсанбат. А я прошу оставить меня.

С лица генерала сошла улыбка. Оно сразу стало серьезным.

— Раз командир полка приказал, надоть выполнять.

— А я выполняю. Сдаю батальон. Но прошу приостановить приказание. Могу воевать.

— А рана?

— Заживет, как на собаке.

— Хорошо, коли заживет, — сказал Кузьмич. — Калек нам и без тебя хватает.

— Рана не болит, товарищ генерал. Все в порядке.

— Что не болит, это еще не все в порядке, — сказал Кузьмич. — Стыть будет на холоде. У меня в девятнадцатом году на колчаковском фронте рука ранена была. Знаешь, как стыла? Хоть из боя выходи.

— А все же не вышли, товарищ генерал?

— А мое положение легче твоего было. Я приказов от командира полка не имел. Сам полком командовал, и притом Отдельным, Коммунистическим.

И, так ничего и не ответив на просьбу Синцова, повторил то, с чего начал:

— Проводи к Туманяну.

Пока шли по окопам к землянке Туманяна, Синцов больше не напоминал о своей просьбе, понимая, что, если бы комдив сразу решил отказать, не играл бы на нервах. Раз молчит, значит, или еще не решил, или хочет, чтобы прежнее решение отменил сам командир полка.

— Сколько за день своих потерял? — спросил Кузьмич посреди дороги, задержавшись, переступая через еще не выброшенные из окопов трупы немцев.

Синцов сказал и добавил, что среди раненых много тяжелых.

— Да, — вздохнул Кузьмич. — «Вы отдали все, что могли, за него...» Вот именно. Из какой песни, знаешь?

— Знаю, — сказал Синцов. — «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Мы еще в школе ее пели.

— Вы в школах пели, а мы на красных панихидах, — сказал Кузьмич. — А теперь и петь ее некогда. Такая война, что петь времени нету.

Когда Синцов довел его до землянки Туманяна, Кузьмич остановился и вдруг сказал:

— Не ходи за мной, тут обожди.

Синцов понял: сейчас там, в землянке, вместе с командиром полка будет решать. И хочет решать не при нем.

Он стоял в окопе у входа в землянку и напряженно ждал, позовут или нет и каким решением встретят, позвав.

Светящиеся стрелки на часах показывали 22. Если считать с момента вызова из резерва, нет еще и полутора суток, а с момента, когда пришел с Ильиным в батальон,— сутки. Всего-навсего! Что может отдать человек на войне за сутки делу и людям? Что они успели узнать о нем и он о них — и тех, что сверху, и тех, что снизу? Даже всех фамилий, что записал в полевую книжку, еще нет на памяти... Одни помнит твердо, сейчас кажется, что на всю жизнь, а другие трудно вспомнить, пока еще надо заглядывать. Одних видел в бою по нескольку раз, а других так и не видел, только получал донесения. И фамилию того солдата, который тебя спас, а сам погиб, уже никогда не узнаешь, потому что он остался лежать там, позади, и спросить в тот момент, как его фамилия, было не у кого, а теперь его вместе с другими уже положили в братскую могилу, и будет только табличка и список погибших, фамилии одна под другой... И какая из этих фамилий его, так и не узнаешь.

Да, все успевают люди за сутки на войне. Чего только не успевают! И положить живот свой за други своя, и кого-то послать на смерть, и кого-то спасти, и кого-то не уберечь, хотя, может, и можно было уберечь. Если на войне обо всем потом думать, как можно было бы сделать лучше, чем сделал, с ума сойдешь!

Сейчас, конечно, кажется, что будешь всю жизнь помнить тех людей, с которыми свела тебя сегодня судьба, тем более что, возможно, уйдешь и не вернешься к ним. Но ведь это и раньше так много раз казалось, а потом одно осталось в памяти, а другое заслонилось всем, что было потом... Еще сутки назад думал: «Мой батальон» — про тот, что там, в Сталинграде, а сейчас, после суток боя, думаешь «мой» уже об этом, и даже сам не заметил, когда, в какую минуту, это произошло. И не потому, что забыл прежнее, а просто одна война заслонила собой другую. Сегодняшняя — ту, что была раньше. Конечно, с точки зрения фронта или даже армии это бесконечно малая величина — батальон, которым ты сегодня командовал. Но с твоей собственной точки зрения и с точки зрения трехсот людей, вместе с которыми воевал, этот батальон сегодня — вся жизнь. И ты не хочешь расстаться с ними и с ним... Ни триста человек, ни один человек

не могут чувствовать себя в душе бесконечно малой величиной. Ты можешь считать себя бесконечно малой величиной. Но чувствовать себя ею ты не можешь, потому что, как ни будь ты мал и как ни будь мир велик, все равно все, что связывает тебя с миром, начинается и кончается в тебе самом. Умрешь — мир проживет и без тебя, но пока жив, вас только двое: ты и он. И ты — это ты, а он — это все остальное, все, что не ты.

Другой вопрос, что не только ты, а каждый так, и ничья жизнь не дешевле твоей, и что, если надо, надо отдать ее не колеблясь. Но это другой вопрос, совсем другой вопрос...

Метель по-прежнему ровно и сильно мела туда, вперед, в сторону немцев. Впереди было белым-бело, так бело, что за снегом уже ничего не угадывалось. Но там, за этим сплошным белым, были немцы. Сорок километров зарывшихся в лед, землю и камень немцев. Отсюда и до Волги. Нет, сегодня, сейчас, после первых суток наступления, отсюда, от переднего края, было уже не сорок, а тридцать пять километров. На пять километров меньше. В этом и была вся суть прожитой за сутки жизни...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Поезд подходил к Ташкенту почти без опоздания днем, на седьмые сутки после отъезда Тани из Москвы.

На узловой станции Арысь, которую недавно проехали, один из соседей Тани по вагону выклянчил у военного коменданта три последних номера ташкентской газеты «Правда Востока», и остаток пути Таня читала вслух сначала одной половине вагона, а потом другой напечатанные в газете утренние и вечерние сводки Информбюро за три дня подряд.

В сводках сообщалось, что наступление продолжается почти повсюду — на Центральном фронте, Северном Кавказе, Нижнем Дону и в заводском районе Сталинграда.

С тех пор, как Таня на третий день дороги отправила письмо Серпилину с просьбой забрать ее к себе на фронт, она читала и слушала все, что говорилось о Сталинграде, с чувством личной причастности к этому. Внутри нее все вздрагивало от возбуждения, когда произносилось это слово: Сталинград.

В сущности, об этом рано было думать, но она думала. Думала, несмотря на то что ее письмо могло вообще затеряться и не дойти. А если оно и дойдет, то неизвестно когда, и неизвестно, что ответит Серпилин и сколько будет идти до Ташкента его ответ, если он будет.

Она останавливала себя, говорила себе, что нехорошо, еще не успев повидаться с матерью, уже думать об отъезде, что, вполне возможно, ее отпуск на лечение кончится раньше получения всяких писем и в санитарном управлении округа сразу же распорядятся ею по-своему — куда захотят, туда и пошлют... Но что-то, что было сильнее всех этих правильных мыслей, все равно заставляло надеяться, что Серпилин вызовет ее к себе, а Артемьев тоже окажется там, на фронте, где-то недалеко от нее.

Она ругала себя за эти мысли и называла их бабскими, но они опять будоражили ее сейчас, когда поезд подходил к ташкентскому вокзалу и надо было думать совсем не об этом.

Первым, кого увидела Таня на платформе еще из окна вагона, был ее муж, или, как она привыкла о нем думать, ее бывший муж. Значит, мать все-таки сказала ему! Он стоял и смотрел в окна вагонов.

Вскинув за спину полегчавший за дорогу вещевой мешок, Таня взяла рюкзак и спрыгнула на платформу. Платформа была вся в снегу: оказывается, здесь, в Ташкенте, стояла самая настоящая зима. Об этом можно было догадаться еще с утра в заваленной снегом Арыси, но Тане все равно почти до самого конца казалось, что погода еще переменится и когда они доедут до Ташкента, там будет гораздо теплее.

Проталкиваясь через толпу, Таня пошла назад, туда, где увидела мужа, и через минуту столкнулась с ним. Матери не было, он шел один.

Он мало переменился, был все такой же красивый, только похудел; даже пальто и ушанка были те самые, в которых ходил в Ростове в ту зиму, когда ухаживал за ней.

Когда они столкнулись, он обхватил ее за плечи и остолбенело держал, не зная, что делать дальше.

— Где мама?

— На заводе. Она в эту неделю в утреннюю. Сказала, ты не хочешь, чтобы тебя встречали. Я сам узнал, когда поезд... — Он стащил с ее плеч вещевой мешок, виновато и быстро ткнулся губами в ее щеку и подбородок.

Она не отстранилась, только поежилась, как от щекотки, и посмотрела ему в глаза.

— Целоваться не будем. Ладно?

— Ты надолго сюда? — спросил он, когда толпа вынесла их из дверей вокзала.

— Наверно, нет. Как отпуск на лечение кончится, уеду на фронт. А что?

— Просто спросил. Ты сейчас куда?

— А разве не к тебе? — сказала она, глядя мимо него на холодную, заваленную снегом площадь и зябко бегущих через нее к остановке трамвая людей.

«До чего же холодно! А когда ехали, попутчики грозились, что здесь будет жарко в шинели!»

— Нам надо с тобой поговорить... — Он сказал это после очень длинной паузы.

— Не бойся, я пошутила,— прервала она. — Проводи меня до мамы и поезжай, куда тебе надо. Спасибо, что встретил. Хотя я и не просила.

— Я встретил потому, что хотел с самого начала... — Он замялся.

«Ах, вон чего! Вспомнил, как тогда, перед войной, вдруг приехала к нему, без телеграммы... Может, вообразил, что и сейчас...»

— Ты не волнуйся,— сказала она. — Я после того приезда к тебе уже не считала себя замужем. Только развестись в голову не пришло. Ну как, полегчало?

— Мне не надо ничего облегчать,— сказал он. — Я знаю, как ты любила меня...

«Скажи пожалуйста,— сердито подумала Таня,— неужели и в самом деле так любила его, что он и до сих пор воображает! Вот дура-то...»

— Я виноват перед тобой. Я считал, что ты погибла, и осенью женился... на одной очень хорошей женщине.

— Не на той, что тогда?.. — не удержалась и спросила Таня.

— Нет, нет,— поспешно сказал он. — Это совсем другое, совсем другое... Она даже немножко старше меня, как ни странно.

— Очень рада, что не та. Она мне тогда не понравилась: очень уж испугалась меня...

— Ты должна до конца понять...

— Я все понимаю. Сходим в загс и разведемся. Если хочешь, хоть завтра. Или ты уже развелся?

— Да... — сказал он с запинкой. — Я осенью, когда...

— Ну и отлично,— снова перебила она его. — А теперь я тоже заявление подам, или вместе сходим, не знаю уж, как это делается.

— Да, конечно, конечно,— с готовностью сказал он. Его поразила легкость, с какой произошло их объяснение.

— Чему удивляешься? — спросила Таня, поглядев на него. — Я то, последнее письмо послала, когда мы уже в эшелон грузились... Думала, что и ты на фронт... Потому и написала:

«Верю, что увидимся!» В смысле будем живы, просто как человеку. А в остальном считала, что на этом крест и хорошо, что детей нет. И вела себя как свободная. С мужчинами жила... Да. Что глядишь?

— Неправда. Ты просто хочешь...

— Почему неправда? Думаешь, хуже тебя были?

Она подумала о Дегтяре, потому что больше думать было не о ком, и повторила убежденно:

— Не хуже, а гораздо лучше.

— Почему ты так зло говоришь со мной? — сказал он обиженно.

— Глупо встретил, вот и разозлилась. Испугался, что побегу твою жену кислотой травить?

— При чем тут это?.. Я вовсе не думал. Я просто хотел, чтобы все было...

— Тихо, гладко, как по расписанию? Эх, ты... Расскажи лучше, как мама живет.

— Мы говорили с ней только по телефону. Я давно не видел ее.

— Как давно?

— С октября.

— А... понятно.

— Мне было бы трудно ей объяснить. Я женился, когда поверил, что ты погибла. А она по-прежнему считала, что ты жива. И я решил, что лучше ее не тревожить всем этим.

— Ах, Коля, Коля, так тревожишься о других, что сам запутался... Маму не мог видеть, потому что боялся сказать ей, что я погибла, а теперь жене нужно объяснять, что я жива. Когда отец умер, был у мамы?

— Да. Не сразу. Уезжал на эпидемию. А когда вернулся, зашел. В последний раз. Вот уже и завод виден...

— Ладно,— сказала она. — Ты меня только до ворот проводи. Остается решить, когда нам с тобой в загс сходить. У мамы есть твой телефон?

— Есть, служебный.

— Я на днях позвоню тебе.

Этот долгий разговор, начавшийся еще у вокзала, продолжался сейчас на снежном ухабистом пустыре, в конце которого виднелся длинный заводской забор и въезжавшие в ворота грузовики с железным ломом.

— Таня!

Они уже стояли рядом с заводскими воротами, перед саманной будкой с вывеской «Бюро пропусков». Ему оставалось только скинуть с плеч и отдать вещевой мешок.

— Дай мешок, Коля.

— Хочешь, я зайду с тобой в бюро пропусков? — спросил он, снимая с плеч мешок.

— Не хочу.

— Таня!

— Ну что?

— Я хочу, чтоб ты знала: все вышло, как вышло, но все равно я никого не любил так, как тебя.

— Что дальше?

— Не знаю. Я просто сказал тебе правду.

Голос звучал искренне, и это удержало ее от резкости. Ну что ж, может, он и в самом деле не так уж любит эту свою жену. Но ей-то какое до всего этого дело?

— Дай мешок, Коля. В конце концов, это свинство — держать меня. Я хочу поскорее увидеть маму.

— А я хочу поскорей еще раз увидеть тебя! Понимаешь?

Она посмотрела ему в глаза и поняла. Там, на вокзале, боялся, что она предъявит на него права. А сейчас, почувствовав себя в безопасности, настроился на старые воспоминания.

— Не знаю даже, что тебе на это ответить. Подожди хоть, пока разведусь с тобой. А то не будем знать с твоей новой женой, кто перед кем виноват!

Но он не понял насмешки и сказал с глупой страстью в голосе:

— Так когда же мы увидимся?

— Дай-ка мешок. — Таня, дернув за лямки, вырвала мешок у него из рук.

— Прости, я не хотел...

— Бог простит! — Она не оглянулась на него и, локтем придержав дверь, вошла в бюро пропусков.

Подав в окошечко удостоверение личности, стала объяснять, кто она и зачем ей надо попасть на завод. Сидевшая внутри женщина высунулась, осмотрела Таню, качнула головой, вздохнула, снова скрылась в своем окошечке и молча протянула заранее выписанный пропуск с надписью «В партком».

Когда Таня, предъявив пропуск вахтеру с винтовкой, прошла через проходную во двор, женщина выскочила из задней двери бюро пропусков и спросила ее:

— Ольги Ивановны дочка?

— Да.

— С фронта пришла?

— Да. Здравствуйте,— сказала Таня, пробуя вспомнить, где она видела эту женщину.

— В партком направо иди; этот корпус пройди — и до литейки, не доходя барака.

Таня прошла несколько шагов и обернулась — женщина все еще стояла раздетая у дверей и смотрела ей вслед.

Через десять минут Таня сидела в парткоме и ждала мать. Напротив Тани за столом сидел хмурый пожилой человек в черном ватнике и армейской ушанке и, прижав плечом трубку, записывал телефонограмму.

Когда Таня пришла сюда, он ткнул ей руку и буркнул свою фамилию, но она не разобрала и не переспросила, потому что он сразу начал звонить в литейку, чтобы в партком прислали Овсянникову. И тут же у него на столе зазвонил другой телефон, и он стал принимать телефонограмму.

Хотя он сидел в ватнике и ушанке, но Тане с мороза показалось, что в парткоме тепло и даже угарно; в круглой чугунной печке горел уголь. Она расстегнула шинель.

Человек, принимавший телефонограмму, покосился на нее, заметил орден на гимнастерке, кажется, хотел ей что-то сказать, но вместо этого сердито спросил в трубку:

— Что, еще не все? Я думал, все! Разводите тут писанину! — И еще быстрее заскреб карандашом по бумаге.

В барак вошел высокий, плечистый, еще совсем молодой генерал, чем-то похожий на Артемьева.

— Слушай, Малинин,— сказал он,— мне в Совнарком звонить надо... Как, берем Лузгина на заместителя по рабочему снабжению или не берем? Знаю, что снабжение поставит, а догадываюсь, что жук. Жду твоего последнего слова.

— А зачем ждешь, Николай Иванович? — кладя трубку, сказал Малинин. — Ты ж решил...

— Мало что я решил,— сказал генерал,— я хочу, чтоб парторг был «за», чтоб, если что, вместе отвечать.

— Вместе отвечать не страшно,— сказал Малинин,— вместе плакать неохота. — И, покосившись на Таню, сказал: — Провожу тебя до конторы, поговорим.

И генерал, после того как Малинин покосился на Таню, тоже покосился на нее и спросил:

— Кто такая?

Она, когда генерал вошел, встала там, где сидела, и так и стояла до сих пор.

— Военврач третьего ранга Овсянникова,— сказала Таня.

— Дочь Овсянниковой нашей, из литейного... — Малинин сунул в ящик телефонограмму, снял с гвоздя шинель и вышел вслед за генералом, который так ничего и не сказал Тане.

«Сейчас будут ругаться»,— подумала Таня. Такое было выражение лица и у генерала, и у этого сидевшего за столом человека — Малинина. Только она, Таня, помешала им поругаться здесь же, в парткоме.

Она осталась одна. И почти сразу же вошла мать. И они обнялись и долго целовали друг друга.

Мать была сейчас самая настоящая старуха. На ней был толстый, измазанный землей ватник и ватные брюки, но, увидев ее лицо, Таня с испугом подумала, какая она, наверно, худая там, под ватником.

— Таня, доченька!..

— Да, мама...

— Приехала!..

— Да, мама...

— Живая!.. Здоровая!..

— Да, мама...

Мать больше ничего не спросила, помолчала и сказала:

— Отец-то... — и снова долго молчала.

— От чего он?

— Не знаю,— сказала мать,— без меня было... Я воспалением легких болела, в больнице три недели лежала. А его «скорой помощью» свезли. А мне сразу не сказали: пожалели, потому что я встать все равно не могла. А когда вышла из больницы, он уже помер. Гроб ему сбили без меня в нашем упаковочном цехе, но повезли не сразу: думали, я еще успею, встану. А когда доставили гроб в больницу, оказывается, его уже захоронили. Извинения у наших заводских просили, а где могила, неизвестно. Место у них есть такое, куда невостребованных свозят, кого, значит, родственники не спросили. Туда и отец попал. Не прощу себе этого. Что за жизнь за такая!..

Мать заплакала.

— Ну чего ты? — Таня села рядом и обняла ее за плечи. — Зачем ты себя мучаешь?

— Не могу я, Танечка... не могу... Как вспомню, так думаю: на могилу бы сходить, а сходить некуда.

— Когда это было?

— Семнадцатого сентября...

— А Виктор когда?

— Не знаю. Похоронную в прошлом году получила, зимой. А написали в ней, что погиб в сорок первом смертью храбрых. А когда, не написали. Только написали, что на юго-западном направлении... Как ты доехала?

— Хорошо доехала.

— Дай на тебя поглядеть. Похудела ты...

— А сама!

— Про меня не говори... А ты до войны кругленькая была, а теперь вон какая! Где ты была, кем служила?

Таня посмотрела через плечо на вошедшего в барак Малинина и сказала:

— Долго об этом, мама... Всего сразу не переговорим.

— Живая, здоровая... — всхлипнула мать. — И раненная не была?

— Раненная была.

— Куда ранило?

— Мама, ты когда освободишься?

— Погоди... Куда тебя ранило-то? — Мать посмотрела на нее с мучением и нетерпением, словно это и было самое главное — узнать, куда ранило Таню.

— Ну чего маешься? — сказал Малинин, стоя за спиной матери. — Встретила, убедилась и ступай в цех. Сдавай смену и домой иди. А завтра выходной возьми.

— У меня не завтра.

— Подменим. На себя беру.

— А может, мне с тобой пойти? — спросила Таня.

Мать замялась, и Малинин выручил ее:

— Не требуется за ней хвостом ходить, она скоро вернется. Условия у нас в цехах тяжелые, а в литейке особо,— объяснил он Тане, когда мать вышла. — Неохота ей с первого раза дочери свое рабочее место показывать...

— Все равно увижу. Не сегодня, так завтра.

— Это другое дело. А сегодня у нее праздник. Ради тебя среди зимы комнату побелила. Сюда, в партком, приходила, чтоб поддержали, три кило мелу со склада выписали. Что смотришь? Бедно живем? Еще насмотришься. Еще походишь по заводу, сами поводим. Беседы по цехам проведешь. Этого мы от каждого фронтовика требуем. А тем более сейчас. От последних известий с фронта все как с ума посходили! Только разговоров про Сталинград! Ты на сколько сюда?

— Не знаю. У меня пока отпуск на лечение. А потом комиссия будет.

Ее прервал телефон.

— Малинин слушает,— отрывисто сказал Малинин в трубку. — Да, исключили... Нет, не ошибаетесь, с такой формулировкой и исключили: за самовольное увольнение с завода своей родственницы... Не дурацкая, а как раз такая, как надо... Нет, не отменим... Нет, не самодур, а парторг ЦК на заводе. А еще раз повторишь — трубку положу...

Малинин выжидательно подержал трубку и опустил на рычаг.

— Сам бросил!

— А кто это звонил? — спросила Таня.

— Начальник один. По просьбе другого, у которого мы брата жены вчера из партии выгнали, работника отдела кадров.

— А за что?

— За то, что слышала,— сказал Малинин. И, пересилив усталость и неохоту, объяснил: — Думаешь, к нам на завод все сами приходят? Есть и такие, что из-под палки идут, по законам военного времени. С разных не суть важных работ сняли, паспорта забрали — и на завод, продукцию вам на фронт гнать. Вот и у этого свояченица под метелку попала. А он ее втихую уволил, чтоб могла обратно в торговую сеть нырнуть, где посытнее. И партбилет вчера положил,— у нас на таких люди злые. А у вас на фронте разве добрые?

— Я на фронте мало была.

— А орден за что?

— Я в партизанах была.

— Где?

— На Смоленщине.

— Да, Смоленщина... — сказал Малинин. — Когда в конце сорок первого с передовой, раненного, вывозили, думал, скоро Смоленск возьмем. Не успею в часть вернуться, а он уже взятый будет. А он еще и до сих пор невзятый... И он невзятый, и я в свою часть не вернулся... Говорят, здоровье не позволяет. — Малинин усмехнулся так, словно его смешило, что здоровье не позволяет ему пойти обратно на фронт и позволяет заниматься тем, чем он занимается здесь, и жить так, как он живет здесь. — Долго была в партизанах?

— Больше года.

— А как обратно на Большую землю попала?

— Раненую самолетом вывезли.

— А в каких местах была? Я эти районы знаю. После гражданской с продотрядами ходил там во все концы, хлеб для пролетариата брал.

Таня стала рассказывать, а сама все время думала, когда же придет мать...

— Скоро придет,— почувствовав это и прервав расспросы, сказал Малинин. — Только смену сдаст. А пока не сдаст, все равно не придет. В партию она вступила... Как раз когда о Сталинграде первое сообщение было, в тот день ее принимали. Не говорила еще тебе?

— Не говорила.

Это было для нее неожиданностью; она как-то никогда не думала, что мать может вступить в партию.

— Большой воз тянет,— сказал Малинин. — Не только в цеху, а еще и рабочий контроль в столовой, а это знаешь какое у нас теперь дело?.. Беда. Крошка к рукам прилипла — и уже пропал человек! А отца твоего знать не привелось. Слышать слышал, а знать не знал. Пришел на завод за неделю до его смерти. Имел в виду познакомиться.

Он посмотрел на Таню и замолчал, словно чего-то не договорил.

Это было так заметно, что она даже спросила, посмотрев на него:

— Чего вы?

— Имел в виду познакомиться,— повторил Малинин. — Мать еще не рассказывала, какая с ним беда вышла?

— Нет.

— Из партии его здесь, после эвакуации, исключили. Партийные ведомости, что у него в несгораемом ящике были, не вывез из Ростова с завода. Оставил.

— Не могло этого быть! — убежденно сказала Таня.

— Быть тогда все могло. Города из-за паники бросали, а не только что несгораемые ящики. Быть все могло. А вот что потом, после своей ошибки, человек делает — это другой вопрос! Твой отец Лазаря никому не пел. Встал за станок и стоял за ним, пока жил.

— Теперь я знаю, что его до смерти довело!—горько вскрикнула Таня.

— Зря,— сказал Малинин. — Переживать переживал, а все же до смерти его не это довело. Война его до смерти довела. Харчи не те, сна мало, здоровье потраченное, а работа тяжелая. От этого никто из нас не гарантированный...

Мать вернулась через час. В руках у нее было ведро, и она, как вошла, поставила его возле двери. Поверх ватника на матери было надето отцовское пальто; полы были подогнуты и подшиты, а рукава подвернуты. Голова у матери была повязана платком. Видно, она мылась после работы, но не домылась: в морщинах так и остались тонкие черные полоски копоти, а морщин было — не сосчитать, все лицо в морщинах!

Малинин подошел к двери и заглянул в стоявшее там ведро.

— Угля все же, значит, сегодня в литейке выдали, хотя и по полведра.

— И на том спасибо. — Мать взяла ведро. — Худайназаров сегодня в обед говорил, что не может быть весь январь такой. Никогда, говорит, такой зимы здесь не было.

— Ну что ж, он здешний, ему видней. — Малинин поглядел на мать и повторил еще раз: — Завтра на работу не выходи.

Она кивнула.

— Дай-ка пропуск, отмечу, — повернулся Малинин к Тане. И, отдавая пропуск, сказал: — Послезавтра на завод вместе с матерью в утреннюю придешь — и сразу ко мне, в партком. А не будет меня — подожди. Надо твой приезд обдумать, как использовать.

Таня и мать вышли через проходную обратно на ухабистый снежный пустырь, расстилавшийся перед заводом.

— Чтой-то он тебя использовать хочет? — спросила мать.

— Хочет, чтоб я про войну рассказала.

— А... У нас, кто приезжает, все рассказывают. Из наших, из заводских, уже четверо приезжали. И все после госпиталей.

— А как иначе? Отпусков нет. Пока не ранят, куда с фронта уедешь? Не велики тебе? — Таня посмотрела на ноги матери в мужских старых ботинках, тоже, как и пальто, отцовских.

— Газетами обертываю, да и ноги опухать стали.

— Отчего?

— Кто их знает, от харчей, наверное... — Мать замолчала, не захотела больше говорить об этом.

— Я тебе свои сапоги оставлю, они мне очень большие.

— А ты что, обратно поедешь?

— Не знаю, куда направят; в общем-то, да, конечно.

Таня ждала, что мать спросит что-нибудь еще, но мать не спросила.

— Меня женщина, которая пропуск выдавала, спросила, твоя ли я дочь. А я на нее смотрела, смотрела — лицо знакомое, а не вспомнила.

— Как же не вспомнила? — сказала мать. — Это Суворова — кузнеца жена. В нашем дворе жили, еще когда ты замуж не вышла. А потом съехали на новую квартиру.

— Неужели Суворова?! — Таня вспомнила рослую, краснощекую бабу, весело и громко, на весь двор, костерившую своего мужа, известного на заводе кузнеца Суворова, когда он после получки возвращался домой выпивши. — Да разве это она? — И, взглянув на мать, с испугом подумала, что мать переменилась нисколько не меньше... — Муж ее не пьет теперь? — спросила Таня, просто чтобы скрыть от матери свои мысли.

— Кто ж теперь пьет, откуда ее взять, если... — Мать не договорила.

— А я привезла с собой «тархуна». Можем выпить, а можем и сменять...

— Чего менять... Меняли, меняли — доменялись, что чистого надеть на себя нечего. Сами выпьем и Суворовым поднесем. Мы теперь соседи с ними, в Старом городе в одной комнате живем, у узбеков, по самоуплотнению. Помыться бы тебе с дороги, да ведь мыла нет... Моешь, моешь руки после работы, уж и глиной трешь...

— У меня есть мыло.

— Ну, тогда утром помоешься, когда Суворовы на завод уйдут. Комнату нагреем, у хозяйки, у Халиды, таз возьмем, и вымоешься. Суворов буржуйку еще осенью сладил, да топить было нечем. Все больше гузапаей топили. А от нее жар короткий, как от соломы.

— А что это — гузапая?

Мать удивленно посмотрела на Таню.

— От хлопка́ стебель. Мы уже привыкли тут, обузбечились: гузапая, сандал, нон, шурпа, катта рахмат! И на заводе узбеков много, и живем с ними в одной мазанке. Тут теперь, в Ташкенте, все языки, какие хочешь; не разберешь, кто на каком.

— А далеко нам ехать? — спросила Таня; они стояли на остановке и ждали трамвая.

— Сперва седьмым, а потом на восьмой пересядем, до самого круга... — Мать говорила так, словно Таня все это знает. — А потом пешком от круга. Часа за полтора будем, если сразу сядем.

— Да, долго тебе добираться.

— Когда во вторую, больше на заводе ночую. Проталкивайся, а то не сядем, седьмой идет. Рюкзак мне давай. Что это за зима такая! В прошлом году в эту пору без польт ходили.

К остановке подошел обвешанный людьми трамвай. Мать надела за плечи рюкзак и подтолкнула Таню вперед. Таня уцепилась за поручни уже на ходу, почувствовав, что мать висит сзади, придерживая ее собой.

— Мама...

— Не облокачивайся, холодно будет... Укрой плечо-то.

— Ничего, мне не холодно. Скажи, мама, что ты про меня думала?

Была ночь, и они лежали вдвоем на узкой кровати, накрытые всем, что было,— одеялом, пальто, шинелью, полушубком. Таня, приподнявшись, подтянув на плечо полушубок, лежала за спиной у матери и говорила ей на ухо громким шепотом. А мать лежала не шевелясь и отвечала ей через плечо, не

понижая голоса: она давно привыкла, что Суворовы там, за занавеской, в двух шагах от нее, спят тяжелым, усталым сном. Спят и сейчас: Суворов устало похрапывает, а Сима Суворова вздыхает во сне и иногда всхлипывает, не просыпаясь. Думает, наверное, и во сне о том, о чем думает с утра до вечера,— о полученной в ту неделю похоронной на второго, последнего сына. Вспоминает и плачет во сне, но не просыпается, потому что усталость берет свое.

За вечер уже было все: и разговоры, и расспросы, и Симины поздравления, что дочь живая вернулась, и Симины слезы, что сыновья убиты и никогда не вернутся... И «тархун» выпили, и, не жалея ничего, досыта поели все вместе, и что приготовлено было, съели, и что Сима вытащила и от себя добавила, и ту банку консервов, что у Тани из мешка взяли... И выпили, и прослезились, и помянули. И Халиду, хозяйку мазанки, как ни отказывалась, затащили и заставили рюмку выпить за приезд. И она ушла и снова пришла с цветным узелочком, а в узелочке кишмиш к чаю. И еще час просидели за чаем с кишмишом. И Суворов жалел, что хозяина нет: работает в ночную,— и хвалил Тане Халиду. И Халида, такая же истощенная, как мать, с торчащими из-под платья худыми ключицами, долго молчала и смотрела на Таню своими черными печальными глазами, а потом вдруг быстро-быстро заговорила по-узбекски, и мать слушала и все кивала: то ли понимала, то ли догадывалась.

Все уже было, что может быть на людях при такой встрече. А теперь все кончилось, и все, кроме них двоих, спали.

— Мама, что ты про меня думала? Что ты молчишь?

— Что думала? Разное думала. Сначала думала: может, женщин-врачей на фронт не пошлют... Глупо думала... А потом от тебя письмо получила, что уехала, а потом уже ничего не получила. И в одном году ничего не получила, и в другом ничего... А когда на Витю похоронная пришла, поверила, что и тебя нет... А потом, как отец умер, а я даже схоронить его не смогла, вдруг нашло на меня, что ты должна со дня на день воротиться. Прихожу на завод и думаю: не стоишь ли у проходной? А домой прихожу, хозяйке говорю, как глупая: Халида, меня никто не спрашивал? А она: ёк, ёк... А что ей сказать? У ней у самой на старшего похоронная пришла, у ней свое горе...

А я все равно хожу и думаю, как какая-нибудь безумная: вот приду домой, а ты в воротах стоишь, или приду к заводу, а ты у проходной ждешь...

— Мама, мне этот парторг про отца сказал.

— А чего он тебе сказать мог? Ничего он не знает. Одна я знаю.

— Ты не сердись на него, он по-хорошему сказал.

— А я и не сержусь.

— Мама, от чего отец умер?

— У него истощение было. Один раз его от завода в дом отдыха отправили, две недели был. Молока там им давали, немного отошел, лучше вернулся, а потом опять эта пеллагра — ноги пухнуть стали и десны болеть... Не знаю, что это за болезнь... до войны не слыхала, а теперь многие ею на заводе болеют. Обижалась на него, что он меня в больнице не навещает. А он уже мертвый был.

Мать беззвучно заплакала. Она плакала, не двигаясь, лежа на боку, и Таня, осторожно дотрагиваясь до ее лица пальцами, вытирала у нее со щек слезы и, когда рука становилась мокрой, этой мокрой, соленой рукой вытирала собственное лицо, которое тоже было в слезах, потому что она тоже плакала.

— Не хотел он жизни поддаться,— перестав плакать, сказала мать. — Одно у него на уме было: что раз его из партии выгнали, а он все равно на заводе остался и к станку пошел, то лучше его уже никто работать не смеет. Он самый лучший!

— Мама, отец виноват был?

— Говорил, виноват. Он и чужое на себя брать умел. Всю жизнь так.

— А что случилось-то?

— Ящик у них там железный был: списки, ведомости и взносы — все в нем. Когда с завода уходили, он должен был забрать все из цеха; сам мне тогда говорил: пойду в цех, возьму и догоню тебя. Даже домой не зашел, я одна собиралась... А потом уже, когда они обратно в цех пришли с Кротовым, с поммастера — он член бюро был, — Кротов ему говорит: давай весь ящик под бетон в яму спрячем... Там ямы были пробиты, к взрыву цех готовили, но не взорвали; давай, говорит, спрячем, а то пойдем через город, а вдруг там уже немцы... И нас постреляют, и все документы партийные к фашистам попадут...

Отец говорил мне потом, что испугался: кругом уже стрельба шла,— послушался этого Кротова. А когда с завода стал выходить, смотрит — Кротова нет. В эшелон сели; на третий день его спрашивают, где ведомости. Он рассказал все, как было. А Кротов где? А Кротова нет. В дороге не до этого было, а на место приехали — сразу про всех выяснилось, кто вел себя некрасиво: и кто исчез, и кому дети были поручены, а он их бросил, а кто на сто тысяч зарплату не вывез, заявил: сжег,— пять человек из партии тогда исключили. И отца тоже — за этот ящик. Он признавал свою ошибку. Потом, когда Ростов обратно взяли, на завод наша бригада поехала кое-что из оборудования вывезти,

чего сразу не успели. Отец точно им место объяснил, где ящик. Говорил: все же моя вина меньше, если не пропало ничего... Два месяца исключенный был, но на парткоме еще не утверждали, ждали. А он уже все равно к станку встал,— с чего начинал на заводе, к тому и вернулся.

Наши вернулись, говорят: были, смотрели. От ящика железка есть, а в ней ничего! И Кротова нет в Ростове! Когда немцы пришли, говорят, видели его с ними. И вполне возможно, что он фашистам ведомости отдал, а деньги себе взял. Такие предположения высказывали и отца спрашивали: «Как считаешь, несешь за это ответ, если так?» Он говорит: «Несу!» Тут же, на парткоме, и утвердили, а на райкоме партбилет взяли. Что он всю правду рассказал, как они с Кротовым ящик прятали, поверили, а простить не простили. Он не обижался, говорил: спасибо, что поверили, а не поверили бы — я бы напротив завода на трамвайную рельсу голову положил.

Изнемогал он очень на работе, Таня. Мучило его это. Прошлым летом у нас до Малинина другой парторг был, Алферов. Вызвал он отца — отец к маю самые высокие нормы дал по цеху — и говорит: «Подавай, Овсянников, на восстановление»,— а отец отвечает: «Подожди, еще поработаю...» Хотел он сделать больше, оправдаться перед людьми, а здоровье у него слабое было, сама знаешь. Я уже почувствовала, что слабеет он. Чего только не отнесла на толкучку! Бывало, стоишь, выпрашиваешь: возьмите, ради бога. Ну, а что у нас было? Ничего особенного с собой не взяли, знаешь, как ехали оттуда... Подкормить его хотела, все, что могла, делала. А где могила его, не знаю. Никогда не прощу себе...

— Ну, что ты, мама, ей-богу... Перед кем ты виновата? Ну, знала бы, где похоронен...

— Не «ну»,— сказала мать.— Я бы к нему приходила. А он лежит где-то, а я не знаю... Я на кладбище ходила — поле целое. Смотрю на это поле и даже что думать, не знаю,— плачу просто, и все...

— Мама, а вы тут с самого начала с Суворовыми?

— Нет,— сказала мать.— Сначала в клубе текстильщиков жили, в зале зрительном, сорок семей. А потом там тоже цех сделали и переселили кого куда; нас с Суворовыми сюда. Халиды муж сам позвал, он с Суворовым в кузне работает. Тут у них раньше одна ленинградская эвакуированная с двумя детьми жила, весной померла. Детей они себе взяли, а комнату нам отдали. Так и живем. А чего ты спрашиваешь?

Таня подумала про себя, что трудно двум семьям жить вот так, в одной комнате,— два шага в ширину, три в длину, где

и кровати стоят рядом, отделенные занавеской, и слышен каждый шорох двух людей, живущих в другой половине комнаты, днем слышен и ночью слышен.

— Нет, ничего,— сказала Таня, и матери даже не пришло в голову, о чем подумала сейчас дочь: так далеки были от этого ее собственные мысли.

— А может, в Ташкенте останешься? — спросила мать.— Если останешься, врачом работать будешь, может, на двоих и отдельную дадут...

— Не знаю, мама,— мягко сказала Таня.— Ведь я же военнослужащая, и потом...— Она помедлила, не сразу решив, говорить или нет, и все же сказала: — Я еще с дороги написала генералу Серпилину Федору Федоровичу,— я тебе говорила о нем. Попросила, чтобы он меня к себе на фронт вызвал. Все-таки я его знаю, и он свою полевую почту мне дал, когда в Москве встретились.

— А где он сейчас?

— Под Сталинградом.

— Самое там страшное теперь,— сказала мать с тревогой.

— Почему? Там теперь уже не мы, а немцы окружены.

— Все равно самое там страшное,— убежденно повторила мать.— Я сама в цеху сколько газет вслух прочла про эти бои! У Суворовых вторая похоронная оттуда, со Сталинграда, пришла...

И Таня поняла, что сейчас, здесь, в этой каморке, мать нельзя переспорить. Откуда пришла в эту комнату последняя похоронная, там сейчас и страшнее всего! Там больше всего убивают людей и могут убить и ее, Таню, если она туда поедет.

— Не знаю,— сказала Таня,— дойдет ли еще мое письмо и вызовет ли он меня.

— Раз обещал, наверно, вызовет. Молодой он, генерал этот?

Таня даже не сразу поняла, но потом поняла и за спиной у матери рассмеялась.

— Что смеешься? Про генералов у нас всякое тут говорят, не одно только хорошее.

— А ты меньше слушай, что языками треплют,— сердито сказала Таня.— Я с фронта аттестат вышлю, тебе легче будет. Может, ты даже на другую работу из литейки перейдешь... Ну, будешь меньше зарабатывать и не первой категории карточку получишь...

— Куда же я перейду, Таня? Другие, что ли, хуже меня? Глупости ты говоришь.

— Почему глупости? Не все же ведь на тяжелых работах. Разве я неправа?

Но, слушая ее, мать знала про себя, что и сама она тоже права и что не уйдет из литейки, из своей бригады, хотя это верно, что не все люди на тяжелых работах, и понятно, что дочь беспокоится и хочет для матери лучшего.

— А в партизаны тебя обратно послать не могут? — спросила мать после того, как они несколько минут пролежали молча.

— Могут, если желание выражу.

— А насильно не пошлют?

— Насильно не пошлют. Скажу, что не хочу, на фронт хочу.

Она сначала хотела объяснить матери, почему туда, в партизаны, никого нельзя посылать насильно, но потом не стала: мать спросила ее не потому, что не понимала этого, а просто желала до конца убедиться, что дочь больше не пойдет в партизаны.

— Раз не останешься, мне тут хорошо с Суворовыми,— сказала мать. —Хуже, если б одна жила. Им бы, конечно, лучше без меня, но они тоже привыкли. Да и поплачем иногда с Серафимой вместе; когда муж в ночную, а мы с ней, совпадет, в дневную, вернемся, сядем, и все она слезы льет. И откуда их столько у нее берется? А я слушаю, слушаю ее и когда заплачу, а когда нет. А Халида и вовсе не плачет. Отголосила по сыну три дня, как извещение получили, и больше не плачет. Да ей и времени нет: своих четверо да приемных двое. Всех накорми.

— А чем? — спросила Таня.

— Ну все же им легче: братья́, зятья́ в кишлаках. Хоть не помногу, да привезут. И у них, конечно, не густо. К своим четверым еще двух чужих взять — это по военному времени надо золотую душу иметь. И нам еще с Серафимой, как им из кишлака чего привезут, все старается гостинец сунуть. Но мы не берем,— чтоб кусок от детей отрывать, еще совесть не потеряли. Хотела я сказать тебе про Николая твоего... Встречал он тебя? Что молчишь?

— А что говорить?

— Встречал или нет?

— Встречал.

— Ну и как?

— Никак. Скажи, мама, этот Кротов, из-за которого у отца все вышло, я его знаю?

— Нет, не знаешь. Он на завод пришел уже в последний год, когда ты в армию ушла.

— А что он за человек?

— А я его и видела всего два раза. Высокий такой, черноволосый, не старый еще. Отца про него спрашивала, отец гово-

рит: «Кто его знает, он и в армии служил — командир запаса был и вел себя так смело, разумно, что я ему подчинился в ту минуту». Не представлял, что такой человек — предатель.

— А семья у него есть?

— Бездетный, а жена была. Жену, говорят, из Ростова на высылку отправили. Как узнали, что видели его у немцев, так ее на высылку. За предателя!

— А может, он и не предатель? Может, он сам все это вырыл оттуда и перепрятал, а потом просто погиб? И у немцев, может, его вовсе и не видели, просто так кто-то сказал — и пошло от одного к другому...

— Говорят, видели.

— Мало что говорят... — сказала Таня.

Не так уж она была доверчива. И мысль, что живут на свете предатели, к несчастью, давно уже стала привычной для нее мыслью. А просто ей хотелось думать об отце, что, может быть, он не так уж виноват, может быть, зря мучился из-за этого Кротова, и жена этого Кротова зря поехала в ссылку и живет там, оплеванная. Все на свете бывает! Если уж она что узнала за полтора года жизни в немецком тылу, то это узнала твердо: все на свете бывает!

— Я про Николая хотела тебе сказать,— повторила мать.

Таня вздохнула. Про Николая слушать ей не хотелось.

— Дело, конечно, твое,— сказала мать,— но я ему, что ты приедешь, сказать была обязана.

— Ничего ты ему не была обязана...

— Как же так не обязана? Все же до войны муж и жена были.

— Мало ли что было,— сказала Таня. — Да и перед самой войной уже не было этого.

— Ну, на разные дома жили,— сказала мать,— так это ж временно, из-за твоей военной службы. Конечно, на два дома не жизнь...

— Ну о чем ты говоришь, мама? Какая жизнь, какие два дома? — не выдержала Таня. — Какое все это имеет теперь значение? И не в двух домах дело вовсе... Ну, виновата перед вами, не написала вам тогда, не призналась, что порвала с ним. Стыдно было перед вами...

— Чего же стыдно?

— А того, что не надо было замуж за него выходить.

— А он тебя за жену считает. — В голосе матери прозвучала розозлившая Таню нота укоризны.

— Очень хорошо, пусть считает,— сказала она, сдержавшись. — Это ты и хотела мне про него сказать?

— И это. Я когда ему в поликлинику позвонила, что твою телеграмму получила,— он в первой поликлинике работает, где директор наш прикреплен, его детей лечит,— позвонила ему туда, он даже вскрикнул и телеграмму вслух заставил прочесть, а потом два раза звонил — спрашивал, не сообщила ли, когда приедешь. Сам все узнал, встретил... Любит он тебя — так я поняла по его поступкам...

— Любит, не любит, плюнет, поцелует... — сердито сказала Таня. — Когда ты его видела в последний раз?

— В октябре.

— Отец умер — и то он к тебе только раз зашел! А ты — любит, любит! Слушать тошно!

— А что же ему ходить? Слезы чужие утирать?.. Сейчас всюду и своих хватает. Пока отец жив был, он несколько раз к нам заходил, даже приносил кое-чего, старался. Хотя и не обязанный. Была ты — были и мы, а нет тебя — на что мы ему? Не о нас речь, о тебе. Не нас ему любить, а тебя. О чем вы с ним говорили? При людях спрашивать не хотела, а сама только об этом и думаю.

— С чего начали, тем и кончили: спасибо, что встретил, как время будет — разведемся...

— Зачем же это теперь разводиться, раз до сих пор не развелись? — с тоской спросила мать.

И Таня почувствовала: в чем другом, а в этом так и не научились понимать друг друга. Хочет, хочет ей счастья, а какое оно будет, это счастье, не думает! Думает: раз не одна — уже счастье. И о себе самой думает. Хочет, чтоб дочь осталась здесь, в Ташкенте, пусть не из-за нее, матери, пусть из-за мужа! Все равно, лишь бы осталась.

— Да чем же он так плох? — Мать не хотела отказаться от запавшей ей в голову мысли.

— Для меня плох.

Она заранее решила не говорить о том, что он успел здесь жениться, не хотелось обсуждать это с матерью. А сейчас еле удержалась, чтоб не сказать.

— Ты что, хочешь, чтоб я обратно на фронт уехала и аттестат вам с ним пополам высылала?

— Почему? — сказала мать. — Раз муж здесь, может, и ты здесь остаешься...

— Значит, раз он не на фронте — и мне там, где он? А почему он не на фронте? Мне двадцать шесть, и ему двадцать шесть! Я баба, а он мужик. Я врач, и он врач. Почему я там была, а он тут?

— По-всякому бывает. Он, как детский врач, эшелон с детьми сюда повез. А потом остался тут. Он мне рассказывал, как остался... Детских врачей не хватало, эпидемии были. Он на фронт просился, а его оставили.

— Как следует попросился бы — не оставили бы.

— А вот оставили.

— Ну хорошо, все правильно!.. — почти закричала Таня. — Остался, потому что оставили, хороший он, и всем здесь нужен, и тебе нужен, а мне не нужен, можешь ты это понять? — Она испуганно остановилась: ей показалось, что соседи проснулись. Но нет, Суворов по-прежнему устало, тяжело храпел, и жена его порывисто дышала, постанывая во сне.

Таня целую минуту молчала, а потом сказала шепотом:

— Остался потому, что баба, а я за бабой быть замужем не могу. До войны еще почувствовала!

— А чего ж ты его раньше любила!

— Любила, потому что он первый у меня был,— что, тебе объяснять, что ли? Отрезано это, понимаешь? И кроме того, было у меня там, у партизан, с другим человеком... Было, и не жалею.

— Ну и мало что было,— сказала мать. Когда Таня так яростно заговорила о муже, она уже и сама подумала, что у дочери, наверное, что-то было. — Сколько ты пережила, перенесла и живая пришла! Такой грех себе самой простить можно.

— Никакой это не грех,— упрямо сказала Таня,— как сама хотела, так и сделала.

— Если было да прошло, то и говорить ему не обязательно.

— А я уже сказала.

— За язык, что ли, тянули?

— Так уж захотелось, на него глядя, чтоб не стоял передо мной и не думал...

— А где он? — осторожно после молчания спросила мать. Она имела в виду того человека, с которым у Тани было там что-то. Может, она так непримиримо относится к мужу, потому что и теперь любит того человека? Может, у нее счастье с тем человеком?

— Кто? — не поняла Таня.

— Тот вот... что ты говорила.

— Убит он.

— Убит,— повторила мать. — А забыть не можешь?

— Наоборот, могу.

В том, как она говорила, было что-то резкое, вызывающее, непривычное.

— Что с тобой, Таня?

— Ничего, мама, со мной, ничего... С тобой поживем, а потом на фронт уеду и письма писать буду. А про Николая больше не надо, бог с ним, пусть живет, ничего плохого ему не желаю. Только больше не приставай ко мне с ним, ладно? — сказала Таня, в последний раз преодолев соблазн рассказать матери, что человек, за которого она так беспокоится, давно женат на другой.

— Значит, разводиться с ним пойдешь?

— Пойду.

— Отложи до конца войны, там видно будет.

— Ничего там видно не будет... Сейчас хочу. Хочу совсем свободной быть. Может, кто стóящий возьмет да полюбит,— вдруг подумав об Артемьеве, с вызовом сказала Таня. И, вспомнив его ничего не обещавшие равнодушно-добрые, веселые глаза там, на перроне, вздохнула и добавила: — А никто не полюбит, все равно лучше свободной быть: что захочу, то и делаю. Умные люди говорят, что война и живем только раз... Может, и верно?

Она часто слышала это от разных людей и в разных обстоятельствах и сопротивлялась, и даже грубила в ответ, но эта же мысль существовала и в ней самой, и иногда наедине с собой этой мысли было трудно противиться.

— А может, тебя не на передовую пошлют, а в какой-нибудь госпиталь? — вдруг сказала мать.

— Все может быть...

— А может, и не во фронтовой, а в тыловой? И у нас тут госпиталя есть, и в них врачи военные...

— Мама, я не могу объяснить тебе этого,— сказала Таня,— но я на фронт хочу. Я не хочу в тыловой... Я, если в тыловой будут назначать, попрошусь на фронт.

— Но почему же, почему же? — с отчаянием в голосе спросила мать. — Ведь ты же была...

— Сама не знаю... — сказала Таня. — Вот в подполье была и с трудом представляю, как опять на это пойти. Боюсь! А на фронт не боюсь. Не представляю себе, как же так: война еще идет, а я не буду на фронте... Мы когда в подполье были, я у одной старухи там жила, мы ночью, бывало, с ней лежим, не спим — она тоже врач была,— лежим, не спим, и я ей говорю: «Софья Леонидовна, чего бы я только не дала, чтобы сейчас на фронте быть! Какое это счастье — где-нибудь в медсанбате находиться среди своих! Вы меня понимаете?» Мы о фронте как о счастье говорили. Мы же среди немцев жили, понимаешь? Нас каждую минуту взять могли. Иду по улице мимо немцев, а они идут мимо меня. Наши с немцами дерутся, а я там у них живу и должна вид делать, и делаю... Можешь не верить, а я не считаю, что мне после этого на фронте может быть страшно.

— Да,— тяжело вздохнула мать.— Мы, наверно, и представить себе этого не можем.

«Наверное, не можете»,— подумала Таня.

— Знаешь что, мама, я тебе только одно скажу: и таких плохих, и таких хороших людей, что я там видела, я никогда еще в своей жизни не видела. Я и не представляла себе, что на свете такие люди бывают. Когда немцы пришли, как будто всех нас сразу взяли и вниз головой перевернули... И как мы в подполье жили, ты меня лучше не спрашивай. Я не жалуюсь, я сама на это шла. Я просто тебе объясняю, чтобы ты не удивлялась, что я тоже усталая и, может быть, даже грубая. Ты извини меня, пожалуйста.

Она в темноте тихо пожала руку матери, и мать тоже пожала ее руку и сказала:

— Так хочется, чтобы скорее победа была... Тут такое настроение у нас у всех приподнятое стало, когда немцев под Сталинградом окружили... Столько мин для «катюш» за декабрь сделали, даже сами удивлялись сколько... Только перезимовать бы — летом легче будет: все же огороды. Спасибо, колхозники за декабрь два красных обоза из Верхне-Чирчикского района на завод снарядили. Овощей, кукурузы, джугары по домам собрали. А снабжение много хуже стало... Всего не хватает. И еще чего не хватает — сна не хватает. Я почему часто на заводе ночую, в литейке,— уткнусь в землю, стыдно сказать, как животное какое, сплю. И тепло, и время больше для сна остается, а то смена двенадцать часов, да пока сдать ее, да пока с завода да на завод... Я один раз шла к трамваю и на ходу заснула, чуть не убилась...

— Ну, ты спи хоть сейчас-то,— сказала Таня.— Я все говорю, а ты не спишь...

— Выспимся: завтра выходной. Я помою тебя. Мыла у тебя сколько?

— Полкуска.

— И волосы вымоешь, и я помоюсь. Иногда вот так проночуешь несколько суток в цеху, а потом глядишь на себя и думаешь: женщина ты или не женщина? Человек ты или не человек?.. Разве я когда-нибудь думала такой жизнью жить? Ты говоришь, на другую работу перейти, а я из своей литейки не пойду, все равно уж. Там хоть каждый день знаешь, что прямо для войны делаешь, и чего, и сколько... Работаю, а сама думаю про тебя: отработаю ее у смерти! Не может быть, чтоб при такой моей работе еще и ты у меня пропала.

— Вот и отработала,— проглотив комок в горле, сказала Таня.

— А ты не смейся.

— А я не смеюсь.

Ей стало ужасно жаль мать. Хотелось гладить ее по голове, приговаривать: «Спи, спи...» И она поддалась этому желанию и стала повторять: «Спи, спи...» — и гладить мать по голове, как маленькую. И мать — Таня почувствовала это телом — вдруг вся ослабела, словно вышла из того напряжения, в котором себя держала,— ослабела, подвинулась, несколько раз шевельнула под рукой у Тани мокрой от слез щекой и тихо и ровно задышала — заснула.

А Таня все еще не спала, лежала рядом с матерью и думала о ней: до чего она стала другой, не такой, как была, и несчастной, и сильней, и ближе, чем раньше! Раньше у матери была одна мысль: дом и дом,— а остальное ее мало трогало. Отец сердился, совал ей в руки книжки, радио заставлял слушать. Странно даже вспоминать сейчас все это. А с Николаем мать все равно еще будет гнуть свое, на это у нее прежний взгляд: раз судьба свела, как бы ни было, а надо вместе до скончания века. А где оно, это скончание? Брат перед войной последнее письмо прислал, что два экзамена в школе осталось. И уже нет его. И отца нет. И Софьи Леонидовны, которая ей полгода за мать была, тоже нет.

Таня вдруг подумала о Каширине,— что он делает сейчас там, вернувшись обратно в их бригаду? И сама испугалась той тревоги, с которой подумала, словно могла этой своей тревогой накликать несчастье на всю бригаду.

— Не спишь? — сквозь сон беспокойно спросила мать.

— Сплю,— сказала Таня. И еще раз, не закрывая глаз, повторила: — Сплю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Малинин еще с утра хотел поговорить с Таниной матерью, но до литейки добрался лишь к концу первой смены. По дороге, как всегда, останавливали в разных цехах разные люди с личными и неличными делами. Хотя про него и говорили, что он груб, и это было верно в том смысле, что он, не стесняясь в выражениях, рубил правду в глаза, но уйти от человека, оборвав его на полуслове, он не умел. Не потому, что не имел решимости, а потому, что так понимал свою должность в жизни — выслушивать людей.

В этом они не сходились с директором. Тот был человек точный, и ценил в себе свою точность, и ругал Малинина за то, что Малинин пропадает на заводе сверх необходимого. Сам директор сверх необходимого на заводе не пропадал, бывал много, но обе-

дать и ночевать ездил домой. Зато, наверное, еще ни одному из подчиненных не удалось поговорить с ним дольше заранее отведенного на это времени. Директор и умел и любил обрывать людей на полуслове, считая это уроком дисциплины. Бывал прав и неправ перед людьми, но в размышления об этом не входил, заранее считая, что всегда прав.

А он, Малинин, никак не укладывался... Казалось бы, и дневал и ночевал на заводе, и время зря не проводил, и к длинным речам любви не имел, а все же редко успевал сделать все, что намечал на день. Может, просто оттого, что слишком уж много на заводе людей и слишком трудно они живут, у каждого свои болячки. Раз в год заговорит каждый — вот тебе и тридцать разговоров за день! И если остановит раз в году — как же ты его не дослушаешь?

И сегодня чего только не было! И насчет досок на гроб была просьба, и насчет жилья, и насчет поездки к сыну на фронт — орден Ленина дали и из части приглашение прислали, чтобы отец приехал. Дело важное, не просто отец к сыну поедет, а, конечно, целая политработа вокруг этого будет в полку. А отец — токарь, если поедет на две недели, значит, семьсот корпусов мин недодаст, и сам это понимает. Ехать, конечно, хочет, но не настаивает, только в глаза смотрит, чтобы Малинин с его души тяжесть снял, а на свою возложил. Отпустить, конечно, надо, но не за счет семисот мин. Этого никто и не позволит и не простит. Значит, надо, чтоб он уехал, а другие за него эти семьсот мин сделали. А раз так — приказом дать отпуск мало, надо, чтобы люди это одобрили. А они и так план гонят, от станков отходят — шатаются... Надо поговорить с ними, а потом собрание провести, чтобы они с отцом в тот полк письмо от всего цеха послали... И насчет огородов женщины волнуются: те ли участки дадут весной, что в прошлом году? Подошел Шарипов, монтер, он здешний, узбек, толк в этом знает, говорит, что в прошлом году плохую землю дали: воды мало. Лучше взять по той же балке, но повыше... А повыше землю райисполком, кажется, уже другому номерному заводу нарезал... Ковалев, из столярки, просил пойти против закона и сына на завод взять, сыну двенадцать, дома и оставить не с кем, и есть нечего, а на заводе все же обед. Говорил о сыне, что ему на вид шестнадцать можно дать, а Малинин сына этого видел — ребенок. Вот и решай, что лучше и что хуже!

Это все дела за одну только дорогу от общежития до литейки. И только личные, как говорится. А к ним прибавь еще заводские — и тоже такие, что за один раз не решишь. Опять придется с директором запираться и говорить так, чтобы никто не слышал,

потому что в механическом снова кисть человеку отхватило,— надо ограждения ставить. А ставить — надо их делать, а потом цех на несколько часов останавливать, а цех останавливать нельзя. А не останавливая ставить — можно опять же людей покалечить... И что директор будет говорить, заранее известно! Скажет: «Если двести мин для «катюш» недодадим фронту, там из-за этого больше людей покалечит, чем у нас без этого ограждения». И это тоже верно. А выход все же надо искать. Люди на все готовы, раз война! Готовы и в не остывший от плавки мартен лезть! Но иногда надо и совесть иметь, чтобы удержать.

В литейке, когда Малинин зашел туда, его тоже прямо у входа задержал секретарь цехового партбюро, сказал, что так или иначе, а придется на парткоме вопрос ставить: сегодня, в ночную смену, две подсобницы несовершеннолетние опять зарылись греться в отработанный горячий формовочный песок и угорели. Хорошо, их все же в чувство привели! Нельзя людям спать в литейке — бедой кончится!

Малинин тяжело, исподлобья посмотрел на него, словно молча спросил: «В самом деле хочешь добиться, чтобы в литейке никто не ночевал, или только хочешь поставить вопрос, чтобы в случае чего напомнить, что ты его ставил, а я не решил? Потому что, пока холода и топлива в домах нет, решить его нельзя. И тем полведром угля, что позавчера все же добились, выдали людям, его тоже не решишь».

— Ты, чем вопрос ставить,— сказал Малинин,— лучше подумай, кого выделить, чтобы оставался на вторую смену и дежурил, цех обходил, смотрел бы, чтобы никто со сна не угорел... Но только по двое надо, чтобы друг друга контролировали, а то сам ляжет да заснет...

— А я все же хотел бы поставить,— сказал секретарь партбюро, потому что понимал, что Малинин предлагает ему самый трудный выход.

— Не поставить ты хочешь его, вопрос свой, а под сукно мне его хочешь положить. А ты его сам реши.

— Тяжело будет выделить людей на это, Алексей Денисович.

Малинин нахмурился.

— Делать все тяжело. Легко только языком трепать... — и, ничего не добавив, пошел в цех.

Танина мать сидела в формовочной на ящике с шишками.

— Боялся, ушла уже,— подойдя к ней, сказал Малинин.

— Сейчас пойду, только смену кончила. — Она подвинулась, чтобы дать ему место.

— Дочь-то ждет, наверно, а ты тут. — Малинин сел.

— А где она?

— В общежитии ее оставил. С фабзавучами с нашими беседу проводила... До конца не дослушал: к телефону вызвали. Чего сидишь — дожидаешься?

— Ничего не дожидаюсь. Села, а встать сил нету... Посижу да пойду. Как там Татьяна выступила-то?

— В механическом, в обед, сперва подрастерялась: народу много... А с ребятами хорошо говорила, даже замечательно! Боюсь, как бы кто теперь в партизаны от нас не махнул.

— Чего же ты ее в механический, а не к нам к первым? Мне даже обидно.

— Насчет обидно — глупости... — сказал Малинин. — Утром, когда зашла ко мне, сама попросила: «Только сначала не там, где мама... Стесняться буду».

Танина мать улыбнулась.

— Хорошая женщина,— сказал Малинин.

И мать даже не сразу поняла, что он говорит это о ее дочери.

— Наговорились, наверное, с ней за выходной... Как тут у нее личные дела, все в порядке? — спросил Малинин о том, ради чего и зашел сюда, в цех, чтобы поговорить с Таниной матерью с глазу на глаз.

Еще когда она до приезда Тани рассказывала ему, что у дочери здесь муж, он понял, что женщина связывает с этим страстную надежду удержать дочь в Ташкенте.

Мать пожала плечами:

— Не знаю, чего ей надо. И перед приездом звонил, справлялся, и на вокзале ее встретил, а она от него отмахивается.

Чуть было не сказала, что у дочери за время разлуки с мужем был другой человек, но удержалась, побоялась, что уронит этим дочь в глазах Малинина.

— А что все же у них вышло? — спросил он не из любопытства, а чтобы Танина мать попросила у него помощи, если ей это требуется.

— Не знаю. А спрашиваю — не говорит.

— Может, он что-нибудь... — начал было Малинин и остановился. Про себя решил, что попробует узнать, что за человек этот муж, а прежде чем не узнает, нечего и языки чесать. — Мы тут еще дня три-четыре поэксплуатируем твою дочь, не обижаешься? — Он встал с ящика. — Люди интерес к этому имеют. Из партизан она первая на завод попала.

— Чего ж обижаться? Ей бы отдохнуть в доме отдыха недели две... Слабая она после госпиталя.

— А ранение тяжелое было? — спросил Малинин.

— Тяжелое. Такой шрам большой, я даже, когда она мылась вчера, заплакала...

— Насчет дома отдыха можно поговорить. Только ты сперва ее спроси, захочет ли уехать от тебя, чтоб я зря не трудился.

— Я спрошу,— сказала Танина мать и сама подумала, что Таня, наверное, не захочет.

«По делу, вам бы обеим вместе туда съездить,— подумал Малинин, посмотрев на Танину мать,— но, как бы ни хотел, не могу я тебе в этом помочь, потому что есть другие на очереди, хуже по здоровью, чем ты... И не могу я через них перешагнуть, хоть к тебе и дочь приехала! Как ей сегодня после беседы в столовке люди пончики свои таскали... До слез довели. Дочь — другое дело, фронтовикам — все уступят. А мать — терпи и жди своей очереди, и, возможно, война раньше кончится, чем ты своей очереди дождешься».

— Значит, с зятем на сегодняшний день неясное дело,— сказал Малинин, на прощание пожимая руку Таниной матери.

Она только молча покачала головой. Просить совета, не рассказав, что у Тани был за это время другой человек, значило бы все равно что обманывать Малинина.

Из литейной Малинин зашел в кузницу, потом во второй механический, в тот самый, где надо было ставить ограждения, а оттуда в контору.

Директор был на месте и один. Перед ним лежали кальки со схемами цехов, и он что-то отсчитывал на логарифмической линейке. Он любил входить в подробности и показывать подчиненным, что знает все тонкости дела не хуже их.

Дело он действительно знал хорошо. И когда на заводских всегда коротких летучках директор с жестоким блеском уличал кого-нибудь в неточности или технической неграмотности, Малинин с досадой чувствовал свою слабость по сравнению с ним. Иногда в такие минуты он думал, что если их споры, в которых он, Малинин, не привык гнуть головы, приведут к тому, что директор поставит вопрос — или я, или ты — и упрется, то на заводе останется он, а не Малинин. Оставят того, кого на этом заводе будет труднее заменить. А Малинину объяснят, что не смогли поступить иначе, и пошлют в другое место...

Правда, в глубине души было чувство, что он, Малинин, хотя и не инженер, хотя и разбирается в технологии производства больше по здравому смыслу, чем по знанию дела,— но зато он знает людей, делающих это дело, и знает их много лучше, чем генерал-майор инженерной службы Николай Иванович Капустин, директор завода. Знает и будет знать их всюду, куда бы его ни послали, лучше, чем такие люди, как Капустин.

Однако осадок от неприятной мысли о вопросе ребром «или я, или ты» всякий раз оставался в душе.

— Присаживайся, Алексей Денисович. — Капустин отложил логарифмическую линейку. — Станков во второй механический обещаются добавить в обеспечение плана.

— Опять увеличивают?

— Опять увеличивают, — кивнул Капустин. — Вот пересчитываю после главного механика, как станки разместить... С чем пришел?

— О несчастном случае знаешь?

— Знаю.

— Надо ограждения поставить.

Директор долго молчал, потом спросил:

— А что я отвечу, заранее знаешь?

— Знаю.

— А чего ж пришел?

— Отдай приказ изготовить.

— Ну, изготовим! Но цех останавливать я все равно не дам. Какая польза готовить?

— Установим, не прерывая работы, — сказал Малинин.

— Опасно.

— Сделаем со всей осторожностью. Лучше один раз опасно, чем все время над головой висит!

— Уговорил. Дам приказ, — сказал директор. — Хотел бы я знать, когда ты на фронте был, о чем ты больше думал? О том, чтобы со своим батальоном приказ выполнить, или о том, чтобы какого-нибудь солдата у тебя, не дай бог, не убило? Что для тебя важней было?

— А ты съезди на фронт, повоюй, там узнаешь, об чем люди думают... А без этого все равно не догадаешься.

— Грубо сказал.

— А ты грубо подумал...

Оба с минуту молчали.

— Если б случайно не узнал от одного человека, как ты в ЦК пошел и меня отбил, чтобы по тому письму меня не таскали, если б не знал этого за тобой...

Капустин не договорил и только покачал головой.

«Вон чего, — подумал Малинин. — Значит, не сдержал все-таки свое слово тот человек!» А вслух спросил:

— Что не договариваешь? Если бы да кабы... Не знал бы этого — не сработался бы со мной, так, что ли? Поставил бы вопрос: или я, или Малинин?

— Возможно, что и так.

— А коли так, зря не поставил. Я не из любви к тебе тогда в ЦК пошел. Просто считал, что ты из-за бабы дела не пропишешь и что баба, которая сегодня с тобой спит, а завтра на тебя

заявление пишет, не стоит того, чтобы из-за нее директора номерного завода снимать. Да и вообще выеденного яйца она не стоит... — сказал Малинин.

И, сказав так, сказал не всю правду, потому что пошел тогда в ЦК все-таки вдобавок ко всему еще и из любви к этому долдону в генеральском кителе. Потому что при всем своем хамстве и других грехах жил этот человек заводом, умел сказать «да» и «нет», пойти на риск, взять на плечи ответственность; мог во время пожара в столярке, как был, в генеральской шинели, броситься в огонь, спасая людей, мог и другое: грудью встать, а не допустить, чтобы завели дело о вредительстве против начальника лаборатории, у которого взорвалась ценная аппаратура... А это пострашней, чем огонь. Была в нем эта черта бесстрашия, за которую Малинин любил даже тех людей, в которых все остальное было ему поперек души.

— Я-то лично и с чертом готов работать, лишь бы он дело делал,— помолчав, сказал Малинин. — А ты, если считаешь, что не можешь со мной работать, иди и доказывай.

— Ну а если пойти пойду, а доказать не докажу? — усмехнулся Капустин.

— Будем и дальше работать, как работали.

— Поздно ходить, привык к тебе... Да и где мне другого такого ангела достанут, как ты?..

Малинин покосился на него и тоже усмехнулся. Давно знал за собой, что в ангелы не годится. Но лицо у Капустина после того, как он сказал эти слова, было непривычно подобревшее, словно он таким странным образом признался в своей ответной симпатии к Малинину.

— Слушай, Николай Иванович,— сказал Малинин, хорошо понимая, что продолжать о том, о чем говорили, им обоим уже ни к чему. — Есть к тебе один вопрос насчет бытовых дел...

Капустин чуть заметно поднял бровь.

«Не беспокойся, не насчет твоих,— подумал Малинин. — Про твои дела знаю, и они меня мало беспокоят... Разбирайся сам с женой...»

— Ты доктора Колчина знаешь?

— Какого Колчина?

— Детского доктора... Ну, из этой... из поликлиники? Мне Овсянникова, из литейки, говорила, что он твоих ребят лечил.

— Знаю. — Капустин вспомнил молодого красивого доктора, которого за последний год несколько раз видел у себя дома. Месяца два назад, когда оба сына сразу заболели дизентерией, а потом ребятам стало заметно лучше, он на радостях задержал док-

тора — поужинал с ним, распил полфляжки спирта и завез его на машине домой, а сам еще поехал в ночную смену на завод.

— Что он за человек?

— Человек как человек... Детей вылечил... А чего тебе-то?

— Тут дочь у Овсянниковой приехала, партизанка, ты ее видел у меня... Сегодня в цехах выступала.

— Знаю, что выступала.

— Так это ее муж.

— Как муж?

— Когда на войну уходила, муж был.

Капустин откинулся на стуле и задумался, глядя в потолок: о чем же они тогда говорили с этим молодым доктором, у которого, оказывается, жена партизанка?

— Подожди, как так жена? Он ведь женат...

— Как женат?

— Да так, женат! — И Капустин рассказал то, что смутно помнил из своего разговора с этим доктором; как тот звонил из его квартиры домой жене и жаловался, что она у него ревнивая, и даже называл, кто она,— тоже врач, только по женским... Сестра жены завврайздравом. — Помню, я еще тогда подумал: больно уж молодой, чудно такого в тылу видеть... А потом, когда объяснил, что они свояки с райздравом, подумал, что малый, видать, не промах, знал, куда причалить, чтобы за броню зацепиться... Стало быть, это он во второй раз женат?

— Это как считать,— сказал Малинин. — Может, и на двух сразу. Матери-то первой жены не сказал, что на другой женился.

— А что, вполне возможно. — Это предположение показалось Капустину смешным. — Теперь, если от второй обратно к первой,— броней рискует. А если со второй останется, то первая пистолет вынет: или возвращайся, или пулю между глаз!

— Глупости говоришь,— сказал Малинин, подумав о Тане. — А вот если он ей не сказал ничего... — Он встал. — Ладно, пошел...

— Что-то у тебя вид больно грозный,— все еще улыбаясь, сказал Капустин. — Смотри, этого доктора не разбронируй, а то некому детей лечить будет, жена заест...

Но Малинин не ответил на шутку. Хмуро, не глядя в лицо, ткнул Капустину руку и пошел из конторы в партком, через невообразимо грязный, заваленный горами шлака и стружки заводской двор.

Тяжело вытаскивая из грязи чавкавшие сапоги, он со злостью думал о том, что женщина надеялась, ехала сюда через всю Россию после немецкого тыла, после госпиталя, а этот мужик, чего доброго, еще морочит ей голову, скрывает, что давно живет с

другой бабой... Может, по любви живет, может, из-за крыши над головой, а может, из-за того, чтоб не разбронировали... Мужики тоже бывают проститутками...

Дежурный в парткоме доложил, что за последний час телефонограмм не передавали, только звонили из заготовочного цеха: будет ли в вечерний перерыв обзор газет? Докладчик заболел.

— Возьми в читальне подшивки, подготовься и сам проведи,— сказал Малинин.

— А дежурство?

— Ничего, я сегодня здесь заночую, домой не пойду... Иди.

Дежурный ушел, а Малинин, посидев несколько минут за столом и преодолев желание положить голову на руки и задремать, снял трубку и стал звонить в поликлинику. Звонил терпеливо и упрямо, не жалея на это времени, как всегда не жалел его, когда принимал какое-нибудь решение. Наконец дозвонился и настоял, чтобы ему позвали к телефону врача Колчина.

— Колчин слушает вас,— раздалось в трубке.

— Малинин говорит. Должен с вами встретиться по случаю вашего двоеженства,— сказал Малинин, нарочно беря быка за рога: пусть, если совесть чиста, обругает!

— Не понимаю вас! Кто это говорит? — Голос в трубке дрогнул.

— Парторг ЦК на заводе... Знаете такой?

— Знаю, конечно...

— У нас мать одной из ваших жен работает... Хочу побеседовать с вами...

— Пожалуйста,— быстро сказали в трубку. — Вас ввели в заблуждение. Но я готов прийти объяснить. Могу даже сегодня, как только сдам дежурство.

— Буду ждать в парткоме. Какие ваши инициалы? Н. И.? Пропуск закажу. — Малинин положил трубку, снова поднял ее, позвонил в бюро пропусков, вынул из стола старый протокол партийного собрания в первом механическом цехе и стал смотреть, что тогда говорили люди.

Собрание было недлинное, а протокол и вовсе короткий. По этим двум тетрадочным страницам, густо исписанным чернильным карандашом, навряд ли человек, не присутствовавший там, мог бы представить себе то знаменитое собрание, когда, узнав, что немцы окружены под Сталинградом, механический цех первым на заводе дал слово на десять процентов увеличить производство мин для «катюш».

Торжественное обещание выполнили, мин в декабре выпустили не на десять, а на двенадцать процентов больше, а в первой декаде января выжали еще два процента. Но зато брак, особенно

в январе, так усилился, что завтра в том же самом механическом цехе предстояло собирать новое партийное собрание — о браке. Поэтому Малинин и смотрел тот ноябрьский протокол...

Майор-военпред, принимавший продукцию, вчера в кабинете у директора за словом в карман не лез, не считаясь со званиями. В интересах фронта ему были даны права ни с кем не считаться...

А потом звонили из промышленного отдела ЦК — это уже Малинину,— и тоже самая мягкая формулировка была, что он отвечает за брак своей головой. И директору тоже звонили. Он вчера после этих звонков пришел сюда, к Малинину, белый от злости, и предложил дать в заводской «молнии» шапку: «Бракоделы из первого механического — убийцы наших бойцов на фронте!»

Малинин не согласился, сказал, что такими лозунгами людей до самоубийства можно довести. В механическом у старых кадровиков почти у каждого сыновья на фронте. Что ж, им бросить в лицо, что они своих сыновей убийцы? Капустин отступил, понял. Да и предлагал не от хорошей жизни. Звонили ему прямо из Москвы и по телефону били смертным боем...

Шапки такой на заводской «молнии» не будет, но брак есть брак, и партсобрание будет жестокое. А проводить его тяжело, потому что в душе знаешь, отчего брак,— оттого, что напрягались неделю, две, месяц, и где-то в январе жила не выдержала... И зима еще сволочная, в цеху пальцы сводит, и домой идут — дома мерзнут, тоже сказывается...

Все так, а брак надо прекратить, не уменьшая выпуска продукции. Приказа отступать — все равно не будет.

Малинин вспомнил собрание и посмотрел по протоколу, что говорил на нем Колодный — бригадир, коммунист, лучший токарь цеха. В протоколе было написано, что Колодный обещал дать на своем станке сто двадцать процентов и сообщить о своей клятве сыну на фронт, под Сталинград. Клятву Колодный сдержал, но за последнюю неделю сорвался — семь его корпусов отправили в брак. Тогда его речь понравилась, хлопали, а что скажут ему завтра?

Малинин положил протокол в папку, сунул в ящик, закрыл глаза и увидел перед собой уже не лицо Колодного, которому предстоит завтра держать ответ на партийном собрании первого механического, а бесконечное снежное поле. И слева и справа, по всему горизонту, дымы, дымы... И метель в лицо, и дым над черной воронкой мины. И ноги проваливаются в глубоком снегу, и уже двое суток не спали и не ели горячего, а еще надо идти и дойти вон до той деревни, над которой дым и строчат немецкие

пулеметы. А когда возьмешь ее, может, и в ней не дадут остановиться и заночевать, а прикажут идти до следующей...

Это были воспоминания его последних суток перед ранением. Да, как бы много ни спрашивали с человека здесь, а все же там, в бою, спрашивают еще больше...

В парткоме было тихо и холодно. Тихо, потому что это вообще были самые тихие часы дня — между началом второй смены и вечерним обеденным перерывом; а холодно, потому что он вчера запретил топить по вечерам стоявшую в парткоме времянку. Заметил, как приходившие по делам из цехов люди задерживались, чтобы погреться, а потом шли обратно к себе на холод. Стало совестно, и запретил топить больше одного раза в сутки.

Он сидел, навалясь на стол, в шапке, в шинели, надетой поверх ватника, смотрел перед собою в стену и думал о том, о чем редко успевал думать,— о собственной жизни. Личная жизнь Малинина мало кого интересовала, и он считал, что так оно и должно быть, но когда сам все-таки думал о ней, то ясно представлял себе, что, если война будет еще длинная, навряд ли он, Малинин, протянет до самого ее конца здесь, на заводе. В прошлом году, в сентябре, когда пришел сюда на завод, после трех операций кишок и желудка, после девяти месяцев госпиталей, ему от радости, что снова при деле, показалось, что он почти здоровый человек. Но в последний месяц ноющие боли в животе, особенно по вечерам, не отпускали по целому часу. Из-за этого вот так и наваливался на стол, словно хотел утишить боль, придавив ее к столу. Когда выписывали из госпиталя, объясняли, что главное — диета. Чего можно, чего нельзя, и чтобы есть понемногу, но часто... А он слушал и думал, что самое главное — работа, а за работой все остальное как-нибудь забудется. Сначала и правда забылось, а сейчас все злее напоминает о себе! А диета что ж, насчет того, чтоб поменьше, выходит, а все остальное не получается. Да и какая, к чертовой матери, может быть во время войны диета, если ты не вор.

Жена старается, варит по утрам жидкую размазню, считает, полезно. Может, и полезно. Говорят, во время войны люди стали мало болеть желудком, чуть ли не эта самая размазня помогает. А ему не помогает. Видно, слишком уж много там внутри за три операции поотстригали, черт бы их драл!..

Малинин сидел и думал о себе, о жене и о сыне, которые сейчас, наверное, уже дома и сидят вдвоем и пьют чай в их холодной большой комнате, которую ему дали, когда он после госпиталя согласился пойти на завод. Он тогда даже заколебался, брать ли на троих такую комнату. Знал, какое вокруг положение

с жильем. Но потом все же взял, пожалел сына-инвалида: пусть хоть будет у него свое место, чтобы спать и заниматься. Раньше был с сыном суров, даже крут, а теперь, когда тот в семнадцать лет вернулся с войны без правой руки, с культей, стал жалеть его, может, даже и чересчур...

Комнату помог получить секретарь ЦК по промышленности, он же убедил пойти на завод парторгом. Сначала колебался: не работал раньше в промышленности — и хотел пойти на более знакомое дело, на кадры. Но секретарь уговорил, сказал, что на учетный стол он и другого найдет, а там, где люди мины для «катюш» делают, ему Малинин нужен. «Будешь там в самой что ни на есть гуще кадров! А насчет знания дела — ты человек с фронта. Это одно сейчас для людей — половина авторитета...» Это, положим, верно, это Малинин потом и сам почувствовал, даже с таким крепким орешком, как директор.

Секретарь ЦК когда-то был инструктором в том же московском райкоме, что и Малинин, а потом быстро пошел в гору. Его, Малинина, по старой памяти переоценивает, считает большей фигурой, чем он есть на самом деле. Предложил пойти парторгом на крупный завод и даже не задумался, справится ли. А он, Малинин, хотя и все отдает, а чувствует, что тянет на пределе своих возможностей... И дело тяжелое, и здоровья нет. Если не считать, что смерть над головой, то в сорок первом комиссаром батальона легче было, чем сейчас парторгом на этом номерном...

Да и смерть над головой — понятие растяжимое. Когда чувствовал себя особенно плохо, как сегодня, считал, что вряд ли продержится до конца войны. Но мысли о том, как бы подольше протянуть на эту последнюю копеечку здоровья, не допускал. Жил, не считаясь с этим.

Когда думал о смерти, то чаще всего это связывалось с мыслями о сыне, с той словно бы торопившейся до конца высказать себя любовью, которую испытывал к сыну последнее время. Сын вместе с матерью приехал к нему сюда, в Ташкент, полгода назад, чтобы быть здесь подле него, если он выживет после трех операций, или схоронить, если умрет. Приехал, пришел к нему в госпиталь и стоял рядом с матерью, совсем еще мальчик, с пустым правым рукавом, с детским проборчиком в волосах. Стоял, сбежавший на фронт, провоевавший всего три недели, до первого большого боя, и уволенный вчистую...

У Малинина все время было чувство, что он должен что-то сделать для сына, чем-то отплатить ему; не за храбрость, с которой сбежал на фронт и в неполных шестнадцать лет заставил взять себя в солдаты, а за ту храбрость, с какой теперь жил,

учился и верил, что, когда кончит весной школу, все-таки добьется, чтобы его хоть писарем, а взяли обратно на фронт. За ту храбрость, с которой никому не давал себе помогать и никогда ни на что не жаловался, хотя руку ему отняли неудачно: культя чувствительная, иногда болит так, что хоть криком кричи... Малинин не раз, просыпаясь по ночам, слышал, как сын лежит в тишине и тяжело, прерывисто дышит. Так не дышат, когда спят, так дышат, когда болит.

О сыне и о том, что будет жаль расстаться с ним раньше времени, думал Малинин, когда ему приходили в голову черные мысли. О жене тоже думал, но по-другому — спокойнее и привычнее. Жена и здесь, как в Москве, работала в жилотделе, только работа была много тяжелей, потому что все время надо было ходить по домам, и обследовать, и вселять, и переселять в комнаты и углы людей, которых набилось за эти полтора года в Ташкенте, как сельдей в бочке! Но жена и эту работу, как прежнюю, делала спокойно, молчаливо и редко говорила о ней. Жена вообще была женщина твердая, и хотя Малинин знал, как она его любит и как привыкла к нему, все же, думая о смерти, он меньше тревожился о жене, чем о сыне. Понимал, что жена будет горевать по нем и, скорее всего, замуж уже не выйдет, не только по возрасту, но и по характеру, а в то же время было у него такое странное чувство, что он умрет, а с ней ничего особенного не случится. Будет жить по-прежнему, так же работать, так же заботиться о сыне... Все то же самое будет, только его не будет...

— Вы товарищ Малинин? — сказал, открывая дверь, высокий парень в пальто и шапке.

— Я... Дверь закройте, холодно. Колчин?

— Да.

— Садитесь.

Вошедший сел на стоявшую против письменного стола длинную скамейку и отряхнул от снега ушанку.

Малинин тоже стащил с головы ушанку и положил рядом с собой на стол.

После разговора с директором он представлял себе, что к нему придет совсем другой человек — постарше и с отъевшейся ряшкой. А этот был, наоборот, молодой и худой.

— Вы доктор? — спросил Малинин. Не потому, что затруднялся прямо начать разговор, а просто захотел услышать от этого совсем еще молодого парня подтверждение, что он доктор.

— Да,— сказал Танин муж. И добавил: — По детским.

— В Первой поликлинике работаете?

— Да.

— У директора нашего, генерала Капустина, детей лечили?

Танин муж кивнул.

— От него сегодня случайно кое-что узнал про вас, поэтому и позвонил.

— Как видите, я сразу приехал,— сказал Танин муж. — Вы меня так по телефону шарахнули! — Он усмехнулся.

— А я как раз и хотел, чтоб сразу приехали. Овсянникову Татьяну знаете?

Танин муж пожал плечами:

— Был женат на ней.

— А теперь?..

— Женился второй раз.

— А ей объяснил, что на другой женился?

— Даже специально на вокзал поехал, встретил ее, чтобы сразу не было никаких недоразумений.

— Правду говорите?

— Вы, по-моему, не поп, а я у вас не на исповеди.

— Как раз я поп,— угрюмо сказал Малинин. — Политруком был на фронте, а нас там бойцы, бывает, попами зовут — отчасти по несознательности, отчасти верно. Не приходилось слышать?

— Нет.

— На фронте, значит, не были.

— Пока не пришлось.

Малинин чувствовал настороженность этого человека. Такая настороженность бывает у людей, которые боятся, что вот-вот сейчас их спросят о чем-то опасном, и в то же время надеются, что нет, не спросят.

— А почему Овсянникову оставили?

— Я не оставлял ее,— пожал плечами Танин муж.

— Как же так не оставлял?

— Я считал, что она погибла. Мы с ней об этом уже говорили, нам двоим все ясно, и, по-моему, третьих тут не требуется! — Танин муж повысил голос.

— Понимаешь, какое дело,— сказал Малинин тихо и глухо, так тихо и глухо, что заставил Таниного мужа податься вперед и прислушаться и от этого потерять ту самоуверенную ноту, с какой он сказал «третьих не требуется». — Понимаешь, какое дело,— повторил Малинин. — У нее мать член нашей парторганизации, здесь, на заводе, в литейке работает.

— Знаю,— сказал Танин муж. — И не раз бывал у Ольги Ивановны и помогал ей, чем мог.

— Что помогал — это хорошо. А плохо, что она до сих пор не знает, что ты еще раз женатый. И дочь ей этого не сказала. Почему?

— А вот этого уж я не знаю, почему. Ей я все сказал, матери не говорил, был у нее вскоре после смерти мужа, и, откровенно говоря, просто духу не хватило; а Татьяне абсолютно все сказал. И она мне, между прочим, призналась, что и у нее были другие за это время. Мы с ней, в сущности, еще до войны должны были развестись — война помешала. Только и всего.

— Да, только и всего, что не было войны, а теперь война,— сказал Малинин. — Это ты верно сказал. Значит, уже здесь, в Ташкенте, с ней развелся?

— Да, здесь.

— И что же в заявлении написал? Пропала без вести и больше ждать ее не в силах? Или что характерами не сошлись: она на войне, а ты в Ташкенте?..

— Написал, что погибла, пропала без вести,— поспешно сказал Танин муж.

Было что-то такое, еще непонятное Малинину, чего этот человек испугался сейчас. Испугался так, что даже не огрызнулся в ответ на насмешку Малинина.

— И справку представил, что пропала без вести?

— Да,— все так же торопливо сказал Танин муж. По его глазам было видно, что он думает о чем-то другом.

— А в каком загсе разводился с ней? — Малинин уже начал понимать, что ни в каком загсе он с ней не разводился, а просто поставил на ней крест и, может, даже не сказал новой жене о том, что жила-была на свете другая.

— По месту жительства,— все так же быстро сказал Танин муж.

— А где оно, место жительства? — Малинин не собирался ничего записывать, но придвинул к себе по столу тетрадку.

Теперь они молча смотрели друг на друга.

— Что вы от меня хотите? — после долгого молчания каким-то жалким, потрепанным голосом спросил Танин муж.

— Ничего я от тебя не хочу. — Малинин отодвинул от себя тетрадку. — Завтра схожу к тебе на работу и, что мне надо, сам узнаю. Не любитель этого дела, но раз не хочешь на откровенность — придется.

— Почему не хочу на откровенность? — все тем же жалким голосом сказал Танин муж. — Наоборот!

Малинин долго молча смотрел на него. «Черт его знает, откуда они такие рóдятся?» — подумал он. Ему стало неохота о чем-то еще спрашивать этого человека. То, что хотел знать, он уже знал: как видно, этот парень действительно признался Овсянниковой, что переженился, пока она воевала, и она мах-

нула на него рукой. «Так чего мне еще надо от него? Что я в самом деле: поп, что ли?»

— Ладно. Извините, что побеспокоил вас. На том и закончим. — Малинин привстал за столом, давая понять, чтоб шел восвояси.

— Нет,— вдруг сказал Танин муж. — Подождите. Я хочу вас очень серьезно попросить, чтобы вы ни в коем случае не ходили ко мне на работу. Поверьте, что от этого никому не будет пользы.

«А я вовсе и не собираюсь ходить к тебе на работу,— чуть было не сказал Малинин. — Есть мне на это время! Просто пуганул тебя, хотел знать, что скажешь на это».

— Я вам сам объясню, как все это вышло. Я не совсем точно сказал вам про развод. Когда я решил жениться, я уже давно считал, что Татьяна погибла, и пошел в загс потому, что хотел, никому не причиняя... сначала развестись, а уже потом жениться. Но мне там сказали, что если жена пропала без вести и я хочу указать этот мотив в заявлении, то нужна официальная справка. А если объяснять, что не сошлись характерами, то надо написать адрес другой стороны, чтобы они ее известили. А какой же я мог написать адрес? И потом, было как-то нечестно писать, что не сошлись характерами. И я в конце концов, после всех колебаний, так и не сказал жене, что был до войны женат. И в загсе, когда расписывались, сказал, что первым браком. Понимаете, какое теперь возникает положение? Татьяна на меня совершенно не сердится, можете у нее спросить. И жене спокойнее думать, что у меня с ней первый официальный брак. Она старше меня и очень нервно к этому относится. А если вы пойдете в поликлинику, она сразу все узнает, она в одной поликлинике со мной работает, и выйдет целая трагедия! И совершенно бессмысленная! Потому что Татьяна мне сразу же, в первую минуту, сказала, что пробудет здесь недолго и уедет обратно на фронт.

«Да, жены своей нынешней боится — это безусловно»,— подумал Малинин.

— Сколько вам лет?

— Двадцать шесть.

— А здоровье как?

Танин муж посмотрел в глаза Малинину и понял: да, именно об этом и спрашивает,— почему не на фронте.

Он не мог ответить правды. Из всех объяснений, которыми постоянно то тут, то там заменял эту правду, торопливо выбрал самое расхожее.

— Я несколько раз просился на фронт, но с меня, как со специалиста, брони не снимают: слишком много детских заболеваний. При таком количестве эвакуированных детей, сами пони-

маете, какие бы возникли эпидемии, если б мы не работали здесь каждый за двоих. А здоровье хорошее, на здоровье ссылаться не приходится, тем более в мои годы. — Объясняя, он почувствовал, что, кажется, объясняет хорошо. И про эпидемии святая правда. И что работы сверх головы, тоже правда. И от этого впервые за время разговора испытал возрождающееся чувство уверенности в себе.

«Что каждый за двоих — верно,— подумал Малинин. — Но почему ты за двоих, а не кто-то другой за тебя?»

— Вы ведь сами ростовский, как в Ташкент попали?

— С первым эшелоном детей. Детей поручили сопровождать, а потом здесь оставили. Рассчитывал вернуться, а приказали остаться.

«И не стыдно тебе, парень, что жена у тебя надела военную форму и поехала на фронт, на запад, а ты с детишками — на восток и спрятался здесь, у них за спиной?..» — хотелось спросить Малинину. Хотелось, но не спросилось, потому что лицо Таниного мужа, вдруг почувствовавшего уверенность в себе, стало другим: спокойным и замкнутым, словно имевшаяся у него броня распространялась не только на его застрахованное от пуль тело, но и на его душу.

— Значит, породнились с нашим райздравом — на сестре его супруги женаты, или мне это неверно сказали? — спросил Малинин вместо того более грубого, что хотел спросить сначала.

— Да, а что?

— Ничего. И жена вас много старше?

— А это уж вовсе никого не касается,— пытаясь сохранить достоинство, сказал Танин муж и встал.

Малинин тоже встал.

— И детей нет?

— Нет.

Танин муж смотрел на Малинина, и его раздирали противоречивые чувства; хотелось сказать этому непрошеному прокурору: пошел ты к черту, тем более что ничего со мной все равно не сделаешь! А в то же время оставалось чувство опасности: вдруг возьмет да придет в поликлинику, и жена узнает, что приехала Татьяна. Он представил себе, как жена будет дома рыдать и позовет свою сестру, и та тоже сначала будет рыдать, а потом они обе перестанут рыдать и начнут кричать; а потом, поздно вечером, придет хозяин дома и будет пить чай и спрашивать устало: ну, как дела? А обе женщины будут смотреть на тебя с выражением, с которым они всегда смотрят, когда за что-нибудь злы, как бы обещая этим выражением: а вот мы сейчас расскажем ему про твои дела. Жена сходила с ума и по более мелким поводам, звонила черт знает куда, проверяла, действительно

ли выехал на вызовы. А тут вдруг Татьяна! Ударится в истерику и начнет кричать о разводе. И если не удастся ее утихомирить тем, чем он обычно ее утихомиривает, кто знает, на что способны эти бабы, когда они вдвоем и заодно. Даже не хотелось думать, на что они способны. Да, он держался за нее не только потому, что оказался по ее доброте жильцом в их квартире и отчасти нахлебником военного времени, а в конце концов и мужем, но и потому, что за всем этим была лежавшая в паспорте бумажка, которая в любой момент могла улететь оттуда. Да, он боялся этого. Он больше всего боялся именно этого, хотя много раз говорил разным людям, что готов хоть завтра ехать на фронт, и когда говорил это, выпив, то даже самому казалось, что говорит правду.

— Если вопросы все, я, пожалуй, пойду,— сказал Танин муж с трудно дающимся ему спокойствием.

— Вопросы все. А хотя нет. Вы член партии или беспартийный?

— Комсомолец,— сказал Танин муж, заметил хмурую ухмылку Малинина и через силу улыбнулся. — Так вышло, что засиделся. Вместе с Татьяной вступали еще в школе.

— Да, вступали-то вы вместе... — Малинин вздохнул. — Вопросов больше нет. Есть одно предложение.

Танин муж вопросительно посмотрел на него.

— Если через неделю не услышу, что сам на фронт пошел, имей в виду, посодействую, чтоб разбронировали. И учти, ровесник Октября: языком не треплю.

— Странно и глупо слышать это от вас,— сказал Танин муж, повышая голос.

— Умно или глупо, а не пойдешь сам на фронт — с броней простишься,— сказал Малинин, с уверенностью подумав, что да, есть прямая необходимость сделать это! Не имеет права так быть! Старые местные врачи, такие, как их участковый, люди в пятьдесят лет, с большой семьей, получают предписания и, слова никому не сказав, прощаются и едут на фронт. А этот явился сюда, в эвакуацию, устроился в мужья к какой-то перезрелой стерве и сидит тут, как гвоздь, и будет сидеть, пока молебен о победе не отслужит. А что по другим каждый день панихиды воют, ему дела нет! «Да, сделаю все, что в силах,— подумал Малинин. — Хоть ты и кругом круглый, а найду, за что схватить, выведу на чистую воду и тебя, и твоего родственничка. Понадобится для такого дела — личные отношения использую»,— вспомнил он о секретаре ЦК.

Они все еще стояли друг перед другом: Танин муж — не зная, что бы еще такое сказать после слов «странно и глупо», а Малинин — дожидаясь, когда он уйдет.

— Вам еще будет стыдно передо мной,— сказал наконец Танин муж.

— Ну что ж, вернетесь с войны в орденах да в нашивках за ранения — стыдно станет, прощения у вас попрошу,— сказал Малинин, спокойно подумав, что в сорок первом на фронте среди многих других через его руки проходили и такие, как этот. Тоже не меньше его боялись войны, но обстановка была другая. И боялись, и шли, и воевали, и умирали, и в госпиталях лежали, и подвиги даже иногда потом совершали, когда ничего не оставалось делать: или умри, или убей.

Танин муж схватил со стола шапку, натянул ее и пошел к двери.

— Подождите, пропуск отмечу.

Малинин поставил свою подпись на пропуске и, глядя ему в спину, еще раз подумал: «Да, и такие на войне бывают, и с ними приходится дело иметь, и никуда их, кроме войны, не денешь».

Танин муж вышел, а Малинин сел за стол и, навалившись на него животом, почувствовал, что мучившие его сегодня боли не прошли, а только на время забылись и сейчас опять начнут выворачивать наизнанку.

«Дал слово, что возьмусь за него через неделю,— сердито подумал Малинин. — А могу и не сдержать. Кто знает, когда придет твой конец жизни и за сколько дней догадаешься, что это он?»

На столе задребезжал телефон. Звонил начальник первого механического.

— Слушай, Малинин... хорошо, что застал тебя. У нас с Колодным беда.

— Что такое?

— На вторую смену остался сегодня, хотел брак свой покрыть, упал за станком. За врачом послали.

— Сейчас приду.— Малинин встал из-за стола и, нахлобучивая ушанку, подумал: «Вот тебе и проработали Колодного»,— подумал с обращенным к самому себе горьким осуждением, хотя судить себя ему вроде бы было и не за что...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

В кинотеатре «Хива» уже третий день крутили картину «Секретарь райкома». Услышав, что эта картина про партизан, Таня хотела пойти на нее вместе с матерью, но мать и вчера и позавчера так поздно кончала работу, что совестно было ей предлагать...

— Да ты не майся, одна сходи, днем,— сказала мать сегодня утром, когда Таня, проводив ее и Серафиму от дома до работы, прощалась с ней у проходной.

— Ладно, схожу. А к концу смены зайду за тобой и домой вместе поедем.

— Сама доеду, не маленькая, гуляй, раз ты отпускная! И так с этими с речами да с выступлениями завертели, как белку в колесе! На завод лучше не показывайся, а то опять чего-нибудь вздумают,— недовольно сказала мать, но в ее ворчании было больше гордости, чем досады, и Таня улыбнулась, провожая ее глазами.

Улыбнулась и пошла из конца в конец по утреннему городу. Прежде чем думать о кино, надо было сходить в продпункт около вокзала и получить там продукты по аттестату. Вчера доели последнее из того, что она привезла с собой из Москвы.

Таня шагала по городу и все еще привыкала к нему, хотя уже шла вторая неделя, как она жила здесь. Город был непохожий на все города, в которых она раньше бывала, и зима в нем была непохожая на все другие зимы. Сначала, в первые дни, зима сразу стала весною, снег на мостовых за один день потек ручьями, и Таня вдруг заметила, как много здесь деревьев всюду: и на улицах и во дворах,— и догадалась, каким красивым бывает этот город в другое время года, когда в нем становится столько зелени, что ей, наверное, тесно в небе.

Сегодня утро опять было пасмурное, лужи затянуло льдом, но Таня уже видела город вчерашним, весенним, и ей казалось, что новые заморозки не могут быть надолго.

Продпункт помещался в угловом доме на той большой привокзальной площади, куда Таня вышла, когда приехала. Только площадь теперь была уже не белая, снежная, а весенняя, пегая, со льдинками замерзшей воды между булыжниками.

Простояв в полутемном продпункте часа полтора и получив продукты, Таня, закинув за плечо нетяжелый мешок, шла через площадь, радуясь дневному свету, и, разыскивая глазами льдинки между булыжниками, с хрустом наступала на них каблуками. Она еще со вчерашнего дня была в хорошем настроении. Вдруг наступившая оттепель словно чуть-чуть приподняла с людских плеч тяжелую усталость второй военной зимы. Все обрадовались солнцу и теплу, и когда Таня выступала вчера в обеденный перерыв в столовой, ей даже показалось, что люди по-другому, чем раньше, слушают ее, реже вздыхают и чаще улыбаются. А потом, едва она вышла, на заводской двор въехало несколько грузовиков с красными флагами: на первом, в кузове, стояли два

старых узбека и изо всех сил дудели в такие длинные трубы, что их, наверное, трудно было удерживать в руках. Это и был один из тех красных обозов, про которые рассказывала мать; а теперь Таня увидела его сама и узнала из разговоров, что на грузовиках привезли для столовой джугару, капусту и репу, а длинные медные трубы называются «карнаи» и на них узбеки играют на свадьбах и разных других торжествах. От этих труб, блестевших на солнце своей медью, тоже дохнуло весной, и Таня, глядя, как таскают из кузовов на кухню мешки с джугарой, вспомнила слова матери: «Только бы перезимовать, летом легче будет» — и радостно подумала: будет, непременно будет легче! Особенно если на фронте и дальше так пойдет, как все эти дни,— победа за победой!

А вчера вечером хозяин дома, муж Халиды, Мариф-ака, в первый раз вернулся после дневной смены — до этого он все работал в ночь — и зашел к ним в комнату и позвал всех к себе поесть дыни. Дыня была такая громадная, каких Таня никогда не видела, и со всех сторон обвязанная соломенным жгутом. Оказывается, она была еще с осени подвешена под потолком в подвале и, если б не приезд Тани, наверное, еще висела бы там и висела. Мариф-ака взял нож и, придерживая дыню одной рукой, сделал несколько быстрых надрезов, а потом сразу отпустил дыню, и она сама распалась на подносе, как ромашка с огромными лепестками. И все съели по куску дыни, словно сейчас была не зима, а лето. Дыня оказалась чуть-чуть горьковатая, но все равно вкусная. А когда взрослые съели по куску, Халида позвала детей — только младших, девочек, потому что оба старших мальчика были во вторую смену на заводе. И девочки одна за другой откуда-то появлялись и брали по куску дыни и опять молча исчезали, только мелькали в полутьме их черные и русые, мелко, по-узбекски, заплетенные косички. И, кроме цвета этих косичек, Таня не почувствовала вчера за весь вечер ничего, что бы отделяло в этом доме своих детей от не своих, и незаметно ни для кого прослезилась от того чувства, которое испытала.

Вот и все вчерашние причины для того хорошего настроения, которое не исчезло и сегодня. Никаких других причин не было. Мать несколько раз снова подступалась к ней: как же все-таки с Николаем? Но она молчала, не отвечала. Об Артемьеве как-то почти и не думалось. Попробовала было представить себе, как они вдруг увидятся, но спокойней было думать наоборот, что ничего не было и ничего не будет, тем более что от Серпилина по-прежнему нет ответа, да и, наверное, не до писем ему теперь, когда после отказа немцев принять наш ультиматум там, под Сталинградом, идут такие бои!

Подумав о Сталинграде, Таня вспомнила, как Малинин сказал ей про эту площадь, по которой она шла сейчас, что в сентябре, когда немцы дошли до Волги, в один из вечеров лежали на этой площади вповалку несколько тысяч улегшихся ночевать эвакуированных, а к утру из этих тысяч под открытым небом не осталось ни одного: хорошо или худо, а всех взяли под крыши. «Я русский человек,— сказал ей Малинин,— и, если при мне нашего брата заденут, могу и по шее дать! Но как здесь людей под крышу принимают и как детишек в семьи берут,— этому при всей нашей русской широте не грех поучиться. Это я тебе точно говорю. У меня жена по этому делу работает. Она знает».

«Неужели здесь сплошь лежали люди?» — подумала Таня, глядя на почти пустую и от этого казавшуюся особенно большой площадь. Там, в тылу у немцев, больше думалось об оставшихся в оккупации, а здесь каждый день продолжало поражать, сколько народу успело уехать сюда из России и с Украины.

«Полтора миллиона в одном Узбекистане»,— сказал ей Малинин. А всего сколько прилепилось их на тычке по всей стране, временных, «выковы́рянных», как они сами горько шутят над собой. Война — горе со всех сторон, с какой ни возьми, но новая, только что открывшаяся сторона всегда поражает больше других, к которым уже привыкла!

Когда Таня добралась до кино, оказалось, что на первый сеанс билетов уже нет, а есть только на следующий — трехчасовой. Она взяла билет и, находившись по городу так, что уже начала мерзнуть, решила вернуться в кино, погреться в фойе, как вдруг из-за угла, с соседней улицы, донеслась музыка духового оркестра, игравшего вступительные такты «Священной войны».

Сначала мимо Тани туда, за угол, где гремел оркестр, пробежали дети, потом побежали взрослые, все больше женщины; какая-то старуха с «авоськой» пробежала, ударив Таню по ногам буханкой черного хлеба, лежавшего в «авоське», и осуждающе оглянулась: почему Таня не бежит, как все? И Таня, как все, побежала и завернула за угол и добежала до следующего перекрестка, через который по мостовой за оркестром шли солдаты с полной выкладкой, с винтовками и громко пели молодыми строгими голосами «Священную войну».

Только недавно Таня думала, как мало в это время дня народу на улицах, а сейчас перекресток был запружен людьми, набежавшими со всех сторон на звуки оркестра.

Оркестр гремел уже впереди. Солдаты шли, и мальчишки бежали рядом с ними, и люди с обеих сторон улицы, толпясь, гля-

дели им вслед, и на минуту Тане показалось, что никакой войны еще нет, что это еще до войны в Рязани идут по Ряжской улице с учений батальоны их 176-й Краснознаменной дивизии и что, только что прибыв по комсомольскому набору врачом-стоматологом в распоряжение покойного начсандива Горячкина, она в первый раз в жизни смотрит, как мимо нее идут с учений солдаты, и дивизия еще не окружена под Могилевом, и никто еще не убит, и не ранен, и не разорван на куски у нее на глазах, как Горячкин, и оркестр играет не эту грозную песню, а «Если завтра война...», и люди стоят рядом с нею, и так же, как она, смотрят и улыбаются, улыбаются, улыбаются...

Она обернулась, услышав, как сзади кто-то громко всхлипнул, и увидела лицо той старухи с «авоськой».

— Наше Ленинское училище идет! — сказала старуха. — Как идут-то, душа радуется! — И, сказав это, улыбнулась сквозь слезы и гордо вздернула головой так, словно она была какой-нибудь бывший военный, а не старуха с «авоськой».

Таня поглядела вокруг и увидела, что многие одновременно и улыбаются и всхлипывают, глядя на проходящих курсантов, и машут им руками так, словно они с этой песней где-то там, за углом, пойдут прямо в бой.

А совсем рядом с Таней стояла бледная, еще не старая женщина и молча плакала, закусив губы, и хотя она плакала молча, не всхлипывая, у нее было такое выражение лица, что Таня поняла: у этой кто-то уже никогда не вернется, — и взяла женщину под руку и тихо сказала ей:

— Ну чего вы, не надо!

— Скоро выпустят их из училища... — не отпуская закушенной губы, еле слышно сказала женщина и ничего не добавила, но все остальное и без этого было понятно, и от слов ее сразу дохнуло войной.

В кино Таня пришла все-таки рано, за полчаса. В нетопленном фойе было холодно, но потом в набитом до отказа зале она так согрелась, что к середине картины даже расстегнула шинель.

Некоторые места в картине были похожи больше на сказку, но Тане очень понравился артист Ванин, игравший главную роль. А ее соседи так волновались, что совсем затолкали ее локтями, и Таня почувствовала гордость, что здесь все люди так переживают за наших партизан. Когда она вышла из кино, ее вдруг окликнули:

— Таня!

Она обернулась и увидела своего бывшего мужа, перебегавшего улицу.

— Здравствуй, Коля! — Она вскинула на плечо мешок с продуктами и поздоровалась; на улице было свежо, а рука у него была горячая и потная.

— Ты что, нездоров?

— Нет. А что?

— Рука мокрая.

— Не знаю,— сказал он,— может, и нездоров. Я теперь вообще ничего не знаю.

— Что с тобой? — спросила она. У него было какое-то помятое лицо, словно он долго лежал, уткнувшись лицом в подушку.

— Я ищу тебя с утра,— сказал он, не отвечая на ее вопрос,— был и у вас дома, и на заводе. Думал застать тебя там. Уже пропуска добился. А потом вахтерша, ваша соседка, сказала, что ты собиралась на дневной сеанс на «Секретаря райкома». Пошел наугад — в «Хиву». Он в двух кино идет.

— Понравилось? — спросила Таня.

— Я на первый сеанс билет взял, но тебя не было — ушел. А на этот опоздал, на улице ждал, боялся пропустить тебя. Почему ты мне так и не позвонила?

— А мне сказали, что ничего от тебя не нужно, чтобы развестись. Что я могу и одна пойти.

— Мне нужно с тобою поговорить, есть у тебя время?

— Конечно.

Они дошли до сквера, сейчас в сумерках голого и неуютного, с полосами грязного недотаявшего снега, с черными стволами тополей, покрытыми ледяной коркой. Два узбека, старик и мальчик, оба в черных ватных халатах, пилили ручной пилой сваленный ветром тополь.

У скамейки, к которой они подошли, задняя доска была отодрана: кто-то ночью оторвал на растопку. А сиденье, намертво привернутое к чугунным ножкам, еще оставалось, только один край был обколот так, словно от него щепали лучину.

— А чего нам сидеть? — Таня поглядела на ободранную скамейку. — Лучше походим. Что случилось?

— Ничего особенного не случилось,— сказал он бескровным, опустошенным голосом. — Думал, что никому не мешаю жить, а оказывается, мешаю. Думал, что с утра до ночи детей лечу, мечусь с эпидемии на эпидемию, значит, все же что-то делаю. А оказывается, нет, просто от войны прячусь.

— Что-то я ничего не понимаю!

— А что тут понимать! Надо писать заявление и надевать шинель, тогда я, оказывается, буду человеком. А без этого я не человек.

— Тебя что, призывают?

— Никто меня не призывает. Призвали — пошел бы! Не об этом речь!

— А почему заявление? Ты что, сам решил ехать? Если тебе передо мной неудобно, так это глупости,— сказала Таня, хотя в душе знала, что это совсем не глупости.

— Слушай, ты должна для меня сделать одну вещь... — Он остановил ее за руку. — Я виноват перед тобой, но ты знаешь, что я не злой и не плохой человек и всегда стараюсь делать хорошее не только для одного себя, но и для других...

Она могла бы ответить на это, что делать хорошее для себя ему удается чаще, чем для других. И в конце концов почти всякий раз выходит, что не он для других, а другие для него. И теперь тоже, оказывается, она должна для него что-то сделать. А почему, собственно? Только потому, что он не злой и не плохой? Да, не злой, не плохой. «Все у него «не» да «не», а где же «да»?» — сердито подумала Таня.

Она слушала его, не перебивая, а он продолжал говорить о том, как его чуть не каждую ночь поднимают с постели, и какие тяжелые случаи дифтерии он вылечил за последние два-три месяца, и менингита тоже, и сколько приходится бегать из конца в конец города, пока ноги не отваливаются... и еще, и еще что-то все о том же — какой он хороший.

— Зачем ты мне все это говоришь? — наконец не выдержала Таня.

— Чтобы ты поняла меня до конца.

— А вдруг я не хочу понимать тебя до конца? Живи себе, пожалуйста, как живешь. При чем тут я?

— В самом деле, я все хожу вокруг да около,— сказал он и улыбнулся. — Как-то боюсь начать. Уже неделю думаю, а только сегодня решился. Дай подержу твой мешок,— вдруг вспомнил он о мешке у нее за плечом.

— Ничего, мне не тяжело. — Таня отступила на полшага. Он стоял слишком близко, она не любила, когда ей дышали в лицо.

— Ты ничего не говорила про меня парторгу завода?

— По-моему, нет.

— А ты вспомни. — В голосе его прозвучало недоверие.

— У меня хорошая память,— сказала она сердито. Ей не приходило в голову говорить о нем Малинину. Если бы сам Малинин спросил, сказала бы. Но Малинин не спросил.

— Значит, твоя мать ему на меня наговорила!

— Вот уж не думаю... — Она запнулась. Ей стало обидно за мать, за ее слишком хорошее отношение к нему.

— Тогда не знаю. Значит, он сам такой бешеный огурец. Есть же такие люди: никто их не просит, а лезут. Вызвал меня к себе, обозвал двоеженцем и чуть ли не требовал, чтоб я на тебе обратно женился. Успокоился только, когда я сказал, что ты сама этого не захочешь, что у тебя без меня были другие мужчины.

— А все-таки свинья ты.

— Почему свинья? Ты же сама призналась.

— Тебе, а не ему. Считала, что обязана сказать, чтобы ты... — Она не договорила и махнула рукой. — Кто тебя просил ему это говорить?

— А что, ты стесняешься?

— Я ничего не стесняюсь. Я не просила тебя об этом говорить. Вот и все.

— В конце концов, если ты считаешь, что я не имел права... Но не в этом дело.

— Да, конечно.

Она чувствовала по его лицу, что он сейчас о чем-то попросит,— ей было хорошо знакомо это выражение. Сейчас попросит. Но о чем?..

— Ты с этим Малининым в хороших отношениях?

Она пожала плечами:

— Три раза с ним говорила. А что?

— Он заявил мне, что если я сам через неделю не уйду добровольцем на фронт, то он добьется, чтоб меня разбронировали. А у него, оказывается, здесь, в Ташкенте, наверху такая рука... Я и не представлял, только вчера узнал.

— А почему он тебе так заявил?

— Представления не имею. Наверное, вбил себе в голову, что все врачи моего возраста должны быть на фронте. Ему дела нет, что я не просил ни о какой броне, что мне сами ее предложили и, значит, имели причины. А теперь я должен жить с топором над головой... С какой стати?..

— А чего ты так волнуешься? Может, он просто погорячился. И в конце концов, если даже тебя вдруг возьмут...

Он не дал ей договорить.

— По закону — пожалуйста!.. — крикнул он. И повторил яростно: — Пожалуйста!.. Но пропадать только из-за того, что кому-то попала вожжа под хвост!.. Ты должна поговорить с ним. Очень тебя прошу!

— О чем?

— Скажи ему, что ничего не имеешь против меня. Что он зря на меня взъелся... Объясни ему это, ради бога, чтобы он выбросил из головы свою дурацкую идею. Наконец... — Он зако-

лебался, но все-таки выговорил: — Теперь это для тебя ничего не значит... Скажи ему, просто для того чтоб он отстал, что еще любишь меня и что просишь его...

— Замолчи, пожалуйста... — сказала Таня. — Если бы я вот хоть на столечко (она показала двумя пальцами, на сколечко) любила тебя, я бы сделала все, чтобы ты поехал на фронт. Как ты этого не понимаешь!..

Она все-таки не могла понять из его объяснений, почему Малинин так хочет его разбронировать. Наверное, он чего-то недоговаривает... Но ей и не хотелось спрашивать. Чувствовала, что за этим скрывается еще что-то стыдное, о чем даже противно было думать.

— Но ты все-таки что-нибудь скажешь ему? — спросил он.

— Ничего я ему не скажу. Сам разбирайся. И уходи, пожалуйста, вон.

Она повернулась, пошла и, услышав, как он идет за ней, резко остановилась.

— Я сказала: уходи. Разве ты не слышал?

— А мне тоже в эту сторону.

— Хорошо. Куда мне идти, в какую сторону, чтобы не в ту, в которую тебе... Ну, куда?..

Она посмотрела ему в лицо и пошла мимо него в обратную сторону, сама еще не решив, куда идет, только бы подальше от него.

Через двадцать шагов она поняла, что на этот раз он не идет за ней. Заезжать за матерью на завод теперь было рискованно: можно разминуться. Оставалось ехать домой. Мать тоже, наверно, вот-вот сдаст смену и поедет домой. Она дошла до перекрестка и свернула, чтобы выйти к трамваю. На углу, где она поворачивала, был загс, в который она заходила три дня назад, чтобы узнать, нужно ли ей для развода являться туда вместе с бывшим мужем.

Сейчас, проходя мимо этого дома, она вспомнила тот загс в Ростове, где они расписывались. Тоже на углу, с такой же, едва заметной табличкой у подъезда. И с недоумением и стеснением вспомнила то чувство, которое у нее было тогда к нему. Да, да, было.

Она два с половиной часа промаялась с трамваями, все никак не могла сесть сначала на один, потом на другой и, подходя к дому, была почти уверена, что мать уже там, но, оказывается, она еще не вернулась. Не было и Суворовой: у той на сегодня выпала пересмена, и ей выходило оставаться на заводе сутки подряд. В комнате был один Суворов, сидел у стола одетый, уро-

нив голову на руки. Таня подумала, что он выпил, но он, как только она вошла, поднял голову и стащил шапку.

— Вот так бывает, до дому дойдешь, а раздеться сил нет... Матери твоей не стал дожидаться — один ушел. У ней в столовой сегодня комиссия. Заведующую застукали: мясо прятала... Пишем плакаты: «Каждый грамм в рабочий котел!» — а, как ни стараемся, не выходит!.. Где была?

— Картину «Секретарь райкома» смотрела.

— Ну и как? Это же про вас, про партизан...

— Понравилась, — сказала Таня и, помолчав, добавила: — Хотя многое не похоже.

— Мало что не похоже,— сказал Суворов. — А про нас попробуй картину сними, чтобы все похоже было! Весь наш завод теперь посмотрела?

— Весь посмотрела.

— И что скажешь?

— Трудно... Особенно детей мне жалко.

— А мне их не жалко,— неожиданно для Тани сказал Суворов. — У меня в цеху двадцать подростков... Из ленинградского ФЗУ их привезли, при заводе Лассаля. Вот когда мне их жалко было... Месяц их, кто живым доехал, в доме отдыха держали, кормили, по приказу директора изо всех, из каких могли, фондов отрывали. А теперь работают. Мне их не жалко, что они работают, с них это тоже требуется. Мне их жалко, как бы эти подростки так не подросли, что их на фронт возьмут, переживаю, чтоб их не убили, чтоб война раньше этого закончилась. А так чего ж, пусть тянут, мы тоже не железные.

Он стащил с себя пальто, повесил на гвоздь и снова сел за стол.

— Пол-литра поставишь — все тебе про наш завод расскажу.

— Откуда же, Василий Петрович?

— Знаю, что неоткуда! Тогда чаем напои — половину расскажу. С тебя и половины хватит...

Таня раскутала чуть теплый, еще с утра завернутый в тряпье чайник, немножко подогрела его на керосинке, на одном фитиле, присела к столу, налила Суворову и себе, вынула из мешка полученный по аттестату хлеб и нарезала несколько ломтей потолще, чтобы Суворов брал, не стесняясь. Пока она все это делала, он сидел и молчал, подперев подбородок кулаками и закрыв глаза. Тане даже показалось, что он заснул.

— Давайте чай пить. — Она тронула Суворова за рукав.

Он открыл глаза, взял стакан, быстро, в несколько глотков, выпил чай, съел кусок хлеба и накрыл рукой стакан, когда она снова собралась налить ему.

— Пока не надо.

— Тогда про завод рассказывайте,— попросила Таня.

— А чего рассказывать. Сама все видела... Такую махину по мирному времени сюда бы год везли да на новом месте еще бы два года монтировали. Вышел я в сорок первом году в Ростове в последний раз с завода, уже в эшелон грузиться, и по дороге забежал к себе на квартиру. Только за полгода до этого ее получили. Пришел. Дверь открыл ключом. В квартире тепло: ТЭЦ заводская еще работает, еще не взорвали ее. Репродуктор невыключенный музыку передает. Окна закрытые, и цветы на окнах повяли: стоят неполитые. А семья уже третьи сутки где-то в эшелоне качается... А чего сейчас вспомнил все это, сам не знаю. Эта квартира для нас с Серафимой теперь давно прошедшее — у нас теперь здесь, в Ташкенте, родной дом! Отсюда одного сына проводили и сюда похоронную получили... Отсюда второй сам ушел, и похоронная опять сюда же... А знаешь, как ушел? Он у меня в цеху кузнецом работал, я надеялся об нем, что не призовут: квалификация сильная. А потом на работе пальцы зашиб и на бюллетене был. Встретил в октябре своих товарищей призванных... А тогда, в октябре, какие разговоры? Сталинград, Сталинград, Сталинград... Они говорят: «Едем в Сталинград!» Зашел вместе с ними домой, полбуханки хлеба взял, котелок взял, записку оставил и уехал. А следующее письмо — похоронная... Я молодой еще, двадцати лет на Симе женился, мне сорок три года только в марте будет, а двух сыновей уже нету, война взяла... Как же так, как же нам дальше о своей жизни думать?

Зашли мы в тот выходной с ней на сквер... Сидим, солнце греет, снег тает... Я ей говорю: «Сима, а Сима, если война в этом году кончится, еще и сына и дочь сделаем... Мы еще с тобой не старые!» Она говорит: «Нет, больше не стану». А я ей говорю, в шутку: смотри, ты не станешь — я себе молодую возьму, от нее детей заимею... Уже сказал, потом подумал, что глупость сказал: обидится... А она не обиделась, так серьезно мне отвечает: «Вот и хорошо, говорит, а я бабкой при них буду. Старуха уже я, разве не видишь?» То она плакала, а от этих слов я заплакал. Сижу рядом с ней и плачу. Так сказала, словно руки на себя наложила... Я плачу, а она сидит, молчит и не плачет. Потом говорит: «Пошли, что ли, домой...»

Вот как, Таня, жизнь обертывается. Конечно, не в каждом доме так, а в нашем — так. Хорошо, что ты к матери живая приехала, и не уезжай от нее, если можешь...

— Нет, Василий Петрович, я на фронт поеду, когда отпуск кончится. Я уже маме сказала...

Он махнул рукой, не стал спорить. Потом, помолчав, спросил:

— Литейка наша как тебе, понравилась? Ну, правду говори! Страх и ад тебе показалась наша литейка, как в первый раз пришла, да? Люди в песке спят прямо у печей, несовершеннолетние около огня ходят... Бабы надрываются, ящики носят, какие другому грузчику не поднять. Так?.. А теперь я тебе расскажу, что мы этой литейки как манны небесной ждали, когда строили... Девяносто суток строили, всем заводом часы считали. Зотов, инженер, который строил, семь последних суток не спал, полез на крышу крепления проверять, заснул и упал, хребет сломал и помер за полдня до пуска... Литейка наша еще хорошая! По Ташкенту одна из лучших! Можно сказать, от радости плакали, когда пускали ее: завтра последние заготовки, что с Ростова вывезли, кончаются, а сегодня первое литье дали! Ни на один день наше производство не стало... А генералы и полковники приезжают сюда за «катюшами», и только от них и слышишь: «спасибо» и «давай». Давай, давай... И даем, как в прорву. В ноябре пупы порвали, а в декабре на десять процентов больше ноября дали! Не за спасибо и не за ударные пончики, а за то, что на фронте наступаем... Дождались! Уже и до Ростова теперь недалеко. Я по карте меряю. Решили с Симой: не поедем теперь туда, обратно. Тяжело. А все равно меряю.

Я в прошлом октябре пьяный напился... Сын уехал, записку оставил... Я в тот день не пил, а выходного дождался; сына туфли белые на лосевой подошве — еще в Ростове покупали — взял на толкучку, на пол-литра сменял и напился в последний раз в жизни. А потом, когда заснул, приснился мне старший сын, убитый; стоит передо мной в солдатское одетый и на коленях... Я говорю ему: «Встань!» А он говорит: «Не могу, у меня ноги оторванные...» Стоит и смотрит на меня. «Пьешь? — спрашивает, а я молчу, не могу ответить. — Ну, пей, пей», — говорит и идет от меня прямо коленями по земле... Ты, Таня, пиши матери, как уедешь. Лучше прямо на завод пиши, чтобы письма не пропадали...

— Василий Петрович, что с отцом было?

— То, что от матери знаешь.

— А виноват он был?

— Так считал себя.

— А вы?

— Голосовал за исключение. Других предложений не было.

— Ну а если бы он в самом деле все это с собой взял и на немцев нарвался, и все к ним попало бы, разве лучше?

— Что лучше, что хуже — это нам знать не дано, а что он должен был ведомости и взносы забрать с собой, а не забрал, как факт осталось! Некоторые, больше чем уверен, и не из таких фактов потом выкрутились, и ничего, ходят с партбилетами... А он на честность все сказал. А что думал как лучше, а вышло как хуже, — разве с ним с одним тогда было? Комбайны новенькие, своими руками сделанные, перед противотанковыми рвами вместо заграждения валили — один на другой... А в цехах то команда рвать, то не рвать... В колоннах бурки просверлены, в цехах тюфяки, ведра с горючим — сразу подготовка и на взрыв на поджог. То рвать, то жечь.... И немцы, говорят, уже в город вошли... Пойди разберись в то время — где чего...

— Это время я помню... — Таня вздохнула.

— Бардак бардаком, извиняюсь за выражение, а завод вывезли, — сказал Суворов. — И цеха демонтировали не так, чтоб тяп-ляп, а так, чтоб по силе-возможности потом сразу найти, где чего! И через шесть недель первую продукцию здесь дали. Из старых заготовок, конечно. Но ведь и их тоже вывезли, не бросили. А Кротов, который отца твоего подвел, на мою личную думу, подлец был, и больше ничего!

— А если нет?

— А чего ты сомневаешься? Не видала, что ли, таких там, у немцев?

— Я такое видела, что вы себе и не представляете. Я таких подлецов там видела...

— А в цеху у нас беседовала — про них нам не поминала, — усмехнулся Суворов. — Больше все про ваши партизанские подвиги описывала...

— Неправда, напоминала. И про то, как к смерти приговаривали и ликвидировали их, тоже говорила.

— Ну это так, между прочим.

— А что ж мне вам расписывать было, какие они? Что, вы сами не можете себе представить? Что вы думаете, приятно при людях рассказывать, как, если мне приказано, я должна с таким водку пить, и фокстрот под пластинку танцевать, и терпеть, чтобы он приставал ко мне, и выкручиваться, и обещать, что в другой раз все будет... А потом фортку два раза открыть и закрыть — сигнал дать, чтобы знали, что он сейчас один выходит, пьяный, и чтобы его на углу кончили... Ни какие они есть, не хочу рассказывать, ни как убивают их. Так, под настроение сейчас сказала...

— Вот ты какая!.. А я было думал, ты тихая.

— Тихая была, да сплыла, — все еще сердясь на Суворова, сказала Таня.

Она не могла простить ему, что он словно бы усомнился в ее правдивости. Да, она не все, что знала, говорила там, у него в кузнице, когда беседовала с рабочими. Не все имела право говорить и не все хотела. Но все, что говорила, каждое слово было правдой. Про всех людей — была правда, про все их геройство, про все их хорошие дела... И про Каширина, и про других, и про Дегтяря тоже, потому что кому какое дело, что там у нее с ним было, а все равно он был самый настоящий герой.

— Ты не обижайся, — сказал Суворов, видя, как сердито она молчит. — Твоя беседа у нас в кузнице даже очень хорошая была. Я тебя просто поддразнить хотел, а ты сразу в бутылку... Что у вас там, в партизанах, все такие занозистые?

Он вопросительно посмотрел на нее, подперев большим кулаком свое маленькое веснушчатое, хитро сощурившееся лицо, и Таня, глядя на это вдруг помолодевшее лицо, вспомнила двор там, в Ростове, и пьяненького Василия Петровича, который после получки шел по двору, пританцовывая, миролюбиво отводя от себя руки спешившей затолкать его домой Симы, и пел озорные частушки, с вызовом задирая веснушчатое лицо к окнам верхних этажей.

Таня улыбнулась этому воспоминанию.

— Чему улыбаешься? — спросил Суворов.

Но она не сказала, чему улыбается, потому что ей было неловко вслух напоминать сейчас все это ему, отцу двух погибших сыновей.

Таня думала, что мать придет смертельно усталая, только до постели, но оказалось все наоборот. Мать пришла разгоряченная желанием рассказать Тане и Суворову, как все это вышло у них в столовой и чем кончилось. Заведующей, оказывается, не дали никуда уйти, а составили протокол и вызвали сначала милицию, а потом следователя и тут же сняли с нее первый допрос и увезли прямо с завода. Теперь десять лет дадут — не меньше!

Мать рассказывала, как нашли у заведующей спрятанное мясо и какая она была ловкая: делала это, конечно, уже не в первый раз... А еще недавно, на седьмое ноября, получила грамоту и премию — талон на мануфактуру — за хорошую работу и не покраснела, взяла! Бывают же такие люди! Нужен ей был этот талон, когда она такая воровка! Наверное, у нее в доме всего довольно. К ней туда с обыском поехали, завтра скажут, что нашли...

— А может, ничего и не найдут, — сказал Суворов. — Если чего наворовала, то у родственников держит. Теперь они насчет этого ученые...

— А муж и дети у нее есть? — спросила Таня.

— Муж у ней на военной службе, майор, на железной дороге, в охране или еще там чего-то... Ездит взад-вперед, — сказала мать.

И Таня вдруг вспомнила того сахарного майора в Москве.

— И дети есть — две девочки, в школе учатся... Только раз за все время и привела их в столовую. Говорит мне: «Хотя оставлять и не с кем, а брать их с собой не могу, чтоб наветов не было, что своих детей прикармливаю». Вот как себя перед нами показать старалась, проститутка проклятая! А девочки обе такие сытенькие,— почти с ненавистью добавила Танина мать.

— Зачем так про детей... — сказала Таня. — Ну сытые и сытые. Лучше, что ли, если б они были голодные?

— А ты молчи! — отмахнулась мать. — Много ты понимаешь! У меня после смены ни рук, ни ног нет, а я в столовую иду, над душой стою, чтобы каждый грамм в котел... А она домой мясо таскает. Именно что проститутка, как же ее еще звать после этого?

— Ладно, успокойся... Подогреть тебе чаю?

— Ничего, и тепленького попью...

Мать взяла отрезанный Таней ломоть черного хлеба, откусила большой кусок, запила глотком чая и сказала переменившимся, другим, слабым и добрым, голосом:

— Давно здесь без меня сидите? О чем говорили-то?

— Да ни о чем особом,— вставая, сказал Суворов,— я ей про наше объяснял, а она мне — про ихнее. Выходит, так на так, везде война людей по хребту бьет.

— Ну, у них-то жизнь все же потяжеле нашего. — Танина мать посмотрела на дочь и в который раз снова ужаснулась мысли, что пройдет еще две недели, и Таня уедет на войну.

— Ладно,— сказал Суворов,— после войны, будем живы, свои люди — сочтемся,— и, накинув на плечи пальто, вышел во двор.

— Чегой-то Николай сегодня на завод приходил, тебя искал, мне Серафима говорила,— торопливо сказала Танина мать, как только закрылась дверь за Суворовым. Она хотела успеть поговорить об этом вдвоем, пока он не вернулся.

— Я видела его.

— Ну и что?

— Ничего. Я ведь тебе сказала, что ничего у нас с ним больше не будет.

— Мало что сказала... Значит, все-таки нашел тебя?

— Нашел. — Таня вздохнула.

Все равно им с матерью не понять друг друга, если не сказать ей того, чего Тане не хотелось до сих пор говорить.

— О чем говорили-то? — снова взглянув на дверь, торопливо спросила мать.

— Женился он этой осенью,— весело и громко, радуясь собственному неожиданному решению, сказала Таня.

— Что? — переспросила мать.

— То, что слышишь, женился здесь, в Ташкенте,— повторила Таня и даже с каким-то злорадным удовольствием увидела растерянное лицо матери. Она понимала, что теперь им не миновать длинного ночного разговора о Николае, но, по крайней мере, этот разговор будет последним.

Суворов подошел снаружи к двери, но не входил, было слышно, как он топчется, очищая о скобу сапоги.

Обе женщины молча ждали, когда он войдет. Таня — с облегчением. Мать — с неудовольствием.

— Глядел небо, к утру вроде бы должно обратно распогодиться,— войдя, сказал Суворов, он внимательно посмотрел на притихших женщин, но ничего не спросил. Скинул пальто, сел на постель и стал молча стягивать сапоги.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

С утра и правда распогодилось. Суворов и мать ушли на завод затемно, а Таня осталась и еще спала и спала и проснулась оттого, что через окно прямо в глаза било солнце.

Она встала, выпила теплого чаю из чайника, как всегда, завернутого в тряпки и поверх еще накрытого подушкой, и съела «ударный» пончик, который мать все-таки, значит, принесла с собой с завода; вечером не сунула, чтобы не спорить, а утром оставила.

Сейчас, сидя одна в этой комнате, Таня подумала об отъезде. Впереди еще почти две недели отпуска, а потом мать снова останется одна. Еще в первый день после приезда, когда мать мылась в комнате в тазу, Таня испугалась ее худобы. Все эти дни она насильно заставляла мать получше есть, пооткрывала все привезенные с собой консервы... вчера получила по аттестату. Ну а потом? Она уедет, и что дальше? Денежный аттестат будет высылать? На деньги сейчас много не купишь... Мать все успокаивает ее, что люди и хуже живут... Может, и хуже, а хуже всего, когда человек остается один... Да, надо сегодня же, пока еще не уехала, самой сходить на толкучку и разом сменять там для матери на рис все те вещи, что дал Артемьев. А то, если оставить, мать может и не

пойти; сама будет недоедать, а вещи сохранит, решит: «Когда Татьяна в другой раз приедет, тогда и сменяем».

Таня достала из-под кровати рюкзак, который так и не трогала ни в дороге, ни здесь, вздохнув, развязала его и стала вынимать вещи. Из зимнего в рюкзаке был только один синий шевиотовый жакет с юбкой, совсем новый, ненадеванный. «За него, наверно, много дадут»,— подумала Таня. Остальное было все летнее: лодочки, сандалеты, два ситцевых платья, два сарафана и еще одно платье — шелковое, без рукавов и с открытой шеей.

Таня вспомнила, как Маша говорила ей, что они с Синцовым узнали о войне сразу же, как только сошли с поезда в Симферополе.

«Везла с собой в отпуск, да так ничего и не надела ни разу»,— подумала Таня о Маше с тем уже привычным отношением к людской смерти, которое жило в ней давно и прочно.

Она стала класть вещи обратно в рюкзак, но, когда взяла в руки шелковое платье и лодочки, задержалась. Ей захотелось посмотреть на себя в этом платье, хоть оно и мятое. Ей казалось сейчас, что она не надевала платья с довоенного времени, хотя это была неправда. Там, в Смоленске, на конспиративной квартире, она ходила как раз в гражданском, и у нее было даже одно нарядное платье, в котором она ходила танцевать в немецкий офицерский клуб, а другой раз была в нем на именинах у соседа Софьи Леонидовны и танцевала с племянником этого соседа Шуриком — полицаем, которого потом помогала убить.

Но у нее все равно не было чувства, что она там, в Смоленске, ходила в гражданском платье. Это платье было там как служба, как чужая шкура. Она тогда с ненавистью думала о нем и больше всего мечтала снова оказаться в лесу, в бригаде... Поэтому, наверно, так и вышло тогда все вдруг с Дегтярем, что она очень намучилась там, в подполье, сжалась в комок, была словно запеленатая... А когда вернулась в отряд, ей захотелось распрямиться, двигать руками и ногами, улыбаться, петь, любить людей и говорить им, что она их любит. И лето было, август, такая теплая солнечная погода, и ночи такие хорошие...

И в первое же задание она пошла как раз с Дегтярем, о котором в бригаде говорили, что отчаянней и удачливей человека нет на свете. Она сама увидела в той операции, когда подорвали мост, какой он отчаянный, и что удачливый, тоже поняла, потому что, когда немцы после взрыва забросали лес минами, огромный осколок, как ножом, срезал с Дегтяря фуражку, а ему нанес только касательное ранение в голову. Правда, кровотечение было сильное, она долго возилась тогда с перевязкой...

А потом они отошли глубже в лес и ночевали, не успев дойти до базы. И даже купались ночью в лесном ручье и, немного озябнув, сидели, отделившись от других, на склоне над ручьем вдвоем с Дегтярем. Она спрашивала его, не болит ли голова, а он смеялся над тем, что она спрашивает, и смеялся над своим ранением и говорил, что полюбил ее за этот день раз и на всю жизнь и теперь ни за что не выбросит свою любовь из головы.

А ей тоже показалось тогда, что она полюбила его за его дерзость и за красоту, потому что он был красив, и за то, что он так смеялся над своей раной и даже ни разу не охнул, пока она зашивала, а только курил и спрашивал: «Ну, как там, доктор? Прошу, чтоб строчка была ровная, как на машинке...»

Да, Дегтярь попал в ее жизнь в такое время, сразу после подполья, когда она вдруг стала словно без царя в голове — счастливая, безрассудная и бесконечно доверчивая ко всем своим. Даже прыгать хотелось, когда шла по лесу; хотелось, голову закинув, смотреть в небо; хотелось встать около березки и тереться об нее щекой.

И ничего ему не пришлось тогда ее уламывать, как он потом рассказывал, хвастаясь, что за один вечер уломал ее. Неправда, она сама пошла на это. И все знала, и глаз ни на что не закрывала, когда была с ним в ту ночь.

Вот как это было на самом деле. А потом она ему сказала, что не хочет, чтоб все знали, и он сказал «конечно». И когда они вернулись на базу, они еще два раза уходили с ним и ночевали в лесу, а потом были вместе еще на одном задании и снова ночевали. А потом он ушел на задание один, и она волновалась, что с ним будет, и он вернулся только через шесть дней, когда все уже считали, что он попался, и она увидела его издали, и он видел ее. Она ходила до полуночи там, куда он мог прийти, но он не пришел, и она подумала, что он устал и спит после задания, и выругала себя за то, что рассердилась на него. Но он не пришел и на следующую ночь, и на третий день, встретив ее, кивнул, как ни в чем не бывало. А вечером к ней пришла одна женщина из бригады, хорошая, даже очень хорошая, только слишком добрая к мужикам, как про нее говорили, и сказала:

— Знаешь, вчера у меня Дегтярь был. Я догадывалась про тебя и спросила его: «Чего ты пришел?» А он говорит: «Это у меня временно с ней было. Я с Дутиковым про нее поспорил, что никакая она не недотрога, захочу — и будет моя в первый же раз, как вдвоем останемся...»

Таня давно знала этого Дутикова и не любила его, с тех пор как попала в отряд, еще до подполья. Он был нечистый, хотя и

храбрый человек, и еще тогда приставал к ней. И когда женщина сказала ей, что Дегтярь поспорил именно с Дутиковым, это заставило ее с мгновенным ужасом и сменившим ужас тяжким равнодушием поверить, что все так и было, как рассказала эта женщина. Только зачем она рассказала?

— Зачем ты рассказала? — спросила ее Таня.

— А я тебя жалею. Не хочу, чтобы ты зря за ним страдала. Ты на меня не обижайся.

— Я на тебя не обижаюсь! А где он сейчас?

— Не знаю,— сказала женщина.

И Таня пошла искать Дегтяря. Он увидел ее издали, но сделал вид, что не заметил, и зашел в землянку, где жили мужчины. И она час ходила вокруг этой землянки и ждала, потому что не могла отложить разговор с ним. И когда он вышел и уже не мог притвориться, что не видит ее, и, улыбнувшись, сказал: «Здравствуй!» — и протянул ей руку, она тоже протянула ему руку, потому что он все равно был ее боевой товарищ, и спросила:

— Правда, что все это на спор с Дутиковым было?

И он понял по ее лицу, что врать бесполезно, и признался нехотя: «Да, был вроде с ним такой разговор, да мало ли о чем мы, мужики, между собой треплемся! Ты внимания поменьше обращай».

Ей хотелось ударить его по лицу, но она не ударила, потому что он все-таки был ее товарищ, а сказала только: «Тогда прощай!» — и пошла. Но он догнал ее, схватил сзади за руки, повернул и, полный веры в себя, медленно, с силой прижал ее к себе и наклонился, чтобы поцеловать. И тут, вырвав руку, она ударила его, хотя он был ее товарищ, со всего размаху ребром руки по глазам. И он зажал рукой глаз и отшатнулся. А она повернулась и пошла, не оглядываясь.

Наверно, она была какая-то ненормальная, не такая, как она слышала и читала про других. Уже второй раз в ее жизни человек, с которым она жила и которого, казалось, любила, вдруг сделался для нее глупым и подлым, и у нее в ту же самую минуту ничего не осталось к нему. Она уже не представляла себе, как дальше жить с ним, и когда он нагнулся к ней и потянул ее к себе, она ничего не почувствовала, кроме боли в руках, там, где он сжал их, и неприязни к его близкому тяжелому дыханию, которое вдруг показалось ей нечистым.

Наверно, Дегтярь был зол на нее, потому что через несколько дней она, случайно проходя мимо, слышала, как он, сидя у костра, грубо хвастался другим мужчинам. Вот тогда-то Каширин и вызвал его, чтоб «не звонил», а потом позвал ее и спросил: «Было

или не было?» — «А зачем вам?» — спросила она. «А затем, что если было, то хватит с него, что хвоста ему накрутил, а если не было — накажу». — «Было,— сказала Таня,— но больше не будет. Можете об этом не думать!»

А еще через неделю, когда началось немецкое наступление на лес, Дегтяря притащили на волокуше. Он был без сознания, с разорванным миной животом. И она вытаскивала у него из внутренностей большой, в палец, осколок, и укорачивала и зашивала разорванные кишки, и делала все, что только могла, чтобы спасти его, но когда он, так и не придя в сознание, все-таки умер от потери крови, ей было жаль его просто как товарища, как одного из самых храбрых людей в бригаде. А потом одна за другой пошли смерти, и тяжелые ранения, и операции, и каждый день приходилось переходить с места на место — целых две недели. Пока не вырвались из кольца, был самый настоящий ад, и она почти не вспоминала о Дегтяре, не было времени. А потом, когда наступила передышка, подумала о нем равнодушно, а о себе — с запоздалой досадой; теперь, когда этот человек умер, в том, что между ними случилось, тем более некого было винить, кроме самой себя.

Воспоминания никогда не бывают настолько далекими, чтобы ничего не значить. Даже те из них, на которых уже, казалось, стоит крест, вдруг снова приходят и начинают что-то значить.

И то, что Таня снова вспоминала сейчас о Дегтяре, значило для нее, что, как бы там ни было у нее и с мужем и с Дегтярем, это не отняло у нее потребности любить и совершать счастье для себя и для другого человека. «Совершать счастье» — так не говорят. Так говорят только про чудеса. Ну и что же, а она вот подумала о себе именно так: совершать!..

Она взяла платье и, приложив к себе, простояла несколько минут перед висевшим на стене зеркалом. Зеркало было боковой створкой трельяжа. Глядя в зеркало, она вспомнила, как Суворова говорила,что отломала его от трельяжа там, в Ростове. «Отломала и сунула в чемодан, думала, глядеться в него буду...»

Приложив платье, Таня прикинула, как подобрать подол и сколько убрать в талии. Прикинула так, словно в самом деле собиралась это делать.

Улыбнувшись в зеркале понравившемуся ей синенькому узору и своей собственной бабьей глупости, она сложила платье вдвое и еще раз вдвое и, сунув вместе с лодочками в рюкзак, стала собираться на толкучку: надела ватник и повязалась материнским платком, чтобы не идти на толкучку в форме.

В дверь громко постучали.

— Войдите!

В комнату вошел летчик в низко, по щиколотку отвернутых унтах и в шлеме с длинными, болтавшимися, как у охотничьей собаки, ушами.

— Ищу военврача Овсянникову,— с акцентом сказал летчик, глядя на Таню так, словно она ни в коем случае не могла быть военврачом Овсянниковой.

— Это я,— сказала Таня и стащила с головы платок.

— Тогда будем знакомы! — Летчик протянул ей руку. — Мансуров.

Он был худенький, черненький, совсем молодой, с квадратиками младшего лейтенанта на голубых петлицах шинели. «Наверно, лет на пять моложе меня»,— подумала Таня. Она ждала, что будет дальше, совершенно не представляя, зачем пришел к ней этот летчик-узбек. Позавчера Малинин говорил ей, что в воинской части — шефы завода — тоже хотят, чтобы она выступила у них. Может быть, он оттуда, от этих шефов?

— Если хотите с нами лететь,— завтра в шесть утра будьте у штаба округа,— сказал летчик. — Послезавтра доставим вас в штаб Донского фронта, а оттуда уж сами доберетесь.

— Погодите,— сказала Таня. — Я что-то плохо соображаю. — У нее мелькнуло в голове, что все это вместе взятое — ответ Серпилина на ее письмо, но она отмахнулась от этой мысли, слишком похожей на чудо.

Летчик рассмеялся ее удивлению.

— В военно-санитарном управлении округа на учете состоите?

— Состою.

— Мы туда на вас вызов привезли от начштаба Тридцать первой.

— От Серпилина! — воскликнула Таня.

— По фамилии не знаю. Командир корабля вчера лично в руки отдал пакет начальнику военно-санитарного управления и сказал, что если решение будет вас отправить, то завтра можем захватить вас: три машины с завода гоним. А бригвоенврач ему сказал, что когда вызовет вас и поговорит, тогда и поедете. А командир корабля взял в общей части адрес и приказал мне с утра найти вас и сообщить, что бумага на вас лежит у бригвоенврача.

— Большое вам спасибо,— сказала Таня и крепко пожала руку младшему лейтенанту. — Как это вы только меня нашли?

— Как-нибудь понемножку ориентируемся и в воздухе и на земле,— засмеялся младший лейтенант,— тем более что я здесь, на Бешагаче, родился. Отец и мать рядом живут. Как думаете,

удастся вам с нами полететь? — спросил он весело. Мысль, что с ними полетит эта молодая женщина, радовала его.

— Конечно, с вами! — сказала Таня, даже не успев подумать, как она все сделает за один день и что будет с матерью, когда мать узнает. — Куда вы сейчас, не к центру?

— К центру.

Таня покосилась на рюкзак и затолкала его обратно под кровать.

— Мне с вами по дороге. Я в санитарное управление прямо сейчас поеду.

Она сбросила с себя ватник и, не стесняясь младшего лейтенанта, даже не думая о нем, взяла со стула гимнастерку, надела ее, шинель и подпоясалась.

— Выходите, я за вами.

Таня задержалась еще на минуту, коротко взглянула на себя в зеркало, поправила пояс, проверила, с собой ли документы, и, запирая дверь, снова, уже не мимоходом, как в первый раз, а с испугом подумала о матери,— как завтра вечером, когда самолет будет лететь где-то далеко-далеко отсюда, мать после смены вернется в эту комнату и ляжет на свою кровать одна.

Во дворе стояли летчик и хозяйка Халида, что-то быстро-быстро, сердито говорившая ему по-узбекски. У Халиды было такое гневное, побледневшее лицо, какого Таня никогда у нее не видела, а у летчика был растерянный и покорный вид, он ничего не отвечал, только стоял и, кивая, повторял: «Хоп, хоп»,— значит, соглашался с тем, что ему говорила Халида. Это слово «хоп» Таня уже знала.

Заметив Таню, Халида отвернулась от летчика и ласково, как всегда, улыбнулась ей. И лицо у нее сразу сделалось опять такое, как всегда,— спокойное и грустное, несмотря на улыбку.

— Сильно ругала меня, что пришел за вами,— сказал летчик, когда они с Таней вышли со двора,— сказала, что не надо было приходить, говорить, не надо было вас у матери отнимать. Большую беду, сказала, я в дом принес, плохим гостем был. «Шум кадам» — так у нас говорят старые люди.

Таня только вздохнула — что ей было сказать на это? Потом спросила:

— А вы что, знаете ее?

— Конечно, знаю, мы с ней из одного махалля. Если у нас в семье свадьба будет, то мы ее пригласим, а если у нее свадьба будет, то она нас пригласит. У моей мамы старшего дяди жена — сестра ее дяди. — Он рассмеялся. — У нас, у узбеков, вообще

очень много родственников, старые люди всех считают, никого не забывают.

Они шли по узкой улочке Старого города. По одной стороне в тени еще лежал снег, а по другой вдоль ярко-рыжих от солнца дувалов бежала под уклон веселая грязная талая вода, и узбекские мальчишки, сидя над ней на корточках в рваных, старых, распахнутых на голой груди халатах, то гнали воду вперед палками, то устраивали запруды и разбивали ее на мелкие ручейки.

— Смотри какие мирабы! — рассмеялся летчик.

И Таня, хотя и не поняла этого слова «мирабы», тоже рассмеялась и поставила сапог поперек ручья, глядя, как пенится и бежит поверх сапога вода. Ей было весело от мысли, что Серпилин получил ее письмо и не забыл о ней и что летчики не оставили пакет просто так в санитарном управлении, а пришли за ней сюда. И все это еще таким теплым солнечным днем! И она полетит завтра на фронт, под Сталинград. Чего можно еще хотеть? Если бы не мама...

— У вас за что орден? Вы не на нашем фронте воевали? — спросил младший лейтенант. Он заметил орден, когда Таня надевала гимнастерку, заметил и удивился: орден Красного Знамени был вообще редкий, а у женщины тем более.

— Нет, я в партизанах была. А вы когда с Донского?

— Три дня. Ночевали в Актюбинске и здесь второй день.

— Как там?

— После десятого, как они ультиматум отвергли, каждый день из тысяч стволов их бьют. Земля дрожит, теперь уже немного им жизни осталось. Когда мы улетали, последний их аэродром был под огнем артиллерии. Теперь только на парашютах будут им сбрасывать, а это уже хана! Но бои еще тяжелые.

Младшему лейтенанту очень хотелось произвести впечатление на эту молодую женщину с орденом Красного Знамени, но ему и не надо было особенно стараться. Таня слушала его так жадно, что даже несколько раз остановилась на ходу, а потом, уже в трамвае, все время проталкивалась и стояла вплотную рядом с ним, чтобы не пропустить ни слова. Весь его рассказ про Донской фронт и попавшие в окружение армии немцев и про то, что фашистам некуда деваться и что мы сбиваем по тридцать их «юнкерсов» в сутки,— все это хотя и было уже знакомо по сводкам, но вот так, прямо из уст человека, только что прилетевшего оттуда, все равно казалось новым и удивительным.

Они вылезли из трамвая и расстались с младшим лейтенантом у входа в санитарное управление. По лицу его было видно, как он хочет ей удачи.

— Вы им там не поддавайтесь. Командир корабля лично им письмо сдал и на пакете расписаться велел.

— Ничего, не поддамся, завтра в шесть увидимся,— обещала Таня и, уже открывая тяжелую дверь, помахала ему рукой.

Начальника санитарного управления не было на месте, а его заместитель, у которого Таня уже была один раз, на второй день после приезда, по его словам, был бы рад ей помочь, но ничего не мог сделать: письмо находилось у бригвоенврача.

И только через два часа, когда Таня начала бояться, что сегодня уже ничего не выйдет и тогда пиши пропало — придется ехать поездом, бригвоенврач наконец появился. Он прошел по коридору; она вскочила, приветствуя его, и попросила о приеме.

Он искоса глянул ей в лицо, не остановился и ничего не ответил, но через десять минут вызвал к себе.

— Садитесь,— сказал он. — Имеется письмо на мое имя от генерал-майора Серпилина. Он высоко отзывается о вашем боевом опыте и просит направить вас к нему с последующим использованием по учетной специальности. Как официальное требование не могу рассматривать, но, если сами выражаете желание, могу уважить... Тем более что на Донской фронт. — На лице бригвоенврача мелькнуло подобие улыбки. — Я приказал принести ваши документы. — Он похлопал по ним рукой. — Вы числитесь в отпуску по болезни, первого февраля вам положено явиться на комиссию, где вас после перенесенной вами операции могут демобилизовать или признать ограниченно годной...

— Какая я ограниченно годная?! — сказала Таня. — Я годная! И операция у меня прошла замечательно. Я сама, как врач, понимаю все-таки!

— Что вы врач, я знаю,— бригвоенврач сердито шлепнул ладонью по документам,— но считаю все же необходимым еще раз лично поставить вас в известность, что вы вправе до переосвидетельствования находиться в отпуску по болезни и никаких назначений не принимать. — И, не дав ей возразить, спросил: — Короче говоря, выписывать вам предписание?

— Спасибо, товарищ бригвоенврач!

Он подвинул к себе письмо Серпилина, написал на нем красным карандашом резолюцию и нажал на звонок, прикрепленный к столу.

На звонок вошел старый худой техник-интендант.

— Оформите предписание,— сказал ему бригвоенврач. — А вы идите с техником-интендантом. Желаю боевого счастья!

Он поднялся и протянул Тане руку. Другой руки у него не было, обшлаг гимнастерки был ниже локтя подвернут и зашит. Он не сказал, прощаясь с Таней, ни «завидую», ни «хотел бы я быть на вашем месте», никаких других ненужных слов, которые иногда в таких случаях любят говорить люди.

Через час Таня уже показывала вахтеру в заводской проходной свой временный пропуск, который распорядился ей выписать Малинин. «Позавчера выписали — и вот уже не нужен, иду в последний раз»,— подумала она.

Вахтер был знакомый. Таня два раза говорила с ним в его дежурства. Его звали дядя Миша, и он был пожилой, за пятьдесят. Но, несмотря на это, его уже брали на войну, и он только недавно вернулся из госпиталя с укороченной на пять сантиметров ногой.

Протянув пропуск, Таня не удержалась и сказала ему первому, что завтра летит под Сталинград.

— Смотри-ка, под Сталинград! — сказал вахтер. — Ну, будь здорова. — И не спеша протянул ей руку с таким лицом, словно подумал в эту минуту: «Вижу, что рада, а воротишься ль оттуда, ни ты, ни я, никто не знает...»

И Таня, прочтя это на его лице, сама в первый раз за день подумала о себе, что ее могут убить.

В литейке была горячка: спешно готовили для заливки земляные формы, чтобы не остановить конвейер. Таня долго не могла подойти к матери, издали наблюдая, как лихорадочно работает она и другие женщины, готовя последние земляные формы. И только когда начали разливать металл, мать вместе с другими женщинами отошла в сторону, села на гору шлака, утомленно тыльной стороной руки отерла лицо и, отнимая руку, увидела Таню.

— Давно ты здесь?

— Нет, недавно.

— Зачем пришла? Вчера говорила, что на толкучку поедешь.

— Я еще поеду. Я к тебе ненадолго зашла...

— Зачем?

Глядя, как работают мать и другие женщины, Таня за эти полчаса несколько раз по-разному придумывала, как она издали начнет объяснять матери, что ей завтра надо ехать на фронт. Но теперь все разом выскочило у нее из головы.

— Мама, я завтра в шесть утра на фронт уезжаю, то есть улетаю.

Мать ничего не ответила, а лишь опять тыльной стороной руки провела по лбу и глазам и, отняв руку, посмотрела на Таню удивленно, словно со сна не могла понять, что происходит.

— Ты не сердись на меня, мама,— сказала Таня. — Мне генерал Серпилин через санитарное управление вызов прислал. И завтра самолет летит прямо туда, в Сталинград.

Мать сложила руки на груди, зябко обхватив одной другую, и, закрыв глаза, несколько раз тихонько молча качнулась из стороны в сторону — то ли не могла понять, что же происходит, то ли не могла совладать со своими чувствами, то ли просто закружилась голова.

Таня встревоженно подсела к ней и тесно придвинулась плечом.

— Ну, мама...

Мать, все еще не открывая глаз, опять качнулась от нее и к ней и снова от нее. Потом открыла глаза, повернула к Тане измазанное землей и копотью лицо и спросила:

— До послезавтра нельзя?

Таня объяснила, что нельзя, что самолет будет только завтра, а потом не будет, и тогда нужно будет долго, с пересадками добираться поездами.

Мать мелко закивала головой и сказала:

— Да-да. Конечно. Понимаю...

Но, хотя она сказала и «да», и «конечно», и «понимаю», все это относилось к внешнему ходу вещей: она понимала, что завтра будет самолет, а послезавтра не будет, и понимала, что поездами надо ехать долго и с пересадками и это ни к чему. Но другого, самого главного, она все еще не понимала. Не понимала, как же это вышло, что завтра в это же время она снова останется одна, а Тани здесь, в Ташкенте, уже не будет. И когда она еще раз будет и будет ли, этого никто не скажет, потому что никто не знает.

— Эй, Ивановна! — окликнула ее одна из женщин.

Они все уже поднялись и двинулись в другой конец цеха, в землеприготовительное отделение, где надо было готовить землю для новой плавки.

— Иду! — крикнула мать и встала с горы шлака, разогнув спину таким трудным, старческим движением, что у Тани все дрогнуло внутри.

— Мама, я еще съезжу на толкучку и продукты по аттестату попробую вперед взять, а потом зайду за тобой, ладно?

Мать молча кивнула и пошла.

— Мама,— догнала ее Таня,— ты только не обижайся на меня.

Мать повернулась, посмотрела на нее и сказала ровным голосом, полным такого горя, при котором уже нет сил ни кричать, ни плакать:

— А я не обижаюсь на тебя... что ж обижаться... жизни ты меня лишила. — Повернулась и пошла.

Таня проводила взглядом мать и, прежде чем уйти, несколько минут оглушенно простояла на месте. Она все еще искала в себе ответ на последние слова матери, искала и не находила, потому что ответа на эти слова не было и не могло быть.

На заводском дворе два подростка, узбек и русский, катили по рельсам тяжелую вагонетку с железным ломом. Узбек оглянулся на Таню, повернулся к русскому и что-то сказал про нее. Русский тоже обернулся и посмотрел на нее.

— Приходите к нам еще раз в общежитие! — крикнул он. — Новые инструменты купили, вчера первый раз играли!

Таня ничего не ответила, только улыбнулась и помахала рукой.

Когда она была в общежитии, ребята, вывезенные из ленинградского ФЗУ, жаловались, что директор завода никак не купит им духовые инструменты. Там, в Ленинграде, у них был оркестр, правда, из того оркестра осталось только четверо, остальные умерли, но желающих ребят на заводе много. Жаловались не просто так, а с подходом, чтобы Малинину, явившемуся вместе с Таней, стало стыдно перед товарищем фронтовиком за то, что они с директором все только обещают купить ребятам инструменты.

«Значит, все же купили»,— подумала Таня. И вспомнила, что ей надо проститься с Малининым. И не только проститься, а сказать ему о матери. Что сказать ему о матери, Таня и сама еще не знала. Но что-то надо было сделать, чтобы мать не так тяжело переживала, хотя что мог сделать для этого Малинин, Таня не знала, да навряд ли он и мог что сделать.

В парткоме Малинина не было. Сначала сказали, что он скоро придет, а потом спохватились, что сегодня собрание в инструментальном и Малинин там. Таня пошла в инструментальный, но собрание уже кончилось, а про Малинина сказали, что он в первом механическом. Таня пошла в другой конец заводского двора к первому механическому. Но и там Малинина уже не было — приходил и ушел.

Решив разыскать его вечером, когда зайдет за матерью, Таня повернула к заводским воротам и сразу же увидела Малинина. Он медленно шел через двор, наверно, обратно к себе в партком. Шел один, понурясь, тяжело вытаскивая из грязи ноги в кирзовых сапогах.

— Алексей Денисович! — поравнявшись, окликнула его Таня.

— Что скажешь? — Малинин на ходу сунул ей руку и продолжал идти, глядя себе под ноги.

— Завтра на Донской фронт улетаю, Алексей Денисович. Прислали вызов. Самолет прямо до штаба фронта, и меня берут.

— Ну что ж, поздравляю. — Малинин наконец поднял глаза на Таню. — Мать уже обрадовала?

— Сказала.

Таня посмотрела ему в глаза, и Малинин, прежде чем она успела что-нибудь сказать, понял ее просьбу.

— Ладно. Все понятно. Письма ей пиши. Как ни долго идут, а коли часто пишешь, так и часто приходят. Мне уже пришлось с некоторых требовать, чтобы писали домой, дурака не валяли. Смотри, чтоб замполиту твоей части такое письмо не пришло.

— Что вы! Я, если бы поездом ехала, еще с дороги бы написала.

— С дороги можно и не писать. Лишние нежности.

— Я маме часто буду писать. Только вы ее тоже поддержите первое время. Очень уж она сегодня... — Таня, не договорив, покачала головой.

— А как ты думала... — сказал Малинин. — Она, может, на этом всю свою жизнь строила, что ты не уедешь. Хоть ты ей и сказала, а все же надеялась: вдруг не возьмут или где-нибудь здесь оставят. Девка все же, а не мужик. Она не слепая, видит, что и тут тоже ходят врачи в шинелях, не все на фронте... Да и без шинелей ходят. А ты раз топором: завтра лечу. И по лицу видать, что рада. Тоже и это мать поняла, не дурей меня. Думаешь, легко?

Когда Малинин сказал «и без шинелей ходят», Тане показалось, что он подумал о ее бывшем муже.

— Алексей Денисович, у вас Колчин был?

— А что, приходил к тебе после этого, Лазаря пел? Да? Удивляешься, что угадал? А он для меня ясный, как дважды два. Умирать боится, а жить не умеет. Испугался, что раскопаю, где броня взята и чем за нее заплачено,— вот и побежал к тебе.

— А вы что, только припугнули его?

— Для чего же его зря пугать,— хмуро сказал Малинин. — Мне уже на такие бирюльки времени в жизни не остается. А ты что, в самом деле за него просить хочешь?

— Нет,— сказала Таня. — Я просто подумала: зачем он там, на фронте?

— Э, нет! Это мысль не с того конца. Попадет на фронт — подберут работу. А если такую философию, как ты, развести да опубликовать, много таких негодящих найдется: рад бы душой, да боюсь, пользы не принесу! Ничего, принесет!..

— Откуда только такие люди берутся? — задумчиво сказала Таня, словно еще раз взвешивая сейчас все свое прошлое с этим человеком.

— Оттуда, откуда и все,— сказал Малинин. — А вот такие люди, как ты, откуда, интересно? — Он остановился и поглядел ей в глаза. — Откуда такие глупые бабы бывают, что за таких мужиков замуж выходят? Не откуда он, а откуда ты такая?

— Верно, глупая... — покорно сказала Таня.

— Насчет матери не бойся,— сказал Малинин, когда они молча прошли еще несколько шагов. — Ее из ума не выпущу. Тянет она, конечно, сверх сил. Не только совесть, а и характер надо иметь, чтобы, смену отработав, недоедающему человеку еще идти и вокруг котлов да вокруг хлеба дежурить. А что делать? Слыхала, какая у нас история с завстоловой вышла, мать говорила?

— Говорила. Сказала, что ей десять лет дадут.

— Это, значит, наши бабы еще до суда ее приговорили.

— А скоро суд будет?

— Не знаю. Она не одна в деле. Еще трех спекулянтов забрали да мужа ее сегодня с поезда сняли. С мануфактурой. Он из Фрунзе сахар возил, отсюда — рис, а из Москвы — мануфактуру.

— Он правда майор? — спросила Таня, вспомнив свою первую вчерашнюю догадку, что, может быть, это тот самый сахарный майор, которого она видела в Москве. Ей даже хотелось, чтобы это был именно тот самый, чтобы, кроме него, таких людей больше не было на свете.

— Назывался майором,—сказал Малинин. — С ним долго говорить не будут. Петлицы сорвут, перед трибуналом поставят, высшую меру дадут, штрафбатом заменят — и давай воюй! А у этой стервы дети. А детей в детский дом брать придется. И придется им объяснять, где их мать и где их отец и почему мы их сиротами сделали... а не сделать нельзя. Значит, завтра улетаешь — это без перемен?

— Без перемен.

— Жаль. Хотел от тебя завтра еще раз пользу иметь. Сержант, Герой Советского Союза Рахим Ахмедов, здешний, ташкентский, после ранения на побывку приехал и третий день по заводам выступает; сообщили, что завтра в перерыв у нас будет.

Возможно, Юсупов, секретарь ЦК, сам его привезет. Имел в виду, чтоб и ты на том митинге выступила. Ну да ладно, бывай! Ты теперь, как говорится, уже отрезанный ломоть. — Малинин крепко пожал Танину руку, посмотрел на расстилавшийся кругом залитый жидкою грязью заводской двор и вдруг сказал: — Взяла бы, что ли, меня с собой на фронт, а?..

И была в его словах такая тоска и усталость и такое вдруг вспыхнувшее желание, ни о чем не думая, обо всем позабыв, уехать на фронт и поставить там жизнь ребром и сгореть, если придется, хоть за одни сутки, да с треском, а не с копотью, что Таня даже вздрогнула от его голоса.

— Я бы с удовольствием, Алексей Денисович,— растерянно сказала она, совершенно не представляя себе, что вообще можно сказать в ответ на это.

— Ты бы с удовольствием, и я бы с удовольствием,— сказал Малинин. — О наших удовольствиях после войны подумаем. Будь счастлива. — Он еще раз крепко пожал ей руку, повернулся и, ссутулив широкие плечи и закинув за спину руки, пошел к себе в партком.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Захаров вошел в избу, мельком взглянул на поднявшуюся в углу с лавки маленькую женскую фигурку и, на ходу сваливая с плеча распахнутую бекешу, спросил у подскочившего помочь адъютанта:

— Начальник штаба у себя?

— Так точно.

— Один?

— Так точно.

Захаров толкнул дверь во вторую половину избы.

Серпилин, сидевший за столом над картой, недовольно поднял глаза: приказал адъютанту до тринадцати без крайней нужды никого не пускать.

— Здравствуй, сиди. — Захаров тиснул Серпилину руку и сел напротив. — Как думаешь строить свои дальнейшие взаимоотношения с Батюком?

— Как положено начальнику штаба армии с командующим.

— Брось,— сердито сказал Захаров. — Я не формально, а по существу.

У него у самого только что вышел крупный разговор с Батюком, и он еще не остыл. Сначала решил вызвать начальника штаба к себе, но передумал и зашел сам — хотел подчеркнуть, что дело не в форме.

— Долго я еще буду болтаться между вами как главноуговаривающий?! Плохо подхожу для этой роли.

— Отношения в целом, считаю, складываются нормально,— сказал Серпилин.

Захаров исподлобья посмотрел на него. С минуту оба молчали.

В общем-то, сказанное Серпилиным было близко к истине. Вопреки ожиданиям, он сработался с Батюком. И не потому, что сглаживал углы, а, наоборот, после двух резких стычек.

После первой — еще до начала наступления — Батюк попробовал с ним расстаться, но в штабе фронта не посоветовали.

После второй — уже в ходе наступления, когда командующий фронтом при докладе с первых же слов поддержал вариант решения, который отстаивал Серпилин,— Серпилин ни одним словом не дал понять, что Батюк был за другой вариант, даже бровью не повел. И Батюк оценил, понял, что начальник штаба хотя и ершист, но подсиживать не будет.

После этого все шло более или менее нормально — до сегодняшнего утра.

Батюк нервничал, хотел непременно первым, раньше соседей разрезать немцев и соединиться со сталинградцами, с 62-й армией. С вечера сам уехал в одну из своих отстававших дивизий — толкать, беспокоился, что 111-я, вырвавшаяся клином вперед, обнажила фланги. Требовал,— кровь из носа! — чтобы две соседние к утру вышли на один уровень с ней.

А ночью уже без Батюка, уехавшего на левый фланг, командир другой правофланговой дивизии доложил, что разведка боем подтвердила прочность немецкой обороны и в намеченные для ее прорыва сроки он не укладывается — не успел подтянуть артиллерию и подвезти боеприпасы,— и попросил у Серпилина добавить ему еще шесть-семь часов на подготовку.

— А о чем раньше думали? — спросил Серпилин.

— Метель подвела.

Но это была от силы полуправда. Подвела не только метель. Подвел характер — не хватило решимости сразу же сказать командующему, что предложенный им срок нереальный.

— Ждите, свяжусь с командующим и позвоню,— сердито ответил Серпилин и стал искать Батюка.

Но Батюк все в той же метели где-то застрял — из одной дивизии выехал, а в другую не прибыл. Приходилось брать ответственность на себя.

Серпилин в душе считал, что на активную операцию — удар в основание нашего клина — немцы при сложившейся обстановке не пойдут, и за фланги 111-й не боялся. А в то же время

чувствовал по донесениям, что перед ее соседом справа действительно крепкий орешек. Немцы еще сильны. На легкий хлеб рассчитывать не приходится, и швырять под огонь пехоту, пока не соберешь артиллерийский кулак, бесцельно. Шесть-семь часов на это, пожалуй, жирно, но необходимый минимум надо добавить.

Он позвонил в дивизию и от имени командующего разрешил отодвинуть срок наступления.

Из-за этого, когда вернулся Батюк, и загорелся сыр-бор.

За ночь ничего не произошло: по клину немцы не ударили, артиллерия уже подтянулась, и части дивизии вышли на исходные рубежи для атаки. Серпилин оказался прав, и Батюк это понимал. Но сам факт отмены его предыдущего приказания, хотя бы и от его имени, привел Батюка в бешенство.

Серпилин понимал, что случай из ряда вон выходящий, но оправдывался тем, что внес коррективы, учитывая сложившуюся обстановку и донесение командира дивизии, что на его участке немцы обороняются исключительно упорно. С этим следовало посчитаться.

— Значит, с фрицами считаешься — это для тебя основной фактор! — сказал Батюк.

Серпилин сказал в ответ, что с силой сопротивления противника приходилось считаться всю войну, видимо, придется и впредь.

— С фрицами считаешься! — яростно повторил Батюк. — А с командующим не считаешься! Приказ для тебя не приказ! Колхозник ты, а не начальник штаба!

Он хряснул кулаком по столу и крикнул:

— Уходи, не задерживаю!

Серпилин откозырял и ушел к себе.

Приказание, которое он отдал от имени командующего, так и не было отменено — на это у Батюка ума хватило. Наступление дивизии развивалось успешно, и это было самое главное, что не дало Серпилину потерять равновесие и выйти из себя.

Но думать о том, как сегодня, подводя итоги дня, они сойдутся с Батюком и поглядят в глаза друг другу, было трудно.

— Отношения, в общем, нормальные, — усмехнулся Захаров. — А в частности, командующий второй раз ставит вопрос: или ты, или он.

— Перед кем? — спросил Серпилин.

— На данный момент — передо мной. Люди жизни кладут, все отдают, чтоб на Сталинграде — точку, а вы склоки устраиваете! Коммунисты называется!

— Не ожидал это от вас услышать.

— Мало ли чего ты не ожидал! — огрызнулся Захаров. — Только нам и не хватает в разгар операции начальника штаба менять! Ты здесь полезен и сам это знаешь.

— Я здесь полезен, пока провожу в жизнь то, что считаю верным и грамотным,— сказал Серпилин. — А если поставлю себя в положение, когда не смогу этого делать, то здесь я уже не полезен. Может, на другом месте и с другим командующим буду полезен, а здесь нет. Пусть снимет, если сможет. Обругал меня за то, что я с противником считаюсь. По сути, намекнул, что трус. Независимо от оценки противника, видишь ли, надо действовать. Кто и когда нас этому учил?

— Подумаешь, обругал! — сказал Захаров. — Не барышня.

— Вот именно, не барышня, а начальник штаба армии.

— Мог бы понять, что нервничает он,— примирительно сказал Захаров. — Спит и видит первым с Шестьдесят второй соединиться!

— Спит и видит! — сказал Серпилин. — Я это тоже сплю и вижу. Но безграмотно воевать из-за этого не буду. Из-за того, что соседи соединятся на час раньше, чем мы, войны не проиграем и Советскую власть не загубим. Трус я, видите ли, потому что боюсь лишние головы класть! А он по старинке каждого километра оголенного фланга боится и готов из-за этого «чудеса» творить. Так он — храбрый, а я — трус. Я считаюсь с тем, что немцы исключительно упорно и грамотно обороняются,— я трус! А он дрожит, что они нам клин подрежут, когда они на такие наступательные действия в данное время и в данном месте уже не способны,— он храбрый. Я, видишь ли, переоцениваю, а он... — Серпилин сердито махнул рукой.

— Что замолчал? Договаривай.

— Не положено по службе договаривать то, о чем подумал.

— А ты договори. Все же лучше, чем в себе оставить. Тем более что мы вдвоем.

Серпилин поднял глаза на Захарова и вздохнул:

— Ну скажи мне сам, Константин Прокофьевич, раз мы с тобой действительно вдвоем. Говорит человек — пехота, пехота! Наша пехота способна чудеса творить! А сам, кроме пехоты, ничего не знает и ничем управлять не умеет, хотя и считается, что артиллерист, потому что во время оно шестью трехдюймовками командовал. Так что же, спрашивается, мы должное отдаем пехоте, когда требуем от нее, чтобы она без ума, с одним «ура» шла? Нет, я с ним эту песню хором петь не буду.

— А кто тебя просит? — сказал Захаров. — Но ты для пользы дела все равно должен найти общий язык с командующим и сам знаешь это. Объяснять тебе, что ли? Маленький?

Найди форму, чтобы выйти из этой свары. Раз ты умный, ты и найди.

— Извини,— сказал Серпилин,— но меня учишь тому, чего сам не делаешь.

— Неправда! Когда дело требует, делаю! Наступаю на горло собственной песне. Неправду говоришь и знаешь, что неправду. Подумаешь, обиделся — колхозником его назвали!

— На колхозника-то я не обиделся, да в одном колхозе с Батюком тяжело состоять.

— Ладно,— сказал Захаров. — К чему пришли в итоге?

— К тому, что найду общий язык. Еще раз.

— Говоришь — еще раз, а намекаешь — в последний? Так тебя понимать?

— Нет, не так. — Серпилин вздохнул. — Еще раз, еще раз, еще много-много раз. Сколько раз потребуется, столько и найду. За счет своего самолюбия. Но не за счет чужой крови — этого не обещаю.

— А я с тебя таких обещаний не беру. Подлец был бы, если б обещал.

— А вот это уж не мне, а Батюку объясните.

Он думал, что Захаров в ответ на эти слова разозлится, вскипит — это с ним бывало,— но Захаров не разозлился и не вскипел, а рассмеялся, вспомнив, как час назад схлестнулись с Батюком. Даже голос оба потеряли.

— Пойду,— сказал он и встал. — Между прочим, язык твой — враг твой. Зачем вчера в столовой при Бастрюкове армейскую газету крестил? Он уже приходил ко мне и скулил и зубы показывал. Только мне и дела, что его обиды на тебя слушать!

— А чего он обиделся? При чем он?

— Как при чем? Как-никак заместитель начальника политотдела. Газета за ним числится.

— Если так, жаль, что за ним,— сказал Серпилин. — А чего я такого сказал ему? Сказал, что в последние дни глупо пишем о немцах, словно они орехи — только щелкай да сплевывай. Так писать — значит не уважать ни себя, ни своих усилий.

— Нашел кому говорить,— сказал Захаров. — Ты слово сказал, а он уже из этого целый талмуд вывел. Недооценка агитации и пропаганды и так далее. Даже прошлое твое ковырнул, стервец.

— Ну и шут с ним. Мое прошлое известно. Вы лучше в его прошлом покопайтесь. Раз стервец, зачем держите?

— А я его не держу. Он сам, как клещ, держится,— сказал Захаров. — Ну, окончательно пошел. — И, уже подходя вместе с Серпилиным к двери, остановился и спросил: — За фланги Сто одиннадцатой в самом деле не беспокоишься?

Серпилин посмотрел на него. Видимо, этот вопрос возник в результате разговора члена Военного совета с Батюком.

— Почему не беспокоюсь? Беспокоюсь — в той норме, в какой разум подсказывает. Но не сверх нее.

Приоткрыв дверь, Серпилин вышел вслед за Захаровым в первую половину избы. Адъютант вскочил. Вскочил и еще кто-то в углу — маленький, в полушубке.

— Значит, условились, Федор Федорович? Учтешь, что я говорил. — Захаров засунул руки в рукава бекеши.

— Будет сделано, Константин Прокофьевич! — Серпилин еще раз посмотрел на вытянувшуюся в углу фигурку. —Прибыла все-таки. А ну, иди на свет. Чего прячешься?

— Так точно, прибыла, товарищ генерал-майор. — Таня еле удержалась от желания броситься к нему и схватить его за руку.

— А «майор» добавлять не обязательно. — Серпилин протянул ей руку и повернулся к застегивавшему бекешу бригадному комиссару. — Позвольте представить вам, товарищ член Военного совета. Военврач третьего ранга Овсянникова. Или, как мы ее, выходя из окружения, между собой звали,— маленькая докторша. Я говорил вам о ней, когда запрос посылал.

— Действительно, маленькая. — Бригадный комиссар удивленно и осторожно, как малому ребенку, пожал ей руку крупной, толстопалой рукой. — Где только на вас полушубок подобрали?

— А я его обрезала.

— Испортила, значит, казенное имущество. Не остановилась перед этим. — Бригадный комиссар пробежал маленькими быстрыми глазами по Тане. — Действительно, маленькая докторша. Куда же мы ее теперь денем, раз прибыла? В санчасть штаба?

— Эта в штаб не пойдет,— сказал Серпилин. — Этой подавай передовую. — И хотя он улыбнулся, в его словах был оттенок гордости за Таню, которая в штаб не пойдет.

— Куда пошлем, туда и пойдет. — Бригадный комиссар пригладил на круглой голове короткие седые волосы и надел шапку. — Значит, условились? — еще раз повторил он, обращаясь к Серпилину.

— Так точно, товарищ член Военного совета,— сказал Серпилин и, проводив его, повернулся к Тане. — Раздевайся и проходи,— кивнул он на открытую во вторую половину избы дверь и, не дожидаясь, пока она разденется, прошел первым.

Когда Таня вошла, он уже сидел за столом.

— Притвори дверь. Садись.

Она села напротив него.

— Долго меня ждала?

— Долго.

— Ничего не попишешь. Сперва приказал адъютанту никого не пускать до тринадцати часов. А потом начальство у меня сидело.

— Ваш адъютант объяснил.

— Ну как, была в театре?

Вопрос был такой неожиданный, что она даже не сразу поняла, о чем он спрашивает, потом поняла и улыбнулась.

— Была, спасибо.

— Место никто не отнял? Ну и правильно,— сказал Серпилин. — Своего законного никому отдавать нельзя. Тем более ты теперь с таким орденом, что нос задирать можешь. Когда получила?

— Через два дня после того, как вас видела.

— А чего же не написала?

Таня пожала плечами. Вспомнила, как колебалась тогда, в поезде, написать или не написать про орден,— и удержалась, не написала.

Она сидела и смотрела на Серпилина, у которого теперь на груди был не один орден — тот старый, большой, с облупившейся эмалью, с которым он выходил из окружения, а еще два новых — Красного Знамени и Ленина.

— Да,— сказал Серпилин, заметив ее взгляд. — Дела теперь у нас веселые. Немцев бьем и ордена получаем. Но работы вашему брату не убавляется. За каждый шаг платим, а шагать надо. Наступаем днем и ночью. Доводим дело до конца.

— А я, когда летела, боялась, что у вас тут уже все кончилось.

— Ты боялась, а мы надеялись. Когда начинали, думали — за неделю кончим, а сегодня уже третья пошла. Не сдаются! И сил у них, видимо, больше, чем разведчики думали. А на сколько больше — увидим, когда все бабки подсчитаем. Теперь до конца уже недалеко. Вот-вот должны надвое их рассечь.

— Я вам как раз в первый день наступления написала. Еще ничего не передавали, а я как почувствовала. Наш поезд в Куйбышеве стоял.

— А я, думаешь, не помню, что ты мне писала? — сказал Серпилин. — Я твое письмо и сам перечитывал, и члену Военного совета вслух читал. С письмами у меня теперь не богато, одно твое лежит. — Он выдвинул ящик стола, словно собираясь показать Тане лежавшее там письмо, и снова захлопнул его.

И Таня впервые за время их разговора подумала не о себе, а о нем и о том, что у него умерла жена.

— Вы, наверное, сильно переживаете, Федор Федорович?

— Да, не проходит. — Он поглядел на Таню. — Вот женюсь на какой-нибудь молоденькой, вроде тебя, может, пройдет. — Сказал так, что она поняла: все это одни слова, ни на ком он не собирается жениться и даже не думает об этом. Сказал просто так. — Ладно, оставим эту тему,— помолчав, сказал он. — Давай о тебе. Писала мне, что хочешь в санчасть полка.

— Да, если можно,— сказала Таня. — Если в госпиталь, так я и там могла в госпитале остаться.

— Положим, госпиталь госпиталю рознь. — Серпилин покрутил ручку телефона и сказал в трубку: — Двадцатку найдите и соедините... Начсанарма сейчас разыщут, поговорю о тебе.

— Только непременно в санчасть полка, хорошо?

— А это уж как он скажет. Мои права на этом кончаются. Ты ко мне не в гости приехала. — Телефон зазвонил, и Серпилин взял трубку. — Хорошо. Придет — пусть позвонит. — Положил трубку, взглянул на часы и спросил: — Обедала?

Она поднялась, подумав, что мешает ему.

— Я поела на аэродроме. Я пойду там подожду,— она кивнула на дверь.

— Ничего, посиди. У меня пятнадцать минут есть. Будешь мешать — сам прогоню. Расскажи про Ташкент. Недавно подарки оттуда привезли. В том числе халаты. Солдаты рукава и полы подкорачивали — и под шинель, вместо ватника. Как там теперь, в Ташкенте, люди живут? Я давно там был, еще в первую пятилетку.

— Трудно живут. — Таня стала рассказывать про завод и про мать.

Серпилин слушал ее молча, подперев рукой щеку, но когда она сказала про «ударные» пончики, вдруг прервал:

— Да, люди себя не жалеют. На все идут.

— На все,— вздохнула Таня. — Я сама даже не до конца представляла, когда ехала туда. Только этого всего, наверное, нельзя говорить здесь, на фронте.

— Почему нельзя? — сказал Серпилин. — Наоборот, можно и надо... Каждый раз, когда будет случай, говори! Хуже от этого воевать не будем. Лучше будем. Быстрей войну кончим. Думаешь, у людей на это сознательности не хватит? Хватит. — Он остановился, словно заколебавшись, говорить ли. — Вот тебе свежий пример. На Военном совете одно политдонесение обсуждали. Был тут частный успех,— с важной высоткой долго чухались, а потом все же взяли. Целый узел развязали. Командир минометной батареи на радостях двойную норму хватил — и залп в честь взятия! Задарма, не по цели. А командир дивизиона только два дня как с Урала после госпиталя прибыл. Ему донесли. Он на

батарею и при всех солдатах — хрясь этого лейтенантика по роже. Замполит — донесение. Виновника — в штаб дивизии. Почему избил своего офицера? А он отвечает: «Я видел, какой кровью каждая мина достается. А он их зря, в воздух! Не признаю себя виновным! Я, говорит, не только ему рожу набил, а я этим среди бойцов разъяснительную работу провел!» Как быть? Дошло до Военного совета. Есть мнение — под трибунал. Есть мнение — понять и простить. А ты как бы решила?

— Я бы, конечно...

— Что — конечно?

— Простила бы. Он ведь прав.

— А раз прав — значит, рукоприкладство разрешается? — усмехнулся Серпилин.

— Я сама... — Она хотела сказать, что сама чуть не застрелила того сахарного майора, но сдержалась и не сказала.

— Что ты сама? Рукоприкладством занималась?

— Нет. Я просто... А как вы решили?

— Так и решили, как ты,— сказал Серпилин. — Даже я, на что этого не терплю. И то взял грех на душу.

Серпилин посмотрел мимо. Таня оглянулась. В двери стоял адъютант.

— Товарищ генерал, вы вызывали на четырнадцать часов помощника начальника оперативного отдела.

— Раз вызывал, пусть заходит. Зачем спрашиваешь? Порядок знаешь. — Серпилин улыбнулся Тане. — Поделикатничал. Видит то, чего нет, там, где нет.

Голос, раздавшийся у двери, заставил Таню повернуться во второй раз.

— Товарищ генерал, подполковник Артемьев по вашему приказанию явился.

В дверях стоял Артемьев.

Серпилин поднялся, взял лежавшую на краю стола гармошкой сложенную карту и начал раскладывать ее. Артемьев, подойдя к столу с другой стороны, стал помогать ему.

Таня сидела рядом, но Артемьев не смотрел на нее, хотя, еще когда он стоял в двери, она уже поняла, что он увидел ее.

— Чего вскочила? — покосившись на Таню, спросил Серпилин.

— Мешаю вам. — Таня взяла табуретку и отсела в сторону.

— Поедешь в Сто одиннадцатую,— сказал Серпилин Артемьеву. — НП у них в тринадцать часов переместился вот сюда.

— Кузьмич еще не сообщал,— сказал Артемьев.

— Вам не сообщал, а мне сообщил. Видишь, куда он уже залез? Доносит, что слышит в тылу у немцев звуки боя и планирует на ночь выйти вот сюда. — Серпилин снова показал

карандашом. — Рассчитывает в случае успеха к утру соединиться с Шестьдесят второй. Соседи справа и слева от него отстали, видишь, насколько? Но он доносит, что за фланги не боится и будет продолжать продвижение. Что будет продолжать — правильно. А как обеспечены фланги, все же посмотри своими глазами. Первым соединиться с Шестьдесят второй каждому хочется, поэтому допускаю, что излишне рискует. В этом случае настаивай на внесении необходимых по обстановке коррективов. Тактично. Он сам грамотный. Задача ясна?

— Так точно, ясна.

— Вопросы есть?

— Если соединятся, какие будут приказания?

— Если соединятся, лично удостоверься. Потом возвращайся.

Артемьев шагнул от стола назад и бросил руки по швам.

— Разрешите идти?

И пока Серпилин разгибался от карты, весело подмигнул Тане. Но Серпилин разогнулся быстрее, чем он ожидал.

— Что подмигиваете? Знакомы?

— Так точно, знакомы.

— А знакомы — почему не здороваетесь?

— Разрешите обратиться к товарищу военврачу.

— Обращайтесь.

— Здравствуйте! — Артемьев шагнул к Тане. — Вот уж не думал вас здесь увидеть.

Говоря это, он на секунду задержал ее руку в своей.

— Здравствуйте. — Она ожидала, что он скажет что-то еще. Но он уже отпустил ее руку и отступил на шаг назад.

— Разрешите выполнять приказание?

— Выполняйте.

Тане показалось, что он хоть на минуту задержит Артемьева, даст им возможность поговорить. Но Серпилин почему-то не задержал его. И только когда Артемьев уже повернулся, Таня спохватилась и сказала ему вдогонку:

— Я буду здесь, в армии. Я вас найду.

Артемьев обернулся, словно что-то вдруг вспомнил и хотел сказать ей, но, встретив взгляд Серпилина, только коротко кивнул и вышел.

— Ничего, сам найдет, коли ему надо. — Серпилин внимательно посмотрел на Таню. — Чего покраснела?

— Ничего.

— Давно с ним знакома?

— Нет, недавно. В Москве. Я вместе с его сестрой была в партизанах. Он мне помогал в Ташкент уехать.

— Только и всего? — Серпилин продолжал глядеть на нее.

И Таня, преодолев нежелание смотреть ему сейчас в глаза, все-таки заставила себя и посмотрела.

— Только и всего.

— Тогда другое дело. А я было подумал: только увидел юбку — и уже подмигивает. От него можно ждать. Имел случай убедиться, что бабник.

— Почему? Как раз нет!

Серпилин опять внимательно посмотрел на Таню.

— Много ты о нем знаешь! Еще недели не прошло, как прибыл, а уже одна нахальная бабенка за ним из Москвы вслед прилетела. Думал, жена, не допускал в мыслях другого, а оказалось, нет. На другое утро узнали — отправили. — Он усмехнулся. — И как только прорвалась, кого и как обкрутила, до сих пор выясняют! Его счастье, что, не спросясь его, прискакала и что офицер образцовый, жаль терять. А то бы расстался. Так что имей в виду на будущее: не женатый, но и не холостой.

— А при чем тут я?

— Тем лучше. — Серпилин взглянул на часы и крикнул адъютанта: — Еремин!

— Слушаю вас, товарищ генерал.

— Военврача подбросьте к начсанарму. Скажите Чепцову, чтобы свез. Два километра отсюда. — Это он сказал уже Тане. — Пока доберешься, видимо, уже поговорю с ним.

— Спасибо, товарищ генерал. Не надо машины, я так дойду.

Она вспомнила его же собственные слова про адъютанта: «Видит то, чего нет, там, где нет»,— и не захотела, чтобы ее везли туда, к начсанарму, на генеральской машине.

— Как хочешь. — Серпилин протянул ей руку и впервые за эти последние минуты снова по-старому, ласково посмотрел на нее. — Выберу время, найду тебя. Когда в Сталинграде все закончим. Раньше не выберу. Иди. — И, проводив ее взглядом, сказал разминувшемуся с ней в дверях худому генералу-артиллеристу:

— Припаздываешь, Алексей Трифонович. Уже пять минут, как жду тебя.

— Наносили новую обстановку,— сказал генерал, присаживаясь к столу.

— Причина уважительная. Обстановка действительно меняется быстро. — Серпилин поднял трубку затрещавшего телефона. — Да, хотел поговорить с вами. Направил в ваше распоряжение военврача Овсянникову. Подождите,— сказал он в трубку и, не отнимая от уха, крикнул адъютанту: — Еремин!

— Слушаю вас, товарищ генерал!

— Ушла?

— Так точно. Вернуть?

— Нет, не надо. — Серпилин не собирался возвращать Таню, а просто хотел удостовериться, что ее уже нет, не хотел, чтоб даже краем уха услышала его разговор с начсанармом. — Имею к вам товарищескую просьбу,— сказал он в трубку. — Врач опытный, лично мне известный,— выходила со мной из окружения. Была в партизанах. Награждена орденом Красного Знамени. Будет у вас проситься в санчасть полка. Ходатайства не удовлетворяйте. Прибыла после тяжелого ранения, пусть пока в госпиталях поработает. А там посмотрим. При отказе на меня не ссылайтесь.

И, услышав: «Будет исполнено»,— положил трубку.

— За кого хлопочешь, Федор Федорович? — спросил генерал-артиллерист. — За эту, что в дверях встретил? Знакомая?

— Больше чем знакомая,— сказал Серпилин. — Хочу, чтоб подольше на свете пожила, в пределах возможного и допустимого. — И, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, локтем отодвинул от себя телефон, сказал: — Ну, давай посмотрим твою новую обстановку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Начсанарм был занят. Таня втиснулась в холодные сени, набитые людьми, ждавшими начсанарма. Они говорили о каком-то Вережникове из 111-й, который уже двадцать минут сидит у начсанарма и докладывает ему об освобожденном сегодня утром лагере наших военнопленных.

Говорили, что лагерь большой и в нем творится что-то невообразимое: оставшиеся в живых — при смерти от голода, а вдоль проволочного заграждения — горы трупов. Говорили, что бойцы батальона, первым прорвавшегося к лагерю, увидев эти горы трупов, перебили всю лагерную охрану до последнего человека.

Наслушавшись этих разговоров, Таня вышла на воздух и стала ходить взад и вперед возле дома. Наверное, здесь раньше была целая деревня: из сугробов тут и там торчат трубы. А дом остался всего один — этот. Может быть, потому, что он кирпичный, а те были деревянные. А может быть, и они были кирпичные, а все равно остался только этот один.

«Как с людьми,— подумала она,— всех вокруг убьют, а один почему-то остается живой».

Она не боялась, что начсанарм может ее вызвать, пока она здесь ходит, поняла из разговора, что все эти врачи ждут там, в сенях, потому что вызваны на летучку, и она сразу увидит, когда они после летучки все вместе начнут выходить из дому.

К Артемьеву приезжала, конечно, Надя. Она это сразу поняла, как только Серпилин сердито сказал про женщину, которая чудом прорвалась сюда.

Конечно, это Надя, раз она так прорвалась. А привез ее кто-то из знакомых ей летчиков, товарищей погибшего мужа. Только она, наверное, не сказала им, зачем. А может быть, и сказала, кто ее знает.

«И правильно сделала, что прилетела,— вдруг подумала Таня,— хотя им дали пробыть вместе только до утра».

Она подумала об этом, и ей стало неприятно, но вслух, даже не заметив, что вслух, она сказала:

— Ну и очень хорошо!

Сказала, чтобы убедить себя, что это ее совершенно не касается. Но хотя это ее совершенно не касалось, ей все равно было неприятно.

Ей неприятно было, как Серпилин смотрел на нее и нарочно говорил ей все это про Артемьева. Если бы не нарочно, он бы никогда не стал говорить этого — не такой он человек. Он просто боялся, чтобы у нее не вышло чего-нибудь с Артемьевым, и хотел ее предупредить.

И она сейчас запоздало придумывала, что она должна была там, у него, ответить.

Утром, когда вылезала из самолета, думала, как ей найти Артемьева. Легко это будет или трудно?

Оказалось, совсем не трудно. Наоборот, очень просто!

Вошел к Серпилину и, хотя сразу увидел, даже не обратил на нее внимания. И когда смотрел с Серпилиным на карту, ни разу не оглянулся.

«Образцовый офицер»! — обиженно вспомнила она слова Серпилина. — До того «образцовый», что даже не мог попросить разрешения поздороваться со мной. Сама себе чего-то придумала тогда в Москве, как дура! И ехала, думала всю дорогу. Правда, потом в Ташкенте почти не думала. А когда летела сюда, опять начала думать. И главное, он совершенно ни в чем не виноват. Абсолютно ни в чем. Помог мне просто по-человечески, а я уже вообразила».

Когда он подмигнул ей, у него было счастливое лицо. Но не оттого, что увидел ее, а оттого, что обрадовался приказанию Серпилина ехать в эту дивизию, которая должна соединиться с 62-й армией.

А до нее ему совершенно нет дела, это ясно. Она это сразу почувствовала, еще до того как Серпилин сказал про Надю. И очень хорошо, что к нему приезжала его Надя! Значит, он все-таки нашел свое счастье с ней, хотя и говорил при тете Поле, что

все это в прошлом. Когда люди так говорят, это ровно ничего не значит. Даже наоборот.

И все как раз очень удачно вышло, а то бы разыскивала его, а он бы потом встретился и подмигнул.

«Нашла о чем думать сейчас! — сердито сказала она себе, стыдясь силы своей обиды. — Просто я стосковалась по мужчине, вот и все». И эта грубая мысль была тоже частью правды. Она повторяла ее про себя, и ей было легче от нее, потому что эта грубая мысль значила, что ничего особенного не произошло и что она по-прежнему испытывает потребность любви и ждет ее прихода.

«Какая же я все-таки дура!» Она, стиснув зубы, представила себе, как Надя несколько дней назад, утром, уезжала отсюда, от Артемьева, и, представив себе это, подумала, что готова встретить его еще раз, хоть сейчас. Пожалуйста! Встретить и ни разу больше не подумать о нем так, как думала раньше.

Она вслух повторила: «Вот уж дура так дура!» — и обернулась на шум голосов.

Врачи, разговаривая, спускались с крыльца.

Начсанарм был уже пожилой, лохматый, бровастый бригвоенврач. Он был такой бровастый, что глаза были видны, только когда он приподнимал голову, а когда сидел, чуть-чуть наклоня ее, то брови совсем завешивали ему глаза. Но глаза, когда они все-таки выглядывали из-под бровей и глядели на Таню, были добрые.

Когда Таня сразу же, как вошла, сказала, что просит назначить ее в санчасть полка, он отрубил, что в полках вакансий нет и не предвидится.

Но Таня не испугалась его громкого, как из бочки, хриплого голоса и повторила, что уже просила об этом генерала Серпилина, а теперь просит его.

Начсанарм совсем занавесил бровями глаза и долго молчал.

«О чем он думает, этот бровастый?» — подумала Таня. А бровастый незаметно для нее глядел на нее сквозь свои брови и решал задачу со многими неизвестными. То, что эта маленькая женщина хотела идти работать на полковой медпункт, ему нравилось. И вакансии у него были. А то, что она попала к нему не обычным путем, и прилетела откуда-то из Ташкента по личному вызову начальника штаба армии, и то, что Серпилин специально звонил, чтобы ее не посылали на передовую, ему не нравилось.

Из полтысячи врачей, бывших у него под началом, меньше четверти было в полках, четверть — в медсанбатах, а все осталь-

ные — в госпиталях. И не будь звонка Серпилина, он все равно, скорей всего, направил бы ее не на медпункт, а в госпиталь: там тоже не хватало людей. Но начальник штаба армии специально звонил ему, чтобы не отправлять ее на передовую, и из этого выходило, что сидевшая перед ним женщина хочет одного, а Серпилин — другого.

Бровастый сидел и думал о разных приказаниях, просьбах и намеках начальства, с которыми ему в разное время приходилось иметь дело. Во время боев реже, а в затишье чаще. Оно и понятно: люди — человеки.

Он имел свой нрав. С приказаниями, если шли против совести, был способен поставить вопрос на попа, а с намеками и просьбами не имел привычки считаться.

Но как раз Серпилин — ни когда командовал дивизией, ни теперь, когда стал начальником штаба армии,— ни разу на его памяти ни с какими такими вопросами не обращался. Влюбился, что ли, в эту пигалицу, старый хрыч? Хочет поближе к себе держать. Или просто жалеет?

Так и не решив, что тут за случай, начсанарм поднял глаза на Таню и сказал:

— Доложите прохождение службы. Вкратце.

Таня, торопясь, стала докладывать, начав с довоенного, с института, призыва в армию и назначения стоматологом в медсанбат 176-й стрелковой.

Она рассказала ему и про первое и про второе окружение и про то, как попала к партизанам, а потом во время подпольной работы в Смоленске устроилась в городскую больницу, и только тут впервые посмотрела на него.

Он сидел и смотрел на нее, подняв свои чудовищные брови так высоко, что ему, казалось, было тяжело держать их вот так, не опуская.

— Про это — подробнее,— сказал он,— первый раз слышу.

Но хотя он сказал «подробнее», все равно она помнила, как он сначала сказал «вкратце», и говорила по-прежнему торопливо, стараясь ничего не забыть; даже назвала общую цифру операций, которые сделала, пока была у партизан.

Ей казалось, что от этого зависит ее назначение в санчасть полка. Но он ничего не спросил про операции, а остановил ее во второй раз, когда она сказала о собственном ранении. Спросил подробности о резекции желудка и кто оперировал. Услышав, что там, у Склифосовского, ее оперировал сам Вайнберг, кивнул:

— Знаю.

— Вот и все,— сказала Таня. — А теперь к вам.

Он молчал. «Кто тебя знает,— думал он,— как ты там оперировала? Какой получился хирург из тебя, зубодера? Там, в партизанах, как ни сделай, за все спасибо. Одно ясно: не терялась, и орден дали не задарма». И, подумав так, окончательно решил, что оставит ее у себя, в эвакуационном отделении ПЭПа. Там чаще всего важно не как нож в руках держит, а преданность делу, воля и энергия. А в способности женщин проявлять преданность делу, волю и энергию он убеждался тем тверже, чем дольше шла война.

— Значит, так,— сказал он.

Таня уже ожидала услышать, как «так», но в эту минуту вошел горбоносый, похожий на кавалериста военврач второго ранга, в длинной шинели и сбитой на ухо ушанке, из-под которой на лоб по-казачьи выворачивался черный смоляной чуб. Он вошел покачивающейся походкой, щелкнул каблуками и небрежно и ловко бросил к ушанке руку.

— Товарищ бригвоенврач, группа собрана. Готовы выехать на место.

Бровастый посмотрел на него, перевел взгляд на Таню и снова на него.

— Вот ее с собой возьмете,— повел он пальцем в сторону Тани. — Вновь прибывшую. А потом оставите у себя в ПЭПе.

— Задание такое, что нужен опыт. — Военврач, похожий на кавалериста, пренебрежительно посмотрел на Таню.

— У нее опыт побольше нашего с тобой,— сказал бровастый.

— Слушаюсь! — Военврач снова швырнул руку к ушанке и повернулся к Тане: — Росляков.

У него, с его чубом и сбитой набок ушанкой, был такой завзятый фронтовой вид, что Тане стало весело от мысли, что она сейчас куда-то поедет вместе с этим человеком.

— Поедете с ним лагерь наших военнопленных принимать. — Бровастый тяжело поднялся и пожал Тане руку. И, когда они уже выходили, крикнул вдогонку: — Насчет зараженности тифом проверьте!

Ехали на большом новом тупорылом американском грузовике — «студебеккере». Таня впервые увидела такие сегодня утром, когда ее на попутной полуторке подвозили с аэродрома в штаб армии.

«Студебеккер» шел быстро, тяжело гудя, давя и расшвыривая колесами снег.

Военврач второго ранга Росляков сел в кабину с шофером, а Таня вместе со всеми остальными ехала в кузове.

Остальных было пятеро. Старичок в очках — батальонный комиссар — замполит Рослякова; командир и замполит банно-прачеч-

ного отряда — тоже оба немолодые люди, и двое врачей: полная, рыхлая женщина, болезненно морщившаяся при толчках, и молодой военврач с привинченным на шинель гвардейским значком.

Он ехал на заднем борту, небрежно, боком сидя на нем, и несколько раз по дороге снимал шапку и весело вскидывал головой, то ли радуясь свистевшему навстречу морозному ветру, то ли просто красуясь своей ранней заметной сединой.

День был морозный, солнечный, и Таня, слушая одним ухом то, что от времени до времени кричали друг другу ее соседи, с жадным любопытством смотрела на все, что неслось мимо нее.

Дорога шла через места, где еще недавно были немцы. Снег по обеим сторонам дороги лежал полосами, то белыми, почти не тронутыми, то почерпелыми и задымленными до самого горизонта.

Иногда на этих полосах было так много воронок, что они, как круги карандашом на бумаге, заходили краями друг за друга.

— А еще говорят, что снаряды в одно место два раза не ложатся!

Это военврач, сидевший на заднем борту, крикнул Тане — новенькой у них здесь, на фронте. Она поняла и кивнула.

Грузовик, не уменьшая скорости, стал брать подъем. Дорога шла по узкой, поднимавшейся вверх лощине; справа и слева тянулись высоты — все в черных воронках, в кольях с изорванной колючей проволокой. Вдоль высот зигзагами шли линии окопов.

Все кругом было разметано и расшвыряно в невообразимом беспорядке. Повсюду, и близко и далеко, лежали полузаметенные трупы и искореженные, вывернутые из земли железные балки и плиты. В снегу зияли черные дыры: наверное, это были разбитые блиндажи. И опять рваная проволока, и опять трупы, и брошенные орудия, и торчащие из снега странно вывихнутые башни танков, и остовы сгоревших машин у самой дороги. А немножко подальше — несколько связанных в пучок толстых, странных труб, похожих на самоварные.

— Ихние «ванюши»! — крикнул, на ходу пересаживаясь по борту поближе к Тане, военврач и, сорвав с полуседой головы шапку, ткнул ею в сторону этих странных труб.

Машина перевалила через гребень.

— Первую полосу их позиций проезжаем! — крикнул он. — Полоса была — будь здоров! Десятого и одиннадцатого числа ее прорывали!

Таня посмотрела под уклон на несшуюся навстречу дорогу и, мельком успев заметить на ней, впереди, что-то странное, плоское, похожее и непохожее на человека, невольно поднялась, словно желая облегчить тяжесть машины, которая проезжала по этому плоскому, похожему на человека.

Через секунду оно оказалось уже позади. Это и был человек — вдавленный в лед и разъезженный в лепешку труп немца.

И снова по обеим сторонам дороги, уже на обратных скатах высот, с которых она спускалась, пошли воронки, воронки, а потом уже не воронки, а сплошная черная дымная полоса. И на этой полосе и за ней, на снегу,— бугорки трупов.

— «Катюши» работали! — крикнул военврач и еще немножко передвинулся по борту к Тане. — Замечаете: ни одной лошади не валяется? Это еще одиннадцатого числа было, а они уже всех лошадей в котел пустили.

Недалеко от дороги близко друг к другу стояли три танка: два — орудиями в ту сторону, куда шла машина, а третий — без башни. Башня лежала в снегу, отдельно, словно сбитая с головы каска.

— Это уже наши, а не ихние — «тридцатьчетверки». — Военврач сидел теперь так близко к Тане, что мог не кричать. — Не дошли, сгорели, бедные.

И Таня еще долго смотрела назад, на эти все уменьшавшиеся сгоревшие «тридцатьчетверки». Смотрела до тех пор, пока они не скрылись из виду.

Все, что она видела сегодня, делилось на «наше» и «ихнее». Наше — это была машина, на которой они неслись по дороге, и другие машины, ехавшие навстречу, и четыре трактора с длинными пушками, ползшие по обочине, и зенитная батарея — на пригорке, и с ревом прошедшие над головами незнакомого вида остроносые самолеты, про которые военврач сказал: «Пошли на штурмовку».

«Наше» было живое, а «ихнее» — мертвое. Мертвая проволока, мертвые окопы, мертвые люди в снегу, мертвые, брошенные орудия и машины.

Сначала, когда она ехала, ей казалось, что здесь все наше только живое, а все ихнее только мертвое. И когда военврач показал ей на эти «тридцатьчетверки», она так долго смотрела на них, пока не потеряла из виду, потому что это было первое наше мертвое, что она увидела сегодня. Увидела и подумала, что тут повсюду, кругом, наверно, очень много и нашего тоже мертвого, как эти танки, и наших убитых тоже, конечно, много, но только их уже убрали, зарыли, а немцев еще никто не хоронил.

Конечно, это было так, и глупо было думать по-другому. И она до сих пор думала по-другому просто потому, что впервые попала на такую войну, где мы были сильнее немцев. Что она видела до сих пор? Начало войны, отступление, окружение, немецкую технику, прущую по всем дорогам. Не мертвую, а живую, нахальную, ревущую, гремящую, голосящую чужие песни из ку-

зовов. Технику, которую обходили, через которую пробивались, которую иногда взрывали — одну машину из ста.

А потом — немецкий тыл и колонны наших пленных. Такие нестерпимо длинные, как будто взяли в плен всю Россию. И сваленные в кюветы вдоль дорог беспомощные, заржавелые коробки наших танков и броневичков.

И немецкие эшелоны, один за другим идущие к фронту, карательные батальоны, охранные команды, эсэсовские команды, городские комендатуры. Немецкие машины и немецкие патрули на Гауптштрассе в Смоленске...

Да, конечно, потом, когда ее вывезли в Москву и когда она лежала в госпитале и вышла оттуда и ехала в Ташкент, и там, в Ташкенте, она знала, читала в газетах, слышала по радио, что все переменилось, что мы наступаем. Но все это было одно, а то, что сейчас впервые за всю войну она испытывала сама, было совсем другое.

Еще утром на военном аэродроме, где они садились и где кругом, по всему громадному снежному полю, прогревая перед взлетом моторы, гудели наши пикирующие бомбардировщики, она задохнулась от радости.

И это чувство не оставляло ее сегодня целый день: и по дороге с аэродрома в штаб армии, и теперь, когда они ехали. Оно все росло, и усиливалось, и превращалось в какую-то счастливую глухоту; ей даже не хотелось слушать то, что ей объясняют, хотелось только своими глазами наглядеться на все это, поскорей, досыта, как голодной.

А соседи, за исключением молодого военврача, не смотрели на дорогу и говорили о своем. О том, что у военнопленных наверняка будет вшивость и придется на это дело бросить часть баннопрачечного отряда, потому что людей надо мыть, главное, мыть. Мыть, стричь и брить. И что нужно поосторожнее с пищей, потому что люди — изголодавшиеся, дистрофики, непродуманным рационом можно вызвать непроходимость кишок.

Машина снова пошла на подъем. Съехав левыми колесами на обочину и тяжело кромсая снег рубчатыми шинами, она полезла вверх, обгоняя колонну грузовиков, над кузовами которых торчало что-то большое, завернутое в брезенты.

Сначала Таня не поняла, что это и есть «катюши», а потом поняла и, поднявшись, стала жадно считать, сколько их.

— Зверь, а не машина,— сказал сзади нее военврач, и она кивнула и только потом поняла, что он говорит не про «катюши», а про их собственную машину, которая уверенно полезла вверх, обгоняя колонну. — Сила! — восторженно сказал воен-

врач. — Союзники через Иран их гонят. — И снова повторил: — Сила! И не то что ихние «валлентайны».

— Какие «валлентайны»?

— Танки ихние. Я в танковом корпусе служил, знаю, как с ними горе хлебают. Дерьмо — рядом с нашей «тридцатьчетверкой». Один снаряд в него влепят — и горит как свечка. Одним словом, прощай, родина!

Но Таня хотя и слушала, не могла думать о том, о чем он говорил: «валлентайны», «сила!», «дерьмо!». Она ехала и продолжала жадно считать «катюши».

«Катюш» было тридцать шесть. «Наверное, целый полк»,— подумала Таня, когда они обогнали головную машину. И вздохнула, вдруг представив себе, как мать сейчас там, в Ташкенте, кончает смену и готовится идти домой, одна...

«Студебеккер» свернул влево и поехал по другой дороге, мимо громадных пушек. Их дула были высоко задраны в небо, и Таня сначала подумала, что это зенитки, но потом сообразила, что зенитки не бывают такими громадными и это, наверно, артиллерия дальнего действия.

— Фронт все уходит вперед. Скоро и эти передвинутся,— сказал военврач, когда орудия исчезли из виду.

Но, словно чтобы возразить ему, сзади раздался такой оглушительный удар, что Таня от неожиданности подпрыгнула и чуть не вывалилась. Потом еще удар и еще.

— Нет, пока не передвигаются. Бьют отсюда,— сказал военврач, придержав ее за плечо.

А орудия все продолжали и продолжали бить, и снаряды с режущим воздух тяжелым свистом проходили над головами куда-то далеко вперед.

— А разрывов не слышите? — в одну из пауз спросил военврач.

Таня прислушалась, но ничего не услыхала.

— Нет, не слышно,— сказал военврач,— сегодня ветер на немцев.

Машина еще раз свернула, и впереди вдруг сразу стало видно место, куда они ехали,— пологий голый холм, окруженный двумя рядами колючей проволоки. Снаружи у проволоки барак, а внутри что-то странное, серо-белое, тянущееся вдоль всей проволоки.

И хотя Таня уже слышала про это, еще когда ждала начсанарма, она сейчас все равно не сразу поняла, что это такое. Поняла, только когда подъехали совсем близко и машина остановилась.

Это были трупы, лежавшие один на другом сплошным невысоким валом.

Все вылезли из машины и, прежде чем двинуться туда, дальше, остановились. Словно всем им надо было с чем-то одним проститься и что-то другое начать.

У дороги, на обочине, рядом с машиной, вповалку, один на другом, лежало несколько еще не запорошенных трупов в немецких шинелях. «Наверное, те самые, про которых говорили, что их перебили при взятии лагеря»,— подумала Таня.

— Ну что ж, медицина, пошли,— повернувшись к Тане и остальным, сказал стоявший впереди Росляков.

У него были странные, остановившиеся глаза, а рука со стиснутым, забытым между пальцами окурком подрагивала, как в ознобе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Проволочные ворота возле барака были настежь распахнуты. У ворот стояла полуторка с прицепленной к ней дымящейся кухней. Около кухни топтался солдат.

— Что в котле? — спросил Росляков.

— Снег по второму разу растапливаю, товарищ военврач,— доложил повар. — В первый раз, сколько было, сахару засыпали, водой с сахаром поили, не дюже сладкой, правда. А теперь приказали бульонные кубики развести. Хотел гречневый концентрат заложить — не велели.

— Правильно, что не велели,— сказал Росляков. — Сколько напоили, по вашему расчету?

— По моему расчету, человек до шестисот. По полкружки давали. Но не все пьют... Даже воду принять в себя не могут.

— Довели людей,— сказал Росляков. — Не ходили, не глядели, какие они?

— А чего ходить, мне и отсюда видать,— горестно махнул рукой повар.

Росляков толкнул ногой дверь и первым вошел в барак.

Барак был невелик. Судя по нарам, охраны тут держали немного — человек двадцать. Сейчас в бараке было только трое наших. Двое — водитель в замызганном дочерна полушубке и старшина в шинели — при появлении начальства вскочили из-за стола, положив недокуренные самокрутки. Третий лежал на нарах плашмя, без шапки, свесив до полу руки.

Старшина доложил о себе, что он командир хозвзвода медсанбата 111-й дивизии.

— А где командир медсанбата?

— Докладывать уехал.

— Что уехал — знаю. Не вернулся еще?

— Никак нет, не вернулся.

— Видимо, не тянет обратно. А кого за себя оставил?

— Военврача Хрюкина оставил, но он приболел. — Старшина кивнул на неподвижно лежащую фигуру. — Припадок сделался.

— Что он, институтка, что ли? — сердито сказал Росляков.

— Как все бараки обошли, вернулись, и сразу, можно сказать, целая истерика. Даже на волю не вышли, прямо тут их и рвало. — Старшина покосился на лужу в углу барака. — Не выдержали, чего увидели.

Лежащая на нарах фигура пошевелилась; Росляков подошел и потянул ее за ворот шинели.

— Встаньте, чего разлеглись?

Человек спустил ноги и сел. Отвороты шинели у него были испачканы, и лицо было белое, как творог, с красными пятнами вокруг заплаканных глаз.

— Встаньте и доложите! — крикнул Росляков.

Человек в испачканной шинели попытался подняться, но не смог и плюхнулся обратно на нары.

— Не м-могу,— сказал он, нервно заикаясь. — П-прошу отозвать меня.

— Баба вы, а не военврач! — Росляков покосился на стоявшую рядом Таню и вторую женщину-врача. — Докладывайте вы, старшина, раз у вас начальство такое слабонервное. Бараки все обошли?

— Так точно.

— Сколько людей, посчитали?

— Живых около шестисот,— сказал старшина. — Товарищ военврач считал. Их не разберешь, кто живой, кто нет — по пульсу щупали.

— Ладно, ведите,— вздохнул Росляков. И, заметив, с каким сожалением старшина посмотрел на недокуренную, лежавшую на столе самокрутку, сказал: — Докуривайте.

Старшина поспешно сунул самокрутку в зубы и щелкнул зажигалкой.

— Курить, правда сказать, охота, товарищ военврач второго ранга. Весь табак нынче искурил... — И повернулся к шоферу: — Пойди мотор прогрей.

— Если прикажете, я сопровожу вас,— сказал сидевший на нарах врач и поднялся. Его заметно качнуло, и он еле устоял на ногах.

— Оставайтесь,— махнул на него рукой Росляков,— без вас обойдемся.

За бараком был второй ряд проволочных заграждений и еще одни проволочные, тоже настежь распахнутые ворота.

Впереди, шагах в пятидесяти, виднелся невысокий снежный бугор ближайшей землянки; несколько таких же бугров виднелось и дальше, слева и справа. А все пространство, почти от самых ворот и до черневшего в снежном бугре входа в ближайшую землянку, было покрыто трупами. Они лежали не на снегу, а были втоптаны в него, втрамбованы, потому что по ним уже давно ходили, и никак иначе ходить здесь было нельзя — трупы сплошь покрывали все пространство до самой землянки. Ледяные, полуголые, они лежали с закинутыми друг на друга руками и ногами, так что даже нельзя было разобрать, что кому принадлежит. И по этим трупам, уходя вбок, к стоявшему за вторым проволочным заграждением еще одному маленькому бараку, шла заметная, вдавленная тяжестью человеческих ног тропинка.

— Там у них, говорят, раздаточная была, пока еще пищу давали,— кивнул на маленький барак старшина.

Он сказал это, когда они все вместе, подойдя к первым трупам, остановились. Уже понимали, что сейчас придется идти по ним, и все-таки остановились, глазами выбирая свободное место, куда бы ступить. Но свободного места не было.

— Простите нас, товарищи,— глухим, не своим голосом сказал Росляков и, на секунду сдернув и снова надев ушанку, первым наступил сапогом на чью-то голую, обледеневшую спину.

Таня первые несколько шагов еще выбирала, старалась не ступить на голову или на лицо. А потом, не выдержав зрелища застывших, затоптанных, вывернутых мертвых голов, закрытых и открытых мертвых глаз, пошла, спотыкаясь, задевая за что-то, боясь только одного — упасть! — и все время неотрывно глядя вперед, на черневшую впереди дыру землянки.

Она шла по людям, шла по тому, что было раньше людьми. И каждый из них служил в какой-то части, и был откуда-то родом, и писал когда-то письма домой. И никто из них еще не числился в списках погибших, и, значит, каждого еще ждали. А они лежали здесь, вдолбленные в снег и лед, и никто никогда не узнает о них — кто из них кто! Потому что уже нет и не будет никакой возможности узнать это.

— А где ваши солдаты? — продолжая идти и по-прежнему не глядя под ноги, услышала Таня голос Рослякова.

— А моих солдат тут нету,— ответил старшина.

— Ну, санитары?

— Всех санитаров военврач по землянкам расставил.

— Санитаров расставил, а сам в обморок... — Росляков выругался.

Он первым дошел до землянки и с треском рванул завешивавший вход задубевший от мороза черный брезент. От первого

напряжения рванул так, что брезент сорвался вместе с доской. Росляков нагнулся и ступил вперед, в темноту.

И Таня, шедшая вслед, тоже шагнула за ним по загремевшему под ногами брезенту.

В землянке сразу со света ничего не было видно. Кажется, она была большая, далеко, в глубине, слабо горел огонь, пахло чем-то дымным и удушливым. Вдруг кто-то тонко и длинно застонал, и сразу стало слышно шевеление людей, их хрипы и вздохи.

— Санитар! Где санитар?— крикнул Росляков.

— Я здесь,— раздался голос совсем рядом.

— Брезент обратно потом пристроите, когда уйдем,— сказал Росляков,— а то ничего не видно. Холодно здесь? С мороза не разберу...

— Не так холодно, товарищ военврач, люди тепло надышивают.

— Сколько их тут? Считали?

— Посчитали, как пришли,— восемьдесят шесть было. Да трупов поболе двадцати. Они слабые все, последние дни, говорят, уже и трупы вытаскивать не в силах. Я бы повытаскал, кабы нас на землянку хотя по двое было...

— Живых надо вытаскивать,— сказал Росляков. — Трупы и тут полежат. Идите передо мной, а то я не вижу. Как бы не наступить на кого.

Все гуськом, один за другим, пошли вперед, на свет горевшего в дальнем конце землянки огонька.

— Большая землянка,— сказал Росляков.

— Они говорят, сначала поболе пятисот человек на землянку приходилось.

— А сколько землянок? Семь?

— Считали — семь. Одна пустая, то есть не пустая, а все померли. Живых не нашли.

— Надо еще раз проверить, как так — живых не нашли! — Росляков остановился и окликнул: — Кто там сзади, ближе к выходу, заворачивайте! Еще хотя бы две землянки на контроль возьмите — сколько там людей? Подсчитайте — и обратно в барак.

Таня слышала, как сзади нее люди повернулись к выходу из землянки, но сама пошла дальше за Росляковым. Они подошли совсем близко к огню, и она поняла, почему здесь так сильно пахло горелыми тряпками. На полу землянки на двух железках был пристроен котелок, а под ним слабым синим огоньком тлели обрывки ватника. Вокруг этого вонючего костерка полулежало несколько человек. А за ними темнели очертания других человеческих тел.

Теперь, когда Таня немного привыкла к темноте и даже смутно различила лица тех, кто был ближе к костру, она повернулась к выходу и увидела, что и сзади по обеим сторонам узкого прохода сплошь лежат люди.

— Здравствуйте,— сказал Росляков, но никто ему не ответил. И только после молчания чей-то слабый, запавший голос спросил:

— Когда заберете-то?

— Часа через два-три начнем вас вывозить отсюда, товарищи. — Росляков наклонился и заглянул в котелок. — Чего варите?

— Снег топим,— ответил другой голос, такой же запавший и слабый, но все-таки другой.

— А разве вас не напоили?

— Еще охота. Боец, спасибо, чистого снегу принес... Вот, топим... А то и чистого снега не было.

— Почему?

— Кругом грязный, а дальше, к проволоке, где чистый, охрана не допускала, из автоматов била.

— Сейчас бульон варят, накормим вас еще до отправки,— обещал Росляков.

И опять наступила пауза, словно этим людям, прежде чем ответить, каждый раз надо было собираться с силами. Наверное, так оно и было.

— Осторожней кормите,— медленно сказал тот, кто заговорил первым. — Кроме жидкого, ничего не давайте.

— Это мы знаем,— сказал Росляков.

— Я сам врач, потому и говорю,— снова после молчания сказал голос.

— Из какой армии?

— Шестьдесят второй, младший врач Шестьсот девяносто третьего, стрелкового.

— Сколько не ели?

— С десятого. Пятнадцать дней...

— Четырнадцать,— сказал Росляков.

— Значит, ошибся. Думал, верно считаю.

— А до этого?

— Вывезете — все расскажем.

— Кто там еще со мной? — повернулся Росляков.

— Я, Овсянникова.

— Идите к выходу. Все ясно, прохлаждаться нечего, вывозить надо! — сказал Росляков. — По дороге на выборку посмотрите у нескольких человек состояние.

Слушая, что говорил Росляков и этот, медленно, с трудными паузами отвечавший ему человек, Таня все время смотрела на

лица лежавших у огня людей. Изможденные, прямо по костям обтянутые кожей, до самых глаз заросшие бородами, эти люди вызывали одновременно и чувство жалости, и чувство какого-то странного отчуждения. Как будто они были не такие же люди, как ты сама, а какие-то очень похожие и в то же время непохожие на людей, какие-то такие, какими не бывают люди. И в силе тоски, которую испытывала сейчас Таня, было и нетерпеливое желание сразу же сделать что-то такое, чтобы превратить всех этих людей в таких, какими должны быть и бывают люди, и понимание того, что сделать это сразу невозможно, а для кого-то из них, наверно, уже поздно.

Услышав голос Рослякова, сказавшего «нечего прохлаждаться», она повернулась и пошла, останавливаясь то около одного, то около другого неподвижно лежавшего тела и ощупывая его руками. Одного взяла за руку и услышала, как слабо, еле-еле бьется пульс, а потом через несколько шагов ощупала еще одну руку, но рука была холодная, ледяная. Еще одна рука, тоже ледяная. А потом — опять чуть теплая, живая, и глубоко ввалившиеся глаза, слабо дрогнувшие от прикосновения. И шея, заросшая густым волосом, тонкая, как у ребенка. А под пальцами что-то шевелящееся — вши!

— Сестрица, а сестрица...

Почему сказал «сестрица»? Не видел, а сказал. Услышав, не отпустила руку, заставила ее задержаться там, где лежала, и спросила:

— Что, милый?..

Он ничего не ответил, только повторил:

— Сестрица, а сестрица...

— Что?

— ...а сестрица... —еще раз прошептал и замолчал.

Она прошла еще несколько шагов и у самого выхода, на свету, увидела человека в ушанке, щекой лежащего на ватнике, худого, заросшего черной бородой, с открытым, глядящим на нее глазом. Этот человек что-то сказал, и она присела около него.

— Чего вы?.. Ну, чего... — И, подумав, что сейчас не в состоянии сказать ничего лучше, чем это, сказала: — Скоро покормим вас, бульон дадим...

Но человек чуть заметно отрицательно шевельнул головой. Он хотел чего-то другого.

— Ну, чего?

— Если помру, фамилию мою сообщите. Фамилию...

— Какая ваша фамилия, скажите.

— Я...

Но сказать свою фамилию у него уже не осталось сил. Он пробормотал что-то, чего она не поняла. Опять пробормотал, и она опять не поняла и увидела, как у него из глаза выкатилась слеза, и удивилась, что у этих людей еще были слезы, когда казалось, у них уже ничего не было.

— Идемте,— догнал ее Росляков. — Время терять нельзя...

Она вышла на воздух первой, зажмурилась от света, потом опустила глаза, посмотрела на свою руку, по которой ползали вши, и, стряхивая их, увидела, как Росляков тоже счищает вшей с рукава шинели.

— Так-то вот... — сказал Росляков. — Вон и наши тоже идут. — Он посмотрел в сторону соседней землянки и пошел назад, к воротам лагеря.

И она тоже шагнула и пошла за ним обратно, той же дорогой, по обледенелым трупам.

Собрались прямо у машины. Старичок, батальонный комиссар, предложил было зайти обсудить положение в бараке, но Росляков махнул рукой:

— Нельзя время тратить. Ехать надо! — И тыльной стороной руки сердито забил под ушанку свой смоляной чуб. — Картина, думаю, всюду примерно одинаковая.

— Один барак — мертвый, я лично проверила,— сказала женщина-врач. — Там, говорят, раненых держали.

— Тогда понятно,— сказал Росляков. — А в остальных?

Все подтвердили, что в остальных бараках еще много живых.

— Точнее, с признаками жизни,— сказал тот молодой врач, который в дороге сидел на борту рядом с Таней.

— Значит, на круг брать: пятьсот тире шестьсот,— сказал Росляков. — У всех вшивость, у всех не исключены инфекции, у части — необратимые явления. Начсанарм сразу, как доложили, приказал триста восьмому госпиталю один из своих бараков освободить, но одного нам теперь не хватит...

— А Костюковский только сегодня утром за свой госпиталь радовался, что до бараков этих добрался. Намерзлись в степи.

— Ничего, огорчим,— сказал Росляков. — Не до радостей. Поехали. На месте тут что-нибудь делать — только самообманом заниматься. Теперь спасение в быстроте эвакуации. Да,— обратился он к молодому военврачу,— позовите этого истерика, на черта он тут нужен, пусть с нами едет. — И повернулся к батальонному комиссару: — Степан Никанорыч, ты здесь пока останься, пригляди, чтобы бульон роздали и чтобы никакой самодеятельности, пока не вернемся! Никаких посещений, даже с лучшими намерениями. Ворота на запор, на твою ответственность. Одного врача тебе оставлю... — Он сделал паузу, видимо решая: кого?

Может, Таня и не вызвалась бы остаться, но тот молодой врач, что ехал с ней, ушел в барак, а полная врачиха, которая докладывала, что сама лично проверила мертвый барак, стояла, закусив дрожащую губу, и казалось, вот-вот разрыдается.

— Разрешите, я останусь? — сказала Таня.

Росляков посмотрел на нее.

— Хорошо, оставайтесь. — Он увидел нетвердой походкой вышедшего из барака врача и, показав на докторскую сумку, которую тот держал в руке, кивнул на Таню: — Отдайте ей!

— А как же потом? Она же моя...

— Как потом, на медицинской комиссии разберемся,— зло сказал Росляков. — Если больны, пойдете в госпиталь, а если здоровы... — Он не договорил, но выражение его лица не обещало ничего хорошего. — Отдайте сумку!

И, сам переняв сумку, протянул ее Тане.

— Оказанием помощи не увлекайтесь. Это здесь капля в море. А вот чтобы бульоном всех, кого можно, не пропустив, напоили — более важная задача и более тяжелая... Поехали! — Он повернулся к лейтенанту и политруку из банно-прачечного отряда: — А вы со мной не поедете. Кухню отцепите, полуторку с шофером забирайте — и прямо к себе. И чтобы весь ваш отряд через три часа был у Костюковского. Полуторку потом верните, не замахорьте!

— Не забудь насчет парикмахеров команду дать,— подсказал батальонный комиссар.

— Да, уж парикмахеров придется со всей армии согнать,— сказал Росляков. — Все волосистые части придется брить...

— И одеял в машины побольше нагребите... И брезенты. Холодно. Да и машин сразу побольше, не только наши автобусы! Машин много потребуется.

— Ничего, Степан Никанорович, я сразу, как приеду, Косте позвоню,— уже на ходу сказал Росляков. — Костя все даст!

— Костя — это кто? — спросила Таня у батальонного комиссара, когда машина отъехала.

— Член Военного совета армии.

И Таня вспомнила того курносого, седого, с маленькими глазками человека, которого видела сегодня у Серпилина.

— Солдаты его так прозвали,— сказал батальонный комиссар. — Это у них заслужить надо. Члена Военного совета армии — и вдруг Костей! Он еще сюда сам принесется, не утерпит, вот увидите...

Водитель, сердито бурча под нос, отцеплял от полуторки кухню. Двое из банно-прачечного топтались рядом, один даже помо-

гал для скорости. И как только отцепили, сели в полуторку и уехали.

— Тетерин, давай скорей возвращайся! — вдогонку крикнул повар водителю.

— Не бойся,— сказал батальонный комиссар,— умный водитель повара с кухней надолго не бросит. Скоро бульон сваришь?

— Пока вскипячу, да засыплю, да разойдется — минут сорок.

— Что ж так долго у тебя?

— Если бы вода, а то снег,— сказал повар. — Его еще растопить надо. Как вы приехали, я только заложил, да еще добавлял, набивал. Сам спешу! Уже одни нары изрубил, чтобы по-сухому горело...

— Зайдемте в барак, несколько минут погреемся,— предложил Тане батальонный комиссар.

Он стоял с поднятым воротником шинели. Лицо у него было иззябшее, старческое, с красными прожилками. И Таня подумала, что ему еще больше лет, чем ей показалось вначале. Даже странно было видеть на фронте такого старого человека.

— А по-моему, нет там никакой заразы,— сказал батальонный комиссар, когда они вошли в барак. — Вошь есть, а заразы нет. Просто она по теплому ползает, спасается. Снаружи в землянку зайдешь — вроде бы тепло, на деле — ниже нуля. И это, считай, уже третий месяц... Видели, мертвых-то пораздевали — все или на себя, или на топливо. Мертвым не нужно, а живым нужно. Я около одного присел там, говорю: больно вшей у вас много. А он говорит: «Не бойся, доктор, тут у нас заразы нет, вымерзла вся зараза. Теперь у нас тут одна болезнь — смерть. А других болезней уже нету». Вот как человек сказал про свою жизнь...

Он прошелся по бараку, хлопая себя то по груди, то по спине, никак не мог согреться.

— Раз с десятого не ели, значит, как мы наступление начали, так они пленных кормить перестали. А до этого как кормили? Как кормили? — крикнул он Тане, словно она могла ответить на это.

Таня содрогнулась и подумала: «Неужели ничего невозможно было сделать с этим раньше?» Ее потрясла мысль, что, в то время как она ехала в Ташкент и была в Ташкенте и вместе со всеми радовалась, что на немцев началось наступление и что они в кольце, в это время там, внутри этого кольца, оказывается, были наши люди! Они там, внутри, оставались еще во власти немцев. А мы целых две недели, до сегодняшнего дня, ничем не могли им помочь. Да что же это такое делается!

— Неужели мы ничего не знали про этот лагерь? — воскликнула она, пораженная собственной мыслью.

— Откуда же было знать. А кабы знали — кому от этого легче?

— Ну как же,— сказала Таня,— может быть, тогда что-то сделали! Хоть на несколько дней раньше освободили!

Батальонный комиссар пожал плечами.

— Навряд ли. Тут война идет — сила на силу! Хочешь, а не можешь! Бывает, одного раненого с ничейной тащим, сколько голов сложим, а не спасем. А тут...

Он махнул рукой. Потом спросил:

— На войне с начала?

— С начала.

— И я с начала... Был и санитаром, пока звания не дали, и комиссаром медсанбата...

— А кем вы до войны были? — спросила Таня, поняв из его слов, что раз он начал войну солдатом, то, значит, не был раньше военным.

— Кем до войны был? — как-то нехотя, словно не желая вспоминать, сказал он. — Много кем я был. На войну пошел с ополчением. Перед нею четыре года на пенсии был, по болезни. А до этого,— он снова как-то нехотя остановился,— на Бамлаге служил, на строительстве, в КВЧ... Есть там в лагерях такая КВЧ — культурно-воспитательная часть! А еще раньше в трудкоммунах работал, Макаренко Антона Семеновича, между прочим, знал,— вздохнул он и замолчал.

— А сколько вам лет? — спросила Таня.

— Пятьдесят еще не исполнилось,— сказал он и усмехнулся. — Состарил меня Бамлаг. Есть и такие, которые не старились, а меня состарил... В общем, уволился по болезни...

Он взглянул на Таню так, словно она должна была понять что-то, чего он не договорил, но она не поняла, а только почувствовала, что в жизни этого человека есть что-то непростое. И это непростое стоит за его словами «уволился по болезни».

— Пойдемте,— сказала Таня.

Они пробыли в бараке уже десять минут, и ей казалось, что стыдно дольше задерживаться здесь. Им обоим надо было идти туда, в землянки. Может быть, и не надо, но все равно надо.

— Пойдем... Старшина там, наверное. Надо, чтоб санитаров собрал и за бульоном шел.

Они молча прошли еще раз — в третий раз — по трупам. Миновали ту землянку, в которой уже была Таня, дошли до второй и остановились.

— Вы сюда, что ли, зайдите,— сказал батальонный комиссар,— а я дальше пойду, погляжу.

Сказал и пошел дальше.

— Сейчас зайду,— сказала Таня.

Ей вдруг захотелось закурить. Всего две-три минуты постоять и подымить, прежде чем заходить туда, внутрь. Она вытащила из кармана полушубка пачку «Беломора». В пачке оставалось три папиросы, остальные выкурила. Там, в Ташкенте, при матери сдерживалась, не курила, чтобы не расстраивать ее. Даже и без нее не курила, чтобы табаком не пахло. А в дороге искурила почти всю пачку — от волнения, от ожидания будущего...

На войне, конечно, не выбирают, а все-таки еще не умещалось в сознании все, что произошло с ней сегодня за один день. И день еще не кончился! Утром последняя посадка там, на бомбардировочном аэродроме, и летчики, с которыми летела,— веселые, здоровые... И другие летчики, которые их встретили и спрашивали, не привезли ли из Ташкента яблочек. Тоже веселые, здоровые, весело обещавшие, что теперь фрицам хана́, делов осталось дня на три, на четыре самое большее...

И этот лагерь, и эти люди здесь, в землянках.

Она решила, что выкурит папиросу сразу, в несколько затяжек, и как только выкурит, сейчас же пойдет. Все, что ее волновало еще несколько часов назад, там, пока она ходила и ждала начсанарма,— мысли о себе и Артемьеве и о том, хорошо или плохо, что все так быстро и смешно кончилось,— все отошло, провалилось, как будто всего этого никогда и не было.

Вдали, перед проволокой, темнел вал из трупов, похожий отсюда, издалека, на всякий другой невысокий вал. Такие валы из выброшенной наверх земли обычно тянутся вдоль противотанковых рвов. Сейчас, когда уже начало смеркаться, можно было подумать, что это просто вал из земли и льда, но она смотрела туда и знала, что он не из земли и льда, а из людей.

— Сестрица, оставь бычка!

Она обернулась и увидела вышедшего из землянки санитара — молодое, доброе, круглощекое живое лицо, и обрадовалась ему так, словно за минуту до этого уже ничего живого, кроме нее самой, не оставалось на свете.

— Извиняюсь, товарищ военврач, обознался,— смутился санитар, заметив выглядывавшие из-под полушубка петлицы со шпалами.

— Берите! — Таня протянула санитару недокуренную папиросу.

Санитар затянулся и кивнул на темневший перед проволокой вал.

— Я у одного тут, который поживее других, про этот штабель спрашивал: как, по ихнему приказу или сами склали? А он говорит: не склали! Мы, говорит, туда сперва за чистым снегом ходили, а потом многие люди, кто дальше жить не хотел, просто так шли или ползком доползали, чтобы смерть принять. Уже не за снегом, а за смертью за своей ходили! А в последнее время кто и хотел — не мог: сил не было. Бой, говорит, еще вчера с вечера вроде доносился, а подползти к выходу, чтоб послушать, уже не было возможности...

Он еще раз медленно глубоко затянулся.

— Может, вам обратно оставить?

— Не надо,— сказала Таня. — Я туда пойду.

— Зачем вам туда идти, чего вы там сделаете?! — Он повернулся от внезапного порыва ветра, и Таня тоже повернулась и услышала, как вместе с порывом донеслись далекие звуки боя где-то там, в Сталинграде.

— Пойду,— сказала она не санитару, а самой себе. И, пригнув голову, потому что даже ей нужно было пригибать здесь голову, шагнула в землянку.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Только глубокой ночью на вторые сутки самое тяжелое наконец осталось позади. Последний, четыреста восемьдесят третий по счету, освобожденный из плена, пройдя санобработку, был уложен на чистые простыни в госпитальном бараке.

В регистрационном журнале появилась последняя цифра «483», но против цифр еще и теперь не всюду стояли фамилии. Многих и до сих пор бесполезно было спрашивать.

«Около шестисот живых»,— сказал там, в лагере, старшина. Но люди умирали, пока в лагерь шли машины, умирали, когда их выносили из землянок и клали на машины, умирали, пока везли, умирали во время санобработки. А несколько человек умерло, когда их уже переносили на носилках, чистых, вымытых и обритых, из барака в барак. И некоторым из тех, что сейчас числятся живыми, еще предстоит умереть в ближайшие дни от необратимых явлений, вызванных длительным голодом.

Чего только не навидалась и не наслушалась Таня за эти полтора суток! Даже спать не тянуло, несмотря на бессонную ночь, и есть не хотелось, и казалось, никогда не захочется.

Барак, в котором шла санобработка, целые сутки был как адская кухня: весь в пару, в потоках грязной воды, в комках падавших на пол спутанных, шевелящихся от вшей волос, в

рванине сброшенной одежды. Особенно страшно было в первом отделении, а всего их было четыре. В первом еще не мыли, только раздевали догола и щетками соскребали с тела вшей. Во дворе, под окнами, была вырыта большая яма, и в ней горел мазут; туда охапками таскали снятую одежду, а вшей все время заметали с пола вениками в ведра и из этих ведер тоже ссыпали туда, в огонь.

Во втором отделении стригли, брили везде, где росли волосы, обмывали по первому разу и опять вместе с волосами таскали жечь целые ведра вшей. Даже старики санитары, воевавшие и в германскую и гражданскую, говорили, что в жизни такого не видели.

В третьем отделении было уже легче: там только мыли еще раз. А в четвертом начинался рай: там одевали в чистое белье и клали на носилки.

Если не считать нескольких врачей, сестер да десятка парикмахеров, всю самую страшную работу внутри барака делали девушки из банно-прачечного отряда. Их было много — пятьдесят, но работы было столько, что все они к концу валились с ног от усталости.

Девушки, девушки из банно-прачечного! Это ваш-то отряд, как вы сами с усмешкой рассказываете, зовут на фронте «мыльный пузырь»? Это про вас-то плетут всякие были и небылицы отвыкшие на фронте от женского тела, изголодавшиеся мужики? И кто его знает, сколько в этом правды и сколько неправды, наверное, не без того и не без этого. Но все равно, главная правда про вас та, что не было и не могло быть на целом свете в эти сутки лучше людей, чем вы, и не было рук добрей и небрезгливей, чем ваши, и не было стараний святей и чище, чем ваши,— помочь человеку снова сделаться человеком! И ни одна из вас не дрогнула, не растерялась, не ушла, не закатилась в обморок, как тот врач-мужчина в лагере. Ни одна!

Об этом вечером, когда домывали последних раненых, сказал Тане Росляков. Сказал, как стихи, именно этими самыми словами, которых Таня никак не ждала от него, показавшегося ей поначалу человеком, зачерствевшим на фронте. И глаза у него вдруг стали такие, каких Таня не ожидала увидеть на этом жестком, орлином казачьем лице. Говорил о девушках почти стихами, а в глазах стояли слезы.

А сама Таня, пока была там и работала вместе с девушками, об этом не думала. Просто видела, как они работают: быстро, бережно, без устали. Ни один из их рук не выскользнул, ни одного на пол не уронили. А уж держали руки такое страшное, что даже телом-то назвать нельзя!

Она сама много раз, когда люди теряли сознание во время санобработки, делала им уколы. И в пальцах до сих пор осталось ощущение: держишь не руку, а кость, а вокруг нее мешок из пустой кожи. Некоторые все равно умерли и после уколов, и понесли их не вперед, туда, в четвертое отделение, в рай, как шутили девушки, а назад, обратно...

А теперь все, кто остался жив, и те, кто не будет жив, но пока еще жив, лежат здесь, в госпитальном бараке, на двухэтажных нарах. И уже явились на смену врачи, и можно пойти в палатку, где развернули питательный пункт, и попить там чаю, но идти туда нет сил. Можно и просто лечь на койку, где сейчас сидишь,— она свободная — лечь и заснуть до утра. Но спать не хочется, а в голове вертится что-то, чему и названия нет: какие-то обрывки виденного и слышанного, так перепутанные, словно это не мысли, а дикий, страшный сон...

Один, когда его мыли, ругал немцев матом за то, что не поставили пулеметы и не расстреляли, вместо того чтоб морить голодом.

— Ну и хорошо, что не расстреляли,— сказала ему Таня. — Вы теперь жить будете.

— А может, я жить после этого не хочу. — Он посмотрел на Таню дикими, злыми глазами, словно она его обидела, сказав, что он будет жить.

А другой просился на фронт, говорил:

— Поскорей вылечивай, доктор. Я еще их убивать пойду... ни одного на семя не оставлю...

И думал, наверное, что кричит, что грозный, а сам еле-еле слышно шептал эти слова и умер, когда несли уже в чистом белье. Сердце взяло и кончилось!

А еще один шептал неизвестно что: не то свою фамилию, не то есть просил. Шептал так, словно навсегда разучился говорить. А другие только стонали и ничего не говорили, как будто их языка лишили. И умирали молча на руках, и женщины, уже домывая, вдруг замечали, что моют мертвого.

— Я потом заберу вас отсюда,— сказал Росляков. — Будете работать у меня в эвакуационном отделении.

Таня услышала и кивнула, но все равно в ту минуту это не дошло до ее сознания. Только теперь дошло и все равно осталось не важным.

Еще когда пришли самые первые автобусы и грузовики и начали выносить людей из лагеря, как и предсказывал батальонный комиссар, приехал член Военного совета Захаров. Он зашел в землянку, прошел из конца в конец, вернулся, встал у входа и минут десять молча стоял и смотрел, как выносили. Потом задер-

жал проходившую мимо Таню — оказывается, запомнил ее — и спросил:

— Серпилин говорил, что долго в тылу у немцев была. А такое там видела?

Таня только покачала головой. Слышала много. А видела под Смоленском только издали, за километр, вышки да проволоку.

— И мне еще не приходилось,— сказал Захаров. — Первый отбитый лагерь за войну... Война вообще дело малопрекрасное, но все же...

Он не договорил. К землянке задним ходом сдавала еще одна машина. Захаров потянул за рукав Таню, чтобы не зацепило.

— Ездим по трупам своих товарищей,— сказал он чугунным, тяжелым голосом. — Взять бы всех фашистов — да в прорубь! За Волгу хотели? Пусть подо льдом до того берега идут! Да где там! Разве можно! — Он невесело усмехнулся. — Мы отходчивые. Сдадутся — и будешь им раны перевязывать.

— Не буду,— сказала Таня.

— Будешь. А я буду тыловиков гонять, чтобы пленным в котел до грамма все, что положено, чтобы, не дай бог, не отощали. А не обеспечат — шкуру буду спускать. — Сказал так, словно насмехался над самим собой и над тем, что ему придется делать. — А это куда из памяти деть? — Он ткнул пальцем в сторону санитаров, вытаскивавших из землянки безвольно ломавшиеся у них на руках тела, и покосился на Таню: — Иди работай.

И она, отходя, вспомнила, как Росляков назвал этого немолодого, грузного человека Костей!

Вот он какой, этот Костя!

Разговор был давно, вчера. А сегодня днем Захаров заезжал еще раз и стоял в бараке и смотрел, как идет санобработка. Но и все, что было сегодня днем, тоже было давно. Все было давно. И сама она, казалось, уже давно была здесь, на фронте.

— Вы что, не спите? — оторвал ее от этих мыслей голос батальонного комиссара Степана Никаноровича.

Он стоял перед ней в проходе между нарами, и рядом с ним еще кто-то высокий в ватнике и ушанке.

— Не сплю,— сказала Таня.

— Раз не спите, я пойду по своим делам, а вы разыщите под двести семнадцатым номером Бутусова, лейтенанта. Комбат с передовой к нам приехал,— батальонный комиссар кивнул на стоявшего рядом высокого,— своего лейтенанта хочет найти.

— Сейчас найдем. — Таня встала, стараясь сообразить, где может лежать двести семнадцатый.

И уже когда встала, поняла, что еле держится на ногах, что именно теперь готова повалиться и заснуть мертвым сном.

Она подняла глаза на стоявшего перед ней высокого человека в перетянутом ремнями коротком ватнике, и ей почудилось в его лице что-то знакомое.

— Пойдемте,— сказала она, так и не вспомнив, видела ли его раньше.

Сказала и повернулась. Но высокий не пошел вслед за ней, а, наоборот, придержал ее за плечо, повернул к себе, положил вторую, тяжелую, забинтованную руку на другое ее плечо и сказал:

— А я Синцов. Здравствуйте. Не узнали меня?

И она сразу узнала его. И, наверное, узнала бы еще раньше, если бы не считала, что его нет на свете.

— Здравствуйте, Иван Петрович! А я горевала, что вы погибли.

— А я живой.

Синцов продолжал стоять не двигаясь, и она не знала, что ей делать со своими руками. Если бы он не держал руки на ее плечах, она, наверное, потянулась бы и обняла его. Но он все еще молча стоял и держал руки у нее на плечах и смотрел на нее внимательно и странно, словно видел не ее, а еще кого-то другого, смотрел так, словно знал то, о чем не мог знать. Потом разом снял руки и сказал:

— Пойдемте искать,— и, пропустив ее вперед, пошел сзади.

Она шла между нарами, доставая из-под подушек тетрадочные листки с номерами и фамилиями или просто номерами, светя на них фонариком, потому что в бараке было полутемно.

— Он рыжий такой. Сильно рыжий,— сказал Синцов, когда они прошли несколько рядов нар.

— Они у нас все бритые. Вшивость у них знаете какая была?

— Знаю,— сказал Синцов.— Мы этот лагерь освобождали. Заходили в две землянки.

— А из охраны никого живыми не захватили? — спросила Таня.

— Навряд ли,— сказал Синцов.

— Вот и ваш Бутусов.— Таня вытащила записку из-под подушки лежавшего на втором ярусе нар человека, бритоголового, с тонким восковым носом.

— Посветите,— попросил Синцов.

Таня посветила фонариком.

— Это не он.

— Не может быть. Тут написано.

— Нет, не он. Посветите еще.

Когда до этого Таня подходила к другим нарам и светила на вынутые из-под подушек тетрадочные листки, он мельком

видел одну за другой похожие друг на друга головы с обтянутыми сухой кожей черепами. Но сейчас, когда ему сказали, что вот этот лежащий на нарах человек и есть лейтенант Бутусов, тот самый Бутусов, его Бутусов, он все еще не мог поверить в это. Потому что его Бутусов был здоровый, лохматый, рыжий, мордастый, веселый молодой человек, всегда вызывавшийся первым во все разведки и способный голыми руками скрутить и принести на себе «языка». А этот Бутусов был бритый больной старик, с неживым, синим лицом и лежавшими поверх одеяла тонкими, детскими руками.

— Бутусов, а Бутусов! Бутусов! Витя!

Голова на подушке слабо шевельнулась, глубоко запавшие глаза открылись и с усталой тоской посмотрели на Синцова. Потом внутри них, в глубине, что-то медленно переменилось, и Синцов понял, что глаза увидели его. Тогда он приблизил к ним лицо и сказал:

— Я Синцов. — И еще раз повторил: — Я Синцов.

— Где я? — еле слышно спросил Бутусов и потом громче, тревожно еще раз: — Где я?

Наверно, ему показалось, что вокруг него опять что-то другое, а он не знает что.

— Ты в госпитале,— сказал Синцов.

— Да, да, знаю, да,— успокоенно сказал Бутусов, закрыл глаза и снова с заметным трудом открыл их. — А ты чего тут?

— Приехал навестить тебя. От Пепеляева узнал. Он мне про тебя сказал.

— А где он? — спросил Бутусов.

— Не знаю. Пока не нашел. Я его раньше видел, а сейчас не нашел.

— Видишь, какие мы? — сказал Бутусов.

— Мы ваш лагерь освобождали,— сказал Синцов. — Я Пепеляева там видел. В первой же землянке лежал, у входа.

— Я его давно не видел,— сказал Бутусов. — Как на раздачу пищи перестали водить, больше не видел. — Он устал от длинной фразы, закрыл глаза и долго молчал. Потом спросил: — Значит, вы от самого берега до нас дошли?

— Да,— сказал Синцов.

Слишком долго было объяснять, как он сюда дошел и что он теперь не в том батальоне, не в той дивизии и не в той армии, где они были с Бутусовым.

— Были уверены, что вы оба в той разведке убиты. Не представляли себе, что вы можете быть живы.

— А мы, думаешь, представляли? — Бутусов снова открыл глаза. — Сами им в руки залезли. Лучше бы умерли.

— Да ты не переживай. Чего ты переживаешь? Мало ли что бывает.

— Я не переживаю. — Бутусов закрыл глаза и повторил: — Я не переживаю. — И вдруг тревожно встрепенулся: — А где Пепеляев?

— Говорю, не нашел еще.

— Подожди, не уходи,— не открывая глаз, совсем тихо прошептал Бутусов и, двинув головой, припал щекой к подушке.

И Синцов еще долго стоял и ждал, облокотясь на нары и глядя ему в лицо. Ждал до тех пор, пока не понял, что Бутусов забылся и лучше его не трогать.

А Таня все это время стояла позади Синцова и смотрела на его перехваченную поверх ватника ремнями широкую, сильную, чуть сутуловатую спину.

Тогда, в сорок первом, когда шли из окружения через смоленские леса, впереди, рядом со спиной Серпилина, почти всегда маячила эта широкая, знакомая, чуть сутуловатая спина.

А потом, когда она вывихнула ногу, он выносил ее, подвязав сзади, за спиной, плащ-палаткой. Менялся с Золотаревым, но чаще нес сам, потому что был сильнее Золотарева и сам говорил про себя, что здоровый, как верблюд.

Она стояла сзади и смотрела на эту широкую усталую спину в затянутом ремнями ватнике и думала о том, что вот сейчас он договорит с этим лейтенантом, повернется и ей надо будет сказать ему, что его жена умерла.

Он простоял несколько минут молча, потом повернулся и сказал:

— Я вам запишу мой номер полевой почты, а вы потом ему дайте, когда он в себя придет. Хорошо?

— Хорошо.

— И еще фамилию запишите — Пепеляев. Его в списках нет, но, может, он среди тех, кто еще не опомнился. Я хотел всех подряд обойти, но батальонный комиссар запретил ночью беспокоить. Правильно, конечно. А днем я все равно не в силах приехать. Если и его найдете, ему тоже мою полевую почту дайте. Ладно?

— Хорошо,— повторила Таня, продолжая думать, как быстро, все быстрее и быстрее надвигается то, о чем она должна говорить с ним.

Он снял ушанку, поворошил рукой волосы, потер небритое лицо, снова надел ушанку и, словно отделив всем этим одно от другого, сказал:

— А теперь мне надо с вами поговорить.

— А мне с вами,— сказала она. — Пойдемте сядем.

Они вернулись к нарам, на которых она сидела, когда он подошел туда вместе с батальонным комиссаром. Он сел первым, и она села рядом, касаясь локтем его ватника.

— Мне надо вам рассказать про вашу жену,— сказала она, глядя в пол. — Я вместе с ней была в партизанах. Она погибла.

— Я знаю,— сказал он.

Она подняла голову и посмотрела ему в глаза.

На его спокойном, усталом лице ничего не переменилось и не двинулось.

— Знаю,— повторил он, глядя ей в глаза, и два раза качнул головой, словно повторял уже молча: «Знаю, знаю». И оттого, что у него сейчас было такое лицо, заранее приготовленное ко всему, что он может услышать, она вдруг спросила:

— Давно?

— Давно,— сказал он. — Две недели.

— Кто вам сказал?

— Брат жены сказал. Он здесь, на фронте. Как приехал, нашел меня.

— Да, да, понимаю,— растерянно сказала Таня, хотя все еще не понимала, как это вдруг вышло, что ей так и не пришлось говорить ему все то, к чему она готовилась.

Тогда, в первую минуту, когда он так долго смотрел на нее, положив ей на плечи руки, ей почудилось, что он что-то знает. Но потом, когда он сказал «пойдемте», она уже была уверена, что он ничего не знает, потому что невозможно, чтобы знал и сразу же не спросил.

Но, оказывается, возможно. Оказывается, знал и не спросил, а пошел сначала искать своего лейтенанта.

— Ваша жена погибла как героиня,— вдруг неожиданно для себя сказала Таня.

Он посмотрел на нее и вздохнул. Может быть, подумал, что она сейчас начнет что-то врать и прибавлять от себя, чтоб ему было легче. Вздохнул и сказал:

— Павел передавал мне ваш рассказ, но я тогда плохо соображал, когда слушал. Еще раз расскажите. Он мне сказал, что оставил вам свой адрес, я все надеялся, что вы ему напишете и я вас найду. А теперь, видите, как все... — Он остановился и с чуть заметной запинкой добавил: — ...хорошо вышло.

Но все это вышло совсем не хорошо. Так нехорошо, что хотелось, не рассказывая ничего этого еще раз, просто молча взять его за руку и заплакать над Машиной оборвавшейся жизнью.

— Хорошо, я расскажу вам,— сказала она и стала рассказывать.

А он сидел рядом и молчал. Снял ушанку, бросил рядом с собой на нары, сцепил руки — здоровую и перевязанную, в грязных бинтах — и за все время так ни разу и не шевельнулся.

Молчал, когда говорила, и молчал, когда останавливалась, ища, как лучше сказать. И когда уже все сказала, еще две или три минуты молчал.

Две недели назад, когда Артемьев, приехав на фронт и прочитав в «Красной звезде» корреспонденцию, где упоминалась фамилия бывшего журналиста, комбата Синцова, добрался до него и рассказал о Маше, тогда, в ту ночь, Синцов думал только о ней и о том, как она умерла. А сейчас, заново услышав все это, думал о том, как давно он живет без нее.

Когда он сидел и ждал решения своей судьбы в московской военной прокуратуре, и пришел оттуда обратно к Губеру, и его записали в коммунистический батальон, она была еще жива. И когда они с Малининым воевали в трубе у кирпичного завода, она была еще жива. И когда он стоял на Красной площади и смотрел на говорившего с Мавзолея Сталина, она тоже была еще жива.

А когда всех других сфотографировали для партийных билетов, а его нет и он ругался из-за этого с Малининым, а потом ночью сидел в землянке и думал о ней, она уже умерла. И когда генерал Орлов выдавал им ордена, она уже умерла. И когда он ходил за «языком» и вытаскивал с ничейной земли Леонидова, она уже умерла. И когда ему после госпиталя давали отпуск в Москву, чтобы искать ее, а он не взял отпуска и пошел в школу младших лейтенантов, она уже умерла, ее уже не было.

И когда он был в Сталинграде, ее уже не было. И когда его везли, раненного, через зимнюю Волгу, ее уже не было. И когда он думал, жива она или не жива, в ту ночь, уйдя от той женщины, ее уже не было, давно не было, второй год, как не было...

Он наконец расцепил руки, поднял голову и посмотрел на Таню. Лицо у него было такое, как будто он ничего не чувствует.

— Вы сами просили, чтобы я вам все рассказала, — пугаясь этого бесчувственного лица, сказала Таня.

— Да, конечно. А как же иначе? Я не боюсь. Я уже привык.

Но лицо у него было по-прежнему неподвижное, и Таня так и не поняла, правду он говорит или нет, что привык. И вдруг вспомнила, как в лесу около Ельни он принес ее на руках в сторожку и лесник сказал про нее: «А я думал — жена ваша». А он спросил лесника: «Почему?» А лесник сказал: «Не всякий не всякую так вот на руках попрет». А он ничего не ответил,

только пожал плечами и, наверное, подумал о своей жене, которая тогда еще не умерла.

Таня уже давным-давно забыла о благодарности, которую когда-то испытывала к этому человеку,— война заслонила это, как и многое другое. А сейчас вспомнила с новой силой и вдруг сказала:

— Я тоже давно не была бы живая, если бы не вы.

Сказала так, как будто ему это очень важно, что она жива.

— Ну и очень хорошо, что вы живы,— сказал он. Потом потер лицо и спросил: — Павел сказал мне, вы были там... на квартире.

— Да.

— Я в сорок первом уходил оттуда па фронт.

Сказал как о детстве, как о чем-то, что было бог знает когда. Сказал и встал.

— Мое время вышло.

Она тоже встала и стояла перед ним. Стояла и неизвестно почему чувствовала, что еще будет нужна этому человеку.

— Вы из какой дивизии?

— Из Сто одиннадцатой. — Он расстегнул полевую сумку, вынул оттуда тетрадку, карандаш, записал номер полевой почты, вырвал половину листка и отдал ей. — Перепишите тому лейтенанту. И Пепеляеву тоже, если найдете. Хорошо?

— Хорошо.

Ей не хотелось расставаться, он понял это по ее лицу и сказал просто:

— Я вас найду. — И добавил, совсем как Серпилин, почти теми же словами: — Потом, когда все закончим. Раньше навряд ли.

— А вы еще не соединились с Шестьдесят второй? — Таня вспомнила, как говорил при ней об этом Серпилин.

Он усмехнулся:

— Это только в сказках скоро сказывается. Третий день только об этом мечтаем.

— А может, я сама вас найду,— сказала Таня. — Мне это, наверное, будет легче.

Он кивнул — что ж, легче так легче — и устало зевнул.

— За счет сна отпустили. Утром — бой.

— Я вас провожу.

Он пошел по проходу между нарами, и она торопливо, на ходу сунув руки в рукава полушубка, пошла за ним.

У самого входа в барак стояла «эмка».

— Вот моя машина — богато живу,— улыбнулся он в темноте и объяснил: — Не моя. Замполит дивизии на ночь дал, чтоб съездил. Ну что ж, прощайте. Видите, какая у нас встреча.

Он протянул руку, и она, неловко ткнувшись в темноте навстречу ему, сначала задела другую, левую, перевязанную руку, и уже когда машина отъехала, пристыженно подумала, что так и не спросила, что у него с рукой, и не предложила перебинтовать ее.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

До своего батальона Синцов добрался быстрей, чем думал. Пока он ездил в госпиталь, дорогу, которая шла через захваченные днем позиции к окраине Сталинграда, расчистили от заграждений, разминировали и уже изрубили гусеницами тягачей, подтаскивая к переднему краю артиллерию. Теперь, когда немцы с каждым днем все жестче экономили снаряды, мы нахально тащили вперед на прямую наводку даже крупные калибры.

Синцов думал сойти раньше, но водитель довез до самого батальона. Дорога переходила здесь в улицу — снежную полосу с двумя рядами развалин. В подвале в глубине вторых слева развалин и разместился сегодня штаб.

— Вижу, подорваться не боитесь,— сказал Синцов.

— Привык. Полковой комиссар всегда приказывает ехать по самое никуда. — В голосе водителя были сразу и недовольство и похвала.

Синцов усмехнулся и вылез из машины.

Что полковой комиссар Бережной никогда не ходит пешком там, где можно проехать, Синцов знал и без водителя, видел своими глазами. И храбрый до бесчувствия, и ленив ходить.

Давно и глубоко еще немцами протоптанная в снегу тропинка сворачивала с улицы в глубь развалин. Мороз с ветром сек лицо. Сколько можно жить на таком морозе!

Вот она, первая сталинградская улица, до которой шли начиная с десятого числа. А дошли до нее только сегодня — на шестнадцатые сутки. Если все они, эти улицы, теперь такие, проще город на новом месте строить. Скоро увидим, какие они. Скоро все увидим.

Вечером по бою было слышно, что перешеек в руках у немцев остался узкий — три-четыре улицы, а с той стороны — уже наши,— сегодня днем понесли потери: одного убитого и трех раненых от своих же перелетов. Потеря чувствительная, — после шестнадцати суток боев людей в батальоне вообще оставалось мало.

Подумал о завтрашнем бое и вспомнил командира артдивизиона Алешу Шенгелая, часто сидевшего у него на КП батальона, когда он был в Шестьдесят второй. Прикажет завтра с утра капитан Шенгелая своим громким грузинским голосом натянуть шнуры и дать огонь по квадрату шестнадцать — и влепит прямым попаданием в старого друга — игра случая! Подумал с усмешкой, а все-таки передернуло.

Дом, где помещался командный пункт, был старый, подвалы глубокие, с толстыми стенами и низкими сводами. Потому и уцелели. За шестнадцать суток разные были ночлеги — не только в окопе под плащ-палаткой, а и в хороших, почти целых блиндажах. Но этот ночлег — первый городской, можно сказать, под крышей, хотя от второго и третьего этажей — одно воспоминание. Если бы не поехал искать Бутусова, можно было бы хорошо выспаться. Подумал об этом, уже проходя через подвал, мимо спящих бойцов и дежурного телефониста, к себе в закут.

В подвале два таких закута: один заняли Ильин и Завалишин — в нем две немецкие складные койки гармошкой, а во втором — двуспальная кровать с периной. Вчера на этой двуспальной спал немецкий командир батальона, а сегодня ты. Документы его захватили, а самого и среди убитых не нашли и в плен не взяли. Пленных вообще мало. Семнадцать человек за весь день, и большая часть обмороженные, полутрупы.

Зайдя в свой закут, он заметил, что на кровати кто-то лежит, накрыв лицо шапкой. Ординарец Иван Авдеич поправлял фитиль в гильзе.

— Кто там разлегся?

— Полковник из штаба армии. В двадцать четыре часа прибыл, вас спросил и сказал: «Пусть разбудит, когда вернется».

— Вот новости! — сказал Синцов и, подойдя к кровати, увидел на подушке рыжий загривок Артемьева. Повернувшись к Ивану Авдеичу, спросил: — Ужином кормили?

— Не захотел, так лег.

— Тогда сообразите чайку на двоих, самому жрать охота.

— Суп гороховый есть,— сказал Иван Авдеич. — Горячую пищу привезли, как только вы уехали.

— Тем более. — Синцов устало опустился в стоявшее у стола обшарпанное бархатное кресло.

— Разрешите? — В закут, приподняв прикрывавшую вход плащ-палатку, заглянул Ильин.

— Чего явился? Сказали, что отдыхаешь.

— Я приказал разбудить, как вы приедете.

— А какая срочность? — спросил Синцов. — Садись.

— Не хочу,— сказал Ильин. — Как сяду, так в сон валит. Перемена на завтра. Артподготовку перенесли с семи на девять, а начало — на десять.

— Это хорошо,— потянулся Синцов, радуясь, что все же можно будет поспать. — А почему?

— Туманян был, сказал, что хотят еще артиллерии подтащить и подождать до полной видимости, чтоб по своим не ударить.

— Все-таки, значит, учли опыт. — Синцов вновь вспомнил о потерянных сегодня четырех бойцах.

Ильин, наверное, подумал о том же, потому что сказал об одном из этих четырех:

— Старший сержант Курилев, минометчик, вернулся с перевязочного пункта в строй. Я сам с ним говорил. Рана, говорит, нетяжелая — довоюю.

— Ну и правильно,— сказал Синцов. — А то обидно. Иди спи пока.

Но Ильин не ушел, а прислонился к стене и спросил на «ты», неофициально:

— Нашел своего командира роты?

— Нашел.

— Чего он рассказывает?

— Ничего он пока не рассказывает,— сказал Синцов. И от воспоминания о Бутусове поморщился, как от боли.

— Еще одного пленного вечером взяли,— почему-то улыбнувшись, сказал Ильин.

— Почему смеешься?

— Здесь взяли. Под кроватью прятался.

Но Синцова это не рассмешило.

— Растяпы! — сердито сказал он. — Вылез бы ночью да гранату кинул, было бы мне потом смеху на том свете.

— Мало их все же,— сказал Ильин. — Боятся нам сдаваться.

— Ясно, боятся,— сказал Синцов. — И я бы на их месте боялся бы после всего, что сделали.

— Приказал разбудить. — Ильин кивнул на всхрапнувшего Артемьева.

— Успею, разбужу. Иди спи.

Ильин вышел, а Синцов с наслаждением окунулся спиной в мягкие, старые, клонившие ко сну пружины кресла. Будить Артемьева было и охота и неохота. Все главное было сказано сразу, полмесяца назад, при первом свидании. А говорить об остальном — нет сил у тебя и у него, наверное, тоже. Настолько

нет сил, что кажется, нет и желания, хотя это неправда, желание есть, просто сил нет.

Артемьев повернулся на кровати, шапка свалилась на пол. «Все-таки мало ты переменился»,— подумал Синцов, глядя на его тяжело вдавившееся в подушку крупное, спокойное, загорелое лицо.

Еще тогда, две недели назад, когда встретились, он подумал, что брат жены мало переменился. Все такой же, как весной тридцать девятого, при последнем довоенном свидании. Только на петлицах вместо одной шпалы три, да два ордена на груди, да ходит, чуть припадая на раненую ногу. Все переменилось за эти годы, а он — даже до странности — каким был, таким и остался. Может, оттого, что с семнадцати лет, с училища, всю жизнь готовил себя к войне и жил на ней среди того, чего ждал всю жизнь? А хотя можно ли сказать про эту войну, что она была тем, чего ждали даже такие до мозга костей военные люди?

Может, просто не вгляделся в него тогда сразу, и не до того было, и свидание оказалось на людях и короче, чем оба думали. Приехал в батальон вместе с Левашовым, и Левашов почему-то не ушел, сидел все время, пока Павел рассказывал про смерть Маши. Может, и к лучшему, что сидел. А потом Ильин и Завалишин вернулись и тоже сидели, сочувствовали. Наверное, думали потом уйти, оставить вдвоем, но никакого «потом» не вышло из-за немецкой внезапной контратаки. Сразу в тот день из огня да в полымя. Хотя, возможно, и это к лучшему.

Когда он приехал тогда в батальон, прямо так сразу и рубанул про смерть Маши, без предисловий. Сперва обнял, а потом на секунду отстранился, поглядел в глаза и рубанул. Не считал возможным откладывать до другого раза. Да и что значит на войне откладывать до другого раза? Не только в том смысле, что все под богом ходим, а просто — когда еще раз к тебе в батальон попадет? Не прикажут — и не попадет. Не в письмах же описывать про смерть сестры! Хотя уже не первый день знал, что умерла, но и ему, конечно, тяжело было говорить про это. На лице не написано было, но на лице не обязательно и должно быть написано. У тебя тоже, наверное, не было написано, когда слушал. Просто пустота и холод в теле, как будто все из тебя выкачали, и тошнит, как от многодневного голода. Даже Левашов испугался, потряс за плечо: «Что с тобой?»

А сегодня, когда рассказывала маленькая докторша, слушал, как человек, уже привыкший к этой мысли, слушал, как рассказ о том, чего давно нет. И третьего дня, когда Ильин, у которого свое горе, вдруг ночью, после того как выпили по сто граммов,

сказал: «Закончим в Сталинграде, возможно, на формирование пошлют в жилые места. Мы теперь с тобой оба холостые, возьмем и женимся на сестрах, породнимся», в ответ усмехнулся слову «породнимся». Как будто еще какое-то родство могло породнить их с Ильиным больше, чем батальон. Усмехнулся и промолчал. А Ильин подумал, что обидел, поставив себя, нежената́го, на одну доску с ним, вдовым, и объяснил: «Я серьезно. Я на это не как другие смотрю. Говорят, сейчас жениться — сирот плодить, но это еще неизвестно. А если даже и так — пусть все равно моего родит и вырастит. Не с аттестатом, так с пенсией. Все равно после такой войны на всех баб мужиков не хватит».

«Ладно, там посмотрим,— сказал тогда Синцов,— давай сперва здесь довоюем».

Сказал, как подумал. Как было — уже не будет, а как будет — посмотрим. Была жена — и погибла больше года назад. Если не врать самому себе, когда бывают просветы в войне, давно уже вспышками чувствуешь, насколько тяжело без женщины. И раньше чувствовал, когда еще не знал о гибели жены. А какой длины будет жизнь, неизвестно.

Иван Авдеич вошел и поставил на стол котелок с супом.

— Не дюже горячий. Боялся, если подогревать — успете не поемши.

— Какой есть,— сказал Синцов. — Налейте нам по сто граммов. — И, подойдя к постели, опустил руку на плечо Артемьева: — Вставай, Паша.

Артемьев открыл глаза и сел.

— Наверное, раньше тебя обновил,— кивнул он на кровать.

— Да, я еще не успел.

— Нашел, кого искал в госпитале?

— Нашел.

И Артемьев по лицу Синцова увидел, что подробнее отвечать ему неохота.

— А я сегодня по вечерней обстановке в штабе дивизии пришел к выводу, что соединение с Шестьдесят второй, скорее всего, завтра произойдет или у тебя, или у твоего соседа слева, и махнул почевать к тебе. Третий день у вас в дивизии пасусь! Ты за сегодня здорово продвинулся, вон куда вышел!

— Да, рванули,— сказал Синцов. — Злые были сегодня и вчера после этого лагеря.

— Не видел его, времени не было поехать. Говорят, тяжелая картина.

Синцов невесело усмехнулся:

— Такая картина, что вчера, как ни требовал, ни одного пленного не взяли. Только сегодня к вечеру принудил. А про

себя, в душе, подумал: еще слишком отходчивые у нас люди, если на вторые сутки после такой картины все же пленных взяли. Я комбат, мне приказано требовать, а будь я солдат, не поручился бы за себя после этого лагеря.

Ординарец вошел, поставил на стол кружки с водкой и снова вышел.

— Давай супу похлебаем, гороховый... — сказал Синцов.

Половину супа вылил в алюминиевую миску и подвинул Артемьеву, а котелок взял себе.

— Как рука? — спросил Артемьев.

— Действует... — Синцов пошевелил торчавшими из грязных бинтов пальцами. — Только большой чего-то... на морозе немеет... Сегодня немца одного взяли, обмороженного. Когда через пролом из подвала вылезал, кистями оперся; и вдруг на обмороженной руке пальцы сломались, как фарфоровые... Не видел бы сам — не поверил.

— А у нас обмороженные есть?

— Боремся с этим, следим, ночью будим. Ну что, выпьем?

Артемьев кивнул, выпил, закусил густо посоленным сухарем и стал молча хлебать суп.

— Я тоже сегодня проголодался,— сказал Синцов. — Когда в госпиталь поехал — горячую пищу еще не подвезли, а в госпитале дольше, чем думал, задержался. Овсянникову встретил. Оказывается, она в этом госпитале. Еще раз, от нее, все выслушал.

— Теперь все подробности знаешь,— помолчав, сказал Артемьев. — Я тоже мельком видел ее на днях у Серпилина — хотел сказать ей, что ты здесь, но обстановка не позволила.

— Всех подробностей и она не знает.

— Через те же Сциллы и Харибды прошла и жива осталась,— сказал Артемьев про Таню. — А могло быть наоборот...

И Синцов подумал: да, могло быть и наоборот. Маша могла остаться жива, а маленькая докторша могла попасть в руки к немцам. При всей силе привычки жить среди чужих смертей все-таки смерть жены было трудно вставить в этот уже сложившийся за годы войны список неизбежностей. Но думать про нее, что хорошо, если бы она осталась жива, а вместо нее попала к немцам маленькая докторша, было так же нельзя, как нельзя было думать перед завтрашним боем, что хорошо, если бы в нем убили не тебя, а Ильина или Завалишина. Нельзя было хотеть, чтобы кто-то умер вместо кого-то, можно было только хотеть, чтоб все всегда оставались живыми. Но мечтать об этом было нелепо.

— Отличная она женщина!

Синцов понял, что Артемьев говорит про Таню, и молча кивнул.

— И баба, между прочим, занятная, если вглядеться.

— А ты что, уже вгляделся? — хмуро спросил Синцов, которому вдруг стало досадно от этих слов.

— Я — нет. Она сама в Москве, кажется, на меня глаз положила. Не утверждаю, но показалось. А я — нет. Просто объективно сужу: отличная, золотая женщина. Вот на таких и надо жениться, если дураком не быть, как я... Мне не надо. А тебе вот на такой и надо.

— Смотрю на тебя и думаю: умный ты или глупый? Нашел время!

— А что? Оба живые будете — возьми и женись на такой женщине. Тем более что вас сама судьба второй раз за войну сводит. Ничего не вижу в этом особенного. Что она такая маленькая, а ты под потолок — над этим, конечно, люди смеяться будут... — Артемьев улыбнулся, давая понять Синцову, что в общем-то, скорей, шутит. А серьезное во всем, что он сказал, было одно: сестры нет, и как бы ни любил ее Синцов, надо поставить на этом крест и жить, как судьба подскажет. С того света нас никто не видит, и никто не плачет и не радуется тому — раньше или позже мы их забыли...

— Что она такая маленькая, меня когда-то устраивало,— тоже улыбнувшись, сказал Синцов про Таню. — Когда тащил ее на закорках из окружения, радовался, что легкая.

— А мне вот, кажется, скоро придется на закорки груз потяжелее взвалить. — И, несмотря на усмешку, в глазах Артемьева мелькнуло смущение перед тем, что ему предстояло объяснить.— Видимо, женюсь, а возможно, уже и женился...

— То есть как это — возможно? На ком?

— На ком, на чем?.. — усмехнулся Артемьев. — Все та же сказка про белого бычка — на Надежде. Перед вылетом из Москвы зашел к ней — и пропал, как швед под Полтавой. Только не говори мне ничего,— остановил он рукой Синцова. — Что думаешь о ней, давно знаю, что скажешь обо мне, догадываюсь,— дурак! В основном верно.

Но хотя он остановил рукой Синцова, сказав «не говори», на самом деле его распирала радость оттого, что женщина, которую он когда-то любил и с трудом вынудил себя забыть о ней, снова принадлежит ему и сделала черт знает что, на что никакая другая не решилась бы на ее месте,— прилетела к нему на одну ночь на фронт и сейчас, после этого, хочет, можно сказать — домогается, стать его женой. Он сегодня отчасти потому и приехал ночевать к Синцову, что хотел поделиться: почему на это пошел

и почему, хоть и ругает себя дураком, все равно счастлив. А счастье в военное время на полу не валяется.

— Ну что ж, хорошо,— сказал Синцов после долгой паузы.

— Врешь.

— Почему вру? Раз тебе хорошо с ней — и ладно. Только про «жениться» чего-то недопонял.

Артемьев рассказал, как Надя свалилась ему на голову в штаб армии под видом жены, и как наутро Серпилин приказал выдворить ее в Москву, и как она, уезжая, спросила, готов ли он жениться на ней, и сказала, чтоб дал ей с собой письмо в загс, раз он на фронте,— она сама пойдет и все сделает там без него. И еще приедет к нему сюда как законная и посмотрит в глаза этому Серпилину, который выставил ее отсюда, как какую-нибудь тварь!

— Что же, она со зла, что ли, за тебя замуж выходит?

— Отчасти и так.

— А пройдет злость — что дальше?

— История у нас с ней старая,— сказал Артемьев. — Хотя и вышла потом за другого, но все равно ей лучше, чем со мной, ни с кем не было. В этих делах меня не обманешь.

— А в остальном? — спросил Синцов, хотя видел, что Артемьеву трудно отвечать.

— И в остальном она тоже, надо сказать, неплохая баба,— с некоторым усилием над собой сказал Артемьев. — Рукава засучит и пол вымоет, и белье постирает, и обед сготовит — шутя все сделает...

— Ну, а в остальном? — неуступчиво повторил Синцов.

— А что остальное?

— Тогда вопросов нет.

— Да, можешь меня поздравить,— сказал Артемьев. — Вчера, когда из дивизии с Серпилиным говорил, сообщил мне, что присвоили очередное, подзадержавшееся... Теперь полковник.

— Поздравляю. — Синцов еще раз подумал о Наде: может, выходит теперь за него замуж оттого, что поверила — далеко пойдет? Раз в тридцать лет уже полковник и, даст бог, не убьют, еще до конца войны будет опять за молодым генералом.

— Хотел четвертую шпалу привинтить, да в штабе дивизии не нашлось. Никто не запасается, погон ждут.

— Рад бы помочь,— улыбнулся Синцов,— да нечем. У нас в батальоне, кроме замполита, кругом одни кубики. Он, правда, такой, что и последнюю шпалу отдаст, но это уж я не позволю. Перевоспитываю его, чтоб имел хотя бы полувоенный вид.

— Смешно это от тебя слышать,— сказал Артемьев. — Слушаю и вспоминаю, каким ты был до армии, в тридцать девятом.

— Тридцать девятый — это давно прошедшее... — усмехнулся Синцов.

— Сидим тут с тобой, как две половины армии,— сказал Артемьев. — Кадровая и приписная. Думал ли ты до войны стать тем, кто есть?

— А много ли и обо всем ли, о чем надо, мы вообще тогда думали?

— Как будем спать ложиться? — спросил Артемьев. — Может, валетом?

— Рискованно,— сказал Синцов. — Не знаю, как ты, а мне ординарец говорил: я нервно спать стал. Заваливайся подальше к стенке, а я еще посижу, неохота ложиться.

— Ждешь, пока засну, пойдешь своими делами заниматься? — спросил Артемьев, укладываясь на кровати.

— На дела сегодня сил нет. Раз артподготовка на девять перенесена, имею право до семи поспать.

— Я с утра у вас останусь.

— Тебе видней. Нам так и так наступать. А кто первый задачу выполнит, мы или не мы,— лотерея!

— Будем считать, что вы,— сказал Артемьев. — Сам говорил, какие вы после лагеря злые...

— Злость злостью, а огонь огнем. Положат, и будешь лежать при всей своей злости. У меня последние дни такое чувство, что перед батальоном еще густо, намного больше людей, чем у меня. Берем только абсолютным превосходством в огне. Без этого и шагу бы не сделали.

— Я говорил с фронтовым разведчиком, считают, что у немцев уже немного живой силы осталось.

— Не знаю, как они считают,— сказал Синцов,— а я просто считаю: за вчера и сегодня на моем участке противник оставил сто сорок трупов. А у меня всего в батальоне на сегодня сто тридцать восемь человек. Если бы у нас с ними вчера утром батальон на батальон был, так передо мною уже была бы пустота, дыра! А вот увидишь, что завтра будет! Хотя, конечно, сопротивление слабеет: голодные, и обмороженных много...

— Жалеть еще не начал? — вдруг спросил Артемьев.

Синцов вздохнул и не ответил.

— Чего вздыхаешь, я серьезно спрашиваю. У меня, например, неудобно признаться, а, несмотря на все зароки, нет-нет и шевельнется...

— А я, когда гляжу на них, все вспоминаю, сколько раз я был на их месте и в сорок первом и в сорок втором. И спрашиваю себя: неужели у них, как у нас, после всего этого сил хватит встать, отряхнуться и обратно полезть?

— Ну, насчет тех, что здесь, такой вопрос уже не стоит.

— А я не про них. Я про остальных... Не знаю, если бы с самого начала, с первого дня, пошли их вот так громить, наверно, как ты говоришь, и шевельнулось бы. А сейчас не шевелится, потому что все это пока только расплата. И еще не вся. Я их не жалею. Я просто пленных убивать не даю. А иногда думаю: почему должна быть расплата?

— То есть как почему? — не понял Артемьев.

— Почему нам сначала надо было в долги влезать, а только потом платить начинать? Или нельзя было без этого?

— Мысль законная, но пора бы уже перестать об этом думать. Жизнь идет вперед...

— А я никогда не перестану об этом думать,— помолчав, сказал Синцов. — И война кончится — не перестану, и десять лет после нее пройдет — не перестану, и двадцать пройдет — не перестану...

— Это только так кажется. А расшибем их, дойдем хотя бы до старой границы, и совсем другие мысли у всех будут.

Синцов ничего не ответил, расстегнул ватник, стащил валенки и лег на кровать, на спину, привычно закинув за голову руки. Когда лег, подумал, что сразу, мгновенно, как закинет руки за голову, так и заснет, но что-то мешало. Мягкая перина, что ли, в которую непривычно провалилось тело. Минуту полежал молча, потом сказал:

— Отвыкли от жилого фонда. Даже чудно́, что под задницей перина. Не спится.

— А я наоборот, угрелся,— хорошо!

— Тогда спи,— сказал Синцов,— только скажи мне одну вещь: когда в Ставке служил, товарища Сталина хоть раз видел?

— Раз видел.

— Объясни, какой он.

— Чего тебе объяснять, сам не знаешь?

— А все-таки.

— Я всего раз его видел. Почти сразу, как пришел после ранения в Генштаб и работал направленцем. Посреди ночи нас всех вдруг собрали, кто сидел на участках Сталинградского фронта, и прямо провели к Сталину. Он поздоровался и приказал нам докладывать по очереди, начиная с правого фланга, о противнике: какие данные у каждого на своем направлении? Я докладывал четвертым, волновался, конечно, тем более что он мне два вопроса задал.

— А что отвечать, знал?

— Что отвечать, знал, но волновался.

— А какие вопросы были?

— Уточнявшие обстановку на моем участке. Видимо, у него заранее, помимо нас, я уж не знаю, по какой другой линии, были свои сведения о противнике, и он спросил: нет ли там во втором эшелоне еще какой-либо недавно подошедшей части? Я сказал, что предполагается начало выгрузки отдельного гренадерского полка СС. Тогда он спросил: почему сразу не доложили? Я ответил, что предположение еще не подтвержденное и не счел возможным докладывать ему как о факте.

— А как он тебя спрашивал?

— Я бы сказал, очень спокойно. Но когда смотрит на тебя — такое чувство, что проверяет, хочет знать тебя всего до мозга костей. И от этого нервничаешь.

— А как он выглядит?

— Как на портретах. Немного старше и ростом пониже; когда спрашивает, в глаза смотрит. А сам говорит очень медленно и спокойно, как будто никуда не торопится, хотя обстановка как раз была тяжелая. Мы только потом поняли, что в ту ночь проводилась самая первая прикидка на будущее наступление. Что тебе еще сказать? Когда слушает — ходит; остановится, в глаза посмотрит и опять ходит. Сапоги у него, наверное, с мягкими подошвами, поступь мягкая, как...

Артемьев сначала хотел сказать, как у кошки, потом — как у тигра, но не сказал ни того, ни другого: и то и другое казалось неудобным сказать про Сталина.

— Через час всех нас отпустили. У меня лично было такое чувство, что мы мало чего добавили, что он и без наших докладов хорошо информирован. Чувствовалось по вопросам.

— Да, интересно.

Синцов слушал с жадным любопытством. Артемьев был для него первым человеком, не просто говорившим про Сталина, а видевшим своими глазами, как он ходит, как говорит, как задает вопросы.

Синцову хотелось знать это. Ему всю войну хотелось знать про Сталина как можно больше, потому что в глубине души ответ на вопрос — какой он, Сталин? — связывался с ответом на другой, главный вопрос: почему только сейчас, на второй год войны, наступает начало настоящей расплаты с немцами?

Вопрос этот как бы ставил под сомнение меру величия Сталина и меру безошибочности его решений. А в то же время, когда комбат Синцов, полтора года проживший на переднем крае, все еще искал ответа на вопрос: «Почему война шла так, а не иначе?» — в том, какой Сталин,— это было молчаливым признанием того места, которое занимал Сталин и в его мыслях о прошлом, и в его надеждах на будущее, да и вообще во всей его жизни.

— А верно говорят,— спросил Синцов,— что Сталин прежде чем не получит сводки со всех фронтов, не ложится спать никогда?

— Судя по тому, как наши начальники до третьих петухов сидят,— так. А более точно мне знать не дано. — Артемьев с досадой подумал, что все же не сумел объяснить Синцову всех своих чувств, с которыми пришел и ушел от Сталина в тот день. Рассказывал, как спрашивает, как смотрит, про мягкие сапоги... А для главного не нашел слов. Хотя для таких вещей вообще не сразу найдешь слова, а то можно было бы рассказать и кое-что другое: как уже не ты, направленец, мелкая сошка, а сам Иван Алексеевич собирался на доклады к Сталину, и как ждал, вызовут его или нет, и как приходил с доклада. Каждый раз шел как под пули и возвращался — словно реку переплыл,— вспомнил Артемьев без тени осуждения, наоборот, с уверенностью, что так оно и должно быть, раз человек шел на доклад к самому Сталину...

Синцов лежал, закрыв глаза, но не спал.

Когда хочется спросить слишком много, начинаешь себя мысленно урезать, урезать и до тех пор урезаешь, пока почти ничего не остается спрашивать.

— Слушай,— Синцов открыл глаза,— вот ты теперь с Серпилиным служишь, какого ты мнения о нем?

— Самого высокого. А что?

— Нет, ничего,— сказал Синцов.

Но это было неправда, когда он сказал «нет, ничего», потому что сам вопрос — «какого ты мнения?» — был другим вопросом, которого он так и не задал: отчего же так вышло с Серпилиным до войны, раз и ты о нем самого высокого, и я о нем самого высокого, и все самого высокого, а четыре года он не то дороги мостил, не то лес рубил. Говорят: «Лес рубят — щепки летят!» Да ведь он не щепка, а начальник штаба армии.

Разные чувства рождались в последнее время, когда все очевиднее били немцев. Но главных два: одно — слава богу, что дожили до этого. А другое рядом — досада, что не с самого начала так. И эта досада жила и задавала тебе вопросы: почему да почему?

Это, собственно говоря, и имел в виду, когда спросил про Серпилина: какого мнения? Но не высказал своей мысли до конца, потому что она была из тех, когда даже с близким человеком долго ходишь вокруг да около.

— Не спишь?

— Не сплю.

— Мы с Рыбочкиным, с адъютантом батальона,— девятнадцать лет, только из училища,— как-то лежали в воронке, пережидали обстрел. И он вдруг мне говорит: «Товарищ старший лейтенант, а все-таки, по-моему, товарищ Сталин неправильно сделал, что до войны с немцами допустил, с такой высококультурной нацией». Я ему сразу не ответил: мина пролетела — нам головы в снег воткнула. А потом поднял голову и говорю: «Чего ты городишь? С ума сошел, под трибунал захотел? Что же, товарищ Сталин должен был нам приказать руки перед немцами поднять, что ли?! Говори, да не заговаривайся!» А он мне отвечает: «Я, говорит, не про это сказал. Раз война — я понимаю: или мы, или они! А я про то, как же так, после первой мировой войны у нас с Германией хорошие отношения были, и компартия там была самая сильная в Европе... Как же товарищ Сталин допустил, чтобы у них верх фашисты взяли?» Говорит мне это, а я лежу в воронке рядом с ним, слушаю его и не знаю — плакать над ним или смеяться, потому что чепуху порет, а в то же время — прав. Не должно этого было быть, как вышло! Так меня воспитывали, что я считал: не должно было!

— Ну и что ты ему сказал? — спросил Артемьев.

— Сказал: «Больно много ты валишь на товарища Сталина. Все же это Германия, а не Россия, не все на свете в его власти». А он на меня так посмотрел, как будто я его веры лишил, даже жалко его стало. «Ванюша» лупит через нас, а мы лежим голова к голове и смотрим друг на друга. Обстановка такая, что можно на откровенность. Гляжу ему прямо в глаза и говорю: «Чтобы я от тебя больше на эту тему не слышал, а тем более другие. Понял?» — «Понял». А по глазам вижу: ничего он не понял. А я, думаешь, понял? Вся разница между нами: я понимаю, что об этом говорить не надо, а он даже и этого не понимает... Скажи мне, Паша, ты доволен своей жизнью?

— В каком смысле?

— А в таком смысле, что не стыдно будет потом за то, как живем?

— В адъютантах малость лишнего проторчал. А так ничего, доволен.

— И я сейчас доволен. А как, по-твоему, до войны мы как жили, хорошо?

— В смысле харчей, что ли? — спросил Артемьев, и Синцову показалось по его голосу, что он про себя усмехнулся.

— Так и дальше хочешь жить, как до войны жили? Чтобы после войны все так было, как было?

— Довоюем — разберемся,— сказал Артемьев.

— А есть с чем разбираться?

— Да-а... — протянул Артемьев. — Исключительно тяжелый характер у тебя, я вижу, стал. В другой раз выспаться захочу, к кому-нибудь еще поеду. Весь сон разогнал...

— Ладно, спи. — Синцов покосился на Артемьева, увидел, что тот закрыл глаза, сам тоже закрыл глаза и с минуту лежал молча, пробуя представить себе, что думает сейчас Артемьев, человек, с которым они не говорили по душам целых четыре года.

— Придется будить,— раздался из-за плащ-палатки знакомый голос Левашова.

Синцов поднял голову с подушки, сел и сунул ноги в валенки.

— Куда ты? — спросил Артемьев, не открывая глаз. — Что там?

— Сейчас узнаю. — Синцов наскоро застегнул ватник и вышел.

В подвале стояли трое: Рыбочкин, Левашов и незнакомый Синцову низкий плотный человек в слишком длинном полушубке и в надвинутой на брови слишком большой ушанке.

«Опять корреспондент, что ли?» — недовольно подумал Синцов. Ему не хотелось спать, но говорить тоже не хотелось.

— Знакомься с товарищем... — как-то странно, ничего не добавив к этому слову «товарищ», показал Левашов пальцем на низкого в слишком длинном полушубке.

Синцов, вышедший из своего закута без ушанки, бросил руки по швам:

— Командир батальона, старший лейтенант Синцов,— и пожал протянутую руку.

— Здравствуйте. Келлер,— с заметным немецким акцентом представился человек в слишком длинном полушубке и крепко пожал Синцову руку. Рука у него была большая и жесткая.

— Чего удивился? — заметив выражение лица Синцова, спросил Левашов.

— Я не удивился,— сказал Синцов. — Прошу отдохнуть, чаю попить. — И, взявшись за плащ-палатку, хотел откинуть ее и пропустить гостей. Но Левашов остановил его.

— Все в свое время. Сперва дело. Хотим у тебя в батальоне место выбрать, откуда он утром будет свою передачу вести. Предлагал ему ночью: все же безопасней, а он хочет с утра.

— Ночью спят,— сказал немец.

— В общем, его не переупрямишь. Но место надо с ночи подобрать.

— А какая передача, через рупор? — спросил Синцов.

— Нет, придется сюда МГУ за ночь подтащить. Под прикрытие каких-нибудь хороших развалин поставить и замаскиро-

вать... Ты поглубже других в город влез, потому к тебе и явились.

Синцов задумался. МГУ — мощная громкоговорящая установка — как-никак все же смонтированный на полуторке автобус. Если удастся его до Чугунова полтораста метров хотя бы на руках дотолкать — там в третьей роте есть подходящая развалина — бывший гараж. Пол на уровне земли, две стены углом и часть перекрытия сохранилась.

— Ну как, найдешь то, что нам нужно? — спросил Левашов. — Учти, кроме всего прочего, чтоб тут же рядом для людей надежное укрытие было. Фрицы как ни экономят боеприпасы, а услышат передачу, насмерть бить будут — закон!

— Думаю, подыщем. Сейчас пойдем, только портупею надену,— сказал Синцов. — А может, перед дорогой все же по кружке чаю?

— Если чай... — сказал немец.

— Чай. Покушаем, когда вернемся.

— Да,— сказал немец. — Немножко, правда, холодно.

Иван Авдеич, не дожидаясь приказаний, уже подтащил к столу длинную лавку, дав комбату возможность сказать: «Присаживайтесь!»

Синцов откинул плащ-палатку и зашел в закут. Артемьев поманил его пальцем.

— Кто такие? Недослышал.

— Замполит полка с немцем. По радио будет агитировать. Может, встанешь?

— А ну их,— сказал Артемьев,— спать буду. Уже приладился. А тебе опять на мороз!

Синцов пожал плечами. Что ответить на это?

Он вышел подпоясанный и, не надевая ушанки, подсел к столу. На столе уже стояли кружки и эмалированный облупленный чайник.

— Да, вот такое у нас противоречие с товарищем Келлером,— сказал Левашов, кивнув на немца. — У меня приказание политотдела — обеспечить, чтобы ни один волос с его головы не упал, а у него, наоборот, желание вести свою передачу среди бела дня.

— Волос уже все равно упал. Много упал,— сказал немец, снимая с головы ушанку и поглаживая лобастую лысеющую голову. Он улыбнулся, но в его сдержанной улыбке была горечь. — Надо сейчас много работать. Много, очень много.

Он расстегнул два верхних крючка на полушубке: под полушубком была телогрейка, а под телогрейкой — гимнастерка с петлицами.

«Вот как, даже в нашей гимнастерке»,— подумал Синцов и вдруг, глядя на этого лысеющего лобастого человека с белыми густыми бровями, вспомнил, что уже видел его, и тут не могло быть никакой ошибки. Это было в тридцать четвертом году, зимой, девять лет назад, вскоре после процесса Димитрова. Этот человек — именно этот человек, только что бежавший тогда из Германии, выступал у них в аудитории КИЖа и рассказывал им, что такое фашизм. Только тогда он говорил по-немецки, и его не успевали переводить, особенно когда он сердился и в такт словам, как молотом, ударял своим тяжелым кулаком по трибуне. И фамилия его не Келлер, как сначала послышалось Синцову, а Хеллер, Эрнст Хеллер. И у него была книга о Гамбургском восстании, вышедшая еще до того, как он бежал к нам из Германии, а потом были очерки из Испании — он уже от нас ездил в Испанию, командовал там батальоном в Интернациональной бригаде.

Конечно, это он, тот самый, который был у них в КИЖе. Только брови у него тогда были совсем черные, а сейчас совсем белые.

Заметив, как внимательно смотрит на него Синцов, немец опустил глаза и обхватил руками кружку с горячим чаем, грея об нее пальцы.

— Я вас один раз видел, товарищ Хеллер,— сказал Синцов. — Вы приезжали в тридцать четвертом году к нам в КИЖ — Коммунистический институт журналистики.

Немец быстро кивнул, потом, словно вдогонку, кивнул еще раз и улыбнулся.

— Немножко плохо говорил тогда по-русски,— сказал он. — Только одно русское слово — «Рот фронт», да? — Он оторвал правую руку от кружки, сжал большой кулак и сделал им короткое полудвижение; он не показывал, он только напоминал этим полудвижением, как это было. — Рот фронт, да?

И хотя он продолжал улыбаться, в глазах его мелькнуло что-то скорбное, словно воспоминание об этом жесте и этом слове доставляет ему боль, словно и этот жест, и это слово лежат где-то глубоко, под развалинами всего того, что обрушилось на них потом, и он сейчас не может ни произнести это слово, ни сделать этот жест с той, прежней силой.

— Я читал вашу книгу,— сказал Синцов.

— А я не читал,— сказал Левашов. — Стыдно, а приходится признаться.

— И про Испанию ваши статьи читал,— сказал Синцов.

— В «Интернациональная литература», да? — спросил немец. — Плохая война,— сказал он, и в его глазах снова промельк-

нуло что-то мучительное. — Хорошие люди, но плохая война. Голая рука против танк, против «юнкерс», против «мессершмитт».

— Это мы знаем, на себе испытали,— сказал Левашов.

— Да, да,— быстро, даже, может быть, слишком быстро, сказал немец.

«Каждый день слышит от нас о том, что сделали у нас фашисты,— подумал Синцов. — И хотя начал воевать с ними раньше, чем мы, еще в Испании, а все равно ему тяжело это слушать, потому что все равно он немец».

— Видите, своего читателя здесь встретили,— сказал Левашов про Синцова.

Но немец, хотя и кивнул, не посмотрел на Синцова. Наверное, ему было сейчас не до своих читателей, он тяжело думал о чем-то другом, своем, главном и трудном.

Синцов выпил еще глоток чаю и встал. Левашов вопросительно посмотрел на него.

— Разрешите, я пойду первым, разведаю,— сказал Синцов. — Думаю, у Чугунова найдем все, что надо. Но хочу сам проверить. А вы пока грейтесь. Я за вами пришлю.

Хотя он просил разрешения, но просил настоятельно, как просят подчиненные у начальства при посторонних, давая понять, что они знают, что делают.

Левашов кивнул: комбату, в конце концов, виднее. А может, он не хочет сразу вести с собой немца, считает нужным что-то убрать от глаз подальше.

— Как, пусть идет вперед, а мы подождем, погреемся? — обратился Левашов к немцу.

Немец, прежде чем ответить, сделал секундную паузу. Видимо, наоборот, хотел идти сразу, но спорить не стал.

— Да,— сказал он и, подняв свою лобастую голову с седыми бровями, посмотрел на Синцова таким долгим взглядом, словно пытался вспомнить невозможное: лица всех тех, кто тогда, девять лет назад, когда он только что бежал из Германии, слушал его и, громыхая отодвинутыми стульями, поднимая кулаки, вместе с ним кричал: «Рот фронт!» Вот он, один из них, высокий, с невыспавшимся лицом, в ватнике, в ушанке, привычным жестом, прежде чем выйти в ночь, вешает на плечо автомат...

Идя в роту к Чугунову, Синцов всю дорогу думал о немце. Левашов был прав, заподозрив, что комбат решил кое-что прибрать там, впереди.

Идешь среди развалин и все время натыкаешься на немецкие трупы. А там, у Чугунова, как раз в этом гараже на полу

целый штабель — сами немцы складывали. Большинство без сапог, босые, и на голых ногах болтаются на проволочках немецкие похоронные бирки-половинки. У них одна половинка по шву отламывается и остается при трупе, а другую половинку не то родным, не то еще куда-то отсылают.

Чугунов, конечно, аккуратный, наверно, прибрал. Но могло быть и так, что руки не дошли. Предел человеческим силам тоже есть. В бою солдат приказ выполняет, а кончился бой — положил голову на что попало, хоть на труп, и уже ничего ни с кем до утра не сделаешь.

Конечно, этого немца трупами не удивишь; они тут, в Сталинграде, во всех видах. А все-таки что-то мешает этой мысли. Все же лучше, чтоб он, придя к Чугунову, не наткнулся на целый штабель своих.

Невольно подумав «своих», попробовал мысленно поправить себя: нельзя так думать про *этого* немца. А как думать? По-другому тоже не выходит. Хотя и не свои они для него, а все же и свои. Наверное, глядит на эти трупы и думает: кто из них кто? Залезь в его шкуру да поди погляди на эту поленницу с бирками на голых ногах. Попробуй узнай, кто из них до прихода Гитлера голосовал за фашистов, кто — за социал-демократов, а кто — за коммунистов! В армию всех подряд забирали. До пожара рейхстага шесть миллионов за коммунистов голосовали. И они тоже лежат среди этих мертвяков, больше чем вероятно.

«Да, тяжело этому немцу»,— подумал Синцов.

Чугунов спал чутко. Как только услышал — пришли, сам проснулся и сел на койке. В его подвале тоже был раньше какой-то немецкий штаб. Чем дальше в город, тем больше пойдет теперь этих штабов. Хотел встать, но Синцов придержал его за плечо и сам сел напротив.

— Не даю тебе отдыхать, Василий Алексеич. — Синцов искренне жалел, что разбудил Чугунова. — Но надо посоветоваться с тобой.

— А я уже вставать себе заказал. Пять часов проспал! — весело сказал Чугунов, поглядев на часы. — Сегодня у меня сон, можно сказать, хороший.

Синцов рассказал про немца и предстоящую радиопередачу.

Чугунов насупился.

— Когда же он думает начать?

— С рассветом.

— Артподготовка в девять, значит, до нее,— сказал Чугунов, очевидно прикидывая в уме, как долго придется принимать ему

на себя немецкий ответный огонь, потому что, раз передача, немцы будут бить по роте Чугунова.

— Укроешь людей получше,— сказал Синцов. — А сколько он будет говорить, не знаю. Может, сразу такое им скажет, что они сдаваться начнут.

Чугунов выжидательно поднял глаза: хотел проверить, серьезно говорит комбат или шутит, но так и не прочел на лице Синцова ответа на свой вопрос.

— Навряд ли,— сказал Чугунов. — Я с ними на слова уже не надеюсь. Только на огонь.

— В основном прав,— сказал Синцов. — А все же кто его знает, одно дело — пленный или перебежчик, вчера еще с ними сидел, а сегодня уже от нас кричит: «Жив, здоров, не убили, накормили», а другое дело — будет говорить человек, который против фашизма всю жизнь воюет, и притом еще писатель.

— Это, конечно, да,— сказал Чугунов. — Конечно, если такой человек, то другое дело.

Но, хотя по его словам выходило, что он вроде бы соглашается с комбатом, Синцов понимал, что Чугунов вовсе не соглашается с ним и не допускает мысли, что немцы, послушав передачу, пойдут сдаваться. И «другое дело» сказал он не о будущей радиопередаче, а просто о самом человеке, что человек этот — совсем другое дело, чем перебежчики или пленные, к которым подойдут по-хорошему: перевяжут, обогреют, накормят,— и они берут в руки рупор и говорят своим, чтобы сдавались.

И Чугунов и Синцов — оба понимали, конечно, что так и надо поступать с перебежчиками и пленными и хорошо, что они говорят в рупор и предлагают сдаваться. Все это понятно, а все же ни Чугунов, ни Синцов одинаково не могли преодолеть чувства солдатского недоверия к этим людям хотя бы потому, что слишком хорошо знали, как это бывает наоборот, и не раз за войну слышали русские голоса оттуда: «Товарищи красноармейцы, сдавайтесь, я такой-то, со мной хорошо обращаются, вы в безнадежном положении...» Слышали и били по таким голосам из всех видов оружия, со всей яростью, на какую были способны.

Конечно, этот немец — совсем другое дело. Фашисты этому Хеллеру, попади он им в руки, звезды бы на спине повырезывали, как белые красным в гражданскую! А все же Синцов не мог сейчас до конца представить себя на его месте. Не мог, и все тут. Умом понимал, а в чувствах было что-то такое, через что трудно переступить. Или коммунистического сознания в тебе недостаточно, или за полтора беспощадных года войны с тобой что-то такое сделалось, что уже и сам себя не до конца понимаешь.

— А наверху, в гараже?
— «Дрова», что ли? — Чугунов усмехнулся.
— Да. Шел мимо, не заметил. Убрал?
— В угол к стенке завалили. За этого, за немца, беспокоитесь? Он небось уж привычный.
— Не беспокоюсь, а все же как-то...
— А по мне — какая разница, пусть смотрит,— сказал Чугунов.
— Левашов приказал безопасность этого немца обеспечить,—сказал Синцов. — Надо любой ценой обеспечить, не подвести. Я уже думал. Радиомашину в гараж в самый угол затащим. А на случай сильного огня для укрытия — там у тебя, я видел, рядом танк подбитый стоит — можно подрыть поглубже между гусеницами и пару тулупов засунуть, чтобы, если отсиживаться придется, не замерз.
— Можно и тулупы, — сказал Чугунов.—У меня и грелки химические есть, две штуки.
— Смотри какой запасливый! А у меня ни одной не осталось.
— Есть,— сказал Чугунов. — Для такого дела дам. По-моему, в случае чего, будет подходяще там, под танком. Сами посмотрите...
Они вылезли из подвала. Впереди, у стены гаража, темнела коробка танка.
— Холодно будет ему, если туда, под танк, загонят лежать,— сказал Чугунов. — Как думаешь, Иван Петрович, соединимся за сегодня с Шестьдесят второй или нет?
— Не бог. Не знаю,— сказал Синцов.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Пробыв почти весь день в 111-й дивизии, командующий армией генерал-лейтенант Батюк вернулся оттуда вечером до крайности злой. Для злости было две причины: первая — та, что, несмотря на личное присутствие Батюка, 111-я и сегодня не прорвала фронт немцев и не соединилась с 62-й армией, а вторая причина — неожиданное личное столкновение с таким, казалось бы, покладистым стариком, как командир дивизии генерал Кузьмич, которого Батюк про себя привык называть «божьей коровкой».
Когда, налазившись вместе с Кузьмичом по окопам и развалинам, побывав на всех трех наблюдательных пунктах полков, устав и намерзшись, Батюк перед возвращением в армию заехал в штаб дивизии выпить чаю, Кузьмич вдруг побелел как бумага,

встал, попросил извинения и, прихрамывая, вышел в соседнее помещение. Батюк, не отличавшийся терпением, начал пить чай без него, потом, рассердясь, оставил стакан, поднялся и рванул дверь в соседнюю комнату.

Там на лавке сидел белый, без кровинки, Кузьмич и шепотом кричал на своего адъютанта:

— Давай сухой валенок!..

— Не дам, товарищ генерал.

— Давай, говорят... командующий ждет!

— Что тут происходит? — спросил Батюк, переводя взгляд с белого лица командира дивизии на его забинтованную от щиколотки почти до колена ногу.

— Давай валенок! — не своим голосом заорал Кузьмич.

Адъютант поставил ему валенок, он с искаженным от боли лицом сунул в него ногу и встал.

— Товарищ командующий, разрешите доложить... — начал адъютант и остановился под яростным взглядом командира дивизии.

— Докладывайте,— переводя взгляд с одного на другого, сказал Батюк.

Адъютант виновато посмотрел на Кузьмича и стал докладывать, что у командира дивизии уже несколько дней как открылась старая рана, и, хотя врач ему сказал, что надо полеживать, он не ложится, сегодня и вовсе ходил целый день и так разбередил ногу, что валенок полный крови.

— Где же твоя совесть? — Батюк повернулся к Кузьмичу. — Почему, как я приехал, мне не сказал? Какой из тебя командир дивизии, раз у тебя рана открылась? Садись, чего стоишь? В ящик сыграть хочешь?.. — И Батюк матерно выругался.

Кузьмич не сел.

— Разрешите ответить на ваши вопросы с глазу на глаз? Или и дальше будете меня при людях матюкать?

Батюк ничего не ответил, повернулся и пошел в другую комнату. Кузьмич прошел за ним, закрыл за собой дверь и попросил разрешения сесть.

— Можешь хоть ложиться! Докомандовался, понимаешь, а со штабом армии в прятки играешь,— сказал Батюк сердито, садясь на стул напротив Кузьмича. — И еще не матюкай его. Да я бы тебя не так еще обматюкал, если бы не при людях. Сдавай дивизию Пикину и езжай в госпиталь.

— Иван Капитонович, чем сплеча рубать, все же сперва уважьте, послушайте. Как-никак годов на десять постарше вас.

— То-то и оно,— сказал Батюк. — Давно пора ехать в тыл запасные полки учить, а не добивать себя тут до ручки.

— До сей поры, что возложено, выполнял и так и дальше думаю,— сказал Кузьмич. — Ночь перележу, а утром, где надоть быть, буду. И все, что надоть, сделаю.

— Не видать, чтоб ты все, что надо, делал. Соединиться обещал, а не сделал!

— Что мог, делал, товарищ командующий. Вы сами видели...

— Мог, мог... — сердито оборвал Батюк и встал. — Ты сделал, что мог, а другой придет и сделает больше.

— Иван Капитонович,— умоляюще сказал Кузьмич. — Не трожьте меня до конца операции. Есть в вас душа или нет?!

— А ты мне личных отношений не разводи,— взорвался Батюк. — Обращайся, как положено.

— А раз как положено,— поднявшись и став напротив Батюка, сказал Кузьмич,— так вы меня не тычьте, я у Фрунзе служил, он меня не тыкал...

— У вас все? — угрожающе спросил Батюк, с трудом не дав себе хряснуть кулаком по столу. — Получите письменный приказ и сдадите дивизию.

Он уехал в гневе и не выполнил своей угрозы сразу же по приезде в штаб армии только потому, что его поглотили неотложные, накопившиеся в его отсутствие дела и надо было сначала расправиться с ними.

Тем временем члену Военного совета Захарову позвонил взволнованный замполит 111-й Бережной, прося разрешения срочно явиться к нему.

— Являйся, раз такая нужда на ночь глядя,— сказал Захаров. — Кстати, жалоба на тебя есть. Заодно разберем.

— Какая жалоба? — спросил Бережной.

— Явишься — узнаешь. — Захаров положил трубку и покосился на сидевшего перед ним заместителя начальника политотдела армии полкового комиссара Бастрюкова, который полчаса назад пришел не с жалобой, как выразился Захаров, а с замечаниями по недостаткам в работе политотдела 111-й дивизии.

— Ну что ж,— сказал Захаров,— раз Бережной сам напросился, пока будьте свободны. Как приедет, вызову на очную ставку. — И, поглядев на недовольное лицо Бастрюкова, усмехнулся. — Иди, товарищ Бастрюков.

Захарову хотелось остаться одному, успеть до приезда Бережного самому обдумать, как быть с этой некстати вспухшей историей.

«Бастрюков формально прав: вытащил это дело и поставил в таком разрезе, что теперь не обойдешь его ни справа, ни сле-

ва. Остается один вопрос — за каким хреном ему понадобилось сейчас, на гребне последних усилий, вдруг вытаскивать эту историю, которая через несколько дней на фоне победы сама собой утонула бы, и никто бы ее не оживил. А он, наоборот, рад и понимает свою силу; раз пришел ко мне, я уже не могу ему сказать: не суйся, подожди, пока само собой заглохнет... Не такой это человек, чтобы ему так сказать».

Дело, по которому пришел Бастрюков, кроме всех прочих его жалоб на политотдел дивизии, заключалось в том, что в 111-й в разведроте, был, оказывается, боец по фамилии Гофман. И был он не еврей, за которого его привычно считали, сталкиваясь с фамилией Гофман, а самый настоящий немец Поволжья. И это в дивизии, по словам Бастрюкова, знали и покрывали, несмотря на то что был строжайший приказ: немцев Поволжья ни под каким видом во фронтовой полосе не держать. А этот немец воевал в дивизии, и не где-нибудь, а в роте разведчиков, и как раз он взял того крайне необходимого «языка», которого в канун наступления приказано было взять на участке 111-й дивизии, и получил за это «Отвагу».

И все сошло бы, если бы товарищ Бастрюков, за которым числится армейская газета, не потребовал себе на просмотр непошедшие материалы. Он вообще был старательный, каких только дел на себя не брал, лишь бы времени не оставалось на передовую ездить. И в непошедшем материале нашел набранную заметку с описанием подвига этого Гофмана. Редактор, наверное, споткнулся о фамилию и заметку не пустил: от греха подальше. А Бастрюков увидел и пошел копать. Вызывал к себе корреспондента, который писал,— в общем, докопался! Нашел в армии одного немца — и ставит вопрос в мировом масштабе. И попробуй заткни ему теперь рот!

Начальник политотдела армии был хороший мужик, но имел простительную, с точки зрения Захарова, слабость — не вылезал с передовой. А когда прибыл товарищ Бастрюков, в его лице приобрел желанного заместителя, который, не разгибая спины, сидел в политотделе за всех и гнал через себя снизу вверх бумаги, и, как всякий такой человек, забирая постепенно все большую силу. В последнее время Захаров чувствовал это по себе: Бастрюков все чаще лично являлся к нему с докладами и все настойчивее совал именно такие бумаги, от которых не открутишься. И под всеми ними — его подпись. Создает себе и во фронте и в ПУРе среди всех тех, кто питает к этому слабость, авторитет недремлющего ока. А кроме того, там в ПУРе, в Москве, у него корешок в звании дивизионного; этот корешок его сюда и пристроил. И хоть ты и член Военного совета армии и считают, что натура

у тебя твердая, а все же с товарищем Бастрюковым придется еще послужить. Знаешь ему цену, а голыми руками не возьмешь. Такого если уж брать, то надо, как занозу, чтоб не обломилась, а то глубже засядет, тогда вообще не вытянешь. И на это, при всем твоем горячем характере, у тебя должно хватить терпения. А не хватит — дурак будешь...

— Ну, чего явился? Какая срочность? — спросил Захаров вошедшего Бережного. Думал, что Бережной после разговора по телефону начнет с вопроса: какая жалоба на политотдел дивизии? Но Бережной начал не с этого.

— Константин Прокофьевич, на вас вся надежда. Нельзя до конца операции отстранять старика от командования дивизией...

— А почему нельзя? — спросил Захаров. Он сразу понял: в дивизии что-то стряслось во время пребывания там Батюка, и Бережной считает, что ему, как члену Военного совета, все это уже известно. Но ему из самолюбия, не столько личного, сколько связанного с пониманием своих прав и обязанностей члена Военного совета, не хотелось обнаружить своего незнания перед Бережным,— Бережной все равно сейчас сам вывалит все, что у него за душой, и картина будет ясна.

И Бережной действительно вывалил все.

— Меня слеза прошибла, глядя на старика, после того как командующий уехал!

— А ты вообще на слезу слабый.

— Успел полюбить,— горячо сказал Бережной.

— Быстро! Месяца не прошло...

— А любовь бывает с первого взгляда, товарищ член Военного совета.

— Опасное качество для политработников,— сказал Захаров. — А не будет у нас так, Матвей Ильич,— сегодня старика пожалеем, а завтра похороним?

— Не знаю,— сказал Бережной. — Знаю одно: если завтра снимете — считайте, что завтра же и похороните. Заживо.

— А о дивизии ты думаешь?

— Думаю. Дела у нас не хуже, чем у других. Пикин старается, я стараюсь, и старик себя не жалеет. А если хотите, чтоб он при своей открывшейся ране за оставшиеся дни меньше в полки лазал, дайте ему заместителя по строевой. Так и так у нас его нет.

— Нет потому, что сами же еще при Серпилине просили воздержаться, пока ваш Щербачев из госпиталя не выйдет. Не хотели никого другого.

— А сейчас, раз такая обстановка, просим: дайте.

— Вот это больше похоже на дело,—сказал Захаров. —

Поговорю с командующим и с начальником штаба. Как они на это посмотрят.

— Я сам заранее к Серпилину схожу,— сказал Бережной.

— А вот этого от тебя не требуется. Ты ему не свояк и не кум. Зачем тебе к начальнику штаба армии, пользуясь бывшей дружбой, ходить, ставить его в ложное положение?

— Почему бывшей?

— А ты не придуривайся. Ты меня понял,— сказал Захаров. — Возможно, конечно, что и такое решение будет: из армейских медиков консилиум назначить, решить, как, способен исполнять свои обязанности по состоянию здоровья или нет?

— А-а... — махнул рукой Бережной. — Раз консилиум — все! Что им командующий прикажет, то и скажут.

— А ты зачем людей сволочишь? — вдруг рассердился Захаров. — Не люблю в тебе этого, сам вроде хороший, а мазануть другого — так, с маху, плохим назвать, между прочим, не боишься. Откуда у тебя такое мнение? У нас начсанарм, если хочешь знать, еще тебя принципиальности поучит.

— Виноват, не подумал.

— Брось эту привычку,— по-прежнему сердито сказал Захаров,— «виноват», потому что отпор тебе дал, а если бы не дал, считал бы, что прав.

Захаров снял трубку и покрутил телефон.

— Где командующий?

В телефон ответили, что командующий пошел к начальнику штаба смотреть обстановку.

— Так. — Захаров положил трубку. — Значит, время у нас с тобой еще есть.

И, снова сняв трубку, позвонил Бастрюкову.

— Заходите!.. Сейчас обсудим ваши безобразия,— повернулся он к Бережному.

— Какие безобразия, товарищ член Военного совета?

— А какие безобразия — заместитель начальника политотдела армии тебе скажет. Не хочу лишать его такого удовольствия. — Захаров посмотрел в глаза Бережному с каким-то показавшимся тому странным выражением, хотя странного тут ничего не было. Просто он глядел в глаза Бережного, и этот Бережной, которого он только что выругал, был в его глазах хорошим, стоящим человеком и, наверное, в том деле, о котором им предстояло говорить, тоже вел себя как стоящий человек. А Бастрюков, который сейчас придет, был, на его взгляд, человеком нехорошим и нестоящим, и история, которую он затеял, тоже была нестоящей историей. И тем не менее дело оборачивалось так, что этот нестоящий Бастрюков будет сейчас в его присутствии несо-

чить стоящего Бережного, и в сложившейся обстановке помешать этому нельзя.

Бастрюков был, как и приказано, наготове и явился почти мгновенно. Раскрыл ту же папку, с которой приходил час назад, надел очки и стал излагать соображения.

Излагал в том же порядке, как Захарову час назад, только немножко сильней нажал на фразу, что ему неизвестно, насколько с этим делом знаком замполит дивизии, как бы давая возможность Бережному найти лично для себя выход из положения. Вот и вся разница. «А так слово в слово,— отметил про себя Захаров, глядя на уже немолодое, с морщинками у глаз, но еще туго обтянутое, крепкое, здоровое лицо Бастрюкова,— сознает, что не люблю его и что этот доклад его не одобряю, сознает, но не отступает, потому что не боится меня. А не боится потому, что думает или пересидеть меня на своем месте, или рассчитывает, что не выдержу характера и сплавлю куда-нибудь с отличной характеристикой, только бы подальше от себя».

Бережной сидел, низко нагнув бритую голову, и глядел в стол перед собой. Захарову хотелось встретиться с Бережным взглядом и сказать ему молча, глаза в глаза: «Пойми, с кем имеешь дело, Бережной, пойми и будь умный». Но Бережной глаз не поднимал.

— У меня все,— сказал Бастрюков.

— Отвечайте, полковой комиссар,— сказал Захаров Бережному.

Если бы отвечать по-умному, надо было сказать: «Разберемся, выясним, доложим...» А тем временем сплавить этого немца из дивизии, а с «выясним», «доложим» не спешить, пока не будет конца делу в Сталинграде, а там выбрать момент, когда всем будет не до этого, и доложить, что все в прошлом, а на будущее учтем!

Но Бережной умным в таких случаях быть не умел. Он медленно поднял побагровевшую голову и сказал:

— И откуда только у товарища Бастрюкова такая подробная информация по нашей дивизии. Он у нас так давно не был, что я его и в лицо-то забыл!

— А ты не отклоняйся,— сказал Захаров,— давай по существу.

— А по существу... Что канцелярия у нас, как вычислил товарищ полковой комиссар, слабей работает, чем в других дивизиях, то мы мечтали до сих пор, что политотдел армии нас, наоборот, похвалит,— меньше, чем другие, ему бумаг шлем. А раз ругает — исправимся, доведем до своей процентной нормы. А что касается духа приятельства, нетребовательности и потери бдительности, который, по его словам, сложился у нас в политотделе

дивизии, то насчет приятельства, верно, у меня все замполиты полков — друзья-приятели, я их на войне полюбил и разлюбить не обещаю. А насчет моей нетребовательности, то пусть товарищ полковой комиссар Бастрюков в любой наш полк пойдет, и в шкуре замполита сутки пробудет, и выполнит все, что я от своих замполитов в бою требую, а потом доложит вам, требователен я или нет. А насчет потери бдительности, то, действительно, признаю, упустил: имею какого-то писателя в дивизии, который мне ни слова не говорит, а товарищу Бастрюкову пишет и пишет. Учту, исправлюсь... А что как главный факт товарищ Бастрюков про Гофмана доложил, тут все правильно...

— Что значит правильно? — переспросил Захаров.

— Правильно мы поступили, товарищ член Военного совета. Так я считаю.

— То есть как правильно?

— А что ж, человек в разведку пошел, «языка» взял, мы сначала за это «Звездочку» обещали, но побоялись, что в армии зажмут, и дали что в нашей власти — «За отвагу». Лучше бы, конечно, «Звездочку», но «За отвагу» — медаль тоже хорошая. Так что, я считаю, правильно.

— Опять отклоняешься,— сказал Захаров. — Тебя не про награды спрашивают, а про другое.

— Я считаю, одно с другим связано,— сказал Бережной. — Он за сентябрьские бои одну «За отвагу» получил, за ноябрьские —вторую, теперь — третью. Семь «языков» на его счету. А теперь, значит, после третьей «Отваги», из дивизии по шапке?

— Разрешите задать вопрос полковому комиссару, товарищ член Военного совета,— сказал Бастрюков.

— Задавайте.

— Вас с соответствующим приказом знакомили?

— Знакомили.

— Вам, что ваш боец по национальности немец, когда известно стало?

— А мне это так давно известно,— сказал Бережной,— что я уже и забыл об этом. И считал, что к нему этот приказ уже не относится. Когда человек три «Отваги» получил еще до этого приказа!

— Для точности не три, а две.

— Для точности две. Пойдите попробуйте получите их, это две «Отваги». Я лично не берусь. Может, вы возьметесь?

— Эй ты, шахтер, попридержи язык! — прикрикнул Захаров на Бережного.

— Меня это мало трогает, товарищ член Военного совета,— спокойно сказал Бастрюков. — Мне суть надо выяснить.

А суть, по-моему, ясна. Приказ злостно нарушен. С ведома замполита дивизии.

— Не с ведома,— сорвался Бережной,— а по совету и настоянию, на полную мою ответственность. И не копайте ни под кого другого. Не трудитесь!

— Шахтер! — снова прикрикнул Захаров.

— Извините, товарищ член Военного совета.

— Я доложил все, что мне известно, товарищ член Военного совета. — Бастрюков закрыл лежавшую перед ним папку. — Прошу извинить, но не ожидал, что заместитель командира дивизии по политчасти позволит себе проявить в вашем присутствии такую партийную невоспитанность по отношению ко мне. Надеялся, что хотя бы вы пресечете! Разрешите идти? — И поднялся, стремясь подчеркнуть, что он, человек, выполнивший свой долг, уходит, оставляя его наедине с Бережным, у которого, не то что у него, Бастрюкова, наверное, найдется с членом Военного совета общий язык.

Но Захаров не дал ему такой возможности.

— Останьтесь. Мы с вами еще не закончили.

Он повернулся к Бережному и, прежде чем сказать ему то, что собирался, встал. Бережной тоже встал. Вскочил и Бастрюков.

— Чтобы завтра этого немца в дивизии духа не было,— сказал Захаров, глядя в глаза Бережному. — Об исполнении донесете.

— Ясно.

— И если будут новые случаи нарушения,— пеняйте на себя. А в связи с докладом товарища Бастрюкова изложите в рапорте на мое имя, как вы дошли до жизни такой — приказы нарушать. Рассмотрим ваш рапорт на Военном совете. После окончания боев. Сейчас нет времени заниматься вашими художествами. Только этого нам не хватало... Вы свободны, идите,— резко заключил он и покосился на Бастрюкова.

Тот стоял замкнутый, с неподвижным, окаменевшим лицом. Понимал, конечно, что член Военного совета уже наполовину вывел Бережного из-под удара, и притом так, что не подкопаешься. Понимал и молчал, даже бровью не повел, пока Бережной не скрылся за дверью.

Захаров, сам не садясь и не приглашая садиться, подошел к Бастрюкову.

— Все, что заслуживает внимания в вашем докладе, учту. А вам рекомендую с завтрашнего же дня начать бывать в частях, чтобы не выслушивать от замполитов дивизий того, что сегодня слышали.

— Слушаюсь, товарищ член Военного совета,— сказал Бастрюков. — Но только вы сами знаете, как у нас до сих пор с начальником политотдела складывалось. — Сказал это с видом бедного Макара, на которого все шишки валятся. «Везу воз за всех,— говорило его лицо,— не вылезаю из писанины и черной работы и за это еще получаю упреки!» — Кому-то из нас все же надо и здесь быть.

— Кому-то надо,— сказал Захаров. — Но не вам. Если потребуетесь и не найду, доложат, что Бастрюков в войсках, обещаю, что голову с вас за это не снимем. Завтра буду в Сто одиннадцатой, надеюсь встретить вас там. Вопросы ко мне есть?

И, провожая взглядом Бастрюкова, подумал: «Нет, друг дорогой, я с тобой не примирюсь, буду воевать до конца, как с фрицами. И хорошей характеристики, по принципу «гони зайца дальше», тебе не подпишу! Или сам загремлю от твоих подкопов,— а ты под меня уже копаешь, больше чем уверен,— или докажу, кто ты есть. Хотя это не так-то просто, потому что не ты один такой!..»

Когда за Бастрюковым закрылась дверь, Захаров позвонил командующему. Батюк уже вернулся. Захаров накинул на плечи бекешу — идти было недалеко — и вышел.

Батюк сидел у себя вдвоем с Серпилиным и пил чай. Несмотря на это мирное занятие, судя по обрывкам фраз, которые, скидывая бекешу, услышал Захаров, разговор шел на полубасах.

— К нашему шалашу, Константин Прокофьевич,— сказал Батюк, увидев входившего Захарова,— чай пьем.

— Ну что ж, если третий не лишний. — Захаров сел к столу.

— Обстановка в целом складывается неплохая. На завтра — посидели с ним — кое-что дополнительно предусмотрели,— кивнул Батюк на Серпилина. — Думаю, днем все же соединимся или на фронте Сто одиннадцатой, или на фронте Сто седьмой.

— Видимо, на фронте Сто одиннадцатой,— сказал Серпилин.

— Когда ты вошел, как раз говорили о Сто одиннадцатой,— сказал Батюк. — Хочу этого, понимаешь ли, крестьянского вождя с дивизии все же убрать. Тем более рана у него открылась... Причина законная и необидная. Потом тяжелей снимать будет. Ты не в курсе, я тебе расскажу.

— Я в курсе,— сказал Захаров. — У меня Бережной был, докладывал.

— Уже забегали всеми обходными путями,— ревниво сказал Батюк. — Заскулили, зажаловались...

— Почему обходными? С каких пор, если замполит дивизии идет с таким вопросом к члену Военного совета, это обходной

путь? — спросил Захаров. Он не давал Батюку наступать себе на ногу, не дал и сейчас.

— Ладно, вернемся к сути дела,— сказал Батюк.

— Вернемся. Кстати, почему ты Кузьмича крестьянским вождем окрестил? Скорей, уж рабоче-крестьянский. В восемнадцатом году в Донбассе первой повстанческой армией командовал...

— Вот именно,— сказал Батюк. — Армией командовал, а до командира дивизии так и не дорос. «Ишь ты», «поди ж ты», «надоть», «мабуть»... Можно подумать, что не с генералом, а со старшиной разговариваешь.

— Вы не совсем правы, Иван Капитонович,— сказал Серпилин. — Я к своей бывшей дивизии, сами понимаете, отношусь ревниво, но командует он ею неплохо — и по результатам скажу, и по настроению, и по телефонным переговорам, в частности с Пикиным. И воюет, надо отдать ему должное, грамотно и, я бы сказал, находчиво, хотя человек своеобразный... Надо к нему привыкнуть.

— А мне времени не отпущено ко всем привыкать. К тебе привык, что ты каждое второе слово поперек,— и на том скажи спасибо. — Батюк усмехнулся.

К Серпилину — это была правда — он действительно привык, даже за последнее время привык не тягать его к себе с докладами, а утром и вечером сам ходил к нему в штаб смотреть обстановку. Привык к целесообразности этого, хотя, если бы месяц назад ему сказали, что он будет делать так, ни за что бы не поверил! Вообще ему повезло — сначала на члена Военного совета, теперь на начальника штаба. Оба были из тех, над которыми не покуражишься. А Батюк, имея дело с такими людьми, незаметно для себя сам делался лучше. Отсутствие сопротивления доводило его до самодурства, а наличие, наоборот, возвращало в рамки здравого смысла, которого он отнюдь не был лишен. Так было и сейчас.

— Хорошо, скажем, не я, а ты решаешь за свою бывшую дивизию,— вдруг обратился он к Серпилину.

— Если я решаю, то до конца операции его не трогаю.

— А если он, при своих ранах, окончательно с катушек?

— Тогда вопроса не будет,— сказал Серпилин. — Но я доверяю его совести. Видимо, он чувствует себя способным докомандовать дивизией. Будь иначе — не цеплялся бы, не такой человек.

— Много ты знаешь, какой он человек,— сказал Батюк,— с Шестьдесят второй сегодня не соединился, хотя еще вчера обещал!

— А мы тоже фронту обещали, что ж, и нас теперь снимать? — сказал Серпилин. — И, откровенно говоря, не считаю,

что виноваты. Сопротивление сверх ожиданий. Разведка фронтовая еще раз наврала. Не тридцать и не сорок тысяч там, в котле, осталось, а много больше.

— Закончим — посчитаем,— сказал Батюк.

— Бережной, когда был у меня, такую мысль подал,— сказал Захаров. — Может быть, не отстраняя Кузьмича, ему завтра уже заместителя по строевой подобрать, чтобы был его глазом в полках.

— Все это полумеры,— сказал Батюк. — Заместителя, конечно, можно и должно дать. Пикина твоего,— он кивнул Серпилину,— пока исполняющим, а старика — в госпиталь. Я ему уже сказал это, он ждет.

— Эх, Иван Капитоныч! — сказал Серпилин. — Если бы у него эта рана открылась в начале операции или в середине, я бы слова не сказал. Но когда перед самым концом... Надо же на его судьбу трезво посмотреть: если рана открылась, а ему пятьдесят восьмой год, это же его последняя операция, и не завершить ее для него смерти подобно... Очень прошу отложить на несколько дней ваше решение.

Батюк нахмурился. Кузьмича он мало ценил с самого его прихода: и прислали его второпях, через голову, не спросясь, и первое впечатление от старика было какое-то чудное, осталось такое ощущение, что сунули тебе в армию какого-то перестарка,— на тебе, боже, что мне негоже. Правда, потом Кузьмич неплохо воевал, но это мало изменило первое впечатление, сложившееся у Батюка. Считал, что неплохо воюет потому, что начальник штаба хороший, а вообще командир дивизии без перспективы, случайный. А сегодня плюс ко всему — еще этот разговор о Фрунзе. Подумаешь, Фрунзе его не тыкал! Какой герой гражданской войны нашелся... Батюка это тем более задело, что, брякнув сегодня Кузьмичу «сдавай дивизию», он сделал это не со зла, а просто по привычке не думать о людях; вообще имел такое обыкновение говорить с подчиненными — и хвалил и ругал с маху, ни с чем не считаясь, и тут не посчитался, дал понять: отвоевал свое, старик, валяй в богадельню! Сейчас в глубине души чувствовал если не раскаяние — до этого не дошел,— но все же некоторую неловкость. И это чувство тоже мешало ему сейчас проявить свой нрав и пренебречь сопротивлением Захарова и Серпилина.

— Ладно,— помолчав, сказал Батюк и повернулся к Серпилину. — Утром, после артподготовки, поезжай сам в свою бывшую дивизию. Посмотри, как у них в целом дела идут, скорректируй, если надо, и к комдиву приглядись без сожалений, как

долг требует. Если вынесешь такое же впечатление, как и я, вернешься — сразу доложим во фронт и отстраним от командования. А если сочтешь возможным оставить, тоже кота за хвост нечего тянуть. Там у них в дивизии твой помнач оперативного еще сидит?

— Третий день,— сказал Серпилин.

— Считаешь возможным его на зама?

— Считаю возможным.

— В таком случае согласуй с командиром дивизии и назначай от моего имени. Как ты смотришь на это? — обратился Батюк к Захарову.

— Согласен.

Батюк повернулся к Серпилину.

— Но имей в виду, Федор Федорович, в свою дивизию поедешь, свою дивизию и пожалей. Она дороже всех генеральских печалей. Сложится впечатление, что я был прав,— не качайся.

— А я не качели. Если надо снять, не остановлюсь перед этим.

Когда вышли вместе с Захаровым от командующего, Серпилин уже протянул руку, чтобы проститься, но Захаров остановил его:

— Проводи до моей квартиры. По Сто одиннадцатой в разведроте Гофмана помнишь?

— Помню. Две «Отваги» лично вручал. А что? Узнали, что немец?

— Да,— сказал Захаров.— Раздул тут у меня один работничек кадило: нарушение приказа и так далее... Пришлось Бережному дать острастку...

— Тогда уж и мне,— сказал Серпилин.

— Ничего, Бережной переживет и забудет,— сказал Захаров.— Я не о нем тревожусь. Что этот Гофман за человек?

— Дайте мне семь тысяч таких немцев, как он, я из них дивизию сформирую и во главе ее пойду воевать с фашистами. И считаю, что не раскаюсь.

— Ясно. Я приказал, чтоб завтра духу его в дивизии не было,— сказал Захаров, не считая нужным объяснять Серпилину, что сделал это не от хорошей жизни: сам поймет.

— И куда его теперь дальше?

— А об этом ты думай, раз он, по твоим словам, настолько хороший человек. Я свое дело сделал, теперь ты свое сделай.

— Могу оставить у себя в разведотделе сверхштатно переводчиком, они скоро будут нужны до зарезу.

— Слишком близко,— сказал Захаров.— Опять раскопают и второе кадило раздуют.

— Тогда согласую и отправлю в разведотдел фронта для той же цели. Там с руками оторвут.

— Опять за еврея выдашь? — усмехнулся Захаров.

— Подумаю, — сказал Серпилин серьезно, — в зависимости от того, с кем говорить буду.

— Вот и все.

Они уже стояли у входа в то, что Захаров так громко назвал своей квартирой.

— Охота в свою дивизию съездить? Засиделся в штабе.

— И охота и неохота.

— Почему?

— Больно миссия деликатная. Мне Пикин по-товарищески еще пять дней назад звонил, когда у Кузьмича рана открылась, спрашивал, как быть. Кузьмич взял с них слово — никому ничего, и положение Пикина, конечно, трудное. По букве как бы и обязан доложить, а по духу — всем известно, что сам спит и видит дивизию получить. Чем бы ни кончилось, все равно скажут: копал яму, хотел место занять.

— И что ты ему сказал?

— Сказал, пусть считает на всякий случай, что доложил, а я ходу не дал. А если создастся нетерпимое положение, пусть позвонит в открытую.

— Не звонил?

— Пока нет.

— Да, миссия твоя действительно деликатная, — сказал Захаров. — Хотя, по сути, сам на нее напросился.

— А потому напросился, что не терплю, когда так: все, что мог, сделал и пошел вон! Даже без спасиба! Можно по-всякому решать, но так нельзя. Война, конечно, сплошь и рядом толкает на такую бездушную стезю. И сам подчас на нее вступаешь... Вот как с Гофманом с этим. Но все равно не терплю этого ни в себе, ни в других.

— Да, все мы люди не безгрешные, — вздохнул Захаров.

— Это верно, — сказал Серпилин, — только привыкать к этому неохота... Разрешите идти?

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

На следующее утро, 26 января, после короткой свирепой артподготовки части армии продолжали заниматься тем, чем занимались уже семнадцатые сутки, — сокрушали немецкую оборону, иногда врываясь и вгрызаясь в нее, а иногда только вминаясь и вдавливаясь.

Немцы дрались ожесточенно, хотя по всем признакам были уже на краю гибели. И, пожалуй, бойцы на передовой чувствовали это не хуже, чем генералы в штабе армии, а может, даже и лучше, потому что в большей степени — на собственной шкуре. Откровенно говоря, в том порыве, с каким в последние дни люди шли в бой, было, кроме всего прочего, и озлобление, вызванное собственной усталостью, и нетерпеливое недоумение: когда же кончатся у немца те последние силы, про которые твердим уже не первую неделю?

Пока шла артподготовка, Серпилин сидел над картой у телефона и думал о том, какие результаты даст этот еще с вечера тщательно спланированный артиллерийский удар, от каких будущих потерь спасет и от каких все равно не избавит. И еще думал о несоответствии масштабов своих вчерашних ночных разговоров с командующим и Захаровым с тем событием, которое произойдет сегодня, если разрежем немцев и наконец соединимся с 62-й.

Ну какое, в самом деле, значение рядом с этим имеет приказ, умный или неумный — в это уже поздно входить,— но вынуждающий тебя ломать теперь голову над судьбой разведчика — немца с тремя медалями «За отвагу» и упрямым характером, из-за которого он не дал писарю записать себя евреем.

И какое значение по сравнению с общими масштабами происходящего имеет даже то, покинет свою дивизию генерал Кузьмич на несколько дней раньше конца операции или отпразднует победу, а потом уедет в госпиталь...

А все же нельзя было вчера не переживать всего этого и нельзя сегодня уклоняться от трудных решений по этим, как говорится, частным вопросам, потому что все это тоже есть жизнь на войне. И от нее не отвернешься, если ты не вовсе чурка. Батюк на что уж задубел, только и делают люди, что ушибаются об него,— и близко и далеко стоящие,— и то вчера проняло...

Но как только закончилась артподготовка, думать обо всем этом сразу стало некогда — пошли первые звонки и донесения. Через час с небольшим картина начала вырисовываться. Дело шло успешно. Когда идет туго, доносить никто не торопится, а когда намечается успех да вдобавок есть чувство, что взятого не отберут, тут с донесениями не задерживаются. Тут их хоть отбавляй!..

В 111-й, судя по звонку от Пикина, дела сегодня шли особенно хорошо.

Поговорив с Пикиным, Серпилин сразу же позвонил Батюку, сообщил последние донесения и спросил, нет ли перемен, будет ли «добро» ехать.

— Добро, поезжай,— сказал Батюк. — Кто за тебя останется?

— Начальник оперативного отдела.

— Поезжай,— повторил Батюк. — Пока не вернешься, буду на месте. Не особо задерживайся.

— До каких часов разрешите отбыть? — Серпилин любил в таких вещах полную точность.

— До шестнадцати. А в общем, смотри сам по обстановке.

— Слушаюсь. — Серпилин положил трубку и спросил адъютанта, прибыл ли из 111-й полковник Артемьев.

— Вызвали, но еще не прибыл,— сказал адъютант.

Серпилин недовольно поморщился: хотел предупредить Артемьева о предстоящем назначении еще до своего отъезда в дивизию.

— Проверьте, почему не прибыл. И вызовите, как вернусь.

Серпилин уже одевался, когда севший вместо него к телефону полковник Казанцев позвал его. Серпилин вернулся и взял трубку.

— Слушаю, товарищ член Военного совета.

— Едешь в Сто одиннадцатую?

— Так точно.

— Свободное место в машине есть?

— Да. Кого взять?

— Да тут у меня заместитель начальника политотдела. Приказал ему еще с рассвета выехать. А у него, как на грех, машина испортилась. Только сейчас спохватился, мне сообщил. Выручи человека!

Задержка редко приходит одна. Едва отзвонил Захаров и Серпилин вышел, как Казанцев снова выбежал за ним. Теперь звонил Батюк.

— Еще не уехал? Когда будешь в Сто одиннадцатой — если при тебе соединятся, поздравь командира дивизии от моего имени.

— Слушаюсь,— сказал Серпилин.

Когда он вместе с ординарцем вышел к своей машине, то увидел, что сзади стоит вторая и около нее — полковой комиссар Бастрюков.

— Здравствуйте,— сказал Серпилин. — Насколько понял, должен был вас захватить?

— Так точно, товарищ генерал,— сказал Бастрюков. — Но пока член Военного совета с вами говорил, машина моя уже подъехала: починили.

— Тем лучше,— сказал Серпилин. — Поедем цугом. Ваша сзади, а мы на моей. — Он распахнул дверцу перед Бастрюковым, пропустил его первым, потому что любил сидеть в машине справа, и показал рукой ординарцу, чтобы садился впереди.

От Серпилина ускользнула та насмешливая интонация, с которой Захаров просил выручить заместителя начальника политотдела, застрявшего из-за испортившейся машины. Приняв сказанное Захаровым за чистую монету, он предложил Бастрюкову ехать в одной машине без малейшей задней мысли, считал это естественным, раз едут в одно место. А кроме того, имел свой интерес: раз уж свела судьба, хотел поговорить по дороге с этим неясным для него полковым комиссаром, о котором Захаров отзывался дурно, а терпел на большой должности.

«Черт его знает,— думал Серпилин, искоса глядя на Бастрюкова, сидевшего рядом с ним в чистом, белом, туго перетянутом ремнями полушубке, с чистым, бритым, напряженным лицом. — А может, и никакой он не стервец, а просто один из тех сухарей, которым на фронте никто не рад, и даже они сами себе не рады. Делают вроде бы все, что по закону положено, а почти всякий раз невпопад, без пользы делу. И при всей своей праведности стольким людям нагадят, скольким другой стервец не нагадит. И жизнь свою, бывает, положит там, где положено, а понять и пожалеть их даже после смерти нет сил, потому что при жизни они сами никого не понимали и не жалели. Может, и этот из таких?»

— Скажите-ка мне, товарищ полковой комиссар...

— Слушаю вас, товарищ генерал,— с готовностью повернулся Бастрюков к Серпилину, и Серпилин заметил, что хотя лицо у него было крепкое, сытое, чисто выбритое, неподвижное, но была в этом лице и даже в самой его неподвижности какая-то невысказанная тревога.

— Скажите-ка мне откровенно, что вам не понравилось тогда в столовой, когда я газету нашу критиковал. Мне член Военного совета передал потом ваше недовольство, просил учесть, но я, признаться, все же не понял. Объясните, чтобы исключить недоразумение.

Бастрюков несколько секунд вопросительно смотрел на Серпилина: думая не о существе, а о том, что могли значить слова «просил учесть». Что Захаров просил его учесть? Что неправильно так говорить, как начальник штаба говорил о газете, или учесть, что он зря высказывался так при Бастрюкове?

— Почему молчите? — сказал Серпилин. — Я не в порядке обиды, в самом деле хочу выяснить.

— А что ж выяснять, товарищ генерал? По-моему, ясно. Неправильно упрекать газету в недооценке противника только за то, что она пропагандирует на своих страницах главным образом те боевые эпизоды, в ходе которых враг понес наиболее сокрушительные потери.

— Да ведь речь-то у нас не о том шла! Разве я против того, чтобы подвиги показывать? Глупо было бы с моей стороны. Речь шла о том, что несколько дней подряд в газете, из номера в номер,— немцев как сено косили, а наши все целы. Для кого это пишется? Кто этому поверит? В тыл газета не идет, из действующей армии ее, как вам известно, и выпускать не положено, а солдаты бой знают, и когда в газете сплошь и рядом про кровь скороговоркой, про потери скороговоркой, сам подвиг цены лишается, ему верить перестают. Те, кто порох нюхал, конечно. Но газета-то красноармейская, она ведь для них! Вот что я имел в виду, когда говорил вам.

— А я имел в виду, что газета должна людей на подвигах учить, и прежде всего на подвигах.

— Вот те на! — сказал Серпилин. — Я ему про Фому, а он мне про Ерему!.. Разве об этом мы с вами спорим?

— А раз мы об этом не спорим, товарищ генерал, значит, и спора нет.

— Подождите. — Серпилин уже чувствовал, что не сговорится с Бастрюковым, но желание прояснить все до конца еще оставалось. — Я и вчера и сегодня газету тоже просматривал. Ладно, допускаю, три дня назад вы в таком настроении были — немцам завтра конец! Но с тех пор еще три дня тяжелых боев. Успешных, но тяжелых, подчеркиваю. А газета все так же дует в свою дуду! Разве это верно? Разве не доблесть наша в том, что мы все же упорно и сильно врага ломаем, разве от этого подвиг солдат не больше, разве их чувство собственного достоинства от этого не выше? Почему же, спрашивается, в газете, которую солдат читает, не дать ему почувствовать этого?

— Оценка силы сопротивления противника не дело армейской газеты. — Бастрюков многозначительно посмотрел в спины шофера и ординарца, давая понять, что если бы он и согласился продолжить разговор в более откровенных тонах, то при других обстоятельствах, а не сейчас. Серпилин заметил этот взгляд, и его миролюбивое до сих пор настроение человека, который ради пользы дела пытался переубедить другого человека, сменилось досадой.

— А что же, по-вашему, солдат не должен представлять себе силу того, с кем он воюет? По-вашему, он без этого лучше воевать будет?

— Извините, товарищ генерал, по всему есть свое время и место.

— А место у нас с вами одно: война! И время тоже одно — пятьсот восемьдесят пятый день войны доламываем, если не обсчитался. И время, добавлю, хорошее — бьем немца насмерть или близко к этому. И армия, в которой с вами служим, вроде бы храбрая армия, ни врага, ни трудностей, ни мороза не боится, идет вперед. А газета в ней трусливая. И я бы не сказал, что всегда так было,— при прежнем редакторе газета лучше была. Хоть и на повышение его забрали, но жаль! А новый — черт его знает! — три раза вызывал его и тыкал носом в очередную кузьма-крючковщину, клал рядом оперативную сводку, как говорится, с документом в руках уличал — соглашается, не спорит: так точно! А завтра опять за свое. Даже сомнение берет: по первому впечатлению — тюфяк, а гнет свою линию! Наверно, выслушав твой выговор, идет прямо от тебя еще к кому-то, а там ему говорят: «Не обращай внимания, делай, как делал...» Уж не к вам ли он после меня ходит, товарищ полковой комиссар?

Серпилин улыбнулся прямо в лицо Бастрюкову невеселой улыбкой. Он слишком хорошо понимал: как бы ему сейчас ни ответили на этот прямой вопрос, дело не только в этом вопросе, и не только в ответе на него, и даже не только в этом человеке, сидевшем рядом с ним...

Но Бастрюков воспринял улыбку Серпилина по-своему — как нежелание обострять разговор.

— Да, вопрос острый,— сказал он, в свою очередь полуулыбнувшись. — К кому после вас наш редактор ходит? Такой вопрос надо на Военном совете ставить.

— Вы так думаете? — перестав улыбаться, спросил Серпилин. — Ну что ж, придет время — поставим.

После этого несколько минут ехали молча.

«Что ж, придет время — поставим,— думал про себя Бастрюков. — Может, на Военном совете, а может, и не только на Военном совете». Он не имел привычки глотать обиды и сейчас, как всегда в таких случаях, как в гранит врубал в свою память весь этот разговор, так же как врубал в нее раньше некоторые разговоры с Захаровым. В этом смысле полковой комиссар Бастрюков со званиями и должностями не считался. Он и обижался и запоминал не взирая на лица. С человеком, с которым говоришь сейчас снизу вверх, судьба может потом свести и так на так и даже

сверху вниз... И в память должно быть врублено все, на все случаи жизни.

«Наверное, оттого так распетушился,— подумал он о Серпилине,— что Захаров ему передал о моем намеке на его прошлое. Наверное передал,— мысленно повторил он, тут же врубив и это в свою память в конце списка прегрешений Захарова. — А что? Да, намекал. И не намекал, а напоминал,— привычно нашел он уверенную, круглую, удобную для самочувствия формулу. — Потому что забывать об этом — лишнее. Если даже ничего не сотворит, язык у него все равно длинный, такой язык сам по себе пятьдесят восьмой статьей пахнет». Так молча думал Бастрюков.

А Серпилин с самого начала вспоминал о том, о чем Бастрюков подумал в конце.

«Да,— подумал Серпилин,— при большом желании и старании можно в случае чего и цепочку построить: когда-то сидел за «хвалебные отзывы о фашистском вермахте» и теперь, спустя шесть лет, гнет ту же линию: редактора газеты шельмует. Да, при желании и старании в подходящий момент можно и так. А этот, скорей всего, и захочет и постарается. Хотя, может, и ошибаюсь».

И, вдруг с болью вспомнив о сыне, спросил неожиданно:

— У вас, полковой комиссар, дети есть?

Спросил, потому что подумал: «У меня, вот у такого, какой я есть, сын получился такой, что пришлось насильно гнать на фронт. А у этого, интересно знать,— какие и где, если существуют?»

— Есть. Два сына и дочь,— нехотя ответил Бастрюков. Как всегда, когда не он сам, а кто-нибудь другой первым нападал на него, он искренне считал себя несправедливо задетым.

— Где они?

— В армии.

— И дочь?

— И дочь,— все так же хмуро и односложно ответил Бастрюков. Его семья всегда была той частью его жизни, которой он не любил касаться в разговоре с неприятными ему людьми, да и вообще не любил касаться.

«Да,— подумал Серпилин,— у него все трое на фронте. А у меня так до сих пор и неизвестно где. «Яблоко от яблоньки», «сын за отца не отвечает»... все это так, слова. И ясности в жизнь они вносят мало, особенно в наше время и в нашу жизнь». И, подумав об этом и еще раз мысленно повторив привычно застрявшую в памяти фразу «сын за отца не отвечает», вдруг как камень в самого себя бросил: «А отец за сына?» И было это так неожиданно, что на секунду даже показалось, что спросил вслух.

Он отвернулся от Бастрюкова и стал смотреть в окно машины, ожидая, когда начнутся те за последние дни взятые места, где он еще не был. Вот здесь, налево, в этих красных кирпичных развалинах, был временный наблюдательный пункт армии, здесь они сидели четыре дня назад, а потом, под вечер, немного проехали с Батюком туда, куда едут и сейчас, осматривали занятое в тот день. А за этим уже начиналось известное ему только по картам и донесениям. Там, впереди, на развилке дорог, идущих в Сто одиннадцатую и Сто седьмую, должен ждать маяк от Пикина.

Так оно и есть. Прямо на дороге, на открытом месте, стоит «эмка», и около нее знакомая фигура ординарца Пикина — старшины Пчелинцева.

Увидев подъезжавшую машину, старшина вгляделся и поднял руку. Серпилин еще издали увидел, как он улыбается, улыбнулся в ответ и на ходу открыл дверцу.

— Здравствуйте, товарищ генерал,— радостно вытянулся около машины Пчелинцев.

— Здравствуйте, Пчелинцев. — Серпилин протянул руку. — Давно ждете?

— Пять минут, товарищ генерал. Товарищ полковник Пикин извиняется, что вас лично не встретил: бой идет.

— А если б он меня встретил, я бы ему взыскание дал,— усмехнулся Серпилин пикинским церемониям, от которых уже начал отвыкать.

— Разрешите ехать впереди? — спросил Пчелинцев.

— Скажите водителю, пусть едет впереди,— сказал Серпилин,— а вы со мной сядьте. Хочу про начальство расспросить, как оно живет.

Пчелинцев побежал к первой машине и, вернувшись, выжидательно остановился. Думал, что Серпилин пересядет вперед. Но Серпилин подвинулся на заднем сиденье.

— Лезьте!

— Неудобно, товарищ генерал, разрешите...

— Лезьте! — повторил Серпилин. — Мне головой крутить — себе дороже.

Пчелинцев сел бочком, чтобы не теснить начальство, и захлопнул дверцу. Машина тронулась.

— Как полковник Пикин живет, не раздобрел с тех пор, как от меня избавился?

— Наоборот, товарищ генерал, работы у него знаете сколько,— сказал Пчелинцев с той особенной интонацией, которая бывает у адъютантов, считающих, что именно их начальник, на каком бы месте ни находился, все равно — всему делу голова.

Пчелинцев, бессменный ординарец Пикина с начала летних боев, был сравнительно молодой, тридцатилетний человек, по образованию землемер. Он великолепно знал топографию, читал карту и по чистой случайности попал на фронт, пройдя мимо офицерских курсов. Да и на фронте мог бы давно стать офицером, если бы не Пикин, который, заполучив его в ординарцы летом, в неразберихе, с тех пор не отпускал от себя. По должности Пикину не было положено адъютанта в офицерском звании, и он, по сути приобретя себе адъютанта в лице Пчелинцева, довел его до звания старшины, а дальше придержал — ожидал, когда переменится его собственное служебное положение.

— Как сегодня воюете? — Серпилин взглянул на Пчелинцева и подумал, что все же Пикин не прав в отношении этого человека,— уже давно можно было получать от него больше, чем он дает.

— Туманян сегодня с утра хорошо пошел, и Цветков неплохо. Ровненько, но крепенько, как вы всегда говорили: Цветков есть Цветков.

И Серпилин невольно улыбнулся этой присказке, уже ставшей для него воспоминанием.

— А вот и наши места пошли,— весело сказал Пчелинцев.

«Наши места» начались с развороченных немецких танков, стоявших впритык к самой дороге. Вернее, не они стояли у дороги, а заново наезженная по снегу дорога огибала их.

— Поехали. — Пчелинцев выскочил наружу, когда машина еще тормозила.

— К кому привезли? — спросил Серпилин, увидев среди развалин у темневшего входа в подвал автоматчика, кажется, знакомого.

— К Пикину.

— А где командир дивизии? — Серпилин еще заранее решил, что, учитывая привходящие обстоятельства, к первому явится именно к Кузьмичу. Решил, но расчувствовался, когда въехал в расположение «своей дивизии», и забыл сказать Пчелинцеву, а тот, конечно, подвез прямо к Пикину.

— Генерала нет, еще с ночи в полки уехал,— сказал Пчелинцев, как о привычном.

— Ну что ж, зайдем к Пикину, узнаем, где командира дивизии искать. — Серпилин повернулся к вылезшему вслед за ним Бастрюкову: — Зайдемте к начальнику штаба, узнаем обстановку.

— Мне в политотдел дивизии надо, товарищ генерал,— сказал Бастрюков.

— В политотдел — это обратно. Развернитесь и поезжайте туда, где — видели? — «эмочка» у дороги стояла,— сказал Пче-

линцев. — Это Бережного «эмочка», как бы он тоже в полки не уехал.

— Разрешите отбыть? — козырнул Бастрюков.

— Вам видней,— сказал Серпилин и, расставшись с Бастрюковым, надолго забыл о нем.

Пикин обосновался в одном подвале с оперативным отделом. В подвале было дымно, топилась железная печка.

Пикин вышел навстречу Серпилину из дыма, и они обнялись.

— Ишь явился, как архангел из облаков,— сказал Серпилин. — Дымище у тебя такой, что глаза ест.

— А мы привыкли, радуемся, что тепло,— сказал Пикин.

— Чем топите?

— Всем, чем придется, включая немецкие зимние боты, они у них из прессованной соломы: если распотрошить, воняют, но горят.

Они прошли в угол подвала, где у Пикина стоял стол с рабочей картой и телефоном, а позади стола, как всегда, раскладная койка. Койка была знаменитая, хорошо известная Серпилину. Называлась она «Гинтер», по имени фирмы, и состояла из комбинации складной койки и походного сундука — все один предмет. «Гинтер» был подарен Пикину родителями еще перед той германской войной, в день выпуска из юнкерского училища, и как этот «Гинтер» сохранился за две войны, был секрет Пикина. Итак, позади стола стоял «Гинтер», а над «Гинтером» висел ковер — подарок жены. Пикин улыбнулся молчанию Серпилина, разглядывавшего его, пикинский, неизменный при любых случаях жизни уют и сказал:

— Так точно, все по-прежнему.

Но Серпилин преодолел желание поговорить по душам с Пикиным и вместо этого спросил:

— Где командир дивизии?

— Звонил от Колокольникова, что поехал к Цветкову... Расстегнитесь хотя бы.

— Нет, я тоже прямо туда поеду. Ознакомь с обстановкой, какие изменения. — Серпилин сразу дал понять, что и о состоянии командира дивизии, и о сложившихся в дивизии отношениях не считает возможным осведомляться ни у кого раньше своей встречи с Кузьмичом.

Пикин доложил обстановку. Больших изменений по сравнению с последним донесением не произошло. У Туманяна, в центре, за последний час заколодило, а на правом и левом флангах — у Колокольникова и Цветкова — продвижение продолжается. Пикин показал на карте, куда, согласно последнему донесению,

вышел Цветков. Полоса, еще удерживаемая немцами между передним краем 62-й армии и передним краем Цветкова, казалась совсем узкой.

— Ниточка,— сказал Пикин.

— По карте так,— сказал Серпилин,— посмотрим, как в натуре. — Это было обычное присловье Серпилина перед тем, как ехать вперед, и от обычного присловья Пикину на секунду показалось, что все у них по-прежнему: он с утра докладывает обстановку, а Серпилин едет в полки, смотреть, «как в натуре».

Серпилин надел шапку.

— Проверь, почему у Туманяна заколодило. Позвони, если надо, Казанцеву, попроси авиацию. Пусть дополнительно там перед Туманяном все, что требуется, обработают. Еще по старинке забываете, что имеем такую возможность. И несете лишние потери.

— Есть проверить,— сказал Пикин. — Закусывать вам не предлагаю. Рассчитываю, что у нас пообедаете.

— Расчет, Геннадий Николаевич, у тебя в основном верный, как все твои расчеты,— сказал Серпилин. — А будут коррективы — позвоню от Цветкова. Машины мне не давай, поеду на своей. Офицер связи от полка здесь?

— Здесь. Но я Пчелинцева дам.

— А зачем мне Пчелинцев? Давай офицера связи. Он обязан лучше всех дорогу в полк знать. А если нет, значит, непорядок в дивизии, и мне, как поверяющему,— кусок хлеба. —Серпилин улыбнулся, но в словах его проскользнула жесткая нота. Он терпеть не мог, когда ему что-нибудь навязывали даже из лучших побуждений. А побуждения на этот раз могли быть и не самые лучшие: Пчелинцев поедет и станет неотступным свидетелем всех встреч и разговоров, в том числе и с командиром дивизии, а потом — свой человек! — вернется и расскажет. Любопытство понятное, но удовлетворять его нет причин. — Кстати, до каких пор Пчелинцев будет у тебя в ординарцах пастись?

— Сам не хочет от меня уходить.

— А все же? — спросил Серпилин.

Пикин сердито посмотрел на него.

«А чего ты спрашиваешь меня, когда переменится положение Пчелинцева? Лучше б сказал, когда переменится мое положение. Это теперь ведь и от тебя зависит»,— говорил его взгляд.

— Чему я его около себя научил,— вслух сказал Пикин,— на курсах младших лейтенантов не научили бы.

— Это все так,— сказал Серпилин, но не продолжил фразу, про себя подумав: «Так, да не так. Многому ты научил его около себя, а желанию ходить по войне своими

ногами, не держась за подол начальства, не научил. Люблю тебя, долговязого, и высоко ставлю. А раз так — всякое лыко в строку. У другого бы этой соринки в глазу не заметил, а у тебя вижу...»

До Цветкова добрались быстрее, чем Серпилин предполагал. Офицер связи знал дорогу назубок.

Цветков продолжал двигаться. Даже НП его оказался не на том месте, где был полтора часа назад, когда офицер связи ехал в дивизию, а дальше метров на триста, в других развалинах. Там, на НП, Серпилин и встретил командира дивизии.

Хотя со времени назначения Серпилина начальником штаба он три раза видел Кузьмича на совещаниях, да и дивизию в свое время сдавал ему лично, но Кузьмич сейчас, когда встретились и поздоровались, вдруг вспомнил их первую встречу, как будто она была самой важной.

— Помните, вместе в «дугласе» на Донской фронт летели?

Серпилин кивнул. Может быть, и не такой существенной была эта встреча, но ему тоже запомнилась: несколько часов сидели рядом на железной скамейке, выпили «тархуна» и поделились харчем — что у кого было. Тогда, в полете, Серпилин был неразговорчив, молчал и слушал. Смерть жены всю дорогу не выходила из головы. Как этот человек будет командовать дивизией, Серпилин тогда не брался себе представить, почувствовал только, что человек этот из тех, что в пристяжных не балуются, а хорошо ли, худо, но тащат коренником. «А теперь вот приехал решать его судьбу»,— подумал Серпилин, глядя на Кузьмича, не производившего с первого взгляда впечатления больного или обессиленного человека.

Цветков доложил о последних событиях на фронте полка и предложил понаблюдать за полем боя больше для порядка, чем из необходимости, потому что бой уже втянулся на окраину города и плохо просматривался.

Но Серпилин терять на это время не стал и, прислушавшись к бою, спросил у Цветкова, много ли там, впереди, работает у него орудий на прямой наводке.

Цветков доложил, что все полковые и приданные два дивизиона — все там, впереди, в боевых порядках пехоты.

Серпилин удовлетворенно кивнул и отпустил его:

— Занимайтесь своими делами.

Кузьмич взял Серпилина об руку и, выйдя с ним из перекрытой рельсами ниши, где был теперь наблюдательный пункт, а раньше — притвор разбитой вдребезги церкви, пошел вдоль

стены и остановился шагах в пятнадцати, рядом никого не было. Над головой — небо, но полукругом выложенные и метра на два от земли уцелевшие стенки прикрывают от ветра.

— Федор Федорович,— сказал Кузьмич,— раз нас бой в церкву загнал, давай как на исповеди: отстранять меня прибыл?

— А это от твоего состояния здоровья зависит и больше ни от чего!

— Больше ни от чего?

— Ни от чего,— повторил Серпилин. — А ты сегодня ночь спал?

— Не спал. Ждал. Он еще к утру приказ обещал прислать. Не спал. Надо о бое думать, а я о себе. Отбрасываю — и не могу. Среди ночи в полки уехал, так и не лег.

— А теперь ты — как на духу,— сказал Серпилин. — Что со здоровьем?

— Здоровье мое неважное,— признался Кузьмич. — Но вчерась не хуже, чем в другие дни, было. Просто переходил, поспешая за командующим, а он весь день, как на грех, бегает, словно ему земля пятки жгет. Вот и вышло. Думал, перетерплю, пока не уедет, а не вытерпел.

— А как сегодня?

— Сегодня, как и в другие дни, терплю. Потому что нахожусь в своей воле, берегу себя. Где стою, где присяду...

— Да уж ты бережешь себя, это видно. — Серпилин усмехнулся.

— А я из штаба боем командовать не могу. Такая моя привычка. И если бы по болезни не мог ее соблюдать, сам бы попросился: везите в госпиталь! С ночи поехал, думал, коли отстранять будет, пущай в полках ищет. Окину последним взглядом передовую, хоть в одном полку, а с людьми прощусь. А все же стало ему за вчера совестно или нет? — имея в виду Батюка, вдруг спросил Кузьмич.

— В это не вхожу,— отрезал Серпилин, не желая, прибыв в дивизию по поручению командующего, отделять себя от него в дальнейшем официальном разговоре. — Учитывая ваше состояние здоровья, решено с заместителем больше не тянуть, дать вам сегодня же.

— Ну что ж, если, по-вашему, надоть, ваша воля. А то, может, обождете? Я после конца боев свет застить не буду, сам в госпиталь лягу. — В словах Кузьмича слышалась неостывшая, глубокая обида на Батюка.

— Поручено обсудить с вами кандидатуру. Как смотрите на полковника Артемьева?

— Возражений не имею,— сказал Кузьмич и вдруг спросил: — А заместитель как, с перспективой?

«А какая тебе разница, раз ты так и так в госпиталь ложишься?» — чуть не вырвалось у Серпилина.

— Пока не думали об этом,— сухо сказал он,— а в принципе — офицер с перспективой.

Но оказалось, что Кузьмич имел в виду не то, о чем подумал Серпилин.

— А я не про принцип. Я про дивизию. В ней готовый комдив имеется — Пикин. Думаешь, ему легко от такой чехарды? Люди через него в комдивы сигают, а он только плечи подставляет.

«Так вот, оказывается, о ком ты хлопочешь!» — с теплым чувством в душе подумал Серпилин. И сказал вслух, что с высокой оценкой Пикина согласен, но дальнейших перспектив не знает. Пока — бои. И надо надеяться, что до конца боев все в дивизии будут живы-здоровы и на своих местах.

— Да. Пока бои... живы... здоровы... — задумчиво сказал Кузьмич.

Сказал и вопросительно посмотрел на Серпилина.

Разговор, из-за которого отошли сюда, в сторону от Цветкова и его стереотрубы, был закончен — можно возвращаться.

Цветков присел на битый кирпич, скинул варежки и, положив на планшет карту, делал на ней пометки красным карандашом. Телефонист стоял рядом и держал трубку — обе руки у командира полка были заняты.

— Ясно... Понял... — быстро говорил Цветков в трубку. — Ясно... Понял. Действуйте. Сейчас к вам приду. — Он увидел подошедших Серпилина и Кузьмича, поднялся.

— Как дела, Виктор Павлович? — спросил Серпилин.

— Еще немного продвинулись,— сдержанно сказал Цветков, хотя по лицу его чувствовалось, что дела идут хорошо, даже очень хорошо, но это у него была старая привычка: прежде чем дело не кончено и донесения не проверены лично, с докладами не спешить.

— А все же как? Рассчитываете первым соединиться? — спросил Серпилин.

Вопрос был прямой. Но Цветков замялся: слишком уж не любил говорить о чем-нибудь наперед.

— Мало на что он рассчитывает,— сказал Кузьмич раньше, чем Цветков собрался ответить. — У него сосед тоже насчет этого умом раскидывает. Такой армянин самолюбивый — своего не отдаст!

По его голосу чувствовалось, что он поддразнивает Цветкова, но Цветков одинаково не признавал шуток ни когда дела

шли плохо, ни когда шли хорошо. Он поморщился, словно ему пощекотали в носу, и попросил разрешения уйти в первый батальон, поскольку этого требует сложившаяся обстановка.

— Ладно врать-то,— сказал Серпилин. —Скажи откровенно: не любишь, когда у тебя начальство трется, и никогда не любил. Вот и хочешь скрыться от нас в батальон. Поэтому у тебя и обстановка там вдруг так сложилась, что ты потребовался.

Цветков стоял и молчал. Не умел попадать в тон начальству, когда оно шутило. Тяготился и ждал ответа по существу, который должен был дать не Серпилин, а командир дивизии.

— Что ж, топай, раз те приспичило,— сказал Кузьмич,— ты командир полка, тебе видней.

— Товарищ начальник штаба армии, разрешите выполнять приказание командира дивизии? — Цветков чуть-чуть, на несколько градусов повернулся к Серпилину и напряженно, даже строго поглядел ему прямо в глаза.

— Выполняйте. — Серпилин проводил взглядом Цветкова и сказал Кузьмичу: — Отправили его документы на присвоение звания полковника. Ждем. Дальнейшее зависит не от нас. — И вдруг, вспомнив, добавил: — А у себя вчера очередные звания присвоили двум вашим комбатам — Хлынову и Синцову. Этот уже после меня в дивизию пришел. Но когда ставил подпись, смотрю — фамилия и инициалы знакомы по другим временам. Затребовал личное дело, и оказалось — мой, воскресший из мертвых! В сорок первом из окружения выходили. При случае передайте привет.

— Это комбат неплохой,— сказал Кузьмич,— из числа сильных.

— А в сорок первом вначале был телок телком,— усмехнулся Серпилин. — Я, пожалуй, поеду. В штаб дивизии не думаете возвращаться? Поберегли бы здоровье, чтобы тот вопрос, который сегодня закрыли, опять сам собой не открылся.

— Ну что ж, все под богом ходим,— сказал Кузьмич,— судьба моя ретивáя, но я люблю ей ходить наперерез. Разрешите вас проводить и остаться.

Серпилин знал, что не дать проводить себя до машины все равно не удастся, и поэтому не стал спорить, когда Кузьмич пошел с ним к машине, стоявшей невдалеке под прикрытием других развалин.

Залп шестиствольных минометов застал их, едва вышли на открытое место. Две мины разорвались слитно и так близко, что оба едва успели упасть на землю. Две, а за ними сразу еще три, оборвав новым грохотом жужжание летевших над головой осколков.

— Цел? — спросил Серпилин лежавшего рядом Кузьмича.
— Живой.
Они не вставали, потому что ждали шестого, запоздавшего разрыва. Но разрывов больше не было.
— Встаем, что ли? — Кузьмич пережидал еще с полминуты. — Теперь навряд ли ударят.
Серпилин встал и, отряхивая полушубок, сказал ненатурально спокойным голосом:
— Отвык за последнее время. — И, услышав свой голос, усмехнулся. Усмехнулся тоже ненатурально, через силу, потому что чувство пережитого страха еще не прошло.
От наблюдательного пункта к ним бежал перепуганный адъютант.
— Товарищ генерал, не задело? — обратился он к Кузьмичу и потом с теми же словами — к Серпилину: — Не задело, товарищ генерал?
— Не задело,— сказал Кузьмич,— зря немцы из последнего тратились. Лях их знает, когда и по каким целям бьют! Напоминают о своем существовании...
— Да,— вдруг сказал Серпилин, случайно поглядев в сторону и увидев всего в трех метрах от них торчавший изо льда хвост стабилизатора неразорвавшейся мины. — Вот она, шестая. Наша с вами несостоявшаяся братская могила.
Кузьмич посмотрел на мину и ничего не ответил. Он стоял рядом и тревожно наступал на ногу, пробовал ее там, внутри валенка.
— Что? — спросил Серпилин.
— Разбередил малость, когда падал,— поморщился Кузьмич,— поторопил фриц.
— Поехал. Не провожайте. Пусть ваш адъютант проводит,— решительно сказал Серпилин, пожал руку Кузьмичу и, не поворачиваясь, пошел к своей «эмке».
— А мы с Чепцовым было подумали, убило вас,— сказал ординарец Птицын, когда Серпилин подошел к машине.
«Неужели и меня так же от страха перекосило?» — поглядев на него, подумал Серпилин и полез в машину.
Шофер, ничего не говоря, нажал стартер. Каждый переживал по-своему; этот спешил уехать.
— Смотрим, дым растаял, а вы не встаете,— сказал Птицын. — Уже побежали было, а вы поднялись, мы и не подошли.
— Ну и правильно,— сказал Серпилин.
— Не пущу вас больше одного ходить,— сказал Птицын. По лицу его было все еще видно, как он перепугался.

Отъехав полкилометра, увидели шедшую навстречу «эмку». «Эмка» остановилась, и из нее вылез Бережной.

— Здравия желаю, товарищ генерал! — сказал Бережной.— Спешил, думал вас в полку нагнать. Пикин, черт его дери, не сразу сказал мне. Можно вас обнять?

— Ты что, меня за девицу считаешь? — улыбнулся Серпилин.

— А их-то я сроду не спрашивал,— сказал Бережной, уже обнимаясь с ним.

Потом, отпустив и понизив голос, спросил:

— Федор Федорович, можешь сказать на откровенность, ради чего приехал? Отстранять его или оставлять?

— Не понял вашего вопроса, товарищ полковой комиссар,— сказал Серпилин громко и строго, и только в уголках его прищурившихся глаз была видна усмешка, менявшая смысл ответа.

— То есть могу считать, что такого вопроса больше нет? Правильно понял?

— Вы правильно меня поняли, товарищ полковой комиссар,— подтвердил Серпилин и добавил: — Прощай, Матвей Ильич, еду. Времени совершенно нет.

— Все торопимся, торопимся,— сказал Бережной. — Хорошо хоть на дороге поймал тебя. Как на грех, свое начальство на голову свалилось!

— А я тебе это начальство как раз и привез, —сказал Серпилин. — Имел приятную беседу по дороге...

Бережной вопросительно посмотрел на него, но Серпилин ничего не добавил. Только спросил:

— А где он?

— За мной едет.

— А куда?

— Куда сам захочет. Во все три полка, заявил, должен попасть сегодня.

— Да, быстрый,— сказал Серпилин. — Прощай. Окончательно некогда.

— Все торопимся, торопимся... — еще раз сокрушенно повторил Бережной, пока Серпилин садился в «эмку».

Только разъехались, как сзади послышались новые разрывы мин. Серпилин на ходу открыл дверцу и, нахмурившись, посмотрел назад. По расположению Цветкова опять били немецкие шестиствольные, только левей, чем в первый раз.

Серпилин захлопнул дверцу и через сотню метров, только что миновав развилку, где, как ему объяснил по пути сюда офицер связи, вправо уходила дорога к Туманяну, увидел еще одну «эмку», ехавшую навстречу.

Почти все переднее сиденье в ней рядом с шофером заполнял белый полушубок, и, пока «эмки» разъезжались, Серпилин видел лицо Бастрюкова — крепко сжатые губы и напряженно, безотрывно смотревшие вперед глаза.

«Сделал вид, что не заметил меня,— подумал Серпилин. — Интересно, куда он сейчас поедет: к Туманяну или к Цветкову?» И, повернувшись, посмотрел назад. «Эмка» с Бастрюковым остановилась на развилке и повернула к Туманяну. На горизонте, у Цветкова, на бледном небе еще плавал дым от недавних разрывов. «Может, его этот залп напугал?» — подумал Серпилин, вспомнив напряженные глаза Бастрюкова.

Сказав Бережному, что времени окончательно нет, Серпилин немного покривил душой в пользу Пикина. Выкроить полчаса на обед все равно где-то надо, а Пикину это уже обещано.

Пикина он застал стоящим у телефона, можно сказать, навытяжку, как будто мимо него знамя проносят. Значит, вскочил по случаю какого-нибудь выдающегося донесения — есть у него такая привычка.

Увидев Серпилина, Пикин покосился, но позы не переменил.

— Соединились! — сказал он, прикрывая трубку рукой и продолжая слушать. — Есть донести командующему... есть донести... — И прервал сам себя: — А начальник штаба армии рядом со мной находится. — И передал Серпилину трубку.

— Товарищ генерал,— услышал Серпилин счастливый голос Кузьмича. — Только что донесение получил: Цветков с Шестьдесят второй соединился! Сейчас сам иду туда с Бережным.

Серпилин сказал «поздравляю», потом вспомнил о словах Батюка, поздравил еще и от его имени и положил трубку. И, когда положил, почувствовал непреодолимое желание посмотреть своими глазами, как и где соединились с Шестьдесят второй. Но усилием воли удержал себя, подумав о других делах, более необходимых сейчас, чем его личное присутствие там, где соединились с Шестьдесят второй.

— Обед готов,— сказал Пикин,— думаю, что по такому случаю...

— По такому случаю придется обед отставить,— сказал Серпилин. — Раз немцев надвое разрезали, будем теперь, согласно планам, на север поворачивать... Наметки, конечно, уже есть, но наметки наметками, а работы у меня сейчас будет...

Он не договорил: Пикину все это и так должно быть понятно.

— Так и не поговорили,— вздохнул Пикин.

— Ошибаешься. Разговор все же к тебе есть, хотя и короткий. Когда был у Цветкова, нас с комдивом чуть «ванюша-

ми» не накрыло. Но не в нас суть, а в том, что обратно ехал — опять залпы. Видимо, не все перед собой разведали, не все засекли.

— Всего не засечешь,— сказал Пикин.

— Но стремиться к этому надо. А я такого стремления пока у вас не вижу. Если б ваша артиллерийская разведка получше работала, возможно, уже доискались бы до этих «ванюш», вывели их из строя... А не способны вывести сами, дали бы наверх заявку на тяжелые калибры. Начальство, конечно, больше любит тех, кто у него меньше просит. Но это еще не вся доблесть, чтоб тебя начальство любило.

— А я любви начальства не ищу,— обиженно сказал Пикин.

— Не ищешь, а выходит так, словно ищешь! Конечно, сегодня, раз соединились, считается, что вы именинники! Но на будущее учти. И командующий артиллерией пусть учтет. И комдив. Передай обоим мое недовольство.

— Слушаюсь.

Серпилин посмотрел на вытянувшееся лицо Пикина.

«Ничего, съест! А вот такую обиду — чтоб не от тебя узнал, как все решилось в дивизии,— наносить ему нельзя. Это другое дело!»

— Про то, о чем говорил мне по телефону, принято решение пока оставить у вас все, как есть. И в замы по строевой дать от нас Артемьева. А теперь, когда уже принято, скажи, как считаешь лично ты?

— Не знаю, как Кузьмич при своем здоровье довоюет,— сказал Пикин,— но лично я принять от него дивизию в такую минуту был бы не рад.

Серпилин посмотрел ему в глаза и крепко стиснул руку — и за то, что сказал, и за то, как сказал, и за то, что остановился на этом, не стал больше ничего спрашивать.

Всю обратную дорогу Серпилин перебирал в памяти то уже заранее обдуманное и частично обговоренное, что предстояло делать по армии в связи с новой обстановкой: после рассечения немцев на группы — северную и южную.

Конечно, чего от себя прятаться,— рад, что все-таки не какая-нибудь другая, а именно бывшая твоя дивизия первой соединилась сегодня! И, снова вспомнив о ней как о своей, увидев огорченное лицо Бережного, повторявшего «все торопимся, все торопимся...», и лицо Пикина, по сути сказавшего то же самое, что и Бережной: «Так и не поговорили...»

Оба, конечно, правы. А хотя — и правы и не правы. Когда жили вместе, в дивизии, тоже торопились и не все друг другу до-

говаривали — сил не хватало. И так оно и будет всюду и со всеми, где бы и с кем ни служить, до самого конца войны. Будем и торопиться, и не договаривать, и жалеть потом, и снова торопиться, и снова не договаривать...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Казалось бы, вчерашний день был из тех, что вовек не забудутся. Но вслед ему пришел сегодняшний, насквозь проведенный в бою, и с первых же его минут Синцову некогда было думать ни о чем вчерашнем — ни о Бутусове, ни о Тане, ни о смерти жены, ни о встрече с Артемьевым, ни об этом немце, из-за которого их с Чугуновым чуть не убило ночью там, возле танка.

Шел бой, и некогда было думать о вчерашнем. Тем более что когда после артподготовки сразу рванули вперед, всем уже казалось: вот-вот соединимся с Шестьдесят второй, и не где-то, а именно здесь. В батальоне все утро толклось начальство. Артемьев, правда, вскоре исчез: вдруг вызвали в штаб армии; а остальные схлынули только к середине дня, когда дальнейший успех наметился левей, в полку у Цветкова. Туманян тоже с утра был в батальоне, а потом, вернувшись в полк, нажимал по телефону и ругался так, словно сам не знал, как это бывает: сперва рванули, а потом застопорилось. А по сути, ревновал к соседу, что Цветков раньше соединится,— и жал! Когда-то говорили про Туманяна, что жать не умеет! Ничего, научился! Эта наука такая: пока силенок много, выдерживают характер, а когда людей остается кот наплакал, а название прежнее — полк, понемногу каждый привыкает: тебя жмут — и ты жмешь и требуешь от людей, когда они уже и так на грани невозможного.

Сегодня Синцов и сам понервничал. Чугунова обидел — крикнул по телефону: «Где сидите? Случайно, не позади меня?» — и услышал в ответ: «Приходите, поглядите». Правда, после этого характера хватило прийти и поглядеть. По дороге чуть богу душу не отдал, а потом было стыдно смотреть в глаза Чугунову.

Но как ни хорош Чугунов, однако и у него в роте после двенадцати часов продвижения не было. С ходу всунулись в глубину немецких позиций, а дальше — ни двинуться, ни повернуться.

Потом уже, в четвертом часу, Чугунов наконец занял на правом фланге отдельно стоявшие развалины, из которых сильнее всего били пулеметы. Но этому успеху тогда не придали особого значения, только заметили, что немецкий огонь как будто и слева стал послабее. Так и не успели понять, что случилось, когда вдруг совсем близко, в трехстах метрах, над следующими развалинами увидели красный флаг.

Так стремились к этому все последние дни, а соединение все же произошло неожиданно! Увидели флаг, поднялись, рванулись прямо к нему и потеряли еще двух человек: слева ударил немецкий пулемет. Разозлились, ослепили этот пулемет огнем, подползли и забросали гранатами всех, кто там был.

А потом в открытую, как будто уже ничего не могло произойти, рывком пробежали оставшиеся полтораста метров до развалин с флагом. И действительно, ничего не произошло: немцы не стреляли — или отошли, или тот закиданный гранатами пулемет был у них здесь последним. Над этим уже не думали. Мысль была о другом — о том, что соединились.

В развалинах с флагом, когда добежали до них, было всего семь человек: командир взвода — сержант, пять его бойцов и политрук. В их лице и заняла 62-я армия те последние, с той, с их стороны, развалины одновременно с Чугуновым, взявшим другие последние, с этой, с нашей стороны.

Флаг у ребят из Шестьдесят второй был заготовлен заранее — кусок кумача с остатками белых печатных букв: обрывок праздничного транспаранта с каким-то еще довоенным лозунгом. И был он прикручен трофейным телефонным проводом к обломанной палке от гардины. Вот какой это был флаг, который увидел Синцов, когда вместе с Чугуновым прибежал сюда вслед за солдатами. Прибежал и с первых же слов узнал, что исполнилась владевшая им в последние дни мечта встретиться со своей собственной бывшей дивизией. Надо сказать, что это была не просто мечта: в последние дни и по карте и по местности получалось, что он с батальоном выходит к тем самым улицам Сталинграда, где с октября держала оборону его бывшая дивизия. Но он все же до конца не давал себе поверить в такую встречу — мало ли какие могли быть там, в Шестьдесят второй, смены и переброски частей! А на поверку вышло, что ничего не переменилось: как дивизия держала оборону на этом направлении, так с него же потом, метр за метром, стала наступать на немцев. Правда, люди, с которыми встретились, были и не из того батальона и не из того полка, где служил Синцов. И кто у соседей в полку сейчас живой и кто неживой, политрук не знал, а на вопрос Синцова, по-прежнему ли командует соседним полком майор Шавров, ответил, что, кажется, так, фамилия сходная, но не майор, а подполковник. Про других, кто поменьше, вопросы тем более задавать не приходилось.

— Так он же раненый, командир полка, третьего дня сам видел, как вывозили его! — вдруг сказал сержант, командир взвода.

— Это наш, Пропин, а старший лейтенант за соседа спрашивает.

— За соседа не знаем,— сказал сержант.

Немцы нигде вблизи не стреляли — как отрезало. Бой слышался слева и справа, и с непривычки казалось далеко, потому что весь день был слишком близко — у самых ушей.

С той стороны, из Шестьдесят второй, никто новый не подходил. Политрук нацарапал короткое донесение, что встретились со своими, и послал с ним к себе в тыл одного из солдат. Синцов сделал то же самое.

Иван Авдеич разостлал на дымном снегу у стены плащ-палатку, на нее высыпали запас сухарей, сколько у кого было, и пустили в расход две фляги с водкой: у Синцова была начатая, а у Чугунова полная, по пробку. На двадцать человек хватило по глотку. Шестерым из Шестьдесят второй дали выпить первыми из уважения к их армии и к их солдатской судьбе. Хотя они наступали уже с конца ноября, а все же после стольких месяцев войны, когда только попяться на шаг — и уже в Волге, чувствовали себя как бы вышедшими из окружения. А седьмому не повезло: ушел с донесением, не выпив. Вспомнили о нем и пожалели.

— В тюрьме сроду не сидел,— сказал политрук, после того как выпил,— а как будто из тюрьмы на волю вышел, честное слово. Раньше все в упор, в упор! — Он сжал кулаки и пристукнул ими друг о друга, показывая, как они все время в упор были с немцами. — А сейчас выходит: иди хоть до Москвы. — И он махнул рукой.

— До Москвы идти не требуется,— сказал любивший точность Чугунов,— теперь требуется до Харькова.

— Так я же не про то. — Политрук улыбнулся немного растерянно: неужели его не поняли?

Но все его прекрасно поняли, даже Чугунов, поправивший только так, для порядка. Куда теперь наступать, политрук знал не хуже их, а просто сказал от души про собственное, нахлынувшее на него чувство свободы.

Так просто, даже заурядно выглядело это историческое событие там, где оказался Синцов со своим батальоном. И на других участках фронта, левее и правее, где то же самое произошло получасом раньше или получасом позже, навряд ли все это выглядело более торжественно, хотя прямым результатом случившегося был конец 6-й германской армии как единого целого и полный отчаяния приказ генерал-полковника Паулюса о том, что в связи с потерей управления вся отрезанная от него северная группа

войск отныне выходит из его подчинения и должна действовать и погибать самостоятельно.

И в судьбе людей, и в судьбе воинских частей бывает за войну несколько высших точек. И чаще всего их вполне, до конца осознают лишь потом. Такой высшей точкой для Синцова и его батальона был этот момент соединения со сталинградцами. В их душах смешались и радостное чувство важности случившегося, и усталость от боя, и какое-то странное удивление: неужели соединились? Как же все это так просто вышло?.. Была и некоторая растерянность перед будущим: а что прикажут теперь? Ясно, прикажут что-то новое, куда-то повернут, или перебросят, или введут в бой на другом участке, или выведут во второй эшелон...

К этим общим для всех чувствам у Синцова прибавлялось еще свое собственное. Впервые за все дни боев его как бы неуловимо отделяло от своего батальона и своих людей чувство сохранившейся связи с тем, прежним батальоном, который был рядом и до которого теперь действительно можно было дойти и встретить в нем всех, кто остался жив. Это вполне реально, потому что между ним и его бывшим батальоном уже не было немцев, а в то же время это было совершенно невозможно, потому что он был теперь в другой дивизии и командовал в этой другой дивизии другим батальоном и, пока шли бои, не мог даже подумать о том, чтобы оставить его.

— Как ваша фамилия, товарищ политрук? — спросил Синцов у политрука из Шестьдесят второй.

— Наумов.

— А ваша, товарищ сержант?

— Литвиненко.

Синцов достал полевую книжку и записал их фамилии и фамилии бойцов. Что-то заставило его сделать это даже без мысли о том, понадобятся ли. Хотя могли понадобиться. Завалишину для политдонесения или для разговора с солдатами — мало ли для чего. А может, кто ее знает, просто вдруг сказалась забытая журналистская привычка.

— Ладно,— сказал Синцов, засунул обратно в сумку полевую книжку и обратился к Чугунову: — Ты, Василий Алексеевич, оставайся пока здесь, тянуть связь обождем. Пойду к себе, узнаю, может, уже есть какие приказания.

К себе — значит полкилометра назад, туда, где перед последним рывком наспех обосновал в полуразрушенном погребе свой последний командный пункт.

— Погоди, старший лейтенант,— сказал политрук из Шестьдесят второй. — Сейчас флаг тебе надпишу, передай в свою дивизию от нас.

Синцов не понял, что значит «надпишу», но не переспросил. А политрук лег на плащ-палатку, расправил флаг на подсунутом одним из солдат куске обгорелой фанеры, приказал, чтобы придержали, натянул, вытащил из кармана полушубка огрызок химического карандаша и, слюнявя после каждой буквы, написал на флаге косо и крупно: «Бойцам 111-й от сталинградцев». И число: «26 ян.». После «ян» поставил точку — то ли карандаша, то ли терпения не хватило,— поднялся и отдал флаг молча стоявшему в ожидании Синцову. Отдал, даже не позаботясь написать номер собственной дивизии, отдал как награду от сталинградцев, все выдержавших и теперь известных на всю Россию. Такое у него в глазах было выражение в эту минуту — и слеза в уголке от усталости и от выпитой водки... Синцов взял и перенял из правой руки в левую обломанную палку с флагом, а правой долго тряс руку политрука, чувствуя, как слезы набегают на глаза.

— Товарищ старший лейтенант... — раздался голос Рыбочкина.

Синцов повернулся, увидел подходившего вместе с Рыбочкиным человека в новом белом полушубке и пошел к ним навстречу.

«Кто бы это мог быть?»

— Вот и довел вас до комбата, товарищ полковой комиссар,— весело сказал Рыбочкин, довольный и тем, что довел, и тем, что видит бойцов из Шестьдесят второй и этот флаг...

— Заместитель начальника политотдела армии,— не называя своей фамилии, сказал полковой комиссар. — Был у вас в штабе батальона, когда донесение пришло. — И громко, в воздух, ни к кому не обращаясь, спросил: — Кто здесь из Шестьдесят второй?

Политрук, стоявший до этого поодаль, подошел вместе с сержантом и бойцами.

Полковой комиссар грузно шагнул к ним и быстро каждому пожал руку. А ни Синцову, ни Чугунову, ни другим из своей армии не пожал, как будто своим это не обязательно. Потом так же быстро, как шагнул, отступил на шаг, сказал «поздравляю» и повернулся к Синцову, продолжавшему держать флаг.

— Кто воткнул? Вы воткнули или они?

— Они,— сказал Синцов. И добавил: — Подарили нам в дивизию, на память.

Полковой комиссар искоса глянул на флаг, словно оценивая, насколько хорошо он выглядит, потом заметил, что на флаге что-то написано, протянул к нему руку в новой белой, такой же, как

и полушубок, рукавице, оттянул за край, прочел, отпустил и повернулся к Рыбочкину:

— Возьмите, до машины донесите.

Рыбочкин потянулся за флагом, и Синцов отдал его и, только уже когда отдал, сказал:

— Это для нашей дивизии подарок, товарищ полковой комиссар.

— А ваша дивизия не чужая в нашей армии,— сказал полковой комиссар густым, добрым, нравоучительным голосом. — В политотдел армии возьмем и кругом этого работу проведем. Как, старший лейтенант, доходит?

— Так точно, доходит, товарищ полковой комиссар! — зло сказал Синцов. Он еще сам не знал, на что сердится, но что-то его злило и в этой поспешности, и в этом чересчур деловом объяснении, и в этом обращении к нему «доходит?», как будто полковой комиссар сказал что-то особенно умное, после чего необходимо спросить: доходит или не доходит?

А полковой уже отвернулся от него, почему-то поглядев во все стороны, потом в небо, повелительно махнул рукой Рыбочкину и пошел назад так быстро, словно его задержали сверх ожидания и ему уже не оставалось тут ничего сказать или сделать, кроме того, что он сказал и сделал.

Рыбочкин сделал три шага вслед за ним и растерянно обернулся. Но Синцов махнул ему рукой: «Ладно, съедим, делай, как приказывает полковой, что тебе остается?..»

Собственно говоря, Синцову нужно было туда же, куда и им. Полковой, наверное, оставил свою машину в укрытии за их первым, утренним командным пунктом, больше негде. Но идти вместе с ним — раз не потребовал — не хотелось. «Дойдет»,— сердито подумал Синцов, почему-то чувствуя себя обворованным из-за этого унесенного полковым комиссаром флага.

— А у вас пока никто не подходит? — спросил он политрука из Шестьдесят второй.

— Пока нет,— сказал политрук и кивнул вдаль, на быстро удалявшиеся спины полкового комиссара и Рыбочкина. — Быстрый какой! Я сперва подумал: кинооператор. Думал, снять нас хочет. А потом вижу: ничего у него с собой нет.

— Я пойду,— сказал Синцов. — А сюда замполита пришлю. Общие мероприятия будут — вдвоем работайте.

— Главное мероприятие уже провели,— улыбнулся политрук, кивнув на Ивана Авдеича, свертывавшего на снегу плащ-палатку.

— Пока! — Синцов пожал ему руку. Хотел в последнюю секунду попросить: если все же встретите командира полка Шав-

рова, передайте привет от его бывшего комбата Синцова,— по удержался. Навряд ли встретит политрук командира чужого полка, зачем зря сотрясать воздух. Сказал солдатам из Шестьдесят второй: «До свидания, товарищи»,— коротко кивнул Чугунову — мол, поскольку ты тут, знаю: все будет в порядке,— и пошел вместе с Иваном Авдеичем назад, в батальон.

По дороге захотел посмотреть, что это был за последний немецкий пулемет, который закидали гранатами, перед тем как соединиться, взял немного правей той лощинки, по которой бежал сюда, и столкнулся со старшиной из роты Чугунова. Старшина вдвоем с солдатом тащил по взгорку тело нашего бойца.

— Куда вы его?

Старшина и боец положили мертвеца на снег.

— Туда, на взгорок, товарищ старший лейтенант,— сказал старшина. — Командир роты приказал там сосредоточить. Еще вчера у саперов трофейной взрывчатки позычили. Подорвем, а то долбить дюже тяжело.

«Да, уже обо всем успел распорядиться Чугунов, хотя бой только кончился. И чтобы подобрали, и куда сложить, и где хоронить. А о взрывчатке еще вчера хлопотал. У него в роте насчет этого строго — за все время ни одного своего на поле боя не оставили».

— Сколько всего? — спросил Синцов.

— Трех снесли, а еще одного, Пятакова, второго номера, ищем.

— Ладно, действуйте. — Синцов пошел дальше.

Немецкий пулемет лежал у входа в развалины трансформаторной будки.

Закидали будку гранатами основательно. Снег кругом был в обрывках тряпья и человеческих тел. В самой будке было полно мертвых. Наверное, в ней грелся целый взвод. Будка стояла на небольшом пригорке, ее опоясывал окоп, и с двух сторон подходили ходы сообщения. Но в окопах мертвых не было — все в будке. Видимо, немцы до того замерзли, что, несмотря ни на какие приказы, все сбились в будку, страх холода оказался сильней дисциплины и чувства самосохранения.

Что там в будке, и кто, и сколько их там,— уже не разберешь. А еще утром тот немец с седыми бровями рисковал своей жизнью, старался, чтобы они остались живы. Говорил по радио таким голосом, что и плохо понимаешь, а понятно. А они все равно не поняли или не поверили.

Пройдя трансформаторную будку, на спуске в лощинку Синцов увидел в ямке, впритык к фундаменту разбитого дома, нашего мертвеца. Лежал в этой ямке плашмя, вытянув руки; как

полз по-пластунски, так и умер. На коротко остриженной, припушенной снегом голове чернеет пятно во весь затылок. А шапка, сбитая ударом пули, лежит на шаг впереди головы. На убитом ватник, за спиной тощий сидор, под одной вытянутой рукой автомат, а на ногах валенки. Значит, немцы ночью стреляли на шум и убили, а днем не заметили, если б заметили, валенки бы сняли.

«Не мой,— подумал Синцов. — Этой ночью, когда в разведку посылали, никаких потерь не было. А может, это разведчик из Шестьдесят второй к нам ночью полз через немцев?»

— Перевернем, поглядим,— сказал он Ивану Авдеичу. — Может, документы есть. — Хотя понимал, что, если разведчик, скорей всего, документов не будет.

Лицо у мертвого, когда перевернули, оказалось немолодое, с набитыми снегом глазами. Иван Авдеич расстегнул ватник и пошарил по карманам. Документов не было. Но над карманом был привинчен гвардейский значок. Значит, перед разведкой пожалел снять, вопреки инструкции.

— Не наш,— сказал Иван Авдеич, увидев значок.

«Надо будет сказать Чугунову, чтобы заодно со своими похоронил»,— подумал Синцов и уже на ходу окликнул Ивана Авдеича, задержавшегося около мертвого:

— Ну, что там?

— Сейчас, товарищ старший лейтенант.

Иван Авдеич догнал уже на ходу. Теперь он шел с двумя автоматами, один на шее, другой за плечом, а кроме своего сидора у него через плечо был перекинут и тощий сидор, снятый с убитого.

— Не могли без этого обойтись?

— Бечевка дуже туго завязана, на морозе не развяжешь. Да я так обтрогал,— всего и есть что сухари да тушенки банка. А все же зачем оставлять, товарищ старший лейтенант?

Синцов махнул рукой, ничего не ответил. В самом деле, зачем оставлять? Дело солдатское...

Грязный, перепаханный железом, слежавшийся и заледеневший снег шуршал под ногами осколками. Он был весь изрыт ими, как оспой.

Сколько трупов оттает и обнаружится здесь под сугробами и развалинами весной, сколько без вести пропавших, таких вот, как этот, с которого Иван Авдеич снял его сидор?

— Товарищ старший лейтенант,— вдруг весело окликнул Синцова Иван Авдеич. — Лошаков фрица ведет!..

Синцов повернулся и увидел совсем близко подходившего к ним в сумерках Лошакова, такого же пожилого, как Иван

Авдеич, но на редкость для своих лет хороводистого солдата из второй роты.

Маленький кривоногий Лошаков шел впереди, а сзади него в трех шагах шел очень крупный немец.

— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. — Лошаков остановился и приложил руку к ушанке. И немец, остановившись, как по команде, на три шага позади Лошакова, тоже приложил руку к пилотке.

— Что ж вы пленного не впереди, а сзади себя ведете, как корову на базар? — спросил Синцов.

— А я его не боюсь, он мне сам сдавшийся,— сказал Лошаков. — А сзади веду, чтобы кто, по темному времени, не убил его. У него фигура крупная, если мне сзади идти — меня за ним не видать.

Лошаков, как всегда, ерничал и знал, что комбат это понимает, но именно для того и ерничал, чтоб на него обратили внимание и потом рассказывали, как Лошаков своего фрица вел.

— Немец является командиром, товарищ старший лейтенант. Я, говорит, комроты!

— Кто же вам его приказал в тыл вести?

— Лейтенант приказал: раз, говорит, фриц тебе лично капитулировал, лично его и веди. Когда тебе еще такой случай выдастся!.. Тем более немец видный, как Петр Великий.

— Офицер? — спросил Синцов у немца.

— Кайн официр, кайн официр! [1] — возбужденно воскликнул немец. — Камрад...

— Комроты,— перебив немца, сказал Лошаков. — Сам признается!

— Подождите, Лошаков, дайте послушать,— сказал Синцов.

— Камрад... — еще раз повторил немец и, видимо охваченный надеждой, что на этот раз его поймут, быстро заговорил по-немецки: — Их бин зельбст юбергелауфен. Хабе хойте рундфункзендунг гехёрт, хабе зельбст капитулирт... Их бин кайн официр, их бин батальоншрайбер... Их вар фрюер митглид дер зоциаль-демократишен партай... Их хабе капитулирт, нахдем их ди реде дес геноссен Хеллер гехёрт хабе. Геноссе Хеллер фершпрах, дас аллен, ди капитулирен, дас лебен эрхальтен бляйбт... [2]

Хотя немец очень спешил выложить все, что, по его мнению,

---

[1] Не офицер, не офицер!

[2] Товарищ... Я сам перешел. Я услышал сегодня радиопередачу и сам сдался... Я не офицер, я батальонный писарь... Раньше был членом социал-демократической партии... Я сдался, когда услышал речь товарища Хеллера. Товарищ Хеллер обещал, что всем, кто сдастся, будет сохранена жизнь.

могло обеспечить ему безопасность, Синцов все-таки с пятого на десятое понял главное и остановил его:

— Вартен зи. Вен зи капитулирен, аллес гут. Геен эссен [1]. — И повернулся к Лошакову: — Отведите и скажите от моего имени, чтобы сразу накормили.

Но Лошакову не хотелось так быстро расстаться с комбатом, раз уж он его встретил.

— Разрешите спросить, товарищ старший лейтенант, чего он вам сказал? Подтвердил, кто он есть?

— Подтвердил, подтвердил,— сказал Синцов, не желая разочаровывать Лошакова. — Идите... Много болтаете...

Лошаков пошел дальше по-прежнему впереди немца, а Синцов и Иван Авдеич через несколько шагов, уже у самого командного пункта, увидели тощую фигуру топавшего им навстречу Завалишина.

— А я к тебе шел, считал, что ты еще у Чугунова,— сказал Завалишин и, сняв очки, осторожно протер платком стекла; одно из них было разбито как раз посередине.

— Ну и хорошо, что сам догадался,— сказал Синцов. — Я все равно хотел за тобой посылать. Если там еще будет что-нибудь по случаю соединения, обеспечь, как замполит, на соответствующем! Ну и небритый же ты! Хотя бы для праздничка...

— А как было-то, как было-то? — нетерпеливо спросил Завалишин.

— В основном — хорошо. Чугунов тебе доложит. Из полка нет приказаний: что дальше?

— Ильин как раз на телефоне сидит, с начальником штаба говорит.

— Ну, иди, и я пойду,— заторопился Синцов.

Зайдя в подвал, он застал Ильина еще с телефонной трубкой в руке.

— Ясно. — Ильин поднял глаза на Синцова и продолжал делать пометки на карте. — И это ясно... — Он сделал еще одну пометку. — Мне все ясно... Есть не сниматься до прихода артиллеристов... Здравия желаю!

— Ну что, лично им руки пожали, как я вам? — Он положил трубку и крепко стиснул руку Синцову.

— Лично пожал.

— А своих не встретили?

— Своих не встретил, то есть из бывшей моей дивизии люди были, но я их не знаю, и они никого из тех, кого я знал, не знают.

---

[1] Подождите. Если вы сдались, это хорошо. Идите есть.

— Обычное дело! Сколько времени прошло... В начале декабря вас ранило. Все с тех пор изменилось. У нас в начале декабря еще Тараховский был...

— Какие тут у вас новости? — спросил Синцов.

— Сейчас доложу. Как соединились, расскажите все же.

И когда Синцов рассказал об этом в самых коротких словах, Ильин досадливо крякнул:

— Эх, не доперли мы с флагом! Что бы нам тоже флаг сделать и им передать! Семнадцать суток к этому шли, а не доперли!

То, что полковой комиссар забрал флаг, на Ильина особого впечатления не произвело. А вот что Шестьдесят вторая приготовила флаг, а мы нет,— раздосадовало. Он был ревнив к таким вещам.

— Так какие же новости? — Синцов сел к столу.

— Новостей много. Вот глядите, куда нам приказано за вечер и ночь выйти. — Ильин повел карандашом налево и вперед за черту, еще вчера обозначавшую на карте передний край противника. Карандаш прошел через вчерашние позиции соседнего, цветковского, полка и остановился на два километра дальше.

— Так,— сказал Синцов, удивленный быстротой событий. — А Цветков где же будет?

— А Цветков пока еще здесь, куда мы выходим. А будет еще правее — свой участок нам сдаст и за обрез карты выйдет, ближе к Волге. Как и мы, загнет теперь фронт строго на север.

— Да, далеко Цветков сегодня продвинулся.

— Он первый соединился с Шестьдесят второй,— сказал Ильин. — Почти на час раньше нас. Когда от вас связной пришел, сообщил, что соединились, уже и Чернышов (Чернышов был новый начальник штаба полка) и Туманян — все у меня на голове сидели. Как так, Цветков соединился, вы еще чухаетесь?! Так что нам отличиться в дивизионном масштабе уже не светит! А вы, наверно, подумали...

— Мало кто чего думал!.. — сердито сказал Синцов, потому что действительно подумал об этом там, когда соединились, и теперь, задним числом, это было не очень-то приятно.

— Ничего,— сказал Ильин,— пусть Туманян из-за Цветкова переживает, а у себя в полку мы так и так первые. А вообще теперь уже всюду соединились, как гребенка — зуб в зуб. Теперь у начальства главная забота, как бы поменьше путаницы вышло,— увязывают, кто куда выходит.

Синцов не ответил. Подперев руками голову, он молча смотрел на карту, медленно осознавая то непривычное, что вдруг про-

изошло к концу этого короткого зимнего дня. Непривычное заключалось в том, что немцев перед его батальоном больше не было. Впереди были свои. До самой Волги. А немцы, после того как их разрезали, теперь оставались влево и вправо от этого перешейка. И сейчас в наступившей темноте и здесь, у нас, и там, в Шестьдесят второй, наверно, всюду поворачивали части: одни фронтом на юг, против немцев, оставшихся в центральной части Сталинграда, а другие фронтом на север, против тех, кто засел в районе заводов. Их дивизию поворачивали на север. Это было ясно из проложенного Ильиным на карте маршрута.

— А на наше место придет штаб артполка,— сказал Ильин.

— Ясно! — Синцов не отрывал глаз от карты и думал о другом — о том, что путь движения батальона к новому месту сосредоточения будет проходить через места, давно знакомые ему по этому же самому листу карты. Только тогда все было наоборот: отсюда наступали немцы, а наша дивизия сидела с той стороны в обороне.

— Чего смотрите, я все пометил!

— Погоди,— сказал Синцов. Да, вот где-то здесь предполагали штаб немецкой дивизии. А здесь был штаб немецкого полка, действовавшего против его батальона. А вот здесь находились немецкие артиллерийские позиции, и он много раз давал нашим артиллеристам заявки на огонь по ним.

— Пункт сосредоточения около этой отметки,— показал Ильин,— в районе развалин. Там сейчас третий батальон Цветкова, но он уйдет вправо.

— Район развалин,— сказал Синцов. — Тоже нашли ориентир. Тут всюду, кругом район развалин... Ладно, найдем.

Он порылся в полевой сумке и вытащил маленькую, старую, от руки рисованную схемку трех домов и примыкавших к ним улиц, где когда-то дрался его батальон, и положил схемку рядом с картой. Крестик па карте был совсем недалеко от этих мест.

Он сказал об этом Ильину и добавил:

— Черт его знает, оттого что раньше воевал с той стороны, в Шестьдесят второй, сегодня такое чувство, словно сам с собой встретился.

— Да, тебе, можно сказать, повезло и там и тут.

— Везет, когда все время в одной части воюют, вот когда везет,— сказал Синцов и, почувствовав, что нанес этим ответом незаслуженную обиду Ильину, а вместе с ним незримо и всем другим товарищам по батальону, добавил: — Я, конечно, теперь рад, что вместе с вами. Но что скрывать, сначала, когда из госпиталя на старое место не попал, психовал.

И все, что он сейчас сказал, было правдой,— и первое, и второе, и третье.

— Вообще-то конечно,— согласился Ильин, хотя и задетый, но хорошо понимавший, что разговор разговором, а все равно после семнадцати дней боев тот батальон, где они служат, для Синцова уже девять десятых белого света. Это для него теперь — настоящее, а все остальное, сколько ни вспоминай о нем,— прошедшее.

— Левашов не появлялся? — спросил Синцов.

— Нет.

— Даже удивительно.

— Насколько по телефонным переговорам понял,— сказал Ильин,— он почти весь день у Зырянова был.

Зырянов, лейтенант из штрафных полковников, в первые сутки наступления назначенный к Синцову заместителем, уже десять дней командовал соседним батальоном, а три дня назад, сразу через звание, получил капитана.

— А отчего целый день у Зырянова? — спросил Синцов.

— А Зырянов с утра в мешок залез, был в тяжелом положении, пока Цветков вперед не вырвался.

— Цветков сегодня на коне,— сказал Синцов.

— Да,— спохватился Ильин,— самого интересного тебе не сказал! Чернышов, когда звонил, информировал, что новый зам по строевой в дивизии. И знаешь кто?

— Ну?

— Шуряк твой, Артемьев. Сидел, сидел у нас в дивизии и досиделся.

— Он только рад будет.

— А что ж ему делать? — сказал Ильин. — Кого со штабной на строевую бросают, все подряд говорят, что рады. И кто рад и кто не рад.

— Значит, теперь буду под начальством родственника служить... В мирное время не полагалось,— усмехнулся Синцов. — Как только узнавали, одного — туда, другого — сюда!

— Теперь война, теперь с этим не считаются. А в крайнем случае,— Ильин рассмеялся,— пусть его куда хотят переводят, а мы тебя из батальона не отдадим, даже на повышение.

И та полная искренность, с какой сказал это Ильин, не больно-то любивший швыряться словами, до глубины души обрадовала Синцова.

Ильин, получивший за время боев лейтенанта, теперь, что бы ни случилось, был железным кандидатом в комбаты и сам хорошо знал это. А все же сказал то, что сказал. Синцову вдруг показался таким давним-давним тот первый вечер, когда он при-

шел в батальон, и первое знакомство с людьми, из которых двоих — Лунина и Оськина — нет в живых, двое — Богословский и Караев — в госпиталях, а остальные — Ильин, Завалишин, Рыбочкин, Чугунов, Харченко — и сейчас на прежних местах и воюют вместе с ним и с другими, и старыми и вновь пришедшими, в сравнении с которыми он сам в батальоне уже старый комбат. Потери потерями, а батальон все равно не убить! Первые или не первые, а все же сегодня соединились с Шестьдесят второй, этого не отнять!

— Эх, Ильин! — Синцов встал из-за стола, поддаваясь порыву захватившего его чувства. — Эх, Ильин! — повторил он еще раз и положил руки на узкие, худые плечи Ильина.

— Что?

— Ничего, просто рад, что вместе служим и что до этого дня дожили.

Он отпустил плечи Ильина, надел ушанку и сказал:

— Я разведчиков возьму и сам первый пойду по маршруту движения. Места мне знакомые. А тебе потом проводников пришлю.

— А я уже всех командиров рот, кроме Чугунова, вызвал сюда. Предчувствовал, что придется ставить им задачу на перемещение. Скоро подойдут,— сказал Ильин. — Не задержитесь?

— Раз так, до их прихода задержусь. — Синцов сел, не снимая ушанки. — А ты потом уж тут до конца все доработай, подскреби, ничего из хозяйства не оставь, и чтоб отставших и заблудившихся не было. Возьми на себя такой труд.

— Все ясно, только подскребать, к сожалению, не так много осталось.

Ильин коротко вздохнул, и эти его слова и короткий вздох внесли в их разговор тот оттенок горечи, без которой не могло быть правдивой оценки дел, сложившихся в батальоне. Какой бы ни был сегодня выдающийся день и как бы ни приближал он их к окончательной победе здесь, в Сталинграде, но завтра батальону снова надо было воевать, и воевать оставалось все меньше *чем,* и сегодняшний день тоже сказал тут свое смертельное слово.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

То, что район развалин действительно оказался знакомым, намного облегчило Синцову хлопоты этой ночи. Сначала он принимал участок от комбата из цветковского полка, лазил с ним по развалинам, устанавливал в охранении своих людей вместо тех, кто снимался и уходил. Потом беспокоился, где локоть соседа

слева и справа, а это в темноте тоже не сразу выяснишь. Из подвала, где расположились, пришлось вытащить несколько немецких трупов, но не похоже, что убитые в бою: все с перевязками,— наверно, днем сюда сносили умирающих от ран.

Потом, когда начали подходить свои, Синцов стал уточнять с командирами рот, где и кто разместился. Но уточнить ночью по карте мало, надо своей рукой пощупать и своими ногами дойти до каждого. Занимался этим еще два часа вместе с Рыбочкиным.

Участок батальона теперь был, правда, невелик — все в кулаке, но небольшое пространство это до того было ископано взрывами и загромождено обвалившимися стенами, сожженной техникой, битым кирпичом и мерзлыми трупами, что сам черт ногу сломит.

Когда был у Чугунова и уточнял участок его роты, спросил, как там было дальше на высотке, где соединились.

— Потом много пришло от них,— сказал Чугунов,— целый митинг был.

— И как прошел?

— Ничего себе, хорошо. Вам замполит красивей расскажет. — Чугунов сказал это без насмешки, а просто по своей натуре считал, что его долг — дело делать, а рассказывать — любой, а не только Завалишин, расскажет лучше его.

Но Завалишина все еще не было. Подгребал все остальное хозяйство вместе с Ильиным. И не удивительно: дело хлопотливое, тем более ночью.

Обойдя участки рот, Синцов вернулся вместе с Рыбочкиным к себе в подвал, уже немного прибранный, но еще с молчащим телефоном. Иван Авдеич — золотой человек! — вскипятил на сухом немецком спирте котелок чаю. Выпили с Рыбочкиным по кружке и погрызли сухарей.

— Может, тушенки подогреть? — спросил Иван Авдеич.

«Возможно, та самая»,— подумал Синцов о сидоре, снятом с убитого разведчика, и отказался. От усталости даже есть не хотелось, чай — другое дело.

— Поглядите, товарищ старший лейтенант, для старшего политрука эти очки не подходящие будут? — снова подошел к столу Иван Авдеич и положил перед Синцовым очки в роговой оправе. Одно стекло у них было треснуто.

— Как у него, тоже треснутые,— сказал Синцов.

— У него посередке, а эти с краю. А где их теперь целые возьмешь? — недовольно сказал Иван Авдеич. — Я, как только вы сказали, уже три дня солдат прошу — и не находят — все битые!

Синцов взял со стола очки и примерил — все сразу стало как в тумане. Да, сильные, возможно, подойдут Завалишину. Наверно, какой-нибудь немец носил, тоже слепой, с ограниченной годностью...

А Ильин и Завалишин все не шли и не шли. И связи с полком пока не было — штаб где-то еще передвигался.

— Вы раньше в этих же местах воевали? — спросил Рыбочкин, вернув Синцова к воспоминаниям, отброшенным ночными заботами.

— Да. А ты откуда знаешь?

— А я еще вначале, помните, когда мы расспрашивали, где вы воевали, себе на плане Сталинграда отметку сделал.

— Даже план имеешь, смотри какой запасливый! — сказал Синцов.

— А я еще в декабре при выписке из училища в городской читальне с одной довоенной книги этот план на кальку снял. Мы тогда все мечтали, что под Сталинград поедем.

«Да, хороший парнишка, как говорит про него Ильин, очень даже хороший парнишка! — подумал Синцов. — Живой останется — наверное, артистом будет, здорово стихи читает».

— Я сам не в этих домах воевал,— сказал Синцов,— но тут одно время штаб нашего полка был. А я воевал немного правей, где теперь Зырянов,— возможно, у него КП в том же доме, где у меня был. Там подвал очень хороший.

— Сходите потом туда? — спросил Рыбочкин.

— Схожу для интереса, если время выберу. Называли тогда его «дом со скворечней».

— Почему «со скворечней»?

— А там во дворе был столб врыт, и скворечня висела, птичий домик. Сейчас, конечно, навряд ли осталась. — Он взглянул на Рыбочкина и увидел, что тот клонится головой к столу. — Приляг.

— Лучше вы прилягте, товарищ комбат.

— Поспи. Спать захочу — подыму. Не бойся, не пожалею.

Рыбочкин отвалился от стола, лег плашмя на лавку и сразу заснул, слова больше не сказал. И едва лег, как затрещал на столе телефон. Значит, есть теперь связь с полком!

— Девятый слушает!

На том конце провода был капитан Чернышов, начальник штаба полка.

— Где находишься?

— Где приказано.

— Уточни.

Синцов уточнил.

Чернышов задал несколько вопросов, которые можно было и не задавать, потом сказал:

— Поздравляю, с тебя причитается.

— Спасибо,— сказал Синцов, поняв из его слов, что в штабе все же придавали значение тому, что их батальон первым в полку соединился с Шестьдесят второй. — Раз причитается — за мной.

— Мало радости слышу в голосе.

— А чего чересчур радоваться,— сказал Синцов,— война еще не вся.

— Тебе видней,— сказал Чернышов. — У меня все.

Синцов положил трубку, услышал за спиной шаги и подумал, что это Ильин. Но это был Левашов.

— Как у тебя? — не садясь, спросил Левашов.

— В основном сосредоточились,— сказал Синцов.— Жду Ильина, придет — последнее подтянет. Садитесь. Чаем угощу.

— Не надо, у себя попью, как вернусь. С полдня в полку не был, у Зырянова проторчал. Опытный, опытный, а все же зарвался, чуть не потрепали его немцы. Все доказывает, какой он есть. С одной стороны, хорошо, а с другой — плохо. Сгоряча способен зря голову положить, и не одну свою... Кто это храпит?

— Рыбочкин.

— Здорово дает,— сказал Левашов.

Синцов подошел к Рыбочкину, уткнувшемуся ртом и носом в ушанку, повернул его, и тот сразу задышал по-детски глубоко и ровно.

— На, держи. — Левашов сунул руку под полушубок и вытащил оттуда что-то маленькое, завернутое в обрывок газеты. — Поздравляю. Из личных запасов.

Синцов с недоумением посмотрел на него и развернул бумажку; в ней лежали две новенькие шпалы.

— Что, капитана дали?

— От меня первого, что ли, слышишь?

— Для меня новость.

— Какая же новость? Туманян еще днем мне сказал.

— Вам сказал, а мне нет. Кроме долбежки, от него весь день ничего не слышал.

— Вот черт самолюбивый,— сказал Левашов,— до чего переживает, что Цветков первым соединился! Собственного комбата со званием поздравить сил не нашел. А я уже было решил от Зырянова прямо в полк, а потом подумал: нет, зайду, отдам шпалы.

— Спасибо.

— Авдеич! — крикнул Левашов и, когда Иван Авдеич вошел, показал ему на Синцова: — Капитану шпалы приверни, а то он не по званию одетый.

Синцов снял полушубок и стащил через голову гимнастерку.

— Приверните для памяти, чтоб крепче было.

— Набрось полушубок,— сказал Левашов.

Синцов накинул на плечи полушубок и рассмеялся, вспомнив о звонке начальника штаба полка.

— Чернышов меня поздравляет по телефону, а я не понял. Он говорит: «Мало радуешься»,— а я отвечаю: «Война еще не вся». Так его понял, что он меня с соединением поздравляет!

— Так или не так понял, а все равно ответ глупый дал,— сказал Левашов. — Как же так не радоваться? Только тогда и начнем радоваться, когда война вся? Ерунда! Если по дороге всякому маломальскому не радоваться, то, на мой характер, до конца войны не доживешь. Как самый момент соединения был? Красивый?

Синцов рассказал, какой это был момент, и сейчас, когда рассказывал, чувство обыденности и даже какого-то разочарования, которое он испытал тогда, сгладилось, исчезло — момент и ему самому уже начинал казаться красивым. И голос его даже чуточку дрогнул, когда он дошел до того, как солдаты расстелили флаг на куске фанеры, а политрук стал писать на нем: «Бойцам 111-й...»

— И где же он теперь, этот флаг?

— Нет его, забрали.

— Кто забрал? — нахмурился Левашов; он не любил, когда его обходили в таких вещах, распоряжались без него в полку.

— Наскочил какой-то полковой комиссар из политотдела армии и забрал. Я ему было сказал, что это нам для дивизии, но, видимо, я дурак в таких делах. Он разъяснил мне мою несознательность, забрал и поволок. Сильно торопился.

— Как его фамилия? — спросил Левашов, и глаза его стали узкими.

— Он мне не докладывал,— сказал Синцов.

— А какой из себя?

— Какой из себя? — Синцов вдруг затруднился ответить, какой из себя был полковой комиссар, потому что в его памяти он никакой из себя не был — просто был полковой комиссар в белом новом полушубке. Было и лицо, но не запомнилось, запомнился только голос, деловой и поспешный, и как неожиданно быстро он пошел назад, когда забрал флаг. Но всего этого не стал говорить Левашову, потому что чувство все увеличивавшейся неприязни

было еще не совсем понятно ему самому. Вместо этого сказал, усмехнувшись: — В новом полушубке.

А мысленно про себя с досадой добавил: «В белом-пребелом — по снегу не ползанном, по окопам не лежанном. А за флаг — зубами схватился!»

— Он, паразит, больше некому,— зло сказал Левашов.— Только удивляюсь, как он дошел до тебя. Что, у тебя тихо, что ли, в то время было?

— Уже минут двадцать тихо было,— сказал Синцов.

— На тишину пошел. Пошел на тишину, а вышел па Шестьдесят вторую. Везет, собаке! Теперь еще куда-нибудь в газету пропрет, как он лично соединился!

Синцов с удивлением смотрел на Левашова.

— Старый знакомый, что ли?

Левашов ответил не сразу. Сначала зло хмыкнул, как будто даже слово «знакомый» было ему против шерсти. Потом улыбнулся и сказал мечтательно:

— Такой знакомый, что я бы добровольно в штрафбат командиром взвода пошел, только бы мне товарища Бастрюкова под начало дали! Там бы он на своей диалектике от меня далеко не ушел. Там дело прямое! Или иди на немца грудью — или пуля!

Он сказал это так яростно, что вошедший с гимнастеркой в руках Иван Авдеич даже подался назад.

— Ничего, заходи,— сказал Левашов.

Синцов взял гимнастерку из рук Ивана Авдеича. Дырочки, оставшиеся от кубиков, были заботливо примяты, а шпалы привинчены тютелька в тютельку там, где им и положено быть.

— Спасибо. — Синцов надевал гимнастерку, недоумевая: почему Иван Авдеич, не любивший топтаться возле начальства, сейчас стоит и не двигается.

— Хочу спросить, товарищ капитан. — Иван Авдеич вынул из-за спины флягу. — Может, товарищ батальонный комиссар для такого случая обет нарушит?

— Ни для какого случая не могу. Обет слишком крепкий. А с тобой комбат после, как я уйду, выпьет. Не беспокойся, мы его потом через замполита проверим: если не поднесет — выговор с занесением дадим.

— Да, так вот,— как только Иван Авдеич вышел, сказал Левашов. — Раз уж начал, скажу до конца.

Из его рассказа Синцов понял, что они служили вместе с Бастрюковым с начала войны, воевали в Одессе, и комиссар дивизии Бастрюков уже тогда был хорошей сволочью; а превзошел сам себя уже в Крыму, в критические дни, когда части Примор-

ской армии, не успев дойти до Перекопа, были посреди голых крымских степей обойдены прорвавшими Перекоп немцами. Перед армией было два пути: или уходить по еще свободной дороге на Керчь, или вопреки всему идти к Севастополю. На Военном совете решили: Севастополь! И Левашову, в те дни комиссару штаба армии, командующий приказал догнать и повернуть уже начавшую отход в сторону Керчи дивизию, в которой он раньше служил.

Левашов прорвался на броневичке через немцев, нашел в одной из колонн командира дивизии и Бастрюкова, сообщил им приказ устно, потом передал его командиру дивизии в письменном виде и, не пережидая начавшейся бомбежки, сел в броневичок и уехал в артполк, который тоже надо было успеть повернуть.

Через пять минут после его отъезда командир дивизии, так и не успев распорядиться, был убит, присутствующий при разговоре адъютант — тоже, а полковой комиссар Бастрюков сел в уцелевшую «эмку» и, обгоняя полки, уехал на Керчь. Только вечером, когда из дивизии так и не поступило донесений, другой офицер штаба добрался до нее и выяснил, что там никто не знает о приказе. Два полка все же успели повернуть на Севастополь, а один так и не успел.

Что полковой комиссар Бастрюков сел в машину и, никому ничего не сказав, уехал на Керчь, офицеру штаба сообщили, а что потом было с Бастрюковым, так и не выяснили — все заслонил собой Севастополь.

— А меня командующий в тот день первый раз в моей жизни обозвал подлецом за то, что струсил, не довез приказ до дивизии. И без трибунала, сам поставил к стенке, и маузер вынул, и застрелил бы, рука бы не дрогнула. А я стоял, руки по швам, и молчал. И знал, что вот сейчас умру как подлец и никто обо мне ничего другого уже не докажет, потому что не привез расписки — приказ вручался под бомбами. А не застрелил меня потому, что я не умолял, не объяснял, а стоял и молчал. Все равно жить не хотел, раз вышел из веры. И он опустил маузер и сказал: «Уходи с глаз долой». А что я в дивизии все-таки был, узнал только потом, вечером. А все остальное, между прочим, так и осталось на веру: расписки нет, и живых свидетелей, кроме товарища Бастрюкова, не имеется. И в живых он остался не затем, чтоб подтверждать, как было,— он и дальше жить хочет! И сколько всего передумал об этом сегодня, после того как его в дивизии увидел,— даже самому стыдно! Бой идет, у Зырянова положение тяжелое, люди гибнут, а я о таком дерьме думаю! И не в силах забыть.

— А зачем о нем забывать? — сказал Синцов. — Если дерьмо не вылавливать, оно век плавать будет.

— Вот именно, плавать будет,— сказал Левашов. — Представления не имел, что он еще на свете живет, думал, сбежал и подох по дороге. И вдруг сегодня, только этого немца с его радио обратно в политотдел дивизии лично доставил, вижу: рядом с Бережным в белом полушубке кто-то знакомый. Гляжу — и глазам не верю: сам товарищ Бастрюков. А Бережной ему на меня: «Замполит триста тридцать второго Левашов! Непременно у него в полку побудьте!» А этот и бровью не повел. Поглядел на меня и головкой кивнул: мол, здравствуйте, товарищ батальонный комиссар! Как будто я — не я и он — не он.

— Ну а ты? — спросил Синцов.

— А что я? Я смотрю на него и думаю: может быть такая вещь, чтобы человек взял и не узнал тебя? Нет, думаю, невозможна такая вещь, потому что оба мы все равно те же самые. И он — он, и я — я. Приложил, как положено, ручку к головному убору и к Бережному: «Разрешите, товарищ полковой комиссар, возвратиться в полк?» Через левое плечо — и пошел. Иду и думаю про товарища Бастрюкова: если бы имел силу убить взглядом — выстрелил бы мне в спину!

— И что дальше?

— Что дальше? — сказал Левашов. — Дальше воевать с фрицами будем, как и до сих пор воевали.

— Так и оставишь это?

— До декабря не знал о его присутствии и вдруг под Новый год фамилию услышал,— вместо ответа сказал Левашов. — Даже спросил одного инструктора, откуда у них в политотделе этот Бастрюков, не из Крыма? Нет, говорит, наоборот, с Карельского фронта прибыл. Вон его куда метнуло!

— Так что же ты думаешь делать? — настойчиво повторил Синцов.

— А что с ним теперь делать? По случаю победы в Сталинграде донос на него за сорок первый год писать? А если он за это время героем стал? Не бывает разве? Вот видишь, к тебе на передний край заехал, а в сорок первом его, бывало, и на вожжах в полк не затянешь...

— Но то, что ты мне про Крым рассказал,— это же из ряда вон выходящее!

— А мало ли было тогда из ряда вон выходящего,— сказал Левашов. — Поглядеть в его послужной список — наверно, натворил с тех пор разных хороших дел! Разве иначе повысят? А я вот не верю, что дела хорошие, а доказать не могу. Да и неохота с ним мараться.

— А если он в другой раз, когда другая тугая подойдет, опять продаст, тогда кто виноват будет? — зло спросил Синцов.

— А ну его к... — выругался Левашов. — Между прочим, если хочешь знать, что я в рот не беру — его заслуга. Когда ехал тогда к ним в дивизию, на нерве принял по дороге из фляги. А если б не принял, может, все же расписку бы взял. И когда после того постоял у командующего под маузером, зарекся пить до мира. А не доживу, так и не выпью ни чарки. Не согласен со мной?

— Не согласен.

— А не согласен, и хрен с тобой. — Левашов вдруг подозрительно вскинул на Синцова глаза. — Что боюсь с ним задраться, не думаешь?

— Не имел в виду.

— Ну и ладно. А в остальном мне решать, я и решаю. — Левашов потер руками лицо и зевнул. — Пойду.

Синцов вышел проводить его из подвала. Хотел проводить дальше, но Левашов отказался:

— Штаб уже на месте, и дорога для меня ясная. А каких-нибудь заблудших немцев я, когда мы с Феоктистовым, не страшусь, даже трех на одного. — Он кивнул на своего выросшего рядом громадного ординарца, прислушался к далеким звукам боя и весело воскликнул: — Все же разрубили, ядри иху мать, фашистов напополам, как гадюку лопатой: голова здесь, ноги там!..

Левашов ушел, а Синцов, оставшись один, постоял под непривычным, только изредка погромыхивавшим небом и, вернувшись в подвал, разбудил Рыбочкина.

— Пободрствуй у телефона, пока Ильин не придет, а я к Зырянову ненадолго схожу.

— Посмотрите свои бывшие места? — сочувственно спросил Рыбочкин.

— Посмотрю. Ивана Авдеича с собой захвачу и обратно отправлю, чтобы знал, где я. Как только Ильин явится, сразу за мной пошли, или раньше, если будет малейшая надобность...

— Как, Иван Авдеич, на ногах еще держитесь? — спросил Синцов, когда они вдвоем вышли из подвала.

— С утра не выпивал,— сказал Иван Авдеич.

— Я не про это. Устали, наверное, сегодня?

— А кто ж теперь не устал! Второй год война идет, все люди устали,— сказал Иван Авдеич и замолчал выжидательно: к чему клонит комбат?

— И я устал, а на месте не сидится,— сказал Синцов, и в том, как сказал, был оттенок виноватости, что не только сам сейчас идет туда, куда ему идти не обязательно, но и тащит за

собой ординарца. — Рад все же, что капитана присвоили,— сказал откровенно, как близкому человеку, которым и был для него Иван Авдеич.

— А как же не рады,— сказал Иван Авдеич. — Звание есть звание. — Сказал как старший младшему, для себя лично уже не признавая этого, но понимая, что́ это значит для других, в особенности для тех, кто помоложе. При самой заурядной внешности и отчасти сознательно выработанном умении не бросаться в глаза Иван Авдеич — Синцов уже давно понял это — был человек умный и твердый в суждениях о людях, в том числе и о тех, от которых зависел по своей солдатской должности. К Богословскому, у которого был ординарцем до Синцова, он относился со снисходительной добротой, как к человеку слабому, но хорошему. А какого-то неизвестного Синцову капитана, с которым его свела судьба еще до Богословского, откровенно вспоминал как придурка. И когда Ильин, с его молодой строгостью, вдруг зайдя и услышав воспоминания Ивана Авдеича об этом капитане, оборвал его: «Так о командирах не говорят!» — Иван Авдеич, держа руки по швам, спросил: «А как же теперь быть, товарищ лейтенант, коли он хотя и капитан, а воистину придурок?»

Синцов чувствовал к себе со стороны Ивана Авдеича почти отцовское отношение не в том смысле, что ординарец годился ему в отцы по возрасту, а в том смысле, что Иван Авдеич, видимо, соглашался видеть его сыном и одновременно мирился с ним в роли начальника.

Сказав, что звание есть звание, Иван Авдеич молча прошел несколько шагов вслед за комбатом и вдруг спросил:

— Про Голохвостова, генерал-майора, не слышали, товарищ капитан?

— Не слышал.

— В нашем фронте дивизией командует. В одной пулеметной команде с ним в первую мировую были. Я первым номером, а он вторым. А в гражданскую я — красным бойцом, а он — компульроты. Я после гражданской — под демобилизацию, а он — в училище. Он теперь генерал-майор, а я обратно рядовой. А оба с девяностого. Вот что оно, звание-то, значит.

Синцов не ответил. Ждал: что дальше?

— Без вас тут с лейтенантом Рыбочкиным говорили. Я ему рассказываю про этого Голохвостова, а он говорит: «Раз в пятьдесят три года дивизией командует — значит, не далеко пошел, устарел». Выходит, по его, Голохвостов в свои годы командовать дивизией устарел. А я в свои годы солдатом быть не устарел.

— Как вас понять? — спросил Синцов. — Кто же теперь прав?

— А все правы, товарищ капитан,— сказал Иван Авдеич.— Кого кем призвали, тот тем и служит. Война одна на всех. А рассуждения, что от лейтенанта Рыбочкина слышал, они глупые, по молодости лет. Больше ничего.

Когда прошли триста метров и Синцов убедился у часового, что именно тут, в подвале, и находится Зырянов, он отпустил Ивана Авдеича.

— Лучше бы тут вас обождать.

— Если понадоблюсь, пришлют за мной. Вы и придете, чтоб не искать.

— Понятно.— Иван Авдеич поправил на плече автомат и скрылся в темноте.

Подвал, где находился теперь командный пункт Зырянова,— тот самый, ошибки быть не могло. Здесь Синцов сидел, когда его назначили командиром батальона, и отсюда, когда не удержались, отходил на следующую улицу.

— Соседу! — поднимаясь с топчана, сказал Зырянов.— Думал завтра сам к тебе наведаться, обмыть, но ты, выходит, быстрей меня.

— А ты откуда знаешь?

— Теперь знаю, потому что по тебе видно, а до этого Левашов сказал. Поздравляю, что обратно меня догнал.— Зырянов сказал это весело и легко, без ревности; за его словами чувствовалось, что снова верит в себя и, если не убьют и не ранят, теперь за недолгий срок вернет себе все, что имел.— Значит, война идет, а канцелярия пишет, присваивает и кому надо и кому не надо. Так как же, обмоем?

— Воздержусь. Со своими еще предстоит...— сказал Синцов.

— А я что, не твой? Я тоже бывший твой,— великодушно сказал Зырянов.— На тогдашнее мое настроение пошел бы в замы к холере — обратно в штрафбат угодил бы как пить дать.

— А как сегодня настроение? — спросил Синцов.

— Настроение среднее. И нанес и понес. Немцев при их контратаках положили — снег черный, но и потеряли много. Как сегодня, три дня еще повоевать — без штанов останешься. Какое мое настроение, а, Евграфов? — окликнул он человека, сидевшего в глубине подвала.— Тебе лучше знать.

— По-моему, неплохое,— знакомым Синцову равнодушным голосом сказал человек, сидевший в глубине подвала. Это был младший уполномоченный полкового отделения СМЕРШа. Первые дни боев он, можно сказать, жил в батальоне у Синцова, а последнее время что-то не появлялся.

Он поднялся навстречу и молча тряхнул руку Синцову.

— С Евграфовым живем единодушно,— сказал Зырянов.— Сегодня даже вместе с ним немцев гранатами отбивали. Он, оказывается, силен гранаты кидать. Не знал этого за ним. Хорошее чувство самосохранения имеет.

— Ладно трепаться,— сказал Евграфов.

— А ты не обижайся, я любя.

— Как дела в батальоне? — спросил Евграфов у Синцова.

— Дела ничего,— сказал Синцов,— появись сам, посмотри.

— Прикажут — появлюсь.

— Появись, мы не возражаем.

— А это от вас не зависит,— сказал Евграфов. — Хотя бы и возражали. — И повернулся к Зырянову: — Я пойду.

— Обиделся, что ли? — спросил Зырянов.

— Ну чего ты, капитан, дурочку ломаешь,— сказал Евграфов. — Знаешь, что меня еще днем в полк вызывали.

— Днем вызывали, днем бы и шел, а теперь ночуй, раз остался. Может, я боюсь, что мне вместо тебя какого-нибудь дурочка пришлют. Лучше уж ты сиди.

— Спасибо.

— Не сердись, дай пять,— сказал Зырянов; в голосе его была искренность.

— Пока,— сказал Евграфов. — С тобой дело иметь — надо молоко на вредность получать.

— А ты там у себя про это предупреди, может, другого желающего не найдется, сам же и возвращайся.

Евграфов ничего не ответил, молча кивнул Синцову и вышел.

— Люблю подначивать,— сказал Зырянов. — Как гвоздь при мне сидел, даже реляцию на него «За отвагу» написал.

— С этим — нет, а с кем-нибудь другим достукаешься.

— Ну и достукаюсь. Я уже раз навсегда решился: или жить, или не жить.

Они стояли посреди подвала, и Зырянов заметил, что Синцов внимательно оглядывает помещение.

— У тебя хуже, что ли? Завидуешь?

— Мой КП здесь две недели находился.

— Когда?

— В октябре.

— Серьезно здесь? — Зырянову все еще не верилось. — Тогда давай за возвращение на старые места! — кивнул он на лежавшую на столе фляжку.

— Наверное, уж выпил и до меня? — сказал Синцов.

— Немного выпил с уполномоченным за то, что он человек, как и все. Жалел, что уходит. В самом деле, еще пришлют вместо него какого-нибудь стервеца, у них этого товара хватает.

— Раз ты уже выпил, а мне еще предстоит, не будем.

— Ну, не будем,— легко согласился Зырянов. — Я сегодня сам лишнего боюсь. Перенервничал за день. Все-таки еще сильно они воюют... Ладно стенки обглядывать. Сядь.

— Все же хорошо, когда в четырех стенах,— присаживаясь, сказал Синцов.

— Это верно. А помнишь, как на третью ночь наступления в Вишневой балке ночевали? — напомнил Зырянов. — Балка Вишневая, а снегу по горло. Я в ту ночь чуть себе все на свете не отморозил. Снегом оттирал,— нет, думаю, врешь, еще пригодится! Я же молодой, мне сорока нет.

— Разве? — удивился Синцов. Ему казалось, что Зырянову больше сорока.

— Тридцать восьмой идет. Я ж на гражданскую тринадцати лет сбежал. Был у Котовского в бригаде юным разведчиком. Фильм «Красные дьяволята» видел? Это про меня. — Зырянов рассмеялся. — В самом деле про меня. Тоже с махновцами воевал. Лазутчиком к ним ходил. Словом, близко к истине.

Синцов встал, еще раз медленным взглядом обвел подвал и сказал, что пойдет, пора.

— Пришлют за тобой, коли нужен,— сказал Зырянов.

— Так ведь это как,— сказал Синцов,— когда теребят, думаешь: будь они неладны, без меня, что ли, не могут обойтись! А когда час — не нужен, два— не нужен, начинаешь думать: как так не нужен!

— Ты в Шестьдесят второй армии в какой был дивизии? — спросил Зырянов.

И когда Синцов назвал дивизию, воскликнул:

— Эх, мать честная! Ко мне час назад инструктор из их политотдела забегал, грелся, старший политрук.

— Какой из себя?

— Такой Афоня конопатый, носик пуговкой, из наших, из русаков.

— Булкин?

— Может, Булкин, а может, Пышкин,— сказал Зырянов,— фамилии не запомнил. Послали проследить, чтоб отставших из их дивизии не было.

— Да-а! — с досадой протянул Синцов и вздохнул: застань он здесь этого Булкина, обо всех бы узнал — и кто жив, и кто не жив. — Не верится даже своим глазам! Из этих же подземелий нас выдавили, и сюда же мы обратно пришли. Стою здесь, в подвале, и кажется, во сне его вижу. Кем мы были и кем стали? И как все это день за днем переворачивалось-переворачивалось и наконец перевернулось!

— Ничего,— усмехнулся Зыряпов. — Ты Иван, и я Иван, мы с тобой русские ваньки-встаньки: сколько нас ни валяй, а лежать не будем. Фрицам теперь к своему положению тяжелей привыкать. Сколько пленных за последние дни ни брал, каждый второй — психованный. Не замечал?

— Замечал другое: сдаются еще мало.

— И это придет,— сказал Зыряпов. — В армии, как в человеке, главная жила есть; пока не лопнула — стоит как живой, а лопнула — все!

Уже почти дойдя до своего командного пункта, Синцов столкнулся с шедшим навстречу Иваном Авдеичем.

— Ильин послал?

— Он не посылал, но вы же при мне Рыбочкину приказали, как Ильин вернется, за вами идти,— сказал Иван Авдеич.

— Ну, правильно. А Завалишин где?

— Тоже вернулся. Что ему сделается!

Входя в подвал, Синцов ожидал увидеть сразу всех троих — Ильина, Завалишина и Рыбочкина. Но Ильина почему-то не было. Завалишин спал, а Рыбочкин ходил один из угла в угол и что-то бормотал про себя, поддавая жару кулаком,— ходил, не присаживаясь, и читал стихи, чтоб не заснуть.

— Что читаешь?

— Да так, ничего.

— Свои, что ли, сочинил?

— Нет, не свои,— сказал Рыбочкин, хотя по лицу было видно, что свои.

— А где Ильин?

— Ушел,— сказал Рыбочкин,— пришел и ушел, хочет своими глазами поглядеть, где командные пункты рот.

«Ну, конечно, своими — моими ему мало»,— с досадой подумал Синцов. Видя, как сбивается с ног Ильин, он иногда по-товарищески старался облегчить ему жизнь — что-то снять с него и взять на себя, но из этого ничего не выходило. Не вышло и сегодня. Напрасный труд. Комбат обошел командные пункты рот, а за ним следом поперся и начальник штаба.

— А Завалишин сразу спать лег,— сказал Рыбочкин. — И вы тоже ложитесь.

— А ты?

— А я вас за всех поздравляю, из всех первым!

«Значит, Иван Авдеич всем уже доложил,— подумал Синцов. — Впрочем, так и следовало ожидать».

— Спасибо,— сказал он. — Ну, я, положим, лягу. А лейтенант Рыбочкин когда спать будет? После войны?

— Я лягу, когда Ильин вернется. Когда за ваше звание пить — вам решать. А закуска у меня есть — бычки в томате, банка.

— Раз закуска есть, момент выберем. — Синцов поискал глазами, куда бы лечь, и приткнулся на топчане, рядом с прижавшимся к стене Завалишиным.

«Когда спать ложился, нарочно так лег, чтобы еще кто-нибудь притулился»,— подумал Синцов о Завалишине, и это было последнее, что успел подумать.

Он проснулся, не соображая, сколько проспал,— мало или много,— от женского голоса. Хотя спросонок, как из тумана, слышал два голоса — женский и мужской, но от завалишинского бы не проснулся, проснулся от женского. Голос был знакомый.

— Мне только двух человек нужно, и только до утра, а если наши раньше придут, то еще на меньше. Я очень вас прошу...

Синцов, еще не открывая глаз, оперся на кого-то рукой и сел. На месте Завалишина, вытянувшись, словно по команде «смирно», во весь свой маленький росточек, спал Ильин. Он даже и не шелохнулся оттого, что на него оперлись. Окончательно открыв глаза, Синцов увидел худую спину стоявшего посреди подвала Завалишина и перед ним Таню Овсянникову, в полушубке, ушанке и с автоматом на шее. Она стояла перед Завалишиным прямо как какой-нибудь автоматчик, которого снимает фотограф, правую руку положила на ложе, а левую на ствол.

— Охрану я дам и сам туда схожу,— сказал Завалишин. — А вам ночью у немцев делать нечего. Пришли к нам в батальон — и хорошо сделали.

— Нет, я так не могу,— возразила Таня.

Они оба еще не заметили, что Синцов проснулся.

Он подтянул расстегнутый пояс с наганом и встал, чувствуя, как его пошатывает спросонок.

— Здравствуйте, доктор. Что-то мы с вами каждую ночь стали встречаться!

— Здравствуйте,— неуверенно сказала Таня, судя по голосу, не сразу узнав его. А узнав, так радостно, по-щенячьи ойкнула: — Ой, как мне повезло! — что Синцов улыбнулся.

— Повезло или не повезло, сейчас разберемся. А для начала садитесь. И замполита моего под автоматом не держите. Он все равно ни черта, ни бога не боится, только вид такой обманчивый — мало боевой.

— Хорошо, сяду,— сказала Таня. — Но я очень тороплюсь.

Она сняла через голову автомат, уронив при этом шапку. Синцов потянулся поднять, но Завалишин сделал это быстрей его.

— Спасибо. — Таня, не надевая шапки, положила ее на стол.

— Откуда вы появились? — спросил Синцов и перебил сам себя: — Чаю хотите?

— По правде — хочу, только если недолго, а то меня ждут.

— Я схожу. — Завалишин вышел.

— Кто вас и где ждет? — спросил Синцов. — И чего вы к нам пришли, со сна не понял.

— Меня вечером к захваченному немецкому госпиталю временно прикомандировали, до утра,— сказала Таня. — Мы туда продуктов дали и немного перевязочного материала, и меня оставили, как владеющую немецким. А утром, сказали, их отсюда вообще забирать будут. Но не знаю, как это будет, по-моему... — Она пожала плечами и не докончила. — Меня оставили и двух автоматчиков. Они не наши, их оставили от той дивизии, которая госпиталь захватила. А она, оказывается, уже ушла, и какой-то их сержант ночью пришел и сказал, чтоб и они снимались, а то отстанут. И они сказали, что уйдут, раз вся часть в другое место ушла. А я их упросила немного подождать, пока я схожу к кому-нибудь и возьму другую охрану.

— Как это «упросила»? Вы им приказать должны были. Вы же офицер,— сказал Синцов, хотя понимал, что не так-то просто капитану медицинской службы да вдобавок женщине что-нибудь приказать двум бывалым автоматчикам из чужой части.

— А я им и приказала,— сказала Таня. — Сказала: если будете еще скулить, лучше сразу уходите к черту, я одна с немцами останусь.

— Этого еще не хватало!

— А они мне говорят,— усмехнулась Таня: — «Мы вас так не оставим, пойдемте с нами, товарищ военврач, никуда эти полумертвые фрицы теперь не денутся. А если все же за них боитесь, давайте мы из них совсем мертвых сделаем».

— Сволочь, кто так сказал...

— Это один сказал.

— Все равно сволочь.

— Они ждут меня там,— сказала Таня.

— А автомат у вас откуда, они дали?

— Нет, это мне Росляков дал.

— Кто такой Росляков?

— Наш начальник эвакоотделения. Я бы и одна там осталась, раненых не побоялась. Но вдруг среди них здоровые прячутся и с оружием?

— Вполне возможная вещь,— согласился Синцов.

Таня посмотрела на его забинтованную руку и виновато сказала:

— Я вчера даже не спросила, что у вас с рукой.

— Было и прошло. Вчера утром последний раз перевязку сделали,— сказал Синцов. — Не успели там моего второго разыскать, Пепеляева?

— Не успела. Но я вам все равно или сама, или через кого-нибудь узнаю. Непременно!

— Не очень горячий,— входя с чайником, сказал Завалишин,— но все же...

— А мне хоть какой-нибудь. У немцев не хотела... Вышла снег пососать, да он такой дымный, что тошнит от него.

— Снег здесь кругом пороховой, травленый,— сказал Синцов. — Все равно что морскую воду пить, еще хуже.

Завалишин налил Тане чаю, и она стала пить жадно, большими глотками.

— Очки тебе тут подобрали. Вроде сильные. Не пробовал? — спросил Синцов.

— Сильные, да не в ту сторону,— рассмеялся Завалишин. — Я близорукий, а они для дальнозорких.

Синцов взял со стола свою пустую флягу, налил в нее немного чаю, сполоснул, выплеснул на пол и снова наполнил чаем, теперь доверху.

— Это мы вам с собой дадим. А может, немного водки хотите?

— Нет, не хочу. — Таня налила себе вторую кружку чаю.

— Плохо ухаживаешь, Завалишин,— сказал Синцов. — А это знаешь какая моя старая знакомая? Теперь, можно сказать, самая старая знакомая на свете, с начала войны... И сухарей возьмите с собой. — Он сгреб с тарелки горсть сухарей.

— Зачем? Куда?

— Ну, куда, куда... — Он обошел стол и, став сзади нее, сам стал напихивать сухари в карманы ее полушубка. Она сидела послушная, вдруг притихшая. — А где этот госпиталь ваш?

— Недалеко, если прямо назад от вас — метров пятьсот.

— А где он, в подвале?

— Даже не подвал, какие-то галереи полукруглые, непонятно что.

— Склады пивзавода,— сказал Синцов. — Это я знаю где. Так чего ж вы хотите? Двух автоматчиков до утра, на смену этим?

— Да, хотя бы двух.

— Ишь ты, «хотя бы» двух! Думаете, это так легко? Дадим, конечно. И сами вместе с вами сходим посмотреть ваших фрицев. Но имейте в виду: с утра люди мне самому понадобятся.

— А наши обещали еще ночью или санитаров, или бойцов из хозвзвода мне прислать.

— Обещали, а не сделали! — сказал молчавший до этого Завалишин.

— Наверно, просто заблудились, ищут. Или что-нибудь случилось,— сказала Таня, уже готовая вступиться за свою санчасть.

— Случилось, что совесть потеряли,— сказал Завалишин. — Женщину одну на целый немецкий госпиталь бросили.

— При чем тут женщина? — сердито сказала Таня.

Синцов, не дослушав конца этого спора, вышел распорядиться насчет автоматчиков. Про себя он уже решил, что кроме двух солдат до утра отправит с Таней туда, в немецкий госпиталь, Ивана Авдеича. Старик надежный, если действительно там, у немцев, кто-то зашебаршится, не проморгает. Вспомнил, как тогда с Золотаревым оставили ее в сторожке у хромого лесника на милость судьбы, ничем не в состоянии были защитить... А сейчас можно защитить, есть такая возможность. Даже если и не окажется действительной опасности, просто на всякий случай.

Двух солдат взял из охраны штаба, вместо них разбудил отдыхавших, а Ивана Авдеича поднял легко, как всегда,— только тронул за плечо, и тот уже вскочил.

— Изготовьтесь, Иван Авдеич, пойдете вместе со мной.

Когда, распорядившись, вернулся в подвал, увидел, что Таня сидит ждет в шапке и с автоматом, а Завалишин затягивает ремень на полушубке, тоже собирается идти.

— Люди готовы. — Синцов посмотрел на Завалишина. — А ты куда собрался?

— Пойду провожу, если не возражаешь.

— Возражаю, сам пойду. Я же тебе сказал — старая знакомая. И старый долг за мной. Когда-то бросил ее в лесу одну...

— Зачем вы так говорите? — сказала Таня. — Старший политрук подумает, что правда бросили!

— Конечно, бросил, а теперь не брошу. Отчасти шучу. А главное, рад, что еще раз увидел вас и могу проводить, имею возможность поговорить с вами хоть полчаса. Когда еще придется? Этого ни вы мне не скажете, ни я вам! Так или не так, Завалишин?

Завалишин не ответил, просто снял шапку, положил на стол и расстегнул полушубок. И уже потом, как о прошлом, сказал:

— Считал, что, зная язык, легче, чем ты, с немцами объяснюсь, если понадобится.

— Понадобится — и я объяснюсь,— сказал Синцов. — Скоро два года только и делаем, что с ними объясняемся! Пойдемте, товарищ капитан медицинской службы. Я с сегодняшнего дня, между прочим, тоже капитан. Так что пойдем сейчас с вами — два капитана... Была такая книга до войны. Читали?

— Я только этой зимой ее прочла, в Москве, когда в госпитале лежала.

— Понравилась?

— Очень. А вам?

— А я уже не помню. В госпитале долго лежали?

— Два месяца.

— Куда ранение?

— В живот.

Они уже вылезли из подвала и шли, петляя между развалинами. Сзади, похрустывая снегом, шли Иван Авдеич и двое солдат.

— Так сложилось, что вчера про все говорили, только не про вас. Ранение тяжелое было?

— Чуть не умерла, хорошо, что в ту же ночь на самолете перебросили и кровь перелили.

— Как тот лесник хромой, где мы оставили вас?

— Живой был, когда меня вывозили. А дочку его помните, девочку, она вам свой комсомольский билет показывала?

— Помню, а что? — спросил Синцов, предчувствуя недоброе.

— Немцы повесили. Она связной от нас ходила.

Синцов подумал о Маше, попробовал отбросить эту мысль и не смог. Когда будут рассказывать про такое, наверное, сколько бы лет ни прошло, всегда будет вспоминать про нее.

Он молчал, и Таня, поняв, отчего он молчит, тоже шла и молчала, пока он не заговорил сам.

— Когда оставили вас там, несколько раз потом вспоминали с Золотаревым, как вы просили наган у вас не забирать...

— Они тогда никого не тронули. Обыскали дом и дальше поехали. А если бы наган нашли... Вы тогда правильно сделали, что меня не послушали.

— А этого уж я знать не мог,— сказал Синцов. — Это я только теперь знаю, что правильно вас не послушал. А могло оказаться, что и неправильно. Что это вас к немцам вдруг загнали?

— Просто под руку попалась. Разыскивали, кто из врачей по-немецки объясняется, и я сдуру напросилась. Но это временно. Я завтра уже там не буду. Пусть для этого кого-нибудь другого найдут, а не меня.

— Немецкому там, в тылу, научились?

— Я еще в школе хорошо училась. И в институте, кроме латыни, был немецкий. И в тылу тоже, конечно. Я в городской больнице полгода медсестрой работала. У нас там гебитскомиссар был немец. Да и не только он... — Она замолчала, и Синцов почувствовал, что ей не хотелось говорить обо всем этом.

А ему, наоборот, хотелось рассказать ей, как все было тогда дальше: и как он шел с Золотаревым, и как его ранило, и про плен, и про бегство. Может быть, даже про Люсина, да, и про Люсина. Хотелось рассказать обо всем именно ей, потому что при ней все это началось. Наверное, поэтому.

— По-моему, подходим,— сказал он.

— Да,— сказала она,— только завернем сейчас за эти развалины.

Вход в подвал был закрыт двойным мерзлым брезентом. Внутри, за брезентами, у самого выхода горела коптилка. Один из автоматчиков спал, уронив голову на плечо. Другой сидел, положив автомат на колени дулом в глубину подвала, мгновенно вскинул автомат на вошедших, но, увидев Таню, Синцова и солдат, успокоенно улыбнулся:

— Все же не обманули нас, товарищ военврач,— и стал расталкивать заснувшего товарища.

Синцов потянул ноздрями воздух. Из глубины, оттуда, где вдали светила вторая коптилка, несло тяжелым больничным смрадом.

— Кто у них старший? — спросил Синцов у Тани.

— Главный врач, обер-арцт, я говорила с ним.

— Позовите,— сказал Синцов автоматчику, который только сейчас наконец разбудил своего товарища.

— А которого, товарищ военврач,— спросил автоматчик у Тани,— который все к вам подходил, бормотал?

— Да.

— Он и к нам подходил, чего-то бормотал, а чего — непонятно. Я от греха показал, чтобы на три шага не приближался!

— А я просто крикну. — Таня крикнула по-немецки: — Герр обер-арцт, коммен зи шнелль цу унс! [1]

И сразу шагах в тридцати отозвался голос:

— Гляйх, айн аугенблик! [2]

— Шнеллер, герр обер-арцт... [3]

— Товарищ капитан,— сказал автоматчик,— разрешите идти: до утра не явимся — дезертирами посчитают.

— Я уже объяснила про вас товарищу капитану.

— Куда идти, знаете?

— Заходил сержант, объяснял. Не заблукаем,— весело сказал автоматчик и повернулся к Тане: — Счастливо оставаться, товарищ военврач.

---

[1] Господин главный врач, идите скорее к нам!

[2] Сейчас приду!

[3] Скорее, господин главный врач...

Второй ничего не сказал, хмуро поправил автомат и протер рукой заспанные глаза.

— Разрешите идти, товарищ капитан?

— Сейчас пойдете,— сказал Синцов. — Кто из вас предлагал военврачу весь госпиталь перебить? Вы? — обратился он к заспанному автоматчику.

— Так он в шутку, товарищ капитан,—сказал другой, веселый солдат, который все время один только и разговаривал.

— Я его, а не вас спрашиваю. Вы?

— Я.

— Был у меня один солдат,— сказал Синцов. — Послал его пленных сопровождать, а он поставил их в затылок друг другу — и в упор из винтовки в спину заднего. Тоже, возможно, считал, что шутит: хотел узнать, сколько людей одна пуля пробьет. Узнал, но до ночи не дожил. По суду... Понятно?

— Понятно. — Автоматчик продолжал враждебно, хмуро смотреть на Синцова.

— А хочешь больше фашистов убить — в снайперы иди. А не в конвоиры.

— Так они ж звери! — вдруг с истерической нотой в голосе, с всхлипом выкрикнул автоматчик и дернулся всем телом, как припадочный.

— А ты человек?

— Я человек.

— Ну и будь человеком. Можете идти,— сказал Синцов. И когда они оба вышли, сказал Тане про того, что дергался: — Почти с ручательством — из бывших уголовников. Любят рубахи на себе драть до пупа и пленных стрелять. Было у меня один раз пополнение из таких — десятка полтора. Часть — ничего, а остальные — истерики, жестокая дрянь, вроде этого.

— Герр капитан, их бин обер-арцт [1],— на два шага не дойдя до Синцова, вытянулся перед ним худой, как щепка, немец-врач.

— Можете ему перевести? — спросил Синцов Таню.

— Могу.

— Переведите. Я представляю командование дивизии, в распоряжении которой вы находитесь.

Немец, когда Таня перевела, хотя уже и так стоял вытянувшись, вытянулся еще напряженней.

— Задаю вам вопрос: нет ли у вас в госпитале здоровых офицеров и солдат, которых вы прячете?

Он дождался, когда Таня перевела, понял, что немец хочет сразу ответить, но остановил его.

---

[1] Господин капитан, я главный врач.

— Второй вопрос: нет ли у вас в госпитале оружия?

И снова остановил немца.

— Если есть здоровые, пусть выйдут и сдадутся. Если есть оружие — принесите. Если потом найдем сами — будете расстреляны. Все перевели? — спросил Синцов у Тани, еще раз остановив немца рукой.

— Все.

— Теперь пусть отвечает.

— Никто из нас не имеет оружия,— сказал немец. — У нас нет здоровых. У нас нет легкораненых. У нас только тяжелораненые и обмороженные.

Таня перевела то, что говорил немец, но, еще прежде чем она перевела, Синцов почувствовал, что этот шатающийся от усталости и голода немецкий врач говорит правду. И, несмотря на свое беззащитное положение, говорит ее, сохраняя чувство собственного достоинства.

— Скажите ему, что мы завтра окажем им всю помощь, на какую способны.

— Я уже говорила ему это.

— Еще раз скажите.

И когда Таня перевела и немец сказал: «Данке шен» [1],— Синцов кивнул и сказал, что немец свободен и может идти к своим раненым.

Немец выслушал, повернулся через левое плечо и пошел в глубь подземелья.

— Не знаю, как будет решать санчасть армии,— сказал Синцов,— а я своему командиру дивизии теперь же, ночью, доложу. — Он с силой втянул в ноздри тяжелый воздух. — Это подземелье кладбищем пахнет.

— Да, там страшно, я туда ходила,— сказала Таня.

Синцов посмотрел на нее, понимая, что как бы ни хотелось забрать ее отсюда, думать об этом не приходится, и обратился к Ивану Авдеичу:

— Старший сержант, останетесь здесь с бойцами и с военврачом до восьми утра. Если из санчасти явятся раньше, сменитесь раньше.

— Они гораздо раньше придут, не могут не прийти. Они же знают. — Таня сказала это не столько Синцову, сколько трем солдатам, старому и двум молодым, по лицам которых было слишком хорошо видно, какой не сахар для них это дежурство.

— Думаю, еще увидимся. — Синцов пожал Тане руку и помимо воли вложил в эти расхожие слова такую силу надежды,

[1] Спасибо.

что она не могла не почувствовать этого... Сказал, повернулся и, выйдя, услышал, как кто-то вышел за ним.

— Разрешите проводить? — обиженным голосом спросил в темноте Иван Авдеич.

— Оставайтесь, сам дойду,— сказал Синцов и добавил то, что хотел сказать еще раньше, но не считал возможным при других: — Не обижаетесь на меня, что оставил вас тут с нею?

— Свои люди, сочтемся, товарищ капитан.

Входя к себе в подвал, Синцов услышал конец оборвавшегося при его появлении разговора.

— Меня бы разбудил или сам сходил бы,— сердито сказал Ильин.

— А я и хотел,— тоже сердито сказал Завалишин,— но наш двужильный сам попер.

«Наш двужильный» для Синцова не было новостью. Знал, что за глаза называли так. Называли еще и верблюдом. Знал и не обижался. И сейчас, войдя, даже не стал делать вид, что не слышал.

— Ладно тебе, Ильин, ругать Завалишина. Лучше распорядись насчет чарки. Обмоем все же мое капитанство.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

На Донском фронте уже пятые сутки происходило то, что потом немецкие военные историки назвали «последним актом трагедии 6-й армии».

Артемьев участвовал в этом последнем акте в качестве заместителя командира 111-й стрелковой дивизии. Дивизия вместе с другими нашими частями добивала так называемую северную группу немцев, окруженную в заводском районе Сталинграда. За спиной, южнее, слышалось все удалявшееся громыханье боев в центральной части Сталинграда — там сопротивлялись главные силы 6-й армии, но и здесь, в северной группе, судя по силе отпора, у немцев еще оставались в строю десятки тысяч человек.

За эти пять суток Артемьев как нельзя лучше сработался с Кузьмичом. Начало их отношений облегчила откровенность Кузьмича, в которой, казалось бы, не было прямой необходимости: ну, пришел к тебе в дивизию заместитель и пусть служит, как положено. Но, видимо, Кузьмич испытывал потребность в такой откровенности.

— После́ конца боев в госпиталь лягу раны лечить. Не слыхал, не говорили? — спросил он, посадив напротив себя Артемьева.

— Не слыхал.

— Выходит, правильные люди Пикин и Бережной: сказал, чужим не говорить — и не сказали. А ты чужой был — глаз начальства! А теперь свой, теперь и ты знать обязан. Что послйе госпиталя не располагаю вернуться на фронт — ложь! Располагаю! Но на этой дивизии — крест, на ней меня ждать не будут, не знают, на сколько уйду и какой потом буду. Так что об том, как со мной сработаться, головы не ломай. С Пикиным ищи, как сработаться. После меня он в комдивы выйдет, с ним тебе и служить. А мне, старику, раз пришел — помоги. За этим тебя и дали. Со всей душой, как дело требует. А где без души поступишь, там и дружба наша врозь. Собрались мы тут в дивизии с Пикиным старики, он еще дюжий, но и ему шестой десяток. А ты молодой. Это хорошо. Я как привык? Я привык приказ отдать, а потом начштаба — на месте, а я — к исполнителям, как приказ исполняют? Говорят, теперь по-другому командовать думают. Но я пока этого еще мало вижу, только слышу про это. Ты академик, тебе видней. А я считаю, что другого, лучшего пока не придумано. А вывод какой? Вывод мой такой: где я при своем здоровье не достану — там ты моя рука. Я передний край люблю своей рукой щупать, там ли он есть, как мне в трубку доносят. Понйял?

— Понял, — сказал Артемьев. — Надеюсь, упрекнуть меня в робости не дам повода.

— Не так понял, — поморщился Кузьмич. — Не об робости речь. А об том, чтоб где меня привыкли видеть, там и тебя видели. А особенно у Колокольникова в полку. Был, говорят, хороший комполка, а мне достался как пуля на излете. В донесениях путает и пьет по ночам. Без этого уже не может с утра храбрым быть. Чего с человеком не бывает! Говорят, и железо устает. Снимать сейчас жаль, а подменять собой — тебе придется. Такая уж ваша судьба, заместительская. Полком командовал?

— Командовал.

— Тем более, дело знакомое. Будешь жить у Колокольникова, а в другие полки по мере необходимости.

Таким был их первый разговор, положивший начало и служебным и личным отношениям.

За эти пять дней Артемьев успел убедиться, что Кузьмич человек золотой души, непривычной, даже лишней откровенности в разговорах и той устойчивой, молчаливой, истинно русской твердости в бою, которая раз навсегда выразила себя в имевшейся у него на все случаи жизни поговорке: «Надоть — так надоть!» Были у него другие присказки, к которым Артемьев тоже успел привыкнуть за пять дней. Когда Кузьмич удивлялся чему-ни-

будь, говорил скороговорочкой: «Туточки вам пожалуйста!»; когда упрекал, спрашивал: «Почему без меня не смикитили? Вас много, а я один. Это и есть вся история нашего военного искусства». А когда не уважал кого-нибудь, отзывался с усмешкой: «Ничего об нем не могу плохого сказать, а еще меньше — хорошего».

Один раз вдруг сказал Артемьеву, после того, как у них на глазах убило молоденького лейтенанта: «А по сути, воюют-то совсем еще мальчишечки у меня! Первая война для них». Сказал с горечью, словно о малых детях.

При всей задушевности их первого разговора у старика заранее был твердый план, как использовать Артемьева, раз его дали в заместители. И в соответствии с этим планом Артемьев из пяти суток почти четверо не вылезал от Колокольникова — так оно и было нужно по делу.

Сам старик, хотя все равно ездил в полки, но по сравнению с прежним сдерживал свой характер: ни за что не хотел свалиться с катушек до победы.

Работа у Артемьева все эти дни была черная, кропотливая и, строго говоря, если взять ее безотносительно к моменту, с чисто военной точки зрения, не такая, на которой можно показать все, на что способен. Но рассматривать свою работу безотносительно к моменту было невозможно.

Да, день за днем, день за днем, не за страх, а за совесть, не щадя себя и стараясь в меру сил сберечь людей, которых давно уже небогато,— словом, такая карусель, что не поймешь, где одно кончается, а другое начинается! И как это часто бывает в ходе долгих боев, масштаб происходящего не до конца очевиден. Позавчера двести метров, вчера триста, сегодня еще сто.

Конечно, не просто метры считали. Кончала свои дни целая немецкая армия. Происходило такое, о чем еще четыре-пять месяцев назад и не думали. И чувство этого происходящего жило в душе под обыденностью ежедневных забот, под привычной заурядностью донесений: прошли... заняли... уничтожили... захватили... потеряли...

Сводки, как всегда, не отличались торжественностью. А жизнь была полна ожидания великого. Но и сегодня все еще реально не представляли себе: как все это может вдруг взять и кончиться? Не представляли, несмотря на всю силу своего ожидания.

Сегодня Артемьев снова заночевал в штабе у Колокольникова. Вчера был удачный день: Колокольников клином продвинулся вперед. Теперь они вместе с соседом Туманяном полуобхватили целый квартал развалин бывшего заводского поселка. В развалинах полно немецких трупов. И половина — просто замерзшие.

Два взятых вчера в плен обер-лейтенанта выглядели чуть лучше своих солдат, но тоже были до крайности истощены и голодны. И от вида этих мертвецов и этих пленных больше чем когда-нибудь пахнуло концом.

С самого утра позвонил Пикин и сообщил план на сегодня — утверждалось ночное предложение Артемьева, сделанное отсюда, от Колокольникова: после сильного артналета на узком фронте, ударив с двух сторон — и от Колокольникова и от Туманяна,— окружить немцев в развалинах поселка.

Артемьев с Колокольниковым уже подготовили все необходимое для выполнения приказа, но Пикин снова позвонил: начнут часом позже, чем думали,— Артемьев должен сначала явиться к командиру дивизии, который сейчас у Туманяна, и лично договориться с ним о взаимодействии.

В голосе Пикина звучало недовольство: он сердился на проволочки, считал, что и сам из штаба дивизии может с успехом увязать действия обоих полков, без того, чтобы Артемьев ездил к Кузьмичу.

Но Кузьмич по своей привычке все потрогать руками решил иначе.

Торопясь и огибая на машине, близко к переднему краю, мешок, в котором находились немцы, Артемьев в просвете между развалинами нарвался на пулеметную очередь и еще раз мысленно обругал старика за то, что вызвал к себе. Крышу «эмки» в двух местах пробило пулями, и шофер, пока ехали дальше, то и дело задирал голову и недовольно смотрел на эти дырки — сквозь них свистел ветер.

Артемьев застал Кузьмича на командном пункте Туманяна, в довольно хорошем немецком блиндаже с насвежо подправленными накатами. Чувствовалось, что тут ночью поработали саперы, а впрочем, как уже успел заметить Артемьев, у Туманяна командные пункты всегда и всюду были в ажуре.

Кузьмич сидел на лавке в своем неизменном, надетом поверх меховой безрукавки коротком ватничке, подпоясанном солдатским, с железной пряжкой, ремнем. Шапку он снял — короткие непричесанные седые волосы петушились, а ноги в валенках были прикрыты лежавшим на коленях полушубком: ноги он берег.

— Пикин передал ваше приказание прибыть, увязать,— доложил Артемьев.

— Обожди,— неожиданно сказал Кузьмич. — Надо будет — враз увяжем, а то и не потребуется. Сейчас поглядим.

Артемьев удивленно посмотрел на него и со злостью подумал о простреленной пулями «эмке».

— Садись, Павел Трофимович,— улыбнулся Кузьмич,— в ногах правды нет.

Артемьев, искоса бросив удивленный взгляд на Туманяна, увидел и на его неулыбчивом лице что-то вроде улыбки.

— Покуда мы с тобой их окружать да уничтожать собирались, тут у него,— кивнул Кузьмич на Туманяна,— комбат-три сподобился! Ткнулся со своими разведчиками втихую в один дом не то через ход какой-то, не то через подкоп, и туточки вам пожалуйста — командира ихней дивизии в плен взял. Так по телефону донес! Сейчас приведут, посмотрим, какие они из себя, ихние генералы... Может, он всей своей дивизии теперь присоветует, чтоб сдавались? Они же порядок любят. Как так без генерала дальше воевать? Только меня сомнение берет: как это в крайнем доме, на переднем краю — и вдруг генерал!

— А что, разве не бывает, товарищ генерал? — не скрывая иронии, спросил Туманян.

Кузьмич покосился на него и весело шмыгнул носом.

— С нашими бывает, потому что воюем не по закону, а с ихними — нет. Первый случа́й. Хотя, конечно, окружение с людьми все по-своему делает. Я весной сорок второго под Вязьмой два месяца лесами скитался. Считалось, что вошли в прорыв,— а потом выйти не могли. И главное, я скажу, в окружении — даже не харчи. А вот ляжешь в лесу на хвое спать, попьешь водички с размоченным сухарем и думаешь: чем же завтра стрелять будем? Сбросят тебе или не сбросят? Там, в окружении, психология какая у бойца: дай хоть на затяжку махорки да патронов — диск зарядить. А у радиста психология другая: готов от махорки и от сухаря отказаться, только бы ему питание для рации сбросили, чтобы глухонемым не стать.

— А какая, товарищ генерал, у генерала психология в окружении? — улыбнулся Артемьев.

— А у генерала такая психология, что лучше бы меня мама на свет не рожала! Видать, в окружении не был, что спрашиваешь.

— Не был.

— И желаю не бывать.

Плащ-палатка, закрывавшая вход, колыхнулась. Первым вошел Синцов, а за ним — высокий старый немец в шинели с меховым воротником и в зимней суконной шапке. Последним вошел Завалишин и стал рядом с немцем.

Кузьмич мельком взглянул на немца, сбросил с колен полушубок и встал, поморщившись от боли в ноге.

— Товарищ генерал,— делая два быстрых шага вперед, оставляя позади себя немца, сказал Синцов.— Захваченный в плен

командир двадцать седьмой пехотной немецкой дивизии генерал-майор...— Он запнулся от волнения и забыл фамилию генерала.

— Инсфельд,— подсказал сзади Завалишин.

— ...по вашему приказанию доставлен!

Синцова удивило, что Кузьмич стоит и молча с любопытством смотрит на него, а не на немца. Наверное, другой на его месте смотрел бы сейчас на немца, а Кузьмич смотрит на него, Синцова.

— Сам лично генерала взял? Ильин нам так по телефону доложил.

— Так вышло. Сам даже не ожидал. Пролезли с разведчиками по старому минному подкопу в подвал дома, только начали там продвигаться и сразу на четырех офицеров попали. Они руки подняли. А потом... — Синцов, не поворачиваясь, кивнул на немца,— этот со своим адъютантом вышел и тоже сдался. Без сопротивления.

— А точно, что генерал? — спросил Кузьмич и лишь после этого в первый раз внимательно поглядел на немца.

— Вот его документ, тут и звание и должность указаны. — Синцов протянул Кузьмичу солдатскую книжку немца.

Кузьмич взял, коротко взглянул, отдал книжку обратно Синцову и спросил Завалишина:

— Русского языка не знает?

— По-моему, нет. На наши вопросы отвечать отказался, только предъявил документ и заявил, что будет отвечать, когда доставим его к нашему генералу,— сказал Завалишин и повернулся к немцу: — Вир хабен ирэ битте эрфюльт унд зи цу унзерем генерал гебрахт! [1]

— Во ист герр генерал? [2]— спросил немец.

Кузьмич без перевода понял его удивленное восклицание, усмехнулся не обиженно, а, наоборот, удовлетворенно и, расстегнув на один крючок ватник, показав свои генеральские звезды на петлицах гимнастерки, сказал Завалишину:

— Спроси, как, убедился или документы ему предъявлять? Так я этого все равно не стану. Не я у него в плену, а он у меня.

Но задавать этот вопрос не пришлось. Немец сдвинул каблуки, приложил руку к своей егерской шапке и отчеканил имя, звание и должность.

---

[1] Мы выполнили вашу просьбу и доставили вас к нашему генералу.

[2] А где господин генерал?

— А я командир Сто одиннадцатой дивизии генерал-майор Кузьмич, переведи ему,— сказал Кузьмич,— и пусть садится, подвинь ему табуретку.

— Разрешите вернуться в батальон? — спросил Синцов.

— Погоди,— сказал Кузьмич. — Я тебе еще спасибо не сказал.

Он подошел к Синцову и крепко пожал руку.

— Обнял бы тебя ото всей души, да при нем не хочу. Чтоб много о себе не думал. Как ты на этот минный подкоп напал?

— А я знал про него, когда еще в своей старой дивизии был, — сказал Синцов. — Наши саперы вели тогда ход под улицей, с той стороны, к немцам, хотели фугас под ними рвануть, и уже почти довели — вдруг тяжелый снаряд попал и крышу хода пробил. Не у нас в полку было, но вся дивизия знала об этой неудаче.

— Да,— сказал Кузьмич. — То-то командир полка хвалит тебя последние дни, говорит, хорошо воюешь. Теперь понятно, раз места знакомые. Хотя дураку и это без пользы, только умному впрок. Раз действительно генерал,— обратился Кузьмич к Туманяну,— звони Пикину, пусть дальше, наверх, докладывает.

— Сейчас вас соединю,— сказал Туманян.

— А чего меня соединять? Твой полк взял — ты и доноси в свое удовольствие. — Кузьмич повернулся к Завалишину: — Спроси его: как так? Почему у него командный пункт на переднем краю оказался?

Завалишин перевел немцу вопрос Кузьмича и, выслушав ответ немца, сказал:

— Он объясняет, что за эти дни два раза менял командные пункты. А вчера к вечеру потерял связь с частями, ночью пытался восстановить, но люди не вернулись.

— Наша работа,— кивнул Синцов. — Трое было, один — офицер.

— В общем ясно,— сказал Кузьмич,— что довели их вчера до ручки. Переведи ему: раз сдался — гарантируем ему жизнь согласно условиям капитуляции.

— Он говорил, что имеет при себе условия капитуляции, он их знает,— сказал Завалишин.

— А раз знает, мы ему немного погодя радиорупор дадим. Пусть объяснит своим солдатам и офицерам, кто у него еще живой остался, что сидит в плену и им того же желает.

Пока Завалишин переводил это немцу, Кузьмич прислушивался к разговору Туманяна с Пикиным по телефону.

— Ну, чего там?

— Пикин приказал трубку не класть, пока со штабом армии не переговорит.

Кузьмич снова повернулся к Завалишину:

— Какой его ответ?

— Говорит, что раз он отрезан от своей дивизии, то его приказы недействительны, в командование ею вступил начальник штаба. И что попал к нам в плен — говорить по радио отказывается. Если мы считаем нужным, пусть мы сами и сообщим.

— А сколько у него людей в дивизии на сегодня в точности осталось? Навряд ли ответит, но, на всякий случай, спроси. Известно это ему?

Немец отрицательно мотнул головой.

— Скажи ему,— обратился Кузьмич к Завалишину,— что больше спрашивать про это не буду, пущай остается при своей присяге. Скажи: добьем к завтрему всю его дивизию и сами, без него, узнаем, что у них было и чего не стало.

Немец выслушал и пожал плечами. В выражении его усталого, но тщательно приведенного в порядок лица было что-то отрешенное: он перешел черту и за ней, за этой чертой, кажется, уже не думал о судьбе своей дивизии.

— Артемьев, ты, я видел, с «Казбеком» ходил, предложи ему.

Артемьев вынул пачку и протянул немцу.

Немец отрицательно качнул головой и что-то сказал Завалишину.

— Он не курит.

— Ко всему некурящий. — Кузьмич еще раз взглянул на немецкого генерала, отвернулся, сказал, обращаясь ко всем, кто был в землянке: — Перед той войной служил я сверхсрочную в драгунском полку. А шефом у нас был его высочество кронпринц Фридрих-Вильгельм. А наш эскадронный, между прочим, тоже был немец, Гарденберг. И был такой случай: в одно лето этот Фридрих-Вильгельм сделал через границу поездку в наш полк верхом. Мы в Царстве Польском у самой границы стояли. Был смотр, и как сейчас помню его личность: длинный, как жердь, форма гусарская, а сам конопатый, словно мухи на нем сидели. Когда мимо ехал, глаза на нас лупил,— Кузьмич кивнул в сторону немца,— как этот сейчас. Здоровался с нами по-русски. А после смотра приказал раздать рядовым по целковому, а старшим унтер-офицерам — по пять. Так что мне пятерка от него досталась. Он с какого года, спроси,— снова кивнул Кузьмич на немецкого генерала.

— Тысяча восемьсот восемьдесят седьмого,— перевел Завалишин.

— А я с восемьдесят шестого,— сказал Кузьмич,— можно сказать, погодки. — И, словно вдруг перестали существовать и этот немецкий генерал, и все окружающие, надолго задумался над чем-то, чего, наверное, нельзя было высказать вслух.

— Пикин вас к телефону,— нарушил тишину голос Туманяна.

Кузьмич с усилием поднялся и, подволакивая ногу, мягко ступая разбитыми валенками по полу блиндажа, пошел к телефону.

— Спасибо,— сказал он в трубку. — Ясно. — И еще раз повторил: — Ясно, что немедленно! Нам тут с ним христосоваться самим время нет. — И, положив трубку, спросил у Туманяна: — Без своего комбата полдня обойдешься? Можешь ему в награду отпуск дать?

— Если прикажете, за него Ильин останется,— сказал Туманян.

Кузьмич повернулся к Синцову:

— В армию к начальнику штаба генералу Серпилину пленного лично доставишь. На моей машине и с двумя автоматчиками, с теми, с которыми брал его.

— Я языком не владею, товарищ генерал, всего сотню слов знаю,— признался Синцов, хотя боялся, что напоминает об этом во вред себе. Могут перерешить и послать Завалишина.

— А ты вези и молчи. С него допросов снимать нам аккурат не велено. И он пусть помолчит, подумает. Есть об чем. Еще в ту войну небось в господах офицерах был, академии кончал — сперва Вильгельму: «Ваше императорское!», потом Гитлеру: «Хайль!», и вдруг к бывшему унтер-офицеру драгунского полка в плен! Как это понять?

— Перевести ему? — спросил Завалишин, заметивший, как напряженно вслушивался немец в знакомые слова.

— Переводи, что отвезут в штаб армии. А все другое-прочее не для его ушей.

Завалишин перевел. Немец, который встал и продолжал стоять с тех пор, как встал Кузьмич, вдруг быстро и озабоченно сказал что-то Завалишину.

— Просит, чтобы ему была обеспечена безопасность.

— Давайте выводите его,— ничего не ответив на это, сказал Кузьмич, обращаясь сразу к Артемьеву и Завалишину. — А ты,— обернулся он к Синцову,— обожди. Догонишь. — И, когда Артемьев и Завалишин вышли с немцем, посмотрев в глаза Синцову, спросил: — С начальником штаба армии лично знаком?

— Был знаком.

— А я помню, что знаком,— сказал Кузьмич.— Я тебе от него привет передавал. Из окружения вместе с ним выходил, так?

— Так.

— Вот ты и доставь ему немца! — Он обнял и поцеловал Синцова.— А мы тут обратно воевать начнем. А ты не спеши. И обедом начальник штаба угостит — пообедай. И водки предложит с ним выпить — выпей. Заслужил. И к ночи будь, потому что свыше этого отпуска тебе дать не вправе. А замполиту скажи, чтоб теперь же, зараз реляции на бойцов готовил. Если к вечеру сочинит, завтра же всем до единого «Отвагу» вручу!

— Ну и везучий же ты, черт! — сказал Синцову Артемьев, когда немецкий генерал уже был усажен в машину между двумя автоматчиками.— Если б мне кто-нибудь до войны сказал, что Ванька Синцов возьмет в плен немецкого генерала, я бы со смеху помер! Ты не обижайся, но, ей-богу, до сих пор в голове не укладывается! И завидую, конечно! Вот так! — Он провел пальцами по горлу, широко улыбнулся, и у Синцова отлегло от сердца — пропал неприятный осадок от первых слов Артемьева.

Он простился, сел рядом с водителем и поехал, первое время с усилием заставляя себя не оглядываться на немца и продолжая испытывать удивление перед тем, как неожиданно и просто все это произошло.

Что немцы, сидевшие в развалинах этого дома, отрезаны от остальных, Синцов почувствовал еще вчера поздно вечером, когда солдаты убили троих, вылезших из развалин. Договорились с артиллеристами, что они к утру подтянут две батареи на прямую наводку и еще раз как следует дадут по развалинам,— может быть, немцы не выдержат и сдадутся без боя. За последние дни уже несколько раз так бывало. Но все же огонь огнем, а решили ночью, заранее прощупать подходы к развалинам на случай, если артиллерия дела не решит.

Нащупывая подходы, разведчики напоролись на яму посреди улицы. Доложили, что яма какая-то странная, вроде бы с лазом... Синцов пошел туда сам. Прикинул на местности и подумал: а не тот ли это самый, не доведенный до конца, пробитый снарядом подкоп? Лаз расчистили и нашли в нем вмерзшие в землю остатки тел двух саперов, которые были в голове хода в момент, когда его пробило.

С этого все началось ночью, а на рассвете после разведки, в которую Синцов сначала сползал вдвоем, пролезли через ход в развалины уже вдесятером. И, застигнутые врасплох, немцы сдались без единого выстрела.

Все это до сих пор как-то не умещалось в уме. Сколько, бывало, трудов и крови стоил какой-нибудь «язык», сколько людей из-за него лишались жизни! А тут взяли генерала и пять офицеров, не говоря уже о солдатах, и даже волос не упал ни с чьей головы. Вот уж действительно удача!

Артемьев сказал откровенно: не ожидал! «Ясно, не ожидал, я сам не ожидал. А вот взял. Ей-богу, честное слово, взял»,— Синцов даже улыбнулся собственным мыслям и подумал, что хорошо бы поскорей увидеть еще раз маленькую докторшу Таню Овсянникову и рассказать ей о такой редкой удаче. Почему вспомнил о ней? Потому что когда-то скитались вместе в окружении и она больше чем кто-нибудь поймет тебя? А в общем, ерунда, не поэтому. Просто хочется увидеть ее. В конце концов еще не вечер жизни — всего тридцать лет...

Ему снова захотелось повернуться и посмотреть на немецкого генерала: какое у него сейчас выражение лица?

Но, несмотря на все свое хорошее настроение, удержался и только весело спросил сидевших сзади автоматчиков:

— Как там немец, ребята? Не ерзает?

— Не-е, смирный,— сказал один из автоматчиков, и в голосе его была снисходительность. — Может, дать ему закурить?

— Ему уже предлагали — он некурящий.

— А может, он пьющий? У меня во фляге есть немного. А он все время щекой дергает, видать, знобит его.

— Ничего, скоро доедем до места, там, найдут нужным, дадут,— сказал Синцов. — Только следите, чтоб он у вас там не глотнул какую-нибудь пилюлю — и на тот свет!

— У нас не глотнет! — откликнулся второй автоматчик. — Он у нас крепко зажатый.

— А как вы считаете, товарищ капитан,— помолчав, спросил первый,— будет нам всем, например, сегодня награда?

— Это как наверху скажут,— строго ответил недовольный вопросом Синцов.

— А мы не про то, что наверху скажут,— рассмеялся автоматчик,— мы про то, за чем недалеко ходить! Будет от вас старшине приказание нам перед отбоем двойную норму дать по такому случаю?

— А вы как думали?

— А мы так и думаем.

— Значит, как в воду глядите!

Синцов довольно потянулся: самому хотелось сегодня выпить. Выпить, согреться, накрыться полушубком и проспать подряд так часов двенадцать или больше, сколько поспится. Подумал об этом и усмехнулся несбыточности своего желания.

«Дать тебе медаль может и командир дивизии, дать орден — командующий армией... А твердо обещать тебе, комбату, что ты, находясь не в госпитале и не во втором эшелоне, а у себя в батальоне, на передовой, проспишь двенадцать часов подряд,— этого тебе на войне не может обещать и сам господь бог».

— Зайдите сперва один. — Адъютант кивнул на дверь, из которой вышел.

Синцов, сидевший вместе с немцем в адъютантской у Серпилина, увидел, как немец тоже поднимается, и сказал ему:

— Вартен! Зетцен зи зих! [1] — и один вошел к Серпилину.

— Товарищ генерал, по приказанию командира Сто одиннадцатой дивизии генерал-майор Инсфельд, командир двадцать седьмой немецкой пехотной дивизии, в штаб армии доставлен.

Когда Синцов вошел и, закрыв за собой дверь, вытянулся у порога, Серпилин стоял у стола, опираясь на него пальцами левой руки. Убрав со стола руку, он чуть заметным движением плеч подчеркнул, что принимает рапорт. Лицо у него было такое, что Синцову показалось: Серпилин его не узнал.

— Благодарю,— сказал Серпилин все с тем же удивившим Синцова неподвижным, неузнающим выражением лица, сделал два шага навстречу и протянул руку: — Здравствуй, Иван Петрович, вот ты какой стал!

— Что, сразу не узнали, товарищ генерал?

— Из дивизии позвонили, доложили, кто сопровождает. А так, пожалуй, не узнал бы.

— Переводчик явится через пять минут,— сказал за спиной Синцова адъютант.

— Значит, пять минут имеем. Присаживайся.

Серпилин сел сбоку у стола и, подперев щеку рукой, некоторое время молча глядел на Синцова.

— Нет, узнал бы. Скажи откровенно: ты в силах забыть, как мы тогда из окружения выходили?

— Никогда этого не забуду.

— И я не в силах,— сказал Серпилин. — Хочу и не могу. А может, это так и надо, что мы не в силах все это забыть?

Сказал так, словно думал еще о чем-то. Словно был одновременно и близок в своих мыслях к тому, о чем говорил, и очень далек от этого.

— А я вас в первый же день, как в армию прибыл, видел, в пяти шагах.

— Отчего же не подошел?

---

[1] Подождите! Посидите!

Синцов запнулся. Надо было объяснить, что он нечаянно оказался свидетелем тогдашнего крупного разговора Серпилина с командующим, а объяснять это было неудобно.

— Вы заняты были.

— Все равно, зря не подошел. Когда это было?

— Девятого января, накануне наступления.

— Да, накануне наступления... — Серпилин почему-то вздохнул и вдруг, словно стряхнув с себя что-то мешавшее ему, сказал другим, изменившимся голосом:

— Когда командующему по телефону доложил, он сказал: «За первого генерала — орден!» Можешь считать, что уже получил. Поздравляю.

Синцов встал с табуретки.

— Служу Советскому Союзу!

Серпилин показал было рукой, чтоб Синцов садился, но взглянул на часы и сам встал.

— Да, далеко он нас с тобой тогда гнал. — Серпилин кивнул на дверь, за которой там, во второй комнате, сидел немец. — Мертвых жаль. Всех мертвых жаль. А тех жальче всего. Тем мертвым немецких генералов в плен уже не брать. И даже во сне этого не увидеть... Как ты, комбат, сегодня со своей колокольни смотришь, после того как генерала в плен взял,— надолго их еще хватит?

— С моей колокольни трудно судить, товарищ генерал...

— Неверно,— прервал Серпилин. — Об этом как раз без тебя трудно судить.

— По-моему, уже ненадолго.

— А конкретно?

— Дня на два, на три.

— Сколько у тебя в батальоне в строю осталось?

— На сегодня сто девять.

— Не густо,— сказал Серпилин. — На немца у адъютанта расписку возьми. И поезжай. Береги себя по мере возможности, раз, по-твоему, уже только два-три дня осталось.

— Как-нибудь,— сказал Синцов. — Я за то время, что с вами не виделись, уже четыре раза был ранен. Пора на этом остановиться.

Серпилин посмотрел на него внимательно и вдруг спросил:

— Ты какого года?

— Двенадцатого, товарищ генерал.

— Да,— задумчиво сказал Серпилин, и лицо у него снова стало отсутствующим. — Ну, иди.

Пожал руку, повернулся и пошел к своему столу, а когда сел и поднял глаза, Синцова уже не было, в дверях стоял адъютант.

— Где переводчик? Шесть минут прошло.

— Еще не явился.

— А зачем доложил, что через пять минут будет? Как явится, пусть заходит сразу с немцем. И пока немец у меня будет, по телефону не соединяй. При неотложном звонке доложи — буду от тебя говорить. Все.

Посмотрев вслед адъютанту, виноватым движением закрывавшему за собой дверь, Серпилин сел за стол и тяжело вздохнул. Оказывается, даже при встрече с Синцовым ему не удалось вполне скрыть то, что он переживал сейчас сам,— поймал на себе удивленный взгляд капитана.

А сейчас надо было собраться во что бы то ни стало и наконец хотя бы через силу начать думать об этом немце, а не о себе и о сыне, извещение о смерти которого с изложением обстоятельств прислал сегодня утром по полевой почте неизвестный ему батальонный комиссар Чернов, замполит 96-й танковой бригады и, видимо, добрый человек.

Оказывается, сын служил помпотехом батальона в этой бригаде, был смертельно ранен и умер на поле боя.

Обо всем этом сообщалось в письме, и все это было именно так, очень просто, слишком просто, даже, наверное, еще проще, чем писал батальонный комиссар Чернов, словно старавшийся доказать, что его сын действительно пал смертью храбрых. Как будто тут нужны какие-то особые объяснения!

Почти про всякую смерть на войне, кроме слишком уж всем очевидной смерти из-за собственной подлости или трусости, пишут родным, что «пал смертью храбрых»... И так и должны писать. Как же иначе? В общем-то, это чаще всего правда, хотя и мало что объясняющая.

Из письма было ясно, что через неделю после того, как бригаду выгрузили из эшелонов, был первый бой и в самом конце этого первого боя снаряд попал в танк, на котором шел сын, чтобы отбуксировать из-под огня другую, поврежденную машину. Сына вытащили из танка на снег, и он умер через несколько минут, не приходя в сознание, прежде чем ему была оказана первая помощь. Вот и все. Ни что он думал в этом своем первом бою, ни что чувствовал, ни чего боялся, узнать было уже нельзя. Ясно было только одно, что о возможной своей смерти он думал и хотел, чтобы Серпилин сразу узнал об этом, если это случится. Батальонный комиссар Чернов так и писал: «Ваш приемный сын Вадим Васильевич Толстиков перед началом боя просил меня в случае смерти или тяжелого ранения сообщить вам и одновременно с вами его супруге Анне Петровне...»

Анна Петровна... «Прошу вселить на сохраняемую за мной площадь Толстикову А. П. с дочерью Ольгой». Серпилин с механической точностью вспомнил, как сын тогда сидел перед ним, а он писал это заявление. Успел сын перевезти ее в Москву или она все еще живет там, в Чите? Батальонный комиссар Чернов не писал, куда послал извещение жене сына, наверное, считал, что Серпилин знает. А он не знал.

«Что, совсем один хочешь остаться?» — вспомнил Серпилин горький вопрос сына, тогда, в последнюю минуту их встречи. Нет, он не хотел оставаться один, но он все равно не мог сделать тогда ничего другого. У него не было и не могло быть свободы выбора, он все равно обязан был потребовать, чтобы сын шел на войну, а не терся в Москве. И если в его душе, несмотря ни на что, все-таки не умерла любовь к сыну,— она не умерла потому, что сын сказал тогда «да».

Любовь, оказывается, не умерла. А сын умер. Война поступила по-своему и убила сына в первом же бою. Поступила так, словно хотела сделать его, Серпилина, кругом во всем виноватым.

Он подумал, что теперь надо высылать свой аттестат этой женщине и девочке, которых он никогда не видел и которые даже неизвестно где — в Чите или в Москве. И это надо будет узнать прежде, чем выписывать на них аттестат...

И еще подумал: что знает и чего не знает эта женщина про их отношения с сыном?

Батальонный комиссар Чернов написал про смертельную рану, но куда эта смертельная рана, не написал. А когда не пишут, обычно значит — в лицо или в голову, об этом трудней всего писать родным; знал по себе.

Он подумал об этом и увидел входящего в дверь капитана-переводчика и за ним высокого немецкого генерала в кителе с темно-зеленым воротником, с «Рыцарским крестом» на шее и с нашивкой за зимнюю кампанию сорок первого года. У генерала были седые виски, глубоко запавшие глаза и сильно втянутые щеки. Френч был ему заметно широк.

«Голодал»,— подумал Серпилин с оттенком невольного уважения к генералу, разделявшему судьбу своих солдат.

Немец остановился и резко выкинул вперед руку. Левая щека у него нервно дернулась, но он все-таки сделал усилие над собой и заставил себя сделать этот жест, несмотря на положение, в котором оказался. Потом, опустив руку, назвал свое имя, звание и должность.

Переводчик начал переводить, но Серпилин остановил его.

— Переводите только то, что буду говорить я. Я понимаю по-немецки. А если не пойму, скажу. Сообщите ему, кто я, и от

моего имени пригласите сесть. А после этого спросите, почему он позволил себе обратиться ко мне, генералу Советской Армии, с фашистским приветствием?

Немец ответил, что он употребил то приветствие, к которому привык.

Серпилин внимательно посмотрел на него,— это был первый немецкий пленный, который в его присутствии решился на такое приветствие.

— Спросите его о прохождении службы,— сказал Серпилин переводчику.

Немец ответил, что окончил юнкерское училище в 1908 году, первую мировую войну начал командиром роты, а эту — начальником штаба корпуса. Был ранен в зимних боях под Москвой и уехал на лечение в Германию, а с мая 1942 года — командир 27-й пехотной дивизии.

— Спросите, сколько солдат оставалось в его дивизии. — Серпилин не был уверен, что немец ответит. Но немец ответил, что пять дней назад, когда северная группа была отрезана от главных сил и вышла из подчинения армии, в его дивизии по спискам насчитывалось вместе с тылами четыре тысячи шестьсот человек. Но с тех пор были очень большие потери, их практически перестали учитывать. И сегодня он не может точно ответить на этот вопрос. Он просит поверить, что говорит правду — за последние дни, несмотря на доблесть своих солдат, 6-я армия перестала быть армией.

Немец пожал плечами и, чуть подавшись вперед, как бы подчеркнуто отстраняя от разговора переводчика и обращаясь к одному Серпилину, добавил:

— К сожалению, мы, кажется, научим вас воевать!

— А мы вас отучим! — Серпилин повернулся к переводчику: — Переведите ему и спросите, значат ли его слова о шестой армии, что он считает дальнейшее сопротивление бесполезным?

— Да,— сказал немец. — С двадцать шестого января, с тех пор, как северная группа отрезана от южной.

— А почему же, если он так считает, он сдался только сегодня?

Немец ответил, что он сдался сегодня утром потому, что был отрезан и оказался в безнадежном положении. Но части его дивизии обязаны и будут продолжать сопротивление, так как приказа прекратить его пока нет.

«Ну и дрался бы до конца, раз ты такой принципиальный,— подумал Серпилин. — Как доносят, пять офицеров с тобой было, десяток солдат, все вооруженные. Дрался бы, пока тебя не убили,

раз не получил другого приказа. А то выходит, если ты лично оказался сегодня в безнадежном положении, то руки поднял. А все остальные твои подчиненные, отрезанные от тебя вчера, они что, не в безнадежном? У них надежда, что ли, есть? Сволочь ты, фашист!»

Хотя, вполне возможно, этому немцу нельзя отказать в личной храбрости, а все же было что-то сволочное в том, как он, уже пять суток считающий, что сопротивление бесполезно и сам уже сдавшийся, заявляет, что солдаты его дивизии все равно должны продолжать драться и не сдаваться, пока не получат приказа. И как спокойно говорит об этом! Как быстро умыл руки! А от кого его солдаты должны ждать приказа о сдаче?

— Спросите его,— сказал Серпилин резко,— от кого солдаты и офицеры его дивизии должны получить приказ о сдаче, если он, их командир, в плену?

— От начальника штаба, исполняющего мои обязанности,— сказал немец. От него не ускользнула перемена в тоне Серпилина. И он, видимо желая смягчить ситуацию, добавил, что отказался обратиться к своим солдатам с предложением о сдаче не потому, что считает необходимым дальнейшее сопротивление, а потому, что это бесполезно: солдаты и офицеры его дивизии больше не подчиняются его приказам. Если у господина генерала есть какие-нибудь другие вопросы, на которые он в состоянии ответить, он готов это сделать. Сказав это, он довольно долго молчал и ждал.

Серпилин тоже молчал. Очень хотелось сказать этому немцу: «Поздно! Поздно набивать себе цену, поздно отвечать на интересующие нас вопросы, потому что, строго говоря, сегодня этих вопросов уже нет. Только за вчерашний день взято больше тысячи пленных, известен и состав вашей группировки, и номера частей, и размеры голода, и масштабы потерь. И хотя из штаба фронта звонили, чтобы я недолго задерживал тебя, потому что основной допрос будет там, но, откровенно говоря, я не предвижу особой пользы от этого допроса. Сегодня, 31 января 1943 года, все, что ты можешь сказать нам существенного,— это то, что твоя дошедшая до Волги проклятая шестая фашистская армия на краю гибели и погибнет до последнего человека, если не сдастся в самые ближайшие дни. Но это я знаю и без тебя. И знаю лучше тебя. И ты нужен нам не потому, что можешь сказать что-то такое, чего мы не знаем, а потому, что нам важен сам факт взятия в плен первого немецкого генерала на фронте нашей армии. Значит, дело дошло уже и до этого!»

Серпилин молча смотрел на генерал-майора Инсфельда, командира 27-й немецкой пехотной дивизии, и ему казалось сей-

час, что вот этот сидящий перед ним фашист виноват во всем тяжком, что было в его жизни. Виноват и в смерти жены, и в смерти сына, и в том страшном разговоре с сыном там, в Москве, и в том, что сам он, Серпилин, был загнан в лагеря за «пропаганду превосходства фашистского вермахта», и вообще во всем том, что у нас в армии пошло кувырком после тридцать шестого года. Этот немец казался Серпилину сейчас виноватым в том, что фашизм пришел к власти в Германии. А именно с фашизма в Германии все и началось! Именно с него! Испугались мы его, что ли, что стали делать глупость за глупостью, нелепость за нелепостью?..

«А что значит «мы»? Что значит «мы»? — переспросил себя Серпилин. — Нет, я тогда не испугался немцев, я понимал, что они сильны, но я не испугался их, а, наоборот, с самого начала думал о том, что нам следует делать, чтобы все равно оказаться сильнее их. Об этом думал, об этом говорил... Наконец, об этом читал лекции, именно те, за которые меня посадили тогда. Нет, я не испугался. А кто же испугался?.. Испугался тот, кто посадил меня, испугался тот, кто, с одной стороны, боялся знать всю правду о силе фашизма, а с другой стороны, подозревал, что чуть ли не каждый из нас готов склониться перед этой фашистской силой, готов продаться ей. Какое проклятое время мы пережили и во что оно нам обошлось! И как, наверное, этот вот фашист, сидящий сейчас передо мной, торжествовал тогда, в тридцать седьмом и тридцать восьмом году, когда у нас с армией делали, казалось, буквально все, что могло облегчить им победу над нами!»

Еще никогда в своей жизни, в самые тяжелые минуты ее Серпилин не думал об этом с такой силой и яростью, как сейчас, глядя на этого фашиста.

Под напором всех этих мыслей он даже забыл, что немецкого генерала положено накормить и в соседней комнате его ждет обед, о котором заранее дано распоряжение.

Да, это необходимо сделать, прежде чем отправлять его дальше. Но Серпилину была сейчас неприятна мысль — самому сидеть и обедать с этим немцем, как он собирался сделать сначала.

— Обед готов? — спросил Серпилин вдруг приоткрывшего дверь адъютанта.

Адъютант сказал, что все сделано, как приказано, но на проводе начальник штаба фронта. Серпилин пошел к телефону и уже на ходу сказал адъютанту, чтобы третий прибор убрали: немецкий генерал будет обедать вдвоем с переводчиком.

— Почему не докладываете, что пленный у вас? — спросил начальник штаба фронта.

Серпилин замялся: был непривычен врать. Час назад он доложил в штаб фронта, что немца везут с передовой, и сразу же позвонил Батюку, находившемуся в одной из дивизий. Батюк, очень довольный, сказал ему, чтобы немного потянул время: хотел своими глазами увидеть взятого в плен немецкого генерала, «а то потом отправим во фронт, и хрен его увидишь!». Замечание, не лишенное оснований. Но Батюк все еще не приехал, а начальник штаба фронта требовал немедленной отправки пленного.

Серпилин сказал, что, прежде чем отправлять дальше, хочет покормить немца, и, не кривя душой, упомянул о Батюке.

Видимо, начальнику штаба фронта было понятно желание командующего армией посмотреть своими глазами на взятого им немецкого генерала.

— Тридцать минут даю, а больше не могу,— сказал он. — Вернется или не вернется командующий, через тридцать минут отправьте и донесите!

— Будет сделано! — Серпилин понимал, что там, в штабе фронта, по существу, правы.

Немец сидел и ждал, ни на йоту не изменив позы, в которой оставил его Серпилин. Надо отдать должное, у него была хорошая выдержка.

— Переведите ему,— сказал Серпилин,— сейчас он будет отправлен в штаб фронта. Но перед этим приглашаю его пообедать.

Немец выслушал и поклонился.

— А теперь переведите ему, что будет обедать с вами.

По лицу немца было видно, что он настроился на другое. Он поджал тонкие губы и поспешно встал.

— Идите,—сказал Серпилин капитану-переводчику. — В вашем распоряжении полчаса. Не канительтесь.

Немец напряженно стоял, ожидая, что ему переведут слова Серпилина. Но переводчик только сказал:

— Битте...[1]

И показал на дверь.

Немец щелкнул каблуками и вышел.

Глядя вслед ему, Серпилин вспомнил о себе — как шел в сорок первом из окружения через смоленские леса вместе с политруком Синцовым, который теперь взял в плен и доставил сюда этого немца. Шел в опорках, в рваной гимнастерке, и ромб на левой петлице был вырезан из околыша фуражки. Вот таким

---

[1] Прошу...

и попал бы в плен к этому или к другому немцу, если бы в ночь прорыва, раненного в обе ноги, не вынесли на шинели солдаты... А хотя все равно: не попал бы — застрелился, заранее, без колебаний, приготовил себя к этому.

«И все же, несмотря ни на что,— вдруг подумал он,— мог оказаться и в плену, если б не вынесли на шинели: потерял бы сознание, или застрелился бы не до смерти, или еще по какой-то другой случайности, по которой оказались в плену другие люди, наверное нисколько не худшие, чем ты».

Он снял трубку и стал искать Батюка. Из дивизии ответили, что командующий недавно выехал.

«Может не застать немца»,— с досадой подумал Серпилин и вспомнил вчерашнюю вечернюю сводку, в которой говорилось о продолжающемся успешном наступлении и больших трофеях войск Воронежского фронта. Судя по датам и некоторым другим признакам, содержавшимся в письме батальонного комиссара Чернова, сын, наверное, погиб там, на Воронежском.

Да, крутится, вертится бешеное колесо войны, и каждый день кого-то переезжает и теперь переехало его сына в первом же бою. И хотя при желании сын мог оказаться на фронте гораздо раньше, еще год назад, но в том, что он после всего, что было, погиб именно в первом же своем бою, было что-то необъяснимо жестокое, не выходившее из головы...

Затрещал телефон. Из той дивизии, откуда недавно уехал Батюк, сообщили, что взят в плен полковник — командир немецкого артиллерийского полка. Едва положил трубку, как из другой дивизии сообщили, что захвачен квартирмейстер не то армии, не то корпуса: не успели разобраться и, судя по объяснениям, толком не знали, что это за должность —квартирмейстер.

Эти два звонка подряд еще усилили ощущение чего-то огромного, совершающегося на твоих глазах. «Да, понемногу привыкаем побеждать».

Он посмотрел на часы и вновь взялся за телефон. Батюка все еще нет, а немца пора отправлять в штаб фронта.

В дверях появился переводчик.

«Точный»,— про себя отметил Серпилин.

— Товарищ генерал, второе заканчивает, а третье еще не ел. Как прикажете поступить?

— Подождите,— сказал Серпилин и, услышав в трубке голос начальника штаба фронта, спросил: — Товарищ генерал-лейтенант, отправлять к вам немца, хотя и не дообедал?

— Пусть дообедывает, можешь теперь не торопиться,— донесся неожиданно веселый голос начальника штаба фронта. — Обстоятельства изменились. Паулюс со всем своим штабом

Шумилову сдался. Не то шестнадцать, не то семнадцать генералов сразу. Сейчас пересчитывают.

И начальник штаба фронта положил трубку. Видимо, там у них была большая горячка.

Серпилин тоже положил трубку и, впервые усмехнувшись за все это тяжелое для него утро, спросил переводчика:

— Второе заканчивает, а на третье у вас что?

— Компот.

— Пусть ест компот и не давится. Пока он первое и второе ел, наши Паулюса со всем его штабом взяли...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Известие о капитуляции Паулюса за несколько часов распространилось по всей армии.

Таня узнала об этом от своего начальника Рослякова,— он приехал проверить, закончила ли она эвакуацию немецкого госпиталя, где вместо одной ночи застряла на целых пять суток.

Армия захватила восемь таких немецких госпиталей, и Таню подвело знание немецкого. Росляков на второй день оставил ее, сказав: «Ничего, посидите с фрицами, у вас это хорошо выходит».

Кто его знает, как это выходило. Может, и в самом деле лучше, чем у других. Во всяком случае, раненые не голодали — этого она добилась, хотя и пришлось много ругаться, особенно первые двое суток. Снабжать немецкие госпитали заранее никто не планировал, отрывали от себя, а с подвозом было не богато. И все-таки, ругая немцев на все корки: «Пусть подохнут!» — в конце концов выделяли, что могли: видно, уж такая она, русская натура,— приходилось удивляться не только другим, а и самой себе. Она пробовала ожесточить себя, воскрешая в памяти партизанскую жизнь. Но воспоминания о тех немцах, там, в ненавистном немецком тылу, все равно не помогали ей ожесточиться против этих немцев, здесь, в ее госпитале. Госпиталь был немецкий, но она привыкла за эти дни думать о нем как о своем. Так и говорила вслух: «Моим немцам жрать надо», «Моим немцам...» Дожили, называется!

Старалась уверить себя, что эти немцы, у нее в госпитале,— совсем другие люди, чем те, в Смоленске. Да они и в самом деле были другие. Они умирали или поправлялись у нее на глазах, жадно и благодарно ели, стонали или терпели боль, тревожно спрашивали, можно ли будет писать письма из плена, и уже заранее писали их. Были и такие, что показывали фотографии детей, и она не могла заставить себя с ненавистью смотреть на это

«фашистское отродье». И дети были похожи на детей, и лежавшие в госпитале немцы были похожи на людей, и она спорила из-за них со своими, и еще сегодня в последний раз скандалила, уже при эвакуации госпиталя, когда грузили на машины неспособных ходить, а способных передвигаться строили в колонны,— требовала побольше раненых посадить на грузовики и поменьше оставить идти своим ходом.

Но теперь все, слава богу, уже позади: еще вчера, в ожидании общей капитуляции, пришел приказ очистить вблизи передовой резервные госпитальные помещения. Колонны двинулись в тыл с утра, и Росляков, приехавший к шестнадцати — сроку окончания эвакуации, застал хвост последнего грузовика, похвалил Таню, что уложилась в срок, и рассказал, что вместе с Паулюсом сдались не то пятнадцать, не то шестнадцать генералов и войска начали складывать оружие.

— Это у соседей,— добавил Росляков.— А на участке нашей армии пока стреляют.

— Может, до них еще не дошло?

— Кто их знает! — сказал Росляков.— Поживем — увидим. Наверно, злитесь на меня, что обещал заменить мужиком и не заменил?

— Ничего, я под конец уже привыкла.

— Вы, оказывается, тут даже на замполита Сто одиннадцатой шумели, что ваших немцев не по норме кормят! «Откуда ты, говорит, такую отчаянную партизанку на меня напустил? Чуть ли не под пистолетом меня держала: харчи или смерть!»

Таня рассмеялась.

— Да ну, это он шутит. Я, правда, к нему ходила, я и к замполиту полка ходила. Все понемножку помогли.

— Была бы у нас медаль «За милосердие» — пришлось бы представить,— сказал Росляков,— а раз ее нет, представим к «Отваге». Все же одна женщина против восьмисот немцев!

Они уже подошли к его «эмке».

— Ну что, поехали?

— Никаких медалей я не заслужила, даже смешно,— сказала Таня.— Но если действительно согласны доставить мне радость, то знаете что...

— Ну?

Она запнулась и все-таки сказала:

— Оставьте меня до завтра тут. Мне нужно здесь, в дивизии, повидать одного человека.

Росляков посмотрел на нее с удивлением. Не ожидал, что способна на такую откровенность. А вообще-то просьба вполне исполнимая. Все равно он до завтра не имел в виду никуда ее

посылать, заранее так и считал: пусть передохнет после своих немцев.

Таня подняла глаза на молчавшего Рослякова.

— Не беспокойтесь, я точная, к утру, к девяти, буду на месте.

— Боюсь, как бы вообще тут не остались,— пошутил Росляков.

— Не останусь,— сказала Таня,— у них в дивизии пока нет свободных единиц. Я уже спрашивала. Ну как, можно? — И она улыбнулась. — Вместо «Отваги».

— Так и быть, оставайтесь,— махнул рукой Росляков. — До штаба дивизии подвезти? Все равно мимо еду.

И, ни о чем больше не расспрашивая, он ссадил Таню через километр, у штаба дивизии, и поехал дальше.

Штаб дивизии был теперь в том самом подвале, куда пять дней назад Таня приходила к Синцову. Наступали сумерки, и до ушедшего вперед батальона было бы не так просто добраться, но ей сегодня вообще везло. Едва она, проводив глазами машину с Росляковым, направилась к стоявшему у входа автоматчику, как оттуда вышли несколько человек, и один из них — знакомый замполит 332-го стрелкового. Она была у него два раза из-за своих немцев.

— Армейской медицине привет,— сказал Левашов. — Чего еще требуется для ваших фрицев? Куры, яйки?

— Ничего им уже не требуется. Эвакуировала.

— А вы не горюйте, Паулюс-то — небось уже слыхали? — хенде хох! Так что к завтрему новых подкинем, под ваше руководство!

— Спасибо!

— А что — спасибо? Нас, замполитов, например, уже собирали, внедряли, как в предвидении капитуляции с личным составом работать. Еще вчера — убий, и никаких гвоздей, а завтра — пальцем не тронь! Все равно как тормозить на полном ходу. Чуть что — и юзом! Бывайте здоровы, я в полк пошагал.

— В полк? — обрадовалась Таня.

— А как же? — сказал Левашов. — Раз в меня внедрили, теперь я иду внедрять. По нисходящей.

— Можно, я с вами пойду? — спросила Таня. — Хочу повидать капитана Синцова. Помните, я через вас ему привет передавала?

— Все исполнил в тот же день. Я у него частый гость. Боюсь только, как бы его сегодня пьяным не напоили: он у нас с утра именинник. Первого немецкого генерала в плен взял. Лично сам.

Таня не знала, радоваться или огорчаться. Это, конечно, замечательно, что Синцов взял в плен немецкого генерала. Но то, о чем она думала эти пять дней, было слишком серьезно, чтобы прийти и застать его пьяным.

— Неужели правда?

— Что генерала взял? Честное пионерское!

— Нет, вы сказали, что он, наверное, пьяный сейчас. Я никогда не думала...

— Ну и правильно, что не думали. Пошутил. Ему лишняя чарка — как слону дробина. Он знаете как тогда вашему привету обрадовался?

— Правда?

— Что за привычка такая: правда, правда... Были бы мужиком, уже схлопотали бы за это по шее.

— Ну что ж, стукните, раз виновата,— улыбнулась Таня.

— Еще чего! Я свою жену и то не бил. Даже когда, выйдя из госпиталя, с другим нашел, все равно пальцем не тронул. Только по лысине его немного похлопал, а ей сказал: «Иди живи со своим кучерявым». Вот какие бывают в жизни события, товарищ военврач...

— А кто он был?

— Человек, каких много. Я и красивей и моложе его был, но зато он ей обещал, что на войне не умрет. А я не мог.

— А простить ее не смогли? — вдруг спросила Таня.

— А как? Лечь с ней обратно в постель вместо того мужика, которого я по лысине хлопал, а он стоял по стойке смирно, боясь жизни лишиться? Лежать с ней и думать про это?

— Нет, конечно,— сказала Таня.

— А знаете, почему вспомнил? Потому что сегодня, когда о Паулюсе узнал, в первый раз подумал про свою жизнь после войны. — Левашов молча прошел несколько шагов, потом сказал: — Синцов, когда я вашу записку отдал, рассказывал мне про вас.

— Что?

— Как вы вместе из окружения шли.

— А-а,— сказала она и ничего не добавила.

— Можно один вопрос, раз уж заговорили? Между им и вами не было и нет?

— Пока нет.

— Интересная вы женщина. Как думаете, так и говорите.

— А что, это плохо?

— Нет, хорошо.

«А что хорошего? — подумала Таня. — Говорю так, потому что, если это случится, они все равно будут знать: и Росляков,

и этот замполит полка, и тот замполит, там, у него в батальоне... Потому что здесь все равно все у всех на глазах. И ничего в этом нет хорошего. Другое дело, что я не боюсь этого. Когда вместе шли из окружения и он с Золотаревым спас меня, я была просто благодарна ему, и больше ничего. Это мне только кажется, что я уже тогда что-то чувствовала. А на самом деле, хотя невозможно признаться ему в этом, я в первый раз подумала о себе и о нем в госпитале, после того как рассказала ему про смерть Маши. И когда уже уходил, почувствовала, что хочу увидеть его еще раз. А в батальоне, когда пришла и увидела, как он рад мне, поняла, что с нами обоими должно еще что-то случиться. И сколько потом ни думала, ни ругала себя: откуда такая уверенность? — все равно она есть и стала еще сильней, чем тогда, в первую минуту».

Идя сейчас с Левашовым, она с тревогой подумала о том, что раньше не приходило в голову. За эти пять дней там, среди немцев, ее чувство к Синцову выросло и стало другим, чем было. А он? Мог ли он думать о ней? До нее ли ему было? Поймет ли он ее? А если не поймет, то вообще ничего не поймет. И, может быть, даже удивится ее приходу.

— От полка до батальона, так и быть, дам в провожатые своего ординарца Феоктистова,— сказал Левашов. — Будете топать с ним, как Пат и Паташон.

— Спасибо,— ответила Таня.

«Ну что я с самого начала скажу, когда приду туда, к нему в батальон? Поздравлю с тем, что они взяли в плен генерала. А потом? Расскажу, что все узнала ему, как обещала, и оба его товарища живы и поправляются. Он, конечно, будет рад и поблагодарит. А потом? И что это за глупая привычка обо всем думать заранее!» — выругала она себя и вдруг спросила Левашова:

— Как считаете, здесь, у нас в армии, завтра еще будут бои? — спросила, подумав не об армии, а о Синцове, потому что уже несколько дней боялась за его жизнь больше, чем за свою собственную.

— Откровенно говоря, мечтаю, чтоб фрицы сдались,— сказал Левашов. — Видом их смерти, как говорится, насытили свою душу. Я лично, по крайней мере. И нам пора помыться, погреться, привести себя в людской вид. Если и теперь, после всего, не увидим белого флага, солдаты сами себя не пощадят, а фрицев в порошок сотрут. Надоело! Хорошо бы, сразу сдались,— еще раз повторил он. — Только знаете, чего боюсь?

— Чего?

— Тишины. Почему-то думаю: наступит тишина, и спать не смогу. Как на это медицина смотрит?

— Не думала об этом. Я хуже всего в своей жизни спала, когда меня от партизан в город на связь послали. В партизанах — привыкла к оружию. А тут, особенно первое время, из головы не выходило, что фашисты могут в любую ночь прийти, а я — безоружная. Чувствовала себя как голая.

— Каждый по-своему с ума сходит. — Левашов вспомнил о жене и вздохнул. — Вот мы и дошли. Зайдете погреться или сразу дать вам Феоктистова?

— Если можно, сразу.

Когда Таня пришла, Синцов спал.

В большом подвале большого и когда-то, наверное, высокого дома, куда ее привел ординарец Левашова, длинный, как коломенская верста, Феоктистов, она увидела сидевшего за столом у телефона лейтенанта. Когда она вошла, лейтенант быстро встал и пошел навстречу. Он оказался очень маленьким, но строгим,— сразу спросил:

— К кому прибыли?

Она объяснила, что хочет видеть капитана Синцова. Но он так сердито сказал, что капитан Синцов спит, словно не дал бы разбудить своего комбата, явись тут хоть сам генерал!

— А как вы думаете, скоро он проснется?

Строгий маленький лейтенант даже не стал отвечать на это, а спросил, по какому она вопросу. Может быть, он, как начальник штаба батальона, может заменить капитана?

Улыбнувшись его суровости, Таня сказала, что нет, он не может заменить капитана,— она по личному вопросу.

— Тогда садитесь, ждите,— строго проговорил маленький лейтенант. — Раньше чем через два часа все равно не разбужу.

— Правильно. — Таня села. —Как ваша фамилия, товарищ лейтенант?

— Ильин, Николай Петрович. — Он поколебался и добавил: — Можно — Николай.

Но она не воспользовалась разрешением.

— Я посижу, товарищ лейтенант, если не помешаю, конечно.

Он долго смотрел на нее и вдруг улыбнулся.

— Чему улыбаетесь?

— Сам не знаю. Наверно, давно женщин не видел.

— А я у вас уже была в батальоне, пять дней назад. Но вы тогда спали,— вспомнила Таня ту ночь и накрытую полушубком маленькую фигурку рядом с проснувшимся Синцовым.

Ильин посмотрел на нее внимательно, словно что-то сообразил, и позвал:

— Иван Авдеич!..

Откуда-то сбоку, из-за плащ-палатки, вышел Авдеич, спросонок прилаживая на голове ушанку, хмуро покосился на Таню и мягко, по-стариковски приставил валенок к валенку.

— Здравия желаю, товарищ военврач третьего ранга!

— Здравствуйте!

Таня была очень рада увидеть его, потому что он и тогда, когда Синцов отправил его дежурить вместе с ней в госпитале, сначала был такой же заспанный и со сна сердитый. А потом оказался самым добрым человеком, и все у него нашлось: и теплый чай во фляжке, и пшенный концентрат в котелке, и махорка. И главное, он настоял в ту ночь, чтобы она поспала. Смешно было чувствовать себя старшей по званию рядом с этим стариком солдатом. Настоял: «Спи!» И она послушалась и проспала целых четыре часа, как у Христа за пазухой.

По взгляду, которым обменялись теперь маленький лейтенант и Авдеич, Таня почувствовала, что о ней тут не раз говорили, неизвестно только — хорошее или плохое.

— Крепко спит капитан?

— Как убитый. То всегда руки под голову ложит, а тут лег ничком — и как нет его! Будить?

Ильин посмотрел на Таню. И она поняла, что, несмотря на всю свою строгость вначале, если она сейчас скажет: «Разбудите»,— он не одобрит, но разбудит. Но ей, наоборот, хотелось, чтобы он одобрил ее, а главное, стало по-матерински жаль Синцова, когда Авдеич сказал, что он спит не как всегда, а ничком.

— Не надо будить. Я сама устала, спать хочу. Где-нибудь тоже прилягу у вас пока. Если можно.

— Мы бы вам его разбудили,— теперь, после ее слов, Ильин смягчился и счел возможным объяснить, почему не хотел будить капитана,— да уж больно он устал. Прошлую ночь не спал: в операцию ходил, генерал-майора Инсфельда, командира двадцать седьмой пехотной дивизии, в плен взял.

— Я слышала. Как раз с этим и хотела его поздравить.

— Ну и правильно. Действительно, есть с чем поздравить... А потом в полк доставлял, а потом в штаб армии повез. А когда вернулся, с разведчиками пообедал. Двое суток глаз не сомкнул. А спать человеку все же надо. — Ильин улыбнулся. — Неужели мы когда-нибудь опять будем спать, как до войны? Я позавчера ночью заснул у телефона, и знаете, чего мне приснилось? Что сплю, и никто меня не будит...

Таня рассмеялась:

— Теперь скоро все сразу выспимся.

— Похоже на то,— сказал Ильин. — На завтра приказа о наступлении пока не отдано. — И спросил Авдеича: — Где военврача отдохнуть устроим?

— Можно у капитана. Завалишина в полк вызвали, вряд ли скоро вернется.

— Ну что ж, устройте там. Капитан у нас тихо спит, не потревожит вас. — Ильин усмехнулся. —А я, как говорится, в чем душа держится, а когда сплю, стекла в хате дрожат. Может, покушать хотите?

— Нет, спасибо.

Таня хотела скорей увидеть Синцова, а больше ровно ничего не хотела. И спать, как ей казалось, тоже не хотела.

Она прошла вслед за Авдеичем туда, за немецкую пятнистую плащ-палатку, из-за которой он появился. Вошла и удивилась: эта часть подвала была похожа на самую настоящую комнату. Посредине — длинный раздвижной стол, несколько мягких кресел, почти таких же, какие она видела в квартире Нади. На полу — ковер, правда сильно затоптанный, в углу, рядом с буфетом,— широкий продавленный кожаный диван. Ей показалось, что Синцова здесь нет. И только успев удивиться этому, она заметила, что часть помещения отделена еще одной немецкой плащ-палаткой, подвешенной к потолку на загнутом кронштейне; наверно, там, за этой плащ-палаткой, и спал Синцов.

— Генерал-майор ихний, которого взяли, здесь проживал,— объяснил Авдеич. — Капитан на его койке спит. Но койка небогатая, гармошкой складывается и с одним одеялом солдатским. А вы тут прилягте. — Он снял с гвоздя полушубок и бросил его на диван. — Укройтесь.

Сказал и вышел.

Примостясь на диване, она скинула валенки и завернула ноги в полушубок. Очень хотелось сунуть ноги обратно в валенки, перейти комнату, отдернуть пятнистую немецкую плащ-палатку и посмотреть на Синцова, как он там лежит и спит. Борясь с этим желанием, она прислушалась. Синцов правда спал очень тихо. Но ей все-таки казалось, что до нее доносится его усталое дыхание. Ей мешало подойти к нему чувство неловкости перед людьми, которые доверчиво устроили ее здесь, не допуская мысли, что она может разбудить их комбата. Было бы стыдно, если бы кто-то вошел и застал ее стоящей над ним. А ей не хотелось, чтобы ей было перед кем-нибудь стыдно ни сейчас, ни потом...

Она проснулась, вздрогнув еще во сне от резкого металлического щелчка. Спиной к ней стоял Синцов, и рядом с ним, тоже спиной, еще кто-то, высокий. Синцов держал навскидку немецкий автомат и, как ей показалось, почему-то целился в стену.

— Вот поэтому и не взял тебя ночью с собой, что ты, оказывается, владеть оружием еще не научился,— говорил Синцов негромким сердитым голосом. — Трофеи любишь, а стрелять из них не умеешь. У немецкого автомата какая болезнь? Пружина в магазине слабая. Если при полностью снаряженном магазине не стрелял день-два, а потом не проверил, она может подвести — не подать очередной патрон. Как у тебя сегодня. Куда это годится?

— В первый раз, товарищ капитан!

— А для похоронной два раза не надо. Не окажись с тобой рядом Авдеича — сидел бы писал сейчас похоронную твоей мамаше. Веселое дело.

— Не думал, что вам донесут.

— Не донесут, а доложат. Повторите!

— Доложат.

— Вот так! Иди. И скажи спасибо, что не при бойцах выволочку получил. В другой раз не пожалею. Автомат свой забери. Он мне не нужен, тем более грязный.

Высокий взял из рук Синцова автомат и вышел, на ходу обиженно дернув плечами.

Синцов повернулся к Тане и увидел, что она лежит с открытыми глазами.

— Давно не спите?

— Нет, только что. — Она села. — Кого это вы так?

— Нашего Рыбочкина, адъютанта. Беззаветный парнишка, но приходится воспитывать.

Таня улыбнулась:

— Так сказали о нем, словно вам самому пятьдесят.

— А на войне сам себе иногда кажешься старше, чем есть,— без улыбки сказал Синцов и, бросив руку за спину, не глядя подвернув под себя кресло, сел напротив Тани. — Ты даже не представляешь себе, как я рад тебя видеть! — Он крепко стиснул ей руку, кажется, хотел задержать, но отпустил.

Впервые сказал ей «ты». Раньше никогда не говорил. Хотя мог бы давно. Даже когда шли из окружения и когда потом тащил ее с Золотаревым — все равно все на «вы». И он, и она ему: «Иван Петрович». С Золотаревым на «ты», а с ним — на «вы».

Она смотрела ему в лицо и молчала.

— Надолго к нам?

— В принципе отпускная до завтра, до утра.

— Значит, ночуешь у нас при всех обстоятельствах. А утром проводим тебя.

«Да, при всех обстоятельствах... — подумала она. — Обстоятельства простые — взяла и пришла к тебе, и никуда не хочу

от тебя уходить...» Она посмотрела на него так, словно сказала все это вслух.

— Я узнала про ваших товарищей. Они оба живы и поправляются.

— Спасибо огромное! Видели их? — снова перешел он на «вы».

— Нет, узнала через других. Так до сих пор все и сидела со своими немцами. Только сегодня в шестнадцать закончила их эвакуацию и прямо к вам.

— Молодец! — Он снова крепко стиснул ей руку и снова отпустил.

«Ясно, молодец! — улыбнулась она самой себе. — Теперь вижу, что оба хотели этого. А сделала я».

— Скажи мне, который час? — Она наконец тоже впервые сказала ему «ты».

Он посмотрел на часы.

— Двадцать один ровно.

— Хочу умыться. — Она встала, огорченная тем, как мало остается времени.

— А может, вообще хочешь помыться после этого их госпиталя? —спросил он. — Особых условий у нас нет, конечно. Но все же чулан плащ-палаткой завешен, таз дадим и чайник с кипятком — все, что в силах.

Она ничего не ответила, только радостно кивнула, и он, отдернув плащ-палатку в изголовье своей койки, достал из-под подушки и протянул ей полотенце.

— Чистое.

— Что у вас тут готовится? — Она кивнула на стол.

Она только теперь, когда встала, заметила, что на столе кругом стоят приборы — тарелки и кружки, а посредине еще что-то, накрытое газетами.

— Решили немного отметить, что Паулюса в плен взяли и в батальоне у нас тоже сегодня одно событие...

Она уже знала об этом и от Левашова и от Ильина и ждала, что он сейчас скажет ей об этом сам, но он не сказал.

— В общем, собрали понемногу и пайкового и трофейного. Так и так собирались тебя будить, чтобы вместе.

— А я не задержу вас? — спросила она, взмахнув полотенцем.

— Ничего, подождем.

— Я быстро.

Они вместе вышли в соседний подвал. Теперь там за столом у телефона сидел не Ильин, а этот длинный, которого отчитывал Синцов.

Он поднялся и, стоя у стола, с любопытством смотрел на Таню.

— Чего стал, знакомься,— сказал Синцов и, когда Рыбочкин подошел и поздоровался, спросил его: — Где Иван Авдеич?

— Вышел куда-то.

— Я покажу, где помыться. А ты зови Ильина и Завалишина. Будем ужинать.

Синцов пошел вместе с Таней, но в это время затрещал телефон, и Рыбочкин крикнул вдогонку:

— Товарищ капитан, вас!

Синцов вернулся и, беря трубку, кивнул Рыбочкину:

— Сходи, покажи!

«Девятый на проводе»,— услышала Таня, выходя вместе с Рыбочкиным, громкий и, как ей показалось, встревоженный голос Синцова. Услышала и подумала: «Неужели его куда-нибудь вызовут?»

Синцова никуда не вызвали. Когда Таня вернулась, все уже сидели за столом и ждали ее.

— С легким паром! — сказал Завалишин, усаживая ее между собой и Ильиным, напротив Синцова.

Она кивнула и улыбнулась Завалишину. У него было такое же заспанное доброе лицо, как и тогда, в прошлый раз, и те же очки, с одним треснувшим посередине стеклом.

— У вас, можно сказать, настоящая баня. Я даже голову вымыла.

— Настоящую баню для всех и вся подготовим, когда с фрицами закончим,— сказал Ильин,— а пока кто как ухитряется, в зависимости от обстановки и характера. Иван Петров, например,— он кивнул на Синцова,— каждое утро до пояса снегом, а Рыбочкин если через день за ушами потрет — и на том спасибо!

— Ладно тебе! Я его и так сегодня расстроил. — Синцов взял флягу и налил Рыбочкину первому.

Сначала выпили за главное сегодняшнее событие — за пленение Паулюса, а потом, как выразился Завалишин, «за трофеи нашего батальонного масштаба». Рыбочкин, обращаясь к Тане, порывался рассказать на высоких нотах, как действовал при этом командир батальона, но Синцов не дал, так махнул на него рукой, что Рыбочкин на полуслове замолчал. Тане даже стало жаль его: после того, как она слышала выговор, полученный им от Синцова, ей показалось, что Рыбочкин хотел, превозмогая обиду, из принципа отдать должное совершенному без его участия подвигу капитана, а ему не позволили и снова обидели. Она вообще была полна добра к этим людям, которые, как ей казалось, каждый посвоему любили человека, к которому она пришла.

— А теперь выпьем за Таню,— вдруг сказал Синцов, поглядев ей прямо в глаза. — И вы все выпейте за нее, ребята, потому что я ее очень люблю.

И кто-то сказал что-то еще, пока он смотрел на нее, и, кажется, все выпили, и она тоже выпила, не поглядев в кружку, и, пошарив по столу, взяла сухарь и закусила, и сухарь очень громко хрустнул на зубах.

А Синцов все еще смотрел на нее. И лицо у него было молодое и веселое. И она не могла вспомнить, говорил ли он когда-нибудь при ней «ребята» тогда, в сорок первом, в окружении. У нее вдруг навернулась слеза от мысли: почему они не встретились с ним раньше, до Николая, до войны, до всего, что было потом в ее жизни?

— Ты чего? — спросил он и, дотянувшись рукой через стол, мягко, пальцем, смахнул у нее со щеки слезу.

Она ничего не ответила. Она не понимала, что пришедшая ей в голову мысль была глупой и несправедливой. Ей искренне казалось, что тогда, семь лет назад, еще никого не встретив и ни на кого не потратив своих чувств, она была богаче, чем сейчас. Ей не приходило в голову, что тогда, в свои девятнадцать лет, она была гораздо бедней, чем сейчас, когда ей двадцать шесть и когда она сидит напротив него здесь, на войне.

— Зачем сухари грызете? — спросил Ильин. — Шоколадом закусите! Голод, голод, а запас шоколада у генерала под койкой все же был захованный!

— Лучше сначала картошечки,— улыбнулась Таня. — Я ее вот такую, жареную, уж и не помню, когда ела!

— Картошечки так картошечки! — Ильин придвинул ей сковородку. — А полушубок скиньте, жарко!

— Да, правда. — Таня сбросила полушубок на спинку кресла.

— На сегодня нам подвезло,— сказал Ильин. — Печка немецкая, казенного образца и кокс к ней. Будем жить, как паны, жечь без остатка. Как тогда, когда ты к нам в первую ночь в батальон пришел,— напомнил он Синцову.

— Ты вообще тепло любишь,— сказал Завалишин.

— А кто его не любит, дворовая собака и та любит. А экономии не развожу, потому что завтра все равно выгонят.

— Кто выгонит? — удивилась Таня, подумав, что он говорит о немцах.

— Еще не знаю. Кто повыше, тот и выгонит. Или Туманян — он уже прицеливался, спрашивал, как разместились. Или штаб дивизии. Или еще кто. А только нам, грешным, эту квартиру не оставят. Не по чину. А раз выгонят — жжем!

— Он кулак у вас. — Таня кивнула на Ильина и улыбнулась Синцову.

— А начальник штаба должен быть кулаковатый. Все зажимаю на черный день. И боеприпасы, и харчи, и водку — на случай прибытия начальства...

— Про водку врет,— сказал Завалишин. — Зажимает свою собственную. — Он кивнул на кружки. — Небось сам неделю не пил.

— Не понимаю в ней вкуса,— сказал Ильин. — Гораздо больше крепкий чай люблю. А вы?

— А я привыкла за войну. Даже самогон пробовала. У нас его гнали, в партизанской бригаде. Вместо наркоза перед операциями пить давали. А первачом раны обрабатывали.

— Может, еще налить? — спросил Ильин.

— Спасибо, больше не надо. У вас и так тепло.

— Это хорошо, что вам у нас тепло,— вдруг сказал Завалишин. И что-то в его голосе заставило Таню посмотреть ему в глаза.

Оказывается, он не выпил, когда выпили другие, и только теперь поднял свою кружку.

— Мы в батальоне живем между собой по-товарищески, и это, конечно, многое заменяет из того, чего мы лишены. Но не все. Вот вы пришли и сидите с нами, и, хотя мы рады видеть вас у себя, нам в то же время странно на вас смотреть, как будто каждый вынул по фотокарточке и вспоминает... Понимаете, какая история. С чего начал, еще помните?

— Помню.

— Вот за это и пью. За то, что вам у нас тепло,— и нам с вами тоже! — Он выпил и повернулся к Рыбочкину: — А теперь напоследок давай стихи.

— Почему напоследок? — спросил Ильин.

— А потому, что спать пора. Давай прочти,— повторил Завалишин.

— А что?

— Мое любимое, и ничего другого. А если хочешь другое — читай сначала другое, а мое последним.

— Я сразу его прочту,— пожал плечами, кажется, не очень-то довольный Рыбочкин.

— Еще лучше.

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть,
На свете мало, говорят,
Мне остается жить... —

наклонив голову, начал Рыбочкин неожиданно низким, тихим, немальчишеским голосом. Так начал, что Таня даже вздрогнула от тревожной силы этих слов, имевших слишком прямое значение для каждого из сидевших рядом с ней.

Стихи были памятны по школе, она знала их наизусть, но поняла их только теперь, в эту минуту.

Она слушала и смотрела на Синцова; он тоже опустил голову, когда Рыбочкин начал читать, и смотрел перед собой в стол. Она смотрела на Синцова, и ей казалось, что эти стихи относились прямо к нему, ему угрожали, ему напоминали о смерти.

Он сидел неподвижно, слушал, потом поднял голову, посмотрел на Таню и коротко вздохнул, словно хотел сказать ей, что ни она, ни он не могут обещать сохранить друг для друга свою жизнь.

— Вот и все, первое и последнее,— сказал Рыбочкин, дочитав до конца. И лицо и голос у него, когда дочитал, снова стали не мужские, мальчишеские.

— Ну что ж, все так все,— сказал Ильин, вставая.

Все поднялись вслед за ним. Встала и Таня.

— А вы здесь оставайтесь. Комбат вам свою койку уступил. — Ильин показал на завешенный угол. — Чистым уже застелили ее для вас, пока мылись. Будете спать как в раю.

— Вы со мной прямо как няньки!

— Вот именно,— сказал Ильин. — И чтобы у четырех нянек дите без глазу — не допустим.

— А как же... — Таня обратилась не к Синцову, а к Завалишину, потому что в эту секунду ей так было проще.

— А мы с Иваном Петровичем на этом диване валетом ляжем. Не помешаем вам?

— Нет, конечно.

— Мы так и думали,— сказал Завалишин. — Иван Петрович, я сейчас к Чугунову на часок схожу, но ты не пользуйся моим отсутствием, чересчур не раскидывайся, а то приду, двигать тебя будет тяжело.

— А я, скорей всего, еще не лягу,— сказал Синцов.

И это были первые слова, которые он произнес за все время после слов «я ее очень люблю», словно не хотел после них говорить никаких других.

Таня простилась с уходящими и подумала, что Синцов тоже сейчас выйдет вместе с ними. Но он остался и сел на прежнее место. А когда она тоже села напротив него, улыбнулся и сказал:

— Вот так и бросила нас с тобой война друг к другу.

— Ничего не бросила. Я сама пришла.

— Да, конечно. А все-таки бросила. Могли и не встретиться. Ни там, в госпитале, ни потом, у меня.

— Могли и сегодня не встретиться.

— Нет, сегодня уже не могли. Я все эти дни думал, как с тобой встретиться. Только не имел возможности.

Он протянул руки, взял ее руки в свои и долго молчал.

— О чем ты сейчас думаешь? О Маше, да? — бесстрашно спросила она. Потому что все равно, раньше или позже, должна была спросить его об этом.

— Да,— сказал он. — Но я рад, что ты здесь. Я ничего лучшего не мог бы сейчас представить себе в своей жизни.

И это было правдой, хотя он не мог сказать ей всего, что подумал, как почти всегда не могут сказать этого до конца люди, когда думают о таких вещах. Он подумал о Маше и о том, что ему почему-то не стыдно сейчас перед ней. Не стыдно того, что он держит в своих руках руки этой другой женщины, и того, что с нетерпением думает об этой женщине, и думает не только сейчас, когда она сама пришла к нему, а думал и раньше, еще пять дней назад. «Она там умерла, а я тут... — попробовал он упрекнуть себя. — А что я тут?.. Ну, что я тут? Да, я свободен. Глупое слово, но это действительно так. И никому не нужно, чтобы я не был свободен, никому от этого не легче».

— Скажи, Таня, когда мы несли тебя с Золотаревым, кто из нас мог подумать?

Она ответила не сразу.

— Не знаю. Сейчас мне кажется, что я уже тогда немножко думала о тебе, помнишь, когда этот лесник спросил про меня: «Жена, что ли?» Но это, наверно, неправда, ничего я тогда не думала.

— Павлу показалось, что он понравился тебе там, в Москве.

— Это правда,— сказала Таня. — Я даже потом о нем всю дорогу думала, когда ехала к маме. А сейчас просто не представляю себе этого совершенно.

— И ты всегда вот так будешь говорить всю правду, даже когда тебя не спрашивают?

— Тебе — да.

Таня тихонько потянула свои руки, встала, обошла стол, и он услышал, как она там, за его спиной, отодвинула и снова задвинула висевшую на кольцах плащ-палатку.

Он не повернулся.

— Он придет? — спросила она о Завалишине.

— Нет,— сказал Синцов.

Он сидел и ждал. Она подошла к нему сзади и молча обняла его за шею. И он, прежде чем в первый раз в жизни поцеловать ее, сначала поцеловал коснувшийся его губ обшлаг старенькой бумажной гимнастерки, чуть-чуть пахнувший карболкой.

— Я не думала, что ты можешь быть таким грубым,— сказала Таня, смягчая свои слова тихим прикосновением пальцев к его глазам.

Они лежали рядом на узкой складной немецкой койке, за пятнистой немецкой плащ-палаткой.

Он молчал, ему было стыдно. Потом он сказал:

— Я больше никогда не буду с тобой таким.

— А если целый год не увидимся?

— Тогда не знаю. Ты правильно поняла — наверно, поэтому. И еще потому, что вымотался за эти дни и вдруг испугался, что уже ничего не могу. Стыдно об этом говорить...

— Ничего не стыдно. И вообще ничего ни перед кем не стыдно,— сказала она.

— А ты давно одна? — спросил он.

— Полгода. Я потом тебе расскажу.

— Как хочешь.

— Могу и сейчас.

— Как хочешь,— повторил он.

— Нет, сейчас не хочу. Но, может быть, тебе это важно знать сейчас?

— Мне это не важно. И никогда не будет важно. Запомни это раз и навсегда.

Она улыбнулась в темноту этому сердитому «раз и навсегда».

— Говорим, как будто мы с тобой муж и жена.

— А как же иначе,— сказал он.

— Да, может быть, и так,— сказала она. — Если только тебе будет хорошо со мной.

— Мне хорошо с тобой.

— А ты сам еще не знаешь этого, и я тоже не знаю.

Она подумала, что если им и потом будет так же плохо друг с другом, как в эти первые минуты, то она не будет его женой, потому что это бессмысленно. Но она не могла поверить, что им и потом будет плохо, потому что чувствовала к нему такую нежность, которую, наверно, нельзя чувствовать отдельно, без того, чтобы людям не стало хорошо друг с другом. Ей хотелось скорей испытать еще раз, как им будет друг с другом. Неужели правда им опять будет плохо? Но она помнила, как он сказал о себе, что вымотался, и, неподвижно лежа рядом с ним, вдруг спросила:

— У тебя есть завернуть?

Он сначала не понял.

— Что?

— Закурить хочу.

— Есть папиросы.

— А махорки нет? Я больше привыкла к махорке.

— Есть и махорка.

Он достал махорку и оторвал уголок от газеты.

Она свернула самокрутку и, когда он щелкнул зажигалкой, увидела его чуть удивленное лицо.

— Ты еще не привык ко мне. Думаешь, я баба? А я уже давно стала солдатом. А потом уже все другое,— сказала она и подумала: «Боже мой, как все-таки все это трудно! И как я хочу, чтобы поскорей кончилась война! И какое это счастье, что тихо, и завтра, наверное, уже не будет боя, и никто из нас не будет воевать, пока нас не перебросят на другой фронт, может быть, целый месяц, а может, и больше». Она подумала об этом с такой страстной надеждой, за которую в другую минуту жизни сама бы жестоко обругала себя.

— А у тебя волосы еще не высохли.

Она чувствовала, как он дышит ей в затылок, и радовалась, что вымыла голову и волосы у нее чистые и мягкие, хотя и чуть-чуть мокрые.

— Докурила?

— Нет.

— Не кури больше.

— Ладно.

— Дай мне.

Он взял самокрутку, два раза курнул, потом в темноте потянулся через нее рукой и притушил самокрутку где-то внизу, об пол.

— Не бойся,— сказал он, уже не отнимая тяжело легшей ей на плечо руки. — Я больше никогда не буду таким грубым. Никогда. Ты не боишься?

— Не боюсь,— сказала она, стиснув зубы от страха, что им опять будет нехорошо.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Они встали совсем рано. Она еще среди ночи сказала, что в половине седьмого уйдет, иначе не вернется вовремя к себе в санитарный отдел.

— Будет еще совсем темно,— сказал Синцов.

— Вот и хорошо.

Под утро он два раза сквозь сон чувствовал, как она брала и поворачивала его руку и, приблизив к глазам, смотрела на светящийся циферблат часов. А в половине седьмого тихо, на ухо, сказала, что встает, и, когда он в ответ обнял ее, коротко и крепко прижалась к нему и так же быстро оторвалась.

И в ее движении было что-то так твердо решенное, что он

не посмел удерживать ее, а, полежав несколько минут один, тоже поднялся и стал одеваться.

— Где твоя зажигалка? Посвети, я не найду ремень,— сказала она, двигаясь в темноте.

Он посветил и увидел, что она стоит уже одетая, в полушубке.

— Твой ремень на кресле,— сказал он. — Я зажгу «катюшу».

— Еще лучше.

Он подошел к столу и зажег «катюшу». Ее ремень с пистолетом действительно лежал на кресле. Но Таня, взяв его в руки, не стала опоясываться, а положила перед собой на стол, опустилась в кресло и, глядя на стоявшего перед ней Синцова, глубоко вздохнула.

— Если б ты знал, какая я счастливая и какая усталая. Ноги подкашиваются.

— Ну и приляг здесь хоть ненадолго, вот так, одетая,— сказал Синцов, показывая на пустой диван Завалишина. — Не стесняйся. Все равно никто ничего не скажет.

— А я не стесняюсь. Просто мне надо идти. Вот если опоздаю к девяти, как обещала Рослякову, тогда будет стыдно. А так пусть говорят, что хотят. И ты что хочешь говори и что хочешь думай.

— А я сейчас сам не знаю, что думать о тебе,— сказал Синцов и, поколебавшись, добавил: — По-моему, я люблю тебя.

И она, заметив его колебание, чуть не спросила: «А что будешь делать со своей памятью, тоже не знаешь? Или уже придумал?» Чуть не спросила, потому что не могла примирить свое представление о нем с мыслью, что он мог так скоро забыть свою жену.

— Ну вот и посидела,— так ничего и не спросив, сказала она и поднялась.

— Я провожу тебя.

— А ты можешь?

Она не хотела просить об этом сама. Боялась, что ему нельзя по службе.

— Пока могу. До артиллерийских позиций. Возможно, от них пойдут в тыл обратные машины, тогда подсажу тебя и отправлю.

Он подошел и тихо поцеловал ее. Она улыбнулась.

— Так виновато меня поцеловал, словно я ухожу на работу, а ты остаешься тут спать и бездельничать.

— Спать уже не придется. А бездельничать — вполне возможно. Как рассветет — сдадутся наши фрицы, вот и будем бездельничать.

— А ты веришь в это? — Она с надеждой посмотрела ему в глаза.

— В смысле бездельничать, конечно, шутка, так и так будет хлопот полон рот, а что сдадутся — вполне верю. Вчера они уже дрались, можно сказать... — Он так и не подобрал слова, чтобы объяснить, как вчера дрались немцы. — Пошли?

В соседнем подвале за столом спал Ильин, положив на телефон руку, словно больше надеясь на нее, чем на свой слух.

Когда они вошли, он проснулся: сначала пошевелил рукой на телефоне, потом открыл глаза и спросонок качнулся.

— Я пойду провожу,— кивнул на Таню Синцов. — До артиллеристов, до огневых. Буду через тридцать минут самое большее.

— Ясно. — Ильин встал.

— Здравствуйте. — Таня заметила, что Ильин смотрит на нее, шагнула к нему и первая протянула руку. — И до свидания. И спасибо за все.

И Синцов удивился той смелости и внутренней силе, с которой она это сказала. И еще раз подумал, что, хотя их швырнуло друг к другу, прежде чем они сами успели опомниться, он все равно уже любит эту женщину. А Ильин, который, наверно, ожидал, что она смутится сейчас, утром, его присутствия, смутился сам и неловко спросил:

— Как, хорошо у нас выспались?

— Хорошо,— серьезно и просто ответила Таня.

И, не оглядываясь, прошла через подвал впереди Синцова. А когда вышли наружу, остановилась, протянула в темноте назад руку и, найдя его руку, сказала:

— Самой не верится, что я тебя все-таки встретила.

— Как будет дальше? — спросил он.

— Не знаю. Куда нам идти — в эту сторону?

— Да.

Они пошли, и она еще раз молча подумала: «Не знаю». Не о своих чувствах к нему, а все о том же: сдадутся ли немцы или еще будут бои? Если будут, значит, ему опять воевать. И может быть, уже сегодня, через несколько часов. Эта мысль привязалась к ней, как проклятая, в середине ночи и никак не отвязывалась. И в то же время эта проклятая мысль означала, что она счастлива, что у нее есть теперь на свете человек, ее человек, и она смертельно боится за этого своего человека.

— Ты спросил, как будет дальше,— сказала она, отрываясь от этой одновременно и счастливой и несчастной мысли о нем. — Я сделаю все, чтобы видеть тебя. Каждый раз, как смогу.

— И я тоже,— сказал он.

Сказал весело и уверенно, хотя понимал, что за этим так просто сказанным «каждый раз, как смогу» стоит бесконечное число раз «не смогу» — из-за людей, из-за службы, из-за собственного понимания своего долга на войне.

А все-таки как здорово было услышать эти слова! Удивительное это дело — остаться в живых, и встретиться с женщиной, и вдруг почувствовать в полную силу, что́ это значит — остаться в живых!

«Ну и как все-таки все это у нас будет, трезво говоря?» — мысленно остановил себя он.

Но как раз этого сейчас и не хотелось — ни трезво говорить, ни трезво думать. Хотелось просто верить, что все будет хорошо.

Она сказала ему ночью, что с самого начала просила Серпилина послать ее в полк, в санроту. И об этом можно попросить еще раз. Если не в санроту, то хотя бы в медсанбат их дивизии.

Наверно, он был обязан подумать, что работать в санитарном отделе армии безопасней, чем в медсанбате или в полку, но он не подумал. В этой маленькой женщине было что-то такое, что не позволяло против ее воли бояться за нее того, чего она сама не боялась.

Она споткнулась в темноте, и он поддержал ее, не дав упасть.

— Да, ночи в январе длинные,— сказала она. — А хотя сегодня уже февраль.

И он подумал, что в самом деле сегодня первое февраля, значит, пошел уже двадцать третий день наступления.

— Позавчера иду, вижу, лошадь с санями, на санях полковой миномет, а сзади топает солдат. Подошли к развилке, лошадь, смотрю, пошла в одну сторону, а солдат — в другую. Окликнул его, оказывается, заснул на ходу. Вот до чего люди устали.

— И ты тоже,— сказала она, потому что всю эту ночь и все это утро думала только о нем.

Еще подходя к огневым позициям артиллеристов, они услышали, как невдалеке урчит полуторка. Наверно, водитель, пока выгружали снаряды, не хотел выключать на морозе мотор.

Из темноты вышел знакомый Синцову командир дивизиона.

— Богу войны! — сказал Синцов. — У тебя что, порожние машины назад пойдут?

— Сейчас одна пойдет,— сказал командир дивизиона, вглядываясь в малопонятную ему маленькую фигуру рядом с Синцовым.

— Все же, значит, пополнили тебя боеприпасами.

— Все же пополнили. А ты чего?

— Хочу вот военврача,— кивнул Синцов на Таню,— посадить в кабину. Ей в санитарный отдел армии надо.

— До развилки довезут. Пойдем посадим,— сказал командир дивизиона.

Они подошли к полуторке.

— Сажай,— сказал командир дивизиона Синцову и пошел вокруг кузова назад, туда, где слышались солдатские голоса.

Синцов распахнул дверцу кабины:

— Садись.

Таня влезла на подножку и села. Он стоял рядом, совсем близко. Потом, не дав снять варежку, коротко стиснул ей руку и отодвинулся.

— Я закрою, холодно.

Но ей было не важно, что холодно, а важно, чтобы он еще несколько секунд пробыл рядом с ней. И она, поставив валенок на подножку, помешала ему закрыть дверцу.

— Ну вот. — Он нажал на дверцу и не сразу понял, почему не смог закрыть ее. — Ногу же мог сломать тебе!

Она убрала ногу, потому что с другой стороны в кабину уже влез водитель. Синцов захлопнул дверцу со своей стороны, машина рванула и выехала, оставив его вдвоем с командиром дивизиона.

— Чего это ты с утра на огневых? — спросил Синцов.

— Заночевал здесь. С вечера работу с личным составом проводил.

— Насчет чего?

— Чтобы сверхметкий огонь сегодня дали, все живое мертвым сделали...

— Значит, ваши начальники с утра на «хенде хох» не надеются?

— Не похоже,— сказал командир дивизиона. — Боекомплект за ночь опять до полного довели.

— А я вчера, когда о Паулюсе узнал, подумал, что и наши фрицы сдадутся.

— То-то, я вижу, ты мирным настроениям поддался, ночей не спишь, военврачей по утрам провожаешь...

Синцов не ответил. Да, может быть, и поддался.

— Ладно, пошел,— сказал он, помолчав. — Если вас за ночь до боекомплекта довели, значит, и нам с утра накрутку будут делать.

Светало медленно. Пока шел обратно, так до конца и не рассвело. Только кое-где из морозного утреннего тумана вылезали зубцы развалин. Да и шут с ним, что еще не рассвело! По правде говоря, смотреть на все это не хотелось.

Мысли о том, будет или не будет сегодня бой, путались с мыслями о женщине, за которой захлопнул дверцу кабины и

остался опять один на один со своей обычной жизнью — войной.

Ночью с тревогой подумал, как будут расставаться утром, а оказалось все просто. Это она так сделала, что оказалось все просто. И ничего лишнего и глупого друг другу утром не сказали. А ночью он говорил ей много лишнего и глупого. Даже сам удивлялся, считал себя уже неспособным на такую нежность к женщине и на такую благодарность к ней.

Он говорил, а она молчала. Потом сказала: «Какой ты нежный». Сначала сказала: «Я не думала, что ты можешь быть таким грубым», а под утро: «Я не думала, что ты можешь быть таким нежным».

Ничего удивительного. Он и сам давно забыл, каким он может быть — грубым, или нежным, или еще каким-нибудь.

Кто знает, может быть, он с такой силой жег себя все эти полтора года воспоминаниями о жене, что они выгорели дотла. Или это только так кажется сегодня? Он подумал об этом, когда утром запнулся, прежде чем сказать ей: «По-моему, я люблю тебя».

Говоря это, он не вкладывал в слово «люблю» какой-то особенный, необыкновенный смысл, который как бы отделял это слово от всех других и необъяснимо приподнимал над ними. Само по себе это слово в общем-то ничего не значило,— просто он не нашел других слов для того, чтобы коротко сказать ей самое главное: что он уже не может представить себя без нее.

Да, с ними произошло чудо. И он шел и улыбался этому чуду. И так, продолжая улыбаться, вошел к себе в подземелье, увидел сидевшего за столом и пьющего чай Ильина и сел за стол напротив него, все еще не заметив своей улыбки.

Ильин наклонил чайник, молча налил и пододвинул кружку. Ни вчера, когда все это началось, ни сегодня, когда кончилось, он, несмотря на всю свою молодую строгость, не осудил Синцова. За время их совместной службы Синцов всегда был в его глазах безотказным человеком, старавшимся взять на себя больше всех, и когда такому человеку вдруг повезло с бабой, можно сказать, само счастье пришло в руки,— в чем его тут можно упрекнуть? Ровно ни в чем, считал Ильин. Завидно — это другое дело!

Сделав все, что от него требовалось, чтобы оставить комбата вдвоем с этой женщиной, Ильин считал, что имеет право на откровенность с его стороны теперь, когда она ушла.

— Ну, как же у вас с ней получилось? — спросил он, дождавшись, пока Синцов выпил полкружки чаю.

— Все хорошо. Лучше не бывает. Спасибо вам, ребята. — Синцов поднял глаза на Ильина.

И хотя глаза у него были добрые и даже веселые, но было в них что-то другое, удержавшее Ильина от попытки узнать подробности.

— Долей чаю.

— Тогда больше вопросов нет. — Ильин долил кружку. — Пей. Пока тебя не было, Туманян звонил. Вызывает к себе комбатов на девять ровно.

— Вчера всех нас, грешных, вызывали,— сказал Завалишин, вошедший, пока говорил Ильин,— разъясняли, как щадить, если капитулируют, а сегодня вас будут накачивать, как добивать, если упрутся.

— Похоже, что так,— сказал Синцов. — У Ермакова был в дивизионе, им до полного боекомплекта довели.

— Значит, ударим. — Завалишин вздохнул. — А ночью, по совести говоря, уже настроения воевать не было.

— Ну это у тебя не было, а у комбата... — не удержался Ильин.

Но Синцов остановил его, мягко положив ему на запястье свою тяжелую руку.

— Насчет моего настроения, Коля, я уже тебе сказал — оно хорошее. И не порть мне его. Ясно?

— Мне все ясно,— сказал Ильин. — А тебе время выходит являться перед светлые очи Туманяна. Бриться уже не будешь?

— Еще успею,— взглянул на часы Синцов. И, допив последний глоток, снова налил полкружки. — Придется для скорости — чаем.

На совещании у Туманяна командирам батальонов было приказано продолжать активные действия и одновременно готовиться к общему наступлению, намеченному на завтрашнее утро. Из всего этого было ясно, что немцы здесь, в заводском районе, по нашим сведениям, капитулировать пока не думают и ждать этого дольше завтрашнего дня мы не будем.

Когда кончилось совещание, Синцов задержался поздравить своего бывшего соседа Зырянова, которого Туманян два дня назад выдвинул — взял к себе в заместители.

— Быстро ты в гору пошел!

— Быстро под гору катился, теперь требуется быстро в гору идти.

— Даже, откровенно говоря, удивился,— сказал Синцов,— что он тебя перед самым концом боев из батальона забрал.

— А он хитрый,— сказал Зырянов о Туманяне. — Пронюхал,

что командир дивизии прочит меня в замы к Колокольникову, и не дал, сам взял. А насчет конца боев, пока не кончили — еще не конец. Патроны у них еще есть, мины есть, укрытия — будь здоров... Могут, несмотря на голод, еще неделю драться — вопрос воли! Я бы, например, на месте их командования каждого, кто руки поднял, своей рукой уложил и сам последним лег, а не сдался.

— Не каждый так на жизнь смотрит.

— А что за жизнь в плену, что в ихнем, что в нашем! — махнул рукой Зырянов.

— Значит, хорошо, что не все у них такие отпетые, как ты! Паулюс-то с пятнадцатью генералами сдался...

— Слух прошел,— тихо сказал Зырянов,— что ночью в армии Военный совет был, стоял вопрос, как с нашими фрицами быть после того, как Паулюс капитулировал: ждать, пока и эти с голоду лапки поднимут, или добивать? Говорят, только один наш Кузьмич голос поднял — ждать! И ему духу дали.

— К нам придешь? — прощаясь, спросил Синцов.

— Завтра плохо воевать будешь — приду нажимать,— усмехнулся Зырянов,— а сегодня навряд ли потребуется.

Они хорошо поняли друг друга, и Синцов продолжал думать об этом, возвращаясь в батальон и прислушиваясь к редкой стрельбе, доносившейся с переднего края. Что значит «продолжать активные действия», одновременно готовясь к завтрашнему наступлению? Все, снизу доверху, прекрасно понимают, что раз так, то сделаем вид и донесем, как положено, а на самом деле будем беречь себя к завтрему. Просто такая привычка сложилась — сами себя обманываем: раз начали, то считается, что наступаем все время, как заведенная машина. А на самом деле, хотя и не даем себе пощады, а все-таки день на день не приходится, передышки есть и будут, без них на войне не живут. И все умные это понимают, а вот если на дурака нарвешься, тогда, конечно, плохо!

Когда вернулся в батальон и сказал о приказе, почувствовал: мнения об этом разные. Завалишин, кажется, ждал другого — понурился и сказал, что сразу пойдет в роты, говорить с людьми. Рыбочкин, наоборот, был доволен. Второй день переживал, что Синцов не взял его с собой, когда захватывали в плен генерала, и, видимо, надеялся что-нибудь еще совершить завтра, в последнем бою. Ильин при других сдержанно ответил: «Что ж, будем готовиться!» — а когда остался вдвоем с Синцовым, злобно сказал о немцах:

— Не хотят сдаваться, паразиты! — и матюкнулся, первый раз за все время.

Синцов смотрел на свирепо ходившего по подземелью Ильина и вполне понимал его чувства,— сам испытывал то же самое. Сколько раз за последние три недели боев возникало это чувство злобы против немцев, которые сидят, не сдаются, заставляют нас снова и снова идти на жертвы. Про своих в таких же обстоятельствах сказали бы «молодцы!», а про немцев — «паразиты!». И что же еще было сказать о них, если завтра из-за этих паразитов опять идти и класть головы. Сколько — неизвестно, но сколько-то класть! Вчера, когда узнали про Паулюса, в первый момент почудилось, что все выпавшее на твою долю здесь, в Сталинграде, уже за спиной. Если еще не все и не всюду сдались, так через час или два сдадутся. И конец! Тишина. А сегодня выходило, что тишина сама не придет, за ней еще надо идти туда, вперед, где стреляют. А если не идти, а ждать, когда придет сама, тогда все зависит уже не от тебя, а от немцев. И неизвестно, как бы ты сам решил, если бы сказали: «Действуй на свое усмотрение!» Неизвестно, насколько хватило бы нервов топтаться на месте и ждать тишины. Вполне возможно, что, напротив, рванулся бы вперед: будь что будет, только бы оставить за спиной еще один кусок войны, расстегнуть ворот, потянуться, погладить ладонью грудь под гимнастеркой и сказать себе: пока все!

— Видал «В последний час»? Уже листовкой выпустили! — Ильин перестал ходить и взял со стола листовку, в которой было напечатано о пленении Паулюса.

— Видел в штабе полка.

— Факт победы, можно считать, состоялся, а нам еще воевать,— вздохнул Ильин и вдруг спросил: — Что, не дожидаясь завтрашнего, сдадутся, не допускаешь?

Синцов пожал плечами.

— Раз заодно с остальными не сдались, теперь без нового толчка навряд ли посыплются.

— Ну что ж, толкать так толкать,— сказал Ильин. — Хорошо было бы толкать тем, что вначале имели. Сколько можно без пополнения!

— Праздный разговор. Давай еще друг другу пожалуемся. А дальше?

— Дальше воевать будем.

— Жалобы наши, конечно, с одной стороны, законные,— помолчав, сказал Синцов. — А с другой, в последних боях, грубо считая, имеем на каждые пять душ ствол. Никогда еще за войну такой артиллерии не имели.

— Так-то оно так,— сказал Ильин,— да не всюду у нее на горбу въедешь.

И они занялись практическими подсчетами, как и чем им придется в своих, батальонных масштабах завтра толкать немцев.

Утро прошло в хлопотах, а после полудня приехал Кузьмич наградить медалями разведчиков за пленение немецкого генерала. Разведчики, как водится, размещались тут же, рядом со штабом батальона. Они же и не положенная по штату разведка, они же и последний резерв, они же, в случае чего, и охрана штаба. Все — они.

Девяти разведчикам генерал самолично привинтил медали, а десятая осталась в коробочке. Разведчика Цыбенко вчера вечером ранило миной: шел с котелком от кухни, большим осколком выбило котелок из рук, а маленьким — самого по носу. Ранение было с большой потерей крови, но легкое — не дальше медсанбата.

— Нос у него был больно видный, рымский,— усмехнулся командир отделения разведчиков Колесов. — Фриц на его нос позавидовал — укоротил. Теперь Цыбенко не жених у нас больше!

— Ничего,— сказал Кузьмич. — Мне в гражданскую белые всю башку изрубили, как капусту сечкой, а до сих пор бабы заглядываются,— сказал и первый засмеялся своей шутке.

Разведчики уже думали, что все — сейчас отпустит, но Кузьмич поманил еще раз адъютанта и взял у него из рук удостоверение и коробочку.

— А теперь при вас награжу вашего комбата...

Синцов даже растерялся. В первый день наступления за ту, взятую высоту и Туманян грозился представить, и Кузьмич обнимал, а потом не то забыли, не то в армии похерили. На этот раз, услышав вчера от Серпилина, верил, что дадут, но не ожидал, что так скоро.

Когда Кузьмич привинчивал ему орден Красной Звезды, Синцов вспомнил, как получал свой первый, тоже «Звезду», под Москвой, из рук генерала Орлова. Вспомнил даже холодок, когда генеральская рука просунулась под расстегнутую гимнастерку. Так же было холодно, так же стояли у развалин под прикрытием стены, а через полчаса генерала Орлова убило рядом с ним. «Тоже был маленького роста, как Кузьмич,— тянулся, когда орден привинчивал»,— вспомнил Синцов с внезапной тревогой, но отогнал эту мысль: не каждый день так, за здорово живешь, убивают генералов!

После награждения Кузьмич согласился пообедать, но был не в настроении. Водку только пригубил, сидел и молчал, потом вдруг сказал:

— Вот так и живет и живет человек, и дальше жить думает. А судьба ему говорит: нет. Ну что ж, нет так нет... — К чему

сказал, так и осталось непонятным, а спросить было неудобно. Потом спросил: — От вас ни с какой точки не наблюдается, как немцев через Волгу гонют?

Ильин сказал, что Волга у них ни с одной точки не просматривается: ее заслоняют развалины цехов.

— А я до вас у Цветкова был,— сказал Кузьмич. — От него с одной точки в бинокль просматривается. С самого утра ползут через Волгу, как черный змий. Уже много тысяч прошло. Мы наблюдаем, и они наблюдают. — Он повел головой, и Синцов и Ильин поняли, что он имеет в виду немцев, еще стоящих перед фронтом их дивизии. — Видят, а не сдаются. Утром опять в рупора душераздирающие средства применяли, но это им как глухому колокольный звон... Горячего у вас похлебал, а больше ничего не буду. Коли чаю дадите, выпью, да и поеду.

Пока ему заваривали крепкий чай, он сидел и молчал, продолжая думать о своем. Слухи, о которых Зырянов сказал Синцову, были верны. Ночью действительно созывали Военный совет, и на нем стоял вопрос, как быть с северной немецкой группировкой. Ждать или бить? Кто его знает почему, но Батюк первым спросил Кузьмича. Может быть, отвечай он не первым, послушай сначала других, он и заколебался бы в своей правоте и все вышло бы по-другому, но когда Батюк спросил его первым, он сказал первое, что было на уме:

— Для чего на них, дохляков, людей тратить, товарищ командующий? Нам люди и далее пригодятся. Погодим еще немного, пока голод их до ума доведет...

Сказал так, потому что, еще днем узнав о капитуляции Паулюса и считая это концом, приказал дать себе итоговую сводку учета потерь за все время боев. Из этой сводки выходило, что если даже удастся часть своих людей подгрести обратно в дивизию из армейских госпиталей, то все равно надо пополняться на две трети.

С этим в душе и поехал на Военный совет и сказал, как думал.

Батюк ничего не ответил, сразу дал слово следующему. Начали высказываться все другие командиры дивизий, и все предлагали наоборот: не ждать, а потратить сутки на подготовку и ударить.

Сначала Кузьмич надеялся, что его поддержит Серпилин. Но Серпилин тоже не поддержал его, а лишь предостерег других:

— Если кто считает, что ему суток мало, пусть говорит сразу. Подготовиться необходимо безукоризненно, чтобы покончить с немцами одним ударом!

Батюк, заключая Военный совет, не сказал о Кузьмиче ни слова, как будто его и не было. Сказал, что рад проявленному на Военном совете единодушию, и объявил свое решение — наступать второго утром. И, только уже прощаясь с отбывавшими командирами дивизий, негромко и спокойно, при всех, сказал Кузьмичу, как видно, заранее приготовленную фразу: «Обошел вас молчанием только потому, что не хотел позорить ваши седины... Тем более вы с самим Фрунзе служили!»

Но главным для Кузьмича была все же не эта обида, а то одиночество, в котором он оказался на Военном совете. Он ехал обратно к себе в дивизию и мучился этим. Безусловно, двое или трое на Военном совете были из тех, что своего мнения не имеют, заранее смотрели в рот Батюку, но об остальных Кузьмич так не думал, остальные действительно были другого мнения, чем он.

«Как же так,— думал он,— неужели в самом деле устарел, отошел в прошлое или выдохся, волевое начало кончилось? Бывает и так. Вот он на глазах — Колокольников... Считаешь, что людей бережешь, а люди ни при чем, просто уже самого себя не хватает еще на одно усилие».

Сегодня с утра он поехал в полки. Сначала был у Колокольникова и порадовался, что Артемьев за эти несколько дней, не унижая командира полка, все же сумел навести через его голову порядок. Немного успокоившись, поехал к Цветкову, и там вдруг с глазу на глаз с Цветковым вышел разговор, которого от кого, от кого, а от Цветкова не ожидал!

Цветков сначала подробно доложил о всех мерах, принятых им во исполнение приказа о наступлении, а потом спросил каким-то особенным голосом:

— Разрешите, товарищ генерал, обратиться за разъяснением?

— Валяй! — ответил Кузьмич, недоумевая, что такое стряслось с Цветковым.

И Цветков, беспрекословный Цветков, понизив голос, сказал:

— Разъясните мне, товарищ генерал, почему не можем обождать еще три-четыре дня, чтобы людей не терять? Я сегодня лично семь немцев допросил — у них последний рацион пищи кончился. Я всегда все приказы выполнял, товарищ генерал, а сейчас прошу разъяснений. Почему людей сберечь не хотим? После тех боев, через которые прошли, каждый бывалый солдат на вес золота. Какое бы пополнение ни дали, а костяк — они! Как же такими людьми бросаться? Я лично считаю, товарищ генерал, что принятое решение нецелесообразно.

Впервые на памяти Кузьмича Цветков подверг сомнению приказ. А «нецелесообразно» сказал — как выстрелил! В этом и была для него суть вопроса. Пока считал целесообразным, готов

был хоть две собственных жизни за один день отдать, а раз считал, что нецелесообразно, не хотел отдавать ничьей жизни — ни своей, ни чужой.

— У тебя все? — спросил Кузьмич, дослушав до конца Цветкова.

— Все.

— Разъяснений дать не могу. Могу повторить приказ. Повторить?

— Приказ мне известен.

— А известен — так исполняй его,— сказал Кузьмич и ушел от Цветкова.

Сначала хотел добавить: действуй по приказу, но при этом старайся сберечь людей. Но что значило сказать так? Напоминать Цветкову, чтобы берег людей, лишнее. Значит, дать ему понять в другом смысле: что я с тобой в душе согласен и поэтому особо не старайся, не жми. Но что значит — не старайся, не жми? Пусть другие стараются, жмут? Нет, согласен или не согласен с тем или другим приказом, а жить на крови соседа Кузьмич не привык. Безвыходность этой мысли и сейчас, когда он сидел у Синцова, не давала ему покоя.

— Пора поспешать, вы у меня не одни. — Он допил стакан крепчайшего чая и, преодолев заминку, вызванную боязнью ступить на больную ногу, поднялся. — Завтра в эту же пору приду — лично от вас доклад принять, что задачу выполнили.

— Доложим, товарищ генерал! Раз и дальше воевать, надо и дальше первыми быть,— самолюбиво сказал Ильин.

— Это верно,— сказал Кузьмич, не столько отвечая Ильину, сколько собственным мыслям. — Раз есть приказ, то кому-то надоть первым его исполнить. У соседей тоже люди и тоже помирать не хочут. Так или нет, Синцов?

— Так, товарищ генерал.

— А так, то иди и дальше первым.

«Ну что ж, пойдем и дальше первыми»,— подумал Синцов, проводив Кузьмича до машины и вернувшись к себе. Слова командира дивизии настроили его на какой-то радостный, рискованный, обычно не свойственный ему лад. Показалось, что и завтра все непременно удастся, как удавалось все последние дни, и больших потерь, как все эти дни, тоже не будет. И, вполне возможно, завтра в это время все уже будет кончено. Одни сутки всего-навсего.

«Да, вчера и сегодня все заранее отпраздновал сполна,— подумал он, мысленно включая в это и Таню. — А теперь надо добить то, что не добил». Подумал об этом так, словно задолжал кому-то.

День шел своим чередом. Немцы стреляли даже активней, чем вчера. Нервничали и поддерживали в себе дух этой стрельбой. Так и у нас бывало в другие времена.

После обеда Синцов ходил в две роты. Не было ни особых событий, ни потерь. Люди, как можно было понять из разговоров, испытывали примерно то же, что он сам: с разной мерой нетерпения и страха за свою жизнь ждали завтрашнего дня, хотели, чтобы все скорей кончилось, и готовы были ради этого воевать.

Чугунов, хотя и понимал не хуже других все оттенки в приказах и знал, что до завтрашнего дня с него ничего не потребуют, все равно действовал с утра по букве приказа и немножко продвинулся, не потеряв ни одного человека.

Когда Синцов к вечеру вернулся из рот, оказалось, что Туманян все же забрал их вчерашнее генеральское помещение, а их вытеснил в другой, маленький подвал в развалинах того же здания. Впрочем, теперь все это уже не имело значения.

У входа в развалины двое разведчиков топором и саперной лопаткой распарывали полутораметровую «сигару», одну из тех, что немцы каждую ночь сбрасывали своим на парашютах. За последние дни в расположение батальона упало уже несколько таких «сигар». Тело их было из прессованного картона, а наконечник мягкий, алюминиевый, амортизирующий при ударе о землю. Зато картон был такой крепкий, что, вскрывая «сигару», его рубили топором.

Содержимое каждой такой «сигары» было стандартным: бóльшая часть — на выброс: снаряды для немецких малокалиберных орудий, мины, патроны. Но было и кое-что полезное: галеты, колбаса, шоколад, пищевые концентраты.

Днем самолетов не было, и «сигары» не падали. Значит, Ильин зажал «сигару» еще вчера и сегодня дал разведчикам, чтоб вытряхнули из нее себе дополнительный паек по случаю награждения.

— Ногу не отрубите напоследок,— сказал Синцов разведчику, который, прижав «сигару» валенком, наотмашь рубил топором картон.

— Нет расчету, товарищ капитан,— улыбнулся разведчик. — Мне мои подставки еще до старой границы идти сгодятся...

«Да, старая граница...» Синцов вспомнил Гродно. Почти не верилось, что среди всего того ада, который он сам пережил в сорок первом, старуха с годовалой девочкой, бежавшие из горящего Гродно, могли уцелеть на дорогах войны.

Но сегодня ночью Таня спрашивала его про дочь и старалась уверить, что девочка жива, что это вполне возможно. Старуху

вместе с ней могли укрыть, поселить где-нибудь в деревне. Уверяла, ссылаясь на примеры из своей партизанской жизни.

Да, вдруг после войны где-то там, около Гродно, у каких-то неизвестных ему людей найдется девочка, его дочь. Непривычно странно было думать об этом.

«Если будет жива, и мы будем живы, и все будет хорошо — будем после войны все вместе...» — подумал он о дочери, о себе и о женщине, которая ушла от него сегодня утром. Наверное, и она думала о том же самом — что его дочь может стать ее дочерью, когда ночью так горячо уверяла его, что девочка жива.

В новом подвале, где теперь разместились, после того как прежний забрал Туманян, генеральских удобств не было. Но хозяйственный Ильин уже позаботился: у стены поверх набросанной на пол соломы лежал знакомый брезент, содранный еще на второй день наступления с немецкой машины.

На знакомом брезенте, знакомо зажав во сне руками уши, так, словно просил не шуметь, спал в полушубке и валенках Завалишин.

— Старший политрук сказал, чтобы разбудили, если надо,— тихо сказал из угла подвала телефонист.

— А давно спит? — спросил Синцов.

— Минут пятнадцать.

— Я тоже немного подремлю,— сказал Синцов. — Если что, сразу будите...

И лег рядом с Завалишиным на спину, как всегда, закинув за голову руки. У каждого своя привычка спать. Рыбочкин даже карикатуру нарисовал, всех на одном листе, как кто спит,— и себя в том числе.

«Хорошо бы так все и осталось»,— подумал Синцов, в данном случае имея в виду их четверых — Завалишина, Ильина, Рыбочкина и себя, подумал не только о бое, который будет завтра, но вообще о дальнейшем. Чтобы никого не убило и не ранило, но и никуда не брали и не перемещали, чтобы все осталось так, как свыклись.

Он закрыл глаза, и едва закрыл, как услышал тяжелый близкий грохот, глухо смягченный стенами подвала,— значит, все же наши перед темнотой наносят по немцам еще один бомбовый удар. Один уже был с утра. Потом два раза, по часу, била тяжелая артиллерия с левого берега, а теперь снова бомбим — стремимся сделать все, чтобы завтра понести наименьшие потери.

С этим заснул, а проснулся оттого, что над ним стоял откуда-то взявшийся Левашов. Бросил взгляд налево от себя — Завалишина уже не было — и сел на брезенте, намереваясь подняться.

— Лежи,— сказал Левашов. — Я свои дела с Завалишиным обговорил. Зашел к тебе чисто по-товарищески, соскучился.

— Тогда садись. — Синцов спросонок пробовал сообразить, сколько же он проспал.

— Не только сяду, а и прилягу. Нездоровится.

Еще когда Левашов был на ногах, Синцов при слабом свете горевшей в углу у телефона «катюши» заметил в нем что-то необычное, а теперь, когда Левашов лег рядом, увидел, что гимнастерка у него на две пуговицы расстегнута, а шея до подбородка замотана бинтами с высовывающейся ватой.

— Чиряк, что ли?

— Ангина душит с утра,— сказал Левашов тихим, хриплым голосом. — Попросил Феоктистова компресс из водки сделать, а он намотал, постарался сверх меры.

— Зачем же компресс, раз на ногах? Хуже простынешь. Просто потеплее повязался бы, безо всякого компресса.

— Больно ты много знаешь,— сказал Левашов все тем же хриплым, незнакомым полушепотом. — А хотя, впрочем... — Он чему-то усмехнулся про себя и вдруг спросил: — Как теперь думаешь дальше со своей докторшей?

Синцов посмотрел на него с неудовольствием:

— Вроде бы не делился с тобой этим...

— Ты не делился, а я в курсе.

— От кого?

— От Завалишина.

— Не ожидал от него.

— А он не виноват. Так вышло. Она, когда к вам вчера шла, меня встретила, я же ей и Феоктистова дал в провожатые. Не говорила тебе?

— Нет.

— Значит, не считала существенным,— сказал Левашов. — А я, зная, что к вам пошла, спросил Завалишина. А он в таких делах — Иисус Христос... Сам знаешь.

— Мог бы меня спросить,— все еще недовольно сказал Синцов.

— Ты спал, а мне интересно было,— улыбнулся Левашов. — А теперь, раз проснулся, спрашиваю: что дальше?

— Дальше? — переспросил Синцов. — Дальше, когда еще раз встречусь, спрошу, пойдет ли замуж.

— От предложения замуж бабы нынче редко отказываются. А дальше, практически?

— А как практически, еще не решался думать. Судя по ней, будет добиваться к нам, в санроту полка или в медсанбат дивизии.

— А не рано ли судишь по ней? После одной ночи?

— А я не одну ночь с ней провел; я с ней до этого много провел и дней и ночей... Только не в этом смысле.

— Ну что ж,— сказал Левашов,— если так, то вполне возможная вещь, что и выйдет. Если завтра бои закончим, сразу начнется усушка, утруска, переброска туда-сюда... Одни вверх, другие вниз. На одного врача в дивизии всегда вакансия откроется. Это не вопрос. Вопрос в том, чтоб ошибки не вышло, чтобы вдруг потом не оказалось, что стерва...

— Это исключено,— сказал Синцов.

— Я тоже так, когда перед войной женился, думал: исключено,— сказал Левашов. — А потом выяснилось: как раз не исключено. А я оказался дурак безглазый, а еще политработник, людей воспитывал... Да, усушка, утруска,— повторил он. — Возможно, и я в эту усушку-утруску попаду и из полка выскочу, когда новое звание присвоят.

— Если так — жаль!

— Отчасти и самому будет жаль,— сказал Левашов,— а отчасти нет. Говорил вчера с командиром дивизии, что хочу на строевую. Дал мне понять, что если при переаттестации майора дадут, то на заместителя командира полка по строевой не возражает, к Колокольникову.

— А если сразу полк дадут? — спросил Синцов, вспомнив о своем разговоре с ним и с Гурским в первую ночь наступления.

— Навряд ли. Я уже рукой махнул на то, чтобы вверх лезть, лишь бы вниз не посыпаться. Вроде все ничего, а нет-нет да что-нибудь ляпну. А у политработника каждое лыко в строку. От строевика услышат — мимо ушей, а раз ты политработник, тебя за шкирку... А у меня строевая жилка в душе — чувствую ее с самого начала войны. Откровенно говоря, покомандовать полком охота! Вера в себя есть, что пойду на строевую и проявлю свой талант. Глядишь, еще и дивизией покомандую... Бывает же так: судьба у человека одна, а призвание другое!

Левашов помолчал и вдруг спросил:

— О Зырянове какого мнения?

— Высокого. Почему спрашиваешь?

— Рекомендацию ему вчера написал, заново в партию вступает. У тебя не просил?

— А я ж еще кандидат. Сам только в октябре заново вступил.

— Верно. Забыл. Ну ладно, лежи еще, коли хочешь, а я встаю.

— И я встаю, дел еще много. — Синцов сел. — Федор Васильевич...

— Ну?
— Помнишь тот наш разговор?
— Что за разговор?
— А про этого твоего крымского друга...
— Почему вспомнил? Снова появился на горизонте товарищ Бастрюков?
— Не появлялся,— сказал Синцов,— но из головы не выходит. Неужели так и не сообщишь, что он за птица?
— Видимо, пока нет.
— Пока чего?
— Пока характер свой не переменю.
— Неправильно это!
— А я вообще мужик неправильный. — Левашов хрипло рассмеялся и схватился рукой за горло. — Болит, холера...

Провожая Левашова, Синцов вышел из подвала. И когда проводил, простоял несколько минут, не заходя обратно. Небо было на редкость чистое, со звездами.

«Неужели завтра будет солнечная погода?» — подумал он с удивлением, так, словно, пока идут бои, этой солнечной погоды не может и не должно быть.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Мы молчали, а немцы всю ночь до утра то здесь, то там стреляли как припадочные,— наверно, нервы кончались, а предчувствие конца росло. И это радовало, позволяло думать, что сегодня бой действительно будет последний и недолгий.

Уже когда началась наша артподготовка, в батальон пришел Левашов. Пришел, взял за плечо наблюдавшего за разрывами Синцова и хрипло сказал прямо в ухо:

— Сегодня я с вами.

Шея у него была, как и вчера, замотана, а глаза веселые, лихорадочные: чувствовалось, что у него жар.

— Без вас не успеешь соскучиться, товарищ батальонный комиссар,— сказал Синцов в паузе между разрывами. Он был рад, что в этом последнем бою, как и в первом, Левашов опять у него в батальоне.

— Еще успеешь, соскучишься,— улыбнулся Левашов, видимо намекая на то, о чем говорил вчера: что скоро уйдет из полка на строевую.

Артподготовка подходила к концу. Сегодня работала главным образом артиллерия средних калибров, на прямую наводку: ее подтащили за ночь везде, где только можно, впритык. Того глу-

хого, глубокого содрогания земли, которое вызывают близкие удары больших калибров, не было, но кругом все гремело и стукало, а одна батарея лепила по немцам совсем рядом, казалось, у тебя над ухом кто-то все время с треском грызет огромные орехи.

Звуки боя бывают разными: иногда они тяготят, тоскливо капают, как вода в пустое ведро, иногда оглушают несоразмерностью своих масштабов с тем крошечным тихим кусочком железа, который достаточен для смерти человека. Сейчас, во время этой последней артподготовки, в звуках боя было что-то ледяное и звонкое, может быть, оттого, что стоял мороз и с белого морозного неба светило солнце.

Развалины дома, где ночевали прошлую ночь и где за ночь до этого взяли в плен генерала, были всего в двухстах метрах за спиной, а здесь, впереди, где в ожидании будущего броска находились теперь Синцов с Ильиным, Рыбочкиным и связистами, был самый что ни на есть передний край. Он шел на этом участке по развалинам трех крайних домов отбитого у немцев заводского поселка. Впереди лежало метров восемьдесят открытого места, а за ним тянулась избитая снарядами невысокая, метра в два, бетонная стенка, огораживавшая заводскую территорию. Артиллерия продолжала гвоздить по ней и сейчас.

Вчера до вечера немцы прятались там, прямо за стенкой, били оттуда из пулеметов и автоматов.

Возможно, теперь они уже отошли вглубь, к цехам, но это станет ясно лишь через несколько минут, когда роты сделают первый бросок. Все этого ждут. Ждет Чугунов, сидящий тут же, рядом, слева. Он только что высовывался, отдавал какое-то приказание, и Синцов видел его. Ждет вторая рота, залегшая в других развалинах, правее. Ждут пулеметчики, которые будут прикрывать огнем бросок рот. Они еще вчера днем засекали все точки, откуда немцы вели огонь, а ночью дополнительно наблюдали по вспышкам. Второй роте бежать до стенки совсем близко, а здесь, у Чугунова, расстояние побольше. Место открытое, снега почти нет, поверх мостовой намерз черный от разрывов лед. В нескольких местах воронки и разбросанный взрывами булыжник. Прямо изо льда торчит кривой, как вопросительный знак, рельс. И лежит на боку остов сгоревшего трамвайного вагона. Вот и все. Да еще в поле зрения густо лежат немецкие трупы, десятка три. Наверное, еще давно когда-то накрыло здесь залпом «катюш».

Когда роты сделают первый бросок, он, Синцов, со штабом батальона не пойдет с ними сразу, а останется здесь, с прикрывающими атаку пулеметчиками. Если бросок будет удачным, то

и он сразу же вслед за ротами, взяв с собою связистов, перескочит туда, под прикрытие стенки. А если выйдет заминка, тогда — смотря по обстановке. Артиллеристы помогут, еще раз обработают участок прямой наводкой, и снова попробуем. Может, еще и самому придется подняться и вести. Всяко бывает. Хотя сегодня не верится в такую неудачу, кажется, что все получится сразу, с первых минут, даже есть надежда, что, как только оборвется артподготовка, прежде чем бросимся вперед, из-за стенки появится белый флаг, как это, говорят, было два дня назад в центре Сталинграда.

Но своей надеждой делиться пока не с кем, и готовить себя и людей надо не к этому, а к бою.

Когда над ухом один за другим треснули два последних ореха и наступила мгновенная пауза, и в ней свисток, еще свисток, и крики, и люди слева и справа кинулись через открытое пространство к стенке, оттуда не раздалось ни одного выстрела. Люди бежали через открытое место, а немцы не стреляли. Потом вдруг в поле зрения Синцова кто-то упал. «Значит, все же стреляют»,— подумал он, но тут же понял, что солдат просто поскользнулся. И еще один поскользнулся, упал, вскочил и побежал вперед.

Белых флагов не было, но немцы не стреляли. Через три или четыре минуты все, кому было положено сделать это в первый бросок, были у стенки; некоторые залегли за ней, а другие через проломы и дыры уже пробирались на ту сторону. И, не дожидаясь команды, уже снялись с позиций и стали перебегать вперед пулеметчики, когда там, за стенкой, наконец началась стрельба.

Слева, вдали послышались одиночные разрывы «ванюш». «Все-таки до последнего доберегли мины к «ванюшам»,— подумал Синцов и повернулся к связисту:

— Тяни, пошли!

Вылезая из развалин на открытое место, успел заметить, что Ильин и Рыбочкин шагах в пятнадцати левей тоже вылезли и пошли. На ходу обернулся посмотреть, где Левашов. Левашов задержался: отстегивал ремешок у кобуры. Отстегнул и сунул голый наган за борт полушубка.

За стенкой продолжали стрелять.

Поглядев налево, Синцов увидел, как пулеметчики, добежав до стенки с «максимом», протащили его на ту сторону через пролом. Судя по тому, что уже многие наши зашли за стенку, понял, что, наверно, там есть какое-то укрытие,— может быть, прежние немецкие окопы. Подумал об этом, потом, поглядев направо, на

скелет трамвая, увидел на площадке медную ручку. Подумал, что вагоновожатый, когда уходит с трамвая, каждый раз снимает эту ручку, а тут она вон сколько месяцев так и не снятая. Подумал, что до стенки осталось меньше трети расстояния. И больше ни о чем подумать уже не успел. По левой руке ударило с такой силой, что, потеряв равновесие, поскользнулся и упал на правый бок, а когда, опершись об лед автоматом, поднялся и поглядел на левую руку, то не узнал ее. Был рукав полушубка, а ниже ни пальцев, ни рваного белого шрама между большим и указательным, ничего, кроме острых осколков кости, торчащих из залитой кровью обрубленной кисти.

Не выпуская из правой руки автомат, а левую отведя в сторону, словно боялся задеть ею за себя, побежал вперед, к стенке, и остановился, только когда добежал. Остановился, увидел рядом рвавшего зубами индивидуальный пакет Авдеича и сказал зло, со слезами в голосе:

— Добили, гады, руку!

Прислонившись спиной к стенке и почувствовав, как Авдеич взял выше локтя его раненую руку, закусил губу и отвернулся. Знал, какая сейчас будет боль, но еще надеялся, что не закричит от нее. Отвернувшись, про себя отметил, что там, за стенкой, продолжают стрелять, и, глядя на оставшееся сзади открытое пространство, увидел, что там никто не лежит. Значит, кроме него, никого не задело. А через секунду, сначала не поняв, что же это такое, увидел огромного левашовского ординарца Феоктистова, который шел прямо к нему, неся на руках Левашова. Что Феоктистов нес Левашова, ошибиться было нельзя: на том, кого он нес, был желтый левашовский полушубок и черные левашовские валенки. А шапки не было, голова моталась без шапки.

Синцов стоял, прислонясь к стенке, смотрел, как Феоктистов все ближе и ближе подносит к нему Левашова, и, чувствуя, как Авдеич делает с его рукой такое, чего нет сил терпеть, мычал от боли сквозь закушенную губу. А Феоктистов все еще нес к нему Левашова, и донес, и не положил, а посадил на снег у стенки. Но Левашов не сидел, а сразу начал падать на бок, потому что все горло у него было разорвано большим осколком. Из распоротых бинтов и ваты выпирало розовое и серое, и весь полушубок спереди до самого подола был в крови.

Но Феоктистов еще не понимал, что Левашов мертвый, потому что глядел не на его шею, а на его лицо, лицо его было не тронутое, с открытыми глазами. Не давая телу Левашова упасть, Феоктистов сел рядом на снег и, взявшись руками за голову Левашова, стал смотреть веки, как смотрят врачи, когда хотят убедиться, наступила ли смерть.

А Синцов продолжал стоять и смотреть на Левашова и Феоктистова, понимая, что Левашов уже мертвый, потому что ничего другого не могло быть, но все равно еще не допуская мысли, что это действительно случилось.

Стало так больно, что он понял: сейчас не сдержится и завоет как собака. Не дав себе это сделать, отпустив нижнюю губу и заново закусив ее, он зажмурил глаза, чувствуя, как из них льются слезы от боли. И когда зажмурил, думая, почему Авдеич все еще что-то делает с его рукой,— наверное, бинтует вторым индивидуальным пакетом,— вдруг услышал наступившую тишину. Там, у него за спиной, за стенкой, больше не стреляли. Нигде больше не стреляли. Когда Авдеич перевязывал тем, первым индивидуальным пакетом, еще стреляли, а сейчас уже не стреляли. Ему еще перевязывали руку, а он уже слышал тишину. Война в Сталинграде кончилась. Он без руки, а Левашова убили.

Он еще стоял, зажмурив глаза, когда Авдеич перестал трогать его руку и почему-то взял его за голову. И, уже открывая глаза, понял, что это Авдеич перекинул ему лямку для руки.

Когда открыл глаза, увидел прямо перед глазами свою руку, укороченную, замотанную, как лошадиное копыто, даже не похожую на руку.

Почувствовал слабость и, сказав «дай-ка сяду», сел на снег рядом с Левашовым, которого продолжал поддерживать за плечи Феоктистов.

— Да он же мертвый, не видишь, что ли? — сказал Авдеич.

Феоктистов посмотрел на него, словно не понимая, что ему говорят, и попросил:

— Ты подержи его, а я за шапкой схожу.

С такой верой сказал «подержи его», что Авдеич не возразил и, сев у стенки, стал поддерживать голову Левашова. А Феоктистов, не оглядываясь, пошел назад, к трамвайному остову, возле которого валялась на льду шапка Левашова.

— Сонную артерию перебило. А он шапку ищет,— сказал Авдеич.

Через три или четыре минуты прибежал Ильин. Ему сказали, что убили замполита полка и ранили комбата, и он, узнав это, вернулся оттуда, из-за стенки, бросив все. А как это произошло, в горячке не заметил, потому что бежал тогда вкось, в другом направлении, и сразу, как добежал, заскочил за стенку вместе с Рыбочкиным.

Он объяснял все это сейчас, словно был виноват в том, что не сразу заметил. Объяснял Синцову, а глядел на Левашова,— не мог оторваться.

Феоктистов принес шапку, но уже не придерживал Левашова: все понял. Они с Авдеичем положили мертвого на снег у стенки. На голове у него была теперь шапка, а из-за отворота полушубка торчала ручка нагана. Левашова нет, а наган так и не вывалился.

— Вот добили руку,— сказал Синцов Ильину то же самое, что уже сказал Авдеичу.

Было обидно, что добили ту самую руку, из-за которой столько переживал, спорил, чтобы остаться в строю, которая так долго давала себя знать, пока заживала.

— Товарищ капитан, часы возьмите,— сказал Авдеич.

Синцов сначала не понял, потом посмотрел на протянутую руку, в которой лежали его часы с черным циферблатом и светящимися стрелками, и понял, что Авдеич, когда перевязывал его, не забыл, снял часы. Но понял не только это, а и то, что, протягивая ему сейчас, безотлагательно, эти часы, Авдеич, может и сам не желая, напоминал ему, что он, Синцов, прощается с батальоном. А батальон с ним. Он уйдет от них в госпиталь, и эти часы будут нужны ему там, где он будет уже один.

— Ходят? — спросил Синцов.

— Ходят.

Взяв часы, он отогнул полу полушубка, сунул их в карман штанов и, находясь во власти мысли, которая теперь уже не могла его покинуть, сказал Ильину:

— Будем считать, что сдал тебе батальон.

— Ясно,— сказал Ильин.

— Как там?

— Сдаются. Выползают с простынями, с полотенцами. Колоннами уже начали выходить. Я Рыбочкина там, впереди, оставил. И Завалишин там: с немцами говорить пошел.

— И ты иди,— сказал Синцов. — Получше обыскивайте их, чтобы оружия не оставалось.

— Много их. Всех не обыщешь.

Синцов поднялся и, чувствуя, что силы еще не потерял и ходить может, дошел вместе с Ильиным вдоль стенки до первого пролома. Действительно, вдали, у развалин ближайшего цеха, виднелась целая колонна немцев с большим белым полотнищем впереди, а вторая колонна, пересекая двор, вытягивалась из другого цеха.

— Смотри, сколько их! — удивился он. — Ну, иди. Дел у вас будет сверх головы. А я в медсанбат.

— Санвзвод с волокушами по приказу должен быть прямо за нами, в трехстах шагах,— сказал Ильин.

— Волокуши не потребуются. Мы с Иваном Авдеичем сами дойдем.

— Я тебе Рыбочкина пришлю.

— Не надо Рыбочкина,— сказал Синцов. — Мы дойдем.

Ильин посмотрел на него и вдруг строго, уже как прямой начальник, обратился к Авдеичу:

— Доставьте капитана не до медсанбата, а до госпиталя. Вернетесь и доложите мне, чтоб мы все точно знали и посетить могли. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант. Чего ж тут непонятного?

Ильин еще раз посмотрел на лежавшего у стены Левашова и свирепо хлопнул руками по полам полушубка:

— Шестистволка, так ее растак!.. Такого человека убили!

— Ругаться поздно,— сказал Синцов. — Лучше напиши с Завалишиным реляцию, что до последней минуты жизни был с нами. Может, хоть посмертно чего дадут.

— Напишем. А проку что? На могилу орден вешать?

— Все же. Ради близких,— сказал Синцов и, вспомнив, добавил: — Хотя он мне говорил, что у него никого нет.

— Сейчас доложим и в полк и в дивизию,— сказал Ильин. — Скоро все сюда набегут. О себе теперь беспокойся.

— Ладно, командуй, мы пошли. — Синцов на прощание обнял Ильина здоровой рукой. Потом, сделав шагов десять, оглянулся.

Ильин, все еще стоявший над Левашовым, поднял голову и крикнул:

— Завтра навестим, жди!

Так Синцов во второй раз сдал батальон Ильину. На этот раз навсегда.

По дороге в санвзвод Авдеич утешал — что почти вся кисть осталась, только пальцев нет, да и то у большого вроде нижняя фаланга целая.

Синцов молчал — говорить не было ни сил, ни желания. Только когда подошли к подвалу, где сегодня ночевали, приказал Авдеичу зайти забрать вещевой мешок. Авдеич ушел, а Синцов остался на воздухе, боялся спускаться вниз: еще заденешь там в темноте обо что-нибудь рукой.

Стоял и ждал. А небо было чистое, как и в начале боя. Была тишина, и светило солнце, а он отвоевался. Неужели отвоевался? Видимо, так. Отвоевался, когда, по сути, все уже решилось...

Авдеич вылез из подвала с вещевым мешком, и они пошли дальше.

Уже почти дойдя до сапвзвода, встретили Пикина.

Рядом с Пикиным шагал полковой комиссар в белом полушубке, который увез тогда из батальона флаг. Шагал резво, даже забегая вперед длинноногого Пикина,— наверно, спешил увидеть капитулировавших немцев. Теперь всем интересно, теперь кто и ни разу не был, на бывший передний край полезет!

Не дойдя трех шагов до Пикина, Синцов приложил руку к ушанке. Пикин тоже откозырял и остановился.

— Что с вами, комбат? Какое ранение?

— Пальцы оторвало.

Пикин поморщился, даже крякнул от досады.

— А мы с полковым комиссаром как раз к вам в батальон идем. Донесли, что вы много офицеров в плен взяли. А что вас ранило, еще не донесли. Перед другими полками вообще без выстрела руки подняли, как только артподготовка кончилась.

Синцов пожал плечами.

«Кто его знает, почему там подняли, а не у нас. И почему не донесли — неизвестно. О хорошем вообще быстрей доносят, чем о плохом... О Левашове, значит, тоже еще не донесли...»

— Кому батальон сдали?

— Ильину.

— Какие потери в батальоне?

— Насколько знаю, кроме меня, раненых нет.

Обязан был сказать про Левашова, но не сказал: не захотел говорить при этом толстомордом в белом полушубке, которого так, от всей души ненавидел Левашов. Через пять минут сами все узнают.

— Да,— сказал Пикин,— не повезло, в последние минуты. Сочувствую. — Он протянул на прощание руку. — Доложу командиру дивизии, что видел вас. Навестим. Постарайтесь, чтоб медики не увезли за пределы армии.

— Постараюсь. — Синцов так и не понял, серьезно или в утешение сказал это Пикин, потому что раз оторваны пальцы — значит, вчистую, и какая теперь разница, увезут тебя медики за пределы армии или не увезут.

Рука болела так, словно в нее беспрерывно, один за другим заколачивали гвозди. Он из последних сил прибавил шагу.

В медсанбате перед чисткой раны дали полтораста граммов водки, и когда Синцов сел после этого в кабину санитарного автобуса, везшего в госпиталь немногочисленных сегодняшних раненых, то, чуть-чуть отойдя от боли, почти сразу уснул.

А проснулся оттого, что автобус не двигался. Машина стояла, и было в этом что-то тревожное, заставившее проснуться. Машина

стояла, но что-то шуршало и двигалось, что-то происходило совсем рядом, за ее бортом.

Синцов открыл глаза, посмотрел через закрытое стекло кабины и увидел колонну немцев, идущих в строю по четыре мимо машины, обгоняя ее и шурша плечами по кузову.

Неизвестно, почему стояла машина. Водителя не было. Наверно, пробка: впереди видны другие машины. А немцы идут и идут по обочине впритирку к борту.

Синцов через стекло видел их — их плечи, их лица, их шапки, их шинели с поднятыми воротниками, их головы, обвязанные платками и тряпками поверх пилоток, их исхудалые небритые щеки и иногда их глаза, смотревшие в его сторону, внутрь кабины.

Шли пленные, безоружные немцы. Много, очень много немцев. Всего несколько часов, как наступила тишина, а их уже построили в колонны и гнали в тыл. И они шли, спотыкаясь и падая. Синцов видел, как кто-то упал, его приподняли под мышки и повели. Потом наступил перерыв, показалось, что все немцы прошли. Но это только показалось: через несколько минут о борт уже терлась плечами новая колонна. Во главе ее шло несколько офицеров, тоже изможденные, небритые, худые, в пилотках и меховых шапках с опущенными ушами. А за ними опять солдаты, солдаты...

В машину поспешно влез водитель, захлопнул дверцу и нажал на стартер. Теперь уже не немцы шли мимо машины, машина мимо них — долго, километр или полтора, и Синцов все смотрел на них, не в силах оторваться: неужели мы их столько взяли?

Когда наконец обогнали голову колонны и выехали на чистое место, водитель сказал:

— Отвоевались, товарищ капитан.

Синцов повернулся, подумав, что водитель имеет в виду его, но по выражению лица солдата понял, что тот говорит не о нем, а о немцах, мимо которых только что проехали.

— Да, отвоевались,— сказал Синцов вслух о немцах и подумал о себе: «А я?» Да, и ты тоже отвоевался. И все это уже в прошлом: и назначение в батальон, и вопрос Пикина «как, справитесь?», и твой ответ «справлюсь», и первое знакомство со всеми, вместе с кем пришлось воевать, и хмурый Туманян, и уже неживой теперь Левашов, и Рыбочкин с его стихами, и «декабрист» Завалишин, и Ильин, принявший вместо тебя батальон. Все позади: и первый бой, и последний, и все, что было между ними. А впереди только госпиталь под номером сто пятьдесят три.

Номер этот записан и дан Ивану Авдеичу, которого, несмотря на его возражения, не взял с собой дальше медсанбата, обнял, расцеловал и не взял. И Иван Авдеич теперь тоже там, позади,

наверно, топает обратно в батальон, а может, уже и дошел. Вещевой мешок со всем твоим имуществом и с несколькими без твоего ведома запасенными банками консервов удобно пристроен в кабине, у тебя в ногах — последнее, что Авдеич успел и смог для тебя сделать.

Хотя нет, неправда! Еще одно может сделать и сделает. Когда прощались, попросил его, чтобы, если в батальоне снова появится военврач Овсянникова, рассказал ей о ранении в точности, не прибавляя и не убавляя, и дал номер госпиталя. На секунду подумал: хорошо, если бы она была рядом там, когда ранили. И сразу же отмахнулся от этой мысли: не дай бог!

Сейчас, когда обогнали колонну немцев, он, перестав на них смотреть, опять почувствовал в руке незатихающую боль. Вынул из ватных брюк часы и, как во сне, услышал Танин голос под утро: «Мне пора».

Неужели все это было той, прошлой ночью, с которой не минуло еще и полутора суток? И она была у него, и брала, и поворачивала его руку, и смотрела на эти черные со светящимися стрелками часы, которые ему вдруг захотелось сейчас подарить ей на память, чтобы носила. Только когда он ее увидит, вот в чем вопрос. И вообще, как все будет теперь у них? Он не подумал сейчас о себе, как о человеке, потерявшем руку и поэтому обязанном заново взглянуть на свои отношения с женщиной. Наверно, было что-то такое в Тане, что не позволило ему подумать об этом. Он просто подумал, что теперь у них все окончательно запуталось: что с ним будет и куда он попадет после того, как вылечится? Что будет для него возможно и что невозможно, где будет он и где окажется она?

Его снова охватила ярость: за пять минут до тишины! Из всего батальона одного тебя! Да, выбыл из строя. Как-никак шестое ранение, пора и честь знать. Война угощает, не скупится.

Попытался думать об этом спокойно, хладнокровно, не теряя здравого смысла, но из этого ничего не выходило. Что-то мешало представить и себя без войны, и войну без себя, и никакой здравый смысл тут не помогал.

Он отчетливо вспомнил то место, где для него все кончилось,— покрытую черным льдом площадь, изогнутый вопросительным знаком рельс слева, остов трамвая справа и бетонную стенку впереди.

Интересно, где похоронят Левашова? Когда-то Левашов клялся, что добьется и похоронит Героя Советского Союза комбата Поливанова в Сталинграде, на площади Павших борцов. А где теперь похоронят его самого? Конечно, такому человеку, как он, постараются отдать должное. Похоронят с салютом, с

представителями от всех батальонов, и временный памятник сделают сегодня же или завтра. Может, там же, у этой стенки, будет заводской сквер или еще что-нибудь? А может, вообще ничего не будет на этом месте — ни скверов, ни заводов? Сровняют после войны с землей все развалины и начнут строить новое на новом месте!

Утром сказал Левашову: «Без вас не успеешь соскучиться!» — и не выходит из головы, что зря сказал, накаркал. Наверно, всю жизнь будешь об этом вспоминать. А жизнь у тебя, если уволят вчистую, теперь долгая.

А с этим полковым комиссаром, который бежал там, в Крыму, так и не довел до конца Левашов, унес в могилу. А тот живет и здравствует, и никто уже теперь не докажет, какая он сволочь!

— Ничего нельзя откладывать в жизни, а тем более на войне. Ничего!

Сказал громко, вслух — водитель даже повернул голову. Сказал так, словно у него еще была возможность спорить с Левашовым.

Левашов говорил, что у него никого нет. А раз никого нет, то кто же будет помнить о нем? Ну, я буду помнить. Да, я буду помнить, сколько буду жить. А Ильин не будет помнить? Будет. И Рыбочкин будет помнить, и Туманян, с которым они ругались, тоже будет помнить. И Феоктистов будет помнить. Хотя он говорил, что у него никого нет, все равно его будет помнить гораздо больше людей, чем некоторых из тех, у кого остаются на свете и жена, и дети, и разная другая близкая и далекая родня...

— Опять нагнали, ты смотри! — удивился водитель.

И действительно, они нагнали еще одну длинную колонну пленных. Она шла медленно, сползая с дороги вправо, проваливаясь в снегу; немцы падали, поднимались, цеплялись друг за друга, снова падали. И в том, как они шли и падали, и как поднимались, и как уже не смотрели в сторону, на теснившие их с дороги машины, чувствовалось отчаяние и перешедшая все границы усталость.

«Да, вот они, те самые немцы»,— подумал Синцов. Несмотря на жалкий вид каждого из них по отдельности, зрелище еще одной бесконечной немецкой колонны снова вызвало в нем глухое чувство торжества, пробившееся сквозь боль и подавленность от непоправимости своего ранения.

Пробка, в которой задержалась санитарная машина, возникла по вине Серпилина. Возвращаясь из заводского района Сталинграда в штаб армии почти в то же время и той же дорогой и

обогнав длинную колонну пленных, он остановил свой «виллис» в голове и задержал двигавшиеся сзади грузовики. Проверив у лейтенанта, начальника конвоя, какое им дано направление, он снова сел в машину и приказал адъютанту взять на заметку: надо позаботиться о маяках на дорогах, чтобы колонны пленных не вышли к ночи прямо в расположение разных тыловых частей и не получилось стрельбы и других кровавых недоразумений.

То, что пленных, не теряя времени, поспешно вытаскивали из развалин Сталинграда, было, конечно, верно, но с тем, куда и какие колонны вывести к ночи, и где они будут ночевать, и где их кормить сегодня и завтра утром, пока творилась неразбериха.

За всю войну еще никогда не брали такого количества пленных. И вообще до самого конца, пожалуй, не представляли себе истинных масштабов собственной победы над немцами. «А может, и сейчас не представляем»,— подумал Серпилин, глядя на еще одну, уже шестую по счету, колонну пленных, которую догнал его «виллис».

Сегодня с утра он был не в штабе, как обычно, а вместе с Батюком и Захаровым на вынесенном вперед временном командном пункте. Командирская жилка, как ни приглушай ее в себе на штабной работе, все же дала себя знать: последний бой, сердце не камень — хотелось быть поближе к нему!

Захаров уехал с командного пункта на передовую сразу, едва рассвело. Батюк дотерпел до первого телефонного звонка: «Сдаются!» — и тоже уехал вперед, и Серпилин остался один за всех. Но когда вскоре раздался звонок комдива 83-й полковника Кортунова, что на его участке командир немецкого корпуса согласен капитулировать только генералу, пришлось выехать и Серпилину. Он приказал сообщить о возникшей ситуации Батюку и Захарову туда, где они находились, и через полчаса уже пробирался на своем «виллисе» через бывшую нашу передовую и бывший немецкий передний край.

Пренебрегая опасностью, потому что все равно уже никто на свете не знал, где в этой многослойной каше лежат наши и немецкие мины, кто, когда и куда их насовал, он благополучно доехал на машине до развалин громадного заводского цеха, в подвале которого сидел штаб немецкого корпуса.

Обстановку Серпилин застал довольно своеобразную. Разоруженных немецких солдат во главе с командирами батальонов и рот уже выводили с заводской территории. Около цеха на дымном снегу топтались несколько десятков тоже обезоруженных немецких офицеров — штаб корпуса. Но командир корпуса и еще два генерала с адъютантами и охраной по-прежнему сидели в подвале.

— Мы их там, конечно, блокировали, товарищ генерал,—

сказал встретивший Серпилина командир дивизии полковник Кортунов, немолодой, небритый, усталый и очень злой на немцев, не желавших ему сдаваться. — Я бы вообще с ними долго не разговаривал, я бы их... — Он остановился, не в состоянии высказать всего, что чувствовал. Но это было и так понятно Серпилину. Ни полковника Кортунова, ни его людей не остановила бы фанаберия немецкого командира корпуса, который одному сдаваться желал, а другому не желал. Рванули бы пяток гранат и оставили бы от него и всех, кто с ним, одно воспоминание. Но на этот счет заранее был приказ, и настолько жесткий, что полковник Кортунов не решился переступить его, несмотря на обиду.

Он мог, конечно, призвать на выручку командира соседней дивизии, тот — генерал и охотно бы явился, но это было сверх сил полковника Кортунова, он предпочел позвонить не соседу, а наверх: все же не так обидно.

— Где они у вас? — спросил Серпилин.

— В самом низу. В начале войны здесь каски делали. Под подвалом, еще ниже, тир бетонный, где их испытывали, они в этом тире сидят. Зайдете к ним?

— А чего я туда пойду,— сказал Серпилин. — Переводчик у вас есть?

— Есть.

— Спуститесь и заявите через переводчика, что начальник штаба армии прибыл принять их капитуляцию. Пусть выходят на свежий воздух.

Пока Кортунов с переводчиком лазили вниз выполнять его приказание, он стоял около «виллиса» и искоса наблюдал за немецкими офицерами. Те, что шли в колоннах, судя по их истощенному и грязному виду, тянули в окружении одну лямку с солдатами, а эти стоявшие в две шеренги штабные все же больше сохраняли выправку и одеты были почище, да и лица издали казались посытей, чем у тех, строевых.

Командир немецкого корпуса вышел в сопровождении еще двух генералов и нескольких офицеров, а вслед за ними из подвала стали толпой вылезать обезоруженные солдаты, до последней минуты охранявшие штаб.

Командир корпуса был невысокий, кривоногий генерал-лейтенант, одетый по всей форме — в шинель, сапоги и высокую генеральскую фуражку. Лицо у него было нездоровое, белое, видимо, от долгого сидения в подземельях, горбоносое и неожиданно по-татарски скуластое. Если б не форма, Серпилин никогда бы не принял его за немца.

Два других генерала были в бекешах с меховыми воротниками и ушанках. Командир корпуса был чисто выбрит и стоял

на морозе с закинутой головой и голой шеей, а эти оба топтались за его спиной небритые и понурые — или мерзли, или боялись, а может, и то и другое.

Серпилин, сообщив через переводчика свое звание и должность, выслушал фамилии, звания и должности всех трех генералов. Немец сказал, что он готов ответить на вопросы господина генерала, если они у него есть. Серпилин сказал, что вопросов у него нет и что командир корпуса и два других генерала будут сейчас же на машине отправлены в штаб армии в сопровождении полковника. Он показал на приехавшего сюда вслед за ним начальника контрразведки армии Никитина.

— А вторую машину придется у вас одолжить,— повернулся Серпилин к командиру дивизии.

— Слушаюсь. — В подчеркнутой готовности Кортунова был оттенок иронии над самим собой: я их взял, ты тут появился, чтобы они перед тобой капитулировали, а теперь я же должен отдавать свою машину, чтобы везти их, куда тебе надо. Что ж, слушаюсь, наше дело солдатское.

— А мои офицеры не поедут вместе со мной? — спросил немец.

— Нет, их повезут отдельно,— сказал Серпилин.

— Если так, прошу разрешить перед отъездом проститься с офицерами штаба. — Немец сдвинул каблуки и приложил руку к фуражке, подчеркивая важность и официальность своей просьбы.

Переводчик перевел и вопросительно посмотрел на Серпилина. И стоявший рядом с переводчиком Никитин тоже насторожился — Серпилин заметил это, но все равно не переменил сразу пришедшего в голову решения. Если бы продолжались бои,— подумал, как поступить с такой просьбой, а теперь, когда все кончено, пусть прощается!

— Переведите, что разрешаю.

Немец снова вскинул руку к козырьку фуражки, повернулся и пошел к стоявшим поодаль офицерам. Два других генерала не двинулись с места.

Немецкие офицеры, топтавшиеся все это время на снегу в положении «вольно», подравнялись и стали по стойке «смирно».

— Господа офицеры,— срывающимся голосом сказал немец. — Вы мужественно перенесли сталинградский ад, вы мужественно перенесли русскую зиму. Я надеюсь, что вы так же мужественно перенесете русский плен. Прощайте! — Он вскинул руку с фашистским приветствием, повернулся и пошел обратно к «эмке». У нее уже были распахнуты обе дверцы, и рядом ждал Никитин.

Немец шел размеренным шагом, а в глазах у него стояли слезы. Да, его поведение и его речь могли вызвать к нему чувство уважения, а слезы в такую минуту не говорили о слабости, скорей напротив — о силе. Но хотя все это промелькнуло в голове Серпилина, главное, о чем он подумал, глядя на немца, было и не то и не другое, а третье. Он подумал, что война с ними будет еще долгой, и, может быть, очень долгой. Сейчас, после победы, не хочется так думать, но поддаваться этой слабости нельзя.

Никитин с тремя генералами уехал на двух «эмках», своей и Кортунова, а Серпилин приказал комдиву, чтобы тот выделил четыре грузовика и отправил на них офицеров штаба корпуса тоже в штаб армии.

— Чего, полковник, нос повесили? Недовольны, что немец отказался вам капитулировать? Подумаешь какое дело! Все равно его со всем его войском вы и ваша дивизия в плен взяли, а не я и не кто-нибудь другой. А немецкие генералы нам требуются живые, а не мертвые, приходится соблюдать этикет.

— Все ясно, товарищ генерал,— сказал Кортунов. — Откровенно говоря, перед своими людьми стыдно было: мы его в плен взяли, а он мне, их командиру дивизии, капитулировать отказывается.

— Нашли чего стыдиться,— сказал Серпилин. — Пусть немец стыдится, что он генерал-лейтенант и командир корпуса, а вы, полковник, его в плен взяли вместе со всем его штабом, в котором одних полковников штук десять. Сколько пленных за сегодня взяли?

— Пока, по грубому подсчету, больше четырех тысяч.

— А сколько в дивизии людей на сегодня?

— Меньше двух...

— Ну вот, на каждого солдата уже по два пленных приходится, а вы еще чего-то стыдитесь.

— Это все понятно, товарищ генерал. Победа есть победа, конечно! — сказал Кортунов.

Но по его обиженному лицу чувствовалось, что ему продолжает портить настроение то, что немецкий генерал все-таки отказался капитулировать лично ему, полковнику Кортунову, которому уже дважды замотали давно выслуженное генеральское звание, и теперь вот что из этого вышло!

Серпилин прочел в его глазах этот молчаливый укор, но ничего не ответил и, пожав ему руку, поехал обратно на командный пункт армии.

Уже по дороге Серпилин с усмешкой вспомнил, как после прощания немца со своими офицерами, после той выдержки, которая, хочешь не хочешь, вызывала к нему уважение, он, уже

готовясь сесть в машину, повернулся и с еще не высохшими от слез глазами спросил:

— Я надеюсь, господин генерал, что, согласно условиям капитуляции, все наше личное имущество...

Серпилин жестом остановил его и, не дав на этот раз потрудиться переводчику, показав на Никитина, ответил по-немецки:

— С заботами о вашем личном имуществе обратитесь к полковнику.

Не отказал себе в удовольствии сказать так и, не добавив ни слова, повернулся и ушел, хотя потом, после их отъезда, на всякий случай, все же посоветовал Кортунову установить особый надзор за генеральскими чемоданами.

— Аккуратный, стребует с вас все, что положено по условиям капитуляции. Обеспечьте, чтобы славяне чего-нибудь, не дай бог, не замахорили!

В штабе армии было не до того, чтобы праздновать победу. Конечно, каждый все равно жил сегодня с праздником в душе, но дел было невпроворот! Батюк, вернувшийся в штаб раньше Серпилина, первым делом позвонил и потребовал, чтобы к вечерней сводке были по всем дивизиям даны полные сведения о количестве взятых пленных и трофеев и чтобы ни в коем случае не упустили точных границ территории, занятой в итоге боев частями их армии. Батюк хотел показать товар лицом, ничего своего не отдать соседям, а если какой-нибудь захваченный танк или зенитка стоят на разграничительной линии,— пусть сосед как хочет, а у нас чтобы фигурировали. Потом хоть локти кусай, больше сводки не будет — последняя!

Все это требовало работы до самой ночи в поте лица.

Батюк звонил еще несколько раз; сначала приказал, чтобы Серпилин, не откладывая, заполнил наградные листы на офицеров штаба армии. «А то будешь после Лазаря петь». Потом позвонил, чтоб выяснить недоразумение: по сведениям из дивизий выходило, что армия взяла сегодня пять генералов, а фронт заявлял, что к ним доставили четырех, одного потеряли. Серпилин, к счастью, был уже в курсе дела и успокоил Батюка, объяснил: донесения правдивые, армия взяла в плен все же пять генералов, и этот пятый, спорный, на самом деле бесспорный; Гитлер присвоил ему генеральское звание по радио всего три дня назад и он ходил еще в полковничьей форме, о чем и сообщил, когда сдался в плен.

— У вас все, товарищ командующий?

— Все,— сказал Батюк. — Хотя нет, не все. Когда вечернюю сводку подпишем, поужинаем. Все-таки люди мы или не люди?

Но до двадцати трех, до сводки, было еще далеко, и за это

время были еще звонки Батюка, и звонки из дивизии, и, наконец, уже поздно вечером — вызов к Захарову для обсуждения с ним и заместителем командующего по тылу целого короба вопросов, связанных с дальнейшим снабжением и обеспечением армии.

Прообсуждали долго. Чего только не возникает в момент, когда целой армии надо переходить с одних рельсов на другие! Одно дело — бои, когда жил изо дня в день надеждой: вот-вот кончится, а другое дело — тишина, к которой люди пришли на пределе и хотят согреться, помыться, поспать в человеческих условиях. Чего стоит вымыть всех как следует, переобмундировать, сколько солдатского белья надо перестирать, сколько валенок подшить, сапог залатать! А дезинфекция помещений, где были немцы? С тифом не шутят, а у них вшивость. Достаточно мимо колонны пленных проехать, чтобы увидеть, как чухаются... И трупы придется убирать, для начала хотя бы с проезжих мест, не говоря уже о штабелях, которые всюду, в каждом подвале. Никому неохота этим заниматься, а придется.

Даже эгоистично помечтали о том, чтобы их армию поскорей вывели из Сталинграда. Как ни трудно на любом новом месте, а все же меньше хлопот, чем здесь, в развалинах. Конечно, кого-то и здесь оставят, они и будут главные мученики: и расчистка, и разминирование, и уборка трупов. Хорошо бы не нас! Наконец договорились по всем вопросам, и зам командующего поехал к себе во второй эшелон. Серпилин тоже собирался уйти подкрутить своих, чтобы дали сводку пораньше,— хотел оставить себе запас времени — посидеть над сводкой самому. Но Захаров задержал его.

— Пятнадцать минут имеешь?

Как ответить? Хотел бы иметь не пятнадцать минут, а и час и два, хотел бы откинуться на стуле, потянуться, вынуть папиросу, постучать о коробку и не спеша закурить. Но все это еще невозможно. А пятнадцать минут, конечно, есть. Задания даны, и машина запущена.

— Как, Федор Федорович, откровенно говоря, в голове уже все уместилось, что произошло? У меня, например, еще не до конца.

Серпилин ответил так, как было. И у него тоже, как ни долго ждал этого, а еще сохраняется чувство: неужели правда? Неужели в самом деле кончилось?

И вопросительно посмотрел на Захарова, понимая, что этот разговор так, для начала, что не для него задержан в такое горячее время.

— Хотел спросить тебя, как твое настроение, Федор Федорович. — Захаров помолчал и добавил: — Не по своей инициативе спрашиваю, фронт интересовался. А может, и не только.

— Чем интересовались? — настороженно спросил Серпилин.

— Твоим самочувствием. Я сам только сегодня от них узнал о твоей беде. Ты же мне не сказал.

В словах Захарова была обида. Пожалуй, при их хороших отношениях справедливая. А не сказал ему Серпилин потому, что — если до конца откровенно — слишком многое пришлось бы объяснять. Значит, сейчас задержал из-за этого! А сначала показалось — хочет спросить совсем про другое...

— Что тебе ответить на это, Константин Прокофьевич? Что раньше не поделился, извини. Если бы вообще кому-то сказал, тебе первому. — Серпилин расстегнул карман гимнастерки и вынул письмо. — На, прочти. Что другая фамилия, не удивляйся, он не мою фамилию носил. — И, уже говоря это, по глазам Захарова понял, что тот не удивляется и про другую фамилию знает сам.

Захаров медленно прочел письмо, сложил и отдал Серпилину.

— Что же не сказал, Федор Федорович? Неужели одному об этом легче думать?

— Случай, как говорится, особый. — Серпилин горько усмехнулся. — Сначала ты мне ответь, что знаешь и чего не знаешь.

— Видимо, все знаю,— сказал Захаров.

— Откуда?

— А твой кореш, Иван Алексеич, когда был здесь у нас, рассказал мне об этом деле.

— Зачем и для чего? — сердито спросил Серпилин, считавший, что Иван Алексеевич на этот раз позволил себе сверх того, на что имел право.

— Имелось в виду впоследствии перевести твоего сына к нам в армию на соответствующую должность.

— Без меня, что ли? — по-прежнему сердито спросил Серпилин.

— Не без тебя, а с тобой. Думали, что, когда бои кончатся, начнем пополняться, поговорим по душам...

— А цель какая?

— Хотели помирить тебя с сыном. Считали, что и тебе было бы легче и ему.

— Меня с ним уже война помирила. — Серпилин встал и заходил по комнате.

— Сядь, успокойся. — Захаров предвидел, что разговор будет тяжелый, но избежать его не мог. Звонок из штаба фронта, вдруг сегодня, среди дня, среди всего, что происходило, был один из тех, которые просто так не бывают. Захаров был достаточно опы-

тен в таких делах, чтобы знать — звонок не в штабе фронта придумали, за ним что-то стояло, неизвестно, худое или доброе для Серпилина, судя по звонку, скорей доброе, а хотя черт его разберет в таких случаях.

Он сидел и ждал, что скажет ходивший по комнате Серпилин. Но Серпилин еще долго ходил и молчал, потом остановился и сказал хриплым голосом:

— Что заставил его воевать, все равно прав, а остальное не в моей власти.

Он ходил и думал о сыне. Что значит — любил или не любил, больше или меньше любил? Все это слишком слабые слова для представления о том, что значит, когда до двадцати одного года воспитываешь рядом с собой и говоришь все, что думаешь, и считаешь, что рядом с тобой растет твое, а потом приходит день — и оказывается: нет, не твое. О какой любви или нелюбви тут речь? Тут речь о большем — обо всей жизни.

Он сел, закурил и спросил:

— Исповедаться перед тобой надо?

— Тебе видней,— сказал Захаров.

— Вижу, считаешь себя обязанным слушать. А легко ли?

— Насчет обязанности отчасти верно,— сказал Захаров. — Кто я, в сущности? Политрук на высшем уровне, если исповедуются, обязан слушать. — Сказал и чуть усмехнулся, давая понять, что сказанное — отчасти горькая шутка, а отчасти самая настоящая правда.

— Конечно, тяжело,— сказал Серпилин. — Не говоря уже о том, что у него жена и дочь, которых я еще не видел в глаза. А плюс к этому, как ни уверяешь себя, что прав, и действительно прав, а все же знаешь, что ты к смерти толкнул. Прав или не прав, а толкнул.

— Да,— сказал Захаров. — Когда Иван Алексеич рассказывал мне об этом деле, я еще тогда подумал: до какой степени мы им судьи?

— А почему мы им не судьи?

— Я не говорю, что не судьи, а говорю — до какой степени? Если уж на исповедь пошло, то я в тридцать седьмом в Воронеже жену моего лучшего товарища, когда его арестовали, а квартиру опечатали, к себе жить не пустил. Потом через жену помогал, а жить не пустил. Думал так: спасти не спасу, а пущу — сам погибну. Вчера его квартиру опечатали, завтра — мою. И сейчас спросить меня: прав ли был, так решая в то время? Отвечу: видимо, прав. Прав, а стыдно. Когда он вернулся в тридцать девятом, он к первому ко мне пришел. Про жену знал, но пришел сказать, что понимает: пустил бы ее жить — совершил бы само-

убийство. Он-то понимает, а мне от этого не легче. Так и встречаемся с тех пор не по моей, а по его инициативе. Ему со мной легко, а мне с ним трудно. Хотя в то время могло все быть и наоборот: мою бы квартиру опечатали, и не его жена у моих дверей, а моя — у его. Доносы и на меня писали.

Серпилин молчал и курил папиросу.

— Что молчишь?

— Слушаю,— сказал Серпилин. — Все так. Согласен с тобой. — Погасил папиросу и, уже стоя, добавил: — А я, откровенно говоря, другое подумал сначала, когда ты заговорил. Подумал: может, Никитин на меня жаловался?

— Почему Никитин?

— По моей собственной глупости,— сказал Серпилин. — Два дня назад адъютант вышел, я открыл ящик его стола — карту искал — и случайно увидел тетрадочку, а в тетрадочке про меня: «Сегодня С. при мне сказал...», «Сегодня С. при мне сказал...» Дальше смотреть не стал, ящик захлопнул, а днем увидел Никитина и брякнул: «Посоветуйте моему адъютанту, чтобы он завтра от меня попросился, а не попросится — выгоню, потому что думал, он мой адъютант, а он, оказывается, ваш!» Никитин на меня глаза вылупил: «Не понимаю, что вы имеете в виду». Ну, я был в таком настроении, что объяснил ему: хотя, говорю, в армии есть и обязана быть контрразведка, но дураков в ней держать не надо! Объяснил, повернулся и пошел, чтобы еще чего-нибудь не сказать. Пришел к себе — навстречу адъютант. Я ему прямо с ходу: «Пишешь каждый день все, что я при тебе говорю?» — «Да, виноват, я прекращу, я понимаю». — «Чего ты понимаешь?» — «Понимаю, что дневники вести запрещено, я знаю». В общем, слово за слово, притащил мне весь свой дурацкий дневник, оказывается, писателем мечтает быть! Вот как бывает! На кого-нибудь другого за это волком смотришь, а самому шлея под хвост попала — и готово, возвел напраслину на человека! Думал, что Никитин на меня взъелся, сообщил тебе, чтобы ты меня повоспитывал.

— Ни слова не говорил.

— Тем более совестно.

— Адъютанта не прогнал? — спросил Захаров.

— Куда же его теперь прогонишь? Как адъютант оставляет желать лучшего, но чем черт не шутит, вдруг в самом деле писателем окажется. Разрешите идти?

— Потери еще не подсчитали? — провожая Серпилина к выходу, спросил Захаров.

— Грубо уже подсчитали. По всем дивизиям за вчера и сегодня свыше трехсот, из них полсотни убитых.

— Хорошо все же, что немца сегодня добили, не затянули,— сказал Захаров. — Если б затянули, возможно, и больше потеряли бы.

— Возможно, так. А возможно, и не так. — Серпилин уклонился от запоздалых самооправданий. Он уже решил для себя этот вопрос третьего дня на Военном совете, когда подал свой голос за немедленные действия, считая, что жертвы не могут быть особенно велики, а необходимость скорей развязать себе руки для дальнейшего оправдывает их.

— Батюк тебя приглашал? — спросил Захаров.

— Приглашал.

— Значит, как сводку сдашь, увидимся!

Зайдя к себе, Серпилин, не раздеваясь, спросил:

— Как сводка?

Ему ответили, что сводка перепечатывается, через несколько минут будет у него на столе.

— Доложите, когда будет готова, я на улице постою, подышу.

Он вышел из избы и, закинув руки за спину, посмотрел в небо. Небо было темное и беззвездное.

«Значит, погода все-таки испортилась, а я за суетой так и не заметил»,— подумал он. И вдруг уловил ноющий звук шедших высоко в небе самолетов. «Юнкерсы», обманывая зенитчиков, обходили Сталинград с севера, чтобы сбросить ночные грузы своим окруженным войскам: еще не верили, что все уже кончилось.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Погода была скверная с самого начала полета. Земля то открывалась, то закрывалась, потом долго шли без всякой видимости. Когда земля снова открылась, летчик вышел из кабины и наклонился к Серпилину:

— Думаем все же не садиться в Саратове. Погода что там, что в Москве — всюду плохая. Как, товарищ генерал?

— Зачем спрашиваете? — сказал Серпилин. — Я здесь пассажир.

— Ясно, товарищ генерал. Тем более, хочется раненую поскорей доставить! Пойду поговорю с ней, как себя чувствует. — Летчик прошел мимо Серпилина в хвост самолета.

«Пусть сами решают,— подумал Серпилин. — И вообще пусть будет как будет». Но это мысленно произнесенное «вообще» относилось уже не к погоде, а к неожиданному вызову в Москву.

Вчера ночью, когда он уже разобрал койку и снял сапоги, позвонил Захаров и попросил зайти. Пришлось одеться и идти,

недоумевая, что за срочность. Бои два дня как кончились, завтра на площади Павших борцов митинг, хотелось перед этим выспаться, поехать туда по-праздничному, на свежую голову. Может, с митингом какие-нибудь перемены? Так думал, пока шел к Захарову, другого не предполагал.

— Приготовься, Федор Федорович, завтра в девять лететь в Москву,— сказал Захаров. — Член Военного совета фронта звонил. Васильев тебя вызывает.

— Так. — Серпилин невольно вздохнул от перехватившего горло волнения: «Васильев» в последние месяцы был условный позывной Сталина.

— А к кому там являться? Прямо так и являться?

— Не знаю,— сказал Захаров. — Там уже не наша епархия. Встретят, раз вызвали.

— Кому сдавать штаб армии?

— Об этом пока ничего не сказано.

Захаров выжидающе посмотрел на него, но Серпилин выдержал этот взгляд. Письмо, написанное им Сталину, касалось такого дела, о котором невозможно говорить с кем бы то ни было. Сам решился, сам написал, сам послал. А если результат не тот, на который надеялся, то с тебя и весь ответ — ни с кем не делился, ни с кем не советовался.

Так ничего и не объяснил Захарову: лучше обидеть, чем поставить в двусмысленное положение.

— Командующий уже знает?

— Да. Просил передать, чтобы явился к нему завтра в семь ровно. Спать лег. Хотя, впрочем, не уверен,— усмехнулся Захаров. — Просто, пока не остыл, говорить с тобой не хочет. Сгоряча по телефону матюка загнул. Только, говорит, с начальником штаба сработались, так уж кому-то понадобилось мне ножку подставить — забрать! Вот как вы, оказывается, с ним сработались. А я и не заметил.

— Кто бы говорил! — сказал Серпилин. — Сколько ты для этого сделал, вряд ли бы кто сделал на твоем месте. Правду надо сказать, и обстановка благоприятствовала. Боюсь, в дни неудач мы бы с ним друг друга трудней поняли. С твоего разрешения пойду?

— Погоди! — Захаров вытащил из папки и показал две только что полученные шифровки из Москвы из Управления тыла. В одной разъяснялось, что, поскольку войска армии после ликвидации немцев в Сталинграде оказались более чем в трехстах километрах от линии фронта, их следует перевести на вторую норму довольствия. Во второй телеграмме по тем же причинам предлагалось прекратить выплату полевых денег.

— Как это можно понять? — Захаров сгреб шифровки и гневно потряс ими перед носом Серпилина. — Как эти бумажки довести до сознания солдат и офицеров, когда всего двое суток бои кончились! Что ж, они должны себя виноватыми чувствовать, что последнего немца в плен взяли?!

— Все ясно, Константин Прокофьевич, понял тебя,— сказал Серпилин, вполне разделявший чувства Захарова, а кроме того, хорошо понимавший, что этот взрыв с шифровками не просто так, а с намеком: если попадешь к Сталину, кровь из носу — обязан сказать ему об этом. А не скажешь,— значит, ошибался в тебе!..

Когда разворачивались, взлетая, внизу, под крылом самолета, еще раз прошли развалины Сталинграда, серо-белые клетки почти до земли срытых войной кварталов.

Серпилин вспомнил, как однажды в Туркестане, на учениях, он летал над пустыней на бреющем и вдруг заметил среди песков несколько распластанных, полурастащенных птицами скелетов людей и верблюдов... Развалины Сталинграда напоминали эти скелеты в пустыне.

Теперь, на втором часу полета, все это осталось уже далеко позади.

«Хорошо, если прямо до Москвы,— подумал Серпилин. — Заснуть бы и проснуться сразу там, от толчка колес о землю! В прошлый раз, когда летел в Москву, думал всю дорогу о жене: жива или не жива? А теперь — жив или не жив — думать уже не о ком!»

Достал из кармана гимнастерки письмо про гибель сына, надел очки и перечел его. Письмо положил обратно, но очки не снял и еще долго сидел так, в очках. Сидел и думал: приехала или не приехала из Читы в Москву жена сына? Если осталась там, в Чите, то все проще — надо только узнать ее адрес и выслать аттестат. А если приехала, придется говорить. А что говорить, неизвестно, потому что неизвестно, что она знает и чего не знает.

Летчик вернулся в кабину. Значит, сходил, поговорил там, с этой раненой.

Самолет был комбинированный. Первые шесть кресел — мягкие, сзади, с двух сторон,— железные лавки, а посредине, еще до того как впустить пассажира, укрепили носилки с девушкой-летчицей. Даже оттяжки сделали, чтобы не тряхнуло при болтанке.

Летчица была из женского бомбардировочного полка. Бомбила немцев всю осень и зиму, а разбилась не в бою. Сажала вчера свою «пешку» на вынужденную и сломала позвоночник.

Молодая, красивая, двадцати одного года, неподвижно лежала посреди самолета на спине и улыбалась всем, кто подходил к ней.

Прежде чем сесть в самолет, пока там, внутри, укрепляли носилки, Серпилин стоял, ждал у трапа вместе с женщиной-майором, командиром бомбардировочного полка: она приехала проводить свою летчицу.

Странно было вот так вдруг, стоя у самолета, познакомиться с этой женщиной-майором. Пять лет назад, в тридцать восьмом, когда он впервые услышал ее фамилию, мысль, что они когда-нибудь встретятся на войне, показалась бы ему не только невероятной, а просто дикой.

О беспосадочном полете трех женщин Москва — Дальний Восток узнали тогда от одного бывшего торгпреда, вернувшегося ночевать в барак после мытья полов в лагерной канцелярии.

Трасса полета проходила не так далеко от их лагеря, всего на триста километров южнее, но это был другой мир и другая жизнь, казалось уже навеки от них отрубленная. А все же, когда бывший торгпред рассказал им все, что услышал о полете, пока тер тряпкой полы, у них хватило сил порадоваться, что в том, другом, отрубленном мире продолжают происходить такие вещи. Значит, все же не моргают, испытывают самолеты с дальним радиусом действия, продолжают готовить себя к войне с фашистами. «Молодцы наши бабы!» — сказал Гринько, с которым они тогда жили в одном бараке. А когда кто-то подковырнул его: «Бабы, да не твои!» — ответил: «Нет, мои. Не было бы меня, и этих баб не было бы. Не попер бы я Деникина от Орла до Ростова, хрен бы они теперь летали!»

Серпилин вспомнил об этом, пока женщина-майор рассказывала ему о своей летчице. Проходя потом в самолете вперед, к своему месту, мимо лежавшей на носилках девушки, он задержался, приложил руку к папахе и, уже сев в кресло, продолжал чувствовать, что она лежит там, за спиной, лежит, навсегда искалеченная, со сломанным позвоночником.

В нем иногда вспыхивало возмущение против того, что война делает с человеческим телом. Он думал об этом редко, но с тем большей силой. Нельзя, воюя, все время мысленно держать перед глазами ту кровавую начинку из человеческих смертей и увечий, которая заложена почти в каждом из полученных и отданных тобой приказаний. Почти все происходившее на войне было в его глазах вполне естественным: и ежедневные ранения, и смерти, и расстрел за трусость или неповиновение, и неизбежные случаи жертв от собственного огня и на собственных минах, и разная другая большая и малая кровь, с которой так или иначе всякий день связана война. И лишь изредка, как это бывает с человеком,

который вдруг зашел в хорошо знакомую комнату, но неожиданно посмотрел на нее другими глазами, он испытывал возмущение тем, что война вообще существует, и каждый день и час, с утра до ночи, рвет на куски, укорачивает, ломает живое человеческое тело. Вот и эту, там, сзади в самолете, сломала. Еще улыбается, а сама уже мертвая до пояса...

В Саратове садиться не стали, но Москва не принимала, и пришлось сесть по дороге в Рязани. Просидели там недолго, но все равно, чтобы не замерзла, перенесли летчицу из самолета в комнату к оперативному дежурному, а потом, когда дали погоду,— обратно в самолет. Здесь она уже не улыбалась — видимо, силы, что заранее отвела на дорогу, кончились, не могла предусмотреть, что будут еще раз вытаскивать и втаскивать...

Когда сели обратно в самолет, Серпилин, проходя мимо девушки, опять подумал про Гринько — как он тогда, в тридцать восьмом, гордо сказал про ту летчицу-майора и ее подруг: «Наши бабы». Неужели с Гринько теперь действительно выйдет все так, как хочется,— не погиб и не умер, а будет освобожден и успеет еще повоевать?

В январе, уезжая на фронт с новым назначением, думал, что напишет Сталину о Гринько после завершения операции, в наиболее подходящий момент для чтения такого письма. А на деле вышло по-другому. Девятнадцатого числа, когда прорвали вторую линию немецкой обороны, штаб армии передвинулся к хутору Гремучему, в глубокую балку подле него, на новое место. Но для Серпилина это новое место было старое, хорошо знакомое по восемнадцатому году, ошибиться было нельзя, несмотря на давность времени.

В балке этой тогда стоял эскадрон красных казаков, резерв командира стрелковой бригады, бывшего царского штабс-капитана Правдухина, которого потом, уже после приезда Сталина, заместил Гринько. А когда к ним на позиции приехал Сталин, Гринько был еще командиром полка. И наблюдательный пункт у них был сажен двести на юго-запад от этой балки, в окопах, опоясывавших небольшую высотку. А еще правей была вторая высотка — наблюдательный пункт батареи.

Серпилин в первый же день, как сюда переехал штаб армии, взял с собой ординарца Птицына и пошел к этой высотке, где сидели тогда, в восемнадцатом. Снега было мало; местами его сдуло совсем, до обледенелой пегой травы. По дороге попались три воронки от наших тяжелых снарядов, кругом них лежали убитые немцы.

Саму высотку, наверно, так и не вспахивали, кругом пахали, а тут нет. От хода сообщения, который вел наверх, к наблюда-

тельному пункту, и следа не осталось, но от того окопа, что был когда-то вырыт в начале подъема, как ни странно, сохранилась память — змеевидная, еле заметная ложбинка. В ней задержалось немного снега, и она выделялась, была белей, чем все кругом. А когда-то это был окоп полного профиля. Иван Алексеевич — в то время начальник штаба полка — сам следил, насколько грамотно отрывают в полку окопы. Насчет окопной грамотности люди в полку были даже чересчур грамотные — по три года отбрякали на германской войне, но ленились это делать — надоело, и за придирчивость ругали Ивана Алексеевича «его благородием» и пускали слухи, что он бывший офицер. Один раз даже кто-то выстрелил ночью в спину.

А Сталин тогда пришел к ним пешком, автомобиль, на котором прибыл, оставил не доезжая и как раз хвалил их за окопы полного профиля, говорил, что будет на Реввоенсовете ставить в пример другим обороняющимся частям.

Потом, осмотрев окопы, поднялся по ходу сообщения наверх, на наблюдательный пункт, немного поглядел в бинокль в степь и вернулся обратно в окоп. День был тихий, белоказаки так до вечера и не стреляли. Вскипятили на костре в котелке чай, пили впятером: Сталин, Гринько, Иван Алексеевич, Серпилин и еще прибывший со Сталиным не то адъютант, не то из охраны, неразговорчивый. Когда сели пить чай, Сталин сделал ему знак пальцем, и тот вынул из висевшей на боку офицерской полевой сумки газетный фунтик и высыпал из него на крышку котелка немножко мелко наколотого сахара. Сталин засмеялся и сказал:

— Чай ваш, сахар наш.

Сидел он тогда у них не особенно долго, расспросил о боевой готовности и настроениях, ответил на несколько их вопросов и сказал, что ему пора.

Сейчас, через двадцать пять лет, стоя над белой змейкой снега — все, что осталось от тогдашнего царицынского окопа,— Серпилин вспоминал, как все это было: где развели костер и кто из них где сидел, пока пили чай. С краю — тот, молчаливый, в кожанке, потом Сталин и рядом с ним Гринько, а они с Иваном Алексеевичем вдвоем — с другой стороны, лицом к Сталину. А сахар был наколот на мелкие-мелкие кусочки, и когда допили чай и Сталин уже встал и отошел, то этот молчаливый, в кожанке, взял крышку котелка и ссыпал оставшийся сахар обратно в газетный фунтик.

Потом Серпилин с Иваном Алексеевичем остались, а Гринько провожал Сталина до автомобиля и, вернувшись, хвалил его за то, как откровенно, не скрывая тяжести положения, отвечал на

их вопросы о продовольственном деле и обстановке на фронтах республики.

Так все это было тогда, в восемнадцатом...

За спиной у Серпилина нетерпеливо топтался его ординарец Птицын, недоумевавший, что такого нашел генерал на этой пустоши, а Серпилин стоял и думал, что или уже никогда не напишет Сталину о Гринько, или напишет сегодня же, когда сама судьба не только привела, а, можно сказать, ткнула носом: пиши!

Ночью он написал то письмо, из-за которого, надо думать, его теперь вызывали. Начал с того, как теперь, в сорок третьем, снова оказался там, куда к ним в восемнадцатом приезжал товарищ Сталин, а в заключение просил пересмотреть дело Гринько. Написал, что не только знает Гринько по совместной службе, но может подтвердить, что он и в лагерях оставался до конца преданным Советской власти и лично товарищу Сталину. А в самом конце написал: «Дорогой товарищ Сталин! Считаю своим долгом доложить Вам, что комкор Гринько не меньше меня предан Родине и не хуже меня защищал бы ее от фашистских захватчиков. Если Вы верите мне, то нам с комкором Гринько обоим место на фронте, здесь, где я, а если Вы мне не верите, то, значит, нам обоим место там, где он».

Когда перечел эти слова, дрогнул и уже хотел вычеркнуть их, но не дал себе этого сделать и отправил. А когда письмо ушло, несколько ночей подряд, несмотря на усталость, подолгу не мог уснуть и только через неделю пересилил себя и заставил не думать об этом. Решил, как в бою: сколько бы ни взвешивал и ни колебался перед началом, потом, когда пошли вперед, уже поздно вдогонку думать, надо или не надо было начинать.

Когда самолет приземлился в Москве на Центральном военном аэродроме и Серпилин первым спустился из него по лесенке, навстречу ему из подъехавшей прямо к самолету «эмки» вылез высокий майор в золотых погонах с синими просветами и, приложив руку к ушанке, спросил:

— Генерал-майор Серпилин?

— Да.

— Ожидаю вас.

— Там у меня вещи,— сказал Серпилин. — Чемодан и вещмешок.

— Водитель останется и возьмет,— сказал майор. — А мы с вами пройдем к телефону. Тут недалеко.

Майор показал рукой на видневшееся в нескольких десятках шагов двухэтажное в камуфляжных пятнах здание. Серпилин помнил его. Там в январе они вместе с Артемьевым в ожидании вылета грелись у оперативного дежурного.

— Пошли. — Он подавил желание спросить, кому они будут звонить прямо с аэродрома. Вместо этого спросил, искоса взглянув на погоны: — Давно здесь, в Москве, на новую форму перешли?

— Вторую неделю.

Они поднялись на второй этаж, но зашли не в ту комнату, где он когда-то грелся у оперативного, а в другую, с табличкой «Командир части».

— Селезнев у себя? — спросил майор у поднявшегося из-за адъютантского стола лейтенанта.

— На летном поле.

— Мы пройдем, позвоним.

Майор кивнул на дверь в глубине комнаты и, не дожидаясь ответа, властно, как свою, открыл, пропуская вперед Серпилина.

— Сейчас доложу. — Майор подошел к столу с четырьмя телефонами, снял трубку, набрал номер и, целую минуту продержав трубку прижатой к уху, напряженным голосом назвал знакомую Серпилину понаслышке фамилию помощника Сталина. — ...Докладывает Рудаков. Генерал-майор Серпилин прибыл. Находится на аэродроме. Есть! Передаю трубку...

Серпилин взял трубку и едва успел сказать: «Серпилин слушает», как услышал хриплый, рассерженный голос:

— Где вы там провалились? Товарищ Сталин о вас спрашивал, а вас нет!

— Сидели, ждали погоды в Рязани,— сказал Серпилин.

— Вот и просидели,— все так же сердито сказал голос. — Квартира в Москве есть?

— Есть.

— Поезжайте на квартиру, сидите и ждите. Безотлучно. Понятно?

— Понятно.

— Передайте трубку сопровождающему.

Так и не услышав ни «здравствуйте», ни «до свидания», Серпилин протянул трубку майору.

— Слушаю,— сказал майор. — Ясно. Есть! Ясно. Есть! — И, положив трубку, посмотрел на Серпилина: — У вас где квартира?

— Около Академии Фрунзе.

— А телефон в ней есть?

— Есть.

— Тогда ясно. А то мне приказано, если квартира далеко или без телефона, везти в гостиницу «Москва». Поехали?

— Поехали,— сказал Серпилин,— только надо проверить. Какой тут из них городской? — спросил он про телефоны и, на-

бирая номер, подумал: «А может, к лучшему, если никто не ответит. Поеду и буду ждать в гостинице».

К телефону долго никто не подходил, и он уже собирался положить трубку, как вдруг незнакомый молодой женский голос сказал:

— Слушаю вас...

— Марию Александровну,— сказал Серпилин.

— Ее нет, она на работе.

— Тогда сына ее.

— Его тоже нет.

— А кто это? — спросил Серпилин, уже догадываясь, кто это.

— Это их соседка,— сказал молодой женский голос. — Может, им что передать?

Но Серпилин ничего не ответил, положил трубку и повернулся к майору:

— Поехали.

Когда вышли, оказалось, машина уже у подъезда и в ней на заднем сиденье лежат вещи. Майор открыл перед Серпилиным переднюю дверцу, а сам сел сзади, рядом с вещами. Серпилин сказал адрес, и машина тронулась.

— Товарищ генерал, хотите газету? — спросил майор.

— Давайте...

Серпилин взял в руки сегодняшний номер «Правды», развернул, даже посмотрел на заголовки, но проехал полдороги, прежде чем заставил себя читать,— все думал об этом звонке прямо с аэродрома и о раздраженном голосе: «Товарищ Сталин о вас спрашивал, а вас нет...»

На первой странице и в утреннем и в вечернем сообщениях Информбюро о Донском фронте уже не упоминалось. Войска Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Закавказского, Воронежского, Ленинградского, Волховского фронтов вели наступательные бои на прежних направлениях, а их Донского фронта в сводках больше не было. Не было и уже не будет! Штаб фронта, имеющий опыт таких боев, конечно, сохранят и перебазируют на новое направление. Но какие армии потянут за ним, а какие оставят в резерве Ставки или передадут на другие фронты — это уже другой вопрос. «А с тобой лично тем более вопрос открытый»,— подумал он, снова вспомнив о Сталине, который спрашивал про него, очевидно, всего два или три часа назад.

Он сложил газету, через плечо протянул майору:

— Благодарю,— и повернулся к водителю: — Здесь, направо!

Они подъезжали к его дому.

— Не слышали, товарищ генерал, когда Паулюса в Москву привезут? Вчера слух прошел, что сегодня. Тут, на аэродроме,

некоторые даже думали, что с этим, с вашим самолетом привезут,— торопливо спросил майор. Спрашивать было не положено, но любопытство превозмогло выучку.

— Не знаю, не в курсе дела,— сказал Серпилин.

— А вы его видели, товарищ генерал?

— Других видел, а его нет.

— Я вас до квартиры провожу,— сказал майор, когда «эмка» остановилась у подъезда.

Серпилин ничего не ответил, вылез, кивнул шоферу и пошел вверх по лестнице, думая о том, как встретит там, наверху, жену сына, которая еще неизвестно, знает или не знает о случившемся. Майор тяжело ступал сзади с чемоданом и вещмешком.

Звонка на двери по-прежнему не было — пришлось стучать. Когда открыли, Серпилин шагнул и увидел перед собой еще державшуюся за ручку двери молодую женщину в валенках, в бумазейном платье цветочками и накинутом на плечи полушубке. Позади женщины, держась за ручку другой приоткрытой двери в его комнату, стояла девочка лет трех, в таком же бумазейном платье.

Продолжая стоять, как стоял, в дверях и глядя в неподвижное лицо женщины, он протянул ей руку:

— Я Серпилин.

— Аня,— бессмысленно, механически сказала она и, уронив с плеч полушубок, зацепив Серпилина по губам жесткими завитками волос, ударилась лицом ему в грудь. Девочка заплакала и, подбежав, стала дергать мать за платье.

«Да, уже знает, но от этого не легче!»

Серпилин почувствовал, как сзади, тесня его плечом, проталкивается майор с вещами. Протолкнулся и, продолжая держать вещи в руках, вопросительно, через голову женщины, посмотрел на Серпилина.

— Благодарю. Поставьте тут,— сказал Серпилин.

Майор поставил чемодан и мешок. Мешок повалился на пол. Он приподнял его и приставил к чемодану; потом, еще раз вопросительно посмотрев на Серпилина, приложил к козырьку руку и протиснулся боком назад к двери. Было слышно, как он сбегает по лестнице.

— Ребенка успокойте,— сказал Серпилин и захлопнул дверь.

Женщина оторвалась от него, вытерла заплаканное лицо рукой, всхлипнула, еще раз вытерла и сказала почти спокойно:

— Она не понимает. Я плачу, и она плачет...

И девочка, все еще держась за подол матери, тоже в последний раз всхлипнула, остановилась и поглядела на Серпилина.

— Давно знаете?

— Пятый день... Ехала — не знала...

Женщина широко открыла рот, и Серпилину показалось, что она сейчас опять зарыдает. Но она не зарыдала, а только как будто проглотила что-то такое большое-большое, от чего ей даже стало больно там, внутри, в груди. Проглотила и поморщилась от боли.

— Мы вашу комнату заняли.

— Правильно,— сказал Серпилин. — Я скоро снова уеду.

Он поднял с пола упавший с плеч женщины полушубок, не зная, что с ним делать,— то ли отдать ей, то ли повесить на вешалку. Ему показалось, что в квартире теплей, чем в тот приезд. Но женщина протянула руку к полушубку и накинула его на плечи.

— Топят, а я зябну.

Полушубок был старый, латаный, второго или даже третьего срока. «Не сдал там, когда уезжал с Дальнего Востока. Оставил жене...»— подумал Серпилин о сыне и, взглянув еще раз на стоявшую перед ним женщину, только теперь заметил, какая она высокая. Когда ходила вместе с сыном, наверное, была одного роста с ним. Вспомнил письмо от замполита: «Вынесли из танка... не приходя в сознание...» Это так говорится — «вынесли», а что́ вынесли? Чем меньше знаешь, как все это в действительности выглядит на войне, тем все же лучше.

— Пойдемте в комнату,— сказала женщина. И пока Серпилин раздевался, за его спиной незаметно отнесла из передней в комнату чемодан и вещмешок.

Когда он зашел в комнату, девочка стояла около чемодана и сосредоточенно отщелкивала и защелкивала язычок замка.

— Перестань,— сказала мать.

— Ничего, пусть. — Серпилин сел за стол. Женщина опустилась напротив.

Вот так здесь они сидели в ту ночь с сыном. Он тут, где сейчас, а сын на ее месте. Сейчас, когда женщина сидела за столом, по-бабьи пригорюнясь, подперев одной рукой щеку, а другой зябко, под полушубком, охватив себя за плечо, у нее было обыкновенное красивое молодое лицо с покрасневшим от слез носом, с обкусанными, потрескавшимися широкими губами, с наспех забранными гребешком пережженными локонами старого перманента. Одно из тех одновременно и красивых и незаметных лиц, которыми так богата Россия.

Он почему-то представлял себе жену сына другой — маленькой, аккуратной, заботящейся о своей внешности. Так показалось по фотографии, на которую мельком взглянул в ту ночь.

— Мне тридцать первого на фронте сообщили,— сказал он. — А вам?

— А мне — как приехала... Товарищ его, по его поручению, на вокзале встретил. Привез меня сюда и здесь сказал... А ехала — ничего не знала, даже не думала. И что он на фронте — не знала, считала, что в Москве. Он, когда вызов прислал, не писал про это,— может, сомневался, уеду ли тогда из Читы. Думала, на вокзале встретит. А этот его товарищ Филимонов, когда встретил, сказал, что он на фронте. А когда сюда привез, сказал, что убитый...

Она снова вздохнула, проглотив то тяжелое, каменное, что было у нее теперь вместо слез, и опять поморщилась от боли.

— А потом уже, на другой день, Мария Александровна письмо его отдала. Он сюда, на этот адрес, мне к приезду прислал. Когда еще живой был. Я вам покажу...

Она встала, подошла к этажерке, вынула из-под вышитой салфеточки письмо и положила его на стол перед Серпилиным.

А девочка все щелкала и щелкала в углу замком чемодана.

— Я не спросила, вы, наверное, с дороги кушать хотите?

— Да, я голодный,— сказал Серпилин, хотя сам не знал, голодный он или нет, не думал об этом. И добавил, что в вещевом мешке, сверху, до половины лежат продукты — пусть посмотрит, что там есть.

— У нас есть,— сказала она. — Я суп на два дня сварила, и второе есть. Он здесь для нас за целый месяц свой паек оставил. Все у нас есть...

Сказав это, она не всхлипнула, а вскрикнула, как от боли. Потом подошла к девочке и потащила ее за руку от чемодана.

— Пойдем, доченька, пойдем на кухню...

Письмо от сына к ней было обыкновенное — письмо как письмо. Писал, что их часть громит фашистских захватчиков, что жив, здоров и все в порядке. Заранее поздравлял с прибытием в Москву. Писал, чтоб о своем устройстве на работу поговорила с Филимоновым, он в курсе дела. В конце обнимал и целовал ее, а для дочки нарисовал несколько мышек с длинными хвостами. Письмо как письмо! Только человека, который написал это самое обыкновенное письмо, уже нет на свете, и поэтому трудно его читать. В конце было приписано несколько слов о Серпилине. Сын просил, чтобы жена ничего не переставляла после матери, пусть все пока останется, как было. А то, если отец вдруг приедет с фронта, ему будет неприятно, что в комнате что-нибудь не так, как при матери.

«Что она знает и чего не знает о том, как все это у него с

нами было — со мною и с матерью? Все — навряд ли, а что-то, наверное, знает. Нельзя же было годами жить рядом и ничего не знать. Наверное, как-то приходилось объяснять, почему мать не отвечает на его письма».

Посмотрел на кровать со сбитым покрывалом, содрогнулся от воспоминаний и горько стукнул по столу: проклятая квартира! Не квартира, а покойницкая!

Когда стукнул кулаком по столу, что-то звякнуло. Телефон? Вскочил, прислушался — нет, показалось!

«Да вот сказать бы ему, если вызовет,— подумал он о Сталине,— во что он обошелся, тот, тридцать седьмой, только в одной нашей семье... Конечно, не скажу, не решусь. Да и если даже решился бы, все равно, пока война,— не время об этом».

Даже сейчас, когда сын был убит, не допускал мысли, что мог отнестись к нему тогда по-другому. Несмотря ни на что, не поставил на нем в ту минуту креста, отнесся как к человеку — потребовал того, чего потребовал бы от самого себя. И он исполнил это. И умер. А если бы сын тогда ночью сам не завел этого разговора, ограничился тем, из-за чего пришел,— просьбой, чтоб отец прописал семью,— наверно, остался бы жив, и служил бы и сейчас в своем автомобильном управлении, и встретил бы жену на вокзале, и спал бы с ней вместе на этой кровати, живой и здоровый...

«Что-то долго она там на кухне». Серпилин взял со стола письмо, подошел к этажерке и положил обратно туда, где лежало,— под вышитую салфетку. «Пусть все будет, как при матери...» А что — как при матери? Что может быть как при матери, когда нет матери? Да пусть хоть все перевернут вверх дном — даже лучше! Все равно дома больше нет. Есть он — пожилой одинокий человек; есть оставленный им там, в Сталинграде, ординарец Птицын, такой же пожилой и временно, пока война, тоже одинокий человек. И есть теперь эта женщина, Аня, со своей дочкой, а его внучкой, и ему надо теперь с ними что-то делать, как-то к ним относиться. Хочешь не хочешь, а теперь все это тоже часть твоей жизни!

Ему захотелось позвонить Ивану Алексеевичу, позвонить и сказать: «Ваня, я здесь!» Но, как ни хотелось, удержался. Пока не решилось, чем кончится с твоим письмом, и звонить, и видеться с Иваном Алексеевичем лишнее, можно, не желая того, подвести человека.

Жена сына принесла из кухни вилку, ложку, нож и тарелку с супом. Девочка несла за ней на маленькой тарелке нарезанный ломтями хлеб. Подошла, поставила на стол и опять убежала в угол комнаты, к чемодану.

Жена сына вышла и снова вернулась с чистой тарелкой и кастрюлей. Объяснила: они всю посуду там, на кухне, держат, там едят.

— И я бы мог тоже... — начал было Серпилин, но она не дала договорить.

— Ну что вы! — присела напротив. — Чай пить будете?

— Буду. А вы?

— Мы тоже. Как чаю попьете, наверное, с дороги отдыхать будете?

— Пока не думаю.

— Я вам простыни и пододеяльник перестелю, в шкафу чистые есть,— она кивнула на кровать,— а эти нам на диван возьму.

— Чего это вдруг?.. — сказал Серпилин. — Спите с ней где спали, а я как раз на диване. Мне, скорее всего, придется еще по вызову ехать, раздеваться пока не буду.

— Неудобно,— сказала жена сына; по лицу ее было видно, что ей и в самом деле неудобно, а не просто так: говорит, чтоб сказать.

Серпилин доел суп и не дал ей положить второе на другую, чистую тарелку.

— Сюда, в глубокую, зачем лишнюю посуду мыть? И много не кладите! Считал, что голодный, а на поверку — нет. А на будущее договоримся с вами так: моего тут теперь ничего нет — ни постели, ни простынь, вообще ничего. Все теперь тут ваше с ней. — Он кивнул на девочку. — И комната ваша, так на нее и смотрите... А мой здесь, будем считать, диван, на случай, если еще когда приеду. Вадим в письме написал про работу, что за работа?

— Он имел в виду у этого Филимонова в автомобильном управлении меня машинисткой устроить, я на машинке печатаю. Но я там не хочу.

— Почему?

— Не хочу.

Так и не объяснила, почему. То ли не нравится работа машинистки, то ли не понравился этот Филимонов. Не объяснила, но плечами пожала так, что он понял — не пойдет!

— Я, наверное, на швейную фабрику пойду. Я с одной в вагоне ехала, она рассказывала, у нее мать мастером в швейном цеху. У них там обмундирование шьют. Я ей уже сегодня звонила...

— На фабрику идти — действительно надо уметь шить, а не так, по-домашнему.

— А я умею. У нас в детском доме с пятого класса были кройка и шитье. И потом два года в пошивочной работала.

— Значит, детдомовская. И отца и мать потеряли?

— Мать рано потеряла,— сказала она. — Отец вскоре уехал, на тетку оставил. А тетка в детдом отдала...

— А где теперь отец?

Она пожала плечами.

— Не знаю.

— И когда же на фабрику?

— С понедельника пойду. Я не переживу здесь одна с ней сидеть,— кивнула она на девочку.

— А ее куда?

— А там, мне сказали, садик есть. Завтра пойду сама проверю. Если бы не она, я бы в армию пошла.

— Кем?

— Кем-нибудь. Я до войны по винтовке и нагану из всех положений на «отлично» сдала. Знаете, как у нас там, на Дальнем Востоке, жены комсостава...

Она немного споткнулась на слове «жены», но не дала себе воли, не заплакала.

— Знаю,— сказал Серпилин.

— А с ней как в армию? Мне ее в детский дом отдавать жалко, хватит, что сама была. Мы, конечно, хорошо в детдоме жили, а все-таки раз я жива, я ее не отдам. Прочли письмо?

— Да. Я его обратно положил.

— А вам он не написал?

— Нет. Месяц назад последний раз с ним здесь виделись, когда мать хоронили. А потом не писал...

— Вы месяц как его не видели, а я уже год... Как уехал из Читы. Он мне телеграмму дал, что мать схоронил, и что вас видел, и что вы разрешили нам приехать. Вместе с вызовом прислал, вызов тоже по телеграфу, заверенный...

«Да, значит, о том, что между нами было в ту ночь, ничего ей не написал»,— подумал Серпилин.

— Я чай принесу... — сказала она, собрав тарелки. — Оля, дверь открой.

Девочка вышла за ней, тихо притворив дверь, и, пока притворяла, Серпилин с тревогой видел ее маленькие пальцы на краю двери; видел и боялся, чтоб не прищемила.

Он развязал вещевой мешок, порылся и вытащил кусок толстого трофейного шоколада без обертки, просто в газете. Развернул и положил на стол.

Жена сына принесла чайник, подставку и второй чайник, с заваркой. Потом две чашки и в последний раз еще одну чашку и банку со сгущенным молоком. Сейчас, когда она несколько раз прошла взад и вперед, Серпилин заметил, что она хромает.

— Чего хромаете?

Она поставила на стол чашку и сгущенное молоко и, завернув подол платья, показала забинтованную в колене ногу.

— Такую перевязку сделали, что даже чулок сверху надеть не могу. Портянку в валенке ношу.

— Где же вас угораздило?

— В Барабинске, для нее,— жена сына кивнула на девочку,— у бабы стакан топленого молока купила, а пока расплачивалась, поезд пошел. Стакан проводнице отдала, а сама руками схватилась и сорвалась, коленку об платформу раскроила... В Омске, спасибо, долго стояли, в железнодорожной больнице посочувствовали, рану почистили и повязку с мазью наложили. А эта, пока меня там перевязывали, чуть из поезда не выскочила: «Где мама?» Привыкла ко мне, конечно, все вдвоем да вдвоем. Видели, как за мной ходит, не отлипнет...

Говоря это, она разливала чай; потом намазала сгущенное молоко на хлеб и подвинула девочке:

— Ешь. Самая любимая ее еда.

— А шоколад-то! — спохватился Серпилин.

Он взял шоколад и отломил несколько кусков.

— Никогда такого не видела,— сказала жена сына.

— Трофейный, немецкий. Они его последнее время своим на парашютах сбрасывали, а парашюты к нам попадали.

— Страшно там, наверное, было,— сказала она, и он понял, что сейчас, после потери мужа, она еще в таком состоянии, когда, думая о войне, все время думает только об одном — как там страшно. Страшно, потому что был человек — и нет. — Скажи спасибо дедушке...

Серпилин с непривычки даже не сразу понял, кому это сказано. А когда услышал послушное тоненькое «спасибо» и увидел обмазанную шоколадом пуговку носа, улыбнулся:

— Ешь на здоровье. У меня в мешке еще много, я его не люблю.

Сказал и увидел недоверчивые глаза маленького человека, услышавшего явную ложь и нелепость. «Ешь, ешь, я не люблю. Пей, пей, я не люблю» — наверное, не первый раз это слышит и, хотя всего три года, уже не верит...

— В самом деле не люблю, ей-богу!

— Пойдем, доченька, посуду помоем. — Жена сына встала, протянула девочке одну чашку, а все остальное забрала сама и пошла к дверям.

Серпилин, глядя ей вслед, подумал, что хотя она сейчас в валенках, и хромает, и немного сутулится, и нисколько не думает

о своей внешности, а все-таки она видная и довольно красивая, а главное, совсем еще молодая женщина. И как бы она сейчас ни горевала, жизнь для нее еще не кончилась.

Когда он в двадцать первом, после гражданской, приехал к своей будущей жене, вдове Васи Толстикова, выполняя данное ему обещание, то встретил ее такой одинокой и такой готовой ответить любовью на его любовь, что вначале даже не поверил своему счастью, был не готов к нему, потому что прошло тогда после смерти Толстикова всего два с половиной года и была Валентина Егоровна не только потом, а и в молодости строгой женщиной. Но раз отгоревала, значит, отгоревала; раз полюбила, значит, полюбила. А хранить верность мертвому для соседей и родственников — была не из таких, чтоб с этим считаться! А Вадиму шел тогда пятый год; не намного больше, чем теперь его дочери...

Жена сына вернулась одна. Серпилин взглянул на нее вопросительно. Уже привык за это время, что девочка ходит за ней хвостом.

— Моется после вашего шоколада. Сейчас укладывать ее буду. Вы все же хотите на диване?

— Уже сказал, чего к этому возвращаться?

Она кивнула.

— Вадим мне про вас говорил, что сказано — отрезано.

«А еще что он тебе говорил про меня?» — подумал Серпилин, глядя, как она, стоя спиной к нему, складывает вчетверо снятое с кровати покрывало.

— Мне Филимонов сказал, что его похоронили на станции, около школы, и название станции записал. Как вы думаете, можно будет нам туда на могилу съездить?

Он посмотрел на нее и, поколебавшись, все же ответил то, что думал:

— Навряд ли... Тем более пока фронт еще близко.

— Не до нас людям будет? —спросила она.

И он кивнул, радуясь, что женщина умная, и неплаксивая, и способная в своем горе думать не только о себе, но и о людях. А про себя подумал, что ехать туда ей не надо ни сейчас, ни потом. В наступлении, да еще зимой, похоронили где пришлось, в лучшем случае столбик с дощечкой воткнули, а через неделю уже не разберешь, где что, все под снегом.

Она вышла за девочкой и вернулась с ней.

— Укладывайте, я пока выйду, покурю. — Он встал.

— Курите здесь, вы, наверное, в комнате курить привыкли. Валентина Егоровна тоже курящая была, мне Вадим говорил.

— Да, бабушка у нее курящая была,— сказал Серпилин, с трудом совладав с голосом. — А я все же выйду...

«Бабушка, дедушка»,— думал он, шагая взад-вперед по тесной передней. Слова были непривычные. Бабушки обе уже умерли, а тот, второй дедушка, со стороны матери, двадцать лет в бегах... И, вполне возможно, сейчас где-нибудь на фронте... Сколько их теперь на войне, этих дедушек призывного возраста. Птицын, ординарец, тоже с декабря дед — письмо получил.

Почему сын уже перед самым отъездом на фронт все-таки не передумал — стронул семью, вызвал сюда, в Москву? Комната лучше, чем у них там, или надеялся, что с питанием будет лучше? Или предполагал, что туда, в Читу, до конца войны не вырвется, а сюда сумеет? А может, просто заранее думал о возможности своей гибели и считал, что если они будут в Москве, в отцовской квартире, то отец скорее сделает для них все необходимое? Ну что ж, мысль нормальная.

Серпилин прошел мимо телефона, задев локтем качнувшуюся трубку. И снова подумал о том, о чем думал уже много раз: когда он зазвонит, этот телефон, скоро или не скоро?

Жена сына приоткрыла дверь и вышла в переднюю.

— Что, уложила? — Серпилин незаметно для себя перешел с ней на «ты», как это у него почти всегда бывало с людьми, к которым он начинал хорошо относиться.

Она вздохнула. Лицо у нее было усталое, видимо, ей и самой хотелось спать.

— Я вам, как вы сказали, не стелила, только подушку на диван положила, а остальное все на стуле приготовленное... Может, пока так ляжете?

— Сейчас прилягу,— сказал он. — Ты там ложись пока, вижу, спать хочешь не хуже дочки, а когда ляжешь, крикни, я зайду.

Она кивнула и ушла. И едва ушла, как сразу зазвонил телефон.

Серпилин схватил трубку и услышал голос Ивана Алексеевича:

— Ты что же прячешься? Приехал, а...

Больше Серпилин ничего не услышал. В телефоне что-то звякнуло и разъединилось. Он покричал: «Алло, алло»,— повесил трубку, подождал немного, не будет ли нового звонка, и, решив — раз такое дело — сам позвонить навстречу, набрал номер телефона Ивана Алексеевича в Генштабе.

В ответ на просьбу соединить с генерал-лейтенантом незнакомый по фамилии майор ответил, что Ивана Алексеевича нет, и спросил:

— Доложить о вас генерал-лейтенанту Мартынову?

— Нет, не надо,— сказал Серпилин и положил трубку, уже понимая, что там, в Генштабе, произошли перемены. На месте адъютанта другой адъютант, а на месте Ивана Алексеевича, очевидно, этот Мартынов.

Он с усилием вспомнил старый-престарый домашний телефон Ивана Алексеевича и набрал номер. Просто так, на всякий случай, почти без надежды, но едва раздался первый гудок, как услышал знакомый голос:

— Вас слушают!

— Иван Алексеевич! Серпилин говорит.

— Я ему звоню, а он разговаривать не хочет, трубку вешает! — со смешком сказал Иван Алексеевич. — Давай приезжай ко мне, если свободен и адреса не забыл. Машину прислать или имеешь?

— Видишь ли, какое дело... — сказал Серпилин.

В трубке опять что-то звякнуло, оборвалось, и другой, уже не Ивана Алексеевича, голос откуда-то совсем близко спросил:

— Серпилин?

— Я.

— Спускайтесь, за вами выслана машина.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Когда Серпилину сказали «пройдите» и он открыл сначала первую, потом вторую дверь и вошел к Сталину, ему показалось, что в комнате никого нет. Он сделал несколько шагов, остановился и увидел Сталина, вдруг появившегося в глубине, наверно из-за какой-то другой двери. Серпилин стоял там, где остановился, а Сталин, заложив руки за спину, шел ему навстречу из глубины кабинета.

На Сталине была непривычная маршальская форма с широкими золотыми погонами и брюки навыпуск с красными лампасами. Он шел переваливаясь, казалось — даже чуть-чуть прихрамывая, но при этом так мягко ступая, словно на ногах у него были не ботинки, а мягкие кавказские сапоги.

Вот и все, что запомнил Серпилин до того, как, отрапортовав и протянув руку навстречу протянутой руке Сталина и близко увидев его лицо, испытал странное, почти нереальное чувство встречи с ожившим и стоящим перед ним портретом.

— Немного переменились с тех пор, как я вас видел. — Сталин мимолетно улыбнулся; Серпилин так и не понял — чему.

— А вы мало переменились, товарищ Сталин,— сказал Серпилин.

Сталин взглянул на него и, сделав левой рукой, в которой держал трубку, недовольный жест, которым отмахиваются от уже привычной неправды, правой медленно, словно нехотя, повел в сторону стоявшего вдоль стены длинного стола:

— Садитесь.

И, повернувшись, пошел к дальнему концу стола, где стояло одно кресло — его.

Серпилин не солгал: Сталин действительно мало переменился с тех пор, как Серпилин в последний раз близко видел его на торжественном выпуске академий в мае тридцать седьмого. Только спина стала старая, но это сделалось заметным лишь теперь, когда Сталин повернулся и пошел к столу.

«Семьдесят девятого, старше меня на пятнадцать лет»,— идя за ним к столу, подумал Серпилин, хотя до этого никогда в жизни не думал о том, на сколько лет Сталин старше его.

Он подошел к столу и сел за три стула от Сталина. Сесть ближе за таким длинным столом почему-то показалось неловким.

Сталин посмотрел на него и, ковыряя трубку спичкой, усмехнулся.

— Политбюро здесь нет, садитесь на его место. — А когда Серпилин пересел, спросил вдруг, без предисловий: — Вы написали мне, что мы напрасно арестовали командарма второго ранга товарища Гринько?

Гринько был комкор, а не командарм второго ранга, Сталин спутал, но Серпилин не решился его поправить.

— Я встречался с ним и на очной ставке, и в лагерях, товарищ Сталин. Он был глубоко предан вам.

— Это я уже читал. Я спрашиваю вас: вы совершенно уверены, что мы его напрасно арестовали? — Сталин посмотрел Серпилину в глаза. И Серпилину стало не по себе от этого пристального, привычно и холодно сознающего свою силу и власть взгляда. И, почувствовав, что ему страшно и что если не выдавить из себя этот страх сразу, с самого начала, потом его уже не выдавишь, ответил резким и неожиданно громким в пустой комнате голосом, в котором от напряжения послышался даже вызов:

— Совершенно уверен. Как в самом себе.

Сталин посмотрел на него с каким-то странным выражением лица — как будто его удивило, что люди еще способны так говорить с ним,— и поднялся. Серпилин поднялся тоже, не понимая, что это значит,— может быть, конец разговора? Но Сталин остановил его мягким, повелительным жестом руки. Остановил и пошел вдоль стола. И Серпилин, которого Сталин заставил сидеть, повернулся на стуле в его сторону.

Сталин молча дошел до другого конца стола, вернулся, и

опять пошел, и, проходя мимо Серпилина, еще раз пристально посмотрел ему в глаза. Посмотрел и пошел дальше и там, у другого конца стола, еще не поворачиваясь, что-то сказал себе под нос, так тихо, что Серпилин только благодаря крайнему напряжению, в котором находился, уловил это сказанное себе под нос Сталиным:

— Если найдем — пересмотрим.

Сталин вернулся, сел за стол и, не глядя на Серпилина, так, словно ни на секунду не сомневался, что каждое его слово, конечно, услышано, спросил:

— Другие вопросы ко мне есть?

— Есть один вопрос, товарищ Сталин,— сказал Серпилин, только теперь начиная сознавать все значение буркнутого там, спиной к нему, слова «пересмотрим».

— Слушаю вас.

Серпилин сказал об услышанном вчера ночью от Захарова — что Управление тыла поторопилось с отменой полевых денег и с переводом войск на вторую норму довольствия.

— Перестарались,— сказал Сталин. — Мы их уже поправили. А теперь у меня к вам несколько вопросов. Первый: почему ходите в старой форме?

Серпилин ожидал от Сталина какого угодно вопроса, только не этого.

— У нас там еще нет новой, товарищ Сталин,— сказал Серпилин. — Впервые увидел ее сегодня в Москве.

— Значит, здесь есть, а там нет,— сказал Сталин. — Не торопятся. Думают, что здесь это важно, а там не важно. Нас здесь одевают, а вас там одеть не торопятся. А с другими вопросами, наоборот, слишком торопятся!

Он несколько секунд молчал, так, словно забыл, о чем еще хотел спросить Серпилина, потом усмехнулся:

— Второй вопрос касается уже не формы, а содержания. Как смотрите на то, чтобы принять на себя командование армией?

— Как прикажете, товарищ Сталин.

— В ноябре сорок первого года вы прислали мне письмо, просили отправить вас на фронт, невзирая на состояние здоровья. Как теперь ваше состояние здоровья?

— Намного лучше, чем тогда, товарищ Сталин.

— Значит, утвердим. Раз вы не возражаете,— снова усмехнулся Сталин и, увидев в глазах Серпилина вопрос, молча позволил его задать.

— Когда и куда ехать, товарищ Сталин?

— Туда, где были,— сказал Сталин. — Товарищ Батюк засиделся на армии. С начала войны командует армиями. Не растет.

Есть мнение — повысить. Дать возможность шире развернуть свои способности.

В словах Сталина заключалась какая-то ирония, в этом сомневаться не приходилось, но непонятно было, к чему она относилась, если речь шла не о понижении, а о повышении.

— Третий вопрос,— сказал Сталин. — Как вы на личном опыте оцениваете уроки закончившейся операции, состояние войск и готовность их к новым действиям?

Серпилин сказал в ответ то, что думал: войска в закончившейся операции действовали неплохо. Некоторые просчеты связаны с тем, что для большинства это первый опыт крупных наступательных боев, а излишние потери чаще всего объяснялись еще не изжитым шаблонным стремлением к фронтальному продвижению. Установка — каждый день, везде, хоть на шаг, вперед! — иногда дорого обходилась. Случалось, что зря клали людей, захватывая несколько сот метров ничего не решавшего пространства, которое бы и так попало нам в руки сразу после захвата той или иной ключевой позиции. Сказал и об артиллерии: что использование ее мощи общевойсковыми начальниками оставляет желать лучшего. Все еще сказывается недостаточное понимание того, что в условиях современной войны, требуя продвижения от пехоты, надо продвигать вперед и огонь.

Говорил все это, радуясь, что Сталин слушает и не прерывает. Говорил внешне спокойно, а внутренне очень волнуясь, понимая, что это и есть самое главное, что он обязан сказать. И его судьба, будь он начальником штаба или командующим, все равно всего-навсего одна судьба, и даже судьба Гринько — тоже только одна судьба. А то, о чем он сейчас говорил и что Сталин слушал не перебивая, касалось ежедневно и ежечасно тысячи людских судеб. Касалось стиля руководства войной и того подстегивания, которое — как намекают знающие люди — идет с самого верха и порой толкает тех, кто внизу, на показные успехи и лишнюю кровь.

Серпилин сознавал, что говорить на эту тему опасно, но все-таки говорил, хотя и осторожно, тщательно выбирая слова.

Сталин слушал, не глядя на него. Потом, когда Серпилин замолчал, сказал:

— О прошлом ясно. Теперь о будущем. Как оцениваете состояние своей армии сегодня?

И хотя Серпилин понимал естественность этого вопроса, однако слова Сталина резанули его. Разве все, что он говорил, он говорил о прошлом? Он меньше всего говорил о прошлом. Он ни на кого не кивал, говорил об ошибках, как о собственном опыте, не только потому, что понимал, чего может стоить отрицательный отзыв, данный о ком-то здесь, в этом кабинете, но и дей-

ствительно считал это малосущественным. Дело было не в прошлом, тем более что оно закончилось победой, а в том, чтобы не повторять ошибок и не множить излишних потерь. Неужели Сталин не понял самого главного? Этого просто не могло быть!

Со смятением в душе Серпилин стал говорить о сегодняшнем состоянии своей армии. И тут Сталин, выйдя из безразличной задумчивости, оживился, как человек, наконец услышавший то, что его действительно интересовало. Он сразу начал прерывать и ставить вопросы по ходу дела: о цифрах потерь во всех видах вооружения, состоянии транспорта, убыли в личном составе, сроках, в которые можно принять и обучить пополнение. Но хотя вопросов было много, чувствовалось, что его интересует только одно: когда армию можно снова бросить в бой как полноценную силу?

Отвечая на его вопросы, Серпилин вдруг сказал то, о чем не раз за войну думал,— что раненый солдат, попав за пределы медсанбата, у нас, как правило, уже не возвращается в свою часть, и это неверно, потому что повышение боеспособности частей, куда после ранений будут возвращаться служившие в них солдаты, с лихвой окупит все сложности, связанные с дополнительными перевозками.

Сталин выслушал, но, как показалось Серпилину, и на этот раз отбросил в сторону то главное, в чем Серпилину хотелось его убедить, и задал вопрос, относившийся только к данному моменту: сколько это может дать пополнения на передовую людьми, имеющими опыт сталинградских боев, в течение ближайших трех недель в масштабах армии? Серпилин назвал примерные цифры. На отрезке трех недель они, конечно, были невелики, но ведь он имел в виду не это, а необходимость ломки всей системы, при которой раненые не возвращались в свои части!

— Да,— вдруг сказал Сталин. — Будем готовиться к лету. — И, посмотрев мимо Серпилина на висевшую на стене карту, спросил: — Как показали себя в боях наши танки Т-34?

Серпилин сказал, что танки Т-34, по его мнению, хороши, но он лично в этом вопросе недостаточно компетентен: пока еще не взаимодействовал с ними в крупных масштабах, хотя впервые увидел их зимой сорок первого.

— Первые танковые батальоны были перевооружены ими еще в сороковом,— сказал Сталин.

В его голосе, кажется, прозвучал оттенок удивления тем, что Серпилин так поздно познакомился с этими танками. И Серпилин неожиданно для себя сказал то, что было совсем не обязательно говорить:

— В сороковом году, товарищ Сталин, я еще был в гостях у Николая Ивановича.

— У какого Николая Ивановича? — спросил Сталин с какой-то даже веселой заинтересованностью, вызванной неожиданностью ответа.

— Мы, военные, когда сидели, Ежова так между собой называли,— сказал Серпилин: отступать было поздно, раз сорвалось, надо договаривать.

Сталин рассмеялся. Потом перестал смеяться и, мягко коснувшись рукой плеча Серпилина, сказал с насмешливой укоризной:

— Нашел время, когда сидеть! — и, отодвинувшись вместе с креслом от стола, посмотрев мимо Серпилина, с силой повернул в пальцах даже скрипнувшую от этого трубку. — Ежова мы наказали.

Сказал так, что у Серпилина мороз прошел по телу, поднялся и пошел через весь кабинет. А Серпилин, следя за ним глазами, пока удалялась его спина, думал: вот сейчас возьму и скажу ему все, все, что в глубине души думаю о том времени! Скажу, что не просто я и не просто Гринько, а почти все, с кем встречался там, в лагерях, и военные и невоенные, почти все зря — ни за что, по клевете, по доносам, по каким-то черным, неизвестно откуда взявшимся спискам. И со всеми с ними, с кем еще и сейчас не поздно, надо что-то сделать — пересмотреть, спросить, узнать не по протоколам допросов, а как было на самом деле, послать комиссии и узнать наконец всю правду, кому и зачем все это понадобилось тогда сделать — не одному же Ежову, какая бы он ни был гадина!

«Сделайте это, товарищ Сталин! Сделайте это, пока не поздно, пока люди еще живы и продолжают на вас надеяться!» — хотелось крикнуть ему.

А Сталин повернулся и шел теперь обратно, лицом к нему, и Серпилин на мгновение вспомнил это лицо тогда, в мае тридцать седьмого, на торжественном выпуске академий. Лицо было такое же спокойное, как сейчас, а через неделю после этого арестовали Тухачевского, Якира, застрелился Гамарник, и началось, и пошло!

Тогда вначале, после первого закрытого военного процесса, он с ужасом поверил, что заговор был. Не мог не поверить: что же другое, кроме существовавшего в действительности страшного, авантюристического, в последний момент разоблаченного заговора, могло поставить к стенке этих людей, еще месяц назад считавшихся цветом армии? И лишь потом, когда собственная судьба столкнула его с нелепыми и чудовищными обвинениями, предъ-

явленными людям, которым и не снилось то, в чем их обвиняли, — лишь тогда, даже не в тюрьме, а уже в лагерях, его начала тяготить мысль: а может, и тогда, с теми, вначале, было то же самое, что с ним и с другими потом?

Он смотрел на приближающегося Сталина и думал: «Сейчас скажу: «Товарищ Сталин, выясните все, поручите! Все с самого начала, именно с самого начала!»

Сталин подошел, сел, ковыряя над пепельницей в трубке, подался вперед, и Серпилин, в порыве чувств уже готовый сказать ему все, что собирался, вдруг близко, вплотную увидел безжалостно-спокойные глаза Сталина, занятые какой-то своей, может быть вызванной воспоминанием о Ежове, далекой и жестокой мыслью. Увидел эти глаза и вдруг понял то, о чем до сих пор всегда боялся думать: жаловаться некому!

— Что-то хотели сказать? — спросил Сталин, и Серпилину на секунду показалось, что Сталин видит сейчас все то, о чем он думает. Но эта секунда прошла, и он понял, что Сталин просто смотрит на него, видимо больше не имея к нему вопросов и ожидая, что он попросит разрешения быть свободным.

— Разрешите идти, товарищ Сталин? — поднялся Серпилин.

Сталин, держа в правой руке трубку, которую так за все время и не закурил, немножко повел в сторону рукой вместе с трубкой, как бы говоря: «Ну что ж, раз вам нужно, идите, не держу...»

И было в этом жесте что-то одновременно и высокомерное и гостеприимное, как будто, несмотря на всю дистанцию между ними, Сталин не мог до конца уволить себя от роли хозяина, к которому пришел гость. Он немножко задержал руку в этом неторопливом жесте и медленно встал.

— До свидания, товарищ Серпилин. Какие-нибудь личные просьбы у вас есть?

— Могу немедля отбыть в армию, товарищ Сталин. Но если возможно, прошу сутки на устройство личных дел в Москве.

Сталин поднял на него глаза, казалось, хотел спросить: какие такие личные дела? Но не спросил, а только сказал:

— Разрешаю... — И скупым жестом показал на дверь: — Там скажите им...

Серпилин сдвинул каблуки, повернулся и пошел и, уже закрывая дверь, еще чувствовал на своей спине взгляд Сталина.

А Сталин, проводив его долгим взглядом, не меняя направления, пошел в ту же сторону вслед за ним.

Серпилин, уходя, считал, что его судьба уже окончательно решилась в разговоре со Сталиным. Но на самом деле она до конца решилась не тогда, в разговоре, а сейчас, когда Сталин

молча смотрел ему в спину. Он часто вот так окончательно решал судьбы людей, глядя им уже не в глаза, а в спину, когда уходили.

Сталин дошел вслед за Серпилиным до двери, медленно повернулся и так же медленно пошел назад.

«Оказывается, эти военные там, у себя в лагерях, называли этого Ежова по имени и отчеству — Николаем Ивановичем. Придавали этому слишком маленькому человеку слишком большое значение. С политической точки зрения не так плохо, но смешно!»

Сталин вспомнил, как выглядел Ежов во время последнего разговора с ним здесь, за этим столом, и, остановившись посреди кабинета, негромко, один на один с собой, рассмеялся. Потом подошел к столу, потянулся к трубке телефона, но отвел руку и снова стал ходить. Не став этого делать при Серпилине, он теперь все-таки захотел, проверяя свою память, позвонить насчет того человека, про которого сказал Серпилину: «Если найдем — пересмотрим...» Но пока тянулся к трубке, напряг память и, кажется, вспомнил...

Звонить было незачем. Тогда, в октябре, в критические дни после сдачи Можайска, он распорядился ликвидировать многих из тех, кто еще сидел и кого он, с основаниями или без оснований, считал опасными для себя в случае военной катастрофы. В том списке этого человека не было. Но потом, когда в июле сорок второго, снова расценивая положение как отчаянное, он позвонил и приказал Берия подготовить еще один список,— в том втором списке этот человек был...

Если он ошибся и этого человека все-таки не расстреляли тогда, можно было теперь проверить это, освободить и послать его на фронт. Но он не любил проверять свою память, которой имел основание гордиться. Не любил не потому, что кто-нибудь мог выставить напоказ ошибку его памяти,— мало кто бы на это решился,— а потому, что, уже давно и беспощадно вытаптывая вокруг себя людей, он внутри этой созданной им пустоты одиноко вел счеты с самим собой и сам ставил себе в упрек и ошибки памяти, и вообще ошибки или, верней, то, что наедине с собой изредка соглашался считать своими ошибками.

Бывший командарм второго ранга Гринько был расстрелян в июле сорок второго года по месту заключения... Память Сталина зацепилась за какое-то противоречие, которое было, но которого он сначала не заметил. Этот Серпилин писал: «Комкор...» А там, в том списке, стояло: бывший командарм второго ранга. Да, так оно и было!

В тридцать седьмом он хотел назначить этого человека в Белоруссию вместо Белова и уже сказал, чтобы ему присвоили

звание командарма и вызвали с Дальнего Востока в Москву, а на следующий день передумал... У него были тогда колебания относительно этого Гринько...

Теперь Сталин окончательно вспомнил, как это было, и, подумав о Серпилине, усмехнулся решимости последних строк его письма,— что если товарищ Сталин ему доверяет, то, значит, этот Гринько должен находиться там же, где он,— на фронте. А если товарищ Сталин ему не доверяет, то он должен находиться там же, где этот Гринько,— в лагерях.

Уже отправив письмо, Серпилин несколько раз тревожно думал, что эта фраза может все погубить. Но произошло как раз наоборот. Сначала эта непривычная по своей резкости фраза заставила тех, от кого это зависело, сразу же доложить письмо, независимо от их отношения к сути дела. Не доложить письма, содержащего такую фразу, было опасно. А потом, когда о письме доложили и Сталин прочел его, эта фраза обратила на себя его внимание гораздо больше, чем воспоминания о встрече в восемнадцатом году, под Царицыном, которыми Серпилин, очевидно, надеялся затронуть его душу. К этим воспоминаниям Сталин относился так же равнодушно, как и ко многим другим. В его долгой жизни было слишком много воспоминаний, которые обычно считаются к чему-то обязывающими, но через которые он с легкостью переступал. Большинство их теперь уже было связано с людьми, от которых он счел нужным навсегда освободиться. И если бы он отступал перед какими-то воспоминаниями, вместо того чтобы переступать через них, он бы не считал себя тем, кем привык считать,— политиком, способным решать судьбы революции, не отступая ни перед чем, в том числе и перед собственными воспоминаниями.

Воспоминания Серпилина нисколько не тронули Сталина. Решительность письма — вот что заинтересовало его. Рядом с деспотическим требованием полного повиновения, которое было для него правилом, в его жестокой натуре, как оборотная сторона того же правила, жила потребность встречаться с исключениями. В нем по временам появлялось нечто похожее на вспышки интереса к людям, способным на риск, на высказывание мнений, идущих вразрез с его собственным, действительным или предполагаемым. Зная себя, он знал меру этого риска и тем более способен был оценить его. Иногда. Потому что гораздо чаще бывало наоборот, в этом и состоял риск.

Серпилин, когда писал, не думал об этом, но резкость письма вызвала не только обостренный интерес Сталина — его обостренный интерес к людям часто плохо кончался для них,— но и мимолетное чувство уважения. В этих случаях он иногда так

поспешно выдвигал людей, словно торопился решить их судьбу, прежде чем утратит к ним свое капризное и непрочное доверие.

В последней фразе письма, попавшей на глаза Сталину, Серпилин поставил свою судьбу в прямую зависимость не от собственной правоты или неправоты, а от меры доверия к нему товарища Сталина. Если полностью верит мне, значит, должен поверить и тому, за кого я ручаюсь. А если не верит мне, то я не хочу жить...

Так прочел это Сталин и, подчеркнув синим карандашом последние строки, отдал письмо помощнику, сказав, чтобы ему напомнили, когда в Сталинграде все будет закончено. А вчера вспомнил сам, раньше, чем ему напомнили. Вспомнил, разговаривая по ВЧ с командующим фронтом, и вдруг спросил его, какого он мнения о Серпилине как о начальнике штаба армии. Тот ответил, что высокого.

— Достоин выдвижения на командующего армией? — спросил Сталин.

— В принципе вполне,— ответил командующий фронтом с той мерой дипломатии, какую в данном случае посчитал себя обязанным проявить. Какого бы он ни был мнения о том или ином из своих подчиненных,— сразу после победы командующих не меняют.

— А если не в принципе, а у вас? — спросил Сталин и, сделав долгую паузу, добавил: — Думаем взять от вас товарища Батюка на повышение. Заместителем командующего фронтом.— И, не сомневаясь, что получит утвердительный ответ, но не желая получать его раньше, чем сам увидит Серпилина, сказал: — Подумайте. Позже вернемся к этому вопросу.

Теперь вопрос был решен. Человек, который понравился ему по письму, понравился и при встрече,— и Сталин был доволен этим: он любил в себе проницательность, и действительную и мнимую.

На минуту ему показалось даже, что он вспомнил Серпилина таким, каким тот был тогда, в восемнадцатом, хотя на самом деле он этого не помнил. Он хорошо помнил ту свою царицынскую поездку в войска, хотя бы потому, что она была почти единственной. Он не только теперь, но уже и тогда не любил ездить в войска, в глубине души боясь людей, не отделенных от него достаточной дистанцией. Когда-то, вначале, он обычно оправдывал недостаток желания отсутствием необходимости, а теперь уже не трудился объяснять это даже самому себе. Он хорошо помнил себя и ход своих мыслей в те дни, но людей, с которыми встречался тогда на фронте, почти не помнил. Не потому, что у него

память была хуже, чем у них, а потому, что у них было гораздо больше причин вспоминать о встрече с товарищем Сталиным, чем ему о встрече с ними.

Он усмехнулся, вспомнив удивленное лицо Серпилина, узнавшего, что ему предстоит сменить Батюка. Удивление это позабавило Сталина своей бессмысленностью, потому что, хотя он и сказал вчера командующему фронтом: «Подумайте»,— на самом деле судьба Батюка была предрешена еще третьего дня, когда от тех, кому положено этим заниматься, пришла и легла на стол агентурная запись одного разговора Батюка, видимо в подпитии на радостях победы. Высоко, с благодарностью отзываясь о мощи присланной на фронт товарищем Сталиным артиллерии, генерал-лейтенант Батюк, оказывается, при этом вспоминал, как он вместе с товарищем Сталиным воевал в Первой Конной и как товарищу Сталину, который теперь, можно сказать, сам стал богом войны, приходилось тогда, в гражданскую, объяснять, с какого конца заряжается пушка — с дула или с казенной части.

Разумеется, он, Сталин, никогда не задавал этому дураку таких дурацких вопросов; все это не более чем глупый анекдот, рассказанный глупым человеком, и мимо этого можно было бы пройти. Иногда он по первому разу проходил мимо таких вещей с усмешкой, не обещавшей, однако, ничего хорошего в будущем. Но на этот раз что-то сразу укололо его, и это что-то была обида,— вопреки им самим поддерживаемому мнению, что он выше таких вещей, он не был выше их. При всем своем нечеловеческом презрении к людям он все еще не утратил такой человеческой черты, как способность обижаться на них. Он давно уже знал цену Батюку и, выдвигая его в разные периоды его жизни, делал это не потому, что преувеличивал способности Батюка, а отчасти по старой привязанности, или, точней, привычке, а отчасти потому, что Батюк все эти долгие, полные всяческих подозрений годы казался ему достаточно надежным исполнителем всего, что бы ни приказали. В нем было нечто до поры до времени возмещавшее в глазах Сталина недостаток способностей и знаний, и поэтому Батюк перед войной упорно двигался вверх, занимая одно за другим освобождавшиеся места. И если бы он, товарищ Сталин, не двигал и не расчищал Батюку дорогу, то, конечно, Батюк не встретил бы войну в должности командующего округом.

Только дурак мог не понимать и этого и того, что уже во время войны, после неудач, были охотники снять его с армии. Видимо, не понимал, иначе бы не шутил. Двойной дурак: не подумал, над кем шутит, и не подумал, при ком шутит. Так пусть же теперь этот великий специалист по артиллерии получит — так и быть — своего «Кутузова» за Сталинград и едет на Север,

в болота, заместителем к человеку, который когда-то командовал у него в округе полком, к человеку, которому товарищ Сталин не помогал, которого товарищ Сталин не выдвигал, который сам выдвинулся, и не перед войной, а во время войны.

Он посмотрел на часы, подошел к столу, нажал кнопку и, уже нажимая ее, забыл и о Батюке и о Серпилине.

— Моряки здесь? — спросил Сталин у вошедшего на звонок помощника.

— С аэродрома доложили, что уж выехали.

— Пригласите сразу же,— сказал Сталин и пошел к столу с картой, на которую была нанесена утренняя обстановка.

Армии из-под Сталинграда высвободились, но по докладам Генштаба, командующего фронтом и начальника военных сообщений выходило, что на пополнение и переброску все они в один голос запрашивают больше времени, чем он ожидал. Если бы там, на фронте, начав десятого января наступление, кончили все в неделю, как он им наметил, то и первоначальные сроки готовности этих освободившихся армий к вводу в новые операции сходились бы с действительностью. А теперь не сходятся, потому что они там нарушили намеченные им сроки.

Военные итоги сталинградского котла очень велики, а политические результаты вообще неисчислимы! Но в ближайшем будущем многое тревожит. Немцев на Кавказе не сумели захлопнуть, позволяют им вытаскивать по частям свою группу армий «Юг» через Ростов на Украину. Недавние малоуспешные бои на Западном фронте показали, что против Москвы по-прежнему стоит сильная группировка, не смогли ее разбить! И как всегда, конечно, оправдывают свои неудачи тем, что он им дал мало техники!

С одного из танковых заводов доносят о сбоях в росте продукции и, вместо того чтобы самим устранить свои провалы, хнычут. Изображают себя в своих телеграммах добрыми людьми, просят улучшить продовольственное положение. Не придумали ничего нового! Потери техники в танковых корпусах в ходе зимних операций оказались непредвиденно большими. Все они там, на фронте, не видят дальше своего носа, думают только о сегодняшнем дне и все просят пополнения материальной части! И приходится кое-что давать, в том числе и запланированное на лето.

А каким оно будет, это третье лето?

Союзники по-прежнему не идут дальше поздравлений с победами и туманных обещаний воспользоваться любыми возможностями для нанесения удара по Германии, из которых уже ясно, что второй фронт в Европе не будет открыт и этим летом.

Он с раздражением вспомнил о последнем, особенно уклончивом совместном послании Рузвельта и Черчилля. Сегодня он был еще бессилен заставить их поступить так, как это нужно ему. Иногда это чувство бессилия, соединенное с чувством одиночества, доводило его до холодного бешенства. Он был один против них двоих в этой сложной и утомительной игре, один против двоих сейчас, в этой переписке, и будет один против двоих, когда они наконец встретятся. Такова пока логика фактов, несмотря на то что он собирается с нею мириться.

Момент личного состязания умов, конечно, занимал для него громадное место во всей этой дипломатии, и от неудач в ней страдало его неукротимое, хотя и редко прорывавшееся наружу честолюбие. Но холодное усталое бешенство, которое он испытывал сейчас при мысли о союзниках, было гораздо более сложным чувством.

Он не любил людей, над которыми после долгой и беспощадной борьбы поставил и утвердил себя. Но страна, в которой жили эти люди, была его страной, он уже много лет со спокойным высокомерием отождествлял себя с нею и сейчас ощущал как личную тяжесть — до поры до времени неизбежное одиночество этой страны в капиталистическом мире, хотя и разодранном напополам войной, но в конечном-то счете все равно едином в своем неприятии нас.

На этот раз он именно так и подумал, «нас», хотя гораздо чаще привычно произносимое им вслух «мы» было только предназначенным для чужих ушей иносказанием мысленного «я».

Дверь открылась, и он пошел из угла кабинета навстречу входившим морякам, покручивая в пальцах трубку и глядя в пол, чтобы вошедшие не увидели его глаз, еще не погасших после вспышки гнева. А когда поднял их, то у него снова было то годами, тщательно, навсегда выработанное выражение лица, которое должно было быть в присутствии этих людей у товарища Сталина, как он уже давно мысленно, а иногда и вслух, в третьем лице, называл самого себя.

Моряки летали по его приказанию на Дальний Восток и должны были доложить о мерах, принятых к усилению береговой обороны и Тихоокеанского флота на случай войны с Японией.

«Но что бы они сейчас ни доложили и какие бы меры ни приняли, все равно они правы, когда говорят, что до тех пор, пока мы не вернем себе Южный Сахалин и Курилы, наш флот там в вечной ловушке и особенно много при таком положении не сделаешь»,— подумал он, пожимая руки вошедшим морякам и спрашивая у них, как долетели из Владивостока.

Состояние потрясенности, в котором Серпилин вышел от Сталина, не оставляло его до дома. Он механически сделал все, что положено,— простился с разминувшимся с ним посреди приемной помощником Сталина, взял отмеченный пропуск и четыре раза в разных местах предъявлял его — в последний раз уже при выезде из Кремля, сидя в машине рядом с сопровождавшим его туда и обратно майором.

Казалось бы, все хорошо — Гринько завтра же начнут искать в лагерях и, если найдут, вернут. А происшедшее сегодня с тобой самим есть исполнение самого большого твоего желания, тем более что твердо веришь в себя, веришь, что как командующий будешь сильней Батюка и принесешь больше пользы, чем он. Этого чувства никто у тебя не отнимет, и оно не только личное, в нем частица тех общих перемен, которые по ходу войны все очевидней и неотвратимей происходят в армии. Все больше приходит на разные должности людей, которые действительно могут их исполнять на войне, а многие из тех, о ком только считалось, что могут, с почетом или без почета отходят в сторону от главных дел войны.

Казалось бы, все хорошо. А на душе смертельная тяжесть! Как свойственно всякой здоровой натуре, Серпилин, стремясь справиться с испытанным им потрясением, мысленно выдвигал на первый план хорошие стороны происшедшего. Но до конца восстановить в себе равновесие ему так и не удалось: то, что он прочел в глазах Сталина, было слишком страшным даже для такой сильной души, как его.

Все это было как длинный коридор, где по дороге и вопрос, веришь ли Гринько, как самому себе, и назначение командующим армией, и смех, когда объяснял про «Николая Ивановича», и мягкое прикосновение руки к плечу: «Нашел время, когда сидеть»,— и слова: «Ежова мы наказали»,— но в самом конце этого мысленного коридора, как в тупике, были глаза, сказавшие: жаловаться некому! Несмотря на свою мгновенность, это было, наверное, самое ужасное открытие, сделанное Серпилиным в жизни. И прочел он это в глазах человека, который второй год стоял во главе не на жизнь, а на смерть воевавшей страны и — в этом Серпилин не мог позволить себе усомниться,— очевидно, делал сейчас для победы все, на что был способен. Сталин и сейчас, несмотря на эту страшную, прочтенную в его глазах догадку, остался для Серпилина человеком, которого надо было, не колеблясь, заслонить собой, если б в него стреляли. И, вздрогнув оттого, что ему пришла сама мысль об этом, Серпилин вдруг подумал: «А может быть, все-таки тогда, в тридцать седьмом, в него

действительно собирались стрелять и с этого все и началось?» Да, Серпилин закрыл бы его собой сейчас не только по долгу солдата, но и из убеждения, что его смерть была бы несчастьем для воевавшей страны и имела бы неисчислимые последствия.

Он с ненавистью подумал о немцах, о том, как бы их обрадовала эта смерть, и вспомнил, как на дневке, когда шел с полком занимать оборону у Могилева, они слушали по рации выступление Сталина. Их потрясло тогда не только то, что они услышали, но и то, как вдруг заговорил Сталин — по-другому, чем всегда, заговорил, как человек, связанный со всеми ними общим горем, которое вместе хлебать.

Кто знает, чем они тогда были вызваны на самом деле, эти внезапные слова: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои»,— просто волнением или вдруг в ту минуту вернувшимся под грузом невзгод ощущением своей зависимости от народа?

Серпилин не вдавался в это, но само воспоминание было для него очень важным, и важность его сохранялась до сих пор.

Он сначала даже не понял, почему так ухватился за это воспоминание. А ухватился потому, что оно облегчало мысль о глазах, которые увидел сегодня, помогало думать, что страшное, увиденное в этих глазах, теперь уже в прошлом, только в прошлом. И сам вызов по письму, и обещание искать Гринько, и слова про Ежова — все, казалось, подтверждало это.

Он убеждал себя, что это так и не может быть иначе, и уже, казалось, убедил, но что-то продолжало мешать этому удобному, с трудом добытому состоянию успокоенности. Что-то мешало, задевало, терло, словно незаметно для себя наизнанку надел рубашку. И вдруг понял: мешало то, как Сталин слушал сегодня про лишние людские потери, слушал совершенно равнодушно, как о чем-то уже давно и бесповоротно решенном им самим и с тех пор не относящемся к делу.

За всеми этими мыслями Серпилин даже не заметил, как машина подъехала к его дому. Хотел было попросить, чтоб его завезли прямо к Ивану Алексеевичу, но махнул рукой и вылез.

«Сейчас поднимусь, позвоню ему и сразу же пойду. Пройтись пешком даже лучше».

Когда Серпилин открыл дверь своим ключом и вошел в переднюю, навстречу ему из своей двери выскочил Гриша Привалов.

— Здорово. — Серпилин пожал ему руку. — Чего не спишь? Или только пришел, шляешься?

— Я уже час как пришел. Вас дожидался. Мне Аня сказала,— кивнул Гриша на чуть приоткрытую дверь в комнату Серпилина. Сказал о вдове сына, как о девочке из своей школы. — Вы надолго приехали?

— Завтра еще буду, так что поговорим. — Серпилин уже взялся за трубку телефона и задержал руку. — Где мать?

— На дежурстве.

— Как она?

— Психует. — Гриша так горестно мотнул головой, что Серпилин почувствовал всю глубину его сострадания к матери.

— Ладно, завтра поговорим,— повторил Серпилин и стал набирать номер. Мальчик кивнул, но не уходил. — Иван Алексеевич?

— Куда ты пропал?

— Вызывали.

— Так и подумал, когда прервали разговор,— сказал Иван Алексеевич. — Приедешь? Или другие планы?

— Сейчас приду.

— Почему приду?

— Пройтись хочу. Может, даже заночую у тебя, если койка есть.

— Койки есть, сна нет,— сказал Иван Алексеевич. — Отвык спать. Вторые сутки обратно привыкаю. Иди, жду. — Он повесил трубку.

Серпилин тоже повесил трубку и увидел недовольное лицо Гриши. Наверно, все-таки рассчитывал побеседовать не завтра, а сейчас.

— Пойдете?

— Пойду.

— А ночной пропуск у вас есть?

— Пропустят.

— А я вам картошки нажарил. — Мальчик кивнул на дверь. — Она сказала, вы скоро придете.

— Ладно. Навернем перед дорогой твоей картошки, раз нажарил. Пойдем на кухню.

Серпилин повернулся и увидел, что жена сына стоит в дверях, все в том же бумазейном платье и валенках. Видимо, не ложилась, ждала его возвращения.

— В комнате поедите,— сказала она. — Я чай подогрею, завернутый стоит.

— А ты чего не спишь? Кто тебя об этом просил?

Она ничего не ответила, только шире отворила дверь в комнату и сказала:

— Заходите.

— Дочку не разбудим?

— Нет. Ей только заснуть, а потом... — Она махнула рукой.

Серпилин вошел в комнату, посмотрел на диван, на котором в головах лежала подушка, а в ногах разостланная газета — на случай, если он приляжет, не раздеваясь, а рядом на стуле были

сложены простыни и одеяло — на случай, если разденется,— потом бросил взгляд на кровать. Девочка спала там, где ее уложила мать, завалившись в уголок. Остальная постель была не смята. Значит, мать не ложилась, ходила-бродила. Всего пятый день, как узнала. Другие еще голосить не перестают.

Серпилин сел за стол; жена сына сняла с настольной лампы прикрывавшие ее газеты.

— Чего от нас ночевать уходите? Выходит, мы вас выжили.

Он повернулся, не хотел этого разговора при Грише, но мальчика не было: пошел за своей картошкой.

— Не будь дурой. К товарищу иду. Новости по службе — хочу поделиться. Не сюда же его звать, у вас над головой сидеть.

— А вы сидите, я в коридор уйду,— возразила она.

Да, сын был не дурак, что эту выбрал. А может быть, не он ее, а она его? Это только по привычке так думают, а на деле кто посильней душой, тот и выбирает.

— Ты не обижайся. Сама посуди: удобно ли человеку, чтобы он пришел, а ты в коридоре сидела? А разговор с ним должен быть с глазу на глаз. Чай подогреть хотела, иди подогрей, мне идти надо.

Она молча вышла, а Гриша, разминувшись с ней в дверях, вошел со своей картошкой.

— Сам-то ел?

— Ел.

— Значит, с новой хозяйкой познакомились? — спросил Серпилин, принимаясь за картошку.

— Познакомились,— сказал Гриша и, словно угадав, что Серпилин хочет знать его мнение о ней, добавил: — Она ничего, трудовая.

— А мать что о ней думает? — спросил Серпилин.

— А ничего мать о ней не думает. Мать только об отце и об отце.

— Не успокаивается?

— Наоборот.

Мальчик опять горестно мотнул головой.

— Как успехи? — спросил Серпилин.

— Я вам первого числа письмо написал. За весь январь месяц.

— Не успел получить. Придется доложить устно.

— Кругом пять, только по немецкому три.

— Почему по немецкому три?

— Заниматься им неохота.

— Ну, это ты брось, это со мной не пройдет. Мне самому с ними заниматься неохота, а приходится.

— А я ничего не говорю,— сказал Гриша. — Я эту тройку исправлю.

— Садись, чего стоишь?

Мальчик сел, положил руки на стол. Серпилин заметил, что хотя они и чистые, но в царапинах и ссадинах, как и в прошлый раз,— угольная пыль.

— Опять уголь разгружали?

— Ага.

— Тогда извиняюсь, что сказал тебе «шляешься».

— Шляться некогда,— сказал мальчик. — За январь девять раз разгружали. Топить стали все же больше.

Сказал с достоинством, как будто это именно от него зависело. А впрочем, по сути дела, так оно и есть.

— Им вчера картошку за это выдали,— сказала вошедшая с чайником жена сына. — Вот он вас и угощает. А вчера нас угощал.

— При чем тут это? — недовольно сказал Гриша тоном старшего, разговаривающего с младшей. — Молчала бы лучше.

Серпилин уже расправился с картошкой; тогда, перед вызовом, пообедал сам не заметил как, а сейчас оказалось, действительно голоден. Жена сына налила ему чаю, и он, быстро отхлебывая глоток за глотком, спросил у нее:

— Когда завтра на фабрику пойдешь — с утра?

— Нет, мне в обед велели,— ответила она, и он подумал еще раз о том, о чем уже думал: правильно, пусть идет; аттестат буду переводить, а идти все равно пусть идет.

— Утром приду, застану тебя?

— Застанете. Я чаем вас напою. Может, спать днем ляжете, если не выспитесь. А я с Олей на бульвар пойду, пока спать будете.

— А вы обратно на фронт поедете? — спросил Гриша, когда Серпилин допил чай и встал.

— Да.

— И все время там будете?

— Да пока вроде в тыл отправлять не собираются. Так что пиши, куда писал, полевая почта прежняя. — Серпилин усмехнулся собственному, вдруг вспыхнувшему мальчишескому желанию похвастаться, что едет теперь на фронт командующим армией.

— Тогда ясно,— сказал Гриша.

И за этим «ясно» стояло, что помнит и надеется на обещание Серпилина и поэтому не заводит сейчас лишнего разговора о том, чтобы ехать на фронт. Разговор будет летом, когда кончит семилетку, а пока все ясно.

«Да, ты серьезный человек»,— подумал Серпилин. И ему захотелось невозможного и неправильного: теперь же, послезавтра, забрать этого серьезного человека от матери с собой на фронт.

Да, трудно, когда остаешься жить один, даже если командуешь армией и у тебя есть и адъютант, и ординарец, и казенное довольствие, и обмундирование. Очень трудно, когда остаешься один, и хорошо, что жизнь не пустыня.

— Дайте я вам зажигалкой посвечу,— сказал Гриша, когда Серпилин, уже одевшись, открывал дверь.

— Куришь? — спросил Серпилин.

— Бычка оставляют — курю.

Серпилин ничего не ответил. В другое время другому мальчишке ответил бы, а этому рабочему человеку ничего не сказал.

Спустившись на один марш, он повернулся, увидел Гришкино освещенное огоньком зажигалки курносое, совсем еще детское лицо и сказал:

— Напомни, чтоб завтра тебе немецкий трофейный фонарь подарил. В вещмешке у меня. Не забудь!

— Не забуду! — радостно крикнул Гриша и, далеко перегнувшись через перила, вытянул руку с зажигалкой так, чтобы осветить Серпилину всю лестницу до низу.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Иван Алексеевич открыл сам. Он был в квартире один.

— Порядка у тебя, я вижу, мало,— сказал Серпилин, когда они, расцеловавшись, прошли из передней в столовую.

Столовая эта была для Серпилина памятью о прошлом. В тридцатые годы он часто бывал с женой у Ивана Алексеевича. Сидели за этим большим столом и вчетвером, и с другими людьми — и теми, кто жив, и теми, кого давно нет. А сейчас тут все переменилось. Стол отодвинут к стене, и на нем настольная лампа, стулья, кроме двух, куда-то вынесены; на широком знакомом диване застелена постель, накрытая знакомой старой буркой, а к буфету приткнута раскладушка.

— Для меня, что ли? — спросил Серпилин.

— Для тебя. Адъютант иногда ночевал тут в прошедшем времени,— сказал Иван Алексеевич.

Серпилин отметил это в «прошедшем времени» и усмехнулся:

— Ночлежка.

— В сорок первом в спальне и кабинете трубы лопнули — перебрался. Пока за лето починили, уже привык здесь.

— Марию Игнатьевну все еще не вызываешь? — спросил Серпилин.

— Теперь вызову. До осени не вызывал — бомбежки бывали, а в последнее время, когда стал, как зуб, качаться, решил еще обождать. Сидела бы рядом и переживала, кому это нужно? Теперь поеду на фронт — вызову. Пусть сидит, ремонтирует. Ей тут до победы делов хватит. Сам знаешь, какая она у меня.

Иван Алексеевич рассмеялся. Серпилин не удержался и тоже улыбнулся, хотя смешного во всем этом было мало, Мария Игнатьевна была хозяйственная женщина, все у нее всегда блестело, и пироги бывали знаменитые, и полотенца хрустели от чистоты, и простыни, если оставался ночевать,— еще не здесь, а когда в Туркестанском округе служили,— были все в крахмале. А вот о чем они говорят с Иваном Алексеевичем, когда одни, и какой частью души он с ней делится, если вообще делится,— этого Серпилин так и не понял за долгое знакомство. А не понимая этого, не понимал и многого другого. А в сущности, не понимал одного: почему живут вместе, хотя оба хорошие люди, для чего нужна Ивану Алексеевичу такая семейная жизнь? Не спрашивал и не говорил с ним об этом — считал лишним. Но зато и не удивился прошлый раз, когда узнал, что он живет в Москве один, не вызывая жену к себе.

— Когда позвонил к тебе в Генштаб, понял, что перемены. На какой фронт и кем?

— Погоди,— сказал Иван Алексеевич,— сначала о тебе. У самого был?

Серпилин кивнул.

— Так и решил,— сказал Иван Алексеевич. — Один раз — разъединили, потом второй раз — разъединили. Имею опыт. Да и слышал вчера вечером, что тебя вызывают без объяснения причин. А когда без объяснения причин — обычно к нему. Ну как?

— Хорошо. Но я сперва хотел бы...

— Теперь — валяй,— усмехнулся Иван Алексеевич. — Раз у тебя хорошо, теперь можно и о том, что плохо. Снял меня с должности позавчера, без предупреждений. Вызвал и сказал: «Сдайте дела». — «Есть сдать дела». — «Вы, говорит, выражали желание уехать на фронт — мы решили пойти вам навстречу. А пока — отдохните». — «Есть!» Ему лично я, положим, таких желаний не выражал, а вообще давал понять, что не боюсь этого. Но думаю, соль не в том.

— А в чем?

— А в том, что подтвердились некоторые мои прогнозы, о которых у нас разговор был в прошлый твой приезд.

— Какие прогнозы? — спросил Серпилин.

— Во-первых, что после Котельникова немцы из котла не будут прорываться. Во-вторых, что за первоначально спланированный срок — за неделю — нам с ними в Сталинграде не развязаться при всем желании. Действия ваши я, между прочим, оцениваю высоко, но я и тогда сомневался, что за неделю справимся, не потому что будем действовать плохо. Просто обстановка подсказывала: наша Шестьдесят вторая на последних клочках берега два месяца сидела и усидела, а тут у немцев оказался в руках, по сути дела, громадный укрепленный район — полторы тысячи квадратных километров! Вот и не верил, что за неделю его ликвидируем.

— В их численности сильно просчитались,— сказал Серпилин.

— Ну, тут я, по совести, не могу о себе сказать, что как в воду глядел. Глядел, как все. И обсчитался, как все. А в сроках оказался прав. А если б, решив брать их в Сталинграде на измор, еще месяц назад три армии у вас взяли на усиление Юго-Западного и Воронежского,— какие плюсы это могло нам дать, он сам теперь чувствует. При благоприятном ходе событий уже могли бы с севера резануть на Ростов и всего немца на Кавказе захлопнуть! А раз так, то зачем я тут хожу, отсвечиваю? Напоминаю своим присутствием о своих предложениях!

— И что дальше с тобой? — спросил Серпилин, не убежденный, что Иван Алексеевич прав, но все равно переживавший за него.

— Дальше, между нами говоря, не так плохо,— сказал Иван Алексеевич. — Мой тезка,— он назвал имя одного из командующих фронтов,— не посмотрел на то, что я снят,— сразу же запросил к себе начальником штаба. И как будто получил «добро». Только я еще об этом не знаю. — Иван Алексеевич насмешливо приложил палец к губам.

— То-то, несмотря ни на что, веселый.

— Конечно, веселый,— сказал Иван Алексеевич. — Считаю, что легко отделался. Сердит на меня еще с декабря,— зная это, ожидал большей для себя катастрофы. Видимо, вы помогли, подняли ему настроение своей победой. Орден за участие в разработке операции мне теперь, конечно, не светит, и очередное звание мимо проехало, а в остальном — переживем.

— Если не ошибаешься, что зол на тебя, то действительно легко отделался,— сказал Серпилин, вспомнив глаза Сталина.

— А он вообще, если хочешь знать, сейчас нашим братом не разбрасывается,— сказал Иван Алексеевич. — Сейчас мы нужные. Кто есть — тот есть, а других взять неоткуда, кроме войны,—только она их на ходу рождает. И пока война, лишних нет и не будет. Все, кто действительно может воевать,— все до одного

нужны! Со мной — так. А теперь, как с тобой? — Иван Алексеевич перестал ходить по комнате и, остановясь перед Серпилиным, покачивался с каблуков на носки и обратно, заложив руки в карманы бриджей и выкатив широкую грудь, мускулатура которой была видна даже под рыжей верблюжьей, до горла, фуфайкой, надетой по-домашнему вместо кителя.

«Молодой еще, черт,— подумал о нем Серпилин. — И живота нет, и лицо без морщин, гладкое, как будто только сейчас, на ночь, побрился. А может, и побрился. Переживает глубоко, но воли себе не дает — не та натура».

— Давай сядем, а то я, наверное, долго рассказывать буду. Мы не вы, не каждый день с ним встречаемся!

— А ты нам не завидуй,— усмехнулся Иван Алексеевич. — Может, тебе чаю дать?

— Уже пил.

— Кто тебя поил?

— Кто чаем поил — особая тема, о ней потом. Садись, и я сяду,— сказал Серпилин.

Он рассказывал о своем разговоре со Сталиным долго, с подробностями. Рассказал все, от начала до конца, оставив при себе только одну мысль — ту, самую трудную и страшную — о глазах.

— Да, встречаемся с тобой, как говорится, в острые моменты нашей жизни,— усмехнулся Иван Алексеевич, когда Серпилин кончил. — Все же, значит, рискнул, написал ему про Гринько. Дрожал, пока ждал ответа?

— Старался не думать. Бои помогали.

— Старайся не старайся,— раз ему написал, из головы уже не выбросишь,— сказал Иван Алексеевич. — А в то время за такое письмо, которое ты ему сейчас написал, любой из нас был бы на другой день уже «врагом народа». Даже если б все оставшиеся обо всех взятых разом, в один день, написали... И то не убежден в результате.

— О чем мы говорим, Иван, давай лучше бросим...

— Ладно, бросим. А поговорим о том, что, когда он приезжал к нам, служило нас в полку трое — один остался, второй было помер, да ожил, а третий — будем считать, пока без вести... А могло, оказывается, не быть всего этого. Ты вернулся, если живой — вернут теперь и Гринько. Выходит, все чисты. Выходит, ты мог начать войну не полком, а корпусом командуя... Да, правильно сказал тебе товарищ Сталин, действительно нашел время, когда сидеть! Тебе эту его мысль еще поглубже обдумать надо! Видишь, как он вопрос поставил?А нам и в голову не приходило. А бросить разговор — давай бросим, тем более что есть другие темы. Говоришь, удивился, что он тебе первый вопрос — о форме?

— Да, откровенно говоря, не ожидал, даже растерялся!

— Ничего, этот вопрос лично для тебя, возможно, как раз к добру, глядишь, одним махом еще и генерал-лейтенанта даст! А что не ожидал — я сам не ожидал от него такой любви к этому вопросу. Еще осенью, в самый накал событий, ночью, вбежал, высунув язык, со сводкой, а у него в приемной — даже глаза протер — трое в эполетах сидят и один с аксельбантами — из военного ателье на пробу! Потом оказалось, что на эполеты чересчур много серебра надо и еще какой-то там канители, а то висела над нами такая угроза!

Иван Алексеевич невесело рассмеялся, подошел к буфету, вынул оттуда и поставил на стол начатую бутылку коньяку и рюмки.

— Назначение твое все же придется обмыть.

— Пока еще не состоялось.

— Можешь считать, что состоялось. Коньяку на двух мужиков по такому поводу, конечно, мало. Но позавчера верхнюю половину сам выпил, сразу, как ночью вернулся. Отчасти с горя, а отчасти с радости, что не до смерти убит. А главное, чтоб заснуть до утра, раз мне отдыхать положено. А вчера в рот не брал, и сегодня — тоже не тянет.

Он налил коньяку и чокнулся с Серпилиным.

— За твою армию. Может, еще и гвардейцами будете... Некоторым собираются присвоить.

— Нам навряд ли. Скорее с Чуйкова, с Шумилова начнут, с тех, кто больше других в самом Сталинграде на себе вынес...

— В общем-то, верно,— сказал Иван Алексеевич. — А с другой стороны, если с лета вспомнить,— всем досталось. У всех армий свои критические моменты были: и у Толбухина, и у Батова, и у Жадова, и у Галанина с Чистяковым. Да и ваша — в обороне хлебнула и в наступлении неплохо выглядела. Не повезло на этот раз Батюку. В сорок первом на Южном провалился — не сняли; прошлым летом из окружения мало чего вывел — не сняли; а теперь, когда наконец успех,— сняли!

— Почему говоришь «сняли»? — Серпилин вспомнил ту удивившую его интонацию, с которой Сталин упомянул о Батюке.

— Снять можно по-разному. Можно вниз, а можно — и вверх,— усмехнулся Иван Алексеевич. — Не знаешь еще этого — будешь теперь знать. Пока еще по старой памяти делятся со мной информацией. Из одного разговора догадываюсь, куда его выдвинуть проектируют. Заместителем командующего на такой фронт, где войск немногим больше, чем в одной вашей армии, а средств усиления меньше. От таких повышений шею ломит.

— А почему, как думаешь?

— Почему?! Ты мое мнение о Батюке знаешь — потому что давно пора! А почему не год и не полгода назад, когда это всем ясно было, а теперь, когда он на твоем горбу, казалось бы, наоборот, капитал заработал,— догадываться не берусь, не моего ума дело. Вот «Войну и мир» дочту до конца, может, и про это что-нибудь вычитаю! Тут про все есть!

Иван Алексеевич взял со стола заложенную очечником книгу и потряс ею в воздухе.

— Сколько раз собирался перечесть, а пока не сняли, так и не удосужился!

Он положил книгу, допил коньяк и заходил по комнате, выпятив грудь и засунув руки в карманы бриджей.

— До трех читал, а утром встал в семь, когда обычно ложился, и затемно к себе на дачу поехал, по Дмитровскому...

— Новость для меня,— улыбнулся Серпилин. — Не знал за тобой, что ты дачник.

Иван Алексеевич виновато усмехнулся:

— Сам не думал. Марья Игнатьевна дожала, на две комнаты с летней кухней. Весной сорок первого. Самое время выбрала! Ковырялась, обставляла, цветочки сажала, всю сберкнижку у меня вытрясла... Считала, что я в июле отпуск там буду сидеть. А пришлось проводить его на казарменном положении. Так, между прочим, в готовом виде и не поглядел на эту дачку. Только сегодня собрался — решил поехать, на свежем воздухе мозги проветрить... От машины два километра топали, да потом вдвоем с водителем по очереди лопатой траншею копали, чтоб в дачу зайти. Походил, дорожки расчистил, нервы успокоил. Коробка целая, но внутри хоть шаром покати, кто только через нее не прошел! А в соседнюю деревню немецкие танки заскакивали. Да, близко от Москвы война была, и сейчас еще недалеко! Большую еще группировку он здесь, перед Москвой, держит. Пробовали недавно стукнуть по ней, не имея достаточной амуниции,— не вышло!

— А как ты вообще смотришь на ближайшие перспективы? — спросил Серпилин.

— Если до распутицы освободим Донбасс — это пока предел возможного. А желаемому пределов нет. Разгром, конечно, для немцев небывалый, однако надо считаться с тем, что фронт они уплотняют, резервов еще не исчерпали и жесткую оборону рано или поздно займут. По собственному опыту достаточно хорошо это знаешь. А в наших разведсводках уже заметна тенденция это недоучитывать. Опасно! Не сказал бы, что разведчики сознательно извращают, но настроение сверху давит, и они не ищут горькой правды, а ее надо искать. Иначе можем зарваться и по морде получить. Как считаешь? Прав?

— Считаю, что на сегодня доказали свою способность воевать с немцами на равных, а при превосходстве в силах — бить.

— Скромный итог для сталинградского генерала,— усмехнулся Иван Алексеевич. — Не советую особо широко публиковать!

— А я не собираюсь. За Сталинград нам, конечно, честь и хвала и слава в веках! Но что он на Волге стоит, а не на Буге и что мы к этой славе полтора года пятились — думаю, согласишься,— я, как военный человек, забыть не вправе. А если бы после первой победы считал, что все превзошел, значит, командовать армией еще не созрел!

— Насчет первой большой победы — не широко ли шагнул? Разгром немцев под Москвой забыл?

— Почему забыл? Не забыл. Дивизией командовал, имею что вспомнить... Но помню и другое: как после этого разгрома до Волги отходили, а теперь, после Сталинграда, не имеем права.

— А тогда имели?

Серпилин вздохнул: его рассердило, что Иван Алексеевич почему-то вдруг вздумал поддеть его.

— Слишком густо мы в прошлое лето землю костями засеяли, чтобы шутки шутить вокруг этого... Делали, что умели, а умели еще недостаточно. Возвращаемся к тому, с чего начали.

— Я шутки на такие темы не шучу,— сказал Иван Алексеевич,— напрасно так понял. Просто уточняю, что, по сути, никто и никогда нам такого права не давал. И гляжу в прошлое: когда же это несоответствие начало складываться? Думаю, что согласишься,— в тридцать пятом и тридцать шестом не только не отставали от немцев, а по ряду вопросов были впереди. А к сорок первому оказались сзади.

— Да, наковыряли много,— согласился Серпилин.

— Не уверен, все ли представляешь себе до конца, когда говоришь «наковыряли». Чаще всего мыслим именами: того нет, этот бы пригодился! Чтоб недалеко ходить — Гринько. Мог бы армией командовать, а начали без него. Это, конечно, так! Но дело глубже. Осенью сорокового, уже после финской, генерал-инспектор пехоты проводил проверку командиров полков, а я по долгу службы знакомился с проектом его доклада. Было на сборе двести двадцать пять командиров стрелковых полков. Как думаешь, сколько из них в то время оказалось окончивших Академию Фрунзе?

— Что ж гадать,— сказал Серпилин,— исходя из предыдущих событий, видимо, не так много.

— А если я тебе скажу: ни одного?

— Не может быть...

— Не верь, если тебе так легче. А сколько, думаешь, из двухсот двадцати пяти нормальные училища окончили? Двадцать пять! А двести — только курсы младших лейтенантов да полковые школы.

— Не могу поверить,— сказал Серпилин.

— Что ж, ты не барышня, уговаривать не буду. Сам глазам не верил. Допускал, что не по всем полкам такая статистика. Но все же двести двадцать пять полков — это семьдесят пять дивизий, пол-армии мирного времени,— все равно картина страшная!

— Не могу поверить, все равно не могу поверить, что так армию выбили,— хриплым голосом повторил Серпилин. И пошел по комнате из угла в угол. И когда шел обратно, Иван Алексеевич впервые в своей жизни увидел на его глазах слезы.

— А у немцев,— сказал Иван Алексеевич — голос его дрогнул, когда он увидел эти небывалые на лице Серпилина слезы,— у немцев за полтора года из всех командиров полков, и захваченных в плен и убитых, на ком документы взяли, не встречал случая, чтобы командир полка еще в первую мировую войну не имел боевого опыта в офицерском звании. Вот с чем они начали и с чем мы — если взять на уровне полков! Чего молчишь?

— А чего говорить?

Серпилин подошел к окну. Прямо перед глазами, словно небо в самую непроглядную осеннюю ночь, была без единой щелки закрывавшая сверху донизу все окно бумажная маскировочная штора. Он стоял, молча смотрел в эту глухую, черную штору и думал о том, какую же все-таки непосильную ношу вынесли на своих плечах люди с начала войны. И в первую очередь — эти, о ком говорил Иван Алексеевич. «Ты, комбриг, командир дивизии еще в мирное время, гордился, видишь ли, что в первые дни войны хорошо полком командовал, лучше многих других! А сейчас услышал все это от Ивана Алексеевича, и задним числом — стыдно! Еще бы тебе полком не командовать! Цветков тоже с первого дня войны капитаном полк принял, хотя ни академий, ни нормальных училищ не кончал, пошел в бой без этого. А сегодня — лучший в дивизии. Но чего это ему стоило! Каких трудов! Таким, как Цветков, поклониться надо! Не их вина, что они в те годы из комвзводов — в комбаты, с рот — на полки... А потом война — и воюй! И тут уже не до вопросов: почему я раньше времени полком командую? Тут или научись, или полк погуби! Видел и как губили, видел и как учились,— все видел. А все-таки не представлял всего вместе — как это перед войной выглядело. Ум отказывается верить... Нет, люди не виноваты, что мы так войну начали. И когда считаю, что сейчас на равных с нем-

цами воюем, пусть мне не паяют недооценку и прочее. Я гордо это говорю. И верю, что мы им еще такую кузькину мать покажем, какой они до второго пришествия не забудут! Война на носу, а из двухсот двадцати пяти командиров полков ни одного окончившего академии! «Здравствуйте, господин Гитлер, восемь лет вас дожидались, приготовились!..» Чего молчишь?..»

Серпилин как молча стоял, так молча и отошел от окна. «Спрашиваешь — чего молчу? Молчу потому, что сказал бы по матушке все, что об этом думаю, да никакого мата не хватит!»

— Одно продолжает беспокоить,— пройдясь по комнате, вслух сказал Серпилин,— все же некоторые из нас с начала войны притерпелись к большим потерям; еще не всегда встречаешь достаточную волю к тому, чтоб не допускать их.

— Ну, эту тему, насколько понял из твоего рассказа, ты сегодня уже развивал.

— Пробовал.

— И особо большого интереса к ней не встретил?

— Не знаю,— сказал Серпилин. — Может, не сумел изложить.

Иван Алексеевич пожал плечами. «Будем считать, что так»,— говорил его жест. Пожал плечами, прошелся, потом сказал:

— Тогда, в конце декабря, мои предложения блокировать Сталинград меньшими силами тоже в одном из пунктов сводились к тому, чтобы избежать лишних потерь.

— А вот тут с тобой не согласен.

— Интересно,— сказал Иван Алексеевич. — Что был неправ, уже знаю в приказном порядке. Но от тебя, в виде исключения, по старой дружбе, интересно все же услышать — почему?

Серпилину после этих слов уже не хотелось говорить; он не ожидал такой ожёсточенности, хотя, наверно, за ней стояла не только обида. Однако, раз заговорив, уже не отступил.

— Может, я, как участник, необъективен, но не в силах себе представить, что могли стоять вокруг них и ждать. После всего, что с начала войны пережили, слишком сильная была потребность скорей покончить с ними. И моральный эффект от того, что на трехсоттысячной фашистской армии — крест! — и на фронте, и в тылу, да, наверно, и во всем мире таков, что ради него — считаю — имело смысл те три армии, о которых ты говоришь, и в боях потрепать и высвободить на месяц позже.

— Как уже доложил тебе, спорить лишен возможности,— сказал Иван Алексеевич,— но все же склонен считать, что моральный эффект и на месяц позже был бы неплохой! А с чисто военной точки зрения, по старой дружбе, тоже не скрою, скажу — логика твоя хромает!

— А вопрос такого масштаба, что одной военной точки зрения тут мало.

— Слышал и это. Так что ты как раз в жилу попал. Ладно, давай, добивай меня! — невесело усмехнулся Иван Алексеевич.

— А я тебя не добиваю. Просто говорю, что думаю, независимо ни от чего. Или, раз тебя сняли,— уже нельзя? Не признаю таких отношений.

— Это, положим, верно, хотя нельзя сказать, чтоб ласково.

— Эх, Ваня! — вздохнул Серпилин. — Смотрю сейчас на тебя и думаю: если бы не ты, не был бы я ни жив, ни свободен. Ну чем тебе за это заплатить? Жизнью платить? Этого пока не требуется. А раз пока не требуется, значит, надо правдой платить. Больше нечем.

— Напрасно думаешь, что меня обидел. Не убедил, но не обидел.

— А я не думаю, по лицу вижу.

— А,— махнул рукой Иван Алексеевич,— обида давно на дно ушла, а на лице только так, пузыри. Когда тебе отбыть приказано?

— Даны сутки на устройство личных дел.

— На кладбище поедешь?

— Имел в виду.

— Вместе съездим, если не возражаешь.

— Поедем.

— Что так задумчиво ответил? Может, один хочешь?

— Нет, будет легче с тобой. Просто сначала удивился. Не привык, что ты можешь быть свободен.

— Сам не привык,— вздохнул Иван Алексеевич. — И привыкать не хочу. Чаю выпьем, или так напоили, что до сих пор не хочешь?

— Нет, давай выпьем.

— А кто и где тебя чаем поил? — Иван Алексеевич взял с буфета электрический чайник. — Обещал рассказать.

— Кто чаем поил? Жена сына. А сын — убит.

— Убит?! Как убит? — Иван Алексеевич опустил чайник.

— А вот так. Как других людей убивают, так и он убит,— сказал Серпилин, и по той судороге, которая перехватила его горло, сам почувствовал всю неправду своих слов, потому что «как других убивают» все-таки было одно, и он это знал, а как бывает, когда убьют сына,— этого не знаешь, пока не убили.

...Они лежали уже под утро в разных углах комнаты. Серпилин спал, а Иван Алексеевич лежал и думал о своем. Поставив на стул настольную лампу, надев очки и привалясь к высоко по-

ложенным одна на другую подушкам, потому что с вечера щемило сердце, он еще раз перечитывал одно место в «Войне и мире», которое раньше не бросалось в глаза, а сегодня вдруг бросилось,— уже прочел страниц тридцать дальше и снова вернулся к нему. Это было место, где Толстой рассуждал про великое, хорошее и дурное. «Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного,— писал Толстой. — Для великого нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик». А дальше спорил с этим: «И никому в голову не придет, что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости...» И еще — опять о том же: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».

Иван Алексеевич отложил книгу и снял очки.

«Идеалист, конечно, придумал какую-то общую мерку и хочет все ею мерить! А все-таки что-то так цепляет в этих словах за живое, что вдруг начинаешь спрашивать самого себя: а не слишком ли ты много труда употребил в разное время своей жизни на то, чтобы понять и оправдать такие вещи, в которых величие и добро уже слишком далеки друг от друга? Да, со Сталиным не только говорить трудно, о нем даже думать трудно: столько с ним связано в жизни. Хотя последнее время, конечно, думаешь о нем больше всего в связи с войной. И тут есть над чем подумать. Как должны поступать люди, в руках которых такая непререкаемая власть, а тем более во время войны? Боремся, как можем, с его заранее готовыми решениями, с предвзятыми мнениями, утешаем себя, что прислушивается, а про себя знаем, что все-таки недостаточно прислушивается к советам. Верно! Но советы, они идут с разных сторон и — бывает — противоречат друг другу. И где-то наступает минута, когда уже нельзя прислушиваться,— надо решать. Это с каждым, кто командует на войне, с большим и с маленьким. А вот чтобы люди никому — как бы высоко ни стоял! — не страшились давать советы, не имели нужды угадывать его мнение, чтобы эта нужда постепенно не сделалась потребностью, которая превращает даже самых хороших людей в дрянных,— вот это, как говорится, вопрос вопросов. Конечно, это зависит и от тех, кто дает советы, но гораздо больше — от того, кому дают. От него прежде всего зависит — боятся или не боятся давать ему советы. И, может, все же прав Толстой, когда говорит, что нет величия без простоты, добра и правды? Вроде бы слишком наивно, как в букваре, а возразить этому букварю вдруг оказывается трудно, хоть ты и две академии окончил...»

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Таня сидела в палате у Синцова и рассказывала ему, как выглядит сейчас Сталинград, через который она только что проехала, переправившись с той стороны Волги.

— Все разминируют, разминируют... Одна наша санитарка вчера подорвалась — мотор вырвало, и водителя с врачом в кабине — наповал. А кто ехал в кузове, никого даже не поцарапало. А есть раненые просто от того, что стены рушатся. Стоит, стоит, а потом как завалится... Сейчас такие стены даже подрывать приказали. На проезжей части трупы убрали, а под развалинами, говорят, еще много тысяч... Все равно до весны всех не выкопают. А как только тепло станет, сразу начнутся инфекции. В общем, работы у всех ужас сколько! А жителей еще совсем мало. Когда был митинг, казалось, все-таки много пришло на площадь, а сейчас едешь — и почти никого. А в снегу столько железа: водители только и делают, что колеса качают...

Она говорила про Сталинград, а Синцов сидел рядом с ней на койке, слушал и думал о том водителе и враче, которые подорвались вчера на мине. Сегодня, значит, уже зарыты в сталинградской земле или на том берегу, за Волгой... А мог сидеть рядом с тем водителем на той машине не тот врач, а вот этот, который сидит сейчас рядом с ним на койке...

Да, судя по ее рассказу, невесело выглядит сейчас город Сталинград. И стерегут людей среди его развалин ржавые, залежавшиеся смерти! Вчера в их госпиталь привезли трех таких, при смерти, хотя война уже за шестьсот километров — позавчера взяли Ростов, а сегодня по радио передавали, что и Харьков...

— Сидела бы уж лучше там у себя, за Волгой, чем взад и вперед ездить... — сказал он.

Таня в первую секунду обиделась. Она по-прежнему работала в эвакоотделении, и ей приходилось бывать в разных госпиталях, но чтобы трижды за это время из-за Волги, где теперь был санитарный отдел армии, попадать именно сюда, к нему, ей приходилось каждый раз идти на душевно трудные для нее личные просьбы. Неужели он сам до этого не додумался? Неужели надо объяснять это? И, уже обидевшись, поняла, что он не об этом, а о той машине с убитыми водителем и врачом, про которую она с маху ляпнула. Поняла и сказала:

— Совершенно зря ты об этом подумал. Если уже сейчас об этом думать, что же мы с тобой на войне будем делать? Ничего у нас с тобой тогда не выйдет...

— Выйдет! Это я пока в госпитале такой психованный. А вернусь на войну, буду опять нормальный.

— Кто-нибудь был за это время у тебя?

— Нет. Как приехал Завалишин тогда, в то же утро, что и ты, с тех пор больше никого не было. Наверное, слишком заняты.

— Сверх головы,— сказала она. — И тем более твоя дивизия теперь уже сорок километров за Волгой.

— Не знал. Тогда понятно.

— Вчера у нас прошел слух, что скоро начнем грузить свое хозяйство в эшелоны,— сказала Таня. — Из трех госпиталей раненых уже эвакуировали, можем хоть завтра грузиться.

— А как с нашим? — с тревогой спросил Синцов.

— С вашим пока решают: или догрузить вас за счет других, или свернуть и готовить к погрузке.

— Если свернут — плохо,— сказал Синцов. — Тогда не зацепишься. А я уже написал рапорт на имя командующего, чтобы оставили в нашей армии.

— Когда?

— В тот же день, как ты была. Чтобы по выздоровлении послали на любую должность, на какую сочтут пригодным. — Он чуть заметно шевельнул своей подвязанной на косынке, забинтованной рукой. — О батальоне думать не приходится.

Таня все еще не могла привыкнуть к этой высовывавшейся из рукава халата укороченной, без пальцев, руке. Сколько она видела таких рук и не таких, а обрубленных и по локоть и по плечо, а вот на его руку даже боялась глядеть, чтобы он вдруг не почувствовал, что она еще не привыкла. Она помнила, как лежали у нее на плечах его большие, тяжелые, добрые руки там, в госпитале, где они вдруг встретились, когда он приехал искать своего командира роты. Помнила и не могла привыкнуть. Она уже готова была любить эту обрубленную, беспомощную, какую-то вдруг детскую руку, любить так же, как любила его глаза, или волосы, или сутулые сильные плечи. Любить была готова, а привыкнуть еще не могла.

— Не знаю,— сказал он,— может быть, в штабе полка или в штабе дивизии найдут для меня место. Дальше бы уходить не хотелось. Но это, конечно, как скажут. Скажут, замполитом этого госпиталя пойти — готов и на это. Опыт как-никак имею, четвертый раз лежу. — Он усмехнулся, и она поняла, что он шутит: быть замполитом в госпитале, конечно, не согласится, станет добиваться своего.

— Вчера ждал тебя...

— Вчера не могла,— перебила она. — Никак не могла.

— А разве я говорю, что могла? Я говорю, что ждал. Я и по-

завчера ждал. И третьего дня ждал. И когда ты у меня днем была, вечером опять ждал.

— Но это уж просто глупо.

— Конечно, глупо,— улыбнулся он. — А чем мне еще заниматься, кроме этого? Ждал тебя вчера и в первый раз сам побрился.

— И весь изрезался. Зачем это нужно было делать?

«Вот так всегда,— подумал он. — Говорит совершенно не то, что сказали бы на ее месте другие. Другие бы похвалили: молодец, как это у тебя хорошо вышло одной рукой, а она ругается».

— Зачем это было нужно? — сердито повторила она. — Хочешь доказать, что уже привык к своей руке? Зачем? Попросил бы, чтоб побрили. Вон как порезался! Я сначала говорить даже не хотела.

— Кожу не мог оттянуть, вот и порезался.

— И зачем было спешить? Кому это надо? Заживет рука, все, что сможешь, будешь ею делать.

Она говорила с ним, как сама с собой, совершенно не думая, что можно и чего нельзя ему сказать, говорила, считая, что ему можно сказать все, как себе.

— Медленно заживает, надоело,— сказал он.

— Ничего подобного, я вашего ведущего хирурга спрашивала. Он говорит: быстро. Такие раны знаешь как долго заживают. Еще будет болеть, давать знать о себе, так что приготовься. И не сердись, я нарочно тебе говорю, чтобы помнил об этом, когда будешь требовать выписки или решать, на какую должность проситься. Во всяком случае, в первое время.

Она не собиралась его утешать, она хотела думать о его жизни вместе с ним, и это было сильнее всяких слов о любви. Она не говорила их ни в прошлый раз, ни сегодня, просто вела себя как человек, который уже не думает ни о нем, ни о себе отдельно друг от друга.

— Ну, как ты решила? — спросил он. — Я уже все узнал.

Он говорил о том же, о чем и в прошлый раз,— узнавал, где и как, находясь в армии, можно это оформить, чтобы они считались мужем и женой. А она, когда он спросил: «Ну, как ты решила?» — подумала, что ей решать нечего. Просто надо сообразить, как лучше сделать. Когда неделю назад он заговорил об этом, она не ответила потому, что думала о другом — беспокоилась за него. Он, сам того не зная, был тогда на волоске от второй ампутации. А сегодня выглядел совсем иначе, не лежал с температурой, а сидел на койке и даже успел, оказывается, порезаться в пяти местах, пока брился. Может быть, и в самом деле его рапорт удовлетворят и оставят в армии? Тем более что ра-

порт пошел к Серпилину. Серпилин, правда, такой человек, что все равно не поступит против совести, но разве это будет против совести? Ни против чьей совести это не будет!

— Я тоже думала об этом,— сказала она вслух. — Если это поможет нам быть вместе, давай сделаем, как ты хочешь. Но я сначала должна послать маме в Ташкент заявление о разводе, чтобы она сходила в загс и прислала мне справку. А то у меня в личном деле стоит, что я замужем.

— Я почему-то считал, что ты это уже сделала.

— Ничего я не сделала!

Сейчас, задним числом, она сердилась на себя: было неприятно просить об этом мать. И кто его знает, сразу ли мать все сделает. Может сначала еще прислать письмо с разными уговорами. Все-таки мать не все понимает в ее жизни и, наверное, никогда не поймет.

«А он будет переживать, пока все это тянется»,— подумала она, посмотрев на Синцова. Она чувствовала себя виноватой перед ним за то, что не сделала там, в Ташкенте, такой простой вещи.

— Сразу же, прямо сегодня, напиши,— помолчав, сказал он.

— Хорошо,— сказала она и, не успев остановить себя, притронулась рукой ко лбу.

— Что ты?

— Ничего. — Она сделала вид, что просто потерла пальцами лоб. — Вспомнила, что пора идти!

Но дело было не в этом, хотя идти действительно пора, а в том, что она все последние дни боялась заболеть, а сейчас, когда сидела у него, вдруг почувствовала, что у нее, кажется, и правда жар.

Неделю назад, когда она в прошлый раз вернулась от него, вдруг выяснилось, что сразу, в один день, заболели сыпным тифом пять девушек из банно-прачечного, те, что вместе с ней тогда занимались санобработкой наших, освобожденных из плена. А на другой день заболел старичок, батальонный комиссар Степан Никанорович. А потом опять сразу еще четверо девушек, и два санитара, и парикмахер. Все-таки проморгали тогда, сначала думали об этом, а потом забыли. Росляков ходил черный, ни с кем не разговаривал, переживал свою ответственность, особенно со вчерашнего дня, когда две девушки и Степан Никанорович умерли. И все переживали, и она тоже. Но сделать было уже ничего нельзя,— оставалось только ждать, когда кончится инкубационный период: заболею или не заболею? Вчера был двадцатый, последний день, никто больше не заболел, и она перестала волноваться и за других и за себя, а сейчас вдруг за-

знобило. Может, показалось, может быть, никакой это не тиф, просто простудилась, когда была вчера в бане. Она пробовала уговорить себя, но это плохо выходило, потому что она очень боялась заболеть. Он боялся за нее, что она ездит через неразминированный город, а она нисколько этого не боялась, даже не думала. А тифа боялась. Наверно, еще и оттого, что у них сначала все было так хорошо, а потом вдруг случилось с ним, с этой рукой. А теперь, когда немного успокоилась за него, вдруг заболеет сама?

Когда она пришла сегодня, он сразу заметил, что она в новом обмундировании, и посмеялся над ее слишком большой гимнастеркой: так спешила переобмундироваться, что даже не подобрала себе мало-мальски по росту! Она не стала ему объяснять — отшутилась, а на самом деле подбирать было некогда и не из чего: как только узнали про тиф, сразу всех, кто имел хоть малейшее отношение, заставили еще раз пройти санобработку, а всю одежду, с ушанок до портянок,— в дезинфекцию.

Хорошо, что сюда пока не дошли никакие слухи, только этого не хватало! Хотя знаешь, что все на тебе чистое, и сама чистая, и понимаешь, как врач, что не можешь его заразить, а все равно сначала, когда садилась сегодня к нему на койку, в первую минуту боялась и дотронуться и прижаться, и только потом преодолела в себе эту глупость. Господи, хоть бы это было воспаление легких, что угодно, только не тиф!

— Пора идти,— повторила она, посмотрев на его часы с черным циферблатом, которые он в прошлый раз подарил ей и заставил надеть на руку.— Росляков сказал, чтобы я в четырнадцать ровно была уже у машины. Он к этому времени кончит тут, в госпитале, все свои дела.

— А ты сходи посмотри. Может, он еще задержится.

— Не задержится, он у нас точный.

Синцов понимал, что теперь говорить что-нибудь еще значит мучить ее, и, когда она встала с койки, молча встал вслед за ней.

— А вставать и ходить надо поменьше,— нравоучительно сказала она. — У тебя еще недавно была температура.

— Ладно, учту на будущее.

— А докторов, между прочим, надо слушать.

— Ну какой ты мне доктор! Сама подумай, ну какой ты мне доктор? — Он здоровой рукой загреб ее за плечи и прижал к себе так, что она счастливо задохнулась, но все-таки сказала:

— Осторожно, ту руку заденешь!

Они вышли из палаты и остановились у дверей в коридоре.

— Здесь дует,— сказала Таня.

— Ну и ладно.

Теперь они говорили громко, а в палате все время говорили вполголоса, хотя двое соседей Синцова — оба ходячие — шлялись где-то по другим палатам, а третий сосед спал, накрывшись с головой одеялом. Но им, то одному, то другому, казалось, что он не спит.

— И куда вы сейчас поедете? — спросил Синцов.

Она сказала, что поедут с Росляковым еще дальше, на железную дорогу, проверять эвакоприемник.

— А оттуда?

— А оттуда, наверное, мимо вас обратно.

— Хоть бы вдруг какие-нибудь снежные заносы! — сказал он. — Вернулись бы к вечеру сюда и застряли у нас на всю ночь.

— А ты меня не мучай. — Она подняла на него глаза. — Я сама этого знаешь как хочу? — Сказала то, что почувствовала, и обрадовалась своему чувству: «И ничего я не заболела, просто показалось. А жар, потому что все время думала об этом»,

— Ладно, виноват,— сказал он.

— Если бы я могла что-нибудь придумать, я бы придумала. Понял?

— Понял, товарищ доктор.

— Не зови меня «товарищ доктор», а то я тебя стукну. И вообще нечестно вдруг заводить такие разговоры, когда мне надо идти.

— Ну иди, раз надо. — Он прихватил ее правой рукой, приподнял и поцеловал в губы. Потом отпустил и улыбнулся.

А она, с испугом почувствовав, какие у него холодные губы, поняла, что — нет, не показалось, у нее самый настоящий жар. И, ничего не сказав, быстро повернулась и пошла.

Синцов вернулся в палату и, как был, в халате, лег на койку и укрылся с головой одеялом.

Да, он любил ее, и эта скоропостижная, ни на что не похожая любовь сильнее всего, что было до сих пор в его жизни, сильнее даже той большой и долгой любви, которая у него была к Маше. В глубине души у него еще не исчезло ощущение греха сравнения, и, однако, он уже не впервые мысленно сравнивал их. И ему все чаще казалось, что эта новая любовь сильнее той, прежней. А может быть, просто необходимость в другом человеке, существовавшая в нем самом, была сейчас, в середине войны, сильнее, чем тогда, и от этого и любовь казалась тоже сильнее.

Когда она сегодня пришла к нему, то сразу, почти с первых слов, призналась:

— Я такая счастливая, что ничего не могу с собой поделать!

Сказала так, словно что-то должна делать с собой, чтобы не чувствовать себя такой счастливой. А что надо делать, когда человек чувствует себя счастливым? Разве что-нибудь надо делать? Наоборот, как раз ничего и не надо делать!

Все-таки глупеешь, когда лежишь в госпитале! Невольно начинаешь думать о самом себе гораздо больше, чем на войне, и глупеешь от этого. И без всего того, к чему привык у себя в батальоне, начинаешь чувствовать себя песчинкой. Не на войне, а в госпитале — вот где действительно чувствуешь себя песчинкой, хотя как раз тут больше всего думаешь и заботишься о самом себе.

На этот раз война все-таки добилась своего — укоротила тебя, списала! А если не хочешь смириться с этим, это теперь твое личное дело. Думаешь, война без тебя не обойдется? Надо будет — вполне обойдется.

Он подумал об этом ожесточенно и с долей самоуничижения. Но и в этом ожесточении, и в этом самоуничижении было что-то несправедливое, он сам чувствовал это. «Что значит — обойдется, не обойдется? При чем тут это? Разве я прошу, чтобы меня не демобилизовывали, потому, что не могу обойтись без войны? Да я мечтаю обойтись без нее! Я готов хоть завтра обойтись без нее, если завтра вообще все кончится. Не в этом дело, и никакой у меня привычки к войне нет. Это вообще глупости — привычка к войне. Просто у меня есть привычка быть на войне, раз она идет. Разные люди лежат в госпиталях. Одни психуют, что им уже не вернуться в строй, а другие, наоборот, переживают, боятся своего возвращения на войну, жалеют, что рана недостаточно тяжелая, чтоб уволили вчистую. И если бы можно поменяться ранами, некоторые бы поменялись. Но меняться ранами никому не дано, и каждого при выписке ждет то будущее, какое ему выпало. А совпадает оно с твоим желанием или не совпадает, этого жизнь не спрашивает. И пойти ей наперекор не так-то просто».

Утром и вечером в госпитальном коридоре хрипит и трещит черная тарелка громкоговорителя, и все, кто способен передвигаться, сходятся и сползаются к ней. Каждый день отбираем обратно город за городом и на Кавказе, и на Дону, и на Украине.

Конечно, командующий армией может в ответ на рапорт и оставить тебя в армии, найти подходящую должность. Если захочет. А вот если в ближайшие дни ваш госпиталь свернут, а раненых растасуют, тут за одни сутки можно оказаться за пределами и армии и фронта. И напоминать о себе не отсюда, а оттуда, писать повторные рапорты — наполовину дохлое дело! Может выйти и так: в конце концов добьешься, а попадешь не в свою

армию. Лишь бы все сложилось так, как хочется! А рука ничего, с такой рукой на войне еще можно жить.

Он вспомнил выписавшегося вчера майора-артиллериста, начальника штаба полка. Попал в их палату по поводу легкого осколочного ранения в голову, а до этого, зимой сорок первого, потерял под Москвой руку — вместо своей кисти была теперь «казенная», обтянутая черной кожей.

— Видишь, как управляюсь ею,— вчера перед своей выпиской весело хвалился он, ловко прихватывая и прижимая черной «казенной» рукой разные предметы: краюху хлеба, полотенце, папиросы, спички. И спички зажигал, и давал прикуривать, и брился сам опасной бритвой, «казенной» рукой оттягивая кожу...

Синцов вспомнил однорукого майора, улыбнулся в темноте под одеялом — какие хорошие люди живут на свете! — и вдруг почувствовал, что кто-то подошел к койке. Сначала подумал: сестра — хочет поставить градусник, но когда приоткрыл одеяло, оказалось — над койкой стоит замполит госпиталя, пожилой старший политрук, тот самый, про которого он шутя говорил сегодня Тане, что готов на худой конец занять его место.

— Вставай, капитан! Давай бриться!

— А я бритый.

— Тогда порядок! Командующий приехал. Ходит по палатам, лежачим ордена вручает. О тебе спросил, скоро посетит!

Синцов сел на кровати и стал здоровой рукой подтягивать надетые поверх кальсон нитяные госпитальные носки.

— Наверное, по рапорту твоему,— сказал замполит, знавший о рапорте, который Синцов направлял через него, и прислушался к голосам в коридоре. — Идут! Койку оправь!

Серпилин вошел в госпитальном халате, надетом поверх кителя. За его спиной остановились начальник госпиталя и адъютант.

Синцов встал с койки и вытянулся.

— Рад, что живой, здоровый и из нашей армии не выбыл,— сказал Серпилин.

— Еще не вполне здоровый, товарищ командующий,— сказал из-за его спины начальник госпиталя.

— А рапорт мне написал, что вполне. — Серпилин оглянулся.

Адъютант подумал, что он ищет, куда сесть, и подставил табуретку. Но Серпилин не сел.

— Сколько ему еще здесь положено быть? — кивнул он на Синцова, обращаясь к начальнику госпиталя.

— Не меньше двух недель при благоприятном ходе заживления.

— Ясно! А теперь вы, пожалуй, свободны,— сказал Серпилин начальнику госпиталя. — И вы,— кивнул он замполиту. — Не буду больше отрывать, занимайтесь своими делами. — Он отвернул рукав халата, посмотрел на часы и обратился к адъютанту: — Выедем через двадцать минут. До перекрестка возьмите у них для страховки «студебеккер», чтоб не сидеть, как по дороге сюда.

— Снег, как из бочки, валит, за всю зиму сразу. Дополнительные трудности создаст, а то нам тех, что имеются, мало! — Это было первое, что Серпилин сказал Синцову, когда все вышли. — Ложись. Не делай при мне вид, что здоровый.

— Только что сами это сказали, товарищ командующий.

— Это я при врачах сказал, чтобы лишнее время тебя не держали. А выглядишь еще хреново.

— Если разрешите, все же сяду,— сказал Синцов, садясь на койку напротив опустившегося на табурет Серпилина.

Серпилин ничего не ответил, только кивнул.

— Рапорт твой получил. Мнение командира полка и нового командира вашей дивизии запросил и получил.

«Значит, уже назначили командира дивизии вместо Кузьмича,— подумал Синцов. — Интересно, кого. Наверное, все-таки Пикина».

— Мнения они неплохого. Считают, что в роли комбата, как говорится, нашел себя на войне. Но, трезво глядя, после такого ранения комбатом тебе не быть. Неразумно.

— Я не прошусь обратно в комбаты, товарищ командующий.

— Тогда легче,— сказал Серпилин. — И для тебя и для меня. Боялся, будешь проситься обратно в комбаты и придется отказать. Хотя и жаль — все же с начала войны, с первых синяков и шишек знакомы.

— Я на это не ссылался, товарищ командующий.

— Что не ссылался — оценил. В комбаты не вернешься, а другие варианты в штабе дивизии или в штабе армии возможны. Выздоровеешь — явишься. Решим. Если в штаб армии — сам решу, если в штаб дивизии — не только от меня, от комдива зависит.

— Полковник Пикин, правда, лично меня мало знает.

— А Пикин тут ни при чем,— сказал Серпилин. — Три дня назад Артемьева утвердили комдивом вашей Сто одиннадцатой.

— А Пикин? — невольно спросил Синцов.

— В штаб армии перешел,— сказал Серпилин, не объяснив кем.

Значит, Артемьев стал теперь комдивом, и напрашиваться туда к нему со своей одной рукой, по-родственному, немыслимо.

Сразу, с одной фразы, как только Серпилин сказал про Артемьева, Синцов уже понял, что теперь в дивизию обратно не попросится. В другую — да, а в свою — нет.

— Все ясно, товарищ командующий. Как выпишут, с вашего разрешения, явлюсь.

Серпилин посмотрел на него и улыбнулся:

— Это как понять, что тебе все ясно? Значит, могу считать себя свободным? А если мне еще поговорить с тобой охота и временем, как ни странно, располагаю?

Синцов только улыбнулся в ответ.

— Да,— сказал Серпилин серьезно.— Не думал, когда ты явился ко мне в самую кашу под Могилевом с этим своим лохматым фотографом, что с течением времени вырастет из тебя комбат. А хотя солдатами не рождаются. В мирное время вырастить хорошего комбата нужно десять лет. Но у войны, как говорится, свои университеты, и не каждый отличник мирного времени их так проходит, как о нем заранее думали.

Серпилин замолчал, и в его глазах несколько секунд стояла какая-то другая мысль, далекая от того, с чего он начал.

— В общем, явишься, подыщем тебе дело, чтоб воевал и рос как офицер.

Говоря это, Серпилин про себя подумал, что такого человека, как Синцов, вполне можно взять в оперативный отдел армии. Человек грамотный, с боевым опытом, такого с уверенностью можно послать на передний край посмотреть и доложить обстановку. Тот, кто сам в прошлом командовал и знает, почем фунт лиха, подводит реже других. И до переднего края доберется, и очки не даст себе втереть, и где там, под огнем, в действительности лежит граница между желаемым и возможным, как правило, поймет и правдиво доложит. А что прохождение службы, судя по личному делу, после всех окружений заново с нуля начал, но сейчас молчит, не ловит случая пожаловаться,— это только в его пользу.

— А не приходила тебе в голову мысль,— снова вспомнив о Могилеве, спросил Серпилин,— вернуться к тому, с чего войну начинал?

— Не дай бог, товарищ командующий, вернуться к тому, с чего начинали,— сказал Синцов. Хотя и понял, что Серпилин имеет в виду его работу в газете, но всколыхнувшиеся в душе воспоминания того времени почему-то вдруг заставили сказать эту тревожную и даже нелепую фразу.

Но Серпилина она не удивила.

— Возвращаться к тому, с чего начали,— об этом речи нет и не будет,— сказал он.— Другой вопрос, сколько еще войны

впереди? Гадать трудно, потому что хочется гадать в свою пользу. Но сколько бы еще ни воевать, а эта зима все равно — начало их конца. Так как тебя понять,— он вернулся к тому, с чего начал,— вкус к своей старой профессии совсем потерял или нет?

— Не знаю,— сказал Синцов. — Давно не думал над этим, и пока думать неохота.

— Неохота — не думай. А тот лохматый, что был с тобой, где он, не знаешь?

— Он погиб. Не выбрался тогда от нас.

— Так и выходит,— сказал Серпилин. — Про одного думаешь, что спасется, а про другого — что погибнет, а потом сплошь и рядом наоборот. Шмаков тогда все окружение прошел как истинный комиссар, а потом обратно в лекторскую группу взяли, полетел в Керчь свои лекции читать, и ногу бомбой оторвало. Теперь — пишет мне — по Свердловску на костылях шкандыбает, политэкономию читает.

— Батальонного комиссара Левашова в самую последнюю минуту боя убили,— сказал Синцов. — Вот о ком никогда не думал, что умрет на моих глазах!

— Да, очень жаль его,— сказал Серпилин. — Посмертно Красным Знаменем наградили, а извещать об этом некого. Я его уважал, когда дивизией командовал. Прекрасный был политработник, несмотря на все свое сквернословие.

— Товарищ командующий, у вас есть еще три минуты меня выслушать?

Серпилин взглянул на часы.

— Даже пять.

— Я хотел вам сказать про Левашова. Он незадолго до смерти приходил ночью ко мне в батальон, делился. И раз он умер и больше никто этого не знает, я считаю, что обязан сказать вам об этом. Думаю, обязан,— еще раз повторил Синцов.

— А ты не крути вола за хвост. Давай сразу.

— Одного человека в нашей армии надо на чистую воду вывести,— сказал Синцов. — Заместителя начальника политотдела армии полкового комиссара Бастрюкова.

Услышав это, Серпилин поднял глаза на Синцова, и все те три или четыре минуты, что Синцов, торопясь уложиться, рассказывал ему о Бастрюкове, смотрел на него этими внимательными, неподвижными глазами, ничем не выражая своего отношения к услышанному. Потом спросил:

— Все?

— Все.

— Если считаешь достаточно существенным, напиши официально все, что мне сказал, в Военный совет армии.

— Я не думал писать,— сказал Синцов. — Я только решил рассказать вам.

— А я еще раз тебе повторяю: если считаешь достаточно существенным, напиши бумагу официально,— сказал Серпилин, и Синцов по его глазам понял, что он почему-то больше не хочет ни говорить об этом, ни произносить ни единого слова сверх этой дважды повторенной фразы.

Синцову даже показалось, что у Серпилина появился какой-то холодок в глазах. «Может быть, презирает меня? Считает это доносом?» — подумал он. И, как это бывало с ним в жизни, от мысли, что даже Серпилин мог не понять его и отказать ему в доверии, он внутренне сцепил зубы, уперся и упрямо сказал:

— Считаю существенным и напишу, чтоб не вышел сухим из воды.

И по вдруг прищурившимся, уже не холодным, а насмешливым глазам Серпилина понял, что тот не презирает его, а просто по каким-то причинам не хочет иметь личного, неофициального касательства к этому делу, предпочитает, чтобы оно шло своим бумажным ходом.

«Нет, брат, не так-то все это просто, как ты думаешь!» — говорил его насмешливый взгляд.

Серпилин поднялся с табуретки и вдруг увидел на тумбочке у Синцова прислоненную к стопке растрепанных книг маленькую карточку Тани. Ее сняли прямо в Кремле, с орденом, сразу после вручения, и у нее был смешной, испуганный вид. Но никакой другой карточки у нее все равно не было, и она, когда в первый раз приехала к Синцову в госпиталь и уже уходила, вдруг вытащила эту карточку из кармана гимнастерки и молча сунула ему в руку.

И Серпилин теперь стоял и смотрел на эту смешную карточку Тани с испуганным лицом и орденом Красного Знамени на груди.

— Овсянникова? Встретил ее здесь?

— Встретил,— сказал Синцов голосом, который заставил Серпилина посмотреть ему в лицо.

Он взглянул на Синцова, потом на карточку Тани, потом снова на Синцова и вдруг спросил как человек, имеющий право это спросить:

— Что, любовь?

— Любовь,— сказал Синцов.

— Это хорошо,— сказал Серпилин и, наверно, подумал о себе, потому что Синцова поразило странное, противоречившее словам выражение его лица.

— Это хорошо,— повторил Серпилин таким голосом, словно что-то другое, о чем он не хотел говорить, было нехорошо, очень, совсем нехорошо. — Поправляйся. Но не спеши. Войны на тебя еще хватит и останется. Отдыхай, пока есть возможность. А я поеду. С тех пор, как армию принял, дел через голову,— вздохнуть некогда! — Только что голос был глухой, усталый, а об этом сказал весело и громко, как о счастье!

Серпилин вышел, но Синцову захотелось посмотреть ему вслед. Он приоткрыл дверь и выглянул в коридор.

Серпилин, удаляясь, шел по длинному госпитальному коридору своей крупной быстрой походкой, разбрасывая на ходу белые полы халата и сутуля широкие плечи. По госпитальному коридору шел один из тех людей, про которых очень редко думают, что там у них самих: жена умерла, или сын погиб, или еще что-нибудь,— один из тех, о ком чаще всего думают только в прямой связи с делом, которое взвалила война на их широкие плечи — армию или фронт, и, оценивая их действия, говорят, как про лошадь,— потянет или не потянет?

Но за этой кажущейся грубостью слов стоит неотступная тревожная мысль о десятках и сотнях тысяч человеческих жизней, ответственность за которые война положила на плечи именно этого, а не какого-то другого человека. И рядом с этим неотступным и грозным почти ни у кого не остается сил и времени думать о тех всего-навсего двух или трех людских жизнях, которые составляют или составляли семью этого человека. О них мало кто думает, думая о нем. И он сам бы удивился, если бы о нем думали иначе.

И Синцов, как и большинство других людей, которые могли бы оказаться на его месте, глядя сейчас в спину Серпилину, думал не о том личном, что он понаслышке знал о жизни Серпилина, а о том, что ему казалось и что на самом деле было самым важным в этом удалявшемся по коридору человеке: хорошо, когда такой человек приходит командовать армией, потому что такой человек потянет, и хорошо потянет — гораздо лучше, чем тот, кто был до него...

1960—1964

СОДЕРЖАНИЕ

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

Роман в трех книгах

Симонов К. М.

С 37 Собрание сочинений. В 10-ти т. — М.: Худож. лит., 1979 —.

Т. V. Живые и мертвые: Роман в 3-х кн. Кн. 2. Солдатами не рождаются. 1981. 647 с.

В томе публикуется вторая книга трилогии «Живые и мертвые» — «Солдатами не рождаются»; события романа разворачиваются зимой 1943 года — в период подготовки и проведения Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в истории не только Великой Отечественной, но и всей второй мировой войны.

С $\frac{70304\text{-}107}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200 Р2

Константин Михайлович

Симонов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том V

Редакторы
Т. Аверьянова, М. Поляк
Художественный редактор
С. Гераскевич
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Т. Сидорова и Н. Усольцева

ИБ № 2180

Сдано в набор 06.05.80. Подписано к печати 18.03.81. А06738. Формат $60 \times 84^1/_{16}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 37,786 усл. печ. л. 37,786 усл. кр.-отт. 42,42 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Изд. № IIб-56. Заказ № 1323. Цена 2 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

2 р.90 к.